

Ю



Д



Б И Н

ВСТАНЬ

И

ИДИ



Ю р и й **Н** а г и б и н

**ВСТАНЬ
И
ИДИ**

Повести
и рассказы



Москва
«Художественная
литература»
1989

ББК 84Р7
Н16

Вступительная статья
А. ПИСТУНОВОЙ

Оформление художника
В. ЛЕВИНСОНА

Н $\frac{4702010201-207}{028(01)-89}$ 19-89
ISBN 5-280-00521-5

© Вступительная статья.
Состав. Оформление. Из-
дательство «Художест-
венная литература»,
1989 г.

Чистые пруды

Бухенвальд еще только становился музеем — всего одиннадцать лет прошло после Победы. Автобус подъехал к огромным воротам концлагеря, словно бы состоящим из литых готических букв, и мы увидели, как по земле, на которой в тот зеленый солнечный день ничего не росло, идет высокий седой человек.

Нагибин стоял отдельно — ближе к чугунной решетке. Оттого, быть может, бухенвальдский гид протянул руку ему одному. Гид словно знал, что Нагибин был нашим старшим. Не годы — разница в каких-то полтора десятилетия — играли тут роль. Нагибин был солдат, контуженный на войне, он был писатель, автор первоклассных рассказов. Седой немец шел впереди, говоря в пустое пространство концлагеря перед собой. Интонации ровны, фразы кратки. Он хорошо знал это страшное место: провел здесь узником восемь лет. Никто, кроме Юрия Марковича, не задал ему ни единого вопроса. Нагибин спросил: «Откуда вы родом?» — «С севера, — сказал немец. — Вырос в Ростове». — «Вы, наверное, учитель?» На мгновение повернувшись к нам лицом, гид ответил: «Учитель».

Вечером мы стояли возле бронзового веймарского Шиллера. По велосипедной дорожке мчался мимо паренек лет тринадцати. Нагибин смотрел на него пристально. «Похож?» — «На кого?» — «На учителя из Бухенвальда».

Прошло несколько лет. Нагибин выпустил в свет серию рассказов «Чистые пруды» — о ранней поре детства. Тоску по ней человек всегда отчего-то чувствует в зените зрелости, к сорока годам, а столько ему тогда и было. Он написал о первом своем десятилетии с той прозрачной нежностью, благородством и мягкой красотой, которые приводили на

память Аксакова и Л. Толстого, оставивших русской литературе непревзойденные образцы своих «детских» биографий. В «Чистых прудах» писатель отвечал на вопрос «откуда родом?» — главный для него и предъявляемый им всегда любому человеку, любому своему герою.

Встретив однажды Юрия Марковича, я сказала ему, что только после «Чистых прудов» поняла, отчего он тогда задал такой вопрос седому немцу в Бухенвальде, почему искал его генеалогию в летящем на велосипеде вихрастом мальчишке и зачем в рассказе «Веймар и окрестности» «опустил» детство, формирование своего героя, красочную, наверняка революционную биографию. В ту пору мы любили знаменитые «семь восьмых айсберга» Хемингуэя, и я тоже щегольнула цитатой. «Семь восьмых» Нагибину не понравились, как и строка Экзюпери «родом из детства». Он ответил: «Семь восьмых? Детство — девять восьмых. Проблема юности — осуществить себя таким, каким ты был в отрочестве, не стать хуже, не потерять смелости, радости, сияющих и острых чувств. А «родом из детства», в сущности, фраза. Констатация, только и всего».

Этот сердитый ответ вспоминаю ныне, когда перед читателем появилась, наконец, несколько десятилетий пролежавшая в нагибинском столе повесть «Встань и иди». Появилась и стала в его творчестве тем «недостающим» звеном архитектоники, благодаря которому стали видны изначальные большие идеи Нагибина, а также истинные очертания им сделанного. Конечно, «родом из детства» — констатация, прав был Нагибин в нашем давнем разговоре. И быть может, отвечая так юному литератору, вспомнил он себя восьмилетнего, арест отца; потом свои десять и одиннадцать, летние недели около отца в местах ссыльных поселений... Однако не мог рассказать тогда Юрий Маркович, что в саду под яблоней его отчим писатель Я. С. Рыкачев зарыл первый экземпляр повести «Встань и иди». Близилась семидесятые годы, померкший было облик «вождя всех времен и всех народов» снова начинал мелькать на кино- и телеэкранах. Слово «репрессии» произносилось опять вполголоса и только в дружеском кругу, слово «реабилитирован» почти исчезло. Хорошим тоном стало не вспоминать, где побывал человек в тридцатых — сороковых — начале пятидесятых, если он вернулся, а если не вернулся — шепотком называлась дата его смерти. О месте этой смерти вопросов не было.

Один из старших друзей Нагибина, в ту пору главный редактор толстого журнала, прочел его повесть «Встань

и иди». Любя Юрия Марковича, посоветовал: «Положи в ящик стола, а ключ от ящика потеряй».

Что же такое напугало в этой повести одновременно редактора и нагибинского отчима, который сам побывал в местах не столь отлаленных? Ведь всё же публиковалась — пускай нечасто и немного! — тема ареста, ссылки, лагеря в периодике пятидесятых — шестидесятых годов.

Если мы ответим сегодня на вопрос, что их напугало, то будем в состоянии сказать и о том, почему именно эта вдруг явившаяся в нагибинском творчестве вещь определила то целое, ту совокупность, которой обязаны быть произведения большого писателя.

В этой повести — автобиографической по внешним параметрам сюжета — речь идет о двоих: о мальчике и отторгнутом от него отце. После чтения вы поспорите со мной, скажете, что там множество героев, вы назовете, конечно, мать Сережи, его няню Дашу, деда, соседей, товарищей мальчишеских игр. Всё верно, но по-настоящему счету героев там только два. Маленький, которому арестованный отец кажется огромным и сильным. Большой, который, терпя унижения и муку, становится маленьким, жалким, и его стыдится выросший, сильный сын. Можно было бы сказать метафорически о двух других главных героях повести Нагибина. Это страх и ложь. И странно: страх и ложь живут не там — в лагере или в ссылке, где держат арестованного. Не о его страхе, не к нему обращенной лжи рассказывает повесть. Страх и ложь разъедают души оставшихся на свободе. Они деформируют совесть, память, искренность, гордость, благодарность, они уродуют общественные и семейные традиции, делают своими узниками тех, кто якобы свободен.

Не локальную историю об арестованном по навету, однако сохраняющем свою патриотическую гордость «зекке» — к такой схеме еще как-то были привычны редакторы 60—70-х годов! — излагает Юрий Нагибин. Говоря о двоих — об отце и сыне — и оттого будто бы делая свой сюжет еще более локальным, еще более частным, Нагибин открывает картину общественных нравов, устоев, заслоняющего бытие жалкого быта. Об этом ничего не печаталось в ту пору, когда старший товарищ посоветовал Нагибину потерять ключ от ящика с рукописью, а вынесший многое его отчим предпочел зарыть повесть в саду.

Наше новое время сделало возможным появление повести перед читателем. Перед ним словно бы явилась подробная карта нагибинского творчества, соединение всего, к че-

му в течение нескольких десятилетий он будет обращаться постоянно. Карта Родины и картина ее постигающей души человека. Природа с могучими реками, бескрайними полями, но главное, с тем деревом, которое смогла показать мальчику его мама, — и за это он вечно благодарит свою мать. Картина человеческой совести, угнетающей, не дающей поблажек, всюду наступающей того, кто ею пусть и не в полной мере обладает. Карта русских городов — далеких и близких, малых и больших, где с особой любовью и благодарностью — как мать — описана Москва. Ее дворы, переулки, домики, бульвары, голоса.

Конечно же, читая в журнальной публикации «Встань и иди», я вспомнила, как в юности моей пришли ко мне нагибинские «Чистые пруды», родные каждым своим словом. Может, потому, что в ту пору я жила именно на Чистопрудном бульваре и музыка зимнего катка слышна была во время моего чтения? Нет, не потому. Ведь среди нагибинских папок с читательскими письмами есть названная «Чистыми прудами» и в ней — строки благодарности «за все близкое» от людей, никогда не бывавших ни на Чистых прудах, ни в Москве. «Все близкое» (фраза из письма хабаровского учителя Н. В. Горского) обозначает опять-таки Родину: конкретный мир, ставший чудесным русским словом, объемным, впечатанным в память образом.

Итак, по совпадению я жила лет двадцать назад на Чистых прудах... Однажды, возвращаясь домой, решила пройти маршрутом нагибинских рассказов, топографически чрезвычайно точных, как то всегда бывает в большой литературе. Остановилась на углу Телеграфного переулка и посмотрела на световое табло «Берегись трамвая». Три последние буквы в слове «берегись» не горели — так же, как в нагибинскую пору. Здесь был все тот же «берег трамвая», все та же городская старая земля... Я свернула в Телеграфный переулок, поглядела на Меншикову башню, постояла возле дома, куда мальчик из рассказа Нагибина провожал девочку Нину, получившую от него письмо: «Ты самая красивая, я очень тебя люблю...» Да разве он написал это только девочке? Нет, конечно. Любовное его письмо обращено к Чистым прудам, чистым переулкам, чистым (пусть замусоренным) дворам, сверкающим окнам, чистым лестницам, чистым чувствам и высоким мыслям той мучительной отроческой поры человеческой жизни (не всякий захочет в нее вернуться), которая лепит душу, характер, связывая любого из нас с почвой Родины конкретной, великой, поэтической связью.

В прозе Нагибина не много найдется таких открытых строк. Он пишет действие, а не чувство, «было», а не «будто». Плоть его слова вещественна, видима, реальна. Он не любит сравнений, почти не ищет метафор. Предпочитает факт. Вот отчего, вероятно, его повести и рассказы столь кинематографичны — и те, что стали фильмами («Ночной гость», «Эхо», «Председатель», «Чайковский» и др.), и те, что не стали, хотя, возможно, станут. Подлинность, убедительность, концентрированность этой прозы рождены, на мой взгляд, открытостью сердца писателя, страстно откликающегося жизни — равно ее радости и ее печали. Это дает объяснение и тому нечасто являющемуся факту, отчего именно Нагибин, выросший на «берегу трамвая», стал проводником в современную советскую литературу для тех, кто вырос на берегах великих рек, на «берегу» лесов и полей. В его столе лежат их юношеские тетради в косую линейку и клетку. Они писали Нагибину из далеких городов, а мастер перепечатывал эти опыты, сам возил их по редакциям, хлопотал, писал предисловия к публикациям. И, мало говоря об этом, считал такую свою деятельность особенно важной, лично важной. Кроме «эгоистического» (как он считает) счастья делать добро, тут есть, по-моему, и другое: счастье общности, товарищества, вечное счастье мальчика с Чистых прудов.

Как тот парнишка, как деревенские женщины, которых он писал и пишет любовно и жадно всю свою столь рано начатую литературную жизнь, как великие писатели, художники, музыканты, которым не устает поклоняться, — высшим человеческим чувством Нагибин считает сострадание. Помните в «Председателе» фразу Надежды Петровны, обращенную к Трубникову, когда она моет ему ноги: «Вы меня не стесняйтесь... жалкий мой». В этих словах содержится гораздо больше, чем только народный эквивалент «любит — жалеет», «любовь — жалость» и, следовательно, «любимый — жалкий». Здесь ожигающая прямота, стратотерпство, могучая душевная сила. Чтобы сказать — надо так чувствовать. Этому нельзя научиться ни у любимого Нагибиным Лескова, ни у Аполлона Григорьева, ни у Тютчева или Анненского, ни у Кустодиева или Рахманинова. Судьбами этих творцов в последние годы глубоко и горячо занят Нагибин.

Может быть, они, эти великие люди, их жизнь и их вклад в историю пробудили у Нагибина интерес к прошлому, к его давним событиям и персонажам, к его реалиям, присутствующим в нашем времени? Являясь страстным общественным

деятелем, вмешиваясь в важнейшее сегодня дело охраны и реконструкции памятников старины, Нагибин постоянно обращается и в творчестве своем к далеким эпохам. И не случайно выбран им восемнадцатый век, век русского абсолютизма. Очень уж много сходного в жизни простого человека — под абсолютной ли властью монаршей, под властью ли вождя всех народов...

Читая дивной трогательности рассказ о любви «Квасник и Буженинова», понимая настойчивую мысль автора, что в мире, где ничего не стоят жизнь и честь человека, его может защитить только подвиг любви и верности, возвращаясь к тем страницам повести «Встань и иди», где выросший Сережа казнит себя за то, что мало любил и, значит, не мог защитить и спасти отца. Отец перед смертью зовет его приехать в тот городок, где он живет в ссылке. «А я боялся ехать», — вспоминает Сережа. «...Я предал отца, у меня не хватило ни сил идти до конца его крестным путем. Еще бы шаг, еще бы одно последнее усилие, и пусть бы мне не удалось его спасти — я дал бы ему нечто, равное спасению: близость родной жизни... Я должен быть ему благодарен больше, чем другой сын благодарен отцу, кормившему, поившему, одевавшему его. Я кормил, поил, одевал отца... Маленькая фигурка за колючей проволокой лагеря и взгляд мне вослед... — это неизмеримо больше того, что способен дать сыну самый лучший отец... Когда, больной, раздетый, умирающий от голода, почти бесплотный, он прибыл умирать в Рожму, я накормил, одел, дал ему жизнь... Я как бы родил его наново сознательным усилием любви, жалости и злобы. Он был моим сыном, и потому нет мне сейчас прощения... Я предал своего старого, больного, одинокого, умирающего сына».

Я пространно процитировала повесть «Встань и иди» для того, чтобы сам писатель произнес слово о сыновне-отеческом чувстве, двуедином для него, самом важном в эмоциональной системе его прозы. Ведь Квасник — своего рода сын у великой и смешной Бужениновой, ведь и героиня «Терпения» встречает любимого, потерянного десятилетия назад, с материнской щедростью, допускающей в дорогой судьбе все, кроме смерти.

Юрий Маркович Нагибин — старый русский писатель. Не оттого, совсем не оттого, что ему шестьдесят с лишком лет. Он являет собой тип старого русского или — что одно и то же! — старого советского писателя. Это человек идеи. Идей. Их множество? Нет, если вдуматься, всего одна. Природа? Да, он говорил об «экологии» еще тогда, когда это

мало кого занимало, в начале пятидесятых. Крестьянское дело? Конечно. О чем же «Последняя охота», «Хазарский орнамент», «Председатель»? Живопись? Поэзия? Музыка? Москва, о дорогих камнях которой он вечно пишет с такой пронзающей сыновней любовью? Старость? Творчество? Детство? Огромный глобус, где живет в разных точках столько его друзей? Любовь? Красота? Честь? Работа? Да, это все его идеи, заражающие верой в жизнь и справедливость. Вот и остановимся на последнем слове. Оно — идея писателя Нагибина.

Фильм «Семья Ивановых» был, к сожалению, мало похож на свой первоисточник — сценарий Юрия Нагибина «Иван да Марья»... Драматург и проникающий в глубинные течения жизни прозаик написал рабочих людей в тех мощных проявлениях героики, ума, доброты, которые редко, очень редко — при всем внимании нашей литературы и журналистики к подобным биографиям и судьбам — появляются перед читателем. Мария и Иван Ивановы, прожившие на страницах сценария последние месяцы своей нелегкой жизни, испытанной войной, трудом, болезнями, не замечаемыми ими подвигами, были прекрасны, искренни, мудры. Таковы же, как искони жившие на той же земле с ними схожие Иваны да Марьи. Новое время изменило эти характеры в лучшую сторону: власти над миром, уверенности в своей правде. Но об уверенности, о власти совсем не подозревали герои Нагибина. Писатель увидел и понял главных людей «второго ряда», людей «массы» — застенчивых, теплых, неловких, тех самых, с кого следует делать жизнь...

Почему же, однако, я вспоминаю о фильмах по Нагибину в очерке, посвященном его прозе? Оттого, что у всякого автора одна часть творчества связана с другой? Это-то очевидно. Есть иная причина: у большого писателя все его вещи образуют некую цельность и совокупность, когда творчество становится явлением культуры. Перестает быть одним лишь литературным фактом и обращается в факт общественного самосознания. А совокупность, чья любая часть прошла через мысль, совесть, душу, мечту писателя, принадлежит даже не ему, но эпохе и стране.

Нагибин дал нам рассказы и повести, эссе и путевые очерки, пьесы и сценарии, которые трудно разнести по обычной шкале литературных жанров. Сценарии не теряют ни доли полноты и обстоятельности повествования, присущих его поэтической прозе. И вместе с тем они остры, конфликтны, диалогичны, как это и следует в драматургии.

И если еще продолжается давний спор о том, полноценной ли литературой или всего лишь рабочим эскизом для режиссера является киносценарий, то работы Юрия Нагибина убеждают нас, что слово, и только оно, — первооснова кинопластики. Нагибин написал около тридцати киноповестей. Среди них очень знаменитые, принадлежащие советской прозаической и драматургической классике.

Есть еще один жанр, быть может, древнейший из жанров литературы, который в последнее время увлекает писателя. Это жизнеописание. В нынешней мировой практике словотворчества он имеет множество подвидов: эссе- или повесть-биография, коллаж документов, писем и тому подобное. Если б слово «репортаж» не было так унижено патетическими и беспомощными публикациями периодики, то нагибинский подвид жизнеописания великих творцов я назвала бы философским репортажем. Словно бы рассуждая о главном — как влияли житейские события на могучее творчество, как великое искусство равно берет свою силу у боли и радости, — прозаик констатирует события и факты, о которых литературный исследователь не догадался бы, даже имея он перед собою целый свод документов. Из тончайших психологических «наблюдений» за героем (а на самом деле — проникновения в чужое, но понимаемое и любимое творчество) рождается особая — ажурная и плотная одновременно — конструкция далекой чудесной жизни. Жизнеописания Нагибина полны легкости и свободы. Память этого человека держит тончайшие нити сюжетов классики, имена персонажей и их создателей. Он богат, ибо воспринимает отдаленные от его цеха формы и жанры творчества во всей роскоши их достижений, будь то театр или изобразительное искусство, архитектура или музыка — от Баха до цыганской песни.

У Нагибина была замечательная мать, Ксения Алексеевна, и дружба с нею дала этому человекознатцу, быть может, больше всего на свете. Впрочем, читателю знакома его мать: Юрий Маркович написал ее портрет в прекрасной повести «Павлик». Там, как во многих других произведениях Нагибина, к примеру, в «Школьном альбоме», дана канва его собственной жизни, его подлинной биографии. Хорошо ли это? Насколько это позволительно литературе? Батюшков так отвечает нам: «Отчего Кантемира читаешь с удовольствием? Оттого, что пишет он о себе. Отчего Шаликова читаешь с досадою? Оттого, что пишет он о себе».

У Нагибина есть чрезвычайно важный дар ретроспективного зрения. Многие владеют даром перспективы: видя

зерно, представляют его путь к колосу и даже к плевелу. Нагибин видит путь от колоса к зерну — к детству этого колоса, к его юности... Так на фоне смоленской дороги появилась книга о мальчике Юрии Гагарине и фильм об этом мальчике. Так из воркования венецианских голубей в пыльном луче солнца появился Тинторетто. Так в прологе к киноповести «Председатель» возник Егорка Трубников, который берет у старика пастуха жалейку, «накладывает пальцы на лады, снова подносит ко рту, дует, и неожиданно слабое его дыхание рождает мощный, волнуемый звук боевой трубы». Эта дудочка еще раз заиграет в «Председателе»: старик, когда-то учивший мальчика, поднесет жалейку к губам, чтобы поднять отощавших послевоенных коров, вывести их на траву.

Какая жалость, что кинематограф зачастую теряет поэтические рифмы Нагибина, его вечный вопрос «откуда родом», и даже фильм «Председатель», очень заметный для своего времени, потерял мальчика, родившего «мощный, волнуемый звук боевой трубы». Что поделаешь! Зато это осталось на листе бумаги, в книге — самом долговечном из творений искусства...

Если рассматривать созданное Нагибиным как совокупность, — а это единственно верный путь суждений о большом мастере, — его рассказ «Терпение», впервые опубликованный в «Новом мире» и вызвавший критические споры, становится особым центром творчества писателя. Пепел войны всегда стучал в нагибинское сердце, для него ее герои так и не станут, думаю, никогда «историей», «ушедшим поколением». Раны и потери Великой войны за Отечество Юрий Нагибин с его идеей справедливости не перестанет чувствовать свежей, сегодняшней болью. Он вечно сравнивает: тех и нынешних, погибших или заплативших за Победу судьбою, с теми, кто живет, с теми, за кого погибли другие. Он возмущается сытостью и короткой памятью, цинизмом и спокойной ложью. Он верит: те, кого любили погибшие и искалеченные, не могут разлюбить их. Здесь исток притчи, поэтического сказания, своего рода саги о вечной любви и вечной верности, которая стала сюжетом «Терпения».

Бывает разве в сагах и негодующая критика? Конечно. Ведь только поэт делит все видимое на тень и свет, на белое и черное. И мы верим Нагибину, когда он брюзжит, ворчит, иронизирует по поводу веселых, здоровых, ищущих увеселения юных, когда негодует, рассказывая о предательстве и трусости их отца, когда восхищается нежной стойкой

памятью их матери. Читатель доверяет условному сюжету притчи Нагибина еще и потому, что автор пишет на своеобразном прекрасном русском языке — культурном, сдержанном, естественном. Он обходится будто бы первым подходящим к нему словом, но слово это оказывается удивительно точным. Говоря сейчас о «Терпении», я вспоминаю, с какой горечью читала его впервые. Мне казалось, что все, рассказанное Нагибиным и относящееся к людям других судеб, другого поколения, было со мною. Будто я несколько десятилетий ждала любимого, ушедшего воевать и погибшего... Ждала, не веря, что не увижу его никогда.

Если б Нагибин осуществил когда-нибудь исследование собственных сюжетов, он, думается, признался бы, что зерна его замыслов рождены конкретной почвой, волшебством места, того, что в древности называли *genius loci*¹. Не повествовательная интрига, столь значительная для искусного беллетриста, под чьим пером она движется то мерно, то стремительно и часто зависит от задаваемого себе автором дневного урока, но переполняющие авторское сердце чувства к силам родной земли, ее таинственным и конкретным связям с человеческой судьбой и характером управляют ходом действия в повестях и рассказах Юрия Нагибина. Примером его прозы можно подтвердить чеховскую истину: сюжет должен быть нов, фабула необязательна.

Написав будто бы обо всех обитаемых континентах и блистательно осуществив новые опыты в древнейшей «науке дальних странствий», Юрий Нагибин ни разу не сдвинулся душою со среднерусской равнины. Его *genius loci* здесь. И чтобы точно рассказать о любимом, чтобы правильно расставить во времени «воспоминания» своих героев, он ориентируется на ручьи, поляны, деревья, закоулки города и дым деревенских печей, словно древний летописец, определявший события по кометам и затмениям. Его лирический герой — всегда путник. Но не тот, кто ищет разницу между своим и далеким, легко любя далекое. А тот, кто ищет связь, «родность» (слово Нагибина), с восторгом и мукой все более любя близкое. Эта антическая связь и есть мера нагибинских приближений и удалений от «романного стержня», его щепетильной авторской совести и отваги прошедшего войну человека, его памяти и гнева, его знания и того свободного удивления живым миром, которое испытывал еще малыш Комаров из очень давнего одноименного рассказа.

¹ Гений места (лат.).

Вот где фундамент как всего созданного Нагибиным, так и вещей в любимых им трех жанрах — повести, были и новеллы. Строгость и простота художественного решения любого из его произведений, их обусловленность предыдущим творчеством Нагибина позволили писателю говорить с читателем на языке подробностей, тщательно отобранных, емких, получивших вес и значение символа, как в поэзии. Имею в виду не красочность стиля, ритма, лексики прозы Нагибина. Имею в виду тот центр нагибинских сюжетов, который всегда помещен в сердце и сознании его героев, как если бы он постоянно рассказывал лишь о поэтах.

Так, сюжет — может быть, этим он и нов! — становится просто способом писательского видения. А фабула? Есть и фабула, но она, как уже сказано, необязательна. Мы чувствуем это в «Реке Гераклита» с ее ранящей исповедальностью, открывающей жизнь души у порога светлой старости... Повествователь собрал в лесной калужской деревеньке всех детей своей взрослой прозы, схожих с ребятами Чистых прудов и девочкой, собиравшей эхо, мальчиком, открывавшим заброшенную дорогу, — собрал всех, кого вырастил в тишине своего творчества. Ныне — повествователь знает — все эти чудесные большие люди (дети часто бывают большими людьми) живут отдельно от того, кто их придумал. Вот отчего рассказчик смотрит за ними со стороны, посмеиваясь и восхищаясь. Именно они — продолжение его бытия. Ведь падая в реку, мальчик взлетает: «...в реке отражалось небо».

Дети, природа, деревенские голоса... Нагибин пишет об этом щемяще сдержанно, ни разу не произнеся слова «Отечество», хотя о нем более всего думает герой новеллы, городской человек, на груди лесной калужской земли возле «крестьянских изб, от которых тянуло запахом скота, дыма, чего-то печеного, тянуло теплом и родностью, как от материнского тела». «Неужели впрямь обречены на исчезновение эти запахи, — спрашивает он себя, — дыхание коров в стойлах и сонный переступ копыт, мудрая приспособленность бревенчатого жилья к четырем сезонам, добрый жар русской печи?»

Тема прощания звучит в «Реке Гераклита» отчетливо, как звон маленького серебряного колокольчика, — светлые быстрые звуки, нежные, словно детские голоса. Слушая их, повествователь понимает: «...в прожитой жизни мне ничего не хочется ни исправить, ни повторить... Наверное, это и есть счастливая жизнь? Я никогда так не думал о своей достаточно трудной жизни. Может быть, я и поехал сюда,

чтоб это узнать?...» Вот уж теперь наверняка мы добрались до нового сюжета: до оптимистического размышления о результате своего бытия, когда радость возникла из печали.

Нагибинские произведения — все вместе — кажутся принадлежащими общему эпическому повествованию. Вот, к примеру, рассказы «Дорожное происшествие» (повесть), «В те юные годы» (повесть-быль), «Река Гераклита» (повесть-новелла). Однако любой из них — такой на первый взгляд четкий по своим очертаниям — скорее глава большого романа, создаваемого Нагибиным вот уже несколько десятилетий. Романа, включающего в себя множество нравственных открытий, множество персонажей и передвижений по белу свету его постоянного лирического героя. Если вы прочтете повесть-быль и повесть-новеллу, вы увидите их связи. Вы прочтете о человеческой семье — герои большого художника всегда образуют такую «семью». Их сообщество, их единство — основа жизни в ясные летние дни мира, в темные зимние дни войны.

Как объемны эти люди под пером Нагибина! Никогда не говоривший о подвиге и так естественно его совершивший «тезка слуги Хлестакова» юный Оська, погибший под Новогородом; деревенская бабка Молодая, охраняющая жизнь инвалида Алексея Тимофеевича и своего козье-гусиного стада; Ольга («Дорожное происшествие»), которая навечно «осталась на дороге», — тут разнузданные «боги» столкнули в небытие старого сироту Андрея Петровича. Писатель почти не дает нам портретных черт этих героев, а если дает, то противоречиво, кратко. И красавцы-то они, и вроде бы некрасивы... Общее их свойство — оно же главное — другое: душевное изящество, глубина характера, жертвенность. И ты не перестанешь наслаждаться общением с этими дарящими свет людьми и отчего-то не замечаешь, что общение это приобрело мелодику, возвышенный стиль нагибинской прозы. Она любит казаться скромной и тем более чарует точным, воздушно-легким словом. Вот, верно, отчего, читая Нагибина, ты соответствуешь суждению, которое очень любит писатель: жизнь — это состояние, а не предприятие. И значит, можно «быть стойким и прекрасным в поражении, которое в этическом плане не отличить от победы». Да, жизнь — «естественное состояние радости». Восхищение тревожащей путаницей юного бытия и стройной определенностью дней старика, когда «лишь по глазам, по их усилую сверкать и твердо глядеть сквозь возрастную усталость можно догадаться, что ему много лет». Ты встречаешь близкий мир, читая об этом.

Последовательность нашего общего прошлого, настоящего и будущего зримо встает через семью нагибинских героев. «Существует зрелище более прекрасное, чем небо: глубина человеческой души», — писал когда-то Гюго. Эта фраза рядом во время чтения. Но ведь есть еще одно прекрасное зрелище — мир, окружающий человека. На асфальте городских переулков, в лабиринте площадей и бульваров, на берегу «упругой» реки Угры, возле фресок Феодосия ты бродишь с тем же творческим восторгом и величайшей серьезностью, с какими писал все это Юрий Нагибин. Крепкий, полнокровный, обладающий вольным пространством и здоровьем, мир Нагибина обозначен затаенным писательским наслаждением, сохранившимся в повестях, в их общей простой ритмике.

Красота этого мира подчеркнула умение писателя поэтически запечатлеть будничное. Оно в поле его зрения постоянно, но лаконизм изображения обращает обыденное и случайное в романтическое и предопределенное. «В тех юных годах» реальность просвечивает сквозь поэзию, не утрачивая своего суверенного многообразия. Историческая реальность, ведь люди, о которых говорит писатель, — поколение победителей. И сегодняшняя реальность — мальчишка живет в памяти друга, по-прежнему дарит ему счастье понимания и единства, хоть сорок лет назад отдал он жизнь за Отечество. Вот что ново в этих сюжетах, ибо всегда новы великие истины совести. «Чисты и вечны эти древние голоса», — как сказал бы Нагибин.

«Чисты» — его любимое слово. Нет, его любимое понятие. Вот отчего воображаемому «роману» Нагибина, который он пишет вот уже почти полвека, так подошло бы имя его рассказов о детстве. «Чистыми прудами» хочется назвать все собрание его сочинений. Сочинений, где автор четко мыслит и высоко чувствует, не испытывая гипноза и дурмана от написанного, настаивая на ясности и хорошем вкусе. Его творческая легкость пробуждает жажду творчества в читателе, который всегда понимает Нагибина, ощущая, что слово его полно значения. Воздушная, эта проза, кажется, льется, пленяет цветом, звуком, упругим и плавным ритмом, а в душе остается какой-то сладостно-горячей лавой...

Федя Самоцветов («Река Гераклита»), каждый день составляющий наново план местности; Ольга («Дорожное происшествие»), записывающая в черную кожаную тетрадь «как есть... как вижу»; рисующий углем на тротуаре Оська... Огонь их воображения понятен писателю. Он различает

людей лишь по богатству сердца, веря в честь, гордость, добро, труд, зная, что обладатель большой души непременно наделен особым даром. Героям этого писателя известна мольба Гоголя, которой почти полтора века: «...Жизнь души моей, мой Гений! О, не скрывайся от меня! Пободруствуй надо мной и не отходи... Если лень и бесчувственность хотя на время осмелятся коснуться меня... не дай им овладеть мною!.. Я не знаю, как назвать тебя, мой Гений. Ты... зарождавший во мне думы, такие необъятные и упоительные, лелеявший во мне мечты... О, не разлучайся со мною! Я совершу... Я совершу».

Гоголевские призывы к «жизни души» загадочны... Таковы же слова Гераклита об огне; о борьбе («отце всего»); о законе, за который люди должны биться, «как за стены родного города»; о реке — в нее нельзя войти дважды. Они звучат на периферии романтической прозы реалиста Нагибина, писателя, точно знающего, «как назвать» гения, оказывающего ему покровительство: гений места, гений Родины. Это он делает любого из нас историческим человеком, поэтическим человеком, человеком.

Александра ПИСТУНОВА



П О В Е С Т И



Встань и иди



1. Несостоявшееся путешествие

Не знаю, любил ли я отца в эти ранние годы. Едва ли. Я любил Дарью, Дашуру, служительницу и стража нашего дома. Но отец возбуждал мое любопытство, будил фантазию. Каждое утро он куда-то исчезал и появлялся под вечер, когда единственное окно длинного коридора нашей квартиры, обращенное на закат, обливалось оранжевым и на полу под ним ложились светлые, сияющие полосы. То, куда отец исчезал, называлось обычно службой, реже — биржей. Я не знал значения ни первого, ни второго слова. Но второе слово меня чаровало. И до восьми лет, когда я пошел в школу и научился хитрить, на обычный вопрос взрослых: «Кем ты хочешь быть, когда вырастешь?» — я с гордостью отвечал: «Биржевиком».

Я знал, что с таинственным словом «биржа»¹ связаны и те красивые денежные знаки, которыми мне давали играть. Дети любят играть в куплю-продажу, инстинкт торговли, мены, наверное, один из древнейших человеческих инстинктов. Летом, на даче, в погожие дни мы, ребята, играли в «зеленщика» — листья подорожника были салатом, его зеленые, пупырчатые стрелы — огурцами, другие травы означали морковь, капусту, петрушку, репу, свеклу; в ненастье мы играли в «кондитерскую» — лепили

¹ В то время биржа существовала официально.

булочки из грязи, в особых формочках «пекли» всевозможные пирожные и кексы из мокрого песка; зимой мы играли в скобяные, москательные лавки.

На этих игрушечных торжищах мы расплачивались не бумажками и щепочками, а красными, синими, узорчато-белыми, тугими, пахучими, хрустящими деньгами всех пяти континентов. Деньги раньше марок одарили меня волнующим ощущением широты, безграничности мира. Биржа казалась мне и портом и кораблем одновременно, а вернее — воротами в огромный, захватывающий дух простор жизни. Отец был путешественником, единственным путешественником в нашей семье. Остальные были так же пригвождены к квартире, как и я сам. Дашура ходила за съестным до того, как я просыпался; мамины вечерние выходы происходили поздно, когда я уже спал. Один отец на моих глазах с каждодневным, неиссякающим бесстрашием исчезал в неведомом. И меня тянуло за ним, тянуло в мир, где хрустят, переходя из рук в руки, все эти красные, голубые, зеленые, синие деньги.

У нас в коридоре, наискось от окна, глядевшего на закат, находился чулан. Две стены у него были настоящие, капитальные, а две — дощатые, оклеенные обоями, в три моих роста и много не доходящие до потолка. Когда мысль о путешествии овладела мною, благородная крутизна этих двух стен увиделась мне бортами корабля. Небо за окном обернулось морем. Нелепый, увенчанный башенкой купол армянской церкви, стоявшей напротив нашего дома, стал чем угодно: маяком, островом, городом, пиратским судном, а сам я — капитаном, готовым вести свой корабль, окрещенный «Биржа», в таинственную страну биржевиков на розыски моего отца. Было все: корабль, маршрут, море, решимость, цель. Не было главного: навыка к отвлеченности, к мечте.

Я читал лишь одну, самую неромантическую книгу о путешествиях «Робинзон Крузо». Книгу наполненную мелочной заботой об одежде, жратве, хозяйственной утвари. Возможно, другой человек выносит из этой книги простор, полет, ветер. Но я, что соответствовало, видно, моей комнатной природе и убогому реализму воображения, помнил лишь ее «хозяйственную» сторону: бесконечный преЙскурант всевозможных вещей и продуктов, частью созданных,

главным же образом выловленных Робинзоном в море, найденных им на затонувших и потерпевших кораблекрушение кораблях. Мне и сейчас эта книга представляется гимном торжествующему быту.

Я не догадывался о том, что чувствует человек в море, между звездами и грозными, ночными волнами, но я, постоянно тершийся на кухне, хорошо знал, какая полезная штука — примус. Без примуса я не мог выйти в плавание. И я полдня мастерил примус из старой консервной банки, проволочки и пуговицы. Мне надо было, чтобы этот примус накачивался, иначе его не разжечь. Справившись с этой задачей, я приступил к дальнейшим сборам. С тщанием, какому позавидовал бы сам Робинзон, я запасал питьевую воду, солонину, галеты, масло, соленую рыбу, спички, порох, свечи, одежду, спальные мешки, бумагу, карандаши, почтовые марки. Я не забыл даже учебника немецкого языка — в ту пору ко мне уже ходила немка. Эту кропотливую работу я прерывал лишь для воображаемого завтрака, ведь и для Робинзона трапеза была священным обрядом его островной жизни. Этот условный завтрак — рагу из чурочек, салат из обрезков маминой зеленой шелковой юбки — по сложности приготовления и поглощения занимал куда больше времени, чем обыкновенный, настоящий завтрак. Когда я разделался с ним, окно, глядевшее на закат, облилось розовым, затем желтым, в окнах башенки, венчавшей купол армянской церкви, зажглись красные огоньки, и она, как никогда, стала похожа на маяк. Можно отплыть. Я уже собирался отдать команду, но в кухне тренькнул звонок, хлопнула дверь, и мимо борта моего корабля, размахивая толстым, таинственно и туго набитым портфелем, быстро прошел отец: легкий, бодрый, со смугловатым, будто обдутым южным ветром лицом. Он вернулся, вернулся сам, не дождавшись меня, из далекой страны биржевиков.

— Обедать!.. — послышался голос мамы, и, грустно окинув взглядом свой прекрасно оснащенный, с поднятыми парусами, с полными трюмами, готовый к покорению пространства корабль, я сошел на сушу.

Путешествие так и не состоялось. Но зато сколько их было потом, сколько верст проделал я по следам отца: далекий Иркутск, душный, пропыленный Сара-

тов, первое чудо Ленинграда, забытый богом Егорьевск, Кандалакша среди поросших карликовыми со-снами сопок и похожих на осколки зеркала озер, край, разлинованный, как ученическая тетрадь, рядами колючей проволоки, страшная Рохма...

И был день, когда отец снова не дождался меня. Я был нужен ему, он звал меня, звал последним зовом, и я не поднял обвисших парусов. И тогда, так и не дождавшись, он ушел в то последнее далеко, откуда уже нет возврата.

2. Как это случилось в первый раз

Семи-восьмилетним я уже знал и любил отца, хотя и третьей любовью. Больше всех я любил Дашуру, потом — маму, но их я любил безотчетно, не создавая себе образа своей любви. Отца же я любил за то, каким он мне виделся и представлялся.

Отец был самым сильным. Однажды, в воскресный день, на даче в Акуловке, куда понаехало множество гостей, чуть подвыпившие мужчины устроили спортивные состязания. Отец лег на лопатки в траву и предложил семнадцатилетнему Кольке Шугаеву лечь на него и крепко держать. Когда тот сделал, как ему сказано, отец ловко перевернулся со спины на грудь, и Колька оказался под ним.

Отец был самым быстрым. На тех же состязаниях он опередил в беге всех, кроме длинноногого преподавателя математики Михаила Александровича.

Отец был самым находчивым. Купив на станции в Пушкино огромный арбуз, он все три километра до нашей дачи катил его перед собой по дороге. Правда, когда арбуз взрезали, его хрустко разломившийся шар оказался наполненным лишь розовой водой, но это не имело значения.

Некоторая противоречивость моих наблюдений меня не смущала. Меня несколько не удивило, что мой силач отец не мог донести со станции арбуз и вынужден был катить его по земле; что за второе место в беге он заплатил маленьким сердечным припадком. Я не играл с собой, я действительно не видел ни его малого роста, ни почти женской слабости, ни робких неумелых рук.

То, что я видел, поддерживалось легендой об отце. Отец был самым храбрым: он заслужил два Георгиевских креста в первую мировую войну. Он ходил в штыковую атаку, он заменил в бою убитого командира. Он был самым остроумным: про одного знакомого, женившегося в ложном расчете на приданое, он сказал: «Женился по расчету, а вышло по любви». Он был дерзок. Один из маминых поклонников, бывавший у нас в доме, но отваживавшийся сидеть лишь на кончике стула, принес как-то раз бутылку шампанского. Расхрабрившись, поклонник развязно уселся на стул всем задом. Отец тут же побежал в магазин и вернулся весь увешанный бутылками, одну бутылку он нес в зубах. Выставив бутылки на стол, отец уселся сразу на два стула, а на третий положил ноги. Наконец, он был победителем. Известная в Москве красивая женщина и писательница написала целую книгу о том, как она любила отца и как ревновала его к своей сестре, еще более красивой и известной женщине.

Вот каким был мой отец: силач, бегун, храбрец, герой, остряк, бретер, победитель, — словом, обыкновенный отец, какой есть у каждого мальчишки и которого нельзя не любить, которым нельзя не восхищаться.

И все же его первый арест я воспринял довольно спокойно. Это случилось восьмого февраля 1928 года, через два дня после маминых именин, когда у нас были блины и множество гостей. Такого числа гостей у нас еще никогда не бывало, и вся огромная квартира, словно парильня, была заполнена клубами белого, густого, горячего блинного чада. Утром по квартире гуляли сквозняки, мама обдувала все углы из пульверизатора. Прошел еще день, и уж ничто не напоминало о торжестве. Началась обычная жизнь.

Я проснулся ночью, чего со мной никогда не бывало, от странного, незнакомого, чуждого легкому, свежему духу нашей квартиры крепкого, душного запаха солдатских сапог. Я открыл глаза и сквозь сетку моей детской кровати, как сквозь решетку, увидел серую шинельную спину бойца, идущего к двери.

— Мама, кто это? — пробормотал я сонным голосом.

— Спи. Это Лёлин брат. Спи,— проговорила над моим ухом Дашура.

Лёля — старинная мамина приятельница, ее брат отбывал действительную военную службу, «воинскую повинность», как еще говорили в нашей семье. Я успокоился и сразу заснул.

Наутро я узнал, что папу арестовали. Этот серый боец вместе с какими-то другими, неизвестными мне людьми пришел ночью и арестовал моего папу.

Мне не очень-то было понятно, что значит слово «арестовать». Я понимал лишь, что папы не будет с нами какое-то время, что его отвезли в тюрьму, что ничего хорошего в этом нет. Но понимал я это разумом, в душе же гордился случившимся: не у каждого мальчика арестовывают отца.

Гуляя днем во дворе, я говорил всем и каждому, сплевывая от избытка молодечества на раскисшие, серые февральские сугробы:

— А у меня отца арестовали.

Я был чужаком среди дворовых ребят и остро это переживал. Я был единственным представителем интеллигенции среди них, и они презирали меня. Тщетно силился я завоевать их дружбу, раздаривая им свои игрушки, цветные карандаши, краски, изящные серебряные фруктовые ножи. Они охотно принимали дары, но не платили за то близостью. Тщетно дулся я с ними в расшибалку и в фантики, «тырил» бутылки и ящики на винном складе, стрелял из рогатки по окнам и задастым битюгам, привозившим на склад огромные гулкие бочки. Тщетно матерился, как заправский ломовик. Они относились к моим потугам со снисходительной, а чаще с злобно-насмешливой иронией. И теперь мне казалось, что несчастье уничтожит невидимую преграду между нами, что они отнесутся ко мне как к равному. Я добился лишь легкого, короткого любопытства, опять же окрашенного иронией, моя беда им ничего не говорила — их отцов никто не арестовывал.

Я очень скоро ощутил на себе последствия папиного ареста. Мой путь в ванну шел через дедушкину комнату. Каждое утро я подходил к постели деда, желал ему «доброго утра», целовал в колючую от седой щетины щеку и получал двадцать копеек. По воскресеньям я получал новенький хрустящий оранжевый рубль. Монетки я складывал в копилку, рубли

отдавал на хранение маме. И вот в первое же воскресенье после папиного ареста, клюнув деда в жесткую щеку, я с обмершим сердцем увидел на мраморной крышке ночного столика вместо радужной бумажки тусклую, будничную двадцатикопеечную монетку.

— Папы нет... Нам будет трудно жить, — тихо сказал дед.

Теперь я понял: это навсегда. Навсегда отнята у меня первая радость воскресенья. Значит, не шутка, когда у человека арестовывают папу...

Знал ли я тогда, за что арестовали отца? И да, и нет. Во всяком случае, не меньше, чем теперь, по прошествии стольких лет. «Арестовывают всех биржевиков», — не раз слышал я в те смутные дни эту фразу. Людям нельзя было иметь те красивые, разноцветные бумажки, которыми я играл. Но ведь можно было просто отобрать их и закрыть таинственное место, именуемое «биржей», тогда эти бумажки стали бы людям ни к чему. И как могли люди знать, что дозволенное сегодня окажется завтра преступлением? Наконец, уж если арестовывать, то никак не моего отца. Другим эти бумажки действительно давали богатство или хороший заработок, отцу они не приносили ничего или почти ничего. Он играл в эти бумажки так же невинно, как играл я, хотя куда с меньшим удовольствием. Нет и не было на свете человека столь лишенного делового умения, как отец. Для этого он был слишком беспечен, доверчив, мягкосердечен, незащищен, слишком радовался жизни. Он только числился при деле, только таскал свой тяжелый, бог весть чем набитый портфель, — жили мы целиком за счет деда, известного врача. И то, что после ареста отца меня лишили воскресного рубля, было скорее ритуальным жестом, вроде посыпания пеплом главы, нежели необходимостью.

Я недолго ломал голову над причиной ареста отца. И не очень страдал. Образовавшаяся пустота заполнилась усиленным вниманием близких: деда, Дашуры, мамы. Осталась комната с трапедией, игрушками и пухлыми томами «Трех мушкетеров»; остался двор с его волнующей и в чем-то главной недоступной мне жизнью; впереди была чудесная акуловская дача с извилистой Учей, дремучим еловым бором, непролазными ольшаниками и великовозрастным Колькой Шугаевым, посвящавшим меня в тайное тайных.

Я едва не забыл отца, но тут мы свиделись: прощальное свидание перед его отправкой в ссылку. Отца осудили на три года «вольного поселения в Сибири», в те идиллические времена это казалось огромным сроком. Свидание происходило в Бутырской тюрьме. Мы — мама, дед и я — довольно долго томились перед высокими стенами тюрьмы, затем нас впустили во внутренний двор, битком набитый такими же, как и мы, прощающимися. А потом был дан знак, и вся толпа устремилась в узкий и, как мне сейчас кажется, подземный тоннель. Мы быстро шли, почти бежали, влекомые толпой, по этому плохо освещенному, с тусклыми, ослизлыми стенами тоннелю. И вдруг бежавшие впереди круто осаждали, подались назад, прозвенел чей-то высокий вскрик, затем еще крики и еще — мужские, страшные, хриплые крики, — толпа рвалась вперед, заголосила какая-то женщина, мы оказались перед решетчатой дверью, ведущей во внутренний тюремный коридор, и увидели и х.

Уже в эту самую минуту возник у меня точный образ увиденного. Несколько дней перед тем к нам на квартиру явился крысолов и установил в чулане, некогда служившем мне кораблем, огромную клетку. На другой день на глазах всех квартирантов он извлек клетку, до отказа набитую крысами.словно бы сам сказочный многоголовый крысиный король попался в западню. Трудно было понять, как могло набиться в ловушку столько крыс — сплошной шевелящийся визжащий серо-рыжий комок, дикое плетение хвостов, лап, худых омерзительных тел, треугольных морд... Вот такая же страшная, душная теснота налезавших друг на друга тел, сплетающихся в борьбе рук, бодающихся голов открылась нам за толстыми прутьями решетки. Это месиво визжало, дралось, орало, взывая к своим по ту сторону решетки, борясь за то, чтобы пролезть вперед, выиграть хоть лишний взгляд, лишнее слово. И вдруг среди этих темных, одержимых фигур, страшных, неистовых, бледных лиц я увидел смуглое, чуть монгольское, радостное и страдающее, но ни в чем себе не изменившее лицо отца. Он был у самой решетки, произошло это случайно, как нередко бывает в мятущейся толпе: непричастные к общему смятению оказываются в выигрыше.

— Сережа! — крикнул он, увидев меня, и голос его сломался.

Наводя порядок, в арестантское месиво погрузился приклад часового. Лицо отца снова мелькнуло и скрылось, и мы побежали куда-то вперед.

А затем было свидание через две решетки, по узкому коридору между ними ходил часовой. И все же мама сумела передать отцу деньги, — единственное, что я помню, потому что об этом, как о подвиге, много говорили потом, все остальное утратилось в оглушенном сознании.

Отныне я запомнил отца навсегда. Он поселился в моей душе, и никакое рассеяние не могло его потеснить. Опять он вернулся ко мне: силач, храбрец, герой, остряк, бретер, победитель. Но теперь появилось нечто еще, что делало мое чувство много богаче, чем чувства других мальчишек к их не менее замечательным отцам, — он был несчастным. Сознание этого навсегда окрасило мое отношение к отцу тонкой, чуть болезненной нежностью.

3. Иркутск

В пору нашей краткой совместной жизни отец не делал мне подарков. Правда, в день моего рождения или на Рождество считалось, что такие-то подарки идут от мамы, такие-то от папы. Но я понимал, что это условность, все подарки были выбраны и куплены мамой. А так вот, отдельно, по собственному почину, отец мне никогда не дарил. Дарили дед, мама, Дашура, отцу было не до того, он жил жадно, заинтересованно собственной, еще довольно молодой жизнью; к тому же, как большинство молодых отцов, он не очень-то представлял себе, что следует мне дарить: до чего я дорос, не дорос, а что и перерос.

Семейная легенда утверждала, что в пору, когда я делал первые свои шаги — время тогда было тяжелое, скудное, — мне справили пальтецо из зеленого, в изумруд, обивочного материала. Увидев меня в обновке, отец чуть не заплакал — я был похож на какой-то ядовитый стручок — и тут же отдал мне на пальто свой единственный выходной пиджак.

Но память моя пробудилась, когда нарядное пальтишко уже было сношено, а других подарков я от папы не видел. А тут, ссыльный, неимущий, он пода-

рил мне целый город, и какой — с дорогой через всю Россию! Многое, случившееся куда позже, давно позабыто, но Иркутск светится в памяти каким-то особым светом. Иркутскую жизнь я помню всю изо дня в день, там не было ничего второстепенного, его и вообще не бывает на переломе жизни, пусть даже детской. А в Иркутске переломилось не только мое комнатное существование — домашний зверек увидел, как огромен, многообразен, сложен мир, свершился переход от младенческой всеядности к отбору, то есть к характеру.

Привычное, незыблемое рушилось уже в пути. Из московского июньского лета въехали мы в уральский снегопад. Притихший, смотрел я в темное окошко вагона, за которым стремительно и густо неслись снежинки, а затем были утренние поляны в сверкающем ровном снеге, а затем, без перехода, без весны, свежая, молодая листва деревьев; в огромных провалах между гор, глубоко внизу под поездом, волнующаяся голубовато-зеленая листва перелесков казалась рекой. Были и настоящие, великие, страшноватые в широте своей и затаенном спокойствии, сибирские реки: Обь, Енисей, Иртыш. Проходя над ними, поезд затихал, реже и глуше колесный перестук, тишина в вагонах...

Иркутск был чудом, вернее, целым скопищем чудес. Ледяная Ангара, просматривающаяся на огромной глубине до последнего камушка на дне, до тонюсенькой водоросли, неумоимо пускающей вверх жемчужные шарики пузырьков. Мы брали двухпарную лодку и плыли к островам, что слева от пристани. Когда мы входили в узкую горловину между двумя ближайшими островками, простор поворачивался вокруг своей оси, островки, будто играя в чехарду, перепрыгивали друг через дружку, весла выпадали из рук. Головокружение длилось с минуту, а когда оно проходило, мы обнаруживали, что челнок наш отброшен назад на добрый десяток метров. Между островками был водоворот с мощным выбрасывателем, он вращал лодку, насыщая ее центробежной силой, а затем швырял назад к пристани. Мы еще и еще повторяли нашу попытку, а затем в блаженном, дурманном изнеможении смотрели, как рыбаки, ловко и уверенно действуя шестом, спокойно проводили над водоворотом свои длинные плоскодонные пироги.

Была еще Ушаковка, впадающая в Ангару. Она так стремительно текла с гор, что рыбы, плывущие против течения, порой провисали недвижно — бери руками или накалывай вилкой. Я купался в ее быстрой и довольно теплой воде, я плавал в ней, и это было прекрасно, как полет во сне. Я размахивал руками, едва касаясь мгновенно ускользавшей воды, и меня несло с обрывающей дыханием скоростью в широкое устье, где воды Ушаковки и Ангары, смешиваясь, создавали плавно тормозящую среду.

И были цветы, полевые цветы, растущие по склонам невысоких гор за южной окраиной города, цветы, в которые трудно поверить, так они роскошны, так превосходят скромные луговые цветы Подмосковья. Цветы, похожие на мясистые петушиные гребни, цветы, напоминающие наш садовый львиный зев, но не желтые с красноватыми подпалинами, а многокрасочные: с пунцовым, словно окровавленным верхним небом и синеватым — нижним, фиолетовым храпом, палевыми надбровьями, янтарной головой и желтыми заушинами. Были цветы, похожие на садовые бесмертники, но не сухие, а трепетно-мягкие, полные в каждом лепестке нежной, непрочной жизни, с оранжевым венчиком и синей короной; были, как садовые лилии, целые лужайки палевых, навощенных лилий на длинных, стройных стеблях с саблеобразными листьями; были как махровая гвоздика, но пышнее и всех расцветок от фиолетового до бордового; были и такие, что не сравнишь и не опишешь, словно фантастические гибриды василька с георгином, ромашки с настурцией, причудливые, сказочные цветы с длинными пестиками, торчащими, будто щупальца, из глубокой, слоистой чашки.

Отец не знал цветов, про каждый сорванный цветок он задумчиво говорил:

— Кажется, это маргаритка.

Порой на каменистых срезках гор обнажались вкрапления серебристо-сверкающей породы. Не стоило большого труда отбить кусочек такой породы, от него отслаивались тонкие, блестящие чешуйки, похожие на рыбы. «Это слюда, — говорил отец, — слюдяные горы». Меня охватывал трепет, впервые приближался я к первооснове вещей...

Еще раньше, в Акуловке, мама сумела показать мне дерево. В моей жизни это было одним из самых

важных событий, куда важнее первой близости с женщиной, первого выстрела, направленного в меня, важнее всех книжных открытий. Дерево было плакущей березой, старой, кряжистой, с разлапистыми ветвями, усаженными кулями вороньих гнезд.

— Посмотри, какое чудесное дерево,— сказала мама.

Я посмотрел на березу, которую видел не раз, что-то сжалось во мне, распахнулось, и я вдруг всем существом своим понял, как прекрасно дерево, прекрасней всего, что есть на земле, целый мир, чистый, радостный, свободный, светлый мир, который никогда не изменит, не обманет, выручит, поднимет, спасет. Это очень важно — увидеть в детстве родное, русское дерево.

В Иркутске, в небывалой близости к рекам, горам, недрам, деревьям, цветам, насыщался я, словно под мощным давлением, чувством родины...

С крыши узкого, длинного сарая, примыкавшего к дому, в котором мы жили, открывался постоянный двор. Там грудились подводы с задранными оглоблями; привязанные к задку телег низкорослые лошади с худыми шеями и раздутыми животами, в толстых, как канаты, венах, непрерывно и неустанно жевали солому, пуская длинную слюну с угла черных губ. Между подводами слонялись страшные люди с плоскими, будто раздавленными, смуглыми лицами, твердыми и круглыми, как кулаки, скулами, узкими припухлыми щелями глаз и широкими, сплюснутыми носами; у многих и вовсе не было носов — у кого на месте носа зияла черная, гноящаяся щель, у кого белела полоска бинта, завязанного узелком на затылке, более счастливые сохранили ноздри с продолговатыми вертикальными дырками. То были буряты, во множестве наезжавшие в город. В посконных рубахах, в шапках с меховой опушкой, иногда в сопровождении безносых, украшенных серьгами жен и невероятно грязных детей, они день-деньской гомозились на постоялом дворе, вповалку спали на телегах, пили водку, ругались. Я смотрел на них с любопытством, но без враждебности. Станным, жутковатым родством веяло на меня от них. В их ужасных лицах было какое-то родовое сходство и с лицом отца, и с тонким лицом матери, и с моим собственным детским лицом. Мы были одного корня. В мое новое

понятие родины с ее просторами, цветами, реками, горами вошли и эти безносые братья.

По главной улице города, куда выходила наша Малая Блиновская, гуляли среди городской толпы высокие, стройные светловолосые мужчины и, под стать им, высокие гибкие женщины — все в легкой, серой или кремовой, фланели, в красивых, мягких туфлях на толстой каучуковой подошве. Днем их не было видно, они появлялись после четырех, когда смягчался горячий свет дня и тень деревьев, густо посаженных вдоль тротуара, становилась четкой и прохладной. Сдержанные, свободные жесты, сдержанно-громкие, уверенные голоса, открытый смех резко отделяли их от других прохожих. Казалось, каждый из них заключен в прозрачную до незримости оболочку, проницаемую лишь для им подобных. Я встречал их и на стадионе. В белых костюмах и белых шапочках с зелеными целлулоидными козырьками, они играли в теннис, громко и отрывисто выкрикивая: «Плэй!.. Рэди!» И здесь незримый стеклянный купол отделял их от зрителей, от всего, что не было их миром. Они несли с собой свою особую вселенную, чистую, звучную и свободную. Эти светловолосые длинноногие боги были служащими датского телеграфа. Какое глубокое и волнующее чувство вызывала во мне их непричастность к привычной мне действительности, их дивно сложенные, узкие тела, четкая, выразительная лепка лиц.

В первой половине дня боги вели скрытое от посторонних глаз существование, и я просто забывал о них. Жизнь все-таки полна интереса, вот хотя бы чудо иркутского рынка!..

Среди бесчисленных палаток, лотков, деревянных рядов переливалась пестрая, шумная, разноязыкая толпа: русские, татары, буряты, якуты, китайцы. Висели на крюках цельные бычьи туши, и отдельно лежали под ними волосатые, рогатые и глазастые бычьи головы; висели изящные бараньи и телячьи тушки, на цинковых лотках горами высились лилово-коричневые ошмотья печени, тугие, мускулистые сердца, селитряно воняла шершавая зеленоватая пупырчатая требуха. А рядом покрывалась пылью на деревянных лотках халва из кедровых орехов, желтели глыбы сливочного масла, густо папахивало в кадushках золотистое, крупичатое, похожее на чуть

засахарившийся мед русское масло; кусками горной породы лежала ароматная смолка, которую так вкусно жевать; груды всевозможных, домашнего изготовления, сластей перемежались с лепешками козьего сыра, кусками красивого, без жилки и мосола, пунцового медвежьего мяса, бутылками коричневатых сливок, бидонами жирного, густого молока.

В крытых рядах было царство зелени. Павлинными шлейфами свешивалась с прилавков ботва крупной, с голову ребенка, свеклы и под стать ей брюквы и репы, прямо на земле валялись расколотые чаши тыкв; гирлянды луковиц в мертвой, сухой одежде соотносились с живой плотью моркови, петрушки, огурцов, помидоров, редиса, как сухие бессмертники с нежной жизнью других цветов. В огромных кадках, в темной жиже, проросшей, казалось, плавающим поверху желтоватым укропом, пряно благоухали всевозможные соленья; связки сухих грибов висели вперемежку со связками сушеных яблок, груш, слив, и как же все это пахло под жарким иркутским солнцем!

Дальше шли рыбные ряды, источавшие столь мощную вонь, что без дела туда не зайдешь. Там сверкала серебром свежая рыба и смуглым золотом — копчености; там царил — гордость Иркутска — истекающий медленным янтарным жиром омуль...

Запахи снеди смешивались с крепким запахом лошадиной мочи и гнилого сена, колесного, поплывшего на жаре дегтя, густое, жаркое, пахучее облако плыло над рынком, сладостно щекоча ноздри.

Будто заколдованные, бродили мы среди роскошной, баснословно доступной снеди; кошелки давно уж набиты всем нужным и ненужным, а мы все ходим и ходим среди палаток, рядов, лотков, не в силах вырваться из сладкого дурмана. Рынок крутил нас, как водоворот, возбуждал, напрягал и обострял чувства.

— Смотрите, вон женщина с золотыми глазами! — слышится испуганно-восторженный голос мамы, и мы мчимся куда-то, разбивая толпу, задевая, чуть не опрокидывая лотки, и вдруг все трое, разом остолбнев, замираем в перехвате двух огромных, истинно золотых, небывалых глаз.

И еще вспоминается мне, что над всей рыночной толчеей и сутолокой покачивались на тонких шеях надменно-брюзгливые, покорно-отчужденные, сказочные морды верблюдов. Я знаю, что это не так, верблюды были позже, в Саратове, но мне хочется подарить верблюдов Иркутску. Им место здесь, в сказке иркутского рынка, а не на голой, пыльной, печально обобранной уже совершившимся переворотом — сплошной коллективизацией, — лишь жаркой пылью пахнувшей базарной площади Саратова.

По иркутскому рынку бродили слепцы и цыгане, шарманщики и медвежатники; пелись песни о мачехе, сжегшей в печи неродных детушек, о бродяге и омулевой бочке. Сколько минуло лет, а мне до сих пор снятся его пестрота и шум, его снесь и сытые запахи, теплая, вязкая смолка, кедровая халва и золотые глаза женщины.

Моя песнь рынку будет недопета, если я не расскажу о первой, мучительной влюбленности в человека, постигшей меня там же, на рынке.

Один край рынка занимали частные лавочки: зеленные, мясные, рыбные, кондитерские. Как-то раз, придя довольно поздно и не найдя нужной нам «вырезки», мы зашли в мясную лавку. За цинковым прилавком в кровавых потеках и загустях орудовал молодой человек с залысевшим лбом и тонкими, пышно отдутыми назад волосами на висках и темени. Он звучно шлепал перед покупателем на прилавок мясную часть, затем швырял ее на иссеченную, похожую на плаху, толстую колоду, хрюскал топором по хрящам и косточкам, с небрежным видом бросал отрубков на весы и, не давая успокоиться медным чашкам, так был он уверен в своем глазе, быстро заворачивал покупку в газету. Моего отца он приветствовал, как доброго знакомого, но я настолько уже привык к тому, что отца знают все в этом сказочном городе, что перестал испытывать гордость от подобных знаков внимания.

— Познакомься, — сказал отец, чуть подтолкнув меня вперед, — это наш знаменитый чемпион по велогонкам, товарищ Тенненбаум.

Товарищ Тенненбаум проговорил что-то в ответ на эти лестные слова, улыбнулся, показал зачем-то свои окровавленные ладони, но я ничего не слышал, не сознавал. Как оглушенный смотрел я на великого

человека, и грозная торжественная музыка творилась во мне.

Уже в ту пору был я болен мечтой о велосипеде. Дома у нас хранилась старая, выцветшая, дневной печати карточка: отец, пятнадцатилетний, в рубашке и брюках с зажимами, стоит под деревом, сжимая в руках велосипедный руль, а носком левой ноги опираясь в педаль. Так и чувствуется: сейчас фотограф скажет «готово», и отец, разом оседлав худого, рогатого, металлического бога, помчится мимо деревьев в недоступные жалкому пешеходу дали. Я часами мог смотреть на эту карточку. Мне сообщалась готовная напряженность отцова тела, я чувствовал щекочущий упор верткой педали под ступней, зуд вспотевших на горячих резиновых рукоятках руля ладонях, миг — и деревья послушно замелькают мимо меня, и заскользят под колесом их тени, и во все стороны полетят золотые стрелы спиц. Металлического бога, подвластного отцу, звали звучным, похожим на выстрел, кратким словом: «Дукс». Я знал, что есть и другие боги: «Энфильд-Риш», «Энфильд-Рояль», «Энфильд-Урал», «Латвелла», «Опель», «ВСА» — я произносил «Бейса». Я мог несколько кварталов гнаться за велосипедистом лишь для того, чтобы спросить прерывающимся голосом: «Дяденька... а какая у вас фирма?» Всякий сидящий на тугом, пружинном, похожем на сердце седле велосипеда казался мне существом иного, высшего порядка. Что же должен был я испытать, узрев короля этих избранных!..

Тенненбаум был не только чемпионом Иркутска, но и победителем всесибирских велогонок, словом, звезда первой величины в тогдашнем спорте. И все же именно с этим победителем вошла в мою жизнь мучительная тема в т о р о г о человека. Казалось, я с детства почувствовал ту неглавную, непервую роль, которую придется мне играть в жизни. Но еще задолго до того, как я осознал свою обреченность быть всегда на втором плане, я уже не мог любить первого. Мое сердце, моя боль неизменно принадлежали второму: не Пушкину, а Лермонтову, не Толстому, а Достоевскому, не Алёхину, а Капабланке, не Качалову, а Леонидову, не Козловскому, а Лемешеву. Но почему же началось это с Тенненбаума, который на моих глазах доказал полное свое превосходство над соперниками, вторично выиграв иркутское первенство?

Очень сильная, очень настоящая любовь делает провидцем всякого человека, даже такого маленького, каким был я тогда. Вопреки очевидности, я где-то на дне души не верил в прочность победы Тенненбаума. Словно Кассандра, сквозь густой дым его торжества проглядывал я близкое поражение, безнадежную «вторость», в которой он пребудет до конца своей спортивной карьеры. Так оно и случилось. Побезденный им на моих глазах молодой смуглоногий красивый Батаен, чья звезда тогда только всходила, уже через год отбросил Тенненбаума на второе место.

Обреченность моего избранника лишь усиливала мою любовь к нему. С восторженным, печальным и сладостным азартом глядел я ежевечерне с трибун иркутского стадиона на упрямую, бешеную работу его худых кривоватых ног...

Это была трудная любовь, но была и другая — нежная, легкая, радостная. Каждое утро мчался я на угол Малой Блиновской и главной улицы, где помещалась частная фотомастерская. В витрине маленького ателье был выставлен стенд с образцами карточек. Я подолгу смотрел на молодое круглое кроткое женское лицо с гладко причесанными волосами, разрезанными белой стрелкой пробора. Чуть приоткрытые в полуулыбке губы нежно вматы в добрые, полные щеки, большие серые глаза будто присматриваются к чему-то хорошему, радостному. Низкий воротничок платья открывает высокую округлую нежную шею, на груди маленькая, усыпанная камешками брошка. Чистотой, доверчивостью, добротой и женственностью веет от этого облика. Около витрины останавливаются прохожие, и мне кажется, все они смотрят на Аню. Им, наверное, любопытно, кто эта молодая, красивая, полная светлой благожелательности женщина. Жаль, что никому из них не приходит мысль спросить меня...

Я сказал бы им, что это папина знакомая и моя знакомая тоже; что у нее негромкий голос и тихий, долгий смех; что у нее теплые длинные пальцы, и когда она осторожно запускает их в волосы человеку, то человеку хочется и плакать и смеяться одновременно. Впрочем, этого я, пожалуй, не сказал бы. Но я сказал бы еще, что она довольно высокого роста, куда выше моего отца, и все же, когда они идут рядом по улице, понимаешь, что им надо быть вместе, такое сродство

связывает тонкую, хоть и не худую, высокую женщину с маленьким, широкоплечим, коренастым и легким мужчиной. А еще я сказал бы, что у нее есть старый отец, в прошлом учитель, ныне рыбак, множество братьев и сестер, что квартира у них набита сетями, удочками, сачками, аквариумами с золотыми и серебряными рыбками, гербариями, чучелами птиц и зверей и что мне хотелось бы всю жизнь прожить возле нее, в этой чудесной тесноте ее квартиры, самым младшим ее братом. Я умолчал бы о том, что порой, особенно по ночам, я ощущаю, что между моим отцом и нею есть нечто тайное, но я не завидую отцу, не ревную ее к нему, счастливый той ролью, какая отведена мне в этой любви троим.

Впрочем, я любил не одну только Аню. Я любил и рослую рыжеволосую крикливую Зинаиду Львовну, но любил по-другому, небрежно, чуть свысока. И никогда не виденную мною девушку, которая в пору нашей иркутской жизни переплыла ледяную Ангару; она рисовалась мне лишь взмахом загорелой руки, как взмахом крыла, в пенистых брызгах зеленой от стужи воды. И ту однажды мелькнувшую на рынке женщину с золотыми глазами. Я щедро наделял отца ответной любовью всех этих женщин, самому мне нечего было делать с их взаимностью. Хозяин иркутских чудес, отец и сам был сказочен для меня в ту далекую пору. Кстати, много позже, одним печальным вечером в безвестном городке Рохме, где вспоминали мы прошлое, выяснилось, что он и в самом деле пользовался любовью всех этих женщин: и Ани, и Зинаиды Львовны, и смелой пловчихи, и даже золотоглазой женщины, лишь для нас с мамой была она мимолетным видением...

Мне никогда не перечислить всех иркутских чудес, но еще об одном, пусть не главном, я должен все же сказать: я как бы взял реванш у московского, упорно не принимавшего меня двора. Наши дворовые ребята никогда не становились столь чуждыми и враждебными мне, как в те загадочные часы, когда гоняли голубей. Я не мог постигнуть смысла этого занятия. Зачем свистят они в три пальца, когда голубиная стая козыряет с карниза на карниз? Зачем простаивают часами на крыше дровяного сарая с сосредоточенными до злобности лицами, высматривая невесть что в небе, и вдруг начинают орать и размахивать рука-

ми? Что это вообще такое — гонять голубей? Неужто все дело в том, чтобы гонять стаю с места на место? Я чуял, что за всем этим бессмысленным действием кроется какой-то потайной смысл, но проникнуть в него не умел. Ребята не терпели соглядатаев в эти священные минуты, а спросить их я не решался.

В Иркутске тайна открылась мне. Тут я не был изгоем. Кешки и Леньки — всех иркутских ребят зовут Кешками и Леньками — не только приняли меня в компанию, но и ввели в самое свое сокровенное: в голубиную охоту. Да, это было: огромное голубое небо и разноцветные голуби в нем. Белые, сизые, белые с коричневым, по-кукушечьи пестрые турманы, чистые, палевые монахи, сизари, голуби ничейные, и наши голуби, и голуби ребят с соседних дворов. Стая мечется в голубой выси, тщетно отыскивая место, куда бы сесть, — отовсюду ее гонит пронзительный свист и вопли наших голубятников. Я не принимаю участия в гоне. Скорчившись за деревом, я сжимаю в потной руке конец бечевы, тянущейся к откидной дверце клетки-домика. Близ клетки расхаживает с перевальцем сизая голубка. Порой она взлетает невысоко и трудно на подрезанных крыльях, роняет два-три изящно изогнутых перышка и снова садится у отверстий дверцы. И голуби, мечущиеся в выси, вдруг опускаются ниже, трепещут над домиком и разом, с пристуком, садятся рядом с голубкой. Жеманно знакомятся клювами и следом за хозяйкой заходят внутрь домика, словно для осмотра квартиры, сдаваемой внаем. Нервный вздрог моей руки опережает рассчитанное движение, дверца захлопывается. Голуби наши!..

Все эти многочисленные чудеса, это перенапряженное существование, полное каждодневных открытий, должны были породить какое-то главное, ответное чудо во мне самом. Так оно и случилось незадолго до нашего отъезда на речке Ушаковке, куда меня отпускали купаться одного...

На Ушаковке было весело, просторно и как-то необыкновенно светло. Иркутское солнце, отраженное в зеркалах двух рек, заливало простор ослепительным светом. В этом свете таяли вершины слюдяных гор, а сияющий белизной город казался искупавшимся в молоке. И так много было блещущего, сверкающего, светящегося, отражающего вещества, словно

здесь, на ушаковской стрелке, выковывались для утренних зорь новые ослепительные тарелки солнца.

Однажды я, против обыкновения, долго задержался на реке. Я не замечал часов, мне казалось, что сумерки наступили внезапно, словно их принесла большая туча, вставшая над Ангарой. Простор сузился и замкнулся. С востока над ним нависли горы, тускло-сизые и холодные, с запада поднялся город черными куполами церквей, угрюмая туча и недобрая тьма подступившего вплотную городского парка завершили круговую огорожу. Вода отсвечивала тусклой фольгой, и свет этот бессильно стелился по берегу, словно тень настоящего света.

Я почувствовал себя погруженным на дно гигантской чаши. Где-то за краями чаши остались отец и мать, осталась счастливая радость моих летних иркутских дней. А края чаши вздымались все выше, сдвигались, жадно поглощая простор, неизвестный страх вошел в мое сердце. Слово узник, пытающийся вырваться из темницы, я стал разыскивать самое слабое звено в огороже. Горы, туча, парк не давали мне никаких надежд. Я взглянул на город: самый высокий купол собора приютил немного золотого света. Я сжал три пальца в щепоть и, с силой ударяя себя по лбу, груди и плечам, стал горячо молить:

— Миленький боженька, я тебя очень люблю, сделай так, чтобы со мной ничего не случилось, миленький боженька, сделай, чтоб со мной ничего не случилось, сделай, чтобы я опять был с мамой и папой, миленький боженька, я тебя так прошу, так прошу!..

Отныне облезлые купола и покосившиеся черные кресты стали для меня средоточием тайны и избавления. Умиленно, жарко и надрывно нес я им свой впервые пробудившийся страх перед жизнью. Это было не только рождением страха, но и рождением души. Девяти лет от роду согнулся я впервые под тяжестью души...

Ощувив так проникновенно силу божью, я навсегда поразился слабости человеческой. Я понял, что мои ангелы-хранители, мои близкие, способны защитить меня лишь от грубых житейских тяжестей, но бессильны в мире тайны и страха. Я увидел, как слабы они и ненадежны, как сами они нуждаются в защите, и решил стать их ангелом-хранителем. Я не пропускал отныне ни одного купола, ни одного

креста, ни одной двери, отверстой в дышащее старым сундуком и медом нутро церкви, чтобы не вымолить им большого или малого счастья:

— Миленький боженька, сделай!..

На десятилетия обременил меня Иркутск этой нелегкой и утомительной заботой..

Все имеет конец — кончилось и долгое иркутское лето. Мы с мамой снова в вагоне, уже пробил второй звонок. На перроне в опавших, желтых листьях, вовсе не сказочный, а простой, родной и потерянный, с мокрыми глазами и жалкой узенькой улыбочкой на монгольском своем лице, крепится и неслышно за толстыми стеклами шутит бедный такой сейчас отец. Я надсадно вымаливаю ему счастья, скорого возвращения, всего, всего. Слепой от слез, уверенный, что и меня не видно, я молюсь все откровенней, беззастенчивей и отчаянней, и поезд трогается..

4. Саратов

Когда мы ездили в Иркутск, шел второй год ссылки отца, до того он находился в глухой деревушке на Лене, под Киренском, и мы, за дальностью, не могли увидеться с ним. Из Иркутска отца перевели в Новосибирск. Это постепенное передвижение его из мест весьма отдаленных в места менее отдаленные было результатом настойчивых хлопот мамы. Благополучное завершение очередных хлопот ознаменовывалось появлением в нашей квартире двух жизнерадостных молодцов, пахнущих новой кожей сапог и ремней. Один был черный, с небольшой острой бородкой, другой — огненно-рыжий, с бледно-голубыми, бешеными и ласковыми глазами. Квартира наполнялась пробочной стрельбой, громкими голосами, шарком и смехом, без устали играл патефон, один из первых патефонов в Москве, напевая: «Вас махт ду мит дем фус, либер Ханс...»

Когда же истек трехлетний срок ссылки, отец получил так называемый «минус» не помню уже скольких городов. Во всяком случае, он не многое выиграл от своего мнимого освобождения. Правда, он мог теперь жить ближе к Москве, но все мало-мальски стоящие города оставались для него под запретом,

кроме городов все той же Сибири. Почему человек, отбывший определенное судом наказание, не может вернуться домой, а должен еще годы находиться в изгнании, неведомо. Мы были огорчены, возмущены, мы плакали, но мы не мучили себя этим вопросом: почему? Мы были бы куда сильнее поражены, если б отец вернулся. Так или иначе мама начала действовать. И вот снова наша квартира наполнилась радостным гогом и вкусным запахом сапог рыжего весельчака и его бородатого приятеля, снова ударили пробки в потолок, и охрипший, скосившийся голос стал спрашивать Ганса о его ноге, — отец получил разрешение поселиться в Саратове. Летом мы поехали к нему.

Пусть других мальчиков их благополучные, не разлученные с ними отцы воспитывали каждодневно: кто словом, кто делом, «от руки», по выражению Диккенса, а кто и словом и делом. Мой отец по-своему тоже воспитывал меня, но без мелочной опеки. Он воспитывал меня городами, дорогами, сменой болей и острейших, рвущих душевную ткань впечатлений.

Если Иркутск был многолик, разнообразен, то вся саратовская моя жизнь прошла в одном ключе, в одной неистовой страсти, затмившей всё и вся: Волгу, которую я в тот приезд так и не «открыл» для себя, и самый город, оставшийся в памяти лишь облаком пыли, и его обитателей, с которыми я не вступил ни в какие отношения. Этой страстью были бабочки. Она настигла меня в самый день приезда, когда сын папных хозяев показал мне свою коллекцию, хранимую в двух больших плоских картонных коробках из-под детской настольной игры с загадочным названием: «Риче-Раче». Наколотые иголками на картон, с распластанными крылышками, похожие то на лепестки цветка, то на тончайший шелк, то на бархотку, то на яркий, пестрый ситец, — бабочки были поразительно красивы. Я никогда не думал, что их так много и они такие разные. Я смотрел на бабочек и понимал, что отныне нет мне никакой жизни, если я не соберу такой же коллекции. Что привлекло меня: красота ли этих бабочек, предощущение ли азарта ловли или зараза чужого вдохновения? Скорей всего и то, и другое, и третье, а главное — коренящееся в каждом человеке стремление к совершенству и завершенности; бессильное пересоздать внутреннее существо человека, оно

лщет свою форму в чем-либо внешнем. Коллекционирование — это фокус, в котором собирает себя распыленная личность.

Хозяин бабочек, почуяв мою «затронутость», стал увлеченно рассказывать о своих сокровищах. Это вот уральский махаон — у бабочки были ярко-желтые, изящно и остро удлинённые книзу крылышки с темным, колечками, бордюром. А это белый махаон, он еще крупнее, чем уральский, но ценится меньше. Вот «траурница», — название говорило само за себя, — темно-коричневые бархатные крылья бабочки были обведены двойной каймой — белым с черным. Эти вот пестренькие — сестры: одну именуют аванесе-це, другую аванесе-таланте. Вот мраморница, ее крылышки покрыты мрамористым разводом. Эти, в мелких точечках, большая пестрая и малая пестрая, они бывают и оранжевыми и фиолетовыми. Желтенькая — лимонница, беленькая с черным — капустница. Вот эта, будто углем натертая, большая черная, а эта малая черная. Я слушал, и каждое название намертво запечатлялось в мозгу.

Покончив с дневными бабочками, хозяйский сын перешел к ночным, занимавшим вторую коробку.

— Видишь, надкрылья у них серые, окрашены только нижние крылышки. Когда они садятся на ствол дерева, то складываются конвертиком, так что их нипочем не отличишь от коры. Вот розовый бражник, вот — голубой, а вот — молочайный, вон какой здоровый! А вот самая главная... — Он достал из стола папиросную коробку, медленно открыл. — «Мертвая голова», — произнес он таинственно и значительно. — Видишь череп и кости?

Я смотрел на огромного ночного летуна с черным распахом верхних крыльев и нежной желтизной округлых нижних крылышек, с воцаным толстеньким телом и готов был увидеть не только череп и кости, но и целое кладбище...

На следующее утро я с помощью мамы наладил сачок, — покупные сачки, по презрительному замечанию хозяйского сына, годились только гусениц ловить, — и началась та изнурительная, слепая, запаренная, неистовая жизнь, в которой я сжег, сам едва не сгорев, саратовское лето. Если даже слить воедино, в одну привязанность, все мои иркутские кумиры: цветы, Тенненбаума, Аню, Зинаиду Львовну, датчан,

церковные купола,— то бабочки и тогда перевесят их.

Я смутно помню Волгу и песчаные острова, куда мы ездили купаться, помню лишь низенькие кусты шиповника, где трепыхались желтые платица лимонниц да пестрый наряд больших и малых оранжевых. Я почти забыл улицу, на которой мы жили, она представляется мне в мелькании сачка, которым я пытаюсь накрыть капустницу. Но я отлично помню все девять остановок, так называли в Саратове девять дачных поселков, связанных с городом и друг с другом одноколесной линией пригородного трамвая: там приобрел я лучшие свои экземпляры дневных и ночных бабочек. В городе и на реке водились лишь самые простенькие представительницы этого летучего племени.

Вначале мы отваживались ездить лишь до пятой остановки. Трамваи ходили редко и нерегулярно, чем дальше остановка, тем хуже было сообщение. Порой что-то портилось, и трамваи на долгие часы замирали на путях. Каждая поездка грозила опасностью не вернуться в тот же день в город. И все же мы подавались все дальше — слишком уж скудной добычей дарили меня первые, перенаселенные остановки, слишком заманчивым казалось то, что ждало впереди.

Наша отвага была вознаграждена. На восьмой остановке, близ крошечного бочажка, из которого бил чистый, хрустальный ключик, я накрыл сеткой медлительного, низко и плавно парящего белого махаона, а несколько позже и его более быстрого, уральского собрата. Правда, за этим ловким и стремительным, не боящимся выси летуном мне пришлось немало побегать. Трижды или четырежды терял я его из виду, и раз было, совсем отчаявшись, хотел прекратить погоню. Но дразнящим золотым листиком он снова зареял в луче солнца, и снова я кинулся за ним. Наконец, запыхавшийся, потный, растрепанный и счастливый, я предстал перед родителями, отдохавшими в тени у бочажка, с добычей в руке.

— Это аванес-таланте? — с улыбкой спросил отец. Он разбирался в бабочках не лучше, чем в цветах, но мне стоило бы задуматься над тем, как подчеркнуто произнес он это название.

Несмотря на все мои усилия, коллекция росла медленно. Много бабочек пропадало от моей ручной

неумелости. Чтобы бабочка годилась в коллекцию, надо предварительно распялить ее на листе картона. Делается это с помощью узеньких полосок бумаги и булавок. То я слишком грубо распяливал бабочкам крылья, и они обрывались, то бумажные полоски стирали нежную пыльцу, и бабочки выходили из распялки полуголыми, то я слишком рано снимал закрепки, и крылышки складывались, а при повторной моей попытке разлепить их — осыпались. Так погибли и первые мои махаоны, и бесчисленное множество крошечных, особенно нежных мотыльков, и великолепная траурница. Отчаяние мое было так велико, что мама решила взять меня на последнюю, девятую остановку, откуда, по уверению отца, не вернулся еще ни один трамвай. Там приобрел я новую траурницу, и новых махаонов, и даже молочайного бражника.

Последняя поездка заслуживает особого рассказа.

Отец плохо переносил саратовскую жару, он и вообще плохо чувствовал себя на природе. В городе он был подвижен, оживлен, за городом разом старел, тускнел, начинал задыхаться. Во время наших походов он спал обычно где-нибудь в тени, нехорошо оскалив рот и трудно, с присвистом, дыша. Когда девятая остановка вытеснила все остальные маршруты, ему стало не под силу нас сопровождать. Теперь мы ездили вдвоем с мамой, нередко исчезая на целый день. Это было жестоко по отношению к отцу, но что было делать — только на девятой водились бражники.

Однажды мы с мамой забрались очень далеко от остановки. Проплутав в орешнике, мы вышли на широкую проселочную дорогу, и эта дорога привела нас в сосновый лес. Высокие, на подбор, мачтовые сосны стояли одна к одной, голубоватые, прямые. Клубящиеся пылинками лучи солнца, как прожекторы, просвечивали их плотный строй. Быть может, оттого, что это были первые сосны, увиденные мною в Саратове, я сразу поверил в удачу.

Я отыскал крепкую палку и, колотя ею по стволам сосен, двинулся вдоль опушки. Сосны коротким, звонким эхом отвечали на удары, с ветвей осыпалось что-то, вспархивало, вызывая во мне сладкую дрожь и озноб, и, наконец, вспорхнуло со ствола — словно крупная шелушина коры ожила, отделилась от дере-

ва и, протрепыхав в воздухе, перелетела на другой ствол и слилась с ним. Лишь на краткий миг в сером трепыхании шелушины мелькнули голубоватые пятнышки, и я уже не сомневался, что это молочайный бражник. Я бросился к сосне, на которую он сел, но бражник так замаскировался, что его невозможно было обнаружить. Я ударил по сосне палкой — бражник перетерпел, не выдал себя, но на меня кинулся целый рой диких ос, гнездовавших на сосне. Кажется, мне сделали все прививки, от оспы до противостолбнячной. С диким воплем, обронив тапочку и выпустив палку, я бросился к дороге, к маме, но громадные, вислозадые, как кобылицы, осы яростно гудели надо мной, атакуя голову, шею, плечи.

Прохожий человек, тронутый нашей бедой, взялся вызволить мою тапочку. После многих попыток, искусанный с головы до пят, он отбил у свирепых ос их трофей. Затем мама одолжила у него папиросу, и человек двинулся своей дорогой, потирая искусанную щеку.

— Знаешь, — сказала мама, нервно затягиваясь папиросой, — а ведь бражник так и сидит себе на сосне.

Я преданно взглянул на мою безумную мать и двинулся к сосне.

Вернулись мы поздно, к ночи, с каким-то случайным, заблудшим трамваем. Отец ждал нас на улице, у него было черное лицо.

— Папа! — крикнул я возбужденно. — Смотри, чего у меня есть! — И показал ему бражника.

— О! Это аванесе-таланте? — пошутил он с вымученной улыбкой.

Но я не жалел отца. Я думал о том, что моей коллекции не хватает главного — ночной королевы, таинственной и жуткой «мертвой головы». Хозяйский сын объяснил мне, что «мертвую голову» можно поймать только ночью, на свет фонаря. И начались ночные бдения. Лишь только смеркалось, я выходил с большим жестяным фонарем в чахлый палисадник при нашем доме и просиживал здесь долгие часы, сам, как и фонарь, облепленный летающей со всего города мошкаррой и мотыльками. Порой на освещенной земле мелькала тень мотылька покрупнее, я вздрагивал и после долго слышал, как стучит во мне сердце.

К полуночи меня все же загоняли в постель, тут даже мама, понимавшая мою муку, становилась беспощадной. Неизжитое возбуждение отыгрывалось чем-то похожим на лунатические припадки. Во сне я вставал и начинал бродить с закрытыми глазами, как сомнамбула. Несколько раз я просыпался на постели хозяйского сына. Наверное, его комната, где в ящике письменного стола хранилась папиросная коробка с «мертвой головой», и была целью этих ночных странствий. Ограбить, что ли, я его хотел? Но, видно, во мне бодрствовали не только двигательные, но и моральные импульсы, в последний миг отводили они меня от преступления и укладывали в кровать рядом с тем, кто должен был явиться моей жертвой.

Неизвестно, чем бы все это кончилось, если бы я внезапно и навсегда не охладел к бабочкам. Однажды я показал коллекции папиному знакомому, тоже ссылному, биологу по образованию. Он внимательно осмотрел бабочек, затем, оседлав нос очками, стал читать названия, которыми я, как истинный коллекционер, снабдил каждый экземпляр. На лице его мелькнуло изумление, затем он громко расхохотался и снял враз запотевшие очки.

— Что это?.. Откуда?.. — говорил он, промокая щеки носовым платком. — Может быть, я безнадежно отстал от науки, но почему капустная совка переименована в боярышницу, и что такое аванесе-таланте? — Он еще раз со вкусом повторил это слово, напомнив мне интонации отца. — Нет, скажи, где ты раздобыл эту классификацию?

— Мне так сказали, — пробормотал я.

— Тебя обманули. Таких бабочек не существует. Есть род ваннесса, А-ва-нес же — просто армянское имя. А эта вот, запомни, пяденица, а не прядалица, дай я тебе запишу...

Я машинально подал ему карандаш. Исчезали привычные, сросшиеся с моим сердцем названия, которые были для меня как боевой охотничий клич, названия, что стучали во моем мозгу, пружинили мышцы, напрягали нервы, когда, усталый, потный, я продирался сквозь колючий репей, секущую до крови крапиву в погоне за быстрой, верткой беглянкой. Оказывается, не ловил я никакой траурницы, я ловил монашенку, может быть, так даже лучше, но открытие наполнило меня чувством невозвратимой

утраты так же, как и всевозможные совки, шелкопряды, златогузки, огневки, заместившие моих выстраданных бражников, мраморниц, больших и малых оранжевых. Отчужденно смотрел я на свою коллекцию, глупым, жалким, обманутым казался я самому себе.

Слишком поздно пришло избавление. Когда меня спрашивают, почему я так рано постарел, почему у меня седые волосы, одряхлевшее лицо, морщины, одышка, почему и я сам и в том, что пишу, произвожу впечатление крайней усталости, почти изношенности, я могу ответить: все началось с бабочек. Тогда открылось мне, что я могу жить только на пределе, на последней грани; пусть вначале понимание это было бессознательным, лишь позднее облеклось оно в мысль, я тогда уже перестал противиться силе этих разрушительных велений. В разные поры жизни бабочки оборачивались то марками, то «Тремя мушкетерами» — годы вел я двойное существование: одно как мальчик Сережа, другое как д'Артаньян, — то бильярдом, то литературой, то женщиной, но каждое обличье этого первого фанатического увлечения ставило меня на край гибели.

Отец угадал разрушительное начало моего характера. Мое неистовство было в корне чуждо его легкой и гармонической натуре. Вначале он пытался негрубо вышучивать увлечение бабочками, потом сделал робкую попытку переключить мой интерес на менее опасные предметы — стадион, цирк, — но, потерпев поражение, смирился. С тех пор и до конца дней появилась в нем крошечная отчужденность ко мне и что-то сострадательное. Отчужденность шла от угадки во мне не его светлого, а темного, материнского начала; сострадание — оттого, что он любил меня и мучительно жалкой была для него открывшаяся во мне непрочность, гибельность.

Уже когда я крепко стоял на ногах, когда я был его единственной и надежной опорой, когда он, казалось, должен был восхищаться сыном, так цепко оседлавшим незадавшуюся ему жизнь, я не раз подмечал на его лице все то же, с детства знакомое сострадательное выражение.

Он восхищался, гордился мной, но не верил в меня. Не верил, читая мои книжки рассказов и даже редкие хвалебные отзывы на них; не верил, когда я, пре-

красно одетый, за рулем собственной «Победы» возил его по Москве. Неверие усугублялось тем, что мои рассказы, появлявшиеся в печати, и в самом деле казались отцу слабоватыми, а непринятые в печать ему, воспитанному на классике, были глубоко чужды и огорчительны. От них веяло на него тем же чуждым, враждебным, разрушительным духом, противным всякому внутреннему порядку.

Все в человеке происходит сложно и непрямо. Порой, прослушав по радио мою передачу о запечатленных в Сталинской конституции высоких правах советского человека или прочтя в «Труде» мою статью о задачах планирования, отец несколько успокаивался и готов был отнестись ко мне с бóльшей верой, но тут я подсовывал ему какой-нибудь очередной сокровенный рассказ, и все шло прахом. Испугал его, огорчил и усугубил неверие в меня мой развод и то, что у меня нет детей, во всем видел он действие все той же губительной силы.

Бедный отец не понимал, что разрушительные силы приведут меня не к катастрофе, а к самому обычному концу: по изжитии своего века к добропорядочному инфаркту или раку.

И сколько я ни пыжился, ни задавался для его же пользы, сколько бы ни старался казаться уверенным и крепким борцом, человеком с точным расчетом времени, целей и средств, он по-прежнему проглядывал сквозь мои меняющиеся блистательные личины одержимого, потного, несчастного мальчишку, измученного погоней за недостижимым.

5. Вместе и врозь

Перед окончанием саратовской ссылки отца нашу квартиру в последний раз огласили охрипшие звуки «Милого Ганса»: это значило, что мать избавила отца от следующего круга дантова ада, именуемого «минус три». Этот «минус» исключал для отбывшего двойной срок наказания возможность поселиться в Москве, Ленинграде и Киеве.

Я хорошо помню торжественный день встречи отца. Я задолго готовился к ней. В ту пору моей жизни и бабочек, и уже отжившее мушкетерство заместила

география. На все деньги, перепадавшие мне от мамы, я скупал географические карты. В день рождения и в другие праздники я не принимал иных даров, кроме карт, атласов, глобусов. Карты и атласы были той данью, какой облагался друг моей матери, ставший впоследствии моим отчимом. Вся моя большая, с высоченными стенами комната была увешана картами. Там были огромные, в несколько квадратных метров, карты земного шара и всех пяти материков, карты всех стран мира вплоть до карликового государства Андорры, красивая, многоцветная карта земной флоры и фауны с тигром, пробирающимся сквозь лианы, с обезьянами, скачущими с ветки на ветку, со слонами, бегемотами, носорогами, львами, птицей-лирой, утконосом, кенгуру, ленивцем; с пальмами и сухим ягелем, с тропическими лесами и нашим березняком и ольшаником. В глобусах, от крошечного, настольного, с апельсин, до голубого, блестящего, как зеркало, гиганта, стоящего прямо на полу на длинной черной ноге, отражались выпукло-изогнутые окна. Верно, отца вполне и до конца дней удовлетворил бы этот простор вселенной, заключенный в коробочку комнаты, но жизнь распорядилась иначе: его ждало еще много страшных российских просторов, и мне предстояло следовать за ним.

У меня был закадычный друг Вадик. Чуть странный, чуть сумасшедший и бесконечно мне преданный. Его я тоже готовил к встрече с моим отцом, этим дивным человеком сказочной физической силы, разительного остроумия, героя прошлой войны, и прочая, и прочая.

Настал наконец день, когда мама, Дашура и я отправились на Павелецкий вокзал. Я так раззудил себя, что, кажется, и впрямь ждал: из вагона появится богатырь, грудь в крестах, — и, верно, испытал бы разочарование, увидев живую, плотную, маленькую фигурку отца. Но то, что перед нами предстало, потрясло меня до отчаяния. Усохший вдвое, с седыми, запавшими, будто всосанными щеками и непривычно вытарашенными стеклянными глазами, бедно, почти нищенски одетый, странно равнодушный и чужой — таким вышел из вагона мой отец, волоча в бессильно опущенной руке какой-то грязноватый мешок. Мы не знали из сдержанных писем отца, как тяжело далось ему последние два года. Ему давно стало известно, что

с Саратовом его ссылка не кончается, он не верил, что мама и на этот раз сумеет чего-либо добиться. Разлука без конца и без края сломила его физически и душевно, он опустил, у него открылась циклотимия.

Тогда я ничего этого не знал, если б и знал, горе мое оттого не стало бы меньше. Отца подменили, я был страшно и жестоко обманут. Я кинулся вон с вокзала и у контроля столкнулся с Вадиком: мой друг приехал на встречу, но из деликатности держался в стороне.

— Едем,— только и сказал я ему и побежал к трамвайной остановке.

С присущей ему редкой душевной тонкостью Вадик ни о чем не спросил меня...

Дома, когда побрившийся, искупавшийся в ванне, переодевшийся отец принял чуточку прежний свой вид, я не мог все же заставить себя к нему подойти. Я отводил взгляд, односложно отвечал на его вопросы и все норовил ускользнуть из комнаты.

— Смотри, Сережа отвык от тебя,— мимоходом бросила мама.

Нет, я не отвык, я стыдился этого самозванца, присвоившего имя и права моего замечательного отца.

Лишь поздно вечером, когда перед сном он подошел ко мне и поцеловал в голову, и я ощутил знакомое прикосновение, и увидел его маленькую, смуглую руку, так похожую на мою руку, на меня пахло чем-то таким родным, таким единственным, таким близким, что на неслышном, подавленном всхлипе я раз и навсегда принял этот новый, изменившийся, дорогой образ отца.

Отец прожил с нами недолго. Сразу по возвращении его направили в санаторий для нервно- и психически больных с гордым названием «Мцыри». Там он пробыл два месяца. Мы с мамой в это время уехали на лето в деревню. А затем осенью, едва семья съехалась, началась «паспортизация», и отцу, как бывшему ссыльному, в московском паспорте было отказано.

Отец выбрал для жительства поселок Бакшеево — центр обслуживающих Шатурскую электростанцию торфяных разработок. В ту пору это была страшная глухомань. Пассажирский поезд ходил только до Шатуры, оттуда надо было добираться рабочей узко-

колейкой, затем на вагонетках торфяной «кукушки». Казалось бы, отцу следовало выбрать Калугу, Тамбов или какой-нибудь иной город, связанный с Москвой напрямую. Но он именно потому и выбрал Бакшеево, что эта торфяная дыра не была городом. И Шатура не была городом; не были городами и ближние населенные пункты — Рошаль, Черусти. Городом для этого торфяного края была Москва, тем более что Шатурский район входил в Московскую область. Живущий там человек с известным правом мог считать себя москвичом. А отец не признавал никаких городов, кроме Москвы. У него к Москве была такая же страсть, как у славянофилов. Но если для девственного Константина Аксакова Москва была чем-то вроде вечной невесты, то для грешного отца — многоликой женой, с Москвой связывалась для него самая романтическая, победная, бурная пора его жизни.

Много позже, уже взрослым, я познакомился с отцовской географией Москвы, по-новому окрасившей для меня улицы, бульвары, парки и переулки этого города. Когда отец говорил «Сокольники» — он видел не заплеванный парк с пивными киосками, хулиганами и потрепанными велосипедистами, а нечто вроде Булонского леса, где под сенью деревьев он любил Эльзу К. Чистые пруды — кошмар моего детства, там меня постоянно и жестоко избивала чистопрудная шпана — были оваяны для него памятью о его первой большой любви к Лиле К. — сестре Эльзы. А так как отец любил много и щедро, то не было почти такого уголка в городе, который не вызывал бы в нем поэтического отзвука.

Чтобы не утратить Сокольники и Чистые пруды сестер К. и счастливую свою юность, отец выбрал Бакшеево.

В Бакшееве он быстро пошел в гору. Приехав на должность рядового экономиста, он уже через год был начальником планово-экономического отдела Торфуправления. Он обладал громадной, не тронутой до сих пор трудоспособностью, ясным и быстрым умом, скромным честолюбием, и работа его захватила.

В Бакшееве произошло с отцом еще одно неожиданное превращение: он стал «энтузиастом» в том высоком смысле, каким исполнено было это определение в пору подъема и чаяний второй пятилетки. К своей вере он пришел не умозрительно, как иные, он

«вработался» в нее, впервые оказался причастным к настоящему, горячему делу. Этому способствовали беззлобие, интеллигентская жертвенность и презрение к капитализму — плод юношеского увлечения марксистской философией.

За пять лет, проведенных отцом в Бакшееве, мы виделись не часто, но регулярно. Он работал без выходных, а потом брал сразу три-четыре дня «отгула» и приезжал в Москву. Эти дни были для меня светлым праздником. Разрушительное, бродяжье начало отчима выдуло всякий быт из нашей жизни, всякий намек на уют и душевный покой. А я был тогда очень бытовым человеком, и меня радовало, что с приездом отца каждодневность приобретала тот оттенок торжественности, которая украшает жизнь настоящих семей; что завтрак, обед и ужин становились ритуалом, что в простейшие вещи — будь то послеобеденный отдых, прогулка, посещение кафе, отход ко сну — вкладывался вкус.

Отец приезжал утром, и тут же, словно по мановению, возникала большая, горячая, пышная лепешка (почему-то с тех пор эти лепешки навсегда исчезли из моей жизни), громадный, нежный омлет с розовыми крапинками мелко настроганной ветчины, кофе со сливками. Мы садились к столу, и мама объявляла, что сегодня я не пойду в школу.

В этом была вторая огромная радость отцовых приездов. Глубокая, страстная, мрачная ненависть к школе была едва ли не самым мощным из всех изведанных мною чувств. Как бы то же увлечением, но наизнанку. Я бесконечно изощрялся, чтобы пропустить школьные занятия, я буквально изнемогал в этой вечной борьбе со школой. Приезд отца освобождал меня на какое-то время от этой борьбы, я получал задаром то, что стоило мне обычно многих мук и претивших мне хитростей.

Вместо школы я отправлялся с отцом в Музей изящных искусств. В первый раз мы попали туда случайно, но затем эти посещения стали для меня необходимостью. Музей со всем, что его наполняло, переносил меня в мир, бесконечно далекий от грубого мира школы. Форнарина с ее дивными бараньими глазами не могла существовать в одном пространственном измерении с ненавистной Калерией Викторовой, нашей классной руководительницей; пейза-

жи Коро и Рейсдаля — с пейзажем Чистых прудов, где находилась моя школа. Священная тишина залов словно навсегда исключала безобразный хаос школьных перемен, а печальный покой Ватто — ту оскорбительную тревогу, всегдашнюю готовность к оскорблениям и унижениям, в какой держала меня школа. Тогда я не понимал этого так, как понимаю сейчас. Я думал, что обожаю живопись, на деле же ненавидел школу.

Едва ли отец получал большое удовольствие от этих походов. Он был равнодушен к живописи, к тому же быстро уставал. Тем не менее он всегда предлагал мне проделать обратный путь пешком, если не до самого дома, то хотя бы до Театральной площади. Мы шагали московскими улицами, у отца делалось счастливое лицо. Зимой, летом, в осеннюю слякоть или в весеннюю хлябь он всегда радовался Москве, всегда находил для нее нежное слово. То и дело отвечал он на приветствия и сам приветствовал знакомых, от «некогда очень красивой женщины» и до старого парикмахера, державшего для отца в прошлом отдельный прибор...

Меж тем приближался незабываемый тысяча девятьсот тридцать седьмой год.

У многих народов существует сказание о маленьком острове, населенном небольшим добрым народом, над которым тяготеет страшное проклятье: что ни год, жители острова должны отдавать стоглавому чудищу красивейшую из своих девушек. Сходное проклятье тяготело над маленькой нашей семьей. Каждая очередная «кампания» требовала от нас кого-либо в жертву. Еще не занялась зоря 37-го года, а уже посадили отчима: он стал чем-то вроде Иоанна Предтечи ежовщины.

И вновь, будто посланцы далекого детства, зазвучали в нашем доме слова: «Лубянка», «передача», «свидание» — последнее с добавлением: «не дают».

Отец удвоил свою заботу о нас, присылал нам почти всю свою заработную плату, премиальные, отпускные, и непонятно, на что жил сам. Он стал чаще приезжать к нам, но весной, когда начался квартальный отчет, не смог приехать даже ко дню моего рождения. Он только прислал письмо и денежный подарок. Тем нетерпеливее ждали мы его к майским праздникам. 30 апреля пришлось на воскресенье,

Дашура спозаранку изжарила лепешку и приготовила яйца для омлета, но отец не приехал.

Поезд из Шатуры приходит в восемь тридцать утра, от Казанского вокзала до дома не более получаса езды. Наутро первого мая мама, папин брат Боря и я с девяти часов стояли на балконе, поджидая отца, который должен был вот-вот появиться из-за угла Телеграфного переулка. Но вот уже десять часов, а его все нет. Мы не на шутку встревожились. Наконец я увидел вдалеке знакомое коричневое кожаное пальто и серую кепку.

— Вон он! — вскричал я.

— Не говори глупостей! — резко одернул меня дядя Боря.

Зрение у меня было куда острее, чем у дяди Бори, почему же от его резкого окрика я сразу поверил в свою ошибку? Кожаное пальто и серая кепка приблизились и обернулись незнакомым, но удивительно похожим на отца человеком. Тот же рост, та же походка, те же широкие плечи, спина, ну совсем бы чуть-чуть, и это был бы отец. Сколько лет прошло, а до сих пор владеет мною странное и, при всей его нелепости, неистребимое чувство вины за то, что человек этот не оказался отцом. Немного больше веры, готовности к чуду, какое-то внутреннее усилие, и это был бы отец. Но я дал сбить себя с толку, проявил малодушие, слабость, не дотянул на волос и выпустил из рук судьбу дорогого человека.

Долго еще стояли мы на балконе. Мы ждали его до позднего вечера, твердо зная, что ему не на чем уже приехать в Москву. Вздрагивали при каждом звонке, при всяком шуме в передней. Ждали и на другой день, и в следующие, когда кончились праздники. Обманывая самих себя, мы негодовали, почему отец не предупредил нас телеграммой, что не сможет приехать. Или с озабоченным видом говорили: быть может, он заболел? А может, его задержал проклятый квартальный отчет?..

Мы продолжали играть в эту жалкую игру вконец растерявшихся людей, хотя давно уже знали все. Мы не знали только — когда?..

После поездки мамы и дяди Бори в Бакшеево выяснилось и это. Отца арестовали двадцать седьмого апреля, в дни предпраздничной чистки, ставшей с тех пор на многие годы традицией.

6. Страх

Мы остались вдвоем с мамой. По утрам мама носила отчиму на Лубянку передачу, деньги, тщетно добивалась свидания, в остальное время худыми пальцами выколачивала из дряхлого «ундервуда» прокорм для нашей маленькой семьи. Непривычная бороться с жизнью в одиночку, она нашла вскоре тот единственный выход, какой ей оставался. Врачи говорили: «Малярия», но лишь потому, что надо же как-нибудь обозначить болезнь, от которой человек таял, как сахар в кипятке.

Ртуть в термометре не опускалась ниже 40 градусов, и я впервые подумал о том, что могу остаться один на свете. И вместе с невероятной жалостью к матери я почувствовал в себе новую, странную силу — силу отказаться от жизни, если умрет мать. Я представил себе это так отчетливо и просто, что, зная, сколько таится во мне слабости и нерешительности, был удивлен бесконечной сложности и неисчерпаемости своего существа, способного и на такие решения.

И тогда мне захотелось разобраться в неведомом мире собственной личности. Мое первое литературное произведение называлось последней буквой алфавита: «Я». Мне нравилось писать о своих слабостях, недостатках, пороках, о самых жалких проявлениях своего характера, ведь все освещалось и оправдывалось последним решением.

...Было около часа ночи. Мертвенная тишина царила в большой и беспокойной общей квартире, когда колокольчик у входной двери тренькнул один раз. «К нам», — механически отметил мозг. В следующий миг я отложил карандаш и отодвинул густо исписанные листы. В такую позднюю пору никто не мог к нам прийти.

Что же не открывают? Колокольчик тренькнул еще раз, решительно, но без раздражения. «За нами», — подумал я и улыбнулся дикости происходящего.

Мать лежала в забытьи, откинув руку на лоб. Согнутая в локте рука, такая белая, такая желтая, походила на крыло вареной курицы, под чуть пупырчатой кожей обрисовывались неправдоподобно

тонкие косточки. Эту руку особенно трудно было примирить с тем, что должно было случиться сейчас.

Я вышел в коридор. Какая тишина за дверями соседей. Оказывается, люди могут обходиться даже без дыхания. Кухня, освещенная тусклой лампочкой, выглядела огромной со своими незримыми в сумраке углами. Черный прокопченный потолок казался дырой в ночь. Но белый кафельный сундук плиты был милым и уютным. В трещинах кафеля друг на дружке спали тараканы. И почему-то вид этой плиты отнял у меня всякое мужество.

Я закрестился и шепотом, как в детстве: «Миленький боженька, сделай, чтоб только не это. Миленький боженька, ты же видишь, что с мамой, ну, ради мамы, все, что хочешь, только не это...»

И я неотрывно смотрел на черный, тоже прокопченный колокольчик, висящий так спокойно и тихо, словно и не звонил только что.

«Миленький боженька...» — я не dokonчил, тронутый внезапной надеждой, но тут же увидел, как ножка колокольчика чуть приподнялась, замерла на какой-то краткий миг, затем снова припала к стене, и язычок коротко звякнул о металл.

«Миленький боженька, дорогой, самый любимый,— забормотал я, громко выкрикивая отдельные слова, в то время как мои сложенные в щепоть пальцы больно колотили по лбу, груди и плечам.— Милый боженька, если уж это так нужно, если иначе никак нельзя, сделай, чтоб не меня, пусть одну только маму, любимый боженька, ну, сделай так, чтоб только не меня!..»

Словно в ответ колокольчик ударил еще раз, и я, чтобы ускорить развязку, откинул крючок и с силой распахнул дверь.

Площадка, едва высвеченная лунным светом, была совершенно пуста, если не считать кошки, стремительно пронесшей над лестничным пролетом два изумрудных глаза.

Ветер медленно и беззвучно поводил оконной рамой с выбитыми стеклами, и, зацепившись за шпингалет, веревка дергала колокольчик.

Черный колодезь двора, лишь поверху тронутый слабым, ущербным месяцем, был тихо-пустынен, а на дне колодца гигантским плевком серебрился круг самодельного катка.

Все спало за темными окнами, мир по-прежнему был безопасен, и все же он стал иным, чем несколько минут назад.

В оконном стекле я видел свое лицо. Оно выступало из темной глубины, розовея, до слез близкое, родное и вместе чужое лицо. Я улыбнулся ему странной, кривой, не своей улыбкой.

Томительное, острое чувство утраты и непонятого освобождения владело мною. Лишь однажды в жизни довелось мне еще раз испытать сходное чувство, но в ослабленном, словно полинялом виде — при первой близости с женщиной. В переживании первой любви не было той остроты и силы перерождения, как в первом предательстве.

Страх у кухонной двери, этот первый серьезный, взрослый страх открыл мне действительную сложность моей натуры. Это очень важный шаг на пути к зрелости — первое, пусть воображаемое, предательство.

7. Егорьевск

Мы узнали, что отец находится в Егорьевской тюрьме, и в июне 1937 года после долгих бесплодных хлопот мать получила наконец разрешение послать ему передачу.

Закупив все необходимое, мы выехали в Егорьевск маленьким, душно воняющим дезинфекцией, пригородным поездом. Около пяти часов тащились мы по грустному, голому, но все же милому свежестью молодой зелени простору, освещенному тихим солнцем, мимо заболоченных вырубков и ржавцов, мимо скудных березовых рощиц и крошечных станций. На душе у нас было печально и светло. Мы чувствовали лиризм своего одиночества, своего горя и своей верности нашим узникам. Похудевшее после болезни мамино лицо было прозрачным, тонким, непрочным. Иногда мы улыбались друг другу, словно опробуя связующую нас нить.

От станции к городу вели длинные, километра в полтора, шаткие деревянные мостки, провисшие над ярко-зеленым болотом. Тюрьму мы отыскивали сразу, она помещалась в старом монастыре, стоящем на поросшем молодой травой бугре. Вокруг тюрьмы,

молчаливо признав ее своим центром, рассыпал город скучные деревянные домишки и приземистые бараки.

Зеленый вал от подножия до стен монастыря был усеян нашими товарищами по несчастью. Были среди них и печальные дамы в старомодных соломенных шляпках с линиялыми цветочками, и старые московские интеллигенты в брюках-дипломат и коротких коверкотовых пальто, и колхозники в лаптях, похожие на коровинских богомольцев. Всю эту разношерстную толпу объединяла молчаливая, покорная растерянность. Будут ли или не будут принимать передачи, никто не знал. Затем как-то вяло протек слух, что в пять часов начальство объявит свою волю.

Мы пошли бродить по городу. Мне довелось видеть много невеселых среднерусских городов, но ни один не производил такого безрадостного впечатления, как Егорьевск. Город старинный, но нет в нем ни уюта, ни приветливости старины, ни трогательности, ни мечтательности. Какой-то он весь голый, необжитой. Голы дома, даже не обнесенные палисадниками, голы лишённые деревьев пыльные улицы, гол, как лысина, скверик у кино с вытоптаным газоном и усохшими, потерявшими листву метелками кустиков. Мы долго мыкались по широким пустынным улицам, пока набрали наконец на маленький зеленый оазис, где билась свежая жизнь. То был двухэтажный особнячок в тени старых, пахучих лип. Здесь былолюдно, шумно и весело. На двери особняка висела металлическая дощечка с надписью: «Народный суд».

Мы вошли. Большой, нарядный зал с позолоченной люстрой был полон народа. Слушалось дело об алиментах.

Ответчик, молодой еще парень, с глупым, рябоватым, лошадиным лицом, в новом пиджаке и при галстуке — узел галстука чуть не подпирал ему подбородок, — держался с независимой мужской грацией.

— Ничего не знаю, — твердил он, шаря глазами по стенам и потолку. — Мы с ей чисто по-товарищески вращались.

Истица, худенькая, с испуганным желтым личиком, вела себя так неуверенно и робко, словно и сама не верила, что этот роскошный холуй в самом деле одарил ее своей близостью. Она не плакала, как-то тихо сочилась слезами. На вопрос судьи: при каких

обстоятельствах сделал ей ответчик ребенка, она чуть слышно проговорила:

— На мосту, где ж еще, — подняла голову и впервые улыбнулась.

Но самым любопытным на суде была не эта пара, а маленькая, черноглазая, худо одетая девчонка, по виду разнорабочая, принимавшая во всем происходящем необычайно живое участие. Она то и дело подавала реплики, подсказывала истице, перебивала ответчика и в конце концов вступила в спор с судьей. Спор завершился тем, что ее оштрафовали на двадцать пять рублей. Но она не уgomонилась и после этого: не успел суд удалиться на совещание, как она громко крикнула жене ответчика, под статью ему рябоватой, крупной и тяжелой в кости молодайке:

— Ну, Маня, теперь тебе Колька не нужный. Четверть снимут — не гуляй зазря!

А затем, повернувшись к сидящей рядом со мной женщине:

— До чего ж я эти суды люблю!.. Поглядишь на чужую жизнь, вроде бы и сама пожила!..

Мы снова вышли на улицу. Больше в городе смотреть было нечего — тюрьма и суд, вот два места, где сосредоточивалась его жизнь. Мы поплелись назад к тюрьме. Зеленый обод вокруг высоких каменных стен был по-прежнему усеян людьми, большинство спало, кто лежа, кто сидя, но каждый и во сне придерживал рукой свою посылочку.

Я глядел на них и думал: что за странная условность согнала сюда со всех концов Московской области этих разных людей! Кто-то и зачем-то, словно ножом, рассек народное тело, объявив одну его часть виновной перед другой. Но и сидящие там, за каменной стеной, и томящиеся тут, под стенами, равно знают, что никакой вины нет. Знают это и те, что охраняют заключенных, и те, что арестовали их, и те, что обвиняли их в несовершенных преступлениях; знают это и те, что будут судить их и засудят, и те, что погонят их по этапу, и те, что с винтовкой в руках обхаживают колючую ограду лагерей. Знают все от мала до велика, от ребенка до старца, но, словно сговорившись, продолжают играть в эту зловещую игру.

Около шести вечера ворота тюрьмы приоткрылись, и грубый голос коменданта гаркнул:

— А ну, давай, что ли!..

Нас давили, толкали и мяли, и мы тоже давили, толкали и мяли, и все это почти в полном остервенелом молчании. Как и все, мы сдали свою передачу, затем, опустошенные, будто обманутые в чем-то, полпеллись назад к станции.

Там, где мостки делают крутой поворот, перед нами, в широком распахе, открылся монастырь-тюрьма, облитый розовым закатом. И почему-то лишь сейчас, после целого дня, проведенного возле тюрьмы, я почувствовал вдруг, что там, за стенами, так близко и так недосыгаемо, находится мой живой отец с его смугловатым, монгольским лицом, с его улыбкой, его словечками, его неумелыми маленькими руками, родной, бедный человек, которому я ничем, ничем, ничем не могу помочь.

Верно, и мама испытала сходное чувство, она старательно отворачивала лицо, но я видел, как морщилась ее щека. А затем было долгое ожидание поезда, и три огня, налетевшие из сгустившейся тьмы, и грубая толкотня посадки, и тьма, и духота вагона, и отчаянная усталость на выходе, когда, казалось, не станет сил добраться до дома. А потом было счастье, неслыханное, небывалое, ошеломляющее. Дверь нам открыла Дашура, непривычно чистая, прибранная, с выбритой верхней губой, в новом фартуке, она молча распахнула дверь в мамину комнату, и нас ослепил стол, застланный белейшей, туго накрахмаленной скатертью, на столе среди всевозможной снеди, от зернистой икры до шоколадных конфет, искрились бутылки дорогих вин. И раньше, чем мы успели осознать случившееся, из темной глубины комнаты в свет, в жизнь, в наши души ступил освобожденный из тюрьмы отчим. И, впервые поверив в Того, кому я так часто молился, я шагнул в отгороженный шкафом угол комнаты, где на стене висел фарфоровый умывальник, с силой ударил себя щепотью в лоб, проговорил: «Миленький боженька!..» — но, растеряв все слова, припал лбом к холодной глади умывальника и зарыдал.

Через три месяца отца судили. Суд, пусть при закрытых дверях, был редкостью в то время. Подобные дела обычно решались в застенках Лубянки. Отец удостоился чести быть судимым, потому что его виновность не вызывала сомнений.

В канун майских праздников отец трудился над

составлением квартального отчета. Его сотрудники были заняты обычным предпраздничным бездельем: развешиванием гирлянд, лампочек, портретов. Когда в его кабинет внесли третий по счету портрет, отец, выведенный из терпения, сказал, что портретами квартальному отчету не поможешь. И всё.

Следствие затянулось — попутно отца обвинили в поджоге торфяных разработок. Хотя во время торфяного пожара отец находился в Москве, следовательно упорно отказывался считать это доказательством его невиновности. У отца открылось тяжелое психическое заболевание, его поместили в Институт судебной психиатрии. Там его подвергли строжайшему исследованию, даже прокололи его бедное тело, чтобы взять спинно-мозговую жидкость, после чего признали психически здоровым. По счастью, следовательно успел за это время подыскать другого «поджигателя», не сумевшего бежать в болезнь, и отец стал для него неинтересен. Дело передали в суд.

Мама, отчим и дядя Боря, продежури́в целый день у подъезда суда, видели, как выводили отца по окончании слушания дела.

— Семь и четыре! — счастливым голосом крикнул отец.

Это означало семь лет лагеря и четыре года поражения в правах. Перед тем как захлопнулась дверца «черного ворона», отец с тем же радостным видом помахал им барашковой шапкой. Он был уверен, что его приговорят к расстрелу.

8. Ленинград

Зимой сорокового года я получил разрешение свидеться с отцом. Он находился в ту пору в концлагере под Кандалакшей, в местечке Пинозеро. С двумя большими чемоданами, набитыми вкусной едой и теплой одеждой, я отправился в Ленинград, чтобы переждать там на «Полярную стрелу».

Я ехал в эту дальнюю поездку, дальнюю не столько расстоянием, сколько необычностью конечного пункта, расположенного за Полярным кругом, в это первое в моей жизни самостоятельное путешествие, без живого, осязаемого представления о встрече

с отцом. За три года я отвык от него, к тому же из мальчика я стал мужчиной, из школьника — студентом, из неуверенного, мятущегося бумагомарателя — профессиональным литератором, и предполагал найти в нем что-то новое, незнакомое мне. Предстоящая встреча была уравнением с одним неизвестным, и я никак не мог решить его. Порой, лежа на верхней полке мчащегося сквозь зимнюю, метельную ночь поезда, я представлял себе вдруг, что встречу своего прежнего, московского, иркутского, саратовского папу, и меня обдавало теплом и нежностью, но мое изменившееся «я» тут же вносило в это представление какую-то поправку, знакомый образ расплывался, исчезал, оставлял после себя неприятную пустоту и холод, и в конце концов я совсем перестал думать о цели своей поездки. Я просто ехал, куда, зачем — неизвестно. Поезд раскачивался, дрожал, лязгал буферами, то убыстрял, то замедлял ход, за окнами пробегали огоньки, и в этом движении, в этой тряске, в этих набегающих и исчезающих огнях и был весь смысл моей поездки. Иного я не знал.

Заснул я под утро и не успел вработаться в сон, как захлопали двери, вагон словно продуло сквозняком, и в знобящей свежести вошло в меня: «Приехали — Ленинград».

Сдав чемоданы в камеру хранения, я вышел на привокзальную площадь. Меня поразило, что Московский вокзал — точная копия нашего Ленинградского. Города открываются человеку по-разному, иногда с первого взгляда, иногда для этого нужна долгая жизнь. Я очень много ждал от Ленинграда, подобное чувство всегда соседствует с противоположным, и потому я был настроен на неприятие города. Я бессознательно сопротивлялся тому новому, волнующему, сильному, что мог внести Ленинград в мою жизнь.

Вокзал оказался своего рода амортизатором, он как-то сразу поставил город в разряд привычных вещей. «Ничего страшного» — так можно назвать ощущение, с каким двинулся я вниз по Невскому проспекту. Любопытно, что Невский я отыскал безотчетно, не спутав его ни со столь же широкой Лиговкой, ни с другими улицами, выходящими на вокзальную площадь, так же безотчетно угадал я и верное направление: к Адмиралтейству.

День был серый, пасмурный, похожий на наши

московские сумерки. Я шел по Невскому, радуясь, что я один в чужом городе, сам себе голова, что город спокойно и просто принял меня в себя, что на худой конец позади знакомое здание вокзала, от которого прямая, длиною в ночь, дорога ведет к другому такому же зданию, но уже в моем, привычном мире.

Уравновешенный, самостоятельный путешественник заходит в кафе, заказывает омлет с ветчиной и сосиски, стакан какао и стакан кофе со сливками, съедает и выпивает все это, расплачивается и идет дальше, еще более уверенный в себе, ничего не страшящийся.

Он спокойно радуется коням Клодта, снисходительно узнает Казанский собор, но блеск Адмиралтейской иглы, зажегшейся вдруг в январской хмари, слишком остро колет его в сердце. Он не замечает, что шаг его делается быстрым, дыхание прерывистым, что он почти бежит, натываясь на прохожих и забывая извиниться, что он уже схвачен, заколдован этим городом, схвачен и заколдован навсегда, на всю жизнь.

Когда я ехал в Ленинград, то думал, что увижу красивые здания: дворцы, соборы, колонны, памятники побед. Но мне открылось нечто неизмеримо высшее: город как художественно организованное пространство. Меня восхитило и Адмиралтейство, и Зимний дворец, и здание Биржи, и арка Генерального штаба, но куда больше волновало меня то, что открывалось между зданиями, в прозоре арки, те перспективные прогляды,— не знаю как сказать иначе,— которыми на каждом шагу дарит Ленинград. Вторые и третьи планы — вот наиболее великолепное в этом городе, вот что делает Ленинград неисчерпаемым. Он построен не из камня, вернее, не только из камня: из неба, воды и воздуха, а это вечно обновляющийся материал...

9. Дорога на север

Утро застало меня на второй полке жесткого некупированного вагона «Полярной стрелы». Я открыл глаза и снова закрыл их, почти ослепленный нестерпимо ярким светом, пронизывающим вагон из окна

в окно. Вокруг нас пламенели в оголтелом блеске солнца не белые, а огнистые, мерцающие, швыряющие пучки золотых стрел, неправдоподобные снега. Порой, забывая даже их неистовый сверк, вспыхивали серебристые зеркала скованных льдом озер. Я вспомнил о цели своего путешествия, и совсем невероятным представилось мне, чтобы из этой сверкающей пустоты, снегов и льда мог возникнуть отец. Напрасно пытался я думать о Ленинграде — пронизанная светом пустота вокруг меня не желала поступиться и частицей своей власти. Она владела своей жертвой безраздельно, вытесняя из нее даже память. Так лежал я без мысли и чувства, сам пустой, как этот простор, и незаметно для себя задремал.

Мой сон длился не более часа, но когда я вновь открыл глаза, все вокруг неузнаваемо изменилось. За окнами лежали сероватые, погасшие снега, над ними, словно их продолжение, выгибалось мутно белесое небо, чернели редкие, низкорослые сосенки и, будто кружочки свинцовой чайной обертки, тускнели пятки озер. Сумеречно было в вагоне, на нижней полке, наискось от меня, летчик в меховых унтах лапал худенькую молодую женщину в черной шелковой юбке, под которой обрисовывались острые коленки, в коротком жакетике и съехавшем на плечи шерстяном платке. Накануне, разыскивая свою полку, я обменялся с этой женщиной несколькими словами. Она ехала из-под Саратова на свидание с мужем, отбывавшим заключение в Сорокском лагере, и в Ленинграде сделала четвертую пересадку. У нее не было денег на постель, она провела ночь, свернувшись клубочком на голой скамье, подложив под голову плетеную корзинку. Эту корзинку с гостинцами для мужа она придерживала еще и руками, ломко вывернув их в запястье.

Летчик, хмельной, краснолицый, с тяжелым, свистящим дыханием, упорно и планомерно вел атаку. Очевидно, он знал, что ей сходить в Сороке и времени у него в обрез. Вначале, по наивности, мне казалось, что эта маленькая, решительная женщина успешно пресекает все его поползновения. Она била его по рукам, отталкивала, резко высвобождала плечи, порой вскакивала и с сердитым видом отходила к окну в коридоре. Но потом я заметил, что после этих схваток, кончавшихся, как мне казалось, ее побе-

дой, летчик неизменно завоевывал клочок жизненного пространства. Еще три-четыре ее победы, и одна рука летчика проникла к ней за пазуху и заворочалась там, лоя маленькие груди, а другая сквозь ткань юбки нащупала лоно. Я ждал, что она закричит, призовет на помощь и уже прикидывал мысленно свое участие в предстоящей свалке, но она сидела тихо, оборотив лицо к окну, с видом полного непричастия, затем вдруг вырвалась и пошла по коридору в тамбур. Летчик шумно вздохнул и последовал за ней.

Когда они вернулись, было ясно, что она одержала последнюю и решительную победу над летчиком. Его красное лицо побледнело, глаза задернулись сонной влагой, он зевал и отдувался. Казалось, они раззнакомились. Он сразу завалился спать, сыто захрапев, а она с озабоченным видом принялась перебирать свою корзинку. Только раз отвлеклась она от своего занятия, чтобы поправить на летчике сползшую шинель. А затем была большая станция Сорока, гурьба пахнувших морозом мужчин, отчаянно и радостно хлынувших в вагон, и срывающийся, взхлеб, крик маленькой женщины, крик любви, жалости и счастья:

— Вася!..

И долгое, долгое объятье.

Подхватив на плечо плетеную корзинку, небольшой, коренастый, усыпанный веселыми веснушками Вася гордо и счастливо повлек к выходу свою верную подругу.

Теперь за окном бежали сопки, поросшие карликовыми соснами, промелькнула станция «Полярный круг», скоро и мне сходить, а я все не могу поверить, что эти дали, снега, вся эта чужеродность обернутся отцом.

С таким ощущением, будто играя в какую-то странную игру, выволок я чемоданы в тамбур и, когда поезд причалил к маленькой, занесенной снегом платформе, спрыгнул вниз. Я не успел оглядеться, как вокруг зазвучал звонкий женский смех, замелькали молодые, милые женские лица, меховые шубки, шапочки, шелковые чулки, ботики. Это было похоже на сказку. Чуждый, враждебный мир нежданно окунул меня в тонкую, благоуханную атмосферу женственности. Откуда, кто они, так легко и празднично одетые, что делать им в этом суровом, невеселом месте?

— А ну, посторонись! — послышался крик, и мимо моего лица мелькнул приклад винтовки. Я ша-рахнулся в сторону. Между мной и стайкой женщин оказалась полоска пространства, и теперь, со стороны, я увидел, что такая же полоска отчуждения отделяет их ото всех и вся на платформе. И тут нет никакой отвлеченности: нарядная, смешливая, щебечущая стайка женщин окольцована конвойными с примкну-тыми штыками.

— Сергей Дмитриевич! — услышал я вкрадчи-вый голосок. — А меня ваш батюшка прислал.

Передо мной стоял небольшой мужичонка в тулу-пе, справных валенках и шапке с лисьей опушкой. Широкоскулый, хитроватенький, с редкой бороден-кой, он напоминал коненковского полевика. Не уди-вившись ни его появлению, ни тому, что он знает меня по имени, я спросил, кто эти женщины.

— А указницы, — сказал полевичок. — Это кото-рые на работу опаздывали... Давайте-ка ваши чемо-данчики.

Я отдал ему чемоданы. Не так давно был опубли-кован указ о том, что опоздавшие на работу свыше двадцати минут будут караться заключением в испра-вительных лагерях сроком на один год. Я и в мыслях не допускал, что указ будет применяться на практике. И вот я увидел его в действии. Похоже, и женщины не очень-то верили, будто все это всерьез. Иначе разве пустились бы они в путь в шелковых чулочках, ко-ротких шубках, модных маленьких шапочках и не-греющих перчатках? Или их брали прямо со службы? Что же, и такое возможно.

— Смеются, — проговорил полевичок, кивнув на женщин, и сам как-то неприятно рассмеялся.

Мы двинулись широкой санной дорогой к темнею-щим невдалеке постройкам. Кругом была пустота, немного солнца и низенькие, разбросанные там и сям строения. Ничего грозного, зловещего или хотя бы странного. А потом я заметил словно бы нитку, по которой бегал солнечный луч. Нитка была натянута между нами и ближайшими строениями; приглядев-шись, я увидел над этой ниткой другую, затем еще и еще. И вдруг весь простор засверкал тоненькими, нитяными бликами. Эти блики забегали, заиграли и впереди, и справа, и слева, и дальше, вон у тех со-пок, и за той карликовой рощицей сосен-лилипутов.

С нашим приближением нити очернились, и их оказалось более десятка, туго и тесно натянутых одна над другой, и уже видно, что это вовсе не нити, а проволока с шипами колючек, и колючая эта огорожа со всех сторон охватывает строения, на которые мы держим путь. И тут наконец я понял, что весь простор, как шахматная доска, разграфлен на квадраты колючей проволокой, что передо мной во все концы простиралась гигантская клетка...

10. Встреча

Проверка документов и оформление пропуска на территорию лагеря заняли много времени. В Заполярье темнеет рано, уже зажглись многочисленные лампочки на столбах вокруг комендатуры, круглые, рыбы глаза прожекторов, венчавших сторожевые башенки, протянули в синеватый, призрачный сумрак свои длинные лучи, когда человек в овчинном полушубке, с наганом на боку, приказал терпеливо ожидавшемуся меня полевичку:

— Ступай за ихним отцом.

Полевичок быстро скатился с лестницы, а человек с наганом сказал мне:

— Можете идти на улицу. Его сейчас приведут.

Я вышел на «улицу» — неширокий коридор между двумя рядами колючей проволоки, — поставил на снег чемоданы и снова приготовился ждать. Но тут все произошло до странности быстро. Из проходной напротив комендатуры легко выбежал маленький человек в шубе с барашковым воротником и барашковой шапке, нахлобученной на затылок, за ним вразвалку вышел часовой с винтовкой, последним выюркнул знакомый мне полевичок.

— Сережа! — крикнул человек в барашковой шапке и легко, по-молодому, подбежал ко мне.

Мы поцеловались. Я, конечно, сразу узнал отца, он мало изменился, хотя несколько постарел, поседел, но я не был готов к встрече. Я не нашел образа нашей встречи в дороге, не смог представить его себе и здесь, во время долгого ожидания в комендатуре, к тому же меня связывало присутствие часового и юркого полевичка. Я как-то одеревенел. Я деревянно улыбался,

я поворачивался деревянно, я почти сердился на отца за его легкость, бодрость, громкую веселость.

— Познакомься,— говорил отец,— это товарищ Лазуткин.

Полевичок протянул мне из глубины рукава красноватую, обмороженную клешню.

— Хороший у меня сын? — весело и лбовно спросил отец.

— Очень хороши-с,— подтвердил Лазуткин и зачем-то подмигнул мне.

— Сын приехал! — крикнул отец какому-то прохожему человеку, тот кивнул и улыбнулся.

— Пошли, что ли... — проговорил часовой.

— Сейчас пойдем! — резко отмахнулся от него отец. — И вообще надоело! Неужели вы не можете оставить меня в покое?..

Что-то рабье пробудилось во мне.

— Пойдем,— сказал я недовольно,— чего нам тут стоять.

Отцу хотелось еще побыть здесь, на перепутье лагерных дорог, чтобы возможно больше людей увидели его замечательного сына, но он не умел противоречить тем, кого любил.

Мы пошли: впереди Лазуткин, нагруженный чемоданами, за ним мы с отцом, позади часовой.

— Кто этот Лазуткин? — тихо спросил я. — Твой денщик?

— Вроде. Я его подкармливаю, а он оказывает мне всякие услуги.

— Противный человек!

— Страшная сволочь! — Отец сказал это совершенно беззлобно. Он отнюдь не был лишен ни проницательности, ни понимания людей, но, угадывая низость окружающих, не руководился этим в своем к ним отношении. Тут не было слабости, скорее широта и рыцарственность характера.

— Ты нипочем не угадаешь, за что он сидит,— сказал отец.

— За убийство?

— Нет. За неуплату алиментов. Он троеженец. При том из раскольников. Любопытный тип.

— Надо что-нибудь дать ему?

— Ни в коем случае. Он только вчера обворовал меня на месяц вперед.

Мы подошли к маленькой фанерной избушке,

стоявшей в стороне от длинных, низких бараков лагеря. Часовой отпер висячий замок.

— Тут и устраивайтесь, — сказал он и сразу пошел прочь, неся за плечами острый, узкий блик штыка.

Лазуткин втащил чемоданы. Я щелкнул выключателем. Слабенькая лампочка под потолком тускло осветила деревянные нары, фанерный, на одной ноге, столик, железную печурку с трубой, похожей на самоварную, поленницу березовых дров, заледенелое окошко и обросшие бахромчатым инеем стены.

Лазуткин топтался в сенях, громко сморкаясь.

— Может быть, поднесем ему рюмочку? — предложил я.

— Ты привез спиртное? — испуганным голосом сказал отец. — Это стро-жай-ше запрещено!

— Ну, и черт с ним, что запрещено! Не выбрасывать же марочный коньяк и коллекционный портвейн!

— Выбрасывать, конечно, жаль. Надо спрятать.

Мы поспорили. Я несправедливо обвинил отца в трусости. В живом непосредственном общении с людьми он ни в чем не изменял себе, своей внутренней свободе, а это и есть смелость, но он сызмальства привык уважать законы. Так был он воспитан. Я же был воспитан иначе. Стоило отцу заспорить с часовым, как во мне тут же заговорила рабская покорность, но к отвлеченной форме насилия — закону — я не питал ни малейшего почтения. Кончился наш спор тем, что бутылку вина мы решили не прятать и завтра распить с приятелями отца, а коньяк и большой флакон тройного одеколона зарыть в снегу.

Сунув одеколон в карман, а коньяк за пазуху, я вместе с Лазуткиным отправился «на дело». Мы держали путь на барак. Вдруг искристую белизну снега лизнул сиреневый язык прожектора, и Лазуткин сдавленно крикнул:

— Нащупали!.. Ложись!..

Мы вжались в снег, затем поползли куда-то в сторону, провалились в яму, выбрались, сделали короткую перебежку, снова распластались на снегу и снова ползли, снова падали, снова бежали, пока Лазуткин не сказал:

— Будя! Можно закапывать. Тут место приметное.

Приметным это место было только для Лазуткина. Вернувшись в фанерный домик, я не мог объяснить отцу, где мы схоронили коньяк и одеколон.

— Ничего, Лазуткин помнит, — сказал я наивно.

Позднее выяснилось, что Лазуткин место «запамятовал». Всю игру с перебежками он затеял лишь для того, чтобы запутать меня. Несомненно, отец это сразу понял, но не подал виду.

— Вот и отлично! — сказал он нарочито довольным голосом. — Ну, здравствуй еще раз. — И поцеловал меня холодным, твердым ртом.

Не знаю почему, я как-то странно засуетился. Открыл зачем-то оба чемодана и стал вытаскивать еду, теплые фуфайки и кальсоны, и все это грудой сваливая на столик.

— Ты ешь... — лихорадочно говорил я. — Вот ветчина, вот сыр, хочешь, откроем икру?..

Отец мягко отказывался: он только что пообедал. Кормят здесь неважно, но начальник планового отдела берет для него еду в столовой для вольнонаемных. Там нету, конечно, таких прекрасных вещей, какие привез я, но, в общем, еда сытная и доброкачественная...

— Это тебе надо поесть, ты, наверное, проголодался в дороге.

— Нет, я не хочу, а ты ешь, — упрашивал я. — Смотри, какая телятина, это Дашура жарила... А вот носки, их Липочка вязала, специально для тебя... — Я совал ему телятину и носки, мне хотелось, чтобы он сразу съел всю еду и сразу надел на себя все привезенные мною теплые вещи. Мне не терпелось воочию убедиться в нужности моей поездки. Я не понимал, что самый приезд мой куда важнее для него, чем все эти вкусные вещи, носки и фуфайки. А затем мне попался под руку «Молодежный альманах» с первыми моими произведениями, я сунул его отцу и потребовал, чтобы он прочел рассказ «Бич». Сейчас же, немедленно.

— Я читал. Прекрасный рассказ. Мне прислал этот «Альманах» дядя Боря. — Но, — поспешно добавил отец, — очень хорошо, что ты привез второй экземпляр, мой совсем истрепался. Ты ведь самый популярный писатель в Пинозере... Знаешь, — сказал

он вдруг,— давай затопим печку, а потом начнем пировать.

И когда он сказал это, я вдруг каждой жилкой почувствовал, как холодно здесь. Мое лихорадочное состояние, помимо других причин, было вызвано подспудным, недопускаемым до сознания страхом, что нам не выдержать долго в этой ледяной фанерной могилке.

И мы занялись печью. Если верно, что на все дела человеческие взирает сверху дремлющее око, то оно должно было увлажниться слезами при виде немощных наших потуг. Нет и не было на свете людей, которым материальный мир был бы столь недружелюбен, как нам с отцом. Наши схожие руки, не произведшие никогда даже простейшего жизненного добра, бессильно хватались то за обледенелые чурки, то за спички, то за обрывки бумаги, набросанной на полу. Сначала мы до отказа набили узкий зев печки цельными полешками и попытались их зажечь. Но спички гасли, едва приблизившись к ледяным чехольчикам поленьев. Тогда мы напихали в печку бумагу и подожгли. Бумага вспыхнула и, зашипев, погасла, пустив струю едкого, вонючего дыма.

— Знаешь... — сказал отец, маскируя свою тревогу деловой озабоченностью,— надо расколоть поленья на мелкие лучинки, тогда получится.

Возле печки валялся ржавый, без ручки, тупой косарь. Отец взял полено, неловко пристроил его стоймя и ткнул косарем. Полено упало, и косарь, вывернувшись из окоченевших пальцев, отлетел в сторону.

— Дай, я попробую.

С большим трудом мне удалось отколоть тоненькую лучину.

— Отлично! — сказал отец, подобрав лучинку.— А ты мастак!

Еще несколько ударов, и в руках отца оказалось три-четыре лучинки.

— Отдохни,— сказал отец.— Я сам займусь печкой.

Освободив топку от поленьев, он сложил там лучинки крест-накрест, подсунул клочок бумаги и чиркнул спичкой. Бумага занялась, лучинки зашипели, по ним с веселым треском забегал огонек.

— Ну вот! — сказал отец, потирая руки. — Сейчас мы хорошенько протопим наше бунгало и сядем ужинать.

Я отщепил еще две-три лучинки, а затем то ли косарь наткнулся на сук, то ли не знаю уж отчего, но полено перестало колотиться. Я отшвырнул его прочь, выбрал другое, но тут наши щепочки, не прогорев, погасли.

— Надо побольше бумаги, — сказал отец, — дрова слишком промерзли.

Все привезенные мною продукты были плотно завернуты в бумагу, и этого добра оказалось сколько угодно. Вскоре у печки выросла целая бумажная горка.

— Знаешь, — сказал отец, — по-моему, мы великолепно можем отапливаться одной бумагой.

Быстро заполнив печку этим легким, надежным топливом, мы развели славный огонь. Как радостно было смотреть на яркое, шумное пламя, длинными языками рвущееся из топки. Но не прошло и минуты, как вся бумага выгорела, не родив никакого прибывтка тепла. Я бросил взгляд на отца и тут же отвернулся, у него было такое лицо, будто он сейчас заплачет.

И тут к нам явилось спасение. Тощая фанерная дверь студено взвизгнула, и в щели возник клочок густой, смутно шевелящейся тьмы. Но такой был холод в нашем фанерном домике, что мы не почувствовали дыхания окованной морозом ночи. Вслед затем дверная щель заполнилась чьей-то рослой фигурой, и в комнату ступил человек в полушубке, бурках и теплой ушанке.

— Здравствуйте, — сказал человек. — Ну, и холодище у вас, хуже, чем на улице. Ты что же, решил поморозить сына? — обратился он к отцу.

— Печка не топится, — смущенно пробормотал отец. — А вы что — дежурите?

— Дежурю... Случайно услышал, что к тебе сын приехал, вот и зашел проведать, как вы тут... А ну, собирайтесь, я вас в баню провожу, сегодня для указниц топили.

— А можно? — неуверенно проговорил отец.

— Дмитрий! — сурово оборвал его вошедший. — Я сказал — всё!

Дежурный явно рисовался, и рисовка его адресовалась ко мне, человеку с воли. При всей своей нео-

пытности я сразу это почувствовал, но был так ему благодарен, что даже простил его фамильярное обращение с отцом. Я быстро покидал в чемоданы продукты и вещи, и мы вышли на серебристый, звонко скрипящий снег. Какие-то светящиеся, зыбкие тени бродили по черному, в редких звездах небу. Я спросил: что это?

— Северное сияние,— глухо проговорил за моей спиной отец.

Мороз склеивал губы, пресекал дыхание, жестко растягивал кожу по скулам, сжимал виски, мозжил пальцы, и, когда мы подошли к бане, я не чувствовал ни лица, ни рук, ни ног.

Наш проводник распахнул одну дверь, затем другую, в глаза ударило, ослепив, густым банным паром.

— Вот лярвы! — выругался проводник.— До сих пор возятся. Сейчас я их турну!

Пар расцедился, и я понял, к кому относились его слова. Мы стояли в предбаннике, набитом полураздетыми и вовсе раздетыми женщинами. Иные отжимали влагу с мокрых волос, иные вытирались тощими полотенчиками, иные застегивали лифчики, тесно сводя лопатки, другие надевали через головы юбки, натягивали чулки, штаны, а те, что уже оделись и обулись, увязывали грязное белье. Но все они, и полуодетые, и раздетые, не обратили ни малейшего внимания на приход троих мужчин. Ни одна не отвернулась, не изменила позы, не прервала начатого движения. И когда наш спаситель, подойдя к ним, велел поторапливаться, они оставались все так же слепы, глухи и немые, и в этой их безучастности к окружающему было что-то зловещее.

— Несчастные женщины,— вполголоса сказал отец.— Это опоздавшие на работу, или, как их тут называют, указницы.

— Мы приехали одним поездом!

Невольно я еще раз взглянул на женщин, но эти молчаливые, бесстыдные, с грубыми, обветренными и распаренными лицами купальщицы как-то уж очень не походили на виденную мною днем веселую, пеструю стайку. К тому же одежда на тех, кто успел ее натянуть, была скверная, грубая, рваная: бумазейное белье, бумажные чулки, ватники, сапоги, валенки.

— Нет,— сказал отец,— сегодняшняя партия уже прошла санобработку. Это — старички.

— Что значит «старички»?

— Ну, давно прибывшие.

— То-то я вижу... Те, что сегодня приехали, совсем иные,— сказал я.— Настоящий цветник.

— Эти выглядели не хуже,— грустно сказал отец.— Их помещают с уголовниками, через месяц ни одну не узнать. Раздетые, разутые, замученные, опустившиеся... Уголовники насилуют их, проигрывают друг другу в карты. Потом тяжелейшие земляные работы... Сохраняются более или менее лишь те, с кем живет лагерное начальство.

Пока мы разговаривали, наш избавитель притащил откуда-то деревянный лежак, похожий на пляжный топчан, только вдвое шире, затем набитый соломой матрац, фанерный столик, такой же, как в нашем первом пристанище, две табуретки.

— Подозрительная любезность,— заметил отец.

— А кто он такой?

— Тоже большая сволочь,— задумчиво сказал отец,— но в другом роде, чем Лазуткин. Сидит за вооруженный грабеж. У него скоро кончается срок, и сейчас он за примерное поведение назначен младшим надзирателем. Это часто практикуется, но лишь в отношении уголовников.

Надзиратель-уголовник притащил большую лампу-молнию, поставил ее на стол и радушно пригласил нас присаживаться.

Тем временем последняя указница, обмотав голову платком, покинула предбанник. Я полагал, что теперь мы останемся одни, но не тут-то было. Наш благодетель, сняв шапку с темных кудрей, мятежно рассыпавшихся вокруг его смуглого, резко очерченного лица, расстегнул полушубок и подсел к столу.

— Как поживает наша белокаменная? — спросил он меня светским тоном.

Дальше произошло то, о чем я до сих пор стыжусь вспоминать. То рабье, что пробудилось во мне, когда отец обрезал часового, завладело мной безраздельно. Дело тут было не в благодарности. Этот человек, соединявший в себе престиж начальства с обаянием бандитизма, покорила, подавил, смял меня. Отца больше не существовало. Бессильный держаться на вер-

шинах нашей светской беседы, он словно провалился в далекое, захолустное прошлое. Этот бандит-надзиратель оказывал свои любезности не из грубой корысти. Он знал, что я писатель, и потому, считая меня человеком своего круга, хотел отдохнуть в разговоре о разных тонкостях, которых давно был лишен.

— Что новенького у Лёни? — спрашивал он. — Как Одесса-мама?

Я никогда не бывал на концертах Леонида Утесова, но память у меня — как липкая бумага.

— Он выступает сейчас в ЦДКА, в новом здании. Зал огромный, а голос у старика сами знаете. Только микрофон и выручает, — говорил я тоном знатока. — Сейчас сделал новую программу, о москвичах.

— Есть что-нибудь хорошенькое? — щурясь, спрашивал мой собеседник.

— Блюз «Дорогие мои москвичи» — еще куда ни шло, а так слабовато.

— Я знаю, Москва по Рознеру обмирает, — сказал он с улыбкой.

Я и в глаза не видел Рознера, но липкая бумага выручила и тут.

— Ну, Рознер! Европейская школа! Третья труба в мире!

— В мое время, — робко вставил отец, — пользовалась популярностью певица Степовая. Она больше не выступает?

— Что-то не слышал такой, — отмахнулся я. — Сейчас Рачевский в ход пошел.

— На Капе, на жене своей выезжает, — усмехнулся мой собеседник. — Понятно! А как старик Варламов? «И в беде, и в бою об одном всегда пою...»

— «Никогда и нигде не унывай», — фальшивым голосом подхватил я. — Старик дышит, но уж не тот.

— Простите, — снова вмешался отец. — Но ведь Варламов давно умер?..

— Это не тот Варламов! — И чтобы скрыть неловкость, вызванную бестактным замечанием отца, я ринулся к чемодану. — Угощайтесь, тут все московское! — И я щедро вывалил на стол мандарины, апельсины, сыр, ветчину, хлеб, масло, икру. — Папа, угощай товарища!..

Отец отнесся к моему призыву без всякого воодушевления, он пробормотал что-то невнятное и даже сделал попытку убрать часть продуктов в чемодан. Я сгорал от стыда. Но гость словно не заметил отцовской холодности, он взял мандарин, очистил его и отправил в рот.

— Вы не представляете, насколько мы тут оторваны от настоящей культуры,— сказал он.— Как только вернусь в Москву, в первый же день в «Эрмитаж»! — Большими, сильными пальцами он взял еще один мандарин и разом освободил от золотистой одежды его нежную плоть.

Отец напряженно следил за ним. Я не знал, куда деваться. По счастью, в предбанник вошли две женщины: пожилая и молодая, в темном, монашеском одеянии и темных платках. Ни слова не говоря, они опустили на лавку и принялись разматывать платки.

— Эй, бабоньки! — окликнул их наш гость.— По какому вы делу?

Женщины не ответили, продолжая разоблачаться, тогда он выпростал из-за стола свое крупное тело и пошел к ним.

— Неужели тебе жалко, если он съест мандарин? — укоризненно сказал я отцу.

— Конечно, жалко,— ответил он просто,— мама тратилась, старалась не для того, чтобы кормить этого холуя.

Изгнав женщин, надзиратель вернулся к столу.

— Монашки,— бросил он вскользь,— попариться захотели. Ну, отдыхайте, я пошел в обход. А чтоб вам не мешали, я дверь запру. Спокойной ночи.— И, небрежно прихватив мандарин, он вышел из предбанника.

И вот погашена лампа-молния, только с потолка тускло-тускло светит из-под сгустившегося там пара слабенькая электрическая лампочка. Из бани наддает мокрым деревом, мыльной слизью, но запахи какие-то теплые, и тепло под шубами рядом с худым, деликатно съезжившимся на самом краю лежачка телом отца. Все дурное, глупое, грубое, мелкое уходит из меня, во мне остается лишь нежность, бесконечная, до слез нежность к родному телу, приютившемуся близ меня. Это чистое, безобманное, детское чувство. И как в детстве, когда отец брал меня

к себе в кровать, я осторожно и преданно обнял его за плечи.

— Сыночка моя, — со страшной нежностью говорит отец, и мы засыпаем, наконец-то встретившись...

11. День, прожитый вместе

Это был один из самых счастливых дней, прожитых мною вместе с отцом. Он и начался с удачи: мне удалось благополучно пронести бутылку вина через сторожевой пост. Отец очень беспокоился, что меня накроют, большая, литровая бутылка заметно выпирала в пазухе шубы, но охранник, даже не глянув на меня, надорвал пропуск и махнул рукой: проходи!

В этой части лагеря находились разные учреждения, в том числе и плановый отдел, где отец работал экономистом. У него был отдельный письменный столик, и отец запер бутылку в тумбочку стола.

Постепенно стали собираться сотрудники, и тут отец полностью взял реванш за вчерашнее. Радостно и торжественно знакомил он меня с сослуживцами. Вначале меня смущала эта церемония, но каждый из моих новых знакомых проявлял такую искреннюю, неподдельную сердечность и заинтересованность, что вскоре я почувствовал себя легко и непринужденно. Я нес с собою запах воли, я принадлежал запретному миру свободы, и доброта, приветливость этих людей относились не лично ко мне, а ко всему, что осталось за колючей проволокой.

Они не завидовали отцу, скорее испытывали благодарность за то, что по его милости явился посланец о т т у д а. Впрочем, для одного человека я представлял и личный интерес. Это был младший экономист Гурьев: низенький, квадратный, с круглым, лысым черепом и сказочной черной бородой, веером лежащей на груди. Он поманил меня пальцем к своему столу, воровато огляделся, достал из ящика толстую тетрадь в клеенчатой обложке, развернул и протянул мне.

«Но я не взял бич, — читал я каллиграфические строки. — Мне не хотелось властвовать над этим миром, таким непрочным и хрупким, таким близким страданию и смерти, и где никакой силой не вернешь жизни, отнятой одним ударом бича».

Это была концовка из моего рассказа «Бич». Я почувствовал волнение.

— Вы писали для нас, — шепнул мне Гурьев. — Ваш отец называет мою тетрадь — «Ума холодных наблюдений и сердца горестных замет». Здесь запечатлено все самое дорогое.

Я все еще держал тетрадь в руках. На другой странице тем же мелким и четким почерком были «запечатлены» стихи:

На виноградниках Шабли
Пажи маркизу развлекали.
Сперва стихи ей прочитали,
Потом маркизу...—

но без многоточий.

Кроме бородатого карлы, в одном помещении с отцом работали: плановик Харитонов, рослый, неуклюжий человек в коротенькой бумазевой толстовке, которую он поминутно одергивал на зад, и секретарша-машинистка, глупорожая, с носом пуговкой и необыкновенно красивой фигурой. Вызывало даже раздражение, что к такому редко и радостно красивому телу приставлена бессмысленная тыква. Она была вольнонаемной и жила в поселке. Когда нас познакомили, она задержала мою руку в своей и сказала с глуповатой улыбкой:

— А у нас сегодня танцы в клубе.

— Может быть, ты пойдешь? — самоотверженно предложил отец.

Стараясь не опускать взгляд ниже безвольного, расплывшегося подбородка секретарши, я стойко отверг приглашение.

Познакомился я и с начальником отдела, также вольнонаемным — пожилым, глуховатым и очень симпатичным. Не зная, чем выразить мне свое расположение, он потащил меня в буфет, где я накупил груды пирожков с повидлом.

Да, это был счастливый день, он светится в памяти каким-то особым светом, но сказать, что же было в нем такого замечательного, я, право, затрудняюсь.

Отец работал, а я тихо сидел возле него. Маленькие, смуглые руки отца то крутили ручку арифмометра, то быстро орудовали счетной линейкой, то щелкали костяшками счетов. Полученные цифры он заносил в разграфленный лист бумаги. Наверное, то

была самая обычная, каждодневная его работа, но мне казалось, что он делает очень важное, ответственное, непосильное никому другому на Пинозере. Меня восхищало, как он работает: быстро, четко, уверенно. Порой отец отрывался от своих расчетов и спрашивал меня о ком-нибудь из домашних или о Москве. Я коротко отвечал. Может показаться странным, но мы не испытывали тяги к большому, серьезному разговору, нам вовсе не нужно было много говорить, чтобы все понимать, все знать друг о друге. Достаточно было и того, что мы рядом, что никто не может нас сейчас разлучить. Было удивительно тепло на душе. Все вокруг казалось радостным, добрым, ладным. Радостно светило в окошке солнце с ярко-голубого, чистого неба, радостно стучал старенький «ундервуд», весело и радостно разыгрывали друг друга Гурьев и Харитонов. Мой приезд совсем выбил их из колеи. Два немолодых, знающих себе цену, тяжеловатых человека резвились, как котята: поминутно выскакивали из комнаты, приставали друг к другу и к секретарше, наперебой рассказывали старинные, соленые анекдоты и громко смеялись.

Только раз этот счастливый, ясный день был омрачен вторжением чего-то темного, тягостного. В обеденный перерыв сотрудники отправились в столовую, а мы с отцом налегли на московские бутерброды и местные пирожки с повидлом.

— Я давно хотел спросить тебя, — сказал отец, осторожно подгребая пальцами крошки. — Тебя с мамой приводили во внутреннюю тюрьму?

— Куда?.. — не понял я.

— Ну, на Лубянку.

— Нет! С чего ты взял? Нас вообще никуда не вызывали.

— Мне показывали вас, — тихо сказал отец. — Издали. Мама сидела на каменной тумбе, помнишь, у нас перед домом в Армянском такие тумбы, а ты стоял сзади...

Я взглянул на отца, у него было далекое лицо. Только что он был рядом, родной и близкий в каждой черточке, каждом движении, в добром взмахе ресниц, а сейчас, со своими странно вытаращенными глазами, полуоткрытым, сухо обтянутым ртом, он был бесконечно далек от меня, и я не мог последовать за ним

в это далекó. Мне стало страшно, и, чтобы не поддаться этому чувству, я сказал как можно небрежнее:

— Что за бред! Нас никуда не вызывали!

— Я видел вас,— повторил отец потеряннм голосом.— Я только не знаю: на самом ли деле вас мне показывали или то была инсценировка...

— Это галлюцинация, ведь ты же болел.

— Заболел я позже, а вас видел во время следствия, когда мне предъявили обвинение в поджоге. Они хотели мне внушить, что вас тоже расстреляют, если я не сознаюсь.

— Никуда нас не вызывали,— угрюмо повторил я.

— Ну, не будем об этом,— сказал отец мягко.

Я чувствовал, что он мне не верит. И все же был рад, что разговор прекратился. Меня страшило то, что могло открыться в этом разговоре, я не решался принять на свои плечи непосильный, быть может, груз. И до сих пор я не знаю, только ли болезнью объясняется странное видение отца...

Начальник отдела отхлопотал отцу разрешение вернуться в барак к двенадцати часам ночи. И вечером, когда закончился рабочий день со всеми его сверхурочными, мы устроили пирушку. Кроме нас с отцом, в пирушке приняли участие верный Лазуткин и дежуривший по отделу Харитонов. Лазуткин сбегал в барак за бутербродами, затем жарко растопил печь и завесил окно своим полушубком.

Бутылку мы поставили под стол в кабинете начальника, а закуску — хлеб с ветчиной и сыром — каждый держал в кармане. Тут выяснилось, что у нас нет стаканов. Хотели было снова послать Лазуткина, но побоялись: народ в лагере больно смекалист. Решили пить из горлышка. Долго спорили, кому идти первым в кабинет начальника. Мы все настаивали, чтобы шел отец, но он упорно отказывался. Наконец Харитонов с решительным видом одернул толстовку и шагнул к двери. Отсутствовал он долго, и отец даже высказал предположение, что на этом наше пиршество кончится. Но вот Харитонов вышел с подобрешшим и чуть смущенным лицом. Оказывается, мы впопыхах не позаботились о штопоре, и он выковыривал пробку карманными ножницами.

— Славный какой портвейнчик! — растроганно сказал Харитонов.— Ну, иди ты, Митюша!

Отец проскользнул в дверь и очень скоро вернулся, утирая рот платком.

— Прекрасное вино! — сказал он с видом тонкого ценителя. — Напоминает «Лакрима-Кристи».

Теперь пришла моя очередь. Почувствовав странное волнение, точно я действительно совершаю невесть какой подвиг, я вошел в кабинет, достал из-под стола бутылку и приложился губами к горлышку. Я боялся выпить и слишком много, и слишком мало. Ну, еще глоток, еще полглоточка... Нежный жар прилил к сердцу. «Миленький боженька, сделай, чтобы отец был счастлив в жизни, сделай, миленький боженька!..» Я еще пригубил, провел рукой по глазам и спрятал вино под стол...

Верный Лазуткин заставил себя долго упрашивать, прежде чем согласился последовать нашему примеру.

— Мы к вину не приучены, — твердил он, скромно прикрывая рот рукой. Несмотря на этот предохранительный жест, от него сильно тянуло смесью сивухи с одеколоном. В своей растроганности я не сообразил, что Лазуткин успел ликвидировать наш тайник. Наконец он дал себя уговорить и вышел из кабинета, пунцовый, потный и какой-то ошалелый. Наверное, портвейн плохо ложился на коньяк и одеколон.

Снова пошел Харитонов, затем отец, и вот сильно полегчавшая бутылка вторично оказалась в моих руках. Я пью маленькими глотками, и с каждым глотком растет во мне что-то доброе и героическое. Мне видится, как наделенный необычайной властью, — откуда эта власть, неведомо, что-то тут от литературы, что-то от каких-то иных заслуг, — приезжаю я в лагерь за своим отцом. Все начальство высыпает мне навстречу, все заключенные глядят на меня с восторгом и надеждой. Я щедро, во всю полноту дарованной мне власти, награждаю тех, кто был хорош с отцом, караю тех, кто был недобр к нему.

— Самолет подан! — докладывает главный начальник, и мы с отцом направляемся к серебряной птице. Ревут пропеллеры, чекисты делают под козырек, мы летим к свободе, счастью...

Слезы застыт мне глаза, вино допито.

Когда я вернулся в общую комнату, Харитонов, жуя бутерброд, рассказывал какую-то любовную историю.

— Ты чувствуешь?.. — поминутно спрашивал он отца.

Мой добрый, деликатный отец, конечно, все чувствовал. Когда же захмелевший Харитонов добрался до победного финала, отец сказал:

— Мне это напоминает одну встречу в двадцать третьем году...

Я весь напрягся. Я понимал, что отец расскажет что-то совсем непохожее на грубые откровенности Харитонова и что звучать это будет провинциально и отстало, подобно его вчерашним расспросам о певице Степовой. Но не смущение владело мною сейчас, а яростная готовность дать отпор каждому, кто посмеет отнестись к отцу свысока. Я переводил вызывающий взгляд с Харитонова на Лазуткина. Мой отец имеет право быть таким, какой он есть, ему не к чему приспособливаться к окружающей низости. Но ни Харитонов, ни Лазуткин не дали мне повода вступить за отца, благополучно закончившего свою историю. И тут мне впервые пришла мысль, что отец куда более сильный, защищенный человек, чем мне кажется. Он сохраняет свою старомодность, как протест, он не желает подлаживаться к среде и всюду и всегда остается самим собой.

Около полуночи кто-то приоткрыл дверь. В прозеи мелькнул край серой шинели и ставший привычным торчок штыка.

— Баиньки вам пора, — деликатно заметил Лазуткин.

— Идем! — весело откликнулся отец, поцеловал меня и тихо сказал: — У меня очень хороший сын.

В дверях он обернулся и с лихим видом щелкнул пальцами. Этим несвойственным ему жестом он хотел показать, что все прекрасно: он славно выпил, несколько не раскис и в самом добром настроении идет ко сну. У меня сжалось сердце. Я понял, как тяжело ему расставаться со мной сейчас, на одну ночь, а ведь завтра нас ждет настоящая, большая разлука.

Едва Харитонов сдвинул столы, на которых нам предстояло спать, как в комнату вошла полумойка, молодая черноволосая женщина, похожая на цыганку.

— Ишь, панычи! — сказала она. — Нет уж, погодьте, пока я дело зрблю.

Женщина была немного костлява, но очень мило-

видна лицом: огромные темно-карие глаза под густыми ресницами, соболиные, вразлет брови, сочный, яркий рот. На голове у нее была марлевая повязка, захватывающая правое ухо.

— Это где же тебя угораздило? — спросил Харитонов, ткнув пальцем в повязку.

— С мужиком в снегу валялась, ухо отморозила, — с вызовом ответила женщина.

Плеснув из ведра на пол, она нагнулась и стала гонять тряпкой воду. Ситцевая юбочка тетивой натянулась между широко расставленных ног в коротких сапогах, тесно охватывающих полные икры. Харитонов подкрался и ущипнул ее под юбкой. Не оборачиваясь, женщина хлестнула его мокрой тряпкой. Затем распрямилась, локтевым сгибом откинула прядь волос с пунцового от прилива крови лица и лениво сказала:

— Отчепись! Все равно с тобой не пойду. — Пове-ла темным глазом в мою сторону и добавила: — Вот с молоденьким пошла бы.

— Очень ты ему нужна, — без всякой обиды ска-зал Харитонов. — Он с воли.

— С во-ли? — протянула женщина, и на ее краси-вом, лениво-нахальном лице мелькнула детская за-интересованность. — Какая же она есть — воля-то?

— Нешто забыла? — спросил Харитонов. — Ты ж недавно сидишь.

— Давно ль, недавно ль, а не помню, — усмехну-лась женщина. — Как пришли ваши, как начали орать, так и отшибло память. Ничего я теперь не помню, мужиков, с кем валяюсь, и тех не помню.

— А вы откуда? — спросил я.

— С Западной Украины, — ответил за женщину Харитонов.

— Я думал — вы цыганка.

— Это многие думают, — дернула плечами жен-щина. — Худа стала, как кляча, вот и цыганка.

— Да нет, ты еще в теле, — заметил Харитонов. — Хочешь сырку?

— Отчепись! — снова презрительно сказала жен-щина. — Сыром не купишь. Меня ничем не купишь!..

Харитонов достал из кармана недоеденный бу-терброд, затем вывернул карман, собрал в ладонь хлебные и сырные крошки и присыпал бутерброд сверху, как солью.

— Держи.

Женщина осторожно взяла бутерброд и вонзила в него белые ровные зубы.

Я улегся на стол, шапка под голову, шуба на покрывку. Все куда-то отодвинулось, остался лишь последний, прощальный жест отца и ниточкой боли потянулся за мной в сон. Спать на столе было жестко, и, ворочаясь с боку на бок, я на какой-то миг выскользнул из сна.

— Ну как я пойду, дурья голова? — услышал я будничным голос женщины. — У меня ж еще коридор не вымыт.

— А ты после коридора... Вымой коридор и приходи, — канючил счастье Харитонов.

— Ну, ладно...

12. Отъезд

В полдень следующего дня я сидел на пустом чемодане при дороге, ведущей из лагеря на станцию, и грыз кусок твердого, залежавшегося в кармане сыра. Час назад истек положенный срок свидания, и мне пришлось покинуть территорию лагеря. Но я еще не расстался с отцом. Нам было разрешено проститься в караулке в половине первого, когда начинался обеденный перерыв.

Те утренние часы, что мы были вместе, промелькнули с неестественной быстротой. Вначале нам казалось, что у нас времени вдосталь, и мы спокойно разговаривали о всяких далеких вещах: о моей первой учительнице немецкого языка Анне Федоровне, о наших бывших соседях по квартире в Армянском переулке, об улице Фурманова, куда мы с мамой переехали уже в отсутствие отца, о Гурьеве и Харитонове, словом, мы беседовали как люди, в чьем распоряжении вечность. А может, мы просто жалели и щадили друг друга? Слишком страшно было бы коснуться того, что нам предстояло. Неожиданно в дверь просунулась голова Лазуткина.

— Принес чемоданчик... — проговорил он словно бы в пустоту. Один из двух привезенных мною чемоданов я должен был взять с собой.

— Как, уже? — произнес отец, достал из кармашка часы и стал зачем-то крутить завод.

Взаимопомощь выручила нас и сейчас. Главное было — не видеть друг друга. Это совсем не просто: быть рядом, разговаривать, даже спорить, — отец настаивал, чтобы я взял с собой еду, я же решительно отказывался, — глядеть друг на друга и не видеть. Не видеть гримасы боли и слабости на лице родного человека, не отвечать на нее, чтобы не увеличить его муки. Мы с честью выдержали испытание.

Я попрощался с начальником отца, с бородатым Гурьевым, с Харитоновым, с Лазуткиным, с секретаршей, выполнил нужные формальности в караулке, а затем долго брел с противно пустым чемоданом в руках, пока меня не остановил ударивший с полей в грудь и лицо ветер. Тогда я сел на чемодан и, отворотившись от ветра, стал глядеть на колючую проволоку и сторожевые башни, похожие на грибы.

А потом я почувствовал вдруг сильный голод. Я обманул отца, сказав, что позавтракал в буфете, в этот день буфет почему-то был закрыт, но я не хотел, чтобы отец расточал на меня московские продукты. Теперь мне тоже было мучительно жаль и мандаринов, скормленных дежурному, и бутербродов, которыми я так щедро наделил Харитонova и Лазуткина. Тут я вспомнил о сыре, сохранившемся у меня от собственных дорожных запасов, достал его и, обдув соринки, начал грызть. Сыр оказался мне очень вкусным, но так усох, что даже мои крепкие зубы едва с ним справлялись. Я грыз его до самого прощального часа, о котором возвестил тонкий, похожий на свист в два пальца гудок.

Расставанье началось, как новое свидание. Встретившись в караулке, мы поцеловались, и отец сказал, точно увидев меня впервые:

— А ты выглядишь настоящим молодым мужчиной. Это самая прекрасная пора — молодость, куда лучше отрочества и юности.

Отец спросил меня, что я буду делать по возвращении в Москву. Я нарисовал ему великолепную картину моих каникулярных праздников. Я поеду в дом отдыха «Сатеевка», где меня уже ждет моя девушка Лиза. У меня будет отдельная комната, я же еду туда как полноправный писатель. Любовь, лыжи, бильярд и немного творчества — вот моя жизнь в «Сатеевке». Отец должен знать, что мне будет хорошо, очень хорошо, только это могло скрасить ему разлуку. Не

остался и он в долгу передо мной. Он разберет привезенные мною книги и составит себе программу чтения, кроме того, он намерен освежить в памяти английский язык... Жаль, что я не успел побывать у него в бараке, я бы убедился, что там отличная обстановка для занятий. Словом, каждого из нас ожидало столько неотложных, интереснейших дел, что мы почти мешали друг другу.

— Ну, распрощались? — принес стоящий рядом охранник и уронил ружье.

Приклад глухо стукнул в шаткий деревянный пол, и звук этот упал мне в самое сердце. Что-то оборвалось во мне, и сразу из глаз покатились слезы. Обычно плачу предшествует какое-то внутреннее борение, человек всегда — сознательно или безотчетно — сопротивляется слезам, а сейчас это случилось так, будто кто-то другой заплакал во мне.

И по щекам отца потекли слезы вдоль носа к страдальчески скривившемуся рту. Мы обнялись, поцеловались, затем еще поцеловали друг друга в мокрые лица и кинулись к противоположным выходам из караулки. Обогнув караулку, я увидел по другую сторону проволочной ограды отца. За ним бессмысленный и ненужный, с глупо выставленным вперед штыком едва поспевал часовой.

— До свиданья! — крикнул отец, приблизившись вплотную к проволоке.

— До свиданья! — крикнул я, тоже подбежав к проволоке.

С вышки что-то заорали на меня ли, на отца или на нас обоих. Мы двинулись вдоль огорожи, каждый по своей стороне, разделенные полтора-двумя метрами пространства, простеганного колючей проволокой.

Потом сугробы заставили меня забрать чуть в сторону, а какое-то невидимое мне препятствие принудило и отца отдалиться от проволоки, но мы все шли, шаг в шаг, и махали друг другу руками. Дорога увела меня еще дальше от проволоки, теперь я мог видеть отца лишь полуобернувшись; так я и шел, повернув назад голову, и видел, что отец следует за мной, то подымаясь на носки, то быстро пробегая вперед к просвету, а за ним тяжело шагает часовой с винтовкой под мышкой. Так шли мы, словно связанные невидимой цепью, шли, томясь и мучая друг друга, и не

в силах прекратить эту муку, пока отец не достиг конца клетки. Перед ним выросли ряды колючей проволоки, и он приник к ней, ловя меня последним взглядом. Я еще видел его лицо, хоть и смутно, затем лишь общий абрис фигуры, словно повисшей на проволоке, затем темное пятнышко меж сверкающих нитей, и это пятнышко задержалось надолго. Я подходил к станции, а оно все не исчезало, затем стало чуть приметной точкой, скорее угадываемой, нежели видимой, и вдруг эта точка пропала в легком сиянии, творившемся вокруг льдисто обмерзших шипов проволоки.

Я повернулся лицом к дороге и ветру. Ветер замораживал слезы на моих щеках, вскоре покрывшихся тонкой ледяной пленкой. А когда я вошел в помещение вокзала, чтобы купить билет, лицо враз оттаяло и стало мокрым, как после бани.

Но отец еще раз напомнил о себе, прежде чем я покинул Пинозеро. Я уже сидел в поезде, когда передо мной, словно из сказки, возникла квадратная приземистая фигура бородатого гнома Гурьева.

— Папаша передает вам привет, — сказал он, посмеиваясь и оглаживая бороду.

— Почему вы здесь?

— В Кандалакшу командирован, — радостно сказал карлик.

— Как отец, как он себя чувствует?

— Скрывает... — загадочно ответил Гурьев. — Хотел вам фунтик леденцов передать, да я не взял. — Он снова негромко засмеялся.

Я представил себе, как отец сует Гурьеву фунтик леденцов, неумело свернутый фунтик, как хотелось ему проявить эту последнюю, жалкую заботу о сыне.

— Пусть сам скушает, верно? — сказал Гурьев, видимо, он гордился своим поступком.

Мне нечего было возразить ему, он поступил так из доброго чувства к отцу. Но этот фунтик меня доконал. Всю дорогу до Москвы пролежал я на верхней полке, уткнувшись мокрым лицом в пыльную вагонную подушку. Ну зачем этот фунтик? Ну хоть бы фунтика не было... Неужели есть кто-то, кому всегда не хватает человеческой боли?..

13. Через годы

Расставаясь с отцом в декабре 1940 года, я был уверен, что самое позднее через год снова увижусь с ним. А в памятное июньское утро, когда прозвучало грозное слово «война», я мысленно простился с отцом навсегда. Среди потерь войны — а я уже в самом ее начале потерял двух лучших и, пожалуй, единственных друзей,— первой моей потерей был отец. Можно ли было надеяться, что уцелеют в лагере политические заключенные, когда в столице, в Москве, с первых же дней войны начались продовольственные затруднения? К тому же Сорóкинские лагеря находились близ границы и сразу оказались в зоне военных действий.

— Мы уже никогда не увидим Митю,— сказала мать и со странной полуулыбкой покачала головой.

Больше мы об этом не говорили. Война не шутила, она требовала крови и крови, миллионы литров крови, молодой и старой, свежей и гнилой, она не была разборчива, она торопилась и не давала времени ни для грусти, ни для размышлений. Но кровь сына политзаключенного ей поначалу не понадобилась. В Ростовском военкомате объявили набор в школу лейтенантов. Я поспешил туда. Но, выяснив, что отец мой в лагере, мне деликатно посоветовали учиться дальше. А ведь я, идиот несчастный, думал об искуплении своей кровью несуществующей вины отца. Мне бы следовало помнить, что я едва не вылетел из института, когда кто-то донес, что мой отец сидит. При поступлении для тогдашних не подробных анкет в качестве родителя годился отчим. Он же и отстоял меня.

На войну я все же попал через обычный военкомат, скрыв позорные обстоятельства своей жизни, впрочем, в качестве пушечного мяса низшего сорта сошел бы и сын репрессированного. Через год после тяжелой контузии я был демобилизован, а в дальнейшем до конца войны работал военным корреспондентом газеты, имевшей право держать беспогонных военкоров. Наученный горьким опытом, я не усложнял свою анкету, и страх разоблачения поселился во мне.

Это случилось в самом начале июня 1944 года. Я в очередной раз съездил на фронт, увидел, что на войне по-прежнему много убивают, как-то странно затосковал и решил жениться. Чуть не год я был

близок с милой молодой женщиной, мы стали мужем и женой. Я вошел в ее дом и обнаружил, что дом этот весьма фундаментален и по тощему военному времени до стыда зажиточен. Но все было по закону — тесть занимал высокий пост в промышленности. Семья истово отмечала изобильным застольем каждый наш военный успех. Не помню уже освобождение какого города мы праздновали, когда раздался телефонный звонок и очень серьезный голос мамы сказал:

— Приходи.

Больше ничего не было сказано, но я понял, что короткая передышка кончилась и жизнь снова берет нас за бока.

— Ты опять пил? — привычно спросила мать, едва я переступил порог.

— Не преувеличивай.

Мать протянула мне телеграмму. Назавтра в шесть десять утра нас вызывали на Центральный телеграф для переговоров с Рохмой.

— Где это — Рохма? — произнес я удивленно.

— До чего ты похож на Митю! — сказала мать, кусая губы. — Стоило рассказать ему, что кто-то попал под трамвай, он тут же спрашивал: на какой улице?

Хмель выскочил у меня из головы.

— Так это папа! Боже мой!

— Неужели ты сразу не понял? — с досадой произнесла мать.

— Чего ты злишься?

— Я не злюсь, я думаю, как тебе быть, несчастный ты человек.

Но я и так все понял. Игра давно уже шла не на орешки. И как отнесется моя новая семья к неожиданному родству с врагом народа? Здание безупречной судьбы рушилось, словно карточный домик.

— А провались все к черту! — сказал я с тоской и злостью. — Не предам же я отца ради этих икродов!

— Не говори пошлостей, — сказала мать, которой ненавистна была любая, даже тщательно завуалированная поза. — Для Мити мы сделаем все, но его нет. Понятно? И никаких сантиментов. С Ниной или с другой бабой, стрезва или спьяну — об этом ни звука. Понятно, Сергей? А сейчас ложись спать. От тебя несет, как из бочки.

Я лег, оскорбленный той плоской и холодной утилитарностью, с какой мать отнеслась к чуду отца воскресения, ее нерастроганностью и жесткостью. И только в самом дальнем тайничке сознания, куда человек почти никогда не заглядывает, теплилось иное, верное представление о случившемся: мать взяла на себя труд жестокого, но необходимого решения. Она сняла с моей души излишнюю тяжесть, оборонила от всего того мучительного, стыдного, грязного, с чем мне пришлось бы иметь дело в себе, если бы она не поставила меня перед готовым решением. Она потому и была так упрощенно серьезна, так коротка в слове и чувстве, что защищала меня и от жизни, и от себя самого. Она знала, что я буду злиться на нее, и давала мне сыграть эту жалкую игру, потому что была сильнее и выносливее меня.

В половине шестого утра мы отправились пешком на Центральный телеграф. Было раннее, теплое июньское утро, с синим, чистым небом и чистыми, белыми облаками, с пустотой и тишью еще не проснувшихся улиц, такое же утро, той же поры года, когда мы с мамой семь лет назад ехали в Егорьевск к вновь обретенному, как и сейчас, отцу. И подстриженная травка на бульварах так же зеленела, как зеленели тогда поляны Подмосковья, и липы Гоголевского и Суворовского бульваров источали тот же аромат, что залетал в открытое окно вагона, и мы опять вдвоем с мамой против целого света.

Сколько страшного и непоправимого свершилось за эти семь лет, сколько пролито слез, сколько претерплено страха, но были и большие избавления, и маленькие, жалкие радости, и великая усталость, почти неощутимая в кутеже каждодневности, и непосильные остановки жизни. И мама уже не та. Как ни «удачливо» я воевал, для нее и этого оказалось достаточно. По-старушечьи округлилась спина, опали плечи, лицо сохранило лишь профиль — точный и нежный абрис, фас разрушен мешочками, складками, морщинами, темными пятнышками.

— Мама, помнишь?.. — спросил я, совсем не подумав о том, что она не могла следить за ходом моих мыслей.

— Что?.. Ах, нашу поездку в Егорьевск!.. — сказала мама со слабой улыбкой.

И то, что она сразу угадала, о чем я спрашиваю,

открыло мне ее тщательно хранимую взволнованность.

— Какая все-таки поразительная живучесть у Мити! — сказала мама теплым голосом, она, верно, подумала о том, что мне передастся по наследству отцовская живучесть.

Нас вызвали в десять минут седьмого.

— Рохма на проводе!.. — проговорил откуда-то сверху, с потолка, глухой, как из бочки, женский бас. — Кабина третья... Говорите!

Мы кинулись в кабину. Не было ни обычного шороха, ворчания простора, ни переспросов телефонистки. Была пустота, а затем из этой пустоты, из-за края света, из давно пережитого прошлого, далекий, но бесконечно знакомый, совсем не изменившийся голос бросил мне в сердце:

— Сережа!..

Через день, нагруженный двумя чемоданами, как в дни довоенного моего путешествия на Пинозеро, выехал я в Рохму, маленький городок под Ивановом, который был определен на жительство отцу, досрочно «активированному» по инвалидности.

14. Новая встреча

Я уже не был тем мальчиком, который четыре года назад ехал к отцу в Заполярье. Я душевно изощрился на войне; я знал, как защищаться от направленного на тебя огня, знал, как можно собственной рукой направить его в собственную грудь, — и такое было во время болезни. Главное же, я познал страх во всех его видах и оттенках и воспитал в себе такое чутье к опасности, что в известных пределах сохранял полную внутреннюю свободу, почти равную бесстрашию. Словом, в смысле утраты душевной наивности я был в эту пору вполне взрослым человеком. Но при этом во мне сохранялось еще немало детского, мальчишеского.

Я поехал в Рохму, в эту забытую богом глушь, к больному, измученному отцу, разодетый, как павлин. Матери я туманно объяснил это неуместное франтовство желанием произвести впечатление на рохомчан и тем повысить престиж отца. Думаю, она не поверила мне. На деле к щегольству меня понудил

тот театрално-романтический образ встречи, который я создал себе. К сожалению, я не мог, подобно капитану Грею, распустить алых парусов, не мог явиться ни в сверкающих латах Лоэнгрин, ни даже в белом трико и атласном камзоле балетного принца-освободителя. Я поехал в костюме от лучшего московского портного, от Смирнова, в широком габардиновом плаще, модной круглой кепке и туфлях на толстом каучуке. Роскошный, красивый, богатый, ветеран войны, зять советского вельможи, к тому же писатель, уже пригретый славой,— таким должен был я предстать перед старым отцом, засыпать его всеми жизненными благами, заключенными в двух чемоданах, вдохнуть в него силу жить и веру, что с такой опорой он не пропадет.

Наряду с этой душевной дрянью было во мне и настоящее тепло, и радость свидания, и нежность, и жалость, но эти чувства были несколько отвлеченными: как некогда я не мог вообразить себе отца живым, он представлялся мне таким, каким я видел его в последний раз: хотя и опечаленным расставанием, но бодрым, легким, крепким человеком, с седой головой и по-молодому привлекательным, смугловатым лицом. Но я понимал, что таким он не мог сохраниться, концлагерь отпускает людей раньше срока, лишь выжав их до конца, до полной негодности. Однако мне никак не удавалось внести эту поправку в облик отца. Он просил привезти ему «какие-нибудь брюки и, если можно, что-нибудь из обуви»; просил захватить «хлеба и немножко жиров», не масла, а именно жиров. Все это говорило о том, что он обносился и изголодался вконец. Но от этого образ не становился отчетливей, напротив, еще сильнее туманился, растворялся.

Куда легче, доступнее и приятнее было воображать возвышенную и трогательную встречу, где отец предстал в благообразном облике убеленного сединами страдальца.

Я так был упоен предстоящей мне ролью, что в Иванове при пересадке с поезда на поезд самолично перенес два тяжелейших чемодана с такой легкостью, словно они были набиты пухом. Когда же через час с небольшим я вылез на маленькой рохомской платформе и узнал, что до города четыре километра, то ничуть не смутился. Взвалив на каждое плечо по

чемодану, я бодро зашагал по булыжному шоссе. Я успел отмахать с километр, когда меня нагнала пустая телега, и возница предложил подвезти. Сказочный принц, въезжающий на телеге, — это было слишком не в образе, и я ограничился тем, что сгрузил на телегу чемоданы. Только теперь почувствовал я, что тащил на себе непомерную тяжесть. Мне и сейчас кажется чудом, что я мог целый километр нести на плечах кладь, весившую добрых четыре пуда.

Легким шагом шел я возле грядка телеги вначале еловым, густо пахнущим лесом, затем полем и небом, и вскоре впереди показался городок с высокой каланчой и красными трубами фабрик.

Как смог я заметить вдали крошечную черную точку обочь дороги? Почему стал все пристальнее и пристальнее всматриваться в нее? Почему, когда точка обрела смутные, едва уловимые очертания человеческой фигурки, я побледнел и пошел быстрее, в обгон телеги? Ведь мне попадалось навстречу немало прохожих: мужчины, женщины, дети. Быть может, заговорила во мне безотчетная память о последнем расставанье с отцом, когда он так долго виделся мне то пятнышком, то черной точкой меж тяжей колючей проволоки? Сейчас происходило нечто похожее, но в обратном порядке: точка, фигурка, но узнал я отца при самом первом его появлении.

Возница хлестнул лошадь, телега поравнялась со мной. Я еще убыстрил шаг, стремясь отделиться от телеги, чтобы и отец мог узнать меня. И тут я увидел, что бредущий по дороге человек вытягивает шею, силится разглядеть меня на этом большом расстоянии. И вот он узнал, вернее, угадал меня, — старым глазам не под силу пронизать такую даль. Он заковылял быстрее, прижимая сердце рукой, я видел и этот жест его, и странную, заплетающуюся, бессильную поступь, он не шагал, а как-то влачился, не отымая ног от земли.

— Папа! — закричал я и кинулся к нему навстречу.

А он вдруг остановился, словно перестав верить себе, и в быстроте случившегося я успел заметить на крошечном, усохшем, обглоданном лице, с припухлостями по худым челюстям, выражение непонятной, диковатой отчужденности и опаски.

— Папа! — крикнул я еще раз.

— Сережа? — проговорил отец с какой-то вопро- сительной интонацией.

Мы обнялись. Мне не удалось толком поцеловать его, на его лице не было места для поцелуя. Узенький рот провалился в завалы щек и верхней губы. Плоть опала с этого лица, на котором оставались лишь обтя- нутые желтой кожей кости: лоб, скулы, челюсти, нос и какие-то костяные бугры около ушей, которые быва- ют лишь у умерших с голода.

— Я вышел тебя встречать,— робко проговорил отец,— но не успел...

Он нагнулся и стал поправлять что-то в своем ботинке. Что это были за ботинки! Скроенные из кусков автомобильной покрышки, сшитые какой-то жилой и подвязанные веревками. На отце были шта- ны из мешковины с двумя синими ровными заплата- ми на коленях и не то рубашка, не то балахон, опоя- санный веревкой, некогда черный, но застиранный до белесости; на голове старая, рваная лепешечка кепки.

Подгромыхала телега и остановилась возле нас. Я подметил удивленный взгляд возницы.

— Садись,— сказал я отцу,— он подвезет нас.

— Садитесь, садитесь,— добрым голосом отозвал- ся возница, видимо что-то поняв.

Отец подошел к телеге, взялся за грядок и отпу- стил его.

— Тут недалеко, лучше пешком...

Ему не под силу было забраться в телегу.

— Да нет, подъедем, я тебя посажу.

Я пригнулся, поднял отца и усадил его на телегу. Из всего страшного, что мне пришлось пережить в этот день, самым страшным, до отвращения страш- ным было ощущение, какое я испытал в короткий миг, когда отец оказался у меня на руках. Я пережил однажды нечто подобное. У знакомых был японский кот, гигантский зверь с вершковой шерстью, он зани- мал целиком широкое кожаное кресло. Но когда я взял его на руки, он оказался почти невесомым, и несоответствие размера с весом вызвало неприятное, гадливое чувство. Видно, в самом слове «отец» зало- жена какая-то тяжесть, весомость, но то, что я подса- живал на телегу, не имело веса: было прикосновение к чему-то, но не было даже малой тяжести ребенка, куклы, под штанами из мешковины и застиранным балахоном не было человеческой плоти.

Но в этом бесплотном, молчаливом существе теплились какие-то желания. Я почувствовал за спиной тихое шевеление, обернулся и увидел на коленях, обтянутых мешковиной, маленький, грязный мешочек, набитый чем-то вроде опилок, и стопку ровно нарезанной газетной бумаги. Я вынул пачку «Казбека».

— Брось эту труху, вот папиросы.

Щелкнула зажигалка, на шумном выдохе прочь от телеги полетело голубое ароматное облачко. Что-то изменилось в неподвижно-костяной маске, ее прорезали тонкие черточки около глаз и рта, узкий шов рта чуть разошелся, и мелькнул одинокий желтый резец, и я не сразу понял, что эта слабая, натужливая гримаса означает улыбку удовольствия. А затем я ощутил прикосновение, вернее, тень прикосновения на своем колене. Опустил глаза и увидел что-то желтое, пятнистое, медленно, с робкой лаской ползущее по моей ноге. Какие-то косточки, стянутые темной черно-желтой перепонкой, лягушачья лапка, и эта лягушачья лапка была рукой, боже мой, рукой моего отца!

15. Пеллагра

Отец жил в домике на центральной площади городка, носящей странное название «имени Заменгофа». Я думал, что Заменгоф — местный герой, поднявший знамя революции над Рохмой, но оказалось, это один из творцов мертвого языка эсперанто. Какое отношение имел к Рохме творец эсперанто и почему город счел нужным назвать его именем площадь, украшенную пожарной каланчой, так и осталось мне неизвестным. То была одна из кривизн кривого и уродливого провинциального городка, в котором отцу предстояло окончить жизнь.

Пристанище отца, узенькая летняя горенка, мне напоминало чем-то лагерную фанерную сторожку, едва не ставшую нашей ледяной могилой, и первые мои движения, когда мы оказались в горенке, словно были заимствованы из той же далекой поры. Я сразу раскрыл чемоданы и стал вываливать на стол консервные банки с тушенкой, колбасой, рыбой, сгущенным молоком, калабашки хлеба, масло, сахар, сыр, ветчи-

ну, а также одежду — костюм, рубашки, носки, галстуки, обувь. Отец молчаливо и сосредоточенно следил за моими движениями. Он ни о чем не спрашивал, равнодушный ко всему, кроме питательных веществ, исчезнувших из его тела. Он взял довесок к желтому килограммовому бруску сливочного масла и стал есть его без хлеба.

— Ты бы переоделся, — сказал я. — А потом будем завтракать.

— Да, да... — откликнулся он, как эхо.

Не выпуская куска масла из рук, он сгреб со стола одежду и пошел в угол переодеваться. Тем временем я сходил на половину хозяйки и попросил ее поставить самовар. Она сидела на постели, пожилая, неприбранная, с одутловатым лицом и мокрой, отвисшей нижней губой, и чесала синюю мертвую ногу. На мои слова она никак не отозвалась, пальцы продолжали корябать неживую плоть, оставляя на коже белые, быстро краснеющие полосы.

— Вы заварите и на свою долю, — догадался я сказать, протягивая ей пачку чая и рафинад в синей обертке.

Она сразу перестала чесаться и тяжело поднялась с постели.

Когда я вернулся в горенку, отец успел переодеться. Но и в хорошем синем костюме, в рубашке с галстуком и желтых полуботинках он выглядел не лучше. Пожалуй, эти вещи еще более подчеркивали страшную его худобу. Он ссыпал в горстку сахарный песок и отправлял в рот. При этом он как-то искоса, дурным глазом поглядывал на банку со сгущенным молоком. Я достал консервный нож и открыл банку. Несколько жирных, сладких капель упали на стол. Отец подцепил их пальцем, слизнул, и снова на лице его появилась та же незнакомая, состоящая из нескольких черточек в углах глаз и рта улыбка.

— Какая вкусная вещь, — проговорил он.

Я дал ему чайную ложку. С серьезным, сосредоточенным видом он подсел к столу и стал ложкой есть сгущенное молоко.

— Это пеллагра, — сказал он вдруг после четвертой или пятой ложки, осторожно отодвигая банку. Встал из-за стола и побрел к окну.

Мне показалось, что отец сейчас заговорит со мной, спросит о чем-то, но он вдруг повернулся, с серь-

езным, даже угрюмым выражением подошел к банке и съел еще ложку сгущенного молока. И еще одну, задумчиво, медленно, дегустируя забытый продукт всеми своими чувствами, всем существом, осваивая мозгом благодатное, животворящее чудо, заключенное в густой сахаристой молочной гуще.

Хозяйка внесла самовар и чашки, потопталась у стола, и, получив от меня белую булку и кусок колбасы, убралась восвояси. Отец не стал пить чай, видимо, он не нуждался в жидкости. Зато с новой силой набросился на масло, сыр, колбасу. Но сгущенное молоко не давало ему покоя, он то и дело опускал туда ложку и отправлял в рот очередную порцию. Он даже несколько кокетничал с банкой. То с хозяйской уверенностью брал ее в руки и не спеша обскребывал ложкой стенки, то подбирался к ней с воровской опаской и быстро похищал всего одну драгоценную капельку, то, не глядя, с рассеянным видом погружал ложку в желтоватую густоту и зачерпывал через край.

— Тебе будет плохо, — сказал я.

— Да, да... — отозвался отец и отложил ложку.

Но через секунду я увидел вдруг, как он утайкой сунул в банку палец и облизал его.

Грустно и тяжело было мне видеть моего деликатного, лишенного всякой жадности отца в такой физиологической униженности. Конечно, вскоре ему стало нехорошо, отвычный желудок не удерживал нищи. Он успел выйти во двор, и там его стошнило. Он вернулся, съел какой-то кусочек, и его опять стошнило. Затем началось расстройство желудка. Бедный отец, шатаясь, бродил от горницы к дощатой скворечне, стоявшей посреди рослых лопухов, в глубине двора, и обратно, все более слабая от раза к разу. При этом он не мог удержаться от того, чтобы не съесть кусочек чего-нибудь и не перехватить ложечку сгущенного молока. У меня шевельнулось ужасное чувство, что своей помощью я гублю его, но я ничего не мог поделать. У меня не хватало духа отнять у него всю эту снесь.

Вот отец снова вошел в горенку, издавая не губами, а западинами щек какой-то странный звук: «пуф-пуф», словно лопались пузырьки воздуха. Быть может, у него начиналась изжога?

— Хочешь выпить соды? — предложил я.

— Нет, — сказал он со слабой своей и сейчас чуть хитровой улыбкой. — Я лучше съем ложечку сгущенного молока.

Он шагнул к столу, и у него упали брюки, видимо, не было сил как следует их застегнуть. Я увидел его ноги: тоненькие палочки с неправдоподобно большими и круглыми ядрами колен.

Мы с ним — единая плоть, на какой-то миг я перестал все это видеть со стороны; его немощь, его страдание, его боль вошли в меня, я ощутил шаткость оскбленных голеней, тяжесть ядровых костяных колен, сосущую пустоту неутолимого голода во всем теле, меня замутило и как-то нехорошо повело.

Я не мог больше оставаться в этой комнате, мне необходимо было найти какой-то упор, вернуться к трезвой и прочной обыденности. Все, что было во мне здорового, жадного к жизни, взбунтовалось против гипнотического, заражающего мозг и душу больного дурмана происходящего. По счастью, отец пришел мне на помощь.

— Я немного сосну, — сказал он и бессильно повалился на кровать.

— Ну, а я пойду по делам, — отозвался я. — Ведь я приехал сюда в командировку, иначе не достать билет на поезд. Зайду в райком, оттуда на фабрику познакомиться с рационализаторами...

Я говорил в пустоту — отец спал, нехорошо, мертво, открыв рот.

Ни одно свое корреспондентское задание не выполнял я с таким вкусом и рвением, как это, которым вполне мог пренебречь, — в редакции понимали, что я взял командировку по личным мотивам. Никогда еще не входил я с таким удовольствием в кабинет секретаря райкома: меня радовал даже неизбежный стол заседаний, крытый кумачом в перламутровых чернильных пятнах, пыльные гардины на окнах, портреты на стене и самый облик секретаря, неизменный под всеми нашими широтами и долготами: коверкотовый френч, застегнутый на все пуговицы, и такие же брюки, заправленные в сапоги.

Райкомом спасал я себя сейчас от того, что случилось с отцом, я спасал себя льнокомбинатом, куда мы направились вместе с секретарем райкома, спасал

болтовней о рационализаторах производства, передовыми яслями, Доской почета, стахановцами, новатором-директором, наконец, столовой, где меня, московского гостя, наперебой потчевали секретарь и директор.

Когда, несколько окрепший, я вернулся в домик на площади Заменгофа, отец доедал остатки сгущенного молока, выскребывая ложкой жестяную стенку.

— Как ты себя чувствуешь? — спросил я.

— Лучше... — Он словно прислушался к тому, что творилось внутри него, и повторил: — Лучше.

Ободренный этим, я принялся рассказывать о своем походе: о том, как меня приняли в райкоме и на льнокомбинате, о собранном материале, об отличном обеде, каким меня накормили в директорской столовой. В этом рассказе был свой тайный подтекст. Отец всегда относился с уважением к власти, я хотел показать ему свою близость с рохомским начальством, чтобы вселить в него чувство жизненной уверенности. Но он остался глух к моему рассказу. Все, что ему от меня было нужно, лежало перед ним: масло, баночки со сгущенным молоком и консервы, консервы, консервы. Только раз на лице его отразилось внимание: когда я рассказывал о столовой.

— Значит, ты уже пообедал, — сказал он задумчиво. — А я просил хозяйку отварить картошечки.

Еще не стемнело, когда мы легли спать. Я курил одну за другой папиросы и никак не мог заснуть. Едва я задремал, в окошко сильно и зелено ударил молодой, вполкруга, месяц и прогнал сон. Месяц зазеленил белые стены горенки, через весь пол уложил угольный крест оконного переплета; загадочной черной грудой высились на столе неубранные харчи. И вот отец, спавший тихо, как мышь, с коротким стоном перекатил голову по подушке, поднялся и, вытянув вперед руки, зеленоликий, как русал, прошел к столу, нащупал какой-то кусок и стал жевать. Затем медленно прошлепал к кровати, долго-долго, по-детски вздохнул и лег. И еще не раз в продолжение этой бессонной ночи я видел, как спазмы неодолимого голода, прерывая тяжкий сон отца, заставляли его путешествовать от постели к столу.

16. Голубое дерево

Проснувшись утром, я сразу почувствовал: что-то произошло. Отец сидел на своей койке и курил. Лицо его было видно вполоборота, и вот с этой обращенной ко мне половинки ласково и заинтересованно глядел на меня живой, прозрачный, темно-карий глаз. Вчерашнее наваждение кончилось: больной, измученный, высосанный голодом, отец снова вернулся ко мне.

Он был страшно слаб, вид еды все так же томил его и притягивал, порой с ним происходило нечто вроде голодного обморока, и все же я понял, что пережитое не только не сломало отца, но даже не затронуло его внутренней сущности. Никакой озлобленности, никакой приниженности, мудрая покорность, но не рабье смирение, прежний добрый интерес к жизни и к людям, прежняя готовность к шутке: он назвал Рохму «последней хохмой своих дней». Обо всем, что случилось с ним, он говорил спокойно, просто, очень скупое, не жалуясь, не возмущаясь, не размазывая своих страданий. Впоследствии я убедился, что только слабые люди охотно говорят о тех надругательствах, каким их подвергали в лагере. Люди, обладающие какой-то гордостью, никогда не признаются, что их мучили, били, пытали. Они предпочитают обелить своих мучителей, чем выставить на всеобщее обозрение свое попранное человеческое достоинство. Отец, хлебнувший полную меру лагерной судьбы, переживший в лагере жестокость военной паники, конечно же, испытал немало унижительного и страшного. Но лишь раз, с крайней неохотой, признался он, что на этапе конвойный ударил его прикладом. Впрочем, мне кажется, матери он говорил больше. Меня же он щадил, считая, что я молод, мне жить и жить и не к чему знать, как из человека вышибают душу.

Сам он был как алмаз, который можно надрезать только алмазом, но перед которым бессильны все самые мощные и грубые орудия из железа и стали. А я не был алмазом, я принадлежал к несчастному и нечистому поколению, родившемуся после революции: порядочный в меру сил, стойкий в меру сил, добрый в меру сил, иными словами, на самом краю способный к выбору между гибелью и предательством. Для отца такого выбора не существовало, он

знал только гибель. Вот почему был он так целен и душевно необорим. Он был Лоэнгрином по духу, чистоте, стойкости, этот маленький, обессиленный человек в спадающих штанах, а под латами, перьями и бархатом его избавителя скрывался Тельрамунд. И я-то приехал вселять в него силу жизни, стойкость и твердость! Все утро до самого моего отъезда изливалась из него в меня эта животворная, добрая сила, это величайшее, быть может, благо — умение жить, не ожесточаясь сердцем, уважать радость своего существования, идти вперед, не оставляя на шипах жизни ключев души, как шелудивый пес оставляет на репейнике ключья шерсти.

Конечно же, не в поучениях сообщал он мне все это: отец никогда не говорил со мной менторским тоном, он держался скорее как младший со старшим, но так оно само собой получалось, о чем бы ни шел разговор между нами. И в какой-то момент, со своей необыкновенной чуткостью к тем, кого любил, он почувствовал, что я не высок, не так высок, как мне бы самому того хотелось. Он угадал во мне несостоявшегося принца и захотел поднять меня до него.

— Знаешь, у тебя здесь вот, — он показал на мой правый висок, — есть что-то героическое.

Я поразился его проницательности. У каждого молодого человека есть во внешности что-то, что придает ему уверенности. Чаще всего какая-нибудь грубая очевидность: у одного усики, у другого — бачки, у третьего — прическа, у четвертого — манера держать голову. В этом моем виске, с просто и гладко зачесанными назад волосами и намечающейся легкой залысиной, не было ничего примечательного, но когда я наедине разглядывал себя в зеркале, то видел прежде всего этот висок. И тогда лицо мое казалось мне летящим, оно освобождалось от обычной грубой тяжести. Но понять это можно, лишь став на мгновение мною. Отец мог быть мною так же, как и я мог быть им...

Уезжал я днем, отец пошел меня проводить. Мы медленно двинулись через площадь к булыжному шоссе, соединяющему городок со станцией. После двух-трех шагов отец останавливался и, прижимая сердце рукой, переводил дыхание. Нам понадобилось более получаса, чтобы пересечь площадь Заменгофа, и за это время я так пригляделся к ее слепым, недру-

желюбным домишкам, розовой бессмысленной каланче, деревянным воротам и фанерным кассам городского сада, к нищим торговым рядам, к важным и злым гусям, оспаривающим большую, как самая площадь, лужу у грязных, по-собачьи худых свиней, что возненавидел эту площадь на всю жизнь.

Наконец каланча отвалилась вправо, перед нами возникло многоцветное после недавнего дождика шоссе, цепочка убегающих вдаль телеграфных столбов, свежая зелень полей и целый город туч, громоздивших свои купола, башни, шпили на краю синего легкого неба. И свежо, тревожно, щемяще пахло землей и молодой, умытой травой. То ли прибиток свежести перебил дыхание отца, то ли близкая разлука сдавила сердце — он остановился и долго стоял, опустив голову и тяжело, с носовым присвистом дыша.

— Не надо меня провожать, — сказал я, — ступай домой, а то я буду беспокоиться.

— Нет, нет, — ответил отец решительно и серьезно. — Идем.

Мы двинулись дальше и шли так медленно, что обгонявшие нас прохожие долго, с удивлением оглядывались. Через несколько шагов отца снова схватило. Побледневший, с вытаращенными глазами, он стоял, вцепившись пальцами в грудь, будто хотел поймать ускользающее сердце.

— Нет, нет, — сказал он, опережая мой робкий протест. — Мы должны идти. Мы должны дойти вон до того столба. — И такая несвойственная ему решительность была в его голосе, что я замолчал.

Отец не отличался ни упрямством, ни суеверностью, нервная игра в загадывание была ему чужда, но сейчас ему почему-то необходимо было дойти вон до того столба, дойти, не сдать, хотя бы оборвалось сердце на этом мучительном, коротком пути. Быть может, он делал какую-то важную внутреннюю проверку, быть может, хотел вскрыть в себе тот потайной запас сил, без которых ему не дожить до новой встречи. Он ломал свою немощь, подымался над бессилием и шел, шел вперед.

Один столб, второй, я боюсь смотреть на отца и невольно прибавляю шаг, словно дело во мне: дойду я или не дойду. Но мне кажется, что этим я помогаю отцу, словно тяну его на незримом буксире. Он отка-

зывается от моей помощи — сильно наклонившись вперед, почти падая с каждым шагом, он обгоняет меня и приникает к столбу, коснувшись его сперва вытянутой вперед рукой, а затем и всем телом. И я кладу свою ладонь рядом с его рукой на влажную, теплую, неслышно вибрирующую и оттого кажущуюся живой округлость столба. Мы смотрим друг на друга: свершилось что-то важное, одержана победа, не знаю только над кем и над чем.

— Ну вот, новелла завершена, — сказал отец. — Для этого я уцелел. — Он посмотрел на меня со странной улыбкой и добавил: — Ты понимаешь, я сам выбрал это место, сам. Мне никто не приказывал.

Некоторое время мы стоим молча. Впереди, над лесом, в той его стороне, куда ведет дорога, высится мощная, густая крона какого-то дерева. Дуб ли это, или вяз, или старая плакучая береза — отсюда не разобрать. Над ярко-зеленой зубчатой стеной елового леса его щедро облиственная крона выглядит голубой, ее перерезает стежок тумана, испарение недавнего дождя, и кажется, будто крона свободно висит в воздухе.

— Я приеду через месяц, — говорю я отцу, — и мы дойдем с тобой вон до того дерева...

Я быстро шел к станции по твердо утопанной тропке, тянувшейся вдоль шоссе. Голубое дерево висело над лесом, и впервые мне казалось, что оно совсем недалеко, у самой опушки, затем оно отодвинулось дальше, в глубь леса, а когда я ступил в терпкое благоухание влажного, прогретого солнцем ельника, оно сделало скачок и оказалось за полотном железной дороги. Но вот я подошел к полотну, и голубое дерево скрылось за редким осинником — над тонкими, трепещущими верхушками осин высился его мощный и легкий купол, и я понял, что оно недосыгаемо для нас с отцом: голубое дерево счастья.

17. Под небом Рохмы

Да, счастья не было, какое уж там счастье! Но жизнь шла, и были в ней свои просветы, хотя гораздо больше темного, печального и трудного. Правда, следующий мой приезд, — а приехал я ровно через месяц, — при-

нес мне радостное и гордое чувство. На площади имени Заменгофа встретил меня маленький, худой джентльмен, очень прилично одетый, для Рохмы даже слишком щеголевато, с живой улыбкой, бодрыми жестами, но с очень медленной поступью. Отец отъелся, вставил зубы, отчего исчезли ужасные провалы под скулами, нарастил плоть на кости, он не мог только вернуть сорванного сердца. Но и в том, каким он себя воссоздал, сказала та изумительная живучесть, что так восхищала маму.

Он жил теперь у другой хозяйки, неподалеку от Большой Рохомской мануфактуры, куда устроился работать плановиком. Прежняя его хозяйка не удовлетворилась ранее назначенной, довольно высокой платой за комнату, и отцу пришлось переехать. В дальнейшем он еще не раз вынужден был менять адрес. Как только хозяйки убеждались в платежеспособности отца, у них тотчас же разгорался аппетит. Им легче было потерять выгодного и кроткого жильца, чем жить с мыслью, что они, упаси бог, чего-то недополучили. Это характерно для рохомчан с их кулацким, злобно и душно жадным складом.

Маленькая Рохма с ее двумя текстильными комбинатами могла бы считаться рабочим городом, но рабочих в настоящем смысле там почти не было. Были крошечные землевладельцы, отбывавшие рабочую повинность, — это давало им возможность и право иметь огород, корову, свиней, птицу, пользоваться выпасами вокруг городка и спекулировать помаленьку в близлежащем Иванове. Таковы были коренные рохомчане. Кроме них, на Большой мануфактуре и на льнокомбинате работали пришлые люди, кем-то и где-то мобилизованные женщины, нетрезвые, разнузданные и несчастные; были также инвалиды войны, считавшиеся годными для службы в тылу. Этот народ ютился в бараках и к настоящим горожанам не принадлежал. Лицо города создавали квартирные хозяйки отца: тупые, злобные и настолько жадные, что корысть обращалась им же во вред.

Отца не любили там, в Рохме. Ни его безобидность, ни его слабость, ни его ровный, кроткий и веселый характер не могли защитить его от ненависти рохомчан. Они ненавидели отца и за то, что он сидел в лагере, и за то, что он вышел оттуда, и за то, что он не умирает с голода, не ходит босым и голым, за то,

что сын у него писатель и сын этот не бросит его в беде. Впрочем, стоило мне раз замедлить присылку денег, как я получил анонимное письмо с угрозой сообщить в Союз писателей, что я не помогаю старику отцу. Неведомый автор письма менее всего руководствовался желанием сделать отцу добро, он хотел лишь поквитаться со мной за то добро, которое я делал отцу.

Помню, в пору второго моего приезда в Рохму мне довелось побывать у отца на фабрике. Готовился очередной отчет, и отца заставили проработать половину его отгулочного дня. Как некогда в лагере, прошел я следом за отцом к его рабочему столу, знакомясь по дороге с сотрудниками отдела, пожимая чьи-то руки, выслушивая чьи-то имена и называя свое; а затем я следил за работой отца, слушал забытый потреск арифмометра и звонкий щелк счетных костяшек. Все было как в то далекое время, и все было по-иному. Я не поймал ни одной улыбки, ни одного доброго и заинтересованного взгляда, ни разу не уловил в ладони при рукопожатии ответного тепла. Люди глядели хмуро и настороженно, вяло совали потные руки и тут же отдергивали, и единственный вопрос, заданный мне сотрудницей, касался рыночных цен в Москве. И отец работал уж не с прежним блеском. По несколько раз проверял он свои расчеты, сердился на арифмометр, порой досадливо морщил лоб, видимо теряя какую-то цифру, что-то перечеркивал и начинал сначала. Сузившиеся сосуды плохо орошали мозг горячей, живой кровью.

Впрочем, работал он в одиночестве. Его начальник Шаров дважды надолго оставлял помещение отдела, чтобы разгружать хлопок. Грузчиков не хватало, и к этому делу привлекали сотрудников управления. Но работа была настолько тяжелой и грязной и оплачивалась так мизерно — полкило черного хлеба и несколько ничего не стоящих рублей, — что никто, кроме Шарова, за нее не брался. Шаров, местный старожил и самый зажиточный в городе человек, у него было большое молочное хозяйство с маслобойкой и сыроварней, фруктовый сад и теплицы. Но он не брезговал даже таким грошовым приработком, настолько полно воплощался в нем рохомский тип.

Другая сотрудница отдела все время бегала кормить грудного ребенка, третья, едва показавшись,

отпросилась за какой-то надобностью в Иваново, четвертый был нетрезв — он либо дремал, либо шумно, с отчаянным лицом пил воду из графина; наконец, пятый, моложавый и серьезный, сперва долго читал газеты, затем вышел покурить, вернулся, что-то прибрал на своем столе и снова удалился в курилку.

Но все эти равнодушные к делу, полусонные люди проявили внезапный интерес, как только, по вине отца, случился в отделе острый разговор. Мой выпитый лагерем отец не только сохранил большую добросовестность в работе, чем все окружающие, но и куда большее легкомыслие, идущее от нежелания расстаться с собственной личностью. Было так: кормящая мать, полная, тяжелогрудая, плоскозадая, с чисто рохомским лицом — упрямо костяным, запертым на все замки, затаенно подозрительным — пожаловалась, что в доме у нее развелось множество крыс.

— А вот у нас в лагере крыс употребляли в пищу, — заметил отец, отрываясь от арифмометра.

Воцарилась нехорошая тишина — тишина не сна, а пробуждения. Слова отца расколдовали это сонное царство, как поцелуй принца — двор спящей красавицы, но только здесь родилось не движение, а напряженный покой охотничьей стойки.

Моложавый сотрудник перестал скручивать очередную сигарку, пьяница отнял горлышко графина от губ, запертое лицо кормящей матери замкнулось еще на один замок.

Но вот эти добрые люди испугались собственной тишины. Моложавый сотрудник двинул стулом, что можно было расценить и как протест, и как готовность принять меры; пьяница крикнул; а кормящая мать, отвечающая не за одну себя, но и за рожденное ею беспомощное существо, произнесла деревянным, страшноватым голосом:

— Зачем же это вы так делали?

— Ну, конечно, затем, — с легкостью ответил отец, — чтобы уничтожить грызунов.

Не трудно догадаться, к чему бы привел этот разговор, если бы на выручку отцу не подоспел вдруг вернувшийся с разгрузки хлопка Шаров.

— Зачем задавать бессмысленные вопросы? — резко сказал он кормящей матери. — Вы что — маленькая, сами не понимаете?

Этого было вполне довольно, чтобы все сразу же

утратили интерес к разговору. Кормящая мать держалась в отделе только милостью Шарова, как, впрочем, и двое других сотрудников; все они, в сущности, ничего не умели и по одному слову Шарова могли лишиться работы.

Шаров защитил отца отчасти потому, что ценил его как работника, отчасти потому, что при всей своей жадности был порядочным человеком. К тому же в глубине души он был убежден, что отец сидел за дело, и по-кулацки не мог ему не сочувствовать. Он простер свое расположение до того, что пригласил нас в гости. Вечером мы побывали у него, полюбовались его образцовым хозяйством, прекрасными яблонями и вишенником, смородиной и крыжовником в щедрой завязи, поглядели, как ловко старшая дочь Шарова доит великолепную костромскую рыжуху, как бойко сбивает масло средняя дочь, как трудолюбиво кормит меньшая свиней, поросят, кур, уток, гусей.

Шаров о чем-то пошептался со своей старухой, и мы видели, как она протащила в сени большой серебристый самовар, а старшая дочь принесла из сеней крынку коричневых сливок и вазочку с медом, в котором плавали прозрачные пчелиные крылышки. Но угощения мы так и не дождались: видимо, в последний момент у Шарова не хватило духу расщедриться. Попрощавшись с гостеприимными хозяевами, мы двинулись восвояси ночной Рохмой, столь же нелепой, некрасивой и непоэтичной, как Рохма дневная.

18. Близкие люди

В последние годы я еще не раз приезжал в Рохму, и каждая новая поездка давалась мне все труднее. Я не только не привык к своему раздвоенному существованию, напротив, ощущал его все мучительнее, стыднее и горше. В поезде я еще был облечен в московскую броню, но едва лишь впереди возникала знакомая колокольня и красные трубы Большой Рохомской мануфактуры, с меня сползала не только броня, но и кожа. Я чувствовал себя голым и незащищенным: любой встречный человек мог причинить мне зло. Этот переход «из князи в грязи» бесконечно унижал и оскорблял меня.

Зыбкость, раздвоенность тогдашнего моего существования навсегда заронила в меня предощущение какого-то окончательного несчастья, позорного разоблачения. Порой возникал соблазн покончить со всем этим, открыть свою рохомскую тайну и зажить в новом, пусть униженном, но цельном образе. Я не имел права так поступить: ведь это означало катастрофу и для отца тоже: ведь я был источником его существования.

Слишком слабый для того, чтобы быть последовательным, я лишь наполовину осуществил мамино решение. В Москве для всех даже самых близких мне людей отец-узник оставался неизвестным, но сказать об этом отцу я не нашел в себе силы. Он напропалую, без всякой осмотрительности выхвалял меня в Рохме, и я все время со страхом ждал, что какой-нибудь рохомский странник постучится в дверь моего сановного тестя с просьбой о пристанище или трудовом устройстве. Я был как вор, ожидающий, что его вот-вот схватят за шиворот.

Несказанно угнетала меня и бесперспективность судьбы отца. То была драма без катарсиса, без спасительного очищения. Я уже не мог, как некогда, мечтать о торжественном и трогательном освобождении отца из оков, о его возвращении в Москву, в дом, в свет и счастье до конца дней. Никогда не смогу я взять его за руку и смело, открыто и гордо вывести к людям. Между мной и этой мечтой воздвигалась неодолимая стена лжи: вся моя новая биография, такие легкие и тяжкие, как сама судьба, листки анкет. Вычеркивая отца из своей биографии, я вычеркнул его из главной моей мечты, той мечты, что с юношеских, даже с детских лет казалась мне последним и высшим смыслом моей жизни. Ничто не окупится в будущем: ни претерпленные им бессмысленные и жестокие страдания, ни слезы его и мои; напрасен был подвиг его жизнестойкости, мужества и его терпения. Голубое дерево счастья — только мираж.

В ту пору, о которой я сейчас пишу, отец еще многого не знал, хотя, быть может, кое о чем догадывался. Но он не прошел наших испытаний страхом — он провел все эти годы над страхом — и потому не достиг такой утраты личности, такой предательской и спасительной изощренности, что позволяет жить

между подвигом и подлостью. Он был очень наивен и жестоко платился за эту наивность...

Вот как бывало в первые годы после войны, когда между Москвой и Рохмой восстановилась телефонная связь...

Отец входит в небольшое теплое помещение телефонной станции. За барьерчиком девушка с мутными от бессонницы глазами раздраженно тычет медные наконечники проводов в номерные щитки. Она вкладывает в свои движения столько ожесточенной силы, словно хочет пронзить щиток насквозь.

Отцу казалось, что сегодня обязательно выйдет, но сейчас надежда оставила его. Он стоит у барьерчика, не решаясь заговорить. В четвертый раз приходит он сюда. Немало потребовалось времени, чтобы он отважился позвонить. Разговор стоит двадцать пять рублей. Это кружка молока, это кило картофеля, это полкило хлеба. Наконец ему стало невыносимо, желание услышать родной голос пересилило вновь пробудившиеся муки голода. Три раза приходил он сюда безуспешно и вот явился в четвертый. Для этого пришлось встать в пять утра. Пробуждение было убийственным: ведь сон — единственная благодать, избавляющая от тоски и от требовательной муки вновь оздоровевшего и ожадневшего тела.

Как всегда, при пробуждении он увидел, что комната заставлена с детства знакомыми вещами, застывшими в темноте плотными сгустками тьмы. Буфет, огромный, как замок — в детстве он и был замком, который не раз штурмовал он с покойным братом; за ним платяной шкафчик, кованный железом сундучок няни, рогатые велосипеды, прислоненные к стене, два письменных столика, побольше — брата, поменьше — его. Все это виделось, неоспоримо виделось, протяни руку — и ты коснешься вещей своего детства. Но он никогда не делал этого после первого же разочарования. Он ждал, когда вещи исчезнут сами, растаяв с первым светом, проникающим сквозь неплотный ставень. И верно: вот исчез платяной шкаф, затем столики, велосипеды. Дольше всех держался буфет. Уже растворился его низ, а резной верх средней башенки еще висит под потолком, затем и он исчезает. Остались голые стены пустой комнаты, где только и было что его лежаночка да фанерка на четырех поленьях — стол.

Уже сколько лет просыпается он в помещениях без вещей: нары и деревянные стены барака, ветки шалаша да клочок неба с близкой и большой, как молочная капля, Полярной звездой; наконец, рохомские комнаты, тоже пустынные, потому что хозяйки при сдаче внаем выносят из них вещи. Хитрое подсознание придумало ему в утешение этот трюк: заполнять комнату вещами его детства. В первый раз он поверил миражу, встал, пошел к вещам, протянул руку — и тронул шершавую голую стену. Больше он не делал этого, довольствуясь маленьким, коротким благом видеть их в течение нескольких минут полудремы-полуяви...

Он вышел на улицу. Свет уже родился где-то на краю неба, четко обозначились верхушки старых деревьев, но на земле все оставалось черным, лишённые очертаний предметы словно бы слипались. Он знал, что, когда дойдет до телефонной станции, будет совсем светло. Три тысячи шагов, отделяющие его от нас, он рассчитывает пройти за полтора часа, к тому времени все изменится в природе: краски, звуки, температура...

Он расчленил свой путь: первый привал — на лавочке возле фабричной проходной; второй — у перил мостика через речку; последний — на скамье возле городского сада. Самым тяжелым был первый этап: от дома до проходной. Здесь дорожка чуть приметно шла в гору, и сердце болезненно отзывалось на каждое усилие тела. Он знал наперед, что сердце будет поминутно замирать, затем бешено колотиться, чтобы протолкнуть медленную кровь по тонким нитям сосудов. Это нужно суметь пережить — не торопиться, не вышагивать по-солдатски, а ступать так, как ходят маленькие дети по лестнице, становясь обеими ногами на каждую ступеньку, и тогда дойдешь, обязательно дойдешь.

Когда он взошел на мост, сумрак разрядился, на лиловой от фабричных отходов воде лежали красные отсветы восхода, кирпичный фасад прядильной фабрики горел, словно объятый пламенем. Едва он достиг городского сада, тьма стянулась к подножию деревьев, домов, заборов, воздух опрозрачнел.

Теперь сердце опять застучало больно, но уже не от трудностей пути, от надежды. Прижми к груди ладонь и ни о чем не думай, старайся глядеть по сто-

ронам: вон тащится на рынок телега с серебряными бидонами, вон баба несет в корзине гуся, наружу торчит длинная шея и маленькая глупая голова с огромным красным клювом. И вот уже перед тобой будка телефонной станции — ты дошел, и это еще не последний твой путь!

Девушка не замечает его, она вырывает наконечники из круглых дырок и вонзает их в другие. Не туда! Тряся кистью, она извлекает наконечник и всаживает в соседнюю дырку. Он чувствует зависть к ее грубым, своевольным движениям, к тому, что она может не скрывать своего раздражения, не замечать пришельца.

— Позвольте вас побеспокоить,— говорит он наконец.— Вы обещали мне сегодня...

Звенят медные наконечники, ударяясь об алюминиевый щиток. Девушка соединяет чьи-то голоса. Одно движение ее руки — и незримая ниточка разговора протягивается в утреннем просторе. Легкость, с какой она это делает для других, подавляет его. Он не в силах повторить вопроса. Девушка говорит сама:

— Подождите. Большая мануфактура на проводе.

Он ждет. Ждет долго. Он представляет себе чужой разговор:

— Как по суровью?

— Подбиваем по суровью...

— Значит, вытягиваете?

— Вытягиваем...

— По миткалю?

— Подбиваем по миткалю...

— А по чесуче?

— Подбиваем по чесуче...

...Телефонный звонок, дребезжащий и долгий, вонзился в утренний сон семьи, как сигнал бедствия. Он разбудил всех, но никто не поднялся.

— Что это? — испуганно спрашивает моя жена.

— Одна наша старая родственница. Наверное, опять денег просит.

— Хоть бы она подохла скорей,— вздыхает жена и натягивает одеяло на голову.

...— Не отвечает ваша Москва,— сказала со злобой телефонистка.

— Они спят... они проснутся... Очень вас прошу, попробуйте еще раз...

Телефонистка покрутила ручку аппарата еще и еще. В трубке слышались разряды, шелест, словно ветер проплутал осенней лесной дорожкой; тонкий гудок, тихий и частый постук, будто дождик барабанит по листьям; вдруг какая-то музыка возникла далеко, резко нарастая в силе, приблизилась и снова отхлынула, исчезла вдали. Голос пространства тревожен и печален, от него щемило сердце. И вдруг далеко-далеко, с другого конца света, но совсем отчетливо услышал он голос своей бывшей жены:

— Да?..

Тоненькая ниточка наконец-то протянулась к нему, и, как ни тонка она была, он почувствовал себя сильней близостью ныне чужой, пусть закрытой для него навсегда семьи. Он закричал:

— Здравствуй, Катенька!.. Как вы живете все?..

— Ничего.— Голос сух и отстраняющ. Но может быть, это расстояние делает его таким?

Крепко зажав в руке трубку, словно боясь, что ее отнимут, он кричит:

— Как Сережа?..

— Ничего...

— Что он подделывает?..

— Ничего...

В голосе раздражение. Интонация, знакомая ему с давней поры их близости,— но менее всего ожидал он встретить ее сейчас. У него заболело сердце глухой тревожной болью. Он не может спросить, как не мог спросить все эти годы: за что с ним так? Ему вспомнилась длинная, трудная дорога, которой он шел сюда и которой ему предстоит идти назад...

...Стоя босыми ногами на полу, бывшая жена отчетливо слышала все бóльшую робость, потерянность его голоса. Но что могла она поделать? Если б хоть не так рано было, она бы нашлась, но не варит тяжелая со сна голова. Сказать бы хоть что-нибудь.

— Как твоё здоровье?

— У меня две болезни: сердце и очень хороший аппетит,— шутит он с другого конца света.

Она чувствует слабую надежду в его голосе.

— Ничего не поделаешь, всем худо,— говорит она — совсем, совсем не то, чего он ждет, говорит и сама чувствует это. Ей хочется сказать, что она не виновата, но не находит слов, и тоненькая ниточка обрывается.

А что было ей делать? Она не могла даже назвать его по имени — у сына ночевала жена, а жена ничего не должна знать. Боже упаси, чтобы она догадалась...

19. Каморки

Ненасытная жадность рохомских хозяек привела отца в «каморки» — нечто вроде рабочего общежития при Большой Рохомской мануфактуре. Громадное четырехэтажное кирпичное здание «каморок» было построено еще Кущинским, прежним владельцем фабрики, в этом угадывалась какая-то либеральная затея.

Комнаты общежития с высокими потолками и большими окнами выходили в широкие, просторные коридоры, тянущиеся во всю длину здания. В конце каждого коридора располагались обширные общественные кухни и места общего пользования. В нижнем этаже находились душевые и прачечные. «Каморки», как окрестили в Роhme коммуны Кущинского, не имели успеха. Рабочие стремились к земле. Одинокие достигали этого женитьбой на коренных рохомчанках, семейные предпочитали ютиться в убогих лачужках, но при своем наделе. В результате «каморки» стали обиталищем рабочих подонков: безмужних баб, гулящих девок, пьянчужек, словом, всякого деклассированного сброда. В пору революции и разрухи состав обитателей каморок стал еще более пестрым: какие-то странники и странницы, безногие и безрукие солдаты, ничьи «жонки» с многочисленными детьми; густое человеческое месиво набило их от душевых и прачечных до мест общего пользования. Пустовали лишь кухни: огромные, никогда не озяввшие веселым треском огня плиты не оставляли «жизненного пространства».

В иных комнатах ютились по две-три семьи, в иных располагался на просторе один-единственный владелец или владелица. Все комнаты слали в коридор густые, несвежие запахи еды и, словно гигантские шмели, неугомонно жужжали примусами. Кухнями Кущинского от веку никто не пользовался, они были построены в расчете хоть на какое-то общественное начало в быту обитателей каморок, и это сразу опре-

делило их нежизнеспособность. Даже совместная закупка дров оказалась недоступным делом для этих разобщенных, подозрительных, тайно и явно ненавидевших друг друга людей.

Коренные рохомчане от души презирали обитателей «каморок». Жить в «каморке» — значило морально опуститься, безнадежно пасть в общественном мнении. Отца это мало тревожило, его огорчало другое — он не имел тут отдельной, пусть бы и плохонькой комнаты, а снимал угол у хозяйки, богомольной суздальской «жонки» немолодых лет, работавшей в какой-то артели.

Когда я посетил отца в этом новом его обиталище, то понял, что его не будут тут донимать ни непрерывно растущей квартирной платой, ни платой за услуги: остывший самовар утром, горшок холодной каши вечером. Опасность подстерегала его с другой стороны.

Хозяйка с постным, будто обмазанным лампадным маслом лицом и блестящими, слишком живыми глазами, поглядывала на отца, как мышь на крупу. Бесшумно и быстро переноса по комнате свое легкое тело, округло выступающее из широкого платья, она все время рылась то в постели, то в комоде, то в шкафу, словно никак не могла отыскать нужную ей вещь. Она придумала себе это занятие, чтобы не оставлять нас вдвоем. То ли она опасалась, что я настрою отца против нее, то ли ее возбуждало присутствие двух мужчин. Я чувствовал, что дело может плохо кончиться для моего слабого, неспособного на сопротивление отца.

Наконец хозяйка вызвалась купить водки. До этого я ни разу в Рохме не пил. Мы дали ей денег, и, обвязавшись глухим шерстяным платком, она выметнула в коридор свое беспокойное тело.

— А хозяйка явно имеет на тебя виды, — сказал я отцу.

— Боюсь, что да, — согласился он. — Она рассказывает по ночам в белой рубашке, похожей на саван, и мне кажется, что это смерть... У меня есть тут подруга, — продолжал отец. — Фиса, очень милая женщина. Мы после зайдем к ней, я давно хочу вас познакомиться.

— Кто она такая?

— Ткачиха. Муж погиб на фронте, остались двое

детей, мальчик и девочка. Мальчик необыкновенно туп, в каждом классе сидит по три года. Ему скоро призываться, а он едва перешел в пятый класс. Девочка — живая и довольно способная, но льстивая и хитрая. Она пробовала называть меня папой, но я решительно это пресек.

— Значит, у меня появились сестрица и братец?

— Нет, нет! — с наивной серьезностью успокоил меня отец. — Этого никогда не будет. Фиса — бескорыстный человек, она ничего не требует от меня. Ее очень осуждают за то, что она связалась со стариком и «не пользуется», как выражаются местные «жонки». Она действительно очень привязалась ко мне.

— А почему бы тебе не жить у нее? Все лучше, чем в этих «каморках»!

— Видишь ли, тут произошла трагическая история. Фиса жила в доме у одной старухи, ухаживала за ней, кормила, поила, и за это старуха должна была после смерти отказать ей дом. Старуха оказалась на редкость живуча и прожорлива, Фиса совсем с ней замучилась. Наконец старуха умерла, тут было такое счастье! Я купил бутылочку портвейна, Фиса испекла пирог. Как-то, недели через три, я ночевал у Фисы. Вдруг среди ночи — стук. Вваливаются двое нищих-слепцов, муж и жена, дальние родственники покойной и законные ее наследники. Кто-то разыскал этих слепцов и сообщил им о наследстве. У меня чуть сердце не разорвалось от жалости...

— Ну, и что было дальше?

— Слепцы переночевали на полу, а утром, когда я проснулся, то услышал какой-то щелк: они ловили друг на друге вшей. Это было отвратительно, — хладнокровно заметил отец. — А потом они устроили ревизию имуществу, обнаружили, что прохудилась самоварная труба, и уехали за новой трубой в Пензу.

— В Пензу за трубой?..

— Так ведь слепые ездят без билетов, а в поездах подают лучше, чем на улице. Мне кажется, — задумчиво добавил отец, — они не останутся тут надолго, в Рохме ненавидят нищих. Старик целый день простоял у проходной нашей фабрики и не собрал даже на стопку водки.

— Но они могут продать дом!

— Кто его купит? Полуразвалившаяся, гнилая хибара. На худой конец, дело идет о сотне рублей,

я помогу Фисе.— Отец улыбнулся.— Приятно на склоне лет стать домовладельцем.

Вернулась хозяйка с четвертинкой водки, бутылкой пива и какой-то закуской. Закрасив водку малиновым сиропцем, она быстро и ловко собрала на стол, а сама стала в углу под образами в почерневших серебряных ризах и, подперев голову кулачком, умильно поглядывала на пирующих «мужичков».

Мне понадобилось выйти. Отец сказал, что уборная находится в конце коридора, налево. Пройдя высокий, гулкий коридор, я обнаружил ряд низеньких дверец, до половины застекленных непрозрачным, пупырчатым стеклом. Толкнув одну дверцу, я очутился в жилом помещении: теснота стен и вещей, оглушающий шум примуса, крикливая возня детей. Вторая попытка дала тот же результат. Больше я уже не пытался открыть дверцы, достаточно было приблизить ухо к мутному пупырчатому стеклу, чтобы за каждой дверцей обнаружить шум жизни. Я двинулся дальше и оказался в гигантском зале, заставленном огромными, никогда не виданными мною плитами. Настоящая адава кухня! Невозможно было представить, чтобы здесь готовили простые человеческие кушанья. Нет, сам сатана творит тут свое горячее дело, поджаривает грешников на сковородах величиной с рыцарский щит. Но сейчас бездействовали могучие корабельные топки, и плиты стояли холодные, как склепы.

Чувствуя неприятный нервный озноб во всем теле, я быстро пересек кухню, наугад толкнул какую-то дверь и вновь очутился в громадном зале, лишь немного уступающем первому. Пол, стены и потолок, слепленные из серого, холодного вещества, похожего на бетон, непрерывно сочились омерзительной, зеленоватой влагой. Единственно сухим в этом гнилостно потеющем зале была паутина, сверху донизу заткавшая высокое, готическое окно. Посреди зала торчал диковинный цветок: два чугунных бутона-унитаза на общем трубчатом стебле. Другой обстановки не было. На одной из стен чья-то рука начертала дерьмом: «Гитлер — пидорас». Надпись находилась под самым потолком, видимо, писавший стоял на плечах товарища. Крупные, корявые буквы рельефно выделялись на серо-зеленоватой слизи стены.

Этот зал с могильной сыростью и холодом, за-

тканным паутиной окном, с чугунным цветком посреди и красноречивой надписью под потолком словно привиделся мне в дурном, болезненном сне. До сегодняшнего дня меня охватывает порой сомнение: да было ли это на самом деле?

Когда я вернулся в комнату, отец, стоя у окна, что-то внимательно высматривал на улице. Из-за его плеча я увидел похоронную процессию. Четверка заморенных кляч, таких худых, что, казалось, они должны колотиться о собственное тело, в грязновато-белых траурных пополах и черных очках, тащили катафалк с гробом. И гроб, и катафалк были перетянуты кумачом, на котором бледно просвечивали буквы каких-то лозунгов. За гробом шли музыканты, тщедушная банда из пяти-шести человек. Издавая короткие, ухающие звуки, тускло сверкал змий Геликона, помятый, как после схватки с архангелом Михаилом; четыре трубы поменьше вплетали свою жалобу в его дремучий голос. Порой в сумятице звуков проскальзывали три-четыре такта похоронного марша Шопена. Вслед за музыкантами двое мужчин в темных драповых пальто неуклюже тащили большой жестяной венок, за ними на полкилометра растянулись провожающие. Чем дальше от катафалка, тем нестройнее ряды, безучастнее лица, последними, взявшись под руки, как на демонстрации, шли мордастые девахи.

— Когда я умру,— сказал отец,— пусть меня хоронят без музыки. Это моя единственная, но серьезная просьба. Музыкантов нанимают из оркестра горсада, они то и дело сбиваются на фокстрот. Я не получу никакого удовольствия от своей смерти, если не буду уверен, что их не допустят к моему гробу.

...Бедный отец! Стоило ему подумать о чем-либо плохом, как это плохое непременно сбывалось. Его хоронили с музыкой. Музыкантская команда горсада, сбиваясь с шопеновского марша на фокстрот, проводила его в последний путь. Такова была непреклонная воля Фисаньки. Только раз посветила ей в жизни радость недолгой близости с отцом, и она не могла отказать ему в этой чести, да и люди бы ей не простили...

Что-то сломалось во мне в этот приезд. Наша комната была жалкой ячейкой в каменных сотах чудовищного общежития, до отказа набитого нище-

той, злобой, грязью, жестокостью. Лишь тонкие, непрочные перегородки отделяли нас от страшных людей, мнущих чугунные унитазы и пишущих дерьмом на стенах. И таким простым казался переход из этой незащищенности на помост катафалка, влекомого полуслепыми клячами. Никогда еще не попадал отец в худшую беду!

Я послал хозяйку купить еще водки. Я вливал в себя водку стакан за стаканом, почти не хмелея, а хозяйка бегала вновь и вновь, счастливая возможностью услужить «мужичку». Откуда-то появилась девчонка с нежным тонким лицом и грязными, намагнирюренными ногтями. Девчонка тоже пила водку, брала мою руку и водила по своему лицу. Но так тяжело было на сердце, что я отпустил девчонку ни с чем. А потом, уже в сумерках, я стал плакать. Я плакал долго, не в силах остановиться, до боли в груди и горле. Я плакал из жалости к отцу и к себе, плакал от бессилия и безнадежности, плакал, впервые поняв, что у меня не станет сил до конца идти путем отца, рано или поздно я сверну с дороги и брошу его. Я словно прощался с ним сейчас, прощался надолго до настоящей разлуки. И отец как будто понимал это: он не пытался меня успокоить, он сидел молча, задумчиво и лишь порой тихо гладил меня по голове.

А на другой день мы пошли к Фисаньке. Я выплакал в себе столько боли, что мне казалось — теперь все будет лучше, светлее, легче. Я заранее готов был принять подругу отца, милую, бескорыстную женщину, да еще «мамино типа».

На краю Рохмы, в рослых лопухах, торчала на покосившейся обомшелой тесовой крыше кирпичная, готовая вот-вот рухнуть труба. Крошечный домишко с кривыми оконницами врос в землю. Со своей непомерно длинной и узкой трубой он напоминал чем-то старый, помятый самовар. Вокруг домика развешано мокрое белье, такое запользованное и ветхое, что стирка не могла вернуть ему белизны. Ветер дул в дырявые паруса простынь, они надувались и тут же обмякали с коротким влажным хлопком. Мы вошли в дом, вернее, спустились в него, как в неглубокую яму. В полутемных сенях стояла невыносимая вонь помойного ведра и чего-то скисшего, созревшего. По контрасту воздух в тесной комнате показался чистым. «Так вот где происходит любовь отца», — думал я,

обводя взглядом худую металлическую кровать с горкой серых подушек, стол, покрытый темной, засаленной клеенкой, поломанные стулья и какое-то пузатое, бесформенное сооружение, бывшее когда-то не то комодом, не то буфетом.

Из-за ситцевой занавески, отгораживающей угол комнаты, появилась подруга отца, сравнительно молодая женщина со светлыми волосами и большим неподвижным лицом. На подбородке у нее был довольно приметный нарост. Кажется, глаза у нее были хороши, но их синий сверк мелькнул на краткий миг и спрятался под большую упрямую лобную кость. До конца нашего визита я так больше и не увидел Фисанькиных глаз. Впрочем, и лица ее я тоже толком не разглядел. Она прятала все, что только можно спрятать: глаза, лицо, руки, грудь, ноги, на обозрение оставались лишь широкие плечи да сутулая, натруженная спина. Тщетно силился я отыскать в ней «мамин тип», угаданный отцом. Но все же было, наверное, в ней что-то, отчего она приглянулась отцу, отчего он выбрал ее среди всех столь схожих с нею подруг. Тут не могло быть ошибки. Верно, таким и становится «мамин тип» под гнетом рохомской жизни, под чудовищным давлением нищеты, полуголода и непосильного труда.

Рохма верна себе во всех звеньях, напрасно тешился я радужными надеждами в это утро. Фисанька не дозволила себе ни одного сколько-нибудь симпатичного движения, ни одного доброго слова. Ее редкие, под нос, отрывистые речи в ответ на все любезности отца, желавшего нас подружить, были выдержаны в известном ключе: не замай. Что-то грубоотстраняющее, угрюмое, тупое и затаенное. «Она стесняется», — шепнул мне отец. Я никогда не видел столь неизящной и непривлекательной дикарки. Наконец после многочисленных, робких, хотя и тщетных, намеков отца на «самоварчик» мы распрощались с Фисанькой.

— Она ревнует, — сказал отец по дороге домой. — Она боится, что старая семья отнимет меня у нее.

Я честно признался, что Фисанька мне не понравилась.

— Неужели ты не заметил, что она с мамой одного типа? — удивился отец, несколько не обиженный. — Это тип Лили и Эльзы, мне всегда нравились жен-

щины этого типа.— И он принялся вспоминать прошлое.

А вечером, роаясь в книгах, наваленных грудой на столе отца, я обнаружил толстую тетрадь в белой обертке. На обертке было написано: «Текстилиада». Тетрадь содержала формулы экономических расчетов, эскизы текстильных машин, диаграммы, цифровые выкладки: отец осваивал новую для него область работы. Я уже хотел отложить тетрадь, как вдруг наткнулся на куда более близкий мне текст. Это было начало литературной статьи, речь шла о познании мира средствами искусства. Я стал читать статью, силясь вспомнить, кому она принадлежит. Формулировки были сжатые, ясные и отточенные. Для «демократической» критики слишком дельно и беспарфосно, для Константина Леонтьева слишком современно.

— Знакомишься с моими опытами? — проговорил отец. Уютно устроившись на кровати, он курил, сбрасывая пепел мимо вазочки, заменявшей ему пепельницу.— Я хотел развить тут одну мысль Толстого, по-моему, недостаточно оцененную...

Ужас «каморок», Фисанька, слепцы с самоварной трубой, вся мразь и жалость рохомской жизни не коснулись отца, словно он был заключен в незримую и непроницаемую оболочку. Он жил широко и вольно, не теряя связи ни с чем в большой жизни; лишенный всего, что составляет обиход человека, он ничего не лишился в себе, но не делал из этого позы, и оттого мне, молодому, суетному и слабодушному, так трудно было увидеть настоящую его высоту.

Я долго думал об этом, лежа на жесткой постели с потухшей папиросой в руке. Отец давно уснул, как умер, столь тихим, неслышным было его дыхание, но еще долго огромной летучей мышью металась по комнате хозяйка в сером балахоне, томимая своими беспокойными и тщетными желаниями.

20. В Москве

Прошли годы, странная формула «семь и четыре» наконец-то исчерпала себя. Отцу вернули все права свободного гражданина. Теперь он мог расстаться

с Рохмой и переехать в Тейково, или Нерль, или даже Шую, более крупные города не рекомендовались. Теперь он не должен был каждый месяц являться к районному уполномоченному МВД, достаточно было приходить раз в три месяца. Теперь он мог проводить свой отпуск, где ему заблагорассудится, конечно, с разрешения того же уполномоченного. Словом, он был свободен, как ветер. И, опьяненный своей новой свободой, отец собрался в Москву. Ему пришлось трижды переключать отпуск; районный уполномоченный, не решаясь взять на себя ответственность, запрашивал область, а та, в свою очередь, сносились с Москвой. Наконец весной 1948 года разрешение было получено, и в один из солнечных майских дней отец постучался в дверь нашей квартиры.

Мы его ждали. Мама сменила неизменный халат на юбку и кофту, причесалась и даже подтянула чулки. Дашура побрилась и надела чистый фартук. Лицо у нее было заплаканным, но не от растроганности. Я попросил испечь лепешку, как в доброе старое время, а Дашура по дряхлости забыла рецепт, за что ей жестоко досталось от мамы.

Дашура открыла дверь, поздоровалась с отцом и вышмыгнула на лестницу, чтобы забрать его чемодан.

— Ну, здравствуй,— сказала мама, подходя к отцу.

— Здравствуй, Катенька.

Они поцеловались, грустно и спокойно, старые люди, у которых все осталось позади, в такой дальней дали, что и вспоминать о прошлом не к чему, да и не хочется. И оба замолчали.

Людям, встречающимся каждый день, всегда есть о чем говорить, для них важны и увлекательны все мелочи, вся суэта повседневности; людям, не видевшимся десятилетия, говорить не о чем. Маленькое ушло, а главное ясно и без слов: оно запечатлено в морщинах, в седине волос, в собачьей кротости глаз. Встреча после очень долгой разлуки — все равно что новое знакомство, а они были не в том возрасте и слишком устали, чтобы заводить новых знакомых.

Им не надо было ни притворяться друг перед другом, ни просить прощения за взаимную душевную бедность — то, что их связывало, было прочно и нерасторжимо, все остальное ничего не значило.

— Ты мало изменилась,— проговорил отец, потрясенный переменной в мамином облике.

Мама лишь устало отмахнулась.

— Да... вот цветочки.— Отец протянул букетик тускло-красных и желтых бессмертников.

— Разве можно приносить в дом бессмертники? — сказала мама.— Это плохая примета.

Отец никогда не разбирался в цветах, наверное, он думал, что это маргаритки.

— Других не было...— пробормотал он смущенно.

Мама взяла бессмертники и поставила в вазочку на комод, там они стоят и по сию пору.

— Хочешь принять ванну? — спросила она.— А Дарья приготовит завтрак.

— С удовольствием! — сразу оживился отец — запахло уютом.

Отец не умел зажигать газ, он никогда не видел газа в квартирах. Его по-детски обрадовало, когда при повороте рычажка вспыхнули фиолетовые побеги пламени и тонкая струйка воды, вмиг нагревшись, запарила.

Едва мы сели к столу и Дашура с сумрачным лицом подала яичницу-глазунью и обгорелый кругляк, напоминающий любимую нашу лепешку, как в дверь постучали. Отец испуганно и вопросительно взглянул на маму. Этот взгляд открыл мне, что он кое-что понял из моих подлых недомолвок и околичностей.

— Ступай в ванну! — сказала мама отрывисто.

Отец юркнул в ванную комнату, мама вышла в коридор, притворив за собой дверь. Пришла ее приятельница и соседка, дама в круглых очках, въедливая, любопытная и проницательная. Не знаю, о чем они там говорили, но в комнату мама ее не пустила. Видно, та заподозрила что-то, вся мамина нелюбезность разбивалась о настырное желание приятельницы проникнуть в нашу тайну. Наконец хлопнула входная дверь, и я выпустил отца из заточения. Что-то еще порвалось в душе, уж слишком грубо все это выглядело.

— Кто это был? — спросил отец с любопытством.

— Знакомая, над нами живет.

— А она...? — Отец не договорил, поскольку и без того было ясно, что он имеет в виду.

Мать пожала плечами. Отец все-таки не до конца

понимал наши и свои обстоятельства. Он думал, что надо опасаться лишь некоторых зловредных людей, а мы вынуждены были скрывать его ото всех.

— Мы должны думать о Сереже, — с присущей ей жесткой прямоотой сказала мать. — Сейчас опять сажают почем зря. Если надо будет, Сережа отречется от тебя, от меня, от черта и дьявола.

— А Сережина жена знает, что я приехал?.. — неуверенно проговорил отец.

Мать сделала большие глаза.

— Ты с ума сошел!..

Отец замолчал, ушел в себя, наконец-то он понял. Видимо, в эту минуту в нем рушились какие-то последние иллюзии. И вместе с тем он знал теперь, как непросто и нелегко мы живем, суровая мамина прямоота сняла тот налет оскорбительности, который проглядывал для него в моей полуправде. Он понял нашу загнанность и нашу борьбу, понял настолько, что, когда прозвенел телефонный звонок, сам кинулся в ванну.

Мама остановила его чуть раздраженным жестом: она высказала то, что должна была сказать, но все же ей было тяжело.

— Никого нет дома! — крикнула она Дашуре. — И двери тоже не открывайте!

— Ну как же я не открою?.. — завела Дашура.

— Так вот — не откроете! Нечего всякой сволочи сюда шляться!..

Но не так уж в жизни все плохо. Добрый и отходчивый характер отца превозмог и это новое угнетение — как-никак он был в Москве, с единственно близкими ему людьми, и этого уж нельзя было отнять у него. Он шел сюда путем невероятных мук, терпения и стойкости, он был почти мертв, но он выжил и дошел, и как ни печальна его победа, все же это победа. И вкусная домашняя глазунья, домашняя, пусть чуть подгорелая лепешка, и кофе со сливками — совсем немалая награда победителю. Он снова стал оживлен, остроумен и так уютен, как только он один умел быть за столом. Он выпил чашку кофе и еще чашку, затем еще одну, последнюю, после чего со смешливо-испуганным выражением попросил еще одну, самую последнюю.

Я посмотрел на маму, она улыбнулась мне. То была очень редкая у мамы, незащищенно-добрая,

растроганная улыбка. И почему-то я сразу уверился, что не унижительное и гадкое останется после этой поездки в душе отца, не бегство в ванну и вздрог от каждого телефонного звонка, а наша, пусть испуганная, пусть жалкая, преданность ему.

Конечно, отцу во многом по-иному рисовалось возвращение в Москву. Он думал, что его окружают друзья былой, лучшей поры, что в долгих, дружеских разговорах увяжут они прошлое с настоящим, отчего все пережитое обретет новую ценность. Но поколение его сильно поредело — кто умер, кто пропал в ссылке, кто погиб на войне. Уцелело всего лишь несколько могикан. То были люди настолько старомодно-порядочные, что отцу не возбранялось видеться с ними. Но первые же попытки отбили у отца охоту к возобновлению былых связей. Его встречали безнадежно постаревшие, ни в чем не преуспевшие люди, задавленные страхом почти до полного равнодушия. Даже самый благополучный из них, профессор, с которым у отца было в молодости и соперничество, и какие-то сложные счеты, произвел столь жалкое впечатление, что отец вернулся от него с чувством полного удовлетворения.

Это и огорчало и как-то успокаивало отца. Что ни говори, а собственная судьба уже не кажется такой бедной, когда видишь, что другие, прожившие куда в лучших условиях, не очень-то ушли вперед. Лишь перемена в женщинах глубоко трогала и печалила отца, тут он был до конца бескорыстен. Он обладал необыкновенной способностью встречать на улице знакомых, в первый же свой выход он столкнулся с одной большой любовью и двумя мимолетными близостями.

— Что случилось с Анной Семеновной! — говорил он, делая страдальческое лицо.

— То же, что и со всеми нами, — годы, — отвечала мать.

— Неужели и Лиля так же изменилась? — испуганно спрашивал отец.

— Так же? Я уж на что стара и безобразна, а по сравнению с ней — молодка. Лиля — настоящее чудище, — с благородной простотой говорила мать.

Был конец мая, и цвели тополя. Мы решили с отцом пойти на Гоголевский бульвар. Сперва вышел из дому он один, через несколько минут я присоеди-

нился к нему на углу бульвара и Сивцева Вражка. Деревья пахли так крепко и густо, что совсем не слышны были обычные городские запахи: бензиновой гари, пыли, асфальта. По воздуху летал белый пух. Приземляясь, пушинки становились похожими на мохнатых гусениц.

— Что может быть лучше этого запаха? — говорил отец. — Так пахнет только в Москве. — И всей слабой грудью он вбирал в себя крепкий и сладкий воздух, воздух своего детства.

Мы шли к Арбатской площади, шли так медленно, что нас обгоняли даже крошечные дети, едва научившиеся ходить. И все же это был не такой уж плохой шаг, если он привел отца из Заполярья, через Воркуту и Рохму, к тополям Гоголевского бульвара.

21. Перед концом

Теперь отец приезжал в Москву каждый год. Он привозил рохомский гостинец: мешочек лесных орехов, которые собирала для меня льстивая дочка Фисы. Ему по-прежнему приходилось скрываться в ванной комнате при чем-либо неожиданном появлении, но постепенно и это как-то образовалось. Необходимость делает людей беспощадными: на время его приезда мы стали решительно порывать с нашими друзьями и знакомыми, не подыскивая никаких мотивов и не утруждая себя объяснениями. Когда раздавался внезапный стук, мать через цепочку отваживалась незваного гостя. Друзья огорчались, но больше злились. Они подозревали, что за приступами нашего внезапного охлаждения скрывается тщательно хранящая семейная тайна, и страдали от невозможности проникнуть в нее. Впрочем, мы не потеряли ни одного из них, обидеть закаленного советского человека — дело почти невыполнимое.

Но среди всех наших новых, настырных и ненадежных друзей нашлась женщина такой высокой душевной пробы, что мы рискнули познакомить ее с отцом. Моя новая жена — с Ниной мы расстались друзьями — тоже оказалась человеком, которому можно доверить судьбу, и это особенно радовало отца с его старомодными представлениями о семье и браке.

Теперь он чувствовал себя по-настоящему введенным в домашний наш круг.

Отец испытал последний, короткий подъем всех жизненных сил. С увлечением и юмором рассказывал он нам о своей победе над сердцем директрисы прядильной фабрики, женщины «абсолютно мамино типа». Рохма никогда не видела столь блистательного романа: он возил свою даму в лучший ивановский ресторан, где она заказывала вареную курицу с рисом.

Этот роман стоил ему угла в «каморках». Суздальская «жонка», кое-как мирившаяся с существованием Фисаньки, которую надеялась рано или поздно одолеть, решительно возмутилась при появлении новой грозной соперницы. Она стала водить к себе «мужичков», и один из них так прижился, что отец вынужден был искать себе другое пристанище. Он снял маленькую комнату в дальнем конце Рохмы, у старухи по прозвищу «Душегубка». Кличка была несправедливой, старуха не погубила ни одной человеческой души, этим промышлял ее давно умерший муж. Об его разбойных делах старуха рассказывала со странным простодушием и откровенностью. Он грабил и нередко отправлял на тот свет прохожих людей при большой дороге, ведущей из Рохмы в Шую. «Уж совсем дряхлый был, — говорила старуха, вытирая глаза кончиком черного монашеского платка, — почти слепенький, без палочки шагу не мог ступить, а работы не бросал. Наденет очки, палочку в руку и трюх-трюх...» И она показывала как трюхал ее муж на ночную работу.

Эту историю нам рассказывал в Москве отец, а затем я услышал ее из уст самой вдовы старого трудяги. То был мой последний приезд в Рохму.

С тех пор как отец стал проводить свой ежегодный отпуск в Москве, я редко бывал в Рохме, а последние полтора года так и вовсе не бывал. Но тут мне пришлось поехать: отец как-то странно, потерянно говорил со мной по телефону. Мне не понравился его голос, не то чтобы потухший, а какой-то опавший, без прежнего веселого металла.

Отец встретил меня на площади имени Заменгофа, конечной остановке автобуса, связавшего после войны Рохму с Ивановом. При первом же взгляде на него я понял, что дело неладно.

В прошлый его приезд я подарил ему модный белый пыльник из прорезиненной ткани. Пыльник очень шел отцу, и, проходя мимо витрин или зеркал, он всякий раз косил глазом на свое отражение. Сейчас я с трудом узнал мой подарок в грязной, засаленной, местами порванной тряпке, облежавшей фигуру отца. День был летний, жаркий, отец мог свободно обойтись без этого пыльника, видимо, он надевал его машинально, не замечая ни грязных пятен, ни сального ворота, ни дырок на месте вырванных с мясом пуговиц. Меня поразила не столько неопрятность обычно аккуратного отца, сколько ощущение чего-то раз бывшего: тяжелого и болезненного. Вот таким же разmundиренным явился он из Саратова, а ведь и тогда его опустившийся вид не был вызван нуждой.

— Зачем ты носишь эту грязь? — спросил я отца.

— Да... — согласился он рассеянно. — Надо бы отдать постирать...

Воспоминание о Саратове помогло мне понять, что произошло с отцом. Ему снова не под силу нести свое бремя, свое одиночество, постоянную тоску о Москве, по-прежнему остававшейся для него недосыгаемой. Его редкие, кратковременные приезды домой лишь разжигали эту тоску, усиливали чувство безнадежности. Героический период его жизни кончился, наступила повседневность без остроты страдания, но с постоянной тяготой неудовлетворенности и одиночества. В нем иссякла вера, что когда-нибудь он навсегда порвет с Рохмой и вернется в Москву, а с верой пропала и сопротивляемость.

Невеселым было наше последнее рохомское свидание. Внешне все оставалось по-прежнему. Он так же расспрашивал о Москве, о доме, о нашей новой и единственной общей знакомой, даже шутил; так же, когда я еще спал, ходил по утрам на базар, чтобы купить чего-нибудь вкусного, так же интересовался новыми моими рассказами, но была во всем этом печаль странной отчужденности. Не то что он стал ко мне равнодушен. Скорее наоборот: никогда еще не ощущал я, что мой приезд так ему нужен, так дорог. Но он мог бы и вовсе ни о чем не спрашивать, а я мог бы не отвечать, мы могли бы просто молча курить: ему достаточно было одного моего присутствия. Его отчужденность распространялась на мой душевный мир, но не на физическое мое пребывание рядом с

ним. И мне было холодно и словно бы страшно от этой моей внедушевной ценности для него.

Когда он провожал меня на автобусную остановку, я обнаружил вдруг, что на нем опять надет тот самый грязнейший пыльник. Я невольно подумал: уж не игра ли это? Но достаточно было взглянуть на его лицо, чтобы сразу отвергнуть эту мысль. Нет, он сделал это непроизвольно, снова перестав замечать что-либо вокруг себя. Всеми помыслами, всеми последними силами тянулся он к Москве. Я был для него сейчас не просто сыном, я был образом мира, без которого он не мог больше жить, он терял этот образ и оттого не видел ни себя, ни вещей, его окружающих.

И, глядя из окна автобуса на маленькую, потертую фигурку в грязно-белом балахоне, я думал: неужели — конец?

Нет, то был еще не конец, хотя конец был близок.

22. Конец

Он еще раз приехал в Москву — в хорошем пальто, хорошем костюме, фетровой шляпе, нервно-легкий и словно помолодевший.

Мне кажется, он знал, что умирает. Он попросил свезти его в Химки. Он хотел набраться каких-то чистых и свежих впечатлений о городе, в котором родился, любил, был счастлив. Город стал другим, другие дома, другие улицы, даже названия улиц, другие люди. С этим городом у него не было интимной связи, и он обратился к тому, что меняется меньше всего и вернее всего хранит силу воспоминаний: к воде и деревьям.

Ему захотелось увидеть воду московской реки, деревья Москвы, такие же золотые, как в осени его детства. Мы поехали в Химки. Он не узнавал ни улицы Горького, ни Ленинградского шоссе, ни Петровского парка; в Химках вокзал, пристань, гранитная набережная вызвали в нем восхищенное уважение, которое он всегда испытывал к человеческому труду. У него стал легкий, летящий, как в молодости, шаг, я едва поспевал за ним, когда мы обходили набережную. С деревьев облетали листья и, опускаясь на воду, плыли, задржав хвостики черенков.

Затем он сказал с каким-то непонятым удовлетворением: «Ну, хорошо!» — и пошел к машине. Тут я что-то понял: это сведение счетов. И на обратном пути я заговорил с ним о себе, не так, как это делал до сих пор. Обычно, чтобы не ослабевала в нем уверенность в жизни, я изображал из себя крепкого, напористого, неунывающего борца. Но сейчас ему нужно было передать кому-то неизрасходованную силу жизни. Последнее, что может сделать настоящий человек на земле, — это утешить тех, кому еще предстоит жить, вдохнуть в них надежду и веру, что жизнь не так уж плоха. Но разве нужно все это тому ловкому, пробойному молодцу, каким я неизменно являлся перед ним? И на обратном пути из Химок я открылся ему тем человеком, на которого он мог потратить последнее усилие любви.

Во все дни своего пребывания в Москве отец производил впечатление человека, начинающего новую жизнь, на самом же деле он сводил счеты со старой. Вся его нестойкая бодрость сломилась на перроне Ярославского вокзала, куда мы — отчим, жена и я — пришли его провожать. Каким-то странным, падающим шагом засеменял он в обгон нас к вагону, будто хотел поскорее прервать мучительный обряд расставанья. А может, ему стало нехорошо с сердцем, и он заторопился из боязни, что не дойдет. Лицо его туго обтянулось желто-бледной кожей, глаза стали выпуклыми, испуганно-удивленными.

Он стоял на площадке, когда в вагон шумной, разнuzданной, полупьяной оравой ввалились волейболисты «Локомотива», ехавшие в Иваново на соревнования. Все молодцы, как на подбор, рослые, стройные, переполненные вульгарной жизненной силой, они не затолкали, не задавили отца лишь потому, что в их натренированных, гибких и мощных телах была безотчетная, изящная ловкость. Рядом с этими горластыми, пышущими здоровьем молодцами отец с его прерывистым дыханием, обглоданным лицом, всей смертной слабостью крошечного тела показался таким обреченно непрочным, таким безнадежно изжившимся, что всех нас пронизало общее чувство: больше мы его не увидим. Верно, и он почувствовал это, у него не стало сил даже для прощальной улыбки...

Кажется, никого из нас не удивило, когда через два с половиной месяца от отца пришло письмо, что он болен и лежит в больнице. Все же поначалу его болезнь не казалась такой опасной. Вскоре он вышел из больницы и вернулся к работе. Но затем снова заболел: у него отнялась правая рука.

«Врачи находят тромбоз», — сказал он мне по телефону и просил приехать. Я обещал приехать на машине и забрать его в Москву. Уже на другой день я бегал по разным автодорожным учреждениям, чтобы разузнать дорогу на Иваново, купил столитровую бочку с бензином и запасные камеры. Тем временем отец хлопотал о разрешении на выезд в Москву. В разрешении ему отказали, а тут зарядили тяжелые осенние дожди, потекли проселочные дороги, поездка на машине сорвалась.

Началась та ужасная игра, о которой мне и сейчас, по прошествии стольких лет, тяжело писать. Под всеми предложениями оттягивал я свою поездку. Я убедил отца устроиться в санаторий. Он последовал моему совету, а по выходе из санатория вновь звонил и спрашивал, когда я приеду. В ответ он слышал рассуждения о том, что ему следует непременно уйти с работы и всерьез заняться своим здоровьем, что я буду высылать ему столько денег, сколько он получал на фабрике, и материально жизнь его несколько не ухудшится. И он послушно оформлял свой уход с фабрики, консультировался в Иваново у профессора и снова звонил и спрашивал, когда же я приеду.

Я все не ехал. Задерживало меня то одно, то другое: собственное скверное нервное состояние, необходимость отдыха, затем литературные дела — после долгих лет застоя я неожиданно одержал крупную победу, которую следовало развить. Словом, причины находились — хорошие, веские, ничего не стоящие причины.

Отец в избытке получал письма, деньги на жизнь, на лечение, на консультации у лучших ивановских специалистов, умные, дельные советы, но ничего этого ему не было нужно. Ему нужно было одно: чтобы я приехал.

А я боялся ехать. Все мои маленькие страхи перед Рохмой слились в один великий и подлый страх. Случилось то, что должно было случиться: я предал отца, у меня не хватило сил идти до конца его

крестным путем. Еще бы шаг, еще бы одно, последнее усилие, и пусть бы не удалось мне его спасти, — я дал бы ему нечто равное спасению: близость родной жизни, обман надежды, на который охотно пошло бы его верящее сердце. Я не сделал этого шага, не сделал этого усилия, я дезертировал перед лицом грозившей ему смерти.

Я хочу кончить свой рассказ об отце записью из дневника, сделанной 4 апреля 1953 года, в день, когда мы получили весть о его смерти. Решив писать всю правду, я все же как-то себя оправдывал. Но пережитое в тот день живое, беспримесное, непосредственное чувство не находило мне оправдания.

4 апреля

Вот и кончилось все, что началось дорогой в Пинозеро, когда я вновь обрел то странное, острое, непонятно властное, что называется редко звучащим на моих губах словом «отец». Обычно с отцом связывает сильное начало в душе человека. Для меня же это было иным: мягким, страдающим, спасающим от последней грубости. Я должен быть ему благодарен больше, чем любой другой сын благодарен отцу, кормившему, поившему, одевавшему, воспитывавшему его. Я кормил, поил, одевал отца. И тут мое чувство совершенно свободно. Но благодаря отцу я узнал столько всяческой боли, сколько не причинила мне вся моя остальная жизнь. Это единственная основа моего душевного опыта, остальное во мне дрянь и грубость. Маленькая фигурка за колючей проволокой лагеря, маленькая фигурка на рохомском шоссе, провода «вон до того телеграфного столба» и взгляд мне вослед, взгляд, который я физически чувствовал, даже скрывшись из виду, — это неизмеримо больше того, что способен дать сыну самый лучший отец.

Да и можно ли говорить «отец», когда дело идет об этом крошечном, мне по плечо, слабом, незащищенном человеке? Он дал мне жизнь, и за это я с ним расквитался. Когда больной, раздетый, умирающий от голода, почти бесплотный, он прибыл умирать в Рохму, я его накормил, обул, одел, дал ему жизнь. Тогда меняхватило на это. И если он снова стал чело-

веком, если он снова смог работать, читать книги, радоваться, любить баб — это было создано мною. Я как бы родил его наново сознательным усилием любви, жалости и злобы. Он был моим сыном, и потому нет мне сейчас прощения. Сын предаёт отца — это закономерно, дети всегда, рано или поздно, так или иначе, предаёт родителей. Но когда отец предаёт сына — нет ему прощения. Я это сделал. Я предал своего старого, больного, одинокого, умирающего сына.

Поездка на острова



1

Они опоздали на теплоход. На прекрасный туристский теплоход с уютными каютами, баром, кинозалом, скоростной теплоход, который тратит от Архангельска до Соловков всего одну ночь. Их подвело доверие к авиации.

— Зачем трястись ночь и утро в поезде, когда за полтора часа лету мы будем в Архангельске,— говорил Борский — ведущий в паре,— и нас с аэропорта доставят прямо на теплоход.

Борский достал туристские путевки в Соловки, куда после пожара, уничтожившего всю органическую жизнь на Зайцких островах, вольных странников не только не допускали, но, буде кто прорвется, под конвоем возвращали на Большую землю. Ущерб, нанесенный Соловецкому архипелагу неорганизованными туристами, неизмеримо превзошел бесчинства курсантов Школы юнг, завладевшей островами после ликвидации СЛОНа (Соловецкий лагерь особого назначения) в 1939 году. Но морские курсанты стояли на страже Соловецких островов в пору Отечественной войны, чем искупили весь причиненный ущерб хотя бы в моральном плане. Туристы не сделали ровным счетом ничего хорошего для островов ни в какую пору, напротив, разнуздываясь с каждым годом все больше, пускали на свои якобы романтические костры реликтовые деревья, истребили не только рыбу, водоплавающую и боровую дичь, но подобралась к тюленям, нерпам и «зайцам», заразив немногочисленное и кроткое местное население беспримерным хищничеством. Отбраконьерив, натрескавшись ухи, не уступа-

ющей архиерейской, налившись водкой и пивом, романтики второй половины двадцатого века принимались щипать гитарные струны и петь горестные — не из своей биографии — песни, затем, взбодрив костры в защиту от комарья, забирались в палатки и засыпали, довольные собой и жизнью. В одну из подобных ночей сгорели дотла Заицкие острова. На чем и кончилась браконьерски-гитарная романтика в соловецком микромире.

Эти сведения о Соловках собрал, разумеется, Борский, которому принадлежала инициатива поездки — сам Егошин никогда бы не отважился на такое сложное и отважное мероприятие. Вообще-то он давно мечтал — да еще как мечтал! — о поездке на Соловецкие острова, именно туда, а не в Кижи, или в Холмогоры, или в Каргополь, там ему тоже хотелось побывать, поскольку он любил всю русскую старину, но Соловками — грезил. Не следует думать, что сильная эта тяга мешала ему жить, есть, спать и выполнять свои служебные обязанности — он был старшим редактором отдела поэзии крупного московского издательства, — но когда заговаривали об отпуске, а отпускная горячка охватывала его друзей и близких с первым весенним солнцем, Егошин всякий раз убежденно говорил: «Кто куда, а я — в Соловки». Прежде этому чуть брезгливо удивлялись, памятуя о дурной славе островов: «За каким чертом вас туда несет?» — «Там особый микроклимат», — застенчиво отвечал Егошин, не зная иного объяснения. Он где-то вычитал, что на Соловецких островах летняя температура, равно и зимняя, на несколько градусов выше, чем положено в том климатическом поясе. Позже, когда Соловки вошли в моду — о них стали много и заманчиво писать литераторы-природолюбцы, намерение Егошина уже не удивляло, а раздражало: мол, куда конь с копытом, туда и рак с клешней. Егошин славился неподвижностью, косностью и домоседством: он не бывал ни на Кавказе, ни в Крыму и даже в Ленинград попал уже на старости лет по служебной командировке, хотя бредил петербургскими стихами Пушкина, Блока, Мандельштама, помнил наизусть ленинградский цикл Кирсанова. Он был до ноздрей набит стихами, в том числе мусорными, которые хотелось сразу и навсегда забыть. Но тут он ничего не мог поделаться со своей памятью, цепкой, как волчец, к

рифмующимся строчкам. Сам же писал стихи лишь в переходном возрасте — очень звучные, четкие, с хорошими, даже изысканными рифмами и вовсе бесталанные, что он понял довольно рано и почему-то — без боли. Он забросил стихи, почти забросил, но раз в два-три года возникала настоящая потребность написать стихотворение. Егошин сопротивлялся, как мог, этому странному и докучному желанию, но оно неизменно побеждало, и он быстро, мелким, четким почерком, без помарок записывал уже сложившееся в нем стихотворение, а потом удивлялся, почему он, человек, лишенный поэтического дарования, пишет так хорошо, а талантливые, божьей милостью поэты — так плохо. Не всегда, разумеется, но частенько. Стихи свои он никому не показывал и, протаскав день-другой в кармане, уничтожал. В издательстве почему-то были убеждены, что он иступленно предастся греху поэтического словоблудия. Это придавало оттенок насмешки вообще-то доброжелательному отношению к скромному и безвредному человеку, которому прощали даже высочайшую квалификацию. А вот начальство его не жаловало, хотя и знало ему цену. Работник он был безукоризненный и безотказный, но лишь в пределах своих прямых обязанностей. На собраниях он, случалось, появлялся, демонстрируя тем самым добрую волю, но неизменно минут через десять уходил — крайне деликатно, на цыпочках. В сельскохозяйственных работах не участвовал, ссылаясь на старые раны, в то время как другие инвалиды — с большим ущербом — ездили в поля и на овощные базы. Егошин по близорукости всю войну прослужил писарем и в сражение попал лишь раз, случайно, когда выбили весь боевой состав и командование заткнуло щель нестроевиками: писарской братией, почтарями, кашеварами, ездowymi и похоронной командой. И самое удивительное, что эти необученные бою люди продержались против немецких танков и автоматчиков до подхода подкрепления. Егошин вместе с другими стрелял из винтовки в указанном направлении, ровным счетом ничего не видя в тумане, роящемся сразу за мушкой, которую он невесть за чем старался совместить с прорезью прицела. Этому занятию он предавался так долго, что под конец вообще перестал что-либо соображать и только палил в белесую муть, а когда иссякали патроны,

доставал из подсумка новые и неловко запихивал в магазин. Этому его научили еще в школе. Наконец все кончилось, и Егошин обнаружил, что у него рукав полон крови. А он и не заметил, что ранен «в упоении боя», как шутил про себя в госпитале. Егошин думал, что его впечатления были бы значительно полнее и богаче, если бы он видел противника. Другие-то видели, но из всех оставшихся в живых лишь Егошин удостоился ордена Солдатской славы III степени, наверное, потому что был ранен. Начальство словно стеснялось этого сражения и награды отвалило скупое. Высокий солдатский орден смутил Егошина, ведь он-то знал, слепой крот, что стрелял хуже всех, а рана — просто случайность, к тому же он ее даже не почувствовал. Это лишний раз убедило его, что награды столь же призрачны и условны, как и всякое возвеличивание одного человека над другим. В мирные дни Егошин не корчил из себя ветерана и о своей ране вспоминал лишь по одному-единственному поводу, о котором говорилось выше.

Это не могло длиться бесконечно. В любом человеческом обществе имеются лица, озабоченные тем, чтобы поведение одиночек не отличалось от поведения массы. В учреждении Егошина таких людей по обыкновению было трое (могущество тринитарного мышления!), и они пригласили к себе старшего редактора отдела поэзии, чтобы узнать, почему он не уважает сельский труд.

Егошин пояснил, что считает труд земледельца высшей формой человеческой деятельности; Лев Толстой, по его мнению, пахал вовсе не из сухих этических соображений, а из любви к этой потной работе.

— Так почему же вы?.. — сказал вальяжный человек, сидевший посредине. (Церковники до сих пор спорят, кто в центре Святой Троицы — Бог-сын или Бог-отец.) Кажется, то был новый директор, Егошин видел его впервые.

— Рука... вот...

— А как же другие?.. И рука и нога... похуже, чем у вас, — произнес истомленный, с горячным блеском глаз, беспрерывно курящий человек.

— Значит, они не чувствуют того, что чувствую я.

— Что же вы такое о с о б е н н о е чувствуете? — спросила задыхающаяся под собственным жиром женщина.

— «Особенного» — ничего. Все это — азы... Любой труд почтенен, пока он доброволен, соответствует социальной принадлежности, родовой преемственности, личным наклонностям человека. И всякий труд унизителен, когда подневолен. В минуту смертельных испытаний каждый гражданин обязан быть на любом посту, в мирной жизни он имеет право выбора. Я поступил к вам редактором отдела поэзии, а не пахарем, не полольщиком турнепса, не сборщиком картофеля и не сортировщиком гнилой капусты.

— А как же все?..

— Вот об этом стоило бы серьезно подумать, — сказал Егошин, поправив очки со сломанной дужкой, — и не на таком уровне... Я никому не навязываю своей точки зрения. Подобные вопросы каждый решает сам для себя. И разум и совесть подсказывают мне, что эта практика — экономический и этический нонсенс.

— Это что еще такое? — грозно спросила задыхающаяся под собственным жиром женщина. Егошину казалось, что он видел ее за стойкой редакционного буфета, но сейчас она представляла что-то высшее.

— Нонсенс — это абсурд, ну, чепуха, бессмыслица, — пояснил вальяжный человек. — При чем только тут этика? — обратился он к Егошину.

— Ага! Вы не спрашиваете, при чем тут экономика. Значит, вам понятно, во что обходится государству картошка, которую неумело, с огромными потерями убирают люди, получающие от полутора до пяти сот рублей в месяц. Обратимся к этике. Я не верю в Ромео, спешащего на свидание к Джульетте после прополки турнепса, в Джульетту, едва отмывшуюся после овощной базы, не представляю, чтобы виттенбергский студент Гамлет мог закрутить свою великую карусель, перебрав с Горацио тонну гнилой капусты. В лучшем случае на это годятся Розенкранц и Гильденштерн. Я не вижу на овощной базе юных Герцена и Огарева.

Троица с брезгливым удивлением смотрела на разговорившегося молчуна, мозгляка-очкарика, вечного редактора, засохшего на ста шестидесяти, человека нерастущего, никогда не бывавшего за рубежом, лишенного малейших привилегий, заслуженных преимуществ и позволяющего себе поучать их.

— Ну, а себя вы кем видите, — насмешливо про-

изнес вальяжный человек, — Ромео, Гамлетом, Горацио или?..

— Отелло. И мне не задушить Дездемоны после окучивания брюквы, если только ее окучивают.

— Вы сообщали о своих взглядах товарищам по работе? — спросил жадно куривший человек.

— У меня здесь нет товарищей, только сослуживцы.

— Хороши же вы!.. — вмешалась тучная женщина. — Столько лет в коллективе — и не иметь друзей?

Егошин промолчал.

Курильщик ожег болтуню сабельным высверком взгляда и вернулся к своей теме — его вкрадчивый тон разительно противоречил горячечной выразительности глаз.

— Ну, а если бы вас спросили?..

— О чем?

— Об этом самом, — сказал тот терпеливо.

— А-а!.. Никто не спросит. Все знают, что у меня есть документ.

— Документ — это хорошо. Но мне все же хотелось бы...

— Понимаю, — пришел ему на помощь Егошин. — Я уже сказал, что считаю такого рода вопросы делом... вкуса каждого. К тому же, видите ли, я не земледелец, но и не борец. Нестроевик по всем статьям. Редактор отдела поэзии.

— Как можно вам доверять воспитание!.. — начала задыхающаяся под собственным жиром женщина, но тот, что сжигал нутро никотином, успокоился и бесцеремонно прервал ее:

— Ладно! Мораль читать уже поздно. Документ есть. Язык не распускает. У нас — все!

И Егошин покинул кабинет.

— Тоже интеллигент! — презрительно выхрипнула толстуха, на украинский лад произнеся букву «г». — Гнать таких надо!

— Если б у меня был план только по картофелю и турнепсу, — сказал вальяжный человек, — я бы давно его выгнал. Но я должен еще и литературу выпускать...

Разговор этот имел для Егошина лишь одно отрицательное последствие: отныне его стали тщательно обходить премиями, поощрениями, наградами, даже простыми благодарностями. Но разве унизишь этим

человека, который не стеснялся ходить на работу с продранными локтями и без единой пуговицы на пиджаке? Когда же ему указали на неприличие такого вида, он стал являться в любой сезон в белой рубашке-апах, сохранившейся с довоенной поры, и в лыжных штанах. Он не потрудился объяснить сослуживцам, что деньги, отложенные на новый костюм, ухнул на случайно подвернувшийся Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона. С полным равнодушием относился он к тому, что отпуск ему дают только в ноябре или апреле (глубиной души он никогда не верил в свой соловецкий вояж), а и в эти неуютные месяцы прекрасно валяться на продавленном диване с книжкой в руках. Сослуживцы в конце концов заметили стойкую немилость начальства к Егошину и бессознательно взяли с ним небрежно-высокомерный тон. Как-то само собой получилось, что его рабочее место переместилось к окну, на сквозняк, и теперь он не вылезал из простуды. Его хронический насморк стал предметом постоянных шуток, тем более что холостяцкие носовые платки Егошина не отличались свежестью. Его прозвали «бациллоносителем» и при каждом удобном случае ехидно замечали, что работавшая прежде на этом месте кудрявая Машенька почему-то не простужалась. Можно было напомнить, что Машенька почти не присаживалась к своему письменному столу, как-то иначе используя служебное время; но Егошину это и в голову не приходило. К чему было заводиться, если все это ничуть его не трогало, не доставляло даже минутного огорчения, ни тени раздражения и досады?

Лишь изредка с добродушной усмешкой он признавал, что его свойства, поступки, привычки, облик кажутся окружающим нелепыми, отсталыми, смешными, но не задерживался на этом душевно, ибо в мире было столько прекрасного: стихи, проза, картины, музыка, красивые лица, солнце, небо, облака, снег, весенняя капля, грозы, упоительные безнадежные верленовские осенние дожди, и ведь, кроме настоящего, дано прошлое, и при малом усилии он может спорить с Сократом, плотничать с Петром, плыть в последнем менюэте с Марией-Антуанеттой, шагать в каторжном строю с декабристами, слыша справа дыхание Пуцины, а слева — Бестужева, и на дивном этом пиру, дарованном невесть за какие заслуги,

волшебном, но таком кратком пиру не успеешь надыхаться поэзией Пушкина, а ведь есть еще Тютчев, Лермонтов, Фет, Анненский, Блок, Мандельштам, и чего стоят рядом с этим те малости, которыми люди стараются отравлять друг другу мимолетность бытия? Надо закрывать глаза на все мелкое, лишнее, до предела упростить существование, и ты становишься свободен, как птица, если птицы действительно свободны.

Любимый его прозаик из новых — Андрей Платонов — презирал людей, не стоявших в очередях. Грустный символ нашего отечественного бытия — очередь как выстроилась сразу после революции, так лишь, изредка укорачиваясь, подтаивая, протянулась через всю нашу жизнь. Очереди эпохи «военного коммунизма», очереди поры коллективизации, скорбные, безнадежные очереди войны, злые, но бодрые от привычности, натренированности очереди последующей поры — они породили особую психологию, выносливость, выдержку, закалили и укрепили избранный народ в том великом терпении, какого ему и от века не занимать стать, породили свой особый язык и терпкий юмор — жаль, что никто не удосужился собрать фольклор очередей. А вот тихий человечек Егошин никогда не стоял в очередях, считая это самым пустым, пропащим из всех занятий. И конечно, не потому, что знал способ получить что-либо в обход. Он просто не становился в очередь, обходясь без того, чего иным путем нельзя достать. Там, где извивался серый хвост очереди, Егошина не стоило искать. Он предпочитал тащиться пешком на службу и со службы километров пять-шесть, но не выстаивать очередь на троллейбус, не стремился на премьеры кинофильмов и экстраординарные выставки, не чувствовал себя обделенным на пиру жизни, оставаясь без новогодних мандаринов, которые любил с детства, и без колбасы в будние дни, хотя тоже очень любил этот продукт. Он твердо считал, что в материальном мире нет такого, ради чего стоило бы стоять в очереди. При этом отнюдь не кичился этим своим свойством, прекрасно сознавая, что если б у него в доме плакали дети, то ради них он выстоял бы любую очередь. Но детей не было, и тщедушный, но по-своему закаленный и выносливый субъект, именуемый Егошиным, приучился обходиться столь мизерным количеством самой при-

митивной пищи и был так неприхотлив во всех своих привычках, одежде, развлечениях, что мог позволить себе не стоять в очередях. Свой хронический насморк он не лечил — в аптеках тоже очереди, но зато его обходили ежегодные эпидемии гриппа, он был морозоустойчив, поскольку всю жизнь — после армии — довольствовался плащом с подстежкой. Изнашивал он эти плащи, равно и костюмы до полного изничтожения.

Случалось, что непрактичность Егошина, так представлялось окружающим его сознательное пренебрежение материальной стороной жизни, вызвала вспышку брезгливого сострадания, и ему, как с неба, падал Христов гостинец: к примеру — очень приличная байковая куртка, когда он целый год проходил в рубашке-апаш,— сослуживцы скинулись и преподнесли ему на Новый год куртку, чтобы он не срамил своим видом отдел; другой раз он получил стопку носовых платков. После обеденного перерыва, на который он не ходил, Егошин вдруг обнаруживал на своем письменном столе бутерброд или плюшку. Егошин понимал, что его отвлеченность оборачивается некоторым паразитизмом, но переделать себя не мог. Он просто не в силах был доставать одежду, равно помнить о плюшке или бутерброде, когда корпел над рукописью. Егошину искренне хотелось не допускать жестов милосердия, но ничего не получалось. Он старался отслужить дарителям тем, чем сам обладал в избытке: чувством стиля и слова, литературным слухом, высоким редакторским мастерством, и нельзя сказать, чтобы его помощью пренебрегали, — он делал много чужой работы, но всегда чувствовал себя в неоплатном долгу перед сослуживцами.

Неухоженный насморочный мозгльк и небожитель, Егошин одних раздражал, у других вызывал чувство снисходительного презрения, но вне служебного мира немало людей относилось к нему не просто с симпатией и интересом, а даже с некоторой горячностью, среди последних преобладали женщины. Устав от своих бойцовых спутников, их нахрапа, алкоголизма и хамства, молодые красивые женщины принимали к тихому Егошину, как к живительному роднику. Им нравились его мягкость, деликатность, старомодность, даже неосведомленность в том, что общеизвестно, при странной, через край наполненности

чем-то лишь ему важным и нужным. Никчемность его богатств вызывала у них уважение и нежность, они сильно, хоть и ненадолго привязывались к нему, а покинув, сохраняли о нем трогательную и чуть удивленную память, ибо, догадавшись наконец, что от него требуются не только стихи и соображения о Сергии Радонежском, Егошин оказывался весьма пылким любовником.

Но женился Егошин лишь на женщинах, которые ему давно и прочно не нравились, на злых, сварливых, корыстных и несчастных бабах, которые шли за него с отчаяния. И он, смутно догадываясь об этом, стремился им помочь; у него было жертвенное отношение к браку, от которого он не ждал для себя ничего хорошего. В чем и не обманывался. Но каждая из этих жутковатых недолговременных спутниц что-то выгадывала для себя, и Егошин считал, что цель достигнута. В результате трех браков, вернее, трех разводов, сопровождавшихся разделом жилплощади, Егошин из родительской трехкомнатной квартиры попал в коммуналку. В описываемую пору, приближаясь к шестидесяти, он считал себя навсегда освобожденным от обязательств перед одинокими противными женщинами с несложившейся судьбой. Он многого достиг на пути к чистой духовности: восьмиметровый пенал служил ему жильем, здесь помещались диван, столик, стул и полка с книгами; из движимого имущества у него еще был кофейник, две чашки без блюдец, тарелка, нож и остатки материнского серебра — три чайные ложечки. На гвозде у входной двери висел плащ с подстежкой, на другом — странная мохнатая кепка с наушниками, Егошин не помнил, откуда она взялась. Если законные жены подчистую обобрали Егошина, то заботой временных подруг он был обеспечен постельным бельем и весьма изысканными туалетными принадлежностями; в комнате Егошина, переоборудованной из санузла, находился фарфоровый умывальник, и там стояли всевозможные флакончики с духами и одеколоном, в мыльнице благоухало чудесное «парижское» мыло, а свои седеющие редкие волосы Егошин мог холить замечательными щетками и расческами. Никакой техники, даже электробритвы, у него, разумеется, не было. Зато Егошин гордился, что у него, как у Аполлона Григорьева, имелся собственный эмалированный ночной горшок.

В этой берложке Егошин не знал ни скуки, ни одиночества. Помимо того, что он то и дело устраивал себе пиры духа: курил с Байроном, пил с Эдгаром По, спорил с Верленом о верлибре и с Петраркой о сонете, зачитывался до одури стихами (в совершенстве владел пятью главными европейскими языками, свободно — древними), его посещали современники во плоти и крови. Прежде всего — «даменбезух», как стыдливо и старомодно называл Егошин визиты своих приятельниц, затем — общение с поэтами и другими литературными людьми, артистами-чтецами, лекционерами, любителями старины и разными чудаками, которых почему-то влекло к нему. Среди прочих был отставной генерал-лейтенант — сосед по дому. От сытого безделья он приходил к Егошину попенять тому за бессемейность и богему, а заодно пожаловаться на домашних: аспида-зятя и кобру-невестку. Облегчив душу и выпив принесенную с собой четвертинку, генерал уходил в свои неуютные хоромы, — Егошину казалось, что старый воин не то чтобы завидует ему, но проводит какие-то безрадостные для себя параллели, сопровождаемые глубокими вздохами, отчего звякали ордена на богатырской груди. Из всех своих посетителей Егошин выделял Борского, казалось бы, самого чуждого себе. Впрочем, это старая истина, что легче всего сходятся противоположности: зубец — в прорезь, и образуется нечто цельное и прочное. Люди же одного плана обыкновенно отталкиваются друг от друга. Узнавать себя в другом почему-то неприятно, оскорбительно глубинному существу человека, и действует тут рефлекс, а не рассуждение, не анализ.

За Борским угадывалась сложная, путаная, мутная жизнь, которую Егошин боялся узнать слишком хорошо. Он отнюдь не был моралистом, чистоплюем в собственном поведении и подавно не предъявлял завышенных требований к окружающим. Он мог понять и принять очень многое, что не соответствовало общепринятым, якобы нравственным, нормам, но не все. Борский не навязывался с признаниями и откровенностями, но, когда люди часто встречаются и не играют в молчанку, самораскрытие происходит само собой. Борский шел по жизни не торной дорожкой. Он рано лишился отца, вслед за тем матери, воспитывался у бабушки, вернее, терроризировал беспомощ-

ную болезненную старушку, не позволяя ей вмешиваться в свои дела, которые очень скоро от лжеромантики ватажного хулиганства пришли к прямому столкновению с законом. Дворовая вольница сблизила сильного и бесстрашного паренька с мелкоуголовным миром. Но юный Борский стремительно двигался вверх по лестнице, ведущей даже не вниз, а в пропасть, и в шестнадцать лет угодил в тюрьму за участие в вооруженном грабеже. Он легко отделался по малолетству (безотцовщина тоже сработала на него), но вскоре опять попался и, встретив в камере предварительного заключения свое совершеннолетие, получил «на всю катушку». В этом месте рассказа Егошин нервно поправил очки и, запинаясь, спросил сказителя: «Но вы... э-э, простите, не убивали?» — «На мокруху я сроду не шел», — ответил Борский со скромным достоинством поэта, отводящего упрек в использовании глагольных рифм.

Во время войны Борскому было дано право искупить свое преступление кровью — он был отправлен в штрафной батальон. «Только со мной так бывает, — говорил Борский с наивно-детским выражением, порой возникавшим на его сильном до грубости, загорелом лице — он и зимой стремился на южное солнце, видать, крепко нахолодался на заре туманной (непроглядно туманной) юности. — Наш батальон почти не выходил из боя, ребята один за другим искупали кровью или смертью свои вины, а меня не брала пуля. Там было решили, что я где-то отсиживаюсь во время боя, как будто это возможно. Я лез в самое пекло, и ни черта! А ранило меня по-дурацки, когда я сдергивал сапоги с убитого фрица — надоело воевать в обмотках. У паршивых обозников — сапоги, хоть и кирза, да с голенищами. Мне это за искупление вины не посчитали, из госпиталя я вернулся в штрафняк и уже на границе с Германией, взяв важного «языка» и на всякий случай порезав себе руку, удостоился наконец прощения. Войну кончал в обычной части и даже успел схватить «Красную Звезду» и «За отвагу». Ну, а с немца я крепко спросил за наши порушенные города и сожженные хаты...» Тут Егошин опять всполошился: «Надеюсь, вы вели себя достойно воина Советской Армии?» — «Вот именно!» — мрачновато подтвердил Борский.

Из дальнейших бесед выяснилось, что, вернув-

шись на родину, Борский добрал все, что недополучил в своей рано оборвавшейся юности. Он даже учился в каком-то институте, но не кончил его, снова не поладив с законом. Это было как-то связано с фотографиями. Борский долго отказывал в пояснениях, ссылаясь на знаменитый фельетон, который «читали все грамотные люди». Но грамотный Егошин не читал газет. «Мы, в сущности, делали доброе дело, — недобро сужив серые глаза, снизошел Борский до объяснений. — Какой деревенской женщине не хочется иметь портрет сына или мужа, не вернувшихся с войны? А оставались у них большей частью жалкие паспортные карточки или групповые снимки: выпускники школ, техникумов, курсов, где и не разглядеть своего родненького. Мы делали им из этих карточек портреты — двадцать четыре на сорок восемь, представляете?» — «Что же тут плохого? — удивился Егошин. — По-моему, очень благородно». — «Еще бы! Я забирался в такую глухомань, где не видели ни кино, ни паровоза. Шагал по двадцать километров в сорокаградусный мороз из деревни в деревню. Раз я летел на вертолете с мужиком, отрубившим голову жене по случаю престольного праздника, девушкой-милиционером и бурым медведем в клетке из щепочек. Мужик выл, медведь ревел, а милиционерша плакала; чувствую — не уснуть. Пришлось взять игру на себя. Я дал в морду убийце, чтоб заткнулся, медведю — по кожаному рылу, а милиционершу крепко поцеловал. Все успокоились. Мы буквально творили чудеса!.. — все более оживлялся Борский. — У одной старухи подняли мужа из гроба». — «То есть как это?» — «А так. У нее была только его покойницкая карточка. Мы его посадили, открыли ему глаза, гроб убрали — старуха чуть не рехнулась от счастья». — «Так что же тут противозаконного? Раз государство не справляется, почему не дать свободу частной инициативе?» — «Ну, если государство будет передавать частной инициативе все, с чем оно не справляется... Ладно, не о том речь. Нас подвела конкурирующая организация. Конечно, определяя наши скромные доходы, мы не отличались аптекарской скрупулезностью. А кто этим отличается? Те жулики, что толкнули донос? Меня взяли. Конечно, я выкрутился, придравшись к нарушению каких-то процессуальных норм. Но знаете, эта неожиданная слабина закона

перед правонарушителем что-то во мне перевернула. Я стал на сторону закона. У меня скопился большой материал, и я принялся строчить книжки про доблестную милицию. Читатели клюнули, наверное, почувствовали, что это не липа. Некоторые повести экранизировали. Я столкнулся с миром кино, понял, куда переместился центр уголовной жизни, и послал их подальше. Но в праве экранизации не отказываю, благо за это сейчас хорошо платят. Мой любимый романс — шубертовский: «Как на душе мне легко и спокойно». У меня куча похвальных грамот от милиции, номер на машине из сплошных нулей, — попробуй удержи! — «закатанные» права и красная книжечка в нагрудном кармане: «Консультант МВД по эстетическим вопросам». Я гроза таксистов, гостиничных администраторов, кассирш Аэрофлота, продавщиц, официантов, вообще всех жуликов, которыми не бедна наша кроткая родина. Есть глубокий и утешающий меня в редкие минуты упадка духа комизм в том, что я любимец милиции и гроза правонарушителей. Любопытно, что никто из этой публики не только не задался вопросом, так ли уж им опасен «консультант по эстетике», но даже не прочел этих слов. От нечистой совести их поражает шок при виде красной книжечки. Считается, что красный цвет возбуждает быков, это вранье, рогатый скот не различает красок, быка бесит трепыханье плаща у его морды, но жулики различают — и красный цвет их парализует. А писать мою муру мне нравится, я столько имел дела с милиционерами, что в конце концов полюбил их. Есть воистину замечательные парни: редкой храбрости, самообладания и — вот что удивительно — доброты. Ненавидят оперативники только убийц, а ворами, особенно ловкими, находчивыми, дерзкими и умеющими долго водить за нос, чуть ли не восхищаются! Тут нет ничего странного, это же профессия: оперативник, а какой профессионал не любит тонкой и сложной работы? Даже я, хотя о моей литературе смешно говорить, стараюсь закручивать помудренее. Может, со стороны это незаметно, но я обычно ставлю себе задачу малость выше своих возможностей. Вы это сами знаете, недаром я вас терзаю».

Борский, конечно, ходил к Егошину не из любви к поэзии, хотя знал на память уйму стихов, и, похоже,

отзывался им (стихи он некогда заучивал в камерах, чтобы скоротать время, тренировать память и не свихнуться от ненужных дум), он нуждался в литературных советах. Егошин не любил детективную литературу, но повести Борского читал почти с удовольствием, потому что в них было то волевое начало, которое казалось ему главным признаком творческой личности. Борский не был писателем в серьезном смысле слова, всего лишь умелым производителем легкого чтива, но в его писанине чувствовался сильный характер, напор значительной личности. Приступая к чтению, Егошин неизменно ощущал, что его берут за шиворот и властно ведут туда, где обязательно окажется интересно. И милицейские парни выглядели у Борского на редкость симпатичными, в чем обнаруживалась далеко и тщательно запрятанная душевность самого Борского. Нет, не зря его приветили органы внутреннего порядка и сделали своим эстетическим наставником.

Но Борский и впрямь не довольствовался обретенным умением и стремился усложнить себе жизнь. «Мне хочется больших страстей, должен быть милицейский Шекспир», — говорил он хотя и с улыбкой, на деле же — серьезно. Шекспира пока что не получалось. У Борского с женщинами был обширный, но слишком грубый опыт. Создать сержанта Ромео или старшего лейтенанта Орсино ему не удавалось прежде всего потому, что от их возлюбленных тянуло парикмахерской, восточным рестораном, комиссионным магазином. Помощь Егошина заключалась преимущественно в сокращениях, вымарывании совсем уж слабых мест — писать прозу, особенно милицейскую, он начисто не умел. Борский мрачно выслушивал замечания, вздыхал, но никогда не спорил. Текст становился гораздо чище, достойней, но Шекспира все-таки не получалось. Но чему-то он медленно и неуклонно обучался. Егошин был уверен, что если щедрая природа пошлет Борскому долголетие пастуха из Сванетии, то милицейский Шекспир явится в мир. Видимо, и Борский рассчитывал на это, он не порол горячки, но продвигался к чему-то высшему.

Была у Борского одна особенность, воспитанная, видимо, прежней жизнью, ибо литературная среда подобных свойств не воспитывает: упрямое, до настырности стремление отслужить человеку, сделав-

шему ему даже незначительное одолжение. Егошину доставляла удовольствие малая возня с рукописями Борского: он любил редактировать, расчищать авгиевы конюшни слов, ему нравилось искать на пару с толковым человеком решения не слишком сложных литературных задач. Это давало разрядку от постоянного напряжения мысли, ведь в сочинении детективов участвует не головной, а спинной мозг. Но Борский считал себя обязанным Егошину, а он не любил быть в долгу. Стоило Егошину однажды заикнуться просто так, не придавая сказанному никакого значения, что не мешало бы перед смертью увидеть Дарьяльское ущелье, как Борский тут же записал его в какую-то туристскую группу. Пришлось сказаться больным, что человеку с хроническим насморком не представляло большого труда. Борский предлагал ему устроить выгоднейший обмен жилплощади, достать путевку в любой санаторий Крыма, Кавказа, даже Карловых Вар, прокатиться по Золотому кольцу, повезти в Пушкинские горы, Прибалтику, объездить на машине окрестности Ленинграда, звал на закрытые просмотры выдающихся фильмов современности, пытался подарить икону строгановского письма и миниатюру с дегенеративным лицом царя-страдальца Ивана Антоновича, альбом петербургских офортов Остроумовой-Лебедевой, шкуру белого медведя и панты изюбра, но все тщетно. Тогда он не на шутку обиделся, и, пожалев его, Егошин согласился принять рога. С помощью Борского он прибил их над дверью как грозное предупреждение против новых попыток супружеской жизни.

Но рога — черт с ними, висят себе и висят, он вяпался в куда худшее — поездку на Соловецкие острова. Эта земля действительно манила его, звала — по причинам, ему самому неясным. В какую-то недобрую минуту, отделяваясь от очередного соблазнительного предложения Борского, он ляпнул: «Увольте, дорогой, вот если бы Соловки!..» — и прикусил язык. Но было поздно. На этот раз Борский отрезал все пути к отступлению: сам добился для него отпуска, взял путевки и билеты на самолет. Рядом с Егошиным Обломов казался бы живчиком, шатуном с приметной авантюристической жилкой. Егошин едва не заболел по-настоящему, так напугала его предстоящая перемена мест. Он тщетно пытался понять,

чем привлекали его Соловки: личностью Филиппа Колычева, казавшегося ему самой моральной фигурой в старой русской истории, могилой Авраамия Палицына, героя Смутного времени, самим звучанием певучего слова «Соловки», таинственным прошлым этого затерянного в Белом море крошечного архипелага, с которым связано столько глухих русских дел, заманчиво-сладкими описаниями несравненных красот природы или же какой-то необъяснимой родовой памятью?.. Но теперь, когда свидание с Соловками стало неизбежным, он не находил ответа, ибо в нем погас всякий интерес, остались только робость и смятение.

И тут в Москве зарядили дожди, пробудив слабую надежду, что поездку можно отменить. «Кто ж едет к черту на куличики в такую погоду?» — сказал он Борскому. Вместо ответа, словно предвидя этот ход, Борский положил перед ним вырезку из газеты, где сообщалось, что в Карелии и Архангельской области стоит сухая, жаркая погода. «На Соловках же, вы сами знаете, особый микроклимат, там всегда на два-три градуса теплее, чем на всем Беломорье». Так же был снят вопрос об экипировке: Борский притащил огромный рюкзак, куда без труда вошли все необходимые им обоим в поездке вещи, включая теплое белье, плащ с подстежкой, кепку с наушниками, книги; сам Борский, странствуя, читал лишь путевые справочники. На долю Егошина оставалась аэрофлотовская наплечная сумка с умывальными принадлежностями. Жизненный обиход Егошина был настолько портативен, что не давал зацепки для отмены путешествия. Ни больных родственников (здоровых тоже не водилось), ни кошмара предстоящего ремонта, ни бракоразводных осложнений, ни сверхурочной работы, — и Егошин смертельно затосковал.

Объяснить это болезненное чувство он не мог: неужели ему так жалко расстаться на неделю со своей убогой комнатенкой, прокуренной гостями, как подвальная бильярдная, с привычным, до стыда жалким укладом: утренняя толчея возле уборной, жидкий кофе, чаще всего пустой, машинальная неизменность всех движений и жестов, пока он не окажется за рабочим столом на сквозняке и не погрузится в очередную рукопись, — тут кончался пустой автоматизм и начиналась жизнь духа, но поскольку Борский отправил

его в отпуск, то единственно осмысленная часть дня отпала; что же осталось? — валяние на продавленном диване, порой тусклое ожидание «даменбезуха», хорошо, коли тщетное, но это случалось редко, и тяжкая расплата скукой за бедное наслаждение, да еще зашельцы — большей частью вовсе не нужные... Так чего же он тосковал, чего страшился? Перемены как таковой, обрыва рутины?.. Он привык жить по инерции, а сейчас от него потребуются какие-то непривычные поступки... Трусость, как и храбрость, бывает разная. Егошин не был физическим трусом, это доказала война — страх ни разу не коснулся спокойно бьющегося сердца маленького писаря: ни в том единственном бою, за который он получил награду, ни во время бесчисленных бомбежек, ни когда дивизия попала в котел и чуть было не сварилась в нем; с не меньшим хладнокровием относился он и к опасности мирных дней; все городские страхи — перед легендарным убийцей Ионесяном, подворотными юнцами с хорошо наточенными напильниками, окраинами в ночную пору, пьяными хулиганами не достигали сознания Егошина. Он вовсе не испытывал презрения к своему пребыванию на земле, но инстинкт самосохранения был в нем явно притуплен. А вот за окружающих он боялся, население мира казалось ему хрупким и непрочным. Он весь сжимался при виде ребенка, переходящего улицу, постоянно пристраивал куда-то бродячих собак и кошек, поскольку жильцы его коммуналки наложили запрет на всякую живность; своих подруг он старался проводить до самого порога их дома (где-нибудь в Мневниках или Бирюлеве), что тех не всегда устраивало, при виде же летящего в небе самолета бормотал про себя нечто вроде молитвы во здравие и спасение путешествующих по воздушному океану.

Известно, что иные отважные воины становятся весьма робкими гражданами в дни мира. Физическая и общественная храбрость — разные вещи. К Егошину слово «храбрость» вообще едва ли приложимо, ибо храбрость — активное, действенное качество, а в основе его существа лежала пассивность. Он был из числа уклоняющихся и воздерживающихся. Когда его изредка вызывали к начальству, он шел с таким же спокойствием, хотя и не столь поспешно, как в туалет. Сталкиваясь с глупостью вышестоящих, никогда

не возражал, но и не соглашался и уж подавно не выражал одобрения. Если его припирали к стене, он пожимал плечами и бормотал что-то вроде: «Вам виднее», — но было ясно, что он остается при своем мнении. Относительная независимость его поведения стоила недорого — он был человеком без поступков. Сослуживцам Егошин представлялся тихим, безобидным и чуть пришибленным. В последнем они заблуждались. Пришибленность неотделима от чувства страха, а Егошин так же мало боялся неприятностей мирной жизни, как немецких снарядов и пуль. Он просто не хотел связываться — это обременительно. Своеобразное, пассивное, глубоко запрятанное бесстрашие Егошина не мешало ему испытывать порой странный, необъяснимый ужас.

Таким вот ужасом опажнуло его, когда он понял, что поездка в Соловки неотвратима. Внутри у него стало холодно и сыро, как в заброшенном склепе. Высмеять себя за паникерскую дурь не удалось — собственный окарикатуренный образ не веселил. Тогда он решил поговорить с собой всерьез. Глупо и недостойно так пасовать перед комфортабельной туристской поездкой, которая промелькнет — не заметишь. Отгудят самолетные моторы, отшумят за бортом теплохода волны Белого моря, и душу примет тишина, благолепие, медовый дух сказочного острова Буян с непуганым зверьем и птицами, и только полюбишь все это — уже назад, в свое привычье, в эту комнатенку с книгами, но внутри тебя будет что-то новое, нежное, еще одна любовь, и, обогащенный сверх меры, ты больше никогда никуда не поедешь. Но этот скромный подвиг ты обязан совершить, ведь тебя всегда тянуло туда, будто некогда ты бывал там, и твои забитые городской гарью легкие помнят тот свежий ароматный воздух. Конечно, это обман — ты никогда не бывал там, и твои родители и деды тоже не бывали. Они рождались в Москве, жили в Москве и умирали в Москве, хотя тоже уходили на какие-то свои, старые войны — с турком, японцем, немцем. И он завершит здесь свою жизнь и ляжет на Ваганьковском кладбище рядом с другими Егошиными, благо на их фамильном кладбище сохранилось место для одного, а других претендентов на закут для вечного успокоения нету. Мысль о Ваганьковском кладбище подбодрила Егошина, он малость согрелся из-

нутри и уже мог думать о предстоящей поездке как о чем-то таком, что по миновании станет удовольствием.

Борский, похоже, догадывался о загадочных терзаниях Егошина, но поскольку это его не касалось, он делал вид, будто ничего не замечает, и ограничивался чисто деловыми советами: взять столько-то денег, одеться полегче, но захватить шерстяной свитер — на палубе будет свежевато, приделать тесемки к дужкам очков, чтобы не потерять...

2

В назначенный день и час Борский заехал за Егошиным и сказал, что такси ждет внизу. Первая приятная неожиданность — Егошин почему-то был уверен, что они будут долго и мучительно заказывать такси по телефону, разумеется, не преуспеют в этом, кинутся ловить машину на улице и в конце концов опоздают на самолет. У Егошина мелькнуло, что леденящий ужас, охвативший его перед путешествием, коренился в преувеличенной им опасности сближения с жутковатым миром бытового обслуживания, рисовавшимся чем-то вроде «сада пыток» Октава Мирбо.

Оказалось, что в одном и том же пространстве и времени существует несколько миров, пребывающих в разных измерениях и потому не соприкасающихся между собой. Он читал о чем-то подобном не то у Герберта Уэллса, не то у другого крупного писателя-фантаста. Мир Борского, где и он сейчас оказался, не имел ничего общего с миром егошиных. В мире егошиных вас окружают ядовитые змеи, а в мире борских — преданные и услужливые коньки-горбунки; в мире егошиных царит «нельзя», в мире борских — «можно», а конкретнее — в мире егошиных все таксисты либо кончили смену, либо едут в парк, либо на обед, либо просто никуда не едут, в мире борских — они едут туда, куда вам надо. Конечно, где-то кончается и власть Борского, так, вся его могучая воля не могла заставить рейсовый самолет вылететь по расписанию — посадку трижды откладывали, и стало ясно, что они опаздывают на теплоход.

Но в промежутках между отменами рейса, когда огорченные пассажиры вповал растягивались на лав-

как, по воле Борского заработал буфет (он и должен был бы работать согласно повешенному на двери объявлению, но тяжелый амбарный замок утверждал обратное, что воспринималось томившимися в ожидании людьми как нечто само собой разумеющееся). Заставив открыть буфет и поместив за стойку толстую, злую как черт буфетчицу, Борский сперва превратил ее в улыбчивого ангела, потом заказал две яичницы с помидорами, хотя ангел клятвенно уверял, что располагает лишь холодными закусками. Разделавшись с прекрасно приготовленной яичницей и не дав буфетчице за старанье даже пяточка на чай, Борский потребовал жалобную книгу и не спеша принялся сочинять пространную кляузу. Для Егошина это было уже слишком, он выскользнул из буфета и забился в самый дальний угол зала ожидания, за газетный киоск, где его не без труда отыскал Борский.

— Зачем вы так?.. — болезненно морщась, укорил Егошин спутника.

— Учить этих сук надо, — спокойно отозвался Борский, ковыряя спичкой в зубах. — Аж перекосилась вся — воровская морда!..

Он подошел к киоскерше и попросил дать ему «Правду», «Неделю» и «Литературную газету». Егошин следил за ним с легким злорадством. Он тоже сунулся к киоскерше за какой-нибудь утренней газетой и был крепко отчитан ею: «Ишь какой прыткий... Ты бы еще позже очухался!.. А «Блокнот агитатора» не хочешь?» Извинившись, он отошел. Но сейчас случилось нечто странное: киоскерша вдруг задержалась, как ярмарочный Петрушка, шатнулась, замотала головой, вскинула руки, уронила, присела, вскочила, вытянулась, и перед Борским оказалась груда газет. Егошин издали узнал «Правду», «Неделю», «Литературную газету».

— Как вам это удастся? — спросил он Борского, когда тот уселся возле него с пачкой газет.

— Вы о чем?.. — рассеянно спросил Борский, шелестя газетными листами.

— Ну... буфет... газеты...

— Это чепуха, не пришлось даже вынимать красную книжечку. Любопытно другое: всеобщее неумение и нежелание пользоваться своими правами. Люди добровольно отказались от всех прав, даже самых чепуховых: съесть холодную сосиску в буфете... Их

можно обвешивать, обворовывать в открытую, не пускать куда угодно и откуда угодно выгонять, заставлять неделями, месяцами, даже годами ждать ответа на пустячные просьбы или жалобы — требовать никто ничего не смеет. И хоть бы одному вспало громко заявить о своем праве. Какой там!.. Если же нам что-то дается, мы принимаем это как жест добра и милосердия, как великое благодеяние или подачку с барского стола. И, низко кланяясь, благодарим за то, что является прямой обязанностью государства в отношении своих граждан. Но мы неутомимо «благодарим» и на нижних этажах жизни, причем здесь благодарность носит не устный, а сугубо материальный характер. «Благодарим» продавцов, парикмахеров, жэковских полупьяных слесарей и водопроводчиков, вконец зажравшихся механиков авторемонтных мастерских, портных, сапожников, таксистов, секретарш, кассирш, администраторов всех рангов, зубных техников. Без «дачи», как называли взятку в старой России, не обходится прием в хороший институт... Я не добряк, равно и не мстительный по природе человек, но я с наслаждением давлю этих гадов, где только могу. К сожалению, поодиночке их не передавишь. Нужно что-то другое... Я знаю, вас это не интересует. Вы придумали по-своему удобный способ жить — ничего не хотеть, от всего отказываться, свести свои потребности до минимума, в духе святого Франциска Ассизского. Что ж, каждый спасается, как может... Ну, а я, к примеру, не святой Франциск, я тот, каким он был до своего обращения, власяницы и прочей мути, то есть нормальный кровяной мужик, «любящий баб да блюда», хорошую одежду и все удобства, я вашу философию отвергаю. Да и с чего я должен нищенствовать Христа ради, когда другие уплетают, аж треск стоит? Нас употребляют буквально на каждом шагу. А мы молчим. Гражданское чувство захирело. Может быть, всем честным людям, без исключения, надо выдать красные книжечки для поднятия духа и самосознания?..— Он вдруг резко оборвал себя.— А ведь это я для вас распинаюсь. Хочу обратить вас в свою веру.

Егошин, внимательно слушавший непривычно длинное рассуждение Борского, проямлил что-то уклончиво-невыразительное.

Незадолго перед отлетом Борский вдруг вспомнил,

что они так и не зарегистрировали билеты. Егошин всполошился: не поздно ли?

— Нет. Пошли. Держите ваш билет и паспорт, теперь вы — Булдаков Александр Степанович.

— Что за шутки?

— У меня не было вашего паспорта, когда я брал билеты. Выручил приятель — журналист Сашок Булдаков, певец Нечерноземья. Он кончает книжку, ушел на дно, и паспорт ему ни к чему.

Все еще ничего не понимая, Егошин раскрыл паспорт; на него глядело крупное челюстное лицо человека лет под сорок, со лбом на полтемени — рано облысел приятель Борского на своей нервной работе.

— Да вы что, смеетесь? — Егошину трудно давалось возмущение, в голосе его появились плаксивые нотки. — Между нами ничего общего.

— Отыскать вашу копию было не так просто, — сухо отозвался Борский.

— Перестаньте острить! Я не поеду с этим паспортом. Меня примут за диверсанта.

— Хорошее у вас представление о диверсантах!.. Никто и внимания не обратит. Вы, наверное, никогда не летали.

— И не полечу. Давайте сдадим билет.

— И что дальше?

— Я куплю его на себя, Егошина. Потеряв пятерку или сколько там — не важно.

— А с чего вы взяли, что билет достанется вам? Там же очередь. На ваш билет претендуют по меньшей мере человек двадцать.

— Откуда вы знаете?

— Билетов не было, уже когда я брал. Мне сняли с брони. Послушайте, Егошин, да будет вам известно, что надо очень долго вглядываться в карточку и лицо человека, чтобы обнаружить их несоответствие.

— Что за чепуха!

— Нет, не чепуха. Хотите пари, что контролерша ничего не заметит?

— Это невероятно!..

— Но факт! Это же не зарубежный рейс. Там сидят специально натасканные ребята, и знаете, сколько минут они вглядываются то в карточку, то в пассажира?.. А не знаете, так и не спорьте, Александр Степанович.

Егошин был близок к обмороку — не от страха, от

нестерпимого стыда, когда протянул чужой паспорт молодой, сильно накрашенной контролерше. Только что она, почти не глядя, вернула паспорт женщине с ребенком, спящим на ее плече. Но егошинский, вернее, булдаковский паспорт она развернула, забегала по нему глазами, не переставая при этом пикироваться с крутящимся поблизости лейтенантом милиции.

«Может, признаться во всем?» — подумал Егосин, и тут из-за его спины раздался железный голос Борского:

— Девушка, договоритесь с лейтенантом, когда мы пройдем!

«Он что — с ума сошел? Нарочно натравливает ее на меня?» Лейтенант с покрасневшими ушами поспешно шагнул в сторону, а контролерша, сделав вид, будто не расслышала дерзости, так и впилась глазами в просторное молодецкое лицо нечерноземного Булдакова, столь непохожее на узкое, старое и несчастное лицо стоящего перед ней человека. Но то ли мысли ее витали далеко, то ли смущение и злость туманили взор, то ли прав Борский — и не простое это дело: соотнести фотографию с живым образом, но она спокойно вернула паспорт Егосину, проштемпелевала билет, вручила посадочный картончик и с подчеркнутой деловитостью объявила:

— Следующий!..

Следующий был Борский, и тут у контролерши мелькнула возможность реванша.

— Почему не сдали в багаж? — кивнула она на громадный рюкзак.

— Потому что там взрывчатка, — последовал хладнокровный ответ. — И я не хочу, чтобы ее развоняли, — рюкзак, как известно, не запирается. — И, засовывая на ходу паспорт в карман кожаной куртки, Борский нагнал Егосина.

— Путевка тоже на имя Булдакова? — спросил тот.

— Успокойтесь. Вы вновь на легальном положении. Верните мне Сашин паспорт.

— А как мы доберемся до Соловков, если опоздали на теплоход?

— Откуда мне знать? Самолетом.

— Я надеялся увидеть Белое море.

— Тогда катером.

— Каким катером?

— Милицейским. На котором ловят контрабандистов. «На правом борту, что над пропастью вырос, Янаки, Ставраки, Папа Сатырос».

— Багрицкий тут ни при чем. Сейчас не двадцатые годы.

— Ну, так нам дадут лайнер, сейнер, нефтевоз, китобойное судно, крейсер. Какая вам разница? Мы будем на Соловках как бог свят.

— Я не думал, что наше путешествие окажется таким сложным. Я все-таки старый человек.

— Вы нудный человек. Я моложе вас всего на три или четыре года. Вы же убедились, что мне можно верить. Я за вас отвечаю. Доверьтесь мне, и все будет как надо. Иначе мы сорвем друг другу нервы.

— Вы правы,— сказал Егошин.— Не сердитесь на меня. Просто я слишком засиделся, и мне все представляется невероятно сложным, мучительным, непреодолимым. Это пройдет. Считайте, уже прошло.

— Я принимаю ваши слова к сведению,— сказал Борский как-то чересчур серьезно, и Егошин понял, что тот уже давно злится, но не показывает виду.— Давайте наслаждаться жизнью.— И осторожно подтолкнул Егошина к трапу самолета...

Первый в жизни полет не произвел на Егошина значительного впечатления, ни на миг не почувствовал он себя птицей, парящей в поднебесье. Было лишь ощущение некоторого дискомфорта: от пробок, забивших уши, надсадного гула моторов и неприятного резинового запаха. Зато поразила и восхитила быстрота, с какой они перенеслись в далекий северный мир, на родину дивного холмогорского мальчика.

В Архангельске их ждали. Прямо к трапу был подан синий милицейский «джип» с красной полосой, и сероглазый капитан в юбке, туго облегавшей спелые рубенсовские формы, браво и сердечно приветствовал консультанта по эстетике и его друга. Гостям было предложено откусать в ресторане «Приморский», славящемся блюдами из лосося, после чего их доставят на борт рейсового пассажирского парохода «Беломорск», курсирующего между Архангельском и Соловками. Каюта уже зарезервирована.

— Умеют ценить в милиции своих певцов,— шепнул Егошин Борскому, усаживаясь рядом с ним на заднем сиденье «джи́па».

— Да,— не понижая голоса, согласился Борский,— на редкость благодарный народ. Причем, учтите, я ни о чем не просил, только сообщил, что буду проездом в Архангельске. Они сами все рассчитали и приняли необходимые меры. Они заслуживают своего Шекспира.

— Может быть, не так громко? — шепнул Егошин.

— Да эта сероглазка сейчас — как под колоколом. Мы можем условиться об ограблении банка, она все равно не услышит. Ведь я человек о т т у д а!.. А это выше неба. Она полна лишь одним: выполнить задание, чтоб ни сучка ни задоринки. Но до чего же вы далеки от реальной жизни! Как можно дотянуть до шестидесяти лет при такой неприспособленности?

— Еще не дотянул,— задумчиво — не в тон — поправил Егошин.— Если дотяну, попробую объяснить.

— Ну, ждать недолго.

— Кто знает?..— не Борскому, а себе самому отозвался Егошин.

В ресторан сероглазка, мило покраснев, отказалась идти. Дела!.. Служба!.. Заедет через час с четвертью.

— Стесняется,— глядя ей вслед, сказал Борский.— Нет, нельзя показывать мне молодых баб в сапогах, особенно с полными ногами.— И от подавленной страсти заскрипел своими крепкими желтоватыми зубами.— Бросить все. Жениться на ней, предварительно забрав из милиции. Поселиться у моря. Рыбачить. Увеличивать фотографии поморским старухам. И каждую свободную минуту любить эту Венеру. Делать с ней пацанов. А?.. К чертовой бабушке милицейского Шекспира и всю московскую муть!..

— Сколько в вас жизненных сил! — восхитился Егошин.

— Что есть, то есть,— подтвердил Борский.— Иногда мне кажется, что я еще не начинал жить. Что все впереди. Я даже женат не был. А чего ждать?.. Неужели может встретиться лучше?.. А вдруг?.. «Есть женщины в русских селеньях»!.. Не знаю, будет ли загробный мир, но такого хмельного напитка, как на земле, нам уже не пить. До чего же богата жизнь! Пилишь на Соловки с пересадкой в Архангельске —

любопытный путешественник, немного этнограф, мудрец, и вдруг встречаешь богиню с капитанскими погонами, и вся этнография — в куски!..

Оглушительная музыка ресторанного джаза — музыканты были почему-то включены в электросеть, световые эффекты — танцевальную площадку заливало то бордовым, то зеленым, то синим светом, то некой золотистой рябью, превращающей ее в подводное царство из оперы «Садко», многолюдство, толчея и рюмка водки, выпитая под истаявший во рту кусок лососины, ошеломили Егюшина до утраты сознания. Очнулся он лишь на борту «Беломорска» и услышал, что путешествие их продлится — ни много, ни мало — двадцать шесть часов, поскольку рейсовый пароход идет с семью остановками. Но хмель и обалдение окончательно покинули его, когда он увидел каюту — узкую, со скошенным потолком и круглым окошком-иллюминатором, смотревшим на переднюю палубу. Койки располагались одна над другой, как нары. Егюшин плохо переносил тесноту и духоту, он попробовал впустить в душный чулан пространство и свежий воздух, и его обдало холодным мелким дождем. Он поспешно задраил иллюминатор. Если и сейчас в каюту заплескивает, то по ходу движения нечего думать открывать окошко. Все это настолько его обеспокоило, что он как-то проглядел момент отплытия, упустил и своего напарника, совершавшего значительный обряд прощания с сероглазым капитаном на палубе, заметался внутренне и, желая утешить нервную бурю внешним покоем, прилег на койку и закрыл глаза.

Как и всегда, этот маневр не помог, даже хуже стало, страшнее. Он вскочил и уставился в иллюминатор, исхлестанный дождем и при этом пыльный, непрозрачный. Вертя головой, он уловил скольжение берегов вспять и понял, что пароход не стоит на месте, а идет своим курсом — надежда на скорую встречу с морем принесла некоторое облегчение. Он задремал сидя, а когда очнулся, пароход окружала бескрайняя бурная вода.

Неласково приняло их Белое море. Оно оказалось вовсе не белым, а бурым, с пенной оторочкой волн, надоедливо и грубо шлепавших в бок парохода. Егюшин понял, что они попали в ту самую бортовую качку, о которой он нередко читал в морских книгах,

но сам никогда не испытывал — знакомство с водной стихией исчерпывалось для него одной-единственной, еще в довоенную пору, прогулкой на речном трамвае. Ему было почти шестнадцать, а его спутнице — двадцать четыре: взрослая, окончившая институт и работавшая инженером замужняя женщина учила целоваться мальчишку-восьмиклассника. И он таки научился целоваться по-настоящему в это непродолжительное плавание от Москворецкого моста до Воробьевых гор и обратно. По дороге туда они целовались украдкой, на задних местах салона, стесняясь светлого дня и малочисленных пассажиров, но когда отправились назад, загорелся темно-вишневый, придавленный тучей закат, черно и густо налив все тени на земле, и они предавались упоительному занятию прямо на палубе, скрытые от чужих глаз кроваво-грозной тьмой заката. Почему эта милая, странная, беспутная женщина, не боявшаяся рисковать своей репутацией из-за жалкого мальчишки, который ничего не умел, исчезла из его жизни, он уже не помнил. Она подвела его к самому краю, где начинались страшные тайны, и бросила. Память о ней была такой сильной, обжигающей, что он не замечал своих сверстниц, а никакая другая взрослая женщина не хотела повести его дальше. Ему пришлось начинать все сначала в девятнадцать лет со студенткой-медичкой, весьма неделикатно удивлявшей его беспомощности. «Да ты совсем зеленый!..» — бросила она презрительно.

Воспоминаний ему хватило ненадолго, качка раздражала, утомляла, но он уже понял, что не подвержен морской болезни, как опасался.

Вернулся Борский, снял кожаную куртку, повесил на спинку стула и, забрав умывальные принадлежности, ушел в туалет. Он явно собирался ко сну, чему не мешала сотрясая его душу внезапная влюбленность. Егошин чувствовал, что ему не заснуть в этой тесноте и духоте. Глянул на часы — с отплытия прошло меньше двух часов, впереди были целые сутки; это не так много, когда время движется своим обычным ходом. Но сейчас оно замедлилось почти до полной остановки, и, если он не найдет способа вновь двинуть его вперед, произойдет что-то ужасное, чему нет ни образа, ни подобия, ни названия — мучительное изничтожение рассудка. Да нет же, время не может выпасть из системы координат человеческого

бытия, но, глянув на часы, он убедился, что время остановилось, — его переживания несомненно обладали длительностью, но минутная стрелка не переместилась даже на одно деление. Если уж минута — пылинка времени — обрела такую чудовищную продолжительность, то во что превратится час, — думать о сутках он не решался.

Как обмануть паролодную вечность? Нужно что-то простое и верное. Пойти в ресторан, взять водку и какую-нибудь закуску. Но он не приучен к алкоголю. При такой качке его непременно вырвет, а потом долго и нудно будет болеть живот. Боль по-своему заполняет время, но он не уснет и тем лишит себя нескольких часов забвения. Это не годится. Вернулся Борский, все такой же молчаливый, и стал укладываться спать. Стянул через голову свитер, оставшись в матросской тельняшке, сменил брюки на пижамные штаны, взбил тощую подушку и скользнул под одеяло, которое ловко подоткнул со всех сторон, чтобы не раскрыться ночью. Было приятно наблюдать его точные, ловкие, отработанные годами одинокой жизни движения, гарантирующие спокойный и надежный сон. Борского внимание Егошина не смущало, он привык справлять обряд сна на чужих глазах.

Заснул он вроде бы мгновенно, едва голова коснулась подушки, но внимательному взгляду Егошина открылось как бы несколько этапов его засыпания. Как только Борский закрыл глаза, дыхание его стало мерным и спокойным, но то был результат волевого усилия. Спал Борский на спине, вытянувшись во всю длину и низко держа голову, по методу японцев, знающих, что самое важное для спящего — положение позвоночного столба. Сон так много значит для самочувствия человека, и Борский, едва ли слышавший о японских правилах, сам нашел наилучшую позу для сна, суровая жизнь научила его беречь себя. Егошин видел, как ослабли мускулы шеи, опустился кадык, затем все лицо Борского стало как-то странно сползать, приобретая некоторую верблюдообразность: стекли вниз щеки, верхняя губа, удлинившись, накрыла нижнюю, образовались печальные брыли. Борский менялся до неузнаваемости и на глазах старел. Исчез силач, жизнелюб, победитель — под серым паролодным одеяльцем лежал старый, усталый путник. Вот когда сон взял над ним верх. Теперь

стало ясно, какую трудную, изнурительную, выматывающую жизнь прожил Борский и чем оплатил заблуждения ранних лет. Егошину было мучительно жаль этого уверенного человека, хозяина жизни, ба-ловня могучего учреждения, блюдущего порядок в стране.

Егошин осторожно вышел из каюты. В узком коридоре качка ощущалась еще сильнее, его швыряло от стенки к стенке. В салоне свет не горел, но, приглядевшись к прозрачному сумраку, Егошин увидел, что на всех диванах, на всех креслах и даже на столе для игр спят люди — пассажиры, которым не хватило мест. Он прошел в круглый вестибюль, куда выходила дверь уже закрытого ресторана; отсюда можно было пройти и на палубу — в обе стороны. Егошин раздумывал, что бы ему предпринять, когда мгновенно и неожиданно оказался в центре отвратительной драки подростков. Он так и не понял, откуда взялись эти мальчишки лет пятнадцати — шестнадцати, самого опасного в наши дни возраста: впечатление такое, что часть выскочила из-под пола, другая свалилась с потолка. Один из них уже истекал кровью из носа и рта. Егошин почувствовал себя лишним в этом окружении, но его призывы дать ему пройти не достигали слуха остервенелых драчунов. Егошин старался не попасть под удар, кого-то отталкивал и с отвращением ждал, что его замешают в эту мерзкую и жестокую драку, где в каждый удар вкладывались злоба и коварство. Но подростки, длинноволосые, в обтяжных джинсах и курточках под замшу, порасшибав друг дружке носы и наставив фонарей, вдруг сгнули так же внезапно, как появились. Наверное, тут были какие-то двери, лазы, лестницы — Егошину не хотелось в этом разбираться. Достаточно того, что буйная юность исчезла.

Он выбрался в длинный, узкий проход, тянущийся вдоль борта. Сюда выходили окна кают, в большинстве не зашторенные, а впереди был барьер — по-морскому он наверняка назывался как-то иначе, о который удобно опираться, подставив лицо ветру и соленым брызгам. То, что происходило сейчас с темным (под бесцветным небом белой ночи), до спазма души неуютным морем, тоже, очевидно, имело специальное название — радость нудных и педантичных морских писателей. Темная, изрытая ямами, бескрай-

няя и безнадежная вода как будто задалась целью унижить романтические потуги маринистов литературного и художнического цехов. Но ее неприветливость и мозжащий холод обернулись милосердием с появлением фигур, оживляющих пейзаж. Эти люди возникали поодиночке, иногда по двое и сразу начинали «травить» — кто за борт, кто прямо на пол. Они хорошо, душевно посидели в ресторане, и сейчас взбаламученные желудки извергали назад водку, портвейн, плодово-ягодные вина и некорыстную закуску. Егошин поспешно проковылял в самый край коридора, ближе к носу, куда уже было не пройти из-за каких-то грузов, и далеко высунулся наружу, на встречу морским брызгам.

Егошин знал, что обречен томиться на собачьем холоде, потому что узкая каюта со скошенным потолком слишком похожа на гроб, где и одному тесно, вдвоем же вовсе непереносимо...

История ему часто помогала — он вспомнил, что некогда этим же путем шел — только не на большом пароходе с мощными винтами, а на стругах, гребных или парусных, — тот даровитый и честолюбивый мордвин, что, поднявшись до сана патриарха, вздумал повторить на русской почве спор Папы Григория Гильдебранта с королем Генрихом VII. Но кончилась попытка знаменитого Никона, преобразователя православной церкви, не по европейскому образцу. Там кичливый Генрих, замахнувшийся на приоритет церковной власти, пошел в Каноссу, ставшую с тех пор символом величайшего унижения, вымаливать прощение у Папы; по дороге он со своими приближенными гулял, бражничал и щупал девок в корчмах, а близ Каноссы облачился в смиренную рубаху, повесил веревку на шею и пополз к святому отцу на коленях. Здесь все обернулось на простой русский манер: обрушил на зарвавшегося патриарха Московского свой тяжелый гнев вспыльчивый и скорый на расправу царь Алексей, прозванный Тишайшим — за отходчивость: прибьет и тут же приголубит. Но Никона не приголубил, а подверг жестокой опале, вынудившей того бросить «жезл Ааронов» и укрыться в Новоиерусалимском монастыре, своем детище. Больно близко себе ссылку назначил, царь спровадил его подальше, в Белозерский Ферапонтов монастырь, откуда тот вышел в смерть. Но в пору, которая при-

помнилась Егошину, был Никон в славе и силе: он убедил царя перенести мощи низложенного и умерщвленного по приказу Грозного святого Филиппа из Соловецкой обители в патриарший Успенский собор, что стоит посреди Московского кремля. Игумен Филипп из мятежного рода Колычевых был затребован Грозным в Москву из Соловков — вряд ли бывало в русской церкви, чтоб из игуменов возводили в митрополиты, и по давню не случалось, чтоб новоиспеченный — царевым изволением — глава православной русской церкви восстал против своего государя. Не ждали того ни сам Иван Грозный, ни ближние к нему люди, ни церковники, хотя скромная твердость Филиппова нрава, чистота и прямотушие были всем ведомы, а при подобных свойствах характера как мог он уладиться с Грозным царем, уже создавшим опричнину? Неспроста затеял хитроумный Никон перенесение останков смелого супротивника царя в патриарший собор, ибо значило оно победу — пусть посмертную — церкви над светской властью. Понимал ли Алексей Михайлович умысел Никона? Он, если память не изменяет, не сразу на это согласился, знать, проглянул своим раскидистым умом скрытые цели Никона. Но в конце концов дал согласие. Он хотел укрепить авторитет русской православной церкви и сблизить ее с греко-римской, до поры до времени стремления царя и Никона совпадали. А может, богобоязненный Алексей Михайлович питал тайную надежду, что непокойное Белое море укротит или хотя бы остудит сомнительное усердие честолюбивого святителя? Чуть было так оно и не случилось: торжественно отплыл Никон со свитой к Соловецким островам, но буря пораскидала струги, немало людей утащила на дно, и пришлось, «солоно хлебнувши», повернуть назад. Другой бы благочестивый человек увидел в этом знак божий и отступился бы от своего намерения, но не таков был упрямый мордвин. Он велел наново подготовить флотилию и, не дожидаясь благоприятной погоды, снова пустился в путь. Ох, и поблевали святые отцы на бурных водах — почище здешних пассажиров, хоть и не ополаскивали нутра горячительными напитками! А Никон небось не блевал: смелые, целеустремленные честолюбцы оказываются всегда хорошо подготовленными природой для дерзких затей. Ведь известно, Наполеон куда легче

своих соратников переносил и египетское пекло, и русские морозы. А может, и Никон блевал, кто его знает, но гнал и гнал вперед хлипкую флотилию, пока не достиг островов и, несмотря на все плачи, вопли и стенания соловецкой братии, не желавшей расставаться со святыми мощами — от них и слава, и немалый прибыток монастырю шли,— велел переложить останки в свинцовый водонепроницаемый гроб и отвалил назад. Да, он еще сделал что-то противное: по слезной мольбе монахов отрезал от нетленных мощей добрый шмат и оставил в обители, чтоб было чему поклоняться.

В Соловецком монастыре хранились останки еще трех святых: Савватия, Зосимы и Германа. Что за странная и загадочная фигура этот Герман? Его причислили к лику святых куда позже, нежели Савватия, с которым он пришел на необитаемые острова в Белом море и основал здесь скит, и даже явившегося через много лет Зосимы — этого чтят едва ли не выше Савватия, считая истинным основателем обители. Первую деревянную церковь на островах — Преображения господня — поставил действительно он, чем и заложил будущую кирию. А с Германом — какая-то муть. По непонятным причинам он вдруг оставил своего напарника, «отлучился» в Поморье и вернулся назад, когда Савватия уже не было в живых. Через год к нему присоединился преподобный Зосима. А потом начала стекаться братия и строить кельи при церкви. А умирать Герман, кажется, опять ушел на Большую землю. Его долго не канонизировали.

Егошина всегда отличало пристрастие ко «вторым», затененным людям. Быть может, это коренилось в присущем ему обостренном чувстве справедливости. Всякое нарушение ее было ему болезненно. Поэтому он и заинтересовался Германом, но так и не смог рассеять заволакивающего эту фигуру тумана. Об этом запоздало канонизированном святом говорилось всегда глухо и уклончиво. Дважды Герман оказывался сотоварищем таких значительных деятелей церкви, как Савватий и Зосима, выходит, было в нем что-то притягательное для совместного скитского уединения. Но и чем-то неполноценным, убогим веяло от этого размытого образа, и почему он всегда в загоне? Ведь церковь любит убогих и охотно возвеличивает их. «Блаженны нищие духом, ибо их есть

царствие небесное». Но нищим духом его не назовешь; не побоялся же он по какой-то таинственной «надобности» бросить Савватия и перебраться на Большую землю. Этому решительному и непонятному поступку церковные авторы никогда не давали оценки. А затем его приблизил такой крупный человек, как Зосима. Привлекал чем-то Герман ищущих уединения и вящего пустынножителства далеко еще не старых старцев. Но чем?.. Рабочей силой, простодушием и молчаливостью или телесной красотой? Любопытное явление это парное отшельничество. Привлекал, сильно привлекал ядреных старцев пригожий и простодушный Герман!.. Потому и вышла заминка с его канонизацией...

Любопытная участь Соловков! Несколько комочков суши, будто отколовшихся от пустынной карельской земли, а сколько всего связано с этим крошечным архипелагом: и великого, и скорбного, и ужасного, и высокого, и печального. Там все на особицу, начиная с климата. Наверное, это заметили и первые пустынники, но практический вывод сделал игумен Филипп и пересоздал флору и фауну островов. Он насадил растения из других климатических поясов: кедр, пихту, вязы, клены, фруктовые деревья, разные злаки, овощи, цветы, даже розарий заложил знавший цену всякой земной прелести монах, — Егошину нравилось думать о Колычеве в духе старинного русского велеречия. Филипп поселил на острове оленей лапландских, лосей, медведей, лисиц, зайцев, развел рыбу в местных озерах, завел пасеку, обеспечив монастырь добрым медком. Сам Филипп, даром что боярского рода, стало быть, воспитывался во всяком баловстве и довольстве, отличался аскетическими привычками — принимал лишь самую простую, грубую пищу, не пил ничего, кроме воды, спал на жестком, с камнем в изголовье, вставал до свету и даже в старости отказывал себе в дневном отдыхе, носил рясу из жесткой, суровой ткани, а монахов, которых держал строжайше по части службы, рабочих повинностей и чистоты поведения, утешал обильной, разнообразной и вкусной трапезой: в постные дни — всегда свежая рыба морская и речная, а в остальные — щи с убоинкой, каша масляная, при нем стали готовить знаменитый соловецкий квас и выпекать несравненный по вкусу и мягкости хлеб, одна из

пекарен вроде и по сию пору сохранилась. Так же изобильно кормил он послушников и трудников — знал Филипп, что хорошо кормленный человек на большую работу способен, чем убивающий плоть праведник. Умерщвляющие плоть лежали в деревянных гробах и ничего не делали, разве что по нужде вставляли, да какая там нужда с акрид и водицы? У Филиппа бездельникам не было места, у него все вкалывали до изнеможения. Сам он был человеком такого мощного духа, что ему для горения требовалось совсем мало хвороста, но Филипп не мерил по себе окружающих людей. Монахи многого лишены, особенно на островах, и он давал им веселие плоти, строго следя, чтобы не обросла жирком эта плоть. Есть они приучены были быстро, опрятно и не жадно, разумно питая тело, которое расходовали на многих строительных и прочих работах. Филипп ставил церкви, расчищал леса и пронизывал их дорогами, тянул каналы, разводил рогатый скот, для чего нашел пажити и вычистил в способных местах пожни; были у монастыря мельницы водяные, кирпичный завод и соляные варки; в Новгороде, с которым вели большие дела, поставили каменный дом — монастырское подворье. Филипповым рвением да многочисленными дарениями Соловецкая обитель шагнула на Большую землю, обретя многие земли и деревни не только в Поморье, но и в Новгородчине, окрест Твери и в иных местах.

До чего примечательная и напрасно мало изученная фигура русской истории — Филипп из рода Колычевых! Препрассудки нового времени в отношении тех деятелей России, что вышли на авансцену современной им жизни в рясе, а не в цивильном платье, естественны, хотя ныне с ними пора бы покончить. Ведь сделали же это для церковной архитектуры, которую безжалостно уничтожали в двадцатые — тридцатые годы, зашоренно видя в ней лишь культовый смысл, а сейчас пытаются спасти уцелевшее; сделали это и для церковной живописи, явив и собственной земле, и всему потрясенному миру чудо русского Возрождения; пора бы и выдающимся людям прошлого оказать то же приятное понимание. Пока исключение сделано для одного Сергия Радонежского, вдохновившего Дмитрия Донского на Куликову битву, с какой началось Русское государство. Но можно ли винить тех деятелей русской истории,

культуры, искусства, литературы, что носили скуфью и рясу, и жизнь проводили в монастырях? — не знала старая Русь иных очагов культуры, не знала европейских университетов. Величайшим художником был преподобный Андрей Рублев, вся литература, включая «Слово о полку Игореве», вышла из монастырей, внутри же нее сотворился и первый русский роман «Житие протопопа Аввакума». А разве послушал бы князь Дмитрий пламенного Сергия, будь он мирянином? И кто, кроме митрополита, осмелился бы обличать всенародно Грозного царя? Князь Курбский осмелел, удрав в Литву, под чужую защиту, а князь Репнин, отринувший машкеру, существовал лишь в поэтическом воображении Алексея Константиновича Толстого. Бояре были способны лишь на ворчбу да изредка на заговоры; народ безмолвствовал.

Что-то изменилось в пространстве: оно уже не было столь безнадежно тусклым, обесцвеченным. По бутылочному цвету волнам промелькивали искорки — отзыв на ловимый полегчавшим, вознесшимся и опрозрачневшим небом блеск еще не вставшего из-за края земли солнца. Егошин прошел на заднюю палубу и увидел на востоке узенькую желтую полосу. И в той же стороне на горизонте ему привиделась земля — протяженное синевато-коричневое взгорье, которое то вырастало над волнами, то закрывалось ими. А вокруг них море зримо затихало, качка уменьшилась, похоже, они входили в бухту, и было странно, почему пароход не поворачивает в сторону гряды, а словно удаляется от нее. Но через некоторое время Егошин убедился, проглядев глаза до едучих слез, что мнимая гряда — те же волны, только более рослые на глубине. А земля возникла внезапно и совсем рядом, по другую руку — плоский пустынный берег с двумя-тремя деревянными строениями, и туда держал путь пароход, хотя там не виднелось ни пристани, ни даже причала. А может, так казалось сухопутному глазу Егошина?..

И тут пароход разом ожил. Откуда-то возник матрос со шлангом и шваброй и принялся ловко смывать подсохшие следы вчерашнего безобразия. Появились и другие матросы, молодые, озабоченные, затем вышел помощник капитана в морской фуражке, к толстой нижней губе прилипла погасшая сигарета.

Квадратный, без шеи, с каменно-невозмутимым лицом, он что-то говорил матросам тихим домашним голосом, и казалось, что он ничуть не настаивает на выполнении своих распоряжений. Меж тем пароход стал снижать ход, разворачиваться левым бортом к берегу, машины ворчали глухо, замирающе. Нахлынули — целой толпой — пассажиры, собирающиеся сойти, среди прочих молодая женщина с тремя детьми: грудняком, мальчуганом лет пяти и девочкой школьного возраста, живая, юркая, черноглазая старуха, стройная девушка на высоких каблуках, одетая как для театра, братски похожий на помощника капитана квадратный человек в жесткой робе и с невероятным количеством багажа в разнообразной упаковке, другие пассажиры смазались в памяти Егошина, удивленного, что с виду пустой, безрадостный, почти необитаемый клочок голой земли обладает притягательностью для многих, весьма разных людей. Значит, что-то существенное оставалось скрытым от глаз, пряталось в глубине, но тогда вовсе удивительным казалось отсутствие причала.

Загремела якорная цепь.

— Идут! — радостно произнес чей-то голос.

Теперь и Егошин углядел крошечную моторку, держащую путь к пароходу, и ужаснулся хрупкости и ненадежности скорлупки, на которой доверчивые люди собираются достичь берега. Но когда он разглядел команду лодки, страх перешел в панику. Это были пацаны-школьники; старшему — он сидел на корме, сжимая в руке самодельный руль из заводной рукоятки автомашины, — было лет шестнадцать, двум его матросам — от силы по четырнадцати. Казалось, рулевой сидит в воде, так низко опустилась корма, зато высоко задранный нос слышимо колотил по волнам. С парохода спустили трап — нечто хлипкое из канатов и дощечек; моторка ловко подрулила к нему, но нижняя ступенька трапа метра на полтора не достигала лодчонки. С бьющимся у горла сердцем Егошин ждал, какой выход найдут эти — хотелось верить — опытные и умелые люди. Оказывается, никакого. Вперед предусмотрительно пропустили мать с тремя детьми, старшие цеплялись за ее юбку. Сойдя на последнюю ступеньку раскачивающегося трапа, женщина что-то крикнула пацанам. Двое встали, шатаясь и поддерживая друг друга, чтобы не упасть, женщина

примерилась и швырнула им через пучину конверт с младенцем. Один из парнишек поймал его, словно грушевидный мяч для регби, и с размаху сел на скамейку. Женщина подняла за подмышки пятилетнего сынишку, раскачала и метнула в лодку. Видать, был он тяжеловат — поймавший его юный лодочник повалился вверх тормашками. Но быстро вскочил и усадил мальчонку рядом с братцем. Мальчонка поерзал, о чем-то подумал и разревелся. На него цыкнули, и маленький помор мгновенно смолк, тесно сжав губы и зыряя глазами-кнопками.

Затем в лодку легко прыгнула девочка и, наконец, мать, хорошо и крепко приземлившись широким задом возле своего младенца; она тут же вынула из кофты не упрятанную под лифчик грудь и сунула в маленький жадный рот. Егошин был так очарован хладнокровной отвагой семьи, что проглядел прыжок черноглазой старухи. Он услышал короткий вскрик, оглянулся и увидел, что юные матросы вытягивают бабушку за шиворот из воды — суетливая старушка сиганула прямо в море. Никто не придавал этому случаю преувеличенного значения, а промокшая до нитки старушка от души хохотала над своей неуклюжестью. Немного успокоившись, она принялась отжимать подол и сливать воду из туфель. Тут произошла маленькая заминка: к прыжку готовилась красивая девушка на высоких каблуках, и трое лодочников, стремясь принять драгоценный груз, отпихивали друг дружку плечами. Пока они препирались, лодку отнесло далеко от трапа, пришлось мотористу вернуться на свое место и пустить мотор. В сердцах он слишком резко рванул руль, который вырвался из гнезда и едва не пошел ко дну. Наконец лодка вновь приблизилась к пароходу, и тут девица грубо прикрикнула на мальчишек, чтоб они катились подальше и не смели ее трогать. Столь плоское непонимание рыцарственной чистоты намерений оскорбило морские души, подростки рассыпались, и девица, чуть поддерживая юбку, птицей пронеслась над пучиной и как врубилась каблуки в дощатое днище лодки. Когда погрузился квадратный человек в робе, лодка угрожающе осела, и помощник капитана велел отваливать. Было ясно, что с одного захода всех не увезти...

— Привет, вот вы где! — слышался свежий самоуверенный голос, и на палубу вышел прекрасно

отоспавшийся Борский, умытый, выбритый до кости, благоухающий одеколоном, вновь победитель, хозяин жизни, эстетический наставник и неотразимый кавалер, а не измученный пустыннопроходец.

Он искал Егошина в ресторане, заказал там две яичницы с колбасой, сметану, хлеб, масло и даже маринованные огурчики, заставив открыть громадный стеклянный сосуд, предназначенный буфетчиком для продажи целиком, нераспечатанным. Эта первая утренняя сшибка с беззаконием, как всегда поверженным в прах, еще улучшила настроение Борского и вообще-то не склонного к унынию.

— Пошли заправимся, — предложил он Егошину. — А потом, мой вам совет, — хорошенько выспаться. Иначе вы будете ни на что не годны.

Егошин так и поступил. Позавтракав, он пошел в каюту и, не раздеваясь, рухнул на койку, мгновенно погрузившись в провальный без сновидений сон. Он проспал часов двенадцать, пропустил по уверению Борского массу интересного, но ничуть не жалел о том. Он едва успел вымыться и побриться, как показались Соловецкие острова. На палубу он вышел в самый раз — пароход шел мимо черных мертвых скал — горестного памятника человеческой безответственности. «Страшные Зайцкие острова», — перефразируя Джека Лондона, пробормотал про себя Егошин.

3

И вот, совсем не торжественно и не таинственно, не градом Китежем со дна морского, а строительными лесами за кремлем из каменных глыб, зелеными куполками церквей, колокольней, рачительно увенчанной красной звездой, с будничной деловой отчетливостью стал перед ними Соловецкий монастырь. Пройдет немного времени, и Егошин будет восхищаться великолепными в своей присадистой мощи башнями, точно и красиво рассчитанными по высоте крепостными стенами, держащимися без раствора, одним лишь весом валунов, но сейчас он искал другого и не находил. Боже мой, неужели это нелепое здание со снесенным куполом и есть Преображенская соборная церковь — ее обезглавленное тело?

— Зачем же купол-то сорвали?.. Кому он мешал?.. Боже, как он сверкал, ярче огней маяка лил свой свет в пространство. Он был словно второе, незаходящее солнце. Даже в полярной ночи собирал на себя блеск звезд, фейерверк северного сияния, какое-то тайное свечение, что всегда пребывает в просторе...

— Bravo! — насмешливо сказал Борский. — Весьма поэтично и так, будто вы здесь бывали в незапамятные времена.

Егошин посмотрел на него и ничего не ответил. Он здесь бывал...

На пристани пароход встречали три милиционера, и Борский возвеселился душой. «Вот не ждал, что в Соловках такой мощный гарнизон. Думал — один уполномоченный. А тут, глядите: капитан, сержант и рядовой. И все — ребята как на подбор!» С этим нельзя было не согласиться. Капитан и сержант — писанные красавцы, но в разном жанре; старший по званию являл совершенство голубо-золотого славянского типа, младший — цыганский огонь. Рядовой, видать, был из местных: лежащий неподалеку ненецкий округ уделил ему узковатую припухлость глаз, подпертых румяными яблоками скул. В ход была пущена красная книжечка — улыбки, бравое козыряние, рукопожатия, милое сетование, что вышестоящие не предупредили. Рюкзак и аэрофлотская сумка тут же были забраны у знатных путешественников симпатичным помором, которому этот груз был что пушинка. Они двинулись в сторону поселка. Борский с капитаном ушли немного вперед для летучей разработки плана действий. У бывалых людей это не заняло много времени, и Егошину было предложено не соединяться сегодня с экскурсионной группой, а поехать на «дачу» в глубине острова, где будут уха и чай, русская баня «на шесть шаров» и прекрасная ночевка в просторной чистой комнате с окнами, затянутыми марлей, что защищает от комаров, но дает свободное проникновение медвяному лесному воздуху. Экскурсия по монастырю состоится завтра, и капитан позаботится, чтобы их группе дали лучшего гида. Все же остальное, что туристы видели сегодня, они могут посмотреть по пути на дачу: ботанический сад, маяк, часовню. На даче есть плоскодонка, и сержант Мозгунов после бани и легкой заправки про-

катит их по всей водной системе. «А на чем мы доберемся до этой дачи?» — с легкой тревогой спросил Егошин, который был плохим ходоком. «На «джипе», на чем же еще?..» Сказка продолжалась...

И капитан, и сержант — первый уралец, второй волжанин — были влюблены в Соловки и по дороге наперебой засыпали вновь прибывших местными историями. Капитан рассказывал о знаменитом соловецком восстании, когда ревнителю старой веры, вооружившись пищалями, мечами и бердышами, восемь лет держали оборону против царевых войск и были сломлены не силой оружия, а предательством одного из монахов, показавшего врагу тайный лаз — обычная судьба долговременных осад, — всегда находится изменник, по слабодушию или корысти губящий геройское дело... А сержант поведал о «конфузии», учиненной инвалидным соловецким гарнизоном английскому флоту в Севастопольскую войну. После долгого и бесплодного обстрела крепости, выпустив сотни ядер и не проделав даже малой брешки в стене, англичане предложили стойким инвалидам и упрямым монахам сдаться на почетных условиях. В ответ смиренный инок вкуче со старым инвалидным бомбардиром ахнул из крепостной пушечки и снес гротмачту на командирском корвете. Потрясенные меткостью православного бога — человеческой удаче, тем паче умелости такое не под силу, — англичане попросили дать им питьевой воды, после чего с позором удалились от соловецких берегов...

— Это все старая история, — заметил Борский. — Меня интересует слава наших дней. Каменные мешки сохранились?

— Чего? — не понял капитан.

— Не придуряйтесь, капитан, — строго сказал Борский. — Мне хочется глянуть, как завершилась жизнь мой папа.

«Так вот в чем был личный интерес Борского в этой поездке!» — открылось Егошину.

— Вот оглоед! — вдруг вскричал капитан Мозгунов, и в голосе его звучали досада, восхищение и укор. — Опять за свое!..

По грудь в студеной беломорской воде стоял средних лет человек с обветренным брюзглым лицом, в пиджаке и кепке.

— Вылезай, Акимыч, не срамись перед людьми,— попросил сержант Мозгунов.

— Ишь хитрый какой! — отозвался Акимыч.— Я вылезу, а вы меня обратно макнете. Нет уж, цудки!

— Да на кой тебя макать, когда ты сам себя макнул хуже некуда! — в сердцах сказал капитан.

— Ты мне, товарищ капитан, зубы не заговаривай,— выбивая дробь зубами, сказал Акимыч.— Не хочу, чтобы меня макали.

— Вылазь, Акимыч, простудишься! — уговаривал сержант.— Неужто тебе захворать охота? Скоро самая рыбалка начнется.

— Не вылезу,— твердо сказал Акимыч, погружаясь в воду по шею.— Не хочу, чтобы меня макали.

— Он что — ненормальный? — спросил Борский.

— Нет, он автомеханик,— сказал капитан.— Но зашибает крепко. А у нас вырезвителя нету. Ну, мы его разок-другой остудили, чтоб очухался. А что делать?.. Не можем мы, вместо охраны порядка, с алкашами возиться. Так он теперь вон чего удумал — как нас увидит, так в воду. Срамотища! Акимыч, в последний раз тебе говорю: вылазь. А то мы тебя сами вытащим.

— Не вылезу: макнете.— И отступив, Акимыч хлебнул воды.

— Ничего не поделаешь, ребята,— обратился к своим помощникам капитан, и те принялись разуваться.

— А у вас тут немало трудностей,— заметил Борский.

— Не без этого,— согласился капитан.— Главное — это отсутствие вырезвителя. Тюрьмы тоже нет. Раньше, в Кемь, было проще доставлять, а теперь надо в Архангельск везти. Вообще-то у нас довольно тихо. Потом нам сильно дружинники помогают. Особенно по части алкашей. Подбирают их, отводят домой. Нет, преувеличивать наши трудности не стоит, но надо быть начеку.

Акимыча извлекли из воды, хотя он и применял хитрую тактику красноголового нырка. Милиционеры обулись, усадили дрожащего Акимыча в проходивший мимо грузовик. Капитан насильно впихнул Акимычу в рот какую-то противпростудную пилю-

лю; в сопровождающие ныряльщику был выделен молодой помор...

«Джип» подан, вещи уложены, и вот уже Егошин с Борским, сопровождаемые сержантом Мозгуновым, обогнув кремль, мчатся сквозь душистый лес по прямой ухабистой дороге, то подскакивая на сиденье до крыши, то валясь друг на друга.

— Дорожку-то небось не ремонтировали со времен отцов пустынников? — заметил Борский сержанту.

Егошин не расслышал ответа. Он впал в какой-то странный полусон. Отлично выспавшись на пароходе, он бодро сошел на берег, пережил и подавил горькое чувство, вызванное отсутствием светозарного купола, живо включился в мельтешню современной жизни с милиционерами, их рассказами, умным Акимычем, прячущимся в холодную воду, чтоб его, упаси господи, не окунули, козлоскачущим «джипом», а тут вдруг не то чтобы отключился от спутников с их житейщиной, но остался с ними лишь малой и слабо сознающей частью своего существа. А другой, большой, он погрузился в сновидческое переживание окружающего, но вневременного мира. И настойчиво стучало в сердце: это моя земля... мой мир... мое, мое, мое... Наверное, нечто подобное произошло с Авраамием Палицыным, когда он, старый, прославленный и смертельно усталый, потащился через леса, болота и воды на край света встретить тут свой исход. Но Авраамию эта земля была родной, ее топтали его молодые крепкие ноги, а ему?..

Вспомнился давно читанный роман, вернее, его главная образная суть, содержание начисто выветрилось. Там говорилось о каком-то человеке, который вдруг, вдалеке от своего дома, открывает ту единственную землю, где он должен жить. Он не только не обретает здесь никаких преимуществ, напротив, все теряет, превращается чуть ли не в люмпена, и все же теперь он счастлив, душа его расцветает, он становится собой истинным, а рядом с этим все утраты ничего не стоят. Причем его открытие не предварялось ни тоской о земле обетованной, ни чувством неродности окружающей прежде жизни, ни смутным томлением по чему-то несбывшемуся. Но вот он оказался на земле, лишенной для других особой привлекательности, и он схвачен, закапканен и не уйдет отсюда никуда и никогда. При сходстве главного

мотива Егошин не уподоблял себя герою этого романа. Как ни любо ему было это место: густой пахучий лес, взблескивающие за деревьями озера, звенящая тишина, медовый воздух, как ни заманивало терпкое прошлое крошечной таинственной страны, ему и на миг не вспало, что можно остаться здесь. В отличие от того очарованного человека, он был настроен на встречу с Соловками, знал, что ему там будет хорошо, но когда встреча состоялась, в нем не родилась другая душа, вмиг слившаяся с окружающим. Скорее очулась некая старая, давно сношенная и вдруг обнаружившая волю к сопричастию. И все же он оставался тем же московским старожилом, вечным пленником провонявших гарью улиц, кропотливым редактором поэтических текстов и книжным червем. И этот свой образ он не поменяет ни на какой другой. Впрочем, сейчас в нем обнаружился новый Егошин, который строго напомнил спутникам, что они собирались заехать в дендрарий. Но милиционер признавал за ним лишь право совещательного голоса, а Борскому не терпелось в баню «на шесть шаров», он пропустил слова Егошина мимо ушей, и машина продолжала идти своим курсом.

— Вы проехали указатель,— сказал кто-то из тела Егошина звучным, привыкшим повелевать голосом.— Назад!..

— Да, да,— непривычно смешался Борский,— мы проскочили поворот.

А когда приехали в ботанический сад, Егошин, не интересуясь, следуют ли за ним остальные, выскочил из машины и направился к розарию, заложенному последним настоятелем обители. Всласть надышавшись каждым распутившимся бутоном красных, белых, чайных, исчерна-пурпурных роз, пропитавшись их сладким ароматом, он важно молвил поспешавшему за ним старичку-садовнику:

— Завидую, по-доброму завидую вашим прекрасным розам. И не грезилося прежде такое великолепие.

— Рады стараться! — вытянулся цветочный дедушка.

Вспоминая потом собственные диковатые слова и особенно интонацию, а также старомодный ответ садовника, Егошин отнес это за счет своего сдвинувшегося и слегка галлюцинирующего сознания. На-

верное, это естественно для человека, тридцать пять лет не выезжавшего из Москвы, не менявшего своих крайне скромных привычек, всего до предела упрощенного образа жизни и так оглушившего мозг безостановочным чтением, что реальность и вымысел образовали нераспутываемый клубок. Казалось, сейчас в него проник другой человек и подсказывает ему странные слова и жесты; но и обнаружив непрощеного зашельца, Егошин не мог изгнать его из себя. Когда они осматривали фруктовый сад с молодым вишеньем, садовник спросил с тоской: «Приживутся ли?» — в ответ Егошин значительно возвел очи горé.

Не обошел Егошин вниманием и кусты смородины, крыжовника, облепихи, весьма одобрил последнюю за многие целебные свойства, равно и небольшую оранжейку с разными растениями, и парник с огурцами, и под конец сказал садовнику, что дело ведется весьма разумно и старательно и нет сомнений, что каждое плодоносящее дерево и родящий сладкие ягоды куст, а также всякий овощ отплатят сторицей за уделенные им великое человеческое терпение и неустанный труд. Старик всхлипнул и, прощаясь, сделал странное движение шеей, оставшееся незавершенным, ибо он очнулся и сумел удержать себя от диковатого желания приложиться к маленькой сухой руке приезжего. Егошин угадал бессознательный порыв старика и от стыда вернулся к себе обычному.

Но в машине он вскоре вновь обрел мягко-повелительный тон и, не дав свернуть к даче с уже дымящейся банькой, погнал «джип» вверх, к маяку.

— Вот не думал, что вы такой жадный путешественник! — с удивлением, вытеснившим недовольство, заметил Борский.

До самого маяка доехать не удалось, путь к башне преградил намертво замкнутый шлагбаум, и последние десятки метров они прошли пешком по крутой булыжной дорожке, сопровождаемые неистовым, взмахом, лаем сторожевого пса — помесь гончака с лайкой. Здоровенный пес так натягивал железную цепь, что казалось, вот-вот порвет и, перетрусивший шофер стал взывать к хозяину маяка, чтобы унял своего дьявола. И тут Егошин неторопливо, задумчиво пошел прямо на пса, враз замолчавшего, прижавшего уши к голове, и потрепал его по загривку.

— Вы еще и укротитель? — в тоне Борского звучала не только насмешка.

На маяке их радушно встретил смотритель, рыжий, с изумрудными шальными глазами. Казалось, он их ждал, что ничуть не удивило рассеянного Егошина, но озадачило Борского, крайне приметливого ко всем подробностям жизни. Насколько он помнил, они собирались сюда после баньки, ухи и чая (все это должен был обеспечить прикомандированный к «даче» матросик), дендрария и часовни, но, очевидно, капитан милиции позвонил по телефону и предупредил смотрителя, чтобы тот был наготове, если планы гостей изменятся. Так оно и произошло — довольно неожиданно для Борского. «Умный человек, — одобрил капитана Борский, — почуял туристскую одержимость Егошина, начисто ускользнувшую от меня». И он слегка омрачился, ибо не прощал себе мелких промахов, считая, что из них вырастают серьезные неприятности.

— Все как было, — задумчиво произнес Егошин, когда они следом за смотрителем поднялись по каменной винтовой лестнице на верхушку башни, где располагался прожектор.

— Все, кроме источника света, — глубокомысленно заметил смотритель. — Вместо нефтяного фонаря — современная техника.

Над морем держалась туманная дымка, и, отделенное ею от бледно-голубого неба, оно в самом деле стало белым. Низко кружились большие чайки и вдруг клевали воду, добывая из нее пропитание.

— Не скучаете? — спросил Борский смотрителя.

— Скучаю, — признался тот. — Ко мне жена перебралась, а пацана на бабу бросила. Так и сидит тут неотлучно. Скукота.

— А вы, стало быть, не промах?.. — засмеялся Борский.

— Нет, — серьезно ответил смотритель, — я меткий стрелок. Но сейчас все глухо, жена и повелительница неотлучно при мне зевает. Вчера не выдержал, слетал в Архангельск и закупил литературы: и научную и, простите за выражение, художественную.

— Вы книголюб?

— Поживешь с моей бок о бок, тут еще и не тем станешь...

Они уже спускались вниз, и Борский оглянулся, чтобы привлечь Егошина к беседе со зрителем, но того не было видно.

— Егошин! — закричал Борский, сложив руки рупором, в каменную гулкость лестницы. — Спускайтесь вниз!.. Надо ехать!..

Его голос не сразу достиг ушей загрезившего Егошина. Он по-прежнему вглядывался в пустую белесую даль моря, населенную лишь чайками, которых он едва различал своими «подстриженными» глазами, но росчерк их движений улавливал. Ему было удивительно хорошо и покойно на душе и не хотелось никакой суеты, даже осматривать полуразрушенный монастырь не тянуло. Так бы стоял тут, отрешенно вглядываясь в даль, постигая ее чистоту и глубину не внешним, а внутренним зрением. Вот оно — счастье!.. Он никогда прежде не испытывал этого чувства, о котором столько наговорено, насочинено, напето, всегда что-то мешало: или неуверенность в себе, или в том человеке, который мог стать источником счастья, или посторонние заботы; тень — знак айда, его тьмы и пустоты, — всегда марала небесное золото счастья. Пожалуй, лишь одно-единственное переживание осталось в нем ощущением совершенного счастья: когда в раннем детстве после ванны бабка тащила его на загорбке в постель, завернутого в огромное мохнатое полотенце, и он, разомлевший, нарочно свешивался бесформенным кулем. Все остальное было лишь суррогатом счастья, даже стихи — чуть приметная горечь от собственной бездарности примешивалась к сладостно-счастливым слезам. А сейчас, пялясь в белесую пустоту и не насылая ее никакой думой, он был бессмысленно и прекрасно счастлив...

4

...Симпатичный чернявый матросик с круглыми детскими глазами встретил их в растерянности, он уже столько раз впустую раскочегаривал баню, что теперь не отвечал за «шесть шаров». Но для непривычного слабогрудого Егошина уже предбанник показался филиалом ада, а сунувшись в парилку, он вылетел оттуда кубарем — через сени наружу, благо «дача»,

как называли маленькую усадьбу, служащую пристанищем заезжего морского и гражданского начальства, стояла на отшибе, в лесной смолистой глуши, и голый человек не мог оскорбить чей-либо взор.

Немного оклемавшись, Егошин вернулся в предбанник, но дышать тут было нечем. Из парилки слышались стоны, вопли, сладостные проклятия, там творилась могучая мужская жизнь Борского, он не просто парился, а изгонял беса. Егошин набрал немного воды в шайку, потер омылком шею, грудь, под мышками, но, чувствуя, что опять задыхается, поспешно окатился прохладной водой и стал вытираться.

— Чего не идете париться? — прогремел голос, и в приоткрытую дверь вырвалось белое раскаленное облачко.

— Можжевелога веничка нету, — отозвался Егошин и выскочил из предбанника.

Пока Борский неистовствовал на полке, Егошин успел одеться, отдышаться, побродить вокруг баньки, наслаждаясь пчелиным и шмелиным гулом, — всю трудились крылатые сборщики нектара над россыпью медоносов. А ведь как не верили когда-то, что может быть медосбор в Соловках! Так же не верили, что приживутся яблони, вишни, крыжовник, что можно кормить скот на местных пожнях, каждое новшество считали чудом, содеянным господом для угодного ему праведника Филиппа. Потому и сыпались на монастырь всякие милости и пожертвования от больших и знатных: от Марфы Посадницы, князей, бояр, воевод, от самого царя...

Матрос с детскими глазами накормил их ухой — наваристой, но опасной для жизни, ибо варилась она из рыбы непотрошенной и нечищенной; к деснам и небу приставала чешуя, но было куда хуже, когда такая вот шелушинка приклеивалась к горлу; пытаюсь ее отхаркнуть, Егошин неизменно давился мелкой костью, не приметно пристроившейся между зубами или под языком.

— Архиерейской эту ушицу не назовешь, — заметил Борский, когда Егошин подавился в очередной раз.

— Таковую ушицу не то что архиерею, простому иноку не посмели бы подать. Даже послушнику, даже труднику, — переведа дух, отозвался Егошин.

— А ты, видать, здорово ленивый парень,— сказал Борский матросу с детскими глазами.

— Есть малость,— подтвердил тот.— Но вообще-то в нашей деревне, когда пироги с рыбой пекут, то нечищеного карася или там сазана целиком в тесто запекают. С глазами, хвостом, чешуей, всеми зebraми и костями. Так и называется — крестьянский пирог.

— Стало быть, ты из-под Белозерска,— сообразил Борский.

— Точно! — обрадовался парень.— Как вы догадались?

— По пирогам. У вас на острове тюрьма имеется, в бывшем монастыре,— уверенно сказал Борский.

— В двух километрах от нас! Откуда вы все знаете? — поражался и радовался матросик.

— Там фильм знаменитый снимали — «Калина красная»,— не сразу ответил Борский.— Я у них немного консультировал.— И так подавился костью, что выскочил из-за стола, схватившись рукой за горло.

Вернулся — бледный, с мокрым лицом.

— Убери сейчас же эту гадость. Чай у тебя хоть без костей?

— Как можно?

Чай у матроса был без костей, но почти и без заварки. Борский брезгливо выплеснул желтоватую жидкость, ополоснул чайник кипятком и умело, быстро заварил крепчайший вкусный чай. Но чаевничать долго не пришлось — вернулся с деловой отлучки сержант Мозгунов, чтобы везти их по озерной системе, созданной Колычевым.

— Башковитый монах был,— уважительно говорил о Колычеве сержант. Гордый доверенной ему ролью не только гондольера, но и гида, он счел нужным рассказать приезжим о гидротехнической системе игумена Филиппа, соединившего все соловецкие озера между собой каналами с проточной водой. Эта гидротехническая система безукоризненно служит по сию пору. Тут не знают, что такое цвеляя вода.

— Нет на тебя Колычева,— мстительно сказал Борский матросу.— Старик не терпел разгильдяев.

— Я вообще по радару,— сконфуженно сообщил матросик.

— Да уж ясно, что не по камбузу,— заключил Борский, любивший в каждом деле ставить точку...

Но вскоре вся эта чепуха перестала существовать для Егошина. Он сидел на носу плоскодонки, глядя на расстилающуюся перед ним туго натянутую водную гладь, осиянный тишиной и покоем, и чувствовал себя достойным этой древней тишины, творимой водой и небом, и дикими утками, бесшумно садящимися на воду, доверчиво подплывающими к лодке и подставляющими под ладонь гибкие шеи, затем отплывающими прочь, не тревожа воды даже слабым шелухом. Озеро было темным по краям от деревьев, подступающих к самой воде и погрузивших в нее свое слитное отражение, а по центру вода светлела той изнемогающей в близости белой ночи слабой голубизной, какую отдавало ей удаляющееся от земли небо.

А в каналах копился сумрак, казалось, вот-вот врежешься в берега или в торчащие из воды обломки черных как сажа свай. Что это — останки мостовых опор или причалов?.. Много тут погублено доброго: мельниц, плотин, причалов, мостов,— потомство не только не умножило, но и не сохранило наработанное предками четыре века назад. Как небрежливы, как расточительны люди!.. Но, вопреки варварскому небрежению, разгильдяйству и бесхозяйственности, чудно выстояла водная система Филиппа, хотя ее забросили, предали, как и все остальное: чиста и прозрачна до дна вода озер, не заилились каналы и протоки, не заросли зеленой ряской и ушками. Сквозь всю поруху, войны, человечьи бесчинства сохранилась кровеносная система островов, рассчитанная дивным русским человеком: строителем, гидрографом, ботаником, зоологом, пчеловодом, рыбаком, хоть сам сроду не хаживал с сетью, промысловиком и радетелем здешних мест Филиппом Колычевым.

5

...Как тихо, да вовсе неслышно погружает весла в воду послушник Анфим, а толчок дает сильный и плавный, но не скрипнут деревянные уключины, не прозвенят капли с лопастей весел, извлекаемых из воды. Вот что значит помор, с раннего детства срод-

нившийся с морем, реками и озерами и любой снастью, будь то весло, толкательный шест либо парус. А прекрасна такая вот глубокая священная тишина, когда ничто не мешает мысли устремляться к житейской ли заботе, или к бесконечным тайнам мироздания, или к великой изначальной творческой силе, которая есть Бог, через озарение человеческого разума благоустраивающей земную жизнь.

— Святый отче! — раздался с берега до безобразия громкий надсадный крик инок Гервасия. — Отец игумен!.. Посланец государев прибыл, велел тебя сыскать!..

— Не дери горла, — без всякого усилия, но удивительно звучно и ясно отозвался с озера игумен Филипп — такой емкой гортанью снабдила его природа, что раскатывалось в любом пространстве тихо сказанное им слово. — Поблуди себя в скромности.

— Мне отец Паисий наказал мигом доложить, а я никак не сыщу тебя, Святый отче! — оправдывался Гервасий.

— Подождет царский посол. Он сюда не один день добирался, может еще малость потерпеть.

Сидящий на веслах послушник Анфим обернулся, ожидая распоряжений владыки: его широкое лицо с заячьей губой и страшным шрамом от удара медвежьей лапы, кривясь в тягостном напряжении мысли: плыть ли дальше или заворачивать к берегу, стало еще ужаснее — в нем появилось одновременно что-то детское и безумное. Из-за гадкой внешности Анфима, а пуще из-за устрашающего выражения, какое приобретала его образина при малейшем затруднении, братия не просто не любила его, а откровенно брезговала — не хотели делить с ним кельи, сидеть рядом за столом, быть напарником в работе. Ох, до чего и не по-христиански это было, а преодолеть жестокое отношение к своему собрату других чернецов не сумел столь преуспевающий во всех делах своих тихий и непреклонный сердцем игумен Филипп. Тогда он взял его к себе в услужение: Анфим возил настоятеля и на лодке и на лошадях, подавал пищу за трапезой, и Филипп охотно принимал из чистых рук послушника тарелку с ячневой кашей или тертой редькой — в отличие от остальной братии,

коей создал отменный стол, игумен питался только дарами земли и в рот не брал убоины, даже рыбы. Он не только не испытывал отвращения к послушнику, а наполнялся радости, видя, как старателен и радетен в исполнении своих обязанностей изувеченный и природой и зверем, но добрый сердцем человек. Знал игумен, что и Анфим предан ему до последней кровинки.

— Давай к берегу, Анфим,— сказал он, подавляя вздох.— Хочу вон на ту пичужку глянуть.

И Анфим своими цепкими охотничьими глазами сразу ухватил, куда надобно игумену, у которого взор вдаль острее различал, нежели вблизи. На мыске земли, вклинившемся в озеро, пушилась молодая раkitка, а на ней сидела птичка, носатенькая, куличку подобная, но сроду не встречавшаяся на островах. Послушник Анфим знал: настоятель хочет, чтобы на Соловецких островах, как в божьем раю, обитали все птицы и звери, какие только водятся на земле. Ну, может, не совсем так,— слышал Анфим, что в жарких странах такие зверюги бродят, что не приведи господь,— больше собора, возведенного настоятелем во имя Преображения господня, но эти чудища, слава господу богу, стужи не выносят. Им, стало быть, тут делать нечего, а соберет игумен тех зверей, что на святой Руси водятся. И ведь получается все по Филипповой задумке: сколько водяной и болотной дичи объявилось, сколько зверья в лесу, отродясь здесь не обитавшего, и деревья, и кусты, и цветы, и злаки в их пространствах неведомые цветут и в семя, и в семя, и в плод идут. Недаром же отец Паисий, зарящийся на место игумена, нашептывал братии, что не от светлых сил такая власть над природой Филиппу дадена, что тут ворожбой отдает. Как не отсох язык у Паисия, выходит, сомневается он во всемогуществе господя, считая, что лишь от князя тьмы великия чудеса проистекают? Чего он все о соблазне вздыхает? Какой тут соблазн? Возделывай свой вертоград, приумножай его дары, тому Священное писание учит. Послушник Анфим не был так дик и темен, как думала о нем монастырская братия, но слишком прост сердцем, чтоб донести игумену Филиппу о наветах Паисия.

Они подплыли к мыску, на котором чуть клонилась к воде молоденькая раkitка. На ветке сидела,

вертя головкой, носатенькая пичуга с желтым воздухом в надбровьях.

— Ведаешь ли, что за птичка? — спросил послушника игумен.

— По клюву — куличок, но по перу такого не видывал.

— Его «игуменом» кличут, — улыбнулся Филипп. — Сибирячок к нам сроду не залетал.

— Ить не пужается!.. — восхитился Анфим.

— То и дорого, — с удовольствием произнес настоятель. — Значит, ведает свою безопасность. Есть ли у него самочка? — озаботился он. — Дай бог, чтоб имелась. Живи у нас, плодись и размножайся, птичка божья коровайка-игумен!

Куличок посмотрел на преподобного Филиппа черными бусинками глаз, переложил головку справа-налево, потом слева-направо, будто вслушиваясь в его слова и сиюсь постигнуть их своим малым разумом.

Отдав внимание птичке, Филипп вспомнил о государевом посланце и приказал плыть к монастырю. Анфим с умилением, близким слезам, смотрел на своего духовного вожа, отчего изуродованное лицо перекорежилось страшно. Когда Анфим был ровен или сумрачен, его черты обретали жутковатую значительность, как у битого в сражении воина, а узкие ночные глаза глядели таинственно и сурово, но стоило послушнику улыбнуться, испытать радость или умиление, как заячья губа вздергивалась, обнажая клюквенную десну, нос уползал в сторону — за натяжением разорванной от глазницы щеки, — и Анфим глядел придурком, отвратительным шутком.

«Милый, бедный человек, — шептала душа Филиппа, — на кого ж я тебя оставлю?.. На кого оставлю я обитель, коей отдал все свои силы?..» Филипп боялся признаться себе самому, как невысоко стоят в его мнении те, чьи души он пас. Были среди иноков ревнивые и к славе, и к богатству монастыря, среди них первый — о. Паисий, но владели ими лишь честолюбие и алчность; ни одному не могло впасть в голову полюбопытствовать о пичужке или иной мелкой твари. Они не постигали надежды Филиппа на слияние монастырского, то бишь человеческого, бытия с миром природы и даже сочли бы бесовской подобную мысль. Куда невиннее остальная, бесхитростная и туповатая братия, что почитала игумена за изобильное и вкус-

ное брашно, какого нет ни в каком другом монастыре, хоть всю Русь обойди. За хлеб рассыпчатый — подобного и государю к столу не подают, за квасок шипучий, за щи наваристые, аж половник торчмя стоит, прощали они настоятелю и строгость, и требовательность, и даже труд до седьмого пота. Но видеть в них сподвижников, даже призвав на помощь всю снисходительность и жалость к слабой человеческой сути, Филипп не мог. Уж если начистоту, то единственно близким ему человеком выходил этот страховодный и добросердечный помор. Каково-то ему придется в отсутствие настоятеля?..

Филипп понимал, что царевы посланцы могли прибыть лишь с одной целью — везти его в Москву, к государю. А вот за какой надобностью — ума не приложишь. Добра он от встречи не ждал, но хотелось верить, что отъезд его не навсегда, что он еще вернется в Соловецкую обитель.

Государь не жаловал старый, хоть и не больно знатный род Колычевых. Прежде были Колычевы и вовсе незаметны, покуда не примкнули к заговору Андрея Старицкого. Филипп до сих пор не ведал, были ли то истинный заговор, злоумышление против малолетнего государя с намерением возвести на престол князя Андрея как старшего Рюриковича (темен закон о престолонаследии на Руси) или заговором посчиталось недовольство обиженного засилием Глинских (мать Ивана — регентша Елена, была урожденная Глинская) старого боярства. Иван Васильевич в малые годы, в сиротстве своем, немало натерпелся от чванливых бояр-воспитателей и возненавидел их люто — без прощенья. И вот тогда, при крамоле, то ли истинной, то ли привидевшейся воспаленному воображению царя, полетели головы Колычевых. А он, хоть и невиновен был перед государем ни делом, ни умыслом, ни сном, ни духом, бежал из Москвы, гонимый смертным страхом, — все дальше и дальше на север, пока не достиг края русской земли, но и тут не остановился, а на утлой лодчонке какого-то помора достиг Соловецких островов. Как добрались они на жалкой скорлупке по бурным волнам в такую даль — умом не постигнуть. Но тогда впервые мелькнуло у младого Федора Колычева (таково мирское имя Филиппа), что жизнь дарована ему даром. Вскоре дошли слухи, что царь угомонился, что иные, никуда не бежавшие

Колычевы даже в честь попали, но беглец и не подумал о возвращении. Теперь не страх им правил, он уже понял, что длинная рука царя играючи достанет тебя и в Соловках, и в любом потайном, дальнем уголке русской земли. К тому же страх, унизив его душу, сделал ее сильнее себя. Он отрекся от мира, от всей земной сласти: вина и женской ласки, которую успел вкусить, и принял постриг. Еще будучи простым иноком, взял он большую силу в монастыре, старый игумен никакого дела без его совета не начинал и не решал. И так ему полюбилось все здешнее, так опротивел брошенный мир со всей ядовито-сладкой скверной, злобой и жестокостью, что усомнился он в собственной трусости, кинувшей его в бега, окончательно уверовал в predeterminedность своего пути.

Он безраздельно отдался служению этому месту, которое не отделял от Руси. Филипп считал, что подобно другим русским монастырям, поставленным вокруг столицы и выдвинутым к дальним рубежам стремительно расширяющегося во все концы государства, Соловецкая обитель когда-нибудь будет крепостью. Морской крепостью, охраняющей северные рубежи Руси от иноземцев, особливо от дерзких на морях англичан. И думал он — по завершении божьего дела: возведения каменных церквей, трапезной и прочих строений, для монастырского обихода надобных, — совершить важнейшее мирское дело — обнести кинию мощным кремлем с бойницами и сторожевыми башнями, чтобы сделать ее неприступной, способной выдержать любую осаду, истощить врага и одолеть. Конечно, для этого одних стен мало, пушки нужны, боевой припас, оружие, но то уже другая забота — государева. Хватило бы жизни на устроение кремля. Он уже вел разговор с молодым трудником Трифоном, недавно появившимся в монастыре; тот похвалялся соорудить и стены, и башни из местного камня без крепежного материала, без раствора, чтоб держались одной тяжестью глыб. И, попытав его со всех сторон, раскинувши собственным умом и проверив на игрушечной крепостце, которую соорудили сообща Трифон с Анфимом, убедился Филипп в смелой правоте монастырского трудника. А происходил Трифон из простых крестьян и сроду не был в науке у мастеров каменного строения. Подобные озаренные,

проникновенные люди без грамоты и знания счета встречаются только на Руси.

Филипп велел Трифону искать камень, а сам поспешал закончить ранее начатые работы, чтобы освободились руки для крепостного строительства. Умел он давить сок из подчиненных ему людей. Филипп не был ни властолюбив, ни честолюбив, и если держал монахов в большой строгости, то не ради утверждения своего верховенства, о нет, но знал, как слаба человеческая природа и что под черной смиренной рясой кипят порой страсти, и мирянам неведомые; нужны крепкие подпорки, чтобы не рухнуло человечье здание под распирающей силой вожделений. Но одною строгостью тут не возьмешь, лишь загонишь недуг вглубь, но большие цели, потная и умная работа прямят хребет. Он не спускал лености, небрежения заботами обители, твердо веря, что лишь так бесштаный сброд, скрывавший под оболочкой святости отнюдь не перлы добродетели, станет христовым воинством, ибо неминуемо настанет для Соловков час бранного испытания. И, как дети сердца Сергия Радонежского, иноки Пересвет и Ослябя, герои Куликова поля, явят бесстрашие ратного духа монахи-воины, выпестованные Соловецкой обителью. Но скажи Филиппу, что есть другой иеромонах, который лучше него устроит Соловки, без боли пошел бы Филипп к нему под руку, чтобы в любом чине продолжать свою службу. Гордыня никогда не распирала ему грудь; даже вьюношем, живым и бойким, гордым и сабелькой помахать, и на кулачках подрасться, и медку пригубить, и за крестьянскими девками приударить, не стремился он верховодить, но и не уклонялся, если в молодом задоре его выталкивали вперед, как предводителя. Но лишь когда вошел он в эту землю, поменял нарядный кафтан и шапку с собольей опушкой на рясу и скуфью, определилась окончательно его душа: твердая, неуклонная, скромная и до дна некорыстная.

И все-таки на мгновение дрогнуло человеческое в человеке: как шилом ткнула в сердце весть о прибытии посланцев государевых. Больно, нестерпимо больно покинуть соловецкую землю. Лишь это было важно, об остальном думалось рассеяно. Неужто опять пошло гонение на Колычевых и царь вспомнил о беглеце?.. Пустое это, виделись они с царем Иваном

на Стоглавом соборе и даже сокровеннейшую беседу имели. Доверяет ему самодержец. К тому же Колычевы ныне в силе. Даже в опричнине — лютой царской придумке, расколовшей Русь надвое, срамотится потерявший совесть боярин Колычев, а другой Колычев в Думе сидит — хоть не близкий, а все ж родич, и на иных видных местах — Колычевы. И тут, будто выхаркнулась из души короткая слабость, сказал себе игумен Филипп: будь что будет, и обрел спокойствие...

Перед государевыми посланцами предстал старец со смиренным взором и ровно дышащей грудью, словно не царское повеление доставили ему через пол-Руси, а весточку с солеварни. Меж тем Филипп тоже испытал удивление, которое сумел скрыть, что царским посланцем оказался архимандрит, лицо, выше его стоящее в церковной иерархии. Отдавая должное сану, Филипп перво-наперво испросил благословения. Прибыл же архимандрит в сопровождении немалой свиты: игумена, двух чернецов, боярского сына и четырех воинов. На судне, доставившем посланцев, даже парусов не стали убирать, чтобы не мешкать с отъездом, столь нетерпеливо ожидал Филиппа великий государь. И по тому, как излагал все это архимандрит, с каким почтением обращался к нижестоящему, понял настоятель Соловецкой кинии смутившимся и занывшим сердцем, для какой нужды понадобился он Грозному царю. Понял, испугался своей угадки, отринул ее прочь и, зажав в груди стенование, принял как истину. По оставлении митрополии старым больным Арсением нужно было найти ему преемника — не может жить тело без головы. Но неужто до того оскудела достойными русская православная церковь, что понадобилось гнать послов в соловецкую даль, чтобы оттуда привезти митрополита?

Вопреки строжайшему наказу государя немедля трогаться в обратный путь, Филипп попросил малой отсрочки: как мог он бросить обитель, не дав распоряжений келарю Паисию. Архимандрит притемнился, столкнувшись с неожиданным противодействием цареву слову, и, верно, не взял бы во внимание доводов Филиппа, но тут с кухни повеяло дивным благовонием, дошедшим в котлах, на сковородах и противнях брашном. А сухощавый и востролицый архимандрит,

видать, грешил чревоугодием — это не редкость, когда скупые телом, костяные люди оказываются отменными едоками и, тонко оценивая каждое блюдо и подливу, на диво много запихивают в свой плоский живот.

— Уж больно ты красноречив, отец игумен, — молвил посланец. — Может, скажем, что ветра не было?

С какой легкостью лгут церковники, к тому же из высших! Чтоб нажраться, архимандрит без малейших угрызений готов соврать царю-батюшке. Чего ж тогда ждать от простых монахов?

— Я на себя вину приму, — сказал Филипп. — Повинюсь царю, что не мог выехать, покуда с делами не управился.

— Все одно — на меня гнев падет, — алчно раздувая ноздри, возразил архимандрит.

Боярский сын, игумен и оба чернеца заметно взволновались, поняв, о чем ведется речь, уж больно не хотелось им без передышку возвращаться к вяленной рыбе, сухим плесневелым сухарям и тухлой воде.

— Не до того государю будет, чтоб на посланца гневаться, — загадочно и сильно сказал Филипп, и почему-то архимандрит сразу поверил ему и велел отложить отъезд до завтрашнего утра.

Филипп испросил у него прощения, что не будет самолично потчевать высокого гостя и даже не выйдет вечерять, иначе не управиться ему с многочисленными делами. Архимандрит с видимым удовольствием отпустил хозяина: будучи наслышан о его аскетических привычках, он вовсе не хотел иметь такого сотрапезника, который маячил бы за столом немым укором. Уж коли пошел на опасность прогневать царя проволочкой, так надо привольно отвести душу и потешить заскучавшую в долгом голодном пути плоть.

Гости пошли в трапезную, державшуюся изнутри на одном центральном опорном столбе. Редко бывало в зодческом зиждении, чтобы столь обширное помещение доверялось одной-единственной опоре. Игумен Филипп сам произвел расчет сил и убедил оробевших мастеров ставить здание по его плану. Трапезная еще не была доведена до полного завершения ни внутри, ни снаружи, но уже служила своему назначению,

а массивный столб, подобный стволу пятисотлетнего дуба или библейскому кедру ливанскому, держал на себе неимоверную тяжесть строения.

Филипп был худ и невысок ростом, но привычка держать стан очень прямо, напрягая и растягивая хребтину, а голову — вскинутой, придавала ему росту, и крупный отец Паисий казался ниже, тем более что гнулся и снизу вверх взглядывал игумену в лицо.

— Не знаю, вернусь ли назад или другое место мне уготовано. Но твердо уповаю, что рано или поздно буду здесь вновь. Хочу лечь в соловецкую землю, ни в какую иную. Ты будешь тут за меня, Паисий. Продолжай и завершай начатое. Не мудрствуй, братию держи крепко, но не старайся превзойти меня ни строгостью, ни тем паче баловством. Соблюдай все, как я оставлю. О последующем получишь распоряжения. И помни, келарь, я тебя достану, кем бы ни сулил мне стать господь. А стать я могу и высоко и низко, но Соловецкая киния — мое детище. Основали ее Савватий, Герман и Зосима, но в нынешний вид привел я. — Филипп, как никогда, ясно ощущал, что говорит с человеком умом не обделенным, хитрым, скрытным и неверным, потому и обращал к нему слова, лишенные смирения, исполненные гордыни и угрозы, но лишь такие, чуждые филипповской сути слова могли проникнуть в заросшее сердце стоящего перед ним монаха. Станет ли Филипп митрополитом или отобьется от незаслуженной чести, из отдаления ему все равно будет трудно, почти невозможно следить за Паисием. Такого, как Паисий, нельзя дальше келаря пускать, здесь он на месте, ибо, как Марфа, печется о мнозем. Но души человецьи он упустит, да и не просто упустит, а растлит. Править будет мирскими уловками: расплодит любимчиков и доносителей, других отвергнет, даст простор сплетням, наветам, клевете. И улетучится нынешний светлый дух, осеняющий дружно работающих, не ведающих праздности иноков. «Не допущу!» — сказалось в душе Филиппа с ледяным гневом, какого он не знал за собой. Но Паисий не прочел нового чувства на спокойно-жестком лице. Лишь для него одного было такое лицо у игумена. Даже укоряя нерадивых, сохранял он кротость взгляда. Не любит его игумен, а за что, спрашивается?..

До Паисия, конечно, дошло некое дуновение, по какой причине явились царевы посланцы. Архимандрит и его свита держали язык за зубами, может, кто из морской команды болтнул монастырским, коих посылали к ним с запасами еды и питок? Нешто могут они знать?.. Могут. Монастырь будет поболее парусного суденышка, а попробуй тут что в тайне сохранить, быстрее северного ветра любой слух разносится.

При всем своем цепком практическом уме Паисий не постигал явлений и обстоятельств, если они выходили за привычные ему пределы. Он не мог взять в толк, чтобы суровый, праведный — все так, сильно преданный обители — все так, но до старости невысоко поднявшийся монах мог сразу шагнуть на самое верхнее место в русской церкви — митрополит всея Руси, это и подумать страшно!.. Природознавец, выдумщик, игумен с душой усердного трудника может держать в повиновении темных чернецов, собравшихся в соловецкой глухомани со всех концов русской земли, но навряд ли справится с путным монастырем, где ему ни в святости, ни в знании церковных книг не уступят, а тут — все божье здание!.. В Соловках народ особый, — зачем хорошим, светлым людям в такую глушь забираться? — тут находит пристанище и сотворивший какое лихо мирянин, и не ужившийся в другой обители чернец, якобы ищущий уединения, — Филипп всех привечает, ему рабочие руки надобны. Таких держать в узде — наука не больно хитрая, о. Паисий не хуже бы справился, но стать над князьями церкви, над самим архиепископом Новгородским — подобного не вмещает разум. Нет, не видел о. Паисий игумена Филиппа в сем сани. Что-то тут не то. Съездит в Москву, поклонится царю-батюшке и отцам церкви, может, о чем и выскажет свое мнение — чтим в духовенстве соловецкий игумен, сам царь с ним тайную беседу имел во дни Стоглавого собора, о чем — неведомо, — да и назад покатит. Глядишь, монастырю за то вотчинку, другую пожертвуют, и на том спасибо, кормильцы!..

Но может, и другое случится: оставит его царь при себе — духовником либо возведут в архимандриты и в один из великих московских монастырей настоятелем определят. Тогда, глядишь, и свершится мечта о. Паисия занять место Филиппа в Соловецкой кинии.

Филипп сам на него укажет как на своего преемника. «Укажет ли?» — зло усомнился Паисий. Не любит его игумен, хоть и доверяет широко. Уверен в его честности... или жадности к монастырскому добру. Вроде бы до того прост сердцем, помышлениями, как летний день, ясен, а видит насквозь человека, видит ту подноготную, что может никогда не стать явью, значит, и нечего туда заглядывать. Прячет свой главный ум Филипп, только в прямых делах являет: в строительных ухищрениях, разведении всякой живности, устройении края, а главный этот ум у него на человеков. Иначе не смел бы он не любить столь ревностного к службе, столь преданного обители, исполнительного, честного, ни себе, ни другим поблажек не дающего келаря. А коли он может до скрытой мути проникать, значит, и сам плохой человек.

Все эти тревожные соображения не помешали Паисию внимательнейше выслушать наставления игумена, вникнуть в замыслы осуществляемых строений и тех, что полагалось заложить в недалеком будущем; дотошность Филиппа заставляла входить в каждую мелочь: каким крепезному раствору надлежит быть в кирпичной кладке и штукатурке, чтоб не осыпалась.

— Кажись, мастера сами сведомы, — не выдержав въедливости игумена, бормотнул Паисий.

— Мастера-то сведомы и как по совести работать, и как надуть дураков, — жестко сказал Филипп. — Заказчик должен быть не хуже их сведом. Вот в этих свитках все сказано, что до воздвижения храмов касаемо, а здесь — о палатах, здесь — о водных сооружениях, здесь — о содержании сторожевого огня, соляных варках, рыбном промысле... ладно, сам разберешься, тут ничего не упущено. Писал я это на случай болезни тяжкой либо смерти. Об отъезде и не помышлял. Сверяйся с моими записями, Паисий, не полагайся на память да на собственную смекалку — проверяй себя, не то навлечешь мой гнев, а во сто крат хуже — гнев божий.

Паисий смиренно поклонился.

— Ты все понял? — деловито спросил Филипп, и тут голос его изменился: проникновенная доброта влилась в природную звучность и вдруг обернулась свирепой угрозой. — Анфима тебе поручаю. Глади

в оба, чернец! Коли недосмотришь, до худого допустишь, я тебя отовсюду достану!

— Не сомневайся, владыко... — пробормотал оробевший Паисий. — Благослови, святой отче!..

Филипп благословил келаря, вручил ему связку особо потаенных ключей и удалился в свою келью. Остаток ночи он провел в молитве и слезах. Он молил Господа пронести чашу мимо, он оплакивал свое соловецкое счастье, которое, он чуял это глубиной души, кончилось безвозвратно. Зачем же тогда молился он Господу Богу? На это затруднился бы ответить сам Филипп, ибо он не верил в Бога, который смотрел на него, коленопреклоненного, со старого, почерневшего образа древнегреческого письма, чуть озаряемый колеблющимся розовым светом лампадки, в Бога, которому служил в храме, в Бога Священного писания. Владея древними языками, он изучил их своей мочью в Соловецкой обители, — Филипп прочел — не счесть — религиозных, философских, исторических сочинений, распахнувших ему разум, сызмальства склонный к свободному мышлению. И этим не отягощенным предвзятостями разумом он отверг, что Великая священная книга возникла в полудиком, кочевом народе, пасшем коз в горячей аравийской пустыне, по следу живых воспоминаний, истинных событий. Да нет же, книга создавалась в иные времена, ином месте, многими людьми, владеющими даром безудержной фантазии.

Оттого она так противоречива, так темна, а местами до стыда нелепа, при всей своей одухотворенности, эта странная книга, что творилась не воодушевлением даже, а экстазом, не ведающим ни разума, ни логики. В Ветхом завете нельзя искать ни свидетельств, ни истины, ни даже прямых символов, это вопли, рвущиеся из человеческого сердца, страстно ищущего опоры в устрашающей неприютности мироздания. И много там повязанного со своим временем и местом, ныне вовсе не прочитываемого. Новый завет историчнее, хотя уступает Ветхому в силе песенного слога. Филипп не сомневался в существовании еврейского пророка Иисуса, которого последователи (а может, и он сам) выдавали за сына Божия. Подобными пророками созданы и другие религии: Мохаммедом — ислам, хотя он не ходил в сыновьях аллаха, Буддой — буд-

дизм, но этот опирался только на себя самого. Иисус стал земным воплощением Бога (и в индуизме боги — многолики), он приблизился к людям, это сильно укрепило молодую религию молодого мира, шедшего на смену одряхлевшему — греко-римскому с многочисленными, вконец утратившими власть над человеческим воображением дряхлыми богами. Родившись среди иудеев, использовав их веру в приход Мессии — Избавителя, новая религия не стала еврейской, напротив, подверглась яростному гонению от почитателей таинственного и злого Ягве. В Иисусе Христе, искупившем на кресте грехи человеческие и взятом на небо своим божественным отцом, человечество получило самую прекрасную и трогательную из всех легенд; омытая кровью первых мучеников христианства, легенда стала религией...

Едва обретя сознание, малолетний Федор (будущий Филипп) получил и Бога. Он принял его столь же просто и естественно, как дар дыхания и всех пяти чувств и любовь родителей. Немного притуманилась его простая, детская вера, когда он узнал, что Бог как бы расщеплен на три образа — из коих один был явлен людям, — но остается единым Богом. Этой условности никак не мог постичь логический ум младого Колычева, но поскольку в те годы религиозным вопросам он предпочитал соколиную охоту, тугой луч, пищаль, меч, добрый медок и густое вино, а также голубые или карие очи под соболиными бровями, то и не мучил себя понапрасну трудными вопросами, о которых сведущие люди давно договорились. Ан не договорились, как позже оказалось, и Святую Троицу понимали по-разному, иные вовсе видели в ней нарушение единобожия.

Лишь уединившись в Соловецком монастыре, Филипп оказался как бы глаз на глаз с Богом и глубоко задумался о своей вере. Войдя тут в близкое, родственное общение с природой, порой помогая ей, порой преобразуя, но больше подчиняясь высшей, нежели человечья, мудрой силе, он убедился, что все происходящее в естественном мире воды и земли, лесов, полей, недр, туч и облаков, смен времен года, умирания и пробуждения жизни вовсе не нуждается для своего непрерывного, могучего и безошибочного действия в Господе Боге. И всякое обращение к Богу, касавшееся не только дождя и ведра, но и помощи болящему,

спасения гибнущего было столь же бессильно, как языческое поклонение идолам. Не мог бы Господь оставаться столь равнодушным к творению рук своих, значит, пуст небесный престол и не отражался в водах многих, накрывавших некогда земную твердь, ничей величавый лик.

И при всем том у Филиппа была вера, был Бог. Только назывался он Совестью. Поступать по-божески значило для него поступать по совести, служить Богу — служить по совести месту и людям, ему доверенным, способствовать украшению земли и общей пользе; жить в страхе Божиим — жить так, чтобы не мог себя упрекнуть в несправедливости, неправде, корысти и себялюбии. Он не считал свою совесть чем-то отдельным, обособленным, только ему принадлежащим. Нет, его совесть — это частица некоей вселенской совести, разлитой по всему мирозданию, омывающей всех человеков, но не каждому проникающая внутрь. Как не всем дано равно слышать творящуюся в мире музыку: песни ветров, шум дубрав, нежный шелест трав, голоса птиц, звон летающих насекомых, стрекот — прячущихся в траве, обонять запахи: снега — зимой, цветущей жизни — весной, зрелости всего прущего из земли — летом, увядание — осенью. Так происходит и с мировой совестью. Она во всеобщем владении, не нужно называть ее словами, определять ее признаки и существо, не нужно мудрствовать лукаво, а довериться ей, слиться с ней душою, и тогда ты несешь внутри себя самого мерило всех вещей и явлений и собственных помыслов и поступков. И он любил, как иные любят бога, великий нравственный закон — сокровище души своей. Но знал Филипп, что не поймут люди всеобщей Совести, а в собственной — не найдут опоры. Что ж, назовем богом эту отвлеченную от личности отдельного человека совесть, поставим символ вместо прямого понятия. Есть неодолимый ущерб в человеческой природе; ему нужна внешняя, з р и м а я подпорка. Совесть — без образа — неуловима, хотя сам Филипп ощущал ее в себе материально, как стержень, штырь, не дающий согнуться ни телу, ни душе, но это уж его свойство, а человека согревает на ледяном ветру жизни лишь вера во что-то лежащее вне его и обладающее отчетливым образом. Церковь этим пользуется, и он, Филипп, пользуется, ибо не является совесть ни уздой, ни

приманкой для человека, ему подавай, за что ухватиться можно — рукой или хоть оком.

Молясь, игумен Филипп взывал не к молодому иудею с тонким носом, не к его безликому отцу, не к третьей загадочной фигуре, которая в Новом завете птичкой-голубем обернулась, но к своей совести, чтобы не изменила, дарила силы и терпение, чтоб вразумляла в хитросплетениях мира сего, не давала пасть духом, поддаться гневу и несправедливости; Филипп молитвами наставлял себя твердости, правде, мужеству, ибо не изжил стыда за свой юный страх, кинувший его в бегство. Свой обман он чинил без угрызений: для его молитвы не к чему кресты класть да об пол перед образом бухаться, в тишине сердца можно ее творить, но зорок, ох зорок монастырский глаз, все слышит монастырское ухо; не пластаешься ниц, не пустословишь молитвенным бормотом — враз в отступничестве обвинят, или в ереси, или того хуже — в безбожии. И тогда конец всему смыслу его жизни...

Когда Филипп на другое утро прощался с обителью, лицо его было спокойно до отчужденности. И никто б не догадался о тяжком ночном бдении, о слезах и молитвах игумена, если б монастырь по сплетням и быстроте распространения оных хоть немного уступал новгородскому сельцу. Но, глядя на Филиппа, трудно было поверить в его слабость, он, правда, казался осунувшимся, под глазами залегли тени, но стан держал все так же прямо, голову высоко, а в темных глазах была не печаль, не смирение, а что-то остерегающее: мол, смотрите у меня!.. Братии он сказал: «Государь в Москву требует, не гоже гадать о государевых намерениях. Все в свой срок объявится. Вам наказываю жить по уставу и трудиться не покладая рук во славу Божию». Отслужив молебен, игумен благословил отдельно не только каждого инока, послушника, но и трудника, и наемного рабочего, после чего в сопровождении одного лишь о. Паисия отправился на судно, куда уже отбыли царские посланники...

День был ясный, чистый, по верхушкам деревьев тянул ветерок, а на земле его дуновение не ощущалось. Но верховый этот ветерок хорошо заполнил паруса и погнал суденышко по некрутой волне, гулко бившей под днище. Филипп оглянулся на золотой

купол Преображенской соборной церкви, долго смотрел на него, слезя глаза его блеском, перевел взгляд на другие строения, проследил каждое дерево, кустик, камень от монастыря до причала и тут увидел бегущего по берегу человека в задранный по колена рясе. Иногда человек выпускал край рясы и махал рукой вослед удаляющемуся паруснику, но тут же подхватывал мешающую ткань снова и бежал, оступаясь на торчащих из земли каменюках, продираясь сквозь колючий низкорослый кустарник, иной раз падал, но тут же вскакивал и устремлялся дальше.

— Бедный, бедный человек!.. — прошептал Филипп, узнав послушника Анфима. — Вот кто обо мне не раз вспомнит!..

Даже если о. Паисий не выронил из памяти вчерашний наказ, нешто станет он тратить время на убогого человека? От прямой обиды, может, и защитит, да не это нужно нежной душе страхолюдного Анфима. Тот привык жить в тепле Филипповой доброты, ох, студено, ох, люто ему теперь будет!.. Превозмогая качку, Филипп стал твердо в лодке и начертал в воздухе крест, благословив Анфима. Тот понял, с размаху пал на колени и лбом уткнулся к земле. Покуда Филипп мог его видеть, послушник не распрямился...

6

Волны скрыли Анфима. Посланцы ушли под палубу подкрепиться — о. Паисий не поскупился на дорожный припас, Филипп, пристроившийся на носу лодки, остался наедине с морем, чайками и своими мыслями. Медленно и любовно перебирал он годы, прожитые на Соловках. Здесь он узнал, как заселить леса, как заселить воды, да не внутренние, но и свободные, бескрайние, омывающие сушу: как заиграли в прибрежных водах тюлени, нерпы, белки, столь редкие гости прежних лет! А до чего богато рыбой стало Белое море округ островов, истощенное сетями жадной монастырской братии! Он положил предел глупой алчности, разрешил ловить лишь в положенные сроки и только крупночешуйной сетью, чтобы не губить молодь, и море закипело рыбой. А как голосисты стали молчаливые соловецкие весны! Только вот со-

ловья не удалось приветить, уж больно нежен сладчайший певун. Каждая птичка — радость, даже обделенная серебряным горлышком. Он вспомнил о вчерашнем куличке-игумене, впервые пожаловавшем на Соловки, как ловко, стройно и доверчиво сидел он на молодой ракитушке, глядя в оба черными бусинками глаз, и — разрыдался...

Весь последующий, долгий, изнурительный и безрадостный путь до материка царские посланцы объедались, опивались, блевали, затихали, отлеживались без сил с зелеными лицами и опрокинутыми, как у покойников, глазами, затем приходили в ум, освежались кисленьким квасом и начинали сначала. Филипп в их трапезах не участвовал и в укрытье не спускался, даже на ночь, когда резко холодало и порой припускал тонкий, частый дождик, — уж больно там смердило. Он оставался снаружи, укрываясь жесткой дерюгой, приванивающей рыбой, что было далеко не так мерзко, как последствия чревоугодия, недаром причисленного к семи смертным грехам.

Много мыслей передумал Филипп и догадался, почему на нем остановился выбор Ивана. Русская церковь получала своего главу от царя, хотя считалось, что выбор делает духовенство, но никого не удивляло, напротив, показалось бы ни с чем не сообразным, если б столь важное дело решалось не по воле государевой.

Был у них один загадочный разговор с царем Иваном во дни Стоглавого собора; загадочный и по предмету обсуждения, и, главное, по тому, что всем князьям церкви, людям великой учености и значения, царь предпочел скромного игумена запредельной Соловецкой кинии. И как проглянул царь, что слукавил Филипп, присоединив свой голос к решению Стоглавого собора писать в изображении Святой Троицы в нимбе с перекрестьем, положенном Иисусу Христу, сидящего посредине ангела? Вопрос сей задал собору сам царь-государь. Обосновал свой ответ собор тем, что этот ангел протягивает руку к чаше — символу жертвы. Услышав пояснение, Иван Васильевич ничего не сказал, только потупил черные пронзительные глаза и задышал тяжело, прерывисто, что было у него признаком гнева или начала болезненного припадка, когда он бился в судорогах, кидая пену с губ и не

узнавая окружающих. Но ни вспышки гнева, ни припадка не последовало, и оробевшие церковники возблагодарили Господа Бога. Поздним вечером того же дня явился за Филиппом стрелец, грубо схватил за рукав рясы и поволок из кельи. «Куда ты тащишь меня, воин?» — спросил Филипп, но ответа не дождался. Воин втолкнул его в темную келейку, где под образами сидел человек в скуфье; слабый свет лампы желтил высокий, будто вощенный, лоб с крутыми надбровными дугами и горбину хищного носа. Филипп узнал царя.

— Ты из Колычевых, — тоном утверждения, не вопроса произнес Иван. — Из каких же ты Колычевых, из тех, кто бунтует, или из тех, кто царскую руку лижет?

— Не из тех, не из других, — тихо ответил Филипп. — Я из тех, кто уходит в сторону.

— Бежал, значит?

— Бежал, государь. Был молод и жить хотел.

— А сейчас ты стар и жить не хочешь?

— Хочу, государь. Пуще прежнего. Ибо знаю теперь, для чего жизнь дана.

— Для чего?

— Для доброго, — сказал Филипп.

Из темных ям-глазниц сверкнула молния.

— Не многому же ты научился, чернец, — насмешливо проговорил царь. — Да ладно. Не о том речь. Скажи: почему не согласен с решением собора о Святой Троице?

— Я присоединился к решению собора, государь.

— Против воли. Не хитри со мной, Филипп!

— Сколь же ты зорок и проникновенен, государь, если не только углядел меня, малого, в толпе духовных, но и прочел мои сокровенные мысли! — Уклоняясь от прямого ответа, Филипп не мог не восхищаться сверхъестественной пронизательностью Ивана.

— Не юли! — яростно крикнул царь.

— Что есть перекрестие в нимбе? — подчеркивая неокрашенностью голоса общеизвестность истины, начал Филипп. — Превосходство чести Христа над апостолами и святыми. Три ипостаси Святыя Троицы равночестны. Стало быть...

— Стало быть, — зло прервал Иван, — дурь и кощунство был мой вопрос. А духовные и не заме-

тили. Ну, хороши!.. А ты не играй со мной, чернец. Сам знаешь, о чем спрашиваю: который из трех Иисус?

— Не то тебя заботит, государь,— ровным голосом произнес Филипп.— Хочешь знать, который из трех Бог-отец.

Иван отпрянул от Филиппа, голова его ушла в тень, свет позолотил руки с длинными крючковатыми пальцами.

— Что сказано в Писании? «Одесную мя сидеть будешь». То Отец говорит Сыну. Посреди и выше других — Бог-отец, справа от него Христос.

— Ну, а рука, рука, протянутая к чаше?..— жарко дохнул Иван.

— Бог-отец указывает сыну на чашу, кою тому испить предстоит во искупление грехов человеческих.

— Ну, ну!..— задыхался Иван.— Не умолкай, монах!..

— Преподобный Рублев, создавший непревзойденное изображение Святыя Троицы, взял образ византийский. И надо вовсе не ведать, сколько отвержены иерархии и догме византийцы, чтобы полагать, будто они посадят Бога-сына выше Бога-отца.

— Не плети даром словес,— дрожа от возбуждения, проговорил Иван.— Прямо скажи: не сидеть Сыну выше Отца. Не сидеть! — крикнул он в испуге и выдвинулся из подлампадного сумрака желтью залысого лба, горбиной носа, острыми скулами.— Царь — помазанник божий. Он отец, и все его дети. Не сидеть никому выше отца. Ишь духовные чего удумали — Отца принизить... выше царя сесть. Не выйдет!.. Изничтожу крамолу церковную, как крамолу боярскую. Ваше племя хитрое, коварное. Не забыл я аспида Сильвестра... Не прощу и вам Отца унижение. Чашу, чашу не мог разгадать!.. Поверил, что рука к ней тянется, а он — указывает!.. Одесную и ниже сидящему сыну указывает Отец, что изопьет тот до последней капли чашу страданий... Да Он и величественней сына, благолепнее... Но почему столь со Спасом рублевским схож? — спросил он с тоской.

— Не дал он лицезреть себя. Лишь в образе богочеловека на землю являлся. А с кем же быть схожим сыну, как не с отцом?! И должен изограф Господу Богу знакомые в сыне черты придать. Все

образы Святыя Троицы, великий государь, меж собой схожи, они — одно лицо в трех выражениях. Да не сомневайся ты боле, государь. Дух Святой — от Бога, а коли Христос посредине, стало быть, от него Дух святой исходит. А это ж неправда!

— Истинно, истинно, Филипп! Дух Святой — ошую Бога-отца, ибо от него исходит. Говори еще, монах, ты не все сказал.

— Спас Рублева — не лик Христа, а символ Бога во всех его ипостасях. В сыне провидим мы Отца и веяние Святого Духа. Обратившись к Святыя Троице, государь, взгляни непредвзято, и в среднем ангеле ты узришь Отца, мягкого, бесконечно сострадательного...

— Замолчи, монах, ты все сказал!.. Не улещивай мя. Кому лучше знать, каким Отцу быть надлежит, самодержцу или лисе монастырской?

Но что-то отпустило Ивана. Не было злости в его голосе, и даже улыбка дернула сухие, запекшиеся губы, на мгновение прогнав то мятущееся, страшное, что корчило, искажало выразительные, даже красивые черты его лица. Филипп вдруг представил себе его ребенком, и ребенок этот был мил: живой, любознательный, черноглазый... Он почувствовал жгучую жалость к этому несчастному и ужасному человеку, который мучил других, но и сам горел в адском пламени. Не таким он был задуман природой. Но добрый миг уже миновал, Иван вновь выпустил когти.

— Отчего же, Филипп, все столь понимаючи, молчал ты на соборе и позволил святотатству свершиться?

— Бог един в трех лицах, государь, святотатства тут нету. Речь не о догмате веры шла, лишь о толковании иконы.

— Ох, и увертлив ты, Филипп!.. Ох, ловок!.. Да не больно храбер.

— Сам же сказал тебе, государь, что не из бунтующих я Колычевых,— вопреки смиренным словам, голос не был умягчен чрезмерным смирением. Филиппу прискучило изображать трепет, он устал.

— Умеешь ты себя беречь, Филипп! — Но Грозный чутко уловил изменившуюся интонацию и притемнелся.— А откуда у тебя все эти мысли? Мудр-

ствуешь, видать, много... Больно учен, языки вон древние изучил...

— Не тверд я в них, — вновь собрался для самозащиты Филипп, поняв, что сейчас подступила главная опасность: царя плохо учили в отрочестве, после он сам добирал знаний острым, жадным умом да Сильвестровой помощью. И не любил он чужой учености, особо у церковных. Впрочем, боярское любомудрие тоже не больно жаловал, с тех пор как бежавший Курбский в предрезостных посланиях раз-другой поймал его на невежестве. И, вздохнув, Филипп сказал: — Видение мне было, государь.

— Какое видение? — недоверчиво, но с любопытством спросил суеверный — при всем своем пронзительном уме — царь Иван Васильевич.

— Молился я ночью во келейке, и явилось мне вдруг померанцевое деревце, что в южных странах обитает, а в нашем холоде расти не способно. Я его, конечно, сроду вживе не видел, а во сне узрел. Только вот чудо: цветет оно белыми, как кипень, цветами, а тут было осыпано пунцовым цветом, как заря в предгрозе. И затрясло оно всеми веточками, всеми цветиками, и зашептало, зашелестело о Святыя Троицы. Все, что я тебе, великий государь, ныне говорил, услышал я от того дивного померанца.

— И утешил ты меня, Филипп. Утешил Колычевскользящий. Нет, ты не крамольный человек. Но ты хитрый, Филипп, ишь какой побасенкой государя своего потешил. А ты меня умом ниже себя ставишь, коли думаешь так легко провести. Детская твоя хитрость, но она не со зла, а во спасение. За главную правду, от тебя услышанную, прощаю твою хитростенку. Спасайся и дальше, Филипп. Бакот, в дивный вертоград обратил ты дальнюю высыпь моей земли? Ты что там — рай задумал создать?.. — вонзился черным блеском. — Самому Господу уподобиться?

«А ведь он угадал! — захолонуло под сердцем. — Сказал то, в чем я самому себе не признавался. До чего ж проникновенный ум!..» — И мурашки неподдельного трепета пробежали по коже.

— Больно студено там для рая, государь. А не бедствуем твоими милостями...

— Замолчи, монах, не клянчи! Все нищенствуете, богатеи!.. Сам решил вотчинку подкинуть. С сим

отпускаю тебя, честной инок, — с непонятной насмешкой заключил этот удивительный разговор Иван.

А когда Филипп уже выходил, вдруг окликнул:

— Разговор промеж нас двоих останется. Пусть изографы пишут, как собор решил. Мне самому знать хотелось. Ступай с Богом!

И отпустил мирно толкователя Святыя Троицы. А ныне вспомнил. Потому вспомнил, что помер митрополит Макарий, а выбранный на его место старый Арсений скорешенько отпросился на покой. Любо было государю, что отвел Филипп должное место Богу-отцу, такой не дерзнет свой престол над государевым поставить. Иван Васильевич убедился, что не обделен разумом соловецкий игумен, но покорен и уклончив, не стремится к власти и лишен честолюбия. Удобен царю в митрополитах тихий, небунтующий, сызмальства напуганный человек; поднятый с низшей ступени на высшую рукой государя, будет он послушным исполнителем его воли. И нет у него связей ни с духовными, ни с боярством, нет ни в ком опоры, кроме царя. Будет он все в угоду Ивану Васильевичу делать, благословит опричину — черную нечисть при метле и отрубленной собачьей голове — и любую затею неленивого царского ума. «Вон когда аукнулось, и вон как откликнулось», — невесело думал Филипп, колыхаясь на волнах Белого моря...

7

Весь путь до Москвы старались проделать водой — бездорожная сторона, но приходилось кое-где и волоком пробираться. Кругом топи, болота, кочкарник, морошка, леса непролазные. Только в Ярославле посадили духовных в возки, а ратные мужи сели на коней. И все дни путешествия не переставал Филипп удивляться громадности, богатству и неустройству родной земли. Когда тридцать лет назад бежал он всполошенным зверем на север, то ничего не замечал вокруг, ничем не заботился, кроме тропок, стежек, перелазов и переправ, чтобы скорее оставить меж собой и страшной Москвой как можно больше земли. На Стоглавый собор везли его в беспамятстве тяжкой болезни, думали — не довезут, а возвращался он в розовом тумане счастливого избавления, всему радуясь

и ничего толком не видя. Зато сейчас его очи будто промыло: увидел он нищету и дикость, в которых скорбит посреди несметных богатств народ, населяющий северные земли русского отечества. Пустынные берега рек: ни водяных мельниц, ни тоней, изгнивают избенки под сопревшими соломенными крышами, а кругом высокоствольные леса, под ногой глина, на кирпичи годная; Филипп хорошо знал землю и по цвету ее мог сказать: здесь железу в недрах быть, там — иному крушецу, там — красителям. Он видел рой диких пчел, но в лесах «бортничал» лишь медведь, а люди не знали вкуса сладости. Видел пойменные луга, на которых можно выкармливать коров с редкой жирностью молока, а коровенки паслись мелкие, худые, с пустым выменем. Природа давала все, чтоб человек был сыт, пит, добротнo одет, жил бы в справных, чистых, теплых домах, а людям подводило животы от голода, ходили босые, в дранье, а в домах — грязь, вонь, духотища. Люди не только не умели брать от земли что положено, они не знали и боялись ее; боялись лесов, болот, озер и придумывали им страшные названия, чтобы и детей своих от них отпугнуть. От замороженных деревень мало чем отличались города: ну, посередке, как водится, собор, бывало, каменный, торговые ряды, палаты правителя да несколько справных домов местной знати или разбогатевших купцов, а вокруг те же испревшие избы, непролазная грязь, худые свиньи в лужах, лапотное население.

Как ни слеп был Филипп в прежние свои проезды через Каргополь, Вологду, Данилов и другие города, а заметил резкую перемену: куда спокойнее, степеннее, размереннее и милее глядела в них прежде жизнь; люди торговали и покупали, чего-то строили, спокойно шли по своей надобности, останавливались, встретив знакомого, и обменивались словами, а ныне все как очумели. Завидев возки и всадников, девки кидались врассыпную, парни тоже спешили сгинуть, хоронились лоточники, закрывались лавки — великий страх оморочил народ. Оказалось, города эти забраны в опричнину и порядки наведены новые. Сообщил сие Филиппу архимандрит, но ничего более не добавил к сказанному осмотрительный служитель божий. Впрочем, не трудно было догадаться, каковы эти порядки. Видать, правят здесь царевы любимцы,

как в завоеванной стране. Филипп был наслышан о бесчинствах опричников — в Соловецкую кинию стекались люди из разных мест, но он думал, что косматое чудище, высиженное царем Иваном в александровском самоизгнании, обращено лишь против боярства, а оно всю русскую жизнь под себя подмяло. Замордованному снизу доверху народу должен он стать пастырем, духовным вождем и утешителем. Не по плечу ему такая ноша. Он — Колычев-ускользающий, а здесь нужен другой, Сергей Радонежский или апостол Павел, чтобы обличать огненным словом цареву блудню, на всю Русь вопиять проклятия опричной скверне. А он — Колычев-бегущий, Колычев, любящий жизнь во всех ее чистых явлениях, землю, так щедро дарящую себя людям, не умеющим принять ее даров...

Оказалось, плохо знал себя Филипп, не лучше других многомудрых — духовных и мирских.

Прибыв на место и поклонившись государю, который принял его отменно ласково, Филипп явился перед собором духовных властей. Сведомые о приеме, оказанном ему государем, отцы церкви были не просто ласковы, а источали елей. Филипп смиреннейше заявил им, что принять сан митрополита не может, ибо не считает себя достойным. Есть неизмеримо выше его стоящие не только по иерархии, но и нравственно и по способностям к несению столь высокой службы. Этим он возбудил надежды в иных сердцах, а угодил всему духовенству; не было архиерея, который не возмущался бы в душе предпочтением, оказанным скромному игумену из запредельной обители. Филипп надеялся, что духовные не замедлят донести его слова до царевых ушей, и разгневанный государь отошлет его назад. Но царь и слушать не стал архиереев, прогнал их прочь, а потом повелел вернуть назад вместе с игуменом Филиппом. Тот со слезами на глазах сказал царю о своей неготовности и неспособности принять митрополию. Грозный сверкнул очами и закричал, брызгая слюной:

— Это святители тебя запугали? Сами на митрополичий престол зарятся! Вот вам!.. — и, забыв о всяком приличии, царь сунул духовным дулю; большой перст был у него непомерно длинен, с гнутым острым когтем, и, когда завертел им царь перед лицами оторопевших священников, вышло что-то страшное и до-

нельзя срамное, вроде когтя сатаны.— А мне твой отказ не нужен, Филипп! — кричал Иван.— Даром за тобой на край света гоняли? Раз надо для православного мира, так негоже в кусты кидаться. Се не смирение, а трусость позорная!

— Отпусти меня по-доброму, государь. Дай воссоединиться с милой землей, коей я потребен.

— Очнись, Филипп! Не юродствуй. Ты ныне не Соловецкой земле, а всей Руси служить будешь. Не унижайся, игумен. Бери что дают и стань наравне со славнейшими. Не зли меня, Филипп. Не доводи до худого.

— Не смею спорить с тобой, государь. Да и не о чем. Как ты ни могущ, а митрополита не назначишь. Святители явят свой выбор.

— Энти, что ли? — кинул клином седеющей бороды в сторону духовных Иван.— Да они согласны. Не так ли, отцы? — произнес с издевательской ласковостью.

Нестройный хор старческих голосов подтвердил слова Ивана. А чего еще можно было ждать? И тут сам Филипп обрел голос, почти не отличимый от прежнего, наделенного природной ясной звучностью, но ставшего совсем иным, чего поначалу никто вроде бы не приметил,— с каким-то металлическим отзвуком:

— Хорошо, государь. Я приму сан, коли меня выберут, но с одним условием: ты отменишь опричнину.

— Ты... ты что?.. Тягаться со мной вздумал?..— Ивану казалось, что он ослышался, ошеломление вытеснило гнев.

— Не я, а митрополит Филипп. Я не смею тягаться и с самым малым из находящихся здесь. Но глава православной церкви несет перед Господом Богом ответ за святую Русь. Опричнина же твоя богомерзкое, антихристово дело.

— Не тебе судить, монах...— угрюмо, в какой-то странной усталости молвил Иван.— Думай о небе, о земных делах мы сами позаботимся.

— Я о душе твоей пекусь, государь. Погубишь ты душу, коли не разгонишь хищников, рвущих на куски святую Русь.

— Чего ты витийствуешь, монах? — Грозный тихонько, в себя засмеялся. Усталость гнула плечи,

давила на грудь, туманила голову, одного хотелось: спать, спать, спать, — ребячливый в своей неожиданной заносчивости старик не стоил гнева, даже окрика не стоил. — Сам же говорил, что не царь митрополита ставит. Как святители решат, так и будет... Ладно, ступайте, устал я от вас, однако...

Три дня уговаривали духовные Филиппа принять сан без всяких условий. Не дело митрополиту соваться в государственные дела, сроду на Руси не водилось, а с латынской церкви негоже пример брать. А вот преподобный Сергей, возражал Филипп, вмешался в общерусское дело, и грянула Куликовская битва, а с нее зачалось государство российское. Уж не мнишь ты себя ровней святому Сергию? — возмутились духовные. Нет, отвечал Филипп, лишь беру себе примером. К исходу третьего дня Иван вместо обычного гонца прислал к духовным Малюту Скуратова-Бельского, самого доверенного своего человека и самого страшного. Рыжеватый, источающий песий запах, с приплюснутым переносьем и почти белыми глазами, Малюта тихим сиплым голосом сообщил, что царь весьма печалуетса неусердием святителей к его государеву делу и даже занемог в горести. «Ах, отцы, отцы!..» — вздохнул широкой грудью Малюта и поочередно поглядел в лицо каждому архиерею.

Малюта сказал правду: не привыкнув встречать отказ ни в каком своем намерении, Иван и впрямь почувствовал недомогание, какая-то мерзкая робость закралась в душу. Было противно рассудку и потому страшно, что нашелся человечешко, осмелившийся перечить ему, хотя знал, что за свою строптивость отправится с Малютой в застенки. Малюта был единственным человеком, которому Иван доверял безоговорочно. Царь знал, что Малюта, не дрогнув, раздерет меж двух берез собственную любимую дочь, если Иван прикажет. Впрочем, тут все близкие царю люди были выше похвал. Федька Басманов едва не отсек на пиру голову собственному отцу, боярину Алексею, хотя царь только пошутил, желая проверить меру Федькиной преданности. Не уронил себя и старший Басманов. «Руби, сынок!» — сказал, опустившись на колени. Царь остановил Федькину руку, как ангел Господень — Авраама, уже занесшего нож над своим намоленным первенцем, но про себя решил, что дру-

гой раз даст свершиться казни: уж больно честолюбив и опасно бесстрашен старый Басманов. Лишь чудом не обагрив руки отцовою кровью, Федька вернулся к веселью, осушал чашу за чашей, как и всегда почти не пьянея, плясал в женском сарафане, а после согревал своим атласным задом стылое тело Ивана. Одна лишь Анастасия, ангел светлый, душенька любимейшая, изведенная Курбским и Сильвестром, умела так прогревать холодную кровь Ивана. Лаская других женщин, Иван ярился от наслаждения, но холод мозжил кости и душу. А Федька дарил тепло Ивану своим молодым, нежным телом, хотя силы в мышцах у него было не менее, чем у Малюты и даже братьев Грязных, самых дюжих из опричников. Даровал же Господь такому крепышу девичью нежность и красоту тонкую, будто не русскую, а фряжскую, и жар согревающий. А ведь даже у Анастасии, любви его небесной, задница, как у каждой бабы, была прохладной. А у Федора — печка. Любил Иван Федьку, но уже смирился про себя, что Малюта в скорости оговорит его и уничтожит. Правда, не раньше, чем Федька снесет голову отцу. Федька бесстрашен в отца, но еще криводушнее, хитер и подл, как змей, предаст и даже на миг не запнется душой об иудин грех. Иван не станет мешать Малюте. Но с особым наслаждением рисовал себе царь, как, изведя руками Малюты всех врагов, скинув на широкие плечи верного раба все собственные грехи, предательства, обманы, всю кровавую грязь своих дел, расквитается с самим Малютой. За Басманова особенно, за сладкого, как малина, Федьку, за всех замученных, запытанных, замордованных, за всех убитых мечом, удавкой, топором, ядами, руками страшными короткопалыми, в красноватом, как у крыс-пасюков, волосе, заставит он пройти Малюту через пытки, мучительства, издевательства, каким тот подвергал других. И придет он в пыточный застенок слушать Малютины стоны, вопли и бить сапогом в окровавленный, с искрошенными зубами рот, когда поползет тот целовать ему ноги, моля не о пощаде, о скорейшем конце. И, подробно думая об этом, Иван неизменно прибодрялся, веселел, но в дни, когда несгибаемый монах отталкивал митрополичий посох, если царь не разгонит опричину, — единственную опору царствования, защиту в злом и коварном мире, где никому нельзя верить, — даже

мысль о предстоящей игре с Малютой не радовала опечаленную и смущенную душу государя.

А духовные, на смерть запуганные Малютой, все скопом навалились на Филиппа. Если себя не жалешь, то хоть нас пожалей, — предаст царь нас в руки своему костолому. А свято место пусто не бывает, другого на митрополию поставят, во сто крат худшего. Ты в дела государственные не суйся, а защитишь опального человека завсегда сможешь, коли смел. А ни в ком из нас такой смелости нету, мы царю ни в чем перечить не можем. Мы все осифляне по убеждению, а по натуре зайцы. За тобой и нам спокойней будет, и православному народу хоть какая-то надежда засветит. Сделай по цареву, Филипп, не ставь условий, потешь гордость Иоаннову, а ведь в жизни ничего по уговору не делается — пройдет время, не стерпишь ты и осадит неистовство метелочников окаянных. Хоть малое остужение, хоть какое-то облегчение Руси от тебя будет, от всех же других нечего ждать, мы себя знаем, говорим не лукавя, как есть. И мучался Филипп этим самоуничижением святителей. Чего сроду не сделали бы угрозами, добились трусливыми плачами.

В эти три тягостных дня и три бессонных ночи, наполненных думами, мукой, слезами и воспоминаниями, когда Филипп оплакивал свое прошлое и далекую милую землю, и братию, которой был предан куда горячее, нежели сам полагал, и бедного послушника Анфима, и пчелок, хлопотливо собирающих взятък с медоносов, и каждое посаженное им дерево, и всех прижившихся в Соловках зверей лесных, и водных обитателей, и птиц небесных, — особливую слезу пролил о куличке-игумене, последней его земной радости, в эти дни, когда жизнь переломилась в житие, навсегда высохло нутро Филиппа, не осталось в нем ни слезинки, будто похозяйничал там аравийский ветер; сгинул сурово смиренный с виду и жалостливый сердцем игумен и стал над Русью митрополит Филипп, тот железный старец, которого жесточайший из всех земных владык, окруженный свирепыми сатрапами, смог уничтожить трусливо, но не сломить, ни даже склонить. Твердым в долге и нравственных правилах, усердным монахом, не рядовым лишь широкой созидательной одаренностью своей природы явился в Москву Филипп, но ступил

в Успенский собор для посвящения в сан митрополита великий муж, принявший неизбежность мученического венца и нисколько не страшась его. Не ведали этого ни духовные, думавшие, что хитро подобрали ключи к характеру Филиппа, ни царевы приближенные, свысока посмеивавшиеся над пустым упорством монашка, ни возвеселившийся и скинувший хворость царь, вновь подмявший под себя, как ему мнилось, не вовсе заурядного супротивника. Даже сам Филипп не постигал разумом самую глубь свершившейся в нем перемены, ведала то лишь его тайная душа, но заявила о своем знании, когда отверзлись уста Филиппа для первой владычной пастырской речи.

Но до того свершился обряд интронизации. Привезли Филиппа в митрополичий Успенский собор в обычной его грубой черной рясе и черной скуфье, а здесь одели в шелковую невесомую мантию и белый клобук с хвостами. Посреди службы его подвели к алтарю, где вручили митрополичий посох, облачили в ризу из золотого бархата с узорами, на плечи накинули плат-амофор, расшитый и украшенный жемчугом; на голову взамен белого клобука надели властелинскую шапку, тоже усеянную жемчугом и драгоценными камнями, под ноги постелили круглый коврик, орлец прозываемый, ибо вышит на нем орел — от Византии произошедший символ власти. И во всей этой пышной, столь непривычной Филиппу одежде он будто вырос, раздался, обрел иную, величавую осанку, и явилась она не от гордости, напыщенности столь нежданно вознесшегося рядового человека, как почудилось духовным, а от спокойствия безнадёжности, раз и навсегда овладевшего Филиппом. Он уже не принадлежал ни окружающим, ни царю, а лишь собственной судьбе и оттого стал независим. И хоть принял он условия церковников, вернее, требование государя, но первое свое слово, отметившее вступление в сан, обратил в наставление государю. Он говорил о долге державных быть чадолюбивыми отцами подданных своих, блюсти справедливость, уважать заслуги, не слушать гнусных льстецов, теснящихся у престола и сладким ядом речей своих отравляющих ум государей, что служит лишь их низким страстям, а не отечеству; он говорил своим звучным, всепроникающим голосом о тленности земного вели-

чия, о победах невооруженной любви, которые приобретаются государственным благосостоянием и куда славнее побед ратных.

«Истинно пастырская речь!» — перешептывались духовные, но были недовольны и встревожены: ведь слова митрополита метили прямо в дела Иоанновы и его ближних людей, сиречь опричников. Предерзостная речь, и если это начало, то каково же будет продолжение?

Но, вопреки их страхам, Иван принял речь нового митрополита милостиво, подошел к нему под благословение, обласкал владыку словом и взглядом и удалился из храма в кротком расположении духа. Это объяснялось в большей мере непостоянством нрава, над чем невластен был Иван и что делало непредсказуемыми его поступки даже для самых приближенных людей, отчасти же тем удовольствием, которое царь испытывал от подавления чужой воли. Иван уже понял, что ошибся в Филиппе, приняв его за усердного, скромного до робости, хотя и склонного к умствованию монаха; нет, то был х а р а к т е р — не наружный, сразу себя выдающий (ломать таких проще всего), а затаенный, сам себя не до конца ведающий и опирающийся на что-то твердое, непоколебимое в душе — на фанатичную веру в милость Божию, думал Иван, чуждый и малому подозрению, что иные нравственные устои держат Филиппа. Он чувствовал себя победителем; малоумным могло бы показаться: эка честь в победе великого государя, кесаря Третьего Рима (четвертому не бывать) над упрямым и наивным иноком, одичавшим в своем окраинном монастыре. Ан, одержать такую победу было труднее, нежели перепластать всю боярскую Думу или вырвать клоч из бороды старшего Рюриковича. Он одержал и свою собственную и государственную победу; придет день, когда завоевавший великий авторитет во всем христианском мире митрополит благословит опричнину и давно замысленный поход на Новгород — не соринку, а бревно в царевом глазу, — с его богатством жирным, церковной спесью и дерзкой независимостью. Но это потом, а сейчас царя будто отпустило внутрях и тихий дух снизошел на него через божьего человека, митрополита всея Руси.

Удивительна была и духовным, и мирянам, а пуще всего цареву окружению та тишина, что воцарилась по избрании Филиппа. Иные доверчивые люди, а в таких сроду нет нехватка, всерьез поверили, что приход праведного старца на митрополичий престол угомонил, остудил и утихомирил бешеный нрав царя. Прекратились казни, иссяк кровавый ток, присмирели и опричники, перевели дух омороченные русские люди всех сословий. Москва и забыла, когда так покоен был ночной сон: никто к тебе не ворвется, не вытянет из теплой постели, не осрамит жену, не снасилничает дочь, не разграбит имущества. И засияла белым золотом слава Филиппа!.. Лишь сам митрополит не обольщался переменой, зная вещей душой, что то затишье перед бурей.

Царь мог бы и сам хотеть тишины и ладу, но не властен был над своим рассудком, которому вечно мерещились крамолы и заговоры, не властен над дурными страстями, раздраженными чувствами, нуждающимися в яростном выплеске, вслед за которым — слезная, умильная молитва и покаяние. Не властен он был и отказаться от задуманного: опричина нужна была не только как оружие против непокорных и затившегося боярства, но и как символ его отверженности: боярские козни лишили Ивана власти, земщиной правил пленный казанский хан Едигер Симеонович, крещеный татарин, озадачивающий своей ничтожностью; делами государства российского ведала боярская Дума, а он, законный государь, вынужден был с горсткой верных скрываться в Александровской слободке, отбирая силой у боярской жадности деревеньку, городишко, волостишку для пропитания своих людишек. Сколько же можно побираться?.. Вот и взлелеял думу царь-изгнанник: вдарить по Новгороду и выпотрошить его пересытое чрево. А то, что поход замышлялся против жемчужины Святой Руси, древнего русского города, великого своими победами над псами-рыцарями и храбрыми шведами, крепкого верой, славного ремеслами, зодчеством, иконописью, торговлей, достойнейшими людьми и мужеского и женского пола, не смущало Ивана, — быть не может, чтобы, глядя на все усиливающуюся Москву, не за-

мыслили новгородцы измены, он бы, Иван, на их месте наверняка бы замыслил. А коли так, то судьба города решена: упредит измену, заступится за Русь царь-изгнанник. И когда Иван называл себя так, крупная слеза солила ему губу под седым жестким усом.

Но время текло, а тишина не нарушалась. И уже маловеры начали поддаваться этому заволаживающему покою. Людям так хотелось отдохновения, так истомило вечное насилие власти, что, казалось бы, навсегда отученные от надежды на умягчение, они поверили, что сжалился над изувеченной страной Господь Бог и угомонил царя-кровоюдца. Это чудо приписывалось духовной силе нового митрополита. В народе шептались: напрямую с Богом говорит и за Россию предстательствует...

Сумрачен, как ночь, ходил один человек из ближайшего царева окружения — Малюта Скуратов-Бельский. Ему казалось, что новый митрополит околдовал царя, навел на него злые чары. Государя словно подменили. Снаружи вроде бы тот же Иван Васильевич — борода клином, беспокойный взгляд то взблескивающих, то мертво гаснущих глаз, седина в лысеющей голове с острым теменем, — внутри иной: пришибленный, оробевший, все время постится, молится — но не по-прежнему, когда от ударов об пол лбом гул стоял, а подолгу припадая к каменному полу лицом с закрытыми глазами, исходящими слезами из-под тонких трепещущих век. Забыл все опричное дело, Федьку Басманова из постели выгнал — даже сему не радовался Малюта. Неужто это навсегда? — тосковал рыжий палач, и сошлись в нем боль о государе, тревога за опричнину с лютой ненавистью к Филиппу.

И видать, возымели действие жгучие слезы наивернейшего царского холопа, — в один из ничем не примечательных, серых, пасмурных деньков призвали Малюту к царю. Тот сидел в жарко натопленной горнице — мерзляк был государь, даже вином не согревался, а тут на воде да постной пище вовсе застудил всю внутренность.

— Где пропадал? — хмуро спросил царь. — По бабам шляешься, утробу набиваешь? А крамола голову подняла. Да чего там подняла — вот-вот сеть накинёт. Бежать пора в слободку. Где же еще русско-

му царю голову преклонить? Да что же я за несчастный такой? У зверя логово есть, у птицы — гнездо, один я маюсь, как неприкаянный!..

Малюта грохнулся на колени.

— Звери мы лютые — так огорчили царя-батюшку! Нас бы самих — на плаху. Но повинную голову меч не сечет. Дозволь, государь, допрежь мы в слободку двинемся, я тебя головками врагов лютейных утешу?

— Да уж, порадей, Малюта,— капризно сказал Иван Васильевич.— И вели Федьку в опочивальню прислать. Боюсь, как бы не забаловался малец без призора. Отец-то его, криводушный Алешка, хорошему не научит.

Распоряжение сие было досадительно, но Малюта так радовался духовному пробуждению царя и возвращению к государственной жизни, что огорчился менее обычного тем вечным предпочтением, которое оказывал Грозный Басманову в спальном деле. А еще подумал, что далеко им всем до царя-батюшки, тот вон Федькину душу воспитывает, укрывает вьюноша от развращающего воздействия родителя; воистину: царю — царево, а псарю — псарево... Но надо тянуться за царем по мере сил, хотя это ох как непросто!..

И Малюта расстарался, дабы убогатить огорченного новыми кознями государя — так началась эпоха третьего террора страшного царствования. Полетели боярские головы, а заодно и всякие иные, вовсе не знатным людям принадлежащие. Ведь известно: лес рубят, щепки летят... Малюта расправлялся с большими людьми, а опричная мелочь под шумок обделывала собственные дела и делишки; головы снимали и боярам, и дворянам, и почтенным купцам, и мелким торговцам, и дьякам, и подьячим, и простым тягловым людям. По разным причинам оказывалась несовместимой злосчастная голова с телом. Порой надобилось молодцу в черном платье с метлой у седла прибрать вотчинку, или деревню богатую, или незаможнее сельцо, порой — дом справный, или поместье, или золотую утварь, ковер персидский или кинжал, камнями украшенный, иной черный молодец зарился на жену чужую или дочь-малолетку — и за это отнимали жизнь, и за слово бранное, и за косой взгляд. История сохраняет для потомства лишь

громкие имена, а за каким-нибудь Шуйским или Боротынским остаются неведомы десятки, сотни уничтоженных малых людишек...

9

И все пошло обычным порядком, за одним исключением, сильно поразившим Грозного царя. Впервые казни, пытки, все опричные неистовства творились не в великой русской тишине, которую по избытку пустого пространства не могли нарушить стоны, крики, вопли умерщвляемых, пытаемых и насилуемых, нет, впервые беззвучие сотряс протестующий голос. И пусть то был голос всего лишь одного человека, но звучал он посреди Кремля, с амвона святого Успенского собора, исходил из зычной гортани митрополита всея Руси и слышен был по всей русской необъятности. Поначалу голос этот взывал к совести и разуму государя, но вскоре возвысился до обличения, предавая анафеме опричнину, раздвоившую святую Русь, называя поименно палачей, и, наконец, о самом царе молвил страшное слово: кровоядец!..

Сему царь не поверил и решил испытать Филиппа. В день воскресный, в час обедни, Иван с ближними боярами и целой толпой опричников вошел в Соборную церковь Успения Божьей матери. По обычаю своего «сатанинского монастыря», как называли в народе александровское убежище царя, были все в черных рясах и высоких, тоже черных шляках.

Филипп вел службу, стоя на своем митрополищем месте, на малом возвышении в окружении владык и иереев. Иван приблизился к нему, ожидая благословения. Митрополит смотрел на образ Спасителя и царя словно не заметил. Тогда ближайšie к нему иереи стали подсказывать слышным шепотом (в надежде, что их усердие будет оценено):

— Владыко, се государь!.. Благослови его!..

— В сем виде,— ответил Филипп своим звучным голосом,— в сем одеянии странном не узнаю государя, не узнаю и в делах царства...

И, повернувшись к царю, продолжал:

— О, государь, мы здесь приносим жертвы Богу, а за алтарем льется невинная кровь христианская.

Отколе солнце сияет на небе, не видано и не слышано, чтобы цари благочестивые возмущали собственную державу столь ужасно! В самых неверных языческих царствах есть закон и правда, есть милосердие к людям, а на Руси нет их. Достояние и жизнь людей русских не имеют защиты. Ты высок на троне, но есть Всевышний, судья наш и твой. Как предстанешь на суд Его, обогранный кровью невинных, оглушенный воплями их муки? Ибо самые камни под твоими ногами вопиют о мести.

Иван трепетал от гнева. Он с такой силой ударил жезлом о камень, что высек искру, узренную близстоящими.

— Чернец! Я доселе излишне щадил вас, мятежных, отныне буду, каковым меня нарекаете!

Голос его задрожал, кровь выступила из-под ногтей пальцев, сжимавших жезл, багровый туман застлал взор. Он поднял жезл, и всем, кто был в храме, почудилось, что случится невиданное в мире святотатство и царский жезл поразит служителя божия у алтаря. Одни прикрыли глаза рукавом, другие потупились, даже иные опричники побледнели и отверли взгляд. Царь Иван потом удивлялся, как сумел он углядеть сквозь багровую пелену ярости поведение каждого. Не уронили себя ближайшие. Красивые, влажные, оленьи глаза Федьки Басманова выражали радостное нетерпение, схожие, но увядшие очи его отца — усталую скуку, Малюта нащупал клинок под рясой, чтобы в случае надобности добить митрополита, Василий Грязной с неизменной собачьей преданностью смотрел на царя, его пригожий брат Григорий улыбался плотоядным ртом, сильное, крупное лицо Филиппова сродственника боярина-опричника Колычева хранило безмятежное спокойствие. «Так же смотрел бы, если б и меня кончали!» — с ненавистью подумал Иван. Не менее спокоен оставался и сам Филипп.

— Укротись, государь, ты в храме божьем, а не на псарне, — отвернулся и продолжал службу...

...Царь Иван был словесной мудрости ритор. Крепко уязвило его, что не смог он побить Филиппа словом. Явившись в храм в другой раз, в ответ на обличения митрополита сказал громко и надменно:

— Царь волен жаловать своих холопов и казнью волен их казнить!

На что Филипп тут же обронил чуть не с усмешкой:

— Се словеса, достойные не царя, а вотчинника...

И никто в храме не понял, какую жестокую рану нанес он царю. Иван был первым русским государем, узревшим в себе царя в библейском смысле: помазанник божий. До этого не поднялись ни его отец, ни дед. Слова Филиппа низвергли его с высоты, в ничтожество удельного княжения. Онемев от гнева, царь не знал, что сказать, и, боясь новых беспощадных, бьющих в самую грудь, в болящее сердце слов митрополита, обретя речь, залепетал почти жалостно:

— Молчи!.. Только молчи, об одном прошу, молчи, святой отче... Не доводи до греха... И благослови нас...

— Наше молчание грех на душу твою наложит и смерть ей наманит!..

Как звучен его голос и как гулок высокий собор!..

— Ближние мои восстали на меня, ищут мне зла... Какое тебе дело до наших предначертаний? — беспомощно бился царский голос, не поддержанный отгулчивой мощью соборных сводов.

— Митрополит Даниил, щеголь и златоуст, усугубив лукавство и гнусь учения осифлян, сравнил царя с Богом. Единственно, чтобы церковное имущество соблюсти ценой достоинства духа. Царь — есть человек и Богу ответчик, как любой его подданный, не заблуждайся в сем. И не будет тебе от Бога благословения, покуда не покончишь со своими мерзостями.

Так и остался Иван ни с чем, унеся злое унижение в душе. Но не угомонился и снова попробовал скрестить с митрополитом словесное оружие:

— Ты вотчинник, а не самодержец Руси... — против такого был бессилен кинжал ножебоя Малюты. Царь напомнил митрополиту о величии Руси — Третьего Рима. Не ему, Ивану, кровь надобна, а государству великому. Филипп ответил тихо, не как пастырь, а просто как старый, усталый человек:

— Коли так и дальше пойдет, не много от твоего Третьего Рима останется. Выдашь ты Россию головою врагам.

— Не шуткуй, поп! — взъярился Иван, — сам знаешь, с таким народом нельзя иначе. Он лишь язык огня, железа да пеньковой захлестки понимает. Чем

больше истребишь, тем лучше. Остатные будут воском в руках рачительного и вдаль глядящего государя.

— Христос на камне, не на крови строил церковь свою. А под камнем-петросом разумел любимого ученика Петра, апостола и рыбака. Когда же на крови людской свое царство строишь, не нужно оно.

— Как не нужно?.. Что ты мелешь?..

— Нельзя убивать нынешних, чтоб завтрашние мед пили и сладким куском заедали. А коли не настанет завтрашний день, чем оправдаешь ты нынешние злодеяния? А и настанет, так без меда и без куса сладкого.

— Это почему же?.. — От гнева ли, нетерпения ли, просто непривычки к словесному ристанию Иван не находил даже тех сумбурных, горячечных, но сильных чувством и убеждением слов, какими разил — да не сразил — Курбского.

— А ты, царь, и приспешники твои сами весь мед выпьете и все брашно слопаете, некому будет убыль пополнить. И во всех делах будешь ты терпеть поражение: и в ратных — опричники твои лишь с посадскими женками воевать горазды, и в междуусобных — кого ты к государям иноземным пошлешь: срамника Басманова или дурней Грязных?..

— Замолчи! — Царь Иван опрометью кинулся вон.

И тут ближние царю люди заметили, что появилась в нем какая-то робость перед Филиппом. Иван при всей безобразности своих поступков, при всем презрении к церковникам, при всей преступности, которую не осознавал до конца, был и богобоязнен на свой лад и, главное, суеверен. Ему представлялось, что бесстрашие Филиппа коренится не в свойствах его природы, а в неких явленных тому свыше откровениях. Ивану ничего не стоило разделаться с любым служителем церкви, но он не решался — при всей душасцей ненависти к митрополиту — не только прикончить его, но даже низложить. Страхился прикрывающей руки...

О том догадался духовник Ивана, протопоп Благовещенского собора Евстафий, тайно ненавидевший Филиппа. Он посоветовал царю направить в Соловецкий монастырь духовное посольство для уличения бывшего игумена в злоупотреблениях, мздоимстве, нарушениях устава и даже чернокнижии.

— Не нарушал он ничего, — сумрачно возразил Иван, — зря злоречествуешь. Нешто и так не видно, что святой жизни этот мерзавец.

— Пошли, великий государь, — настаивал Евстафий. — Я верных пастырей подберу, от их зоркого и чистого глаза ничего не укроется, они сквозь стены неправедность разглядят.

— Посылай, — подумав, согласился Иван, — может, и впрямь черно крыло над Филиппом.

В позорном посольстве не побрезговали принять участие епископ суздальский Пафнутий, архимандрит Андрониковского монастыря Феодосий и князь Василий Темкин.

Провалился бы злой умысел Евстафия, ибо вся братия, как один, свидетельствовали в пользу Филиппа (даже мнившие себя обиженными им), что беспорочной, с в я т о й жизни был игумен, ангельски чистый во всех своих делах, во всех движениях сердца перед Господом Богом, наиусерднейший в молитве и службе, — да выручил бывший келарь, ныне настоятель Соловецкой обители Паисий. Он дал понять, что за епископский сан берется уличить Филиппа в любом преступлении. Прихватив Паисия, посольство борзо покатилося в обратный путь.

Царь Иван обладал ценнейшим для властителя его толка свойством: искренне верить любой лжи, любой клевете, любому лжесвидетельству, если это было ему выгодно. Он мог сам измыслить оговор, навет, клевету, сочинить подметное письмо, донос, но, ознакомленный с собственным вымыслом, он испытывал нелицемерный гнев, возмущение, ярость, горе, злейшую обиду на людское вероломство. Так случилось в свой час с Новгородом, когда царю доставят им же продиктованное предательское письмо новгородцев, так было, когда хорошо натасканный Паисий предъявил Филиппу в присутствии двора и духовенства свои обвинения.

— Ну, что скажешь на это, Филипп? — произнес Иван дрожащим от негодования голосом. Страх перед митрополитом напрочь покинул его — перед ним был грешный, порочный, нагло-злоречивый человек.

Филипп не ответил. Он поглядел на бывшего келаря, на его мясистые красные щеки, увлажнившиеся в глубоких ложбинах чело, на выпуклые глаза

в кровавых прожилках, на бесстыдно-жалкое лицо предателя и тихо молвил:

— Злое деяние не принесет тебе глода вожде-ленного.

Паисий вспомнит о вещих словах митрополита, когда через полгода после исхода Филиппа будет заточен по приказу царя в отдаленный монастырь, где и кончит позорные дни свои.

— Ты не шепчись, Филипп. Ты перед своим государем ответ держи. Или язык отсох?

— Ответ мне не перед тобой держать,— спокойно отозвался Филипп.— Думаешь, я боюсь тебя или смерти? Нет! Достигнув старости беспорочно, не зная в пустынной жизни ни мятежных страстей, ни козней мирских, желаю там и предать дух свой всевышнему, моему и твоему Господу. Лучше умереть невинным мучеником, чем в сане митрополита безмолвно терпеть ужасы и беззакония сего несчастного времени. Се жезл пастырский, се белый клобук и мантия, коими хотел ты возвеличить меня!.. А вы, святители, архимандриты, игумены, все служители алтарей, пасите верно стадо Христово, готовящаяся дать ответ и страшая небесного огня пуще огня земного.

Сказав так и сложив с себя знаки сана, Филипп хотел уйти. Будто замороженный его речью, царь вдруг очнулся, сжал ладонями худые виски и, приподнявшись на троне, крикнул:

— Стой, Колычев! Опять бежать вздумал?.. Уйти от расплаты?..

— Нет, государь. Я давно уже не Колычев-бегущий, а Колычев-обличающий. Неужто ты до сих пор не постиг?

— Это ты обличен будешь, еретик, чернокнижник, антихристово семя!..— Иван вытянулся в рост, его шатало.— И не сам собой судим, а учрежденным нами судом. А до тех пор неси свою службу... забирай святительскую утварь... Отслужишь обедню в день архангела Михаила... Слышишь?..— Голос Ивана пресекался, казалось, он сам не вполне сознает, что говорит.

— Трус ты жалкий, Иван Васильевич,— брезгливо произнес Филипп.

— А ты... ты...— Иван задохнулся, не в силах найти единственное клеймящее слово.— Ты...— в провидческом озарении явились ему костры, на кото-

рых сжигают крамольные книги, гигантские печи, исходящие густым черным дымом из рослых труб; в отверстия двери, в багровое озарение втеснялись голые люди: мужчины, женщины, дети, бунтовщики против власти, идущие в купель огненную, и вдруг сие отрадное зрелище омрачилось: откуда-то выросла столь знакомая Ивану ненавистная тощая фигура, и была она выше самых высоких труб; Филипп дул на костры и гасил пламя, не давал испепелить богомерзкие книжки, он дохнул на печи и погасил очистительный огонь, и нагие грешники кинулись врассыпную, только матери подхватили своих детей. «Убрать его!» — хотел приказать Иван, но голоса не было. Его никто не слышал и никто не слушал, а Филипп плыл над землей, неуязвимый, вечный, и, собрав себя нацельно, Иван крикнул во всю силу легких в лицо митрополиту невесть откуда взявшееся, непонятное ему самому, страшное слово:

— Интеллехент!.. — и, пав на пол, забился в судорогах, из стиснутых зубов выдувались зеленоватые пузырьки пены.

Малюта склонился над государем, кинжалом разомкнул сцеп челюстей, свободной рукой вытащил наружу желто-обметанный язык, ибо при таком приступе государь мог им подавиться. А потом братья Грязные подняли странно напружинившееся, но уже спокойное, легкое тело и понесли в царскую опочивальню. Каждый из них мог бы и в одиночку без труда справиться, но то обернулось бы в унижение государю, который при скупости плоти был тяжеленек за счет толстых костей, особо же обмякнув после пьянства, но тут, натянутый, как тетива лука, странно полегчал.

В опочивальне Ивана раздели, уложили в постель, укрыв пуховыми одеялами, подсунув по жаровне к ногам и пояснице. Иван приоткрыл глаза и слабым голосом велел заменить негреющий жар Федькой Басмановым: чувствуя близость конца, он желал дать последний наказ юноше по усекновению отцовою главы.

При дворе с ужасом непонимания повторяли странное слово, каким государь заклеял мятежного святителя. Привлекли духовных, но и те не ведали, что бы сие значило. Простые же люди выговорить это слово не могли и не хотели, боясь осквернить язык.

И тут впервые высунулся молодой Щелкалов, крутившийся в посольском приказе: то за винцом сбегает, то дьякам спинку почешет, то бумажку перепишет, то толмачам подсобит — редкие способности к иноземным языкам имел, шельмец! Он сказал, что похужее на произнесенное государем слово есть в английском языке и означает «умственный» либо «мыслящий». Тут дело маленько прояснилось: от кого всякое умствование идет? От извечного врага рода человеческого. Вон как глубоко проглянул государь порчу Филиппову, вон с кем повязал себя дерзостный митрополит! Через особых людей это объяснение попытались распространить в простом народе, но ожесточения против Филиппа почему-то не вызвали, хотя очнувшемуся государю докладывали обратное.

Даже разящее, проникновенное царское слово не могло унять терзаний Малюты. Как ни крути, а выходит, царь снова пал духом под взглядом этого василиска, бросившего ему в лицо чудовищное оскорбление. В ответ на такое не словом клеймить, схватить окаянного и на поганой телеге — в заштатный монастырь и там заморить или лучше сразу кончить. Ах, царь-государь Иван Васильевич, где же твоя бывлая силища, неужто ты даже под защитой псов своих верных, поклявшихся страшной клятвой, что опричь тебя никого: ни отца с матушкой, ни жены с детушками, ни собственной души и воли, все равно так этого колдуна, этого аспида робеешь? Да обмолвись хоть словечком, ну бровкой шевельни — любой из нас выпотрошит его хоть в алтаре. Тут и греха никакого нет: государь — помазанник Божий, его воля свята. А и есть грех — за государя в ад пойдем, нам и так не миновать печи огненной.

Ох, до чего тошно было Малюте, когда выносили на руках царя дюжие братья Грязные, а Филипп во всем облачении, нагло стуча митрополичьим посохом, прямоспинный, не согбенный ни годами, ни трудами, ни молитвенными поклонами, ни царским лютым гневом, победителем пошел прочь, а за ним засемила вся духовная свита.

Но есть правда на земле. Очнулся великий государь, скинул чары. В день архангела Михаила, архистратига небесной рати, когда Филипп в полном облачении вел службу, в собор, нарочито громко стуча сапогами, ввалилась толпа опричников во главе

с боярином Алексеем Басмановым — черная одежда, а в руках — метлы. Филипп и слова не успел молвить, как Басманов выхватил из-за пояса свиток и громко прочел:

— Собор духовенства лишает Филиппа сана пастырского.

Тут же опричники накинулись на Филиппа, сорвали с него одежду святительскую, облекли в драную рясу, смердящую чужим немытым телом, и метлами погнали вон из Храма.

Корябало душу Малюте, что не ему поручили столь важное дело, но постиг он глубокий умысел государя. Допрежь всего, читал боярин зело бегло, прямо с листа, не запинаясь, к тому же по старости и утомлению выдержан был, другой бы на его месте мог сгоряча и порешить Филиппа, что не входило в расчеты государя, и, наконец, обреченный на закляние, теперь, после глумления над святителем, он отправлялся прямехонько в ад — уж не замолить греха, не покаяться и не получить отпущения. Мудро распорядился государь: одним махом с двумя разделался.

А справил боярин цареву поручение не лучшим образом: когда Филиппа везли в обитель Богоявления, народ бежал за дровнями со слезами и стенаниями, и низложенный митрополит торжественно благословлял людишек и давал целовать свою руку, иные и край поганой ряски лобызали. Не униженным, а возвеличенным поклонением народа оказался Филипп то ли по мягкотелости, то ли по коварному умыслу криводушного Басманова. И своим и чужим кадит опричный боярин... Вроде бы все по царскому повелению совершил, а остался высок разжалованный митрополит!.. Ну да с Басмановым дело уже решенное. Видать, из-за промашки боярина пришлось еще повозиться с Филиппом. На другой день отвели того в судебную палату, куда прибыл и царь со свитой. Филиппа уличили во многих винах, подтвержденных Паисием, вплоть до тягчайшей — волшбы. Ему надлежало кончить дни в заточении. Жестоковыйный старик и тут не дрогнул, не оправдывался, не оспаривал судей, вроде бы и не слушал их. Лишь раз отверз уста, чтобы воззвать к Ивану сжалиться над Русью, не терзать своих подданных.

И что-то похожее на уважение к этому старцу

шевелинулось в заросшем сердце Малюты. Он испугался незнакомого чувства и вместе порадовался, что государь держит его в стороне от этого дела, — с Филиппом чести не наживешь. Что и не замедлило подтвердиться. Девять дней провел он в узилище, питаюсь Христа ради, а в народе уже величали его «святым» — это при жизни-то! Все оборачивалось во славу крамольнику. Его перевели подальше от людских глаз, в обитель Николы Старого, на другом берегу Москвы-реки. И тут Иван вновь принялся истреблять род Колычевых...

10

...Шум внешней жизни не доходил до узкой, как щель, кельи Филиппа. Братии было строжайше запрещено разговаривать с узником. Даже чашку вонючей бурды ему просовывали на деревянной лопате в узенькое оконце, пропускавшее в келью снопик серого света. Но Филипп не томился голодом, давно приучив себя обходиться ничтожно малым количеством пищи. Оказывается, человеку, чтобы жить, надо вовсе ничего, как пичужке, что весь весенний день насвистывает свои песенки, славит возрождение жизни и забывает о пропитании: мошках, червячках, почках. Филипп молился, вспоминал, думал, строил мысленно храмы, колокольни, палаты, хозяйственные здания, плавал на лодке по каналам и озерам с верным Анфимом на веслах. Неужто все это было?.. Ах, если б вернуться на любимые острова хоть узником! Дышать тем воздухом, обонять запах дерев и трав, слышать шум моря или тихий плеск весел с каналов и озер, видеть клочок голубого в ведро, серебристого в белые ночи, черно-звездного — в полярные, с трепещущим размывом северного сияния неба и знать, что ляжешь в родную каменистую землю. Представлять это было столь сладко, что Филипп приказал себе не думать о Соловках, но, устыдившись трусливой слабости, дал полный простор мыслям, и слезинкой не оплатив грустную пленительность реющих перед ним образов. В глубине души он знал, что никогда не увидит Соловков, его крестный путь лишь начинался, но исход не заставит себя ждать, и он был готов к нему.

А еще он много думал о Руси, и душа его сжима-

лась предчувствием великих бед. Разодрав страну на земщину и опричнину, Иван ослабил молодое государство, чем не преминут воспользоваться враги. Сам же царь, ничуть того не желая, будет споспешествовать их злым умыслам. Сейчас он пойдет на Новгород и уничтожит силу этого града, являющуюся частью общей русской силы. Разорив Новгород, он ослабит всю эту часть Руси, без того уязвимую для врагов. Опричники — не воины, гниль, труха. Страшно подумать, какое наследство оставит царь своим наследникам. Тяжелые, смутные времена ожидают Россию. Сейчас-то все еще как-то держится и славой юных побед государя, эхо которых не замолкло, и неосведомленностью врагов о том, как подточена русская держава, столь громадная и наружно крепкая, и умом и стойкостью последних людей, правящих земщиной, — дурачок Едигер Симеонович ни до чего не касается. Но это не может продолжаться долго. Тоска душила Филиппа. Не обратиться ли с посланием к царю — в нечастые минуты просветления ум его по-прежнему прозорлив?..

Дверь кельи не открылась, а распахнулась, почти сорвавшись с петель, от удара сапога, и долго постанывала, словно ей было больно.

Взвалились четверо. Первый — с мешком, в котором, как показалось Филиппу, лежал капустный кочан, — был младший из братьев-кровопийц Грязных. Поистине бог шельму метит — не могло быть точнее имени для этих измаранных с головы до пят кровью и подлостью пакостно-жестоких вырожденков. Были опричники по обыкновению пьяны и в миг наполнили крошечную келейку душной вонью перегара, грязных тел и конского пота — видать, сильно торопились и нахлестывали взмысленных лошадей. Ну, поглядим, какую новую забаву измыслил злобный и больной разум царя Ивана.

— Принимай, честной отец! — сказал Грязной тонким скопческим голосом, так не идущим к его могучей стати, вытряхнул из мешка что-то круглое и сунул Филиппу.

Низложенный митрополит напряг зрение и благоговейно принял двумя руками отрубленную голову своего любимого племянша Вани Колычева. Не часто расцветал в русском юношестве такой дивный, будто небожителем посаженный и взлелеянный, цветок. Да-

же мертвая голова его под шапкой густых, прежде вившихся тугими кольцами русых, с серебристым отблеском волос, сейчас плоско слипшихся — лишь на висках и затылке сохранились завитки да один кудерь падал на крутой чистый лоб, оставалась прекрасной: слегка удлиненная, овальная, чуть суженная в висках. И красивое лицо его с прямым носом и трогательно пухлыми юношескими губами не осквернила смерть; темные круги подглазий, синюшность, проступившая сквозь природную смуглоту, застылость черт и безжизненных открытых помутненно-карих глаз не вовсе стерли нежно-мужественное и доверчивое выражение чистого лика. Казалось, он сейчас улыбнется своей открытой, заранее благожелательной к встречному человеку улыбкой. Всего-то раз виделся Филипп с племянником во дни Стоглавого собора — тот едва выходил из отроческих лет, но тогда уже поразился пытливости его острой мысли при редком добродушии, присущем чаще всего людям недалеким. Но этот юноша, сызмальства приохотившийся к чтению и наукам, далеко взглядывал. И был притом статен, силен и ловок во всех телесных упражнениях, будь то стрельба из лука, гарцевание на коне, бой на сабельках — хотел отец, чтоб из него добрый ратник вышел, предвидел, подобно Филиппу, для России многие тяжкие войны. Ранняя искушенность в науках ничуть не мешала бесхитростной теплой вере Ивана, которую Филипп не разделял, но ценил в других, ибо в ней, что ни говори, обуздание дурных страстей. После Иван часто слал дяде письма в обитель, рассуждая и советуясь о прочитанном, делясь мыслями, мечтами, надеждами, и все крепче привязывал к себе одинокое сердце инока. И вот под секирой палача оборвалась эта цветущая юность, а ведь бесхитростный и ни в чем не повинный Иван и не догадывался, за что схвачен, пытан, унижен и обречен смерти. «За меня!» — гулко сказалось в Филиппе, но и тут не обронил он слезинки. Он бережно приподнял голову и поцеловал в мертвые холодные уста. И учуял тот особый нежный запах сена, когда в него попадают мята и душица.

— Уста праведников благоухают и в смерти, утроба живых грешников источает трупный смрад, — глядя в маленькие на огромной морде глазки опричника, произнес Филипп.

— Царь велел сказать тебе,— напрягаясь слабой памятью, фистулой просипел Грязной,— что не помогли Ваньке Колычеву твои чары.

Из запекшейся черной раны на руку Филиппа упала живая алая капля крови, он слизнул эту каплю, она была солоноватой, горячей и не больно, а нежно, сладостно ожгла язык.

Опричник побледнел.

— Передай государю спасибо, что дал проститься с любимым родственником. Забирай! — И Филипп резко протянул отсеченную голову Грязному.

Младший Грязной в отличие от своего окаянного брата Григория, не боявшегося ни бога, ни черта, являл доблесть лишь в попойках, хмельных потасовках и насильничании девушек. В бою он был застенчив, остро ощущая уязвимость своего большого тела, хоть и прикрытого железами, где только можно, царя трепетал (Ивану льстил трепет богатыря, к тому же тот был незаменим для самых подлых поручений), с остальными вел себя вызывающе, нагло, до первого отпора, тут он сразу терялся. И сейчас, сунув голову казненного в мешок, Грязной стал пятиться к двери, вытесняя огромным телом остальных опричников, он боялся повернуться спиной к узнику. Очутившись за порогом, изо всей силы захлопнул носком сапога дверь кельи.

Филипп прилег на твердое ложе. Лицо его осталось сухо. Но он вдруг открыл, что верит в Бога. Раз есть антихрист, то должна быть и его противоположность — Бог. Филипп давно проникся Аристотелевой диалектикой, находя ей многочисленные подтверждения в общении своем с природой и всем живым миром: дабы свершалось движение жизни, должны быть противоположные крайности. Стало быть, есть Бог в золотом свете, в благостном сиянии. Но разгневался он на русскую землю и уступил ее сатане. Бог и прежде наказывал, даже истреблял целые народы, но Русь пощадит, ибо простой народ повинен лишь в грехе безграничного смирения перед властью. Настанет час, и Господь вернется к измученному народу и даст ему облегчение.

...Опричники ли навели на след канувшего в неизвестность Филиппа, или проговорился кто из монахов, но сведения москвичи о месте заточения «святого угодника» — теперь иначе не называли никольско-

го узника в народе — и потянулись к дальней обители.

Филипп услышал за узким оконцем глухой шум людской боли, сострадания, веры, упования на помощь и впервые за все дни заточения смахнул слезу.

Недолго длилось паломничество к Николе Старому, за Филиппом опять пришли одетые в черное нелюди, напялили на голову рогожный куль, на плечи кинули какую-то ветошь, выволокли из кельи, швырнули в дрожки и повезли. На сей раз везли долго, останавливаясь лишь для смены лошадей. На ночь куль стащили с головы, не боясь, что его узнают, утром снова напялили. От холода, голода, от мешка, затруднявшего дыхание, и непрестанной тьмы Филипп впал в забытие и уже не ведал, сколько времени длился переезд.

Когда же оклемался, то оказалось, что привезли его в небольшой Отрочь-монастырь, в стороне от Твери. Поместили в келейку чуть побольше прежней, но уже через день-другой утратил он ощущение перемены места. Тут завернули крещенские холода, оконце закрыли и кормить стали не с лопаты — послушник, приоткрыв дверь, ставил на пол миску с похлебкой, как собаке. И жарко топили кафельную печь в изголовье лежака.

Как-то январским утром, глядевшим в оконную щель прозрачной синью, тихо отворилась дверь и в келью ступил Малюта. Филипп привстал с лежака, не веря глазам своим: с чего это занесло в такую глушь царского любимца? Может, это видение?.. Да нет, он самый, во плоти: приплюснутый нос, белые, с едва приметной приголубью глаза, волосы в крысиной рыжине. И сразу стало нестерпимо душно в келейке, будто не один гость пожаловал, а толпа набилась. И смрад пахнул в лицо — чрево убийц зловоняет трупным гниением, как у птиц, питающихся падалью.

— Здорово, святой отче, — хрипловатым своим голосом произнес Малюта и потянул носом. — Эко угарно у тебя. Как только ты терпишь?

— Не замечаю, — сказал Филипп. — А смрад твоей плоти чую. Зачем пожаловал?

— Тебе бы поласковой царева посланца стретить, святой отче, — укорил Малюта. — Царь-государь

Иван Васильевич завернул сюда по пути на Новгород, чтобы благословение твое получить.

— Вон что! Стало быть, решили красу русской земли и светоч русской чести в опричнину забрать?

— Изменили царю новгородцы. За образами в святой Софии грамотку нашли.

— Царем писанную, а кем подложенную? — сказал Филипп, цепко глядя в бледные зенки опричника.

Малюта не отвел, не потупил взора.

— Худо ты о царе думаешь, ох, худо! Каждое действие его криво толкуешь. А он, государь, наш батюшко, ищет твое благословение принять.

— Сам знаешь, Малюта, я лишь на доброе благословляю, на худое не дождетесь. Пусть царь повернет полки назад, пощадит русскую кровь. На это благословлю его с благодарными слезами.

— Царь не сворачивает, монах, когда о величии Руси печется. Всяк мятеж, всяку крамолу, измену всяку в крови потопит. И тебе негоже против царя брехать. Не смирил ты свой бешеный нрав, Филипп, Колычево отродье. От самого землей несет, а собачишься, как молодой кобель.

— Ладно! — вдруг ясно и звонко произнес Филипп, хотя не повышал голоса. — Брось болтать пустое, Малюта, делай, зачем пришел.

И Малюта расширил всегда прищуренные глаза, будто высматривающие некую отдаленную малость, странно посветлел лицом, шагнул к Филиппу, до тошноты объяв его своей трупной обвонью, протянул вперед большие сильные руки и впился в горло старика.

Филипп отпрянул и упал на лежак. Малюта усилил зажим своих железных пальцев, но, сообразив, что останутся темные следы на дряблой коже, схватил подушку и зажал ею рот и нос жертвы. Филипп задохнулся, сердце в нем остановилось, но в нахлынувшей тьме он еще услышал хриплый голос опричника:

— А, дьяволы, святого человека угаром извели!..

...— Приехали!.. Вы спите?..— услышал Егшин за своей спиной голос Борского и увидел, что нос лодки рассек прибрежные камыши и мягко ткнулся в берег.

— Кто спит? — пробормотал он, почему-то не желая признаться, что действительно то ли находился в трансе, то ли в каком-то сне наяву.

Он поднялся, разминая замлевшее тело, и шагнул на берег. За ним последовали Борский и милиционер с веслами. Борский шумно восторгался прогулкой, и польщенный сержант предложил пройтись с бредышком, хоть это и не положено, для взбодрения вечерней ухи. Егосин чувствовал себя таким разбитым и опустошенным, что никак не отозвался на заманчивое предложение, буркнул: «До завтра!» — прошел в пахнущую смолой дачу, рухнул на койку и забылся черным сном.

Утром его разбудил Борский — их уже ждал какой-то попутный грузовик, а надо было умыться, привести себя в порядок и попить чаю — экскурсия предстояла долгая.

Они собрались быстро, и так же быстро и беспощадно домчал их до монастыря по чудовищной лесной дороге спешащий куда-то шофер. Маленькая задержка вышла за мостом через ручей, где дорога подходила вплотную к морю, — их милицейские друзья с унылым отчаянием вылавливали из воды надравшегося спозаранку Акимыча.

— Не выйду — макнете! — мотал головой поси-невший от холода алкаш, а капитан тем же рассудительным голосом объяснял ему вредность для организма холодной воды.

— Не выйду — макнете! — упрямылся Акимыч. Капитан повернул к Борскому усталое лицо:

— Вот так мы живем... Ваша группа уже во дворе. Я договорился с лучшим лектором, он из Академии художеств. Позже встретимся.

Туристская группа в полном сборе переминалась возле закрытого магазина сувениров и расположенного напротив загадочного комиссионного с уцененными товарами. Это взволновало хозяйственного Борского, но ему объяснили, что магазин торгует лишь комбикормом, сеном и прочим нужным для крестьян товаром...

Туристы успели перезнакомиться между собой на пароходе, вчерашний экскурсионный день сблизил их еще больше, и появление двух блудных сыновей было воспринято холодно, чтобы не сказать враждебно. Никто не поинтересовался, почему они отстали от

группы, как добирались, где ночевали. У них завязались друг с другом сложные, тонкие отношения: над кем-то подтрунивали, кого-то высмеивали за сонливость, другого — за чревоугодие, третьего прозвали за рассеянность Паганелем, и он охотно отзывался на кличку; были тут и две соперничающие красавицы, одна из них, с горячим, смуглым лицом, — и впрямь хороша, другая — крашеная блондинка в сверхмодном пиджаке из кожзаменителя и узких джинсах олицетворяла в глазах туристов высший свет и, похоже, обладала преимущественным правом стать «мисс Соловки», что сильно язвило соперницу. Та отпускала в ее адрес колкие замечания, аттическая соль которых пропадала для Борского и Егошина, ибо использовался уже накопленный материал отношений, им неведомый. Егошина удивило, что эти люди, прошедшие вместе менее полутора суток, так много друг о друге знают, так крепко связались, отчасти и разделились, что не мешало им оставаться монолитом, стойко противостоящим чужакам.

Отчасти это объяснялось тем, что женщин было меньше, чем мужчин, — редчайший случай, и находящиеся в избытке кавалеры невольно сплотились против новичков, из которых один являл несомненную опасность. В мужском стане выделялся рыжеватый детина в джинсах с широким ремнем и немыслимой — под бронзу — пряжкой. На нем был полосатый батник, похожий на морскую тельняшку, завязанный узлом на толстом пузе. Между узлом и сидящими низко, на бедрах джинсами оставалась широкая полоса розового веснушчатого тела; видимо, это соответствовало каким-то нынешним стандартам, ибо никого не шокировало. От малого, ему было за тридцать, шел некоторый дискомфорт — уж слишком развязно и по-хозяйски он вел себя. Он то и дело обхватывал сзади красавицу-блондинку и громко требовал, чтобы их «щелкнули» в таком виде. Блондинка раздраженно, но в меру, чтобы не выглядеть недотрогой и тем повысить шансы соперницы-смуглянки, вырывалась, но всякий раз юный и услужливый фотограф-любитель успевал запечатлеть пару. «Одну карточку пришлешь мне, — приказывал детина, — другую ей — в профком», — и громко ржал. Еще у него была манера приставать к туристам с одной и той же глупостью. «Сидели два медведя на ветке

золотой, — говорил он многозначительно. — Один качал ногой... — И, хитро прищурившись: — А другой чего делал?» Егошина до боли злило, что парень то ли сознательно, то ли по тупости, то ли из скотской шутливости пропускает одну строчку, отчего разваливается глупое стихотвореньце-песенка из довоенного кинофильма. Стихотворный обрубок резал слух.

Шатаясь от одной группы к другой, рыжий набрел на Борского.

— Ну, чего делал другой, а?..

— Не знаю. Водку жрал, — сказал Борский и отвернулся.

Вопреки ожиданию Егошина, рыжий не обиделся и глупо захохотал.

— Ну, ты даешь!.. Водку жрал. Надо взять на вооружение.

Он подошел к немолодой женщине с добрым усталым лицом.

— Слушай, бабка: «Сидели два медведя на ветке золотой. Один качал ногой. А другой чего делал?»

— Ох, хватит, Семен Михалыч, вы уж меня спрашивали. Неужто вам самому не надоело?

— Подумаешь — спрашивал! И еще спрошу — не помрешь раньше срока. — Из-под добродушной маски «души общества» проглянуло что-то не просто злобное, а невыразимо гадкое, до содрогания враждебное всему существу Егошина.

Удивляясь силе своего омерзения, он шагнул в сторону и этим привлек внимание детины. Тот немедленно привязался к нему.

— Сидели два медведя на ветке золотой. Один качал ногой. А другой чего делал?

— Один сидел как следует, другой качал ногой.

— Ишь ты, умник выискался! Философ!.. — Голос звучал откровенной ненавистью. Видать, парень уже был заведен двумя предыдущими проколами и сейчас хотел отыграться.

«Мои дела! — подумал Егошин. — Есть во мне что-то, стимулирующее таких вот подонков. Наверное, моя незащищенность, или они бессознательно чувствуют, как мне гадки!.. Славу богу, мы здесь не одни, ему придется оставить меня в покое. Нечего сказать, удачный попутчик!..» — Он отвернулся и стал смотреть на девушку в комбинезоне и косынке, которая, сидя на корточках посреди монастырского двора,

вколачивала в землю лобастый булыжник. «А ведь это она мостит! — догадался Егошин. — Студенточка из стройотряда. Какие у нее тонкие руки! Сколько же ей понадобится лет, чтобы замостить всю площадь...»

— Ты, философ, чего не отвечаешь? Язык проглотил? — Рыжий обормот не отличался отходчивостью.

— Он вас не утомир? — послышался ленивый, по особому ленивый голос Борского.

Рыжий верзила оглянулся и... поверил инстинкту самосохранения.

— А второй водку жрал!.. — гыкнул дурашливо, шлепнул себя по брюху и пританцовывающей походкой направился к девицам.

— Дешевка! — гроко сказал Борский. — Ну почему в любую компанию должна затесаться такая вот шваль? Все люди как люди, а этот откуда взялся? И чего он притащился на Соловки? Сидел бы себе в пивнухе или давил на троих в подъезде.

— А может, просто жалкий дурень? — Чужое унижение всегда было тягостно Егошину. — Ему кажется, что он невероятно остроумен, обаятелен и всеми любим. А дома — обычный трудяга.

— Нет, — покачал головой Борский. — Он при-
блатненный.

— Не понимаю.

— Как бы вам объяснить?.. Он еще не настоящий... зеленый, но созреет быстро. И будет на все готов. Он вовсе не думает, что обольстителен, ему это и не надо. Он самоутверждается. Навязывает себя... заставляет плясать под свою дудку. И заметьте, ему подыгрывают, улыбаются. Не хотят связываться, портить себе отдых, просто бояться. И он это знает. И пользуется, сволочь!..

Егошину стало грустно. Хотя бы здесь, в этой тишине, не лютовала человечья злоба. Тем более что Соловкам этого с избытком хватало в прошлые годы. Невеселые его мысли были прерваны появлением экскурсовода — пожилого, изящно-сухощавого, невесомого и незаземленного человека с реющими над загорелым теменем редкими золотисто-седыми волосами.

Он казался небожителем, ангелом на пенсии. И речь его была ему под стать — парящая, изящная, взволнованная, будто он впервые говорил о своем любимом, избранном душой месте светлым людям,

настроенным на одну волну с ним. Надо отдать должное экскурсантам, они держались так, словно паломничество на Соловецкие острова было целью и апофеозом их жизни. Егошин умилялся трогательной способностью своих соотечественников так серьезно и воодушевленно отдаваться тому, что не имеет ни малейшего отношения к их последующему бытию.

Что же касается его самого, то с некоторым смущением он обнаружил, что воспринимает вдохновенные слова гида лишь эстетически. Ему нравилось, как тот говорит, но совсем не интересовало, что тот говорит. Иначе и быть не могло. Гид обращался к людям, вовсе не обязанным знать историю Соловков, его лекция носила популярный характер. Но было и другое: Егошин ловил гида на ошибках, неточностях, хотя сам не знал, где почерпнул свои сведения. Осведомленность Егошина принадлежала к тем необъяснимым странностям, которые насылала на него Соловецкая земля, игравшая в загадочные игры с его памятью. Экскурсовод, как и следовало ожидать, не знал, что мысль об укреплении монастыря родилась у игумена Филиппа, что тот вел переговоры с мастером Трифоном, совсем еще молодым человеком, возведшим крепостные стены и башни много лет спустя, когда Филиппа уже давно на свете не было. Но Егошин не считал допустимым поправлять лектора — это было бы и бестактно и безответственно, поскольку он не мог назвать источника своих сведений. Но таких вот недоказуемых ошибок было довольно много, и Егошин начал раздражаться. И в конце концов не выдержал.

Они находились в трапезной, почти восстановленной. С глубоким сердечным волнением Егошин увидел столь поражающий во время оно человеческое воображение опорный столб, который хотелось назвать стеблем, несмотря на всю его массивность и могучность, — сверху словно побеги расходились. Рассказывая о том, как сносили иноки и как разнообразил скупой монастырский стол аскет-игумен Филипп, гид со вкусом перечислял: шти с маслом (он так, по-старинному, и сказал «шти»), разные масляные припеки: пироги, блины, оладьи, яични, рыбу всякую, кисели.

— Огурцы и рыжики, — машинально подсказал Егошин.

— Рыжики — возможно, — пожал плечами гид. — Но огурцы? Тут не было парников.

— Завозные, — покраснев, сказал Егошин.

— Ну, если вы знаете больше моего, — тоже покраснел гид, — я уступаю вам место.

Экскурсанты недовольно загудели.

— Простите великодушно, — совсем смешался Егошин и по-детски добавил: — Я больше не буду.

Самолюбивый небожитель несколько минут молчал, отметив тем подавление бунта, затем продолжал рассказ на прежней высокой ноте, словно его не прерывали.

Егошин прикусил язык раз и навсегда. Его томила скука. Он понял, что все уже состоялось вчера, когда они оплывали на лодочке озера и каналы, ради этого он сюда ехал, все остальное вовсе не нужно. Он заметил, что еще одна душа, отнюдь не родственная, изнемогает от скуки. Лишившись внимания окружающих, рыжий охламон буквально места себе не находил. Он то присаживался в сторонке с зажженной сигаретой, прикрывая ее ковшиком ладони, поскольку курить было строго запрещено, то отставал от группы, откалывая от нее двух-трех человек для конфиденциальных переговоров о пиве, которое, по «данным его разведки», должны завезти в киоск. Не пропускал он случая сфотографироваться возле какой-либо достопримечательности в нарочито нелепой или шутовской позе. Впрочем, может, он и не выламывался, просто его дурацкое тулово с переваливающимся через ремень брюхом, откляченным задом, все какое-то вихляющееся и странно гибкое при своей топорности, казалось оскорбительно неуместным на фоне старинного крыльца, изразцовой отделки стен, в проеме крепостных ворот. Порой он желал быть запечатленным вместе с красавицей-блондинкой или ее смуглой соперницей, порой, прибегая к легкому насилию, формировал групповой снимок, чем задерживал остальных, нарушал стройный порядок экскурсии. В конце концов гид при всей своей увлеченности и незаземленности ощутил некую противоположную силу и легко разгадал ее источник. В его речах все чаще стала пробиваться тема душевной невоспитанности, неуважения к прошлому и деяниям предков. Для обличения безобразников он пользовался цитатами из дневников Пушкина и

местных милицейских протоколов. Но поскольку последние касались людей, соблазненных зеленым змием, его стрелы летели мимо цели — Рыжий был трезв как стеклышко.

Тут они перешли в другой двор, и гид коснулся новой темы: отдаленность, изолированность Соловецкой обители очень скоро превратили ее в место ссылки. Первым сюда прислали для «строжайшего содержания» игумена Артемия Троице-Сергиева монастыря, впавшего в ересь, вслед за ним — Матюшу Башкина, изрыгавшего хулу на Николая Чудотворца. Чистый образ Соловков замутился, а там все отчетливей стал двоиться. Сюда присылали и проштрафившихся монахов, и уличенных в разных злоумышлениях знатных лиц; здесь сидел в волчьей яме несчастный безумный декабрист Александр Горожанский, томился знаменитый Мусин-Пушкин, до сих пор сохранилась камера-келья, где провел в заточении двадцать пять лет последний атаман Запорожской Сечи Кальнишевский, имевший неосторожность помочь князю Потемкину выиграть Крымскую войну. Осыпанная брильянтами табакерка — подарок скуповатой немки Екатерины II бесстрашному атаману — весьма уязвила князя Таврического, богатого государственным талантами, но бездарного в ратном деле. Как положено, атамана-сечевика обвинили в попытке отложиться от России; четвертование восьмидесятилетнему изменнику по просьбе сердобольного Потемкина заменили пожизненным заключением в Соловецком монастыре. Более того, Светлейший отвалил старцу рубль на месячное содержание вместо положенного гривенника. Не в силах прожить такие деньги, разжалованный атаман засыпал монастырь ценными вкладами и еще завещал немалую сумму на помин своей души.

— Сколько же ему тогда было? — поразились туристы.

— Сто одиннадцать. Когда на престол вступил Павел Первый, о старике вспомнили и прислали ему помилование. Но он его не принял, сказав, что за годы, проведенные здесь, так свыкся с внутренней свободой, что не хочет никакой иной. Он даже отказался перейти в другое помещение. И прожил еще два года. Перед вами его келья-камера.

— А женского монастыря тут не было? — ни

к селу ни к городу, двусмысленно, сулящим юмор голосом спросил рыжий озорник.

— Нет! — резко сказал гид. — Здесь все было только для мужчин: монастырь, тюремные камеры. Позднее — воспитательная колония, затем СЛОН — Соловецкий лагерь особого назначения.

Жесткая справка охладила остроумца, он ступался.

— Хотелось бы услышать подробнее о СЛОНе, — сказал Борский.

— Никаких архивных документов об этом периоде не осталось, — сухо ответил гид.

— Вот те раз! Десять лет существовал лагерь, ликвидирован перед самой войной — и никаких следов. Это же не времена игумена Филиппа или Потемкина Таврического.

— Никаких следов, — повторил гид.

— А я слышал, что тут сохранились каменные мешки.

— В таком случае вы осведомлены лучше меня.

— А что за воспитательная колония? — спросила пожилая туристка.

— Странно, вы задавали так мало вопросов, когда речь шла об историческом прошлом...

— Это нам ближе, — бесцеремонно перебил Борский.

— После революции сюда присылали на перевоспитание тех представителей ленинградской интеллигенции, преимущественно научно-технической, что саботировали мероприятия Советской власти. Они очень много сделали для острова. Можно сказать, продолжили созидательную работу игумена Филиппа.

— Что-то это напоминает... — задумчиво сказал Борский. — Да ладно!.. Все же непонятно, как при такой осведомленности о глухих временах Ивана Грозного — ничего неизвестно о недавнем прошлом.

— Вы уже слышали, архивы не сохранились, — лишенным интонации голосом сказал гид. — К этому мне нечего добавить.

— Да-а!.. — протянул Борский. — Светлейший был сущим младенцем по части лицемерия по сравнению со своими потомками. Это я не о вас, — улыбнулся он gidу. — Вы человек подневольный. Но не мешало бы придумать что-нибудь поумнее...

— Да чего вы привязались к товарищу экскурсоводу? — высунулась туристка с красноватым, высокой активности лицом. — Нам это неинтересно.

— Неинтересно — так молчи! — полоснул ее белым взглядом Борский. — А мне интересно, где моего отца сгноили.

— Поверьте, я в самом деле не располагаю никакими сведениями, — мягко сказал гид.

Кивнув ему, Борский отступил.

— А за что пострадал ваш отец? — тихо спросил Егошин.

— В отличие от своих высоких предшественников, он не сделал ничего выдающегося: не хулил Николая Угодника, не побеждал крымского хана, не выводил полков на Сенатскую площадь, он просто поверил, что «нэп — это всерьез и надолго». Правда, быстро спохватился, но было поздно. Его взяли в двадцать восьмом. Хваленый микроклимат не пошел ему на пользу, он умер до окончания срока. Я, конечно, не рассчитывал найти тут мемориальную доску, но хоть какой-то знак, зарубку на косяке... Ведь это были люди, люди. Должно же хоть что-нибудь остаться...

— Товарищ лектор, — сказал усатый серьезный человек, похожий на положительного рабочего из довоенного фильма. — Интересно нам, что за каменюка такая красная, вон, у стены. Все мимо ходим, а вы словечка не скажете.

— А-а! — обрадовался гид. — Молодцы, что заметили. Этот саркофаг найден совсем недавно. И в отличном состоянии. Он хранит память о замечательном сыне России Авраамии Палицыне, герое Смутного времени.

И он вдохновенно рассказал о великом русском патриоте Авраамии Палицыне. Рачительный келарь Троице-Сергиевой лавры, обремененный хозяйственными делами богатейшей обители, очнулся для великой всенародной службы в черные дни Смутного времени, какими Русь расплачивалась за безумства Грозного царя. Оказывается, Палицын знал слова, способные пробиться и в заросшее, и в оробевшее, и в смятенное, и в заледенелое от ужаса сердце. Своими огненными посланиями он поднял русских людей на отпор торжествующей иноземной рати, разбудил нижегородского мясника Минина-Сухорука, открыв в нем народного вождя, отверз вежды залечивающему

старые раны князю Пожарскому на беды России и вознес дух умелого, но чуть вялого воина. А когда Русь стяхнула врагов со своего тела, Авраамий вновь ушел в тень. Почувствовав приближение смерти, он захотел вернуться в Соловецкую обитель, где провел молодые годы, и навек успокоиться в ее тишине. Настоятель Троице-Сергиевой лавры, явив странную черствость, даже не пытался удержать черноризца-трибуна.

После этого гид, несколько утомленный, предложил сделать пятнадцатиминутный перерыв — похоже, его несколько утомила любознательность группы. Люди разбрелись кто куда. Одни пошли в сувенирный магазин, хотя еще накануне приобрели комплекты соловецких открыток, а ничего другого там не водилось, другие отправились на поиски туалета, чье далекое местонахождение было отмечено многочисленными стрелками. Борский остановил выбор на кормовом комиссионном. Егошин, не нуждавшийся ни в фураже, ни в туалете, ни в открытках, рассеянно побрел на первый двор. Студенточка из стройотряда по-прежнему ползала по земле, вколачивая слабыми руками булыжники в почву. Егошин с легкой грустью подумал, что ее жизни не хватит, чтобы увидеть двор замощенным. Он решил подняться в трапезную и постоять там в чудном рассеянном свете, падающем из скошенных окон. Замечательно рассчитаны эти окна, как будто всасывающие свет. Поднимаясь по винтовой лестнице, он услышал доносившийся из трапезной разговор.

— Ладно строить-то... — говорил густой мужской голос, — тоже мне архитектор!..

— Я с вами свиней не пасла, — брезгливо ответила женщина.

— Также мне маркиза де Помпидур!.. Пошли в гостиницу. У меня коньячишко марочный. А напарнику сказано — не соваться. Пошли, ласточка!..

— Отстаньте!.. Я сказала — без рук!..

Послышалась возня и звук, похожий на пощечину. Зацокали каблучки, и мимо Егошина, заставив того вжаться в стену, промелькнула женская фигура; в сумраке высветились разлетевшиеся волосы. За ней ринулся кто-то крупный, больно толкнув Егошина локтем, по враждебному едкому запаху он узнал Рыжего. Похоже, что тот его не заметил. Ну и цепкий

тип! Хорошо, что наконец нарвался. Может, теперь угомонится.

Егошин вошел в трапезную, постоял у опорного столба, прислонившись к нему спиной, и то закрывал глаза, то открывал их в мягкий серебристо-голубоватый свет, льющийся в прорези окон, нежный, роящийся, он наполнял помещение какой-то тайной жизнью. И вчерашнее чувство сродности с окружающим, так властно владевшее Егошиным на воде, пусть приглушенно, пробудилось вновь. А что же мешало подавшему потерять себя, исчезнуть в прошлом? Запах, догадался Егошин, кислый, вьедливый современный запах скверной шпаклевки.

Когда он вернулся к месту сбора, вокруг саркофага Палицыну грудилась небольшая толпа: туристы, студенты-строители, какие-то мальчишки; чуть в стороне ругалась и плевалась старуха сторожика на больных, распухших ногах. Повинуясь стадному чувству, Егошин направился к саркофагу, полускрытому толпой. Протиснувшись вперед, он увидел паренька-фотографа из их группы, который, бесцеремонно расталкивая окружающих, общелкивал со всех сторон — то с колена, то с корточек — возлежащего на саркофаге в томной русалочьей позе рыжего паскудника.

Легко пережив поражение, он придумал новую забаву, вернувшую ему внимание окружающих.

Потом Егошин вспомнил, как быстро вобрал он в себя множественность выражений, написанных на лицах людей, не только обступивших саркофаг, но и расположившихся поодаль — на камнях, ступеньках лестниц, приступочках. Он обнаружил и возмущение, и отвращение, и осуждение, и безразличие, и удовольствие, как не от слишком пристойной, но забавной шутки, а у мальчишек — откровенный восторг, ранивший его сильнее всего: значит, этим, завтрашним, плевать с высокой горы на грязное кощунство, на эту, можно сказать, пляску на крышке гроба, на осквернение святыни. Из их душонок уже выкрадено самое ценное... И еще он заметил неподалеку спину Борского, увлеченного разговором со смуглой туристкой. До чего же дошли равнодушие, робость перед грубой силой, если, кроме старой больной сторожика, ни один не отважился хотя бы укорить, если не урезонить распоясавшегося хулигана!

— А теперь дельфинчиком!.. — объявил Рыжий, повернулся на пузо, ноги сплел в хвост, руками затрепетал, как лапами, и стал высоко подкидывать плотно обтянутую джинсовой тканью толстую задницу, подражая прыжкам дельфина.

Мальчишки покатались от хохота. Егошин увидел светловолосую девушку, так хорошо отбритую Рыжего в трапезной, она тоже не удержалась от улыбки и, словно рассердившись на себя, тряхнула золотыми волосами и отвела глаза. Борский обернулся на шум, брезгливо дернул губой и продолжал прерванный разговор. И еще он заметил бледного как мел экскурсовода, разминавшего в пальцах сигарету и не замечавшего, что тонкая бумага порвалась и табак крошится на землю. Вслед за тем он кинулся к саркофагу и в бессильной ярости толкнул обеими слабыми руками жирное, потное тело. Его жест не имел бы последствий, если бы расшалившийся дельфин не «подплыл» к самому краю гладкой, скользкой гранитной плоскости. Рыжий плюхнулся на землю и, не успев мышечно собраться, спружиниться, шмякнулся огромной лягушкой, не только мясом и костями, но и всем нутром, как-то противно екнувшим.

Был миг странной, оцепенелой тишины, взорвавшейся шумом. Мальчишки выли, визжали от восторга, столь же довольные позором своего кумира, как прежде его уморительными выходками. Сторожиха на больных ногах крикнула влажным голосом:

— Хоть один человек нашелся!

— Так ему, храпидолу, и надо! — поддержал ее мужик с пилой, видать из местных.

То были различные голоса. В шуме же прослушивалось разное: преобладало одобрение, но звучало и недовольство, даже осуждение его поступка. Женщина с красным, активным лицом насадала на положительного рабочего:

— Языком трепи, а рукам воли не давай!

Егошин усмехнулся лицемерию и подлости этой фразы: обидели славного рыженького мальчугана!.. А вообще он не успел ни многое расслышать, ни разобраться толком в реакции окружающих, и не потому, что был потрясен собственной дерзостью или боялся расплаты, ни о том, ни о другом он просто не думал. Рыжий не дал ему времени. Хоть и ошеломленный падением, он тут же вскочил с проворством, которого

от него трудно было ждать, перемахнул через саркофаг и схватил Егошина «за душу», скомкав в горсти рубашку на его груди.

— Пихаться, сука?..

Егошин задохнулся и на мгновение утерял из виду происходящее. Когда же вновь прозрел, между ним и Рыжим был заслон: фигура Борского.

— Чего суешься? — орал Рыжий. — Он меня уронил!..

— Нянька тебя уронила, темечком о порог, — не повышая голоса, сказал Борский. — Давай без блатных истерик. Линяй отсюда!..

Он был на полголовы ниже Рыжего, уже телом, хотя столь же широк в плечах, но окружающие, даже самые далекие от бойцовых дел, сразу увидели, что тут сошлись силы слишком неравные: с одной стороны — обточенный до совершенства жизнью, войной, испытаниями стальной брус, а с другой — мешок с мокрым дерьмом. И едва ли не раньше других это понял сам Рыжий. Он был унижен, взбешен, он хотел стереть с лица земли заморыша, осрамившего его на глазах всего общества и белобрысой дуры, которая его по роже ударила, ну, с ней — еще не вечер. Но против этого загорелого, с белым шрамом на каменной морде он бессилен. Он знал, что драки не будет, а будет что-то такое стыдное и пакостное, что жить не захочется — искалечит, как бог черепаху. А Рыжий любил себя, свое здоровье, молодость, свою расчудесную жизнь с вином и бабами и обожавшими его дружками, с немалыми башлями, которых, если не сорвется одно дельце, окажется столько, что он сразу перейдет в другой вес — через категорию, и будут девки класом повыше, чем официантки и продавщицы, и «Жигули» вместо «Запорожца», а вместо Сочей — «Золотые пески» или Эйфория-норд, где голые бабы обмазываются черной глиной с головы до пяток и на них можно смотреть, сколько влезет, сквозь дырку в заборе, отделяющем ихний пляж от мужского. И кой черт потянуло его в эти вонючие Соловки — Генка, сволочь, натрепал с три короба, ну, он вмажет ему за рекомендацию, а этого — с каменной мордой и белым шрамом, не то уголовника, не то из мусоров или фифти-фифти, что еще хуже, он, конечно, не тронет. Мы тоже кое-чего соображаем, нас модными курточками не собьешь, виден сокол по полету, с вами, дорогой

шеф, нам пока еще рано связываться. Вот накопим багажник, тогда...

— Все тихо, командир, — сказал Рыжий почти шепотом. — Детки спят и видят золотые сны. — И отошел прочь на мягких лапах...

— Если бы знали, как я вам завидовал! — сказал Егошину, подойдя, экскурсовод. — Всю жизнь я мечтал стукнуть по такой вот вздорной, тупой, пошлой, гнусной башке, — вы даже не представляете, сколько хамства мы тут видим, — но боялся. Не ответного удара, не избиения даже, а стыда, когда я, путаясь в кровавых соплях, буду подбирать разбитые очки, сломанный зубной протез и черепки собственного достоинства... Или вы все-таки рассчитывали на своего друга?

— Мне хотелось бы сказать: да, чтоб вам было легче. Но не стану врать. Я просто забыл о нем. Понимаете, я вообще не думал о последствиях. Наверное, в этом все дело, — сказал Егошин задумчиво, — надо поступать, а не прикидывать, иначе никогда ничего не будет.

— Да здравствует воинствующий гуманизм! — с каким-то бедным весельем произнес экскурсовод. — Ну, мне пора сеять дальше разумное, доброе, вечное.

Они пожали друг другу руки и разошлись.

— Насладились боевой славой? — спросил Борский.

— Какая там слава! Если б не вы, он бы меня укокошил. Но вообще я рад, что это было.

— А я — нет! Зачем лезть не в свое дело?

— Мне показалось, что впервые в жизни я полез в свое дело. Ужасно жалею, что никогда никуда не лез... Кстати, вы непоследовательны. Вспомните наш разговор в аэропорту.

— Что тут общего? Там было нарушение закона. А этот — уголовной юрисдикции не подлежит.

— Вот почему вы остались в стороне?

— Если хотите — да. И повод был ничтожный.

— Моя бабушка говорила: нет зла большого и зла малого. Зло — оно всегда зло. И неужели утаенные киоскершей газеты важнее осквернения памятника?

— Тогда будьте последовательны. Рыжий кочевряжился на саркофаге, другие на него мочатся или валят девочек. Наймитесь сюда сторожем вместо той старухи с распухшими ногами.

Почему он злится? Потому что недоволен собой?.. Тогда это хорошее в нем. А может, последовать его совету? Выйти на пенсию и поступить сюда сторожем?

— Возможно, я так и сделаю,— серьезно сказал Егошин.

— Старое дитя!.. Не связывайтесь вы с этим охлагоном. Поверьте моему опыту: это не просто фальшак, дешевка, он опасен.

— Вы считаете, тут пахнет убийством? — с нарочито серьезным видом спросил Егошин.

— Надеюсь, что нет! — Странная, медленная, нежная улыбка всплыла из глубины существа Борского и завладела лицом, наделив его непривычной мягкостью. — А вы никогда не задумывались, как легко убить человека?

— В практическом или этическом плане? — Егошина поразило дикое несоответствие вопроса Борского его улыбке. Может, улыбка относилась не к самому вопросу, а к тому доверию, какое тот впервые кому-то оказывал?

— Практический аспект не интересен: так или иначе способ всегда находят. Если же возникает этическое сомнение, то это невероятно трудно. Но вся соль в том, что этический момент почти никогда не возникает. У Раскольникова он возник, поэтому самые умные исследователи считают, что он вовсе не убивал ни старуху процентщицу, ни жалкую Лизавету. Убивали, убивают — много и охотно — те, перед кем такой вопрос не возникает. Из всех так называемых извечных запретов людям легче всего переступить именно этот. Гарантируйте безнаказанность — человечество исчезнет с лица земли в гомерически короткий срок. Убийство станет почти единственным способом общения между людьми, даже самыми близкими. Между близкими — в первую очередь.

— Если вы хотели меня запугать,— Егошин улыбался несколько натянуто,— то, кажется, достигли цели.

— Очень рад. Мне, видите ли, надо отлучиться вечером... Я не хочу, чтобы вы попали в скверную историю... Может, пойдете со мной?.. — добавил он неуверенно.

— Нет,— покачал головой Егошин, догадавшись,

куда собрался Борский.— Мне хочется поглядеть на озеро.

— На какое еще озеро?

— Да рядом. Минутах в пятнадцати отсюда.

— Ладно, сходите на озеро и пораньше возвращайтесь. Вот ключи от номера. Запритесь и спите спокойно. Мне откроет коридорная.

12

...Когда Егошин вечером вышел из номера, монастырское подворье казалось вымершим. Света в окнах гостиницы не было: туристы постарше уже легли спать, а молодые «жуировали жизнью» в столовой возле пристани, которая вечером превращалась в ресторан с джазом и танцами. В тьму огромного двора вцеживался сквозь наволочь слабый свет ущербного месяца, но над крепостными стенами подымалось зарево поселковых фонарей.

Егошин с близорукой осторожностью отыскал еще днем примеченный пролом в стене, глядевший то ли на заливчик, то ли на расширяющийся здесь канал, который и приведет его к озеру. Поселок оставался по другую сторону монастыря, а здесь Егошин сразу попадал в природу. Будь немного посветлее, он без труда отыскал бы озерко, находившееся в том же направлении, что и дача, оно блистало им из-за деревьев. Егошина смутила глухая черная стена, выросшая впереди, но тут он сообразил, что это лес, значит, идет правильно. Он медленно, нашаривая ногой землю впереди себя, направился к лесу, порой спотыкаясь о кротинные холмики, оступаясь в ямки от коровьих копыт — почва близ воды была мягкая. Все же он благополучно обогнул воду, оказавшуюся-таки заливчиком, заметил сгусток тьмы — пивной ларек на самом краю поселка — и понял, что путь выбран правильно. Егошин не старался найти дорогу, по которой они ездили, шел прямо по луговой целине на все вырастающую и наливающуюся черной глухотой стену леса. И в какой-то миг стена потеряла свою цельность, расслоилась, в ней обнаружили щели и просветы — опушка не очень густого леса, окружающего озеро. Он заметил что-то вроде просечки и двинулся по ней. Дивная тишина объяла путника,

лес спал, и ночное дыхание его было ароматным, чуть влажным, и счастье Егошина стало материальным, уютным, теплым зверем, мягко и нежно вселившимся в него...

13

...Борский и сержант Мозгунов пришли на второй двор, тот, где находился Преображенский собор. Ворота были закрыты, но Мозгунов достучался до спящей сторожихи, им открыли. Они прошли в глубь двора, где возле наугольной башни, в утолщении стены, как показалось Борскому, был несквозной пролом, к нему вели три-четыре обвалившиеся ступеньки.

Мозгунов вынул карманный электрический фонарик и навел на углубление или нишу — трудно подобрать точное слово. Там торчали обнажившиеся красные кирпичи, полуразрушенная стена сохраняла округлую форму. Пол был завален битым кирпичом, кусками штукатурки, какими-то железяками, сквозь мусор проросли жесткие худые травы из накопившейся под завалом почвы.

— Говорят, что вот тут... — сказал Мозгунов. — Но кто его знает? Людей с той поры никого не сохранилось. Так, слухи...

— А есть что еще — похожее?

— Нет вроде. Может, раньше когда, а при мне ничего не было. Тут все само разваливалось, и рушили, и восстанавливали, и опять ломали... Ручаться, конечно, не могу...

Ну, предположим, что это и есть «каменный мешок» — то ли быль, то ли лагерная легенда. Ничего невероятного в этом нет, в сущности, тот же карцер или камера-одиночка, только в монастырской стене, а может, заброшенная каптерка или чулан, где держали разный инвентарь. Борский пытался мысленно реконструировать развалину и населить отцом. Мать говорила, что он был небольшого роста, худощавый, тогда ему не было особенно тесно, сыну приходилось иной раз потеснее. Мать тоже была маленькой, в кого он вымахал таким?.. Думалось вяло. Дух не откликнулся. Ему не из чего было строить образ отца. Мать умерла слишком рано, бабушка помалкивала об узни-

ке. Комплекс безотцовщины Борский изживал в налетах и в том, что за этим следовало.

— Может, вы хотите один побыть? — деликатно предложил Мозгунов. — Я вас обожду. — Он сунул Борскому фонарик.

— Спасибо, сержант. Все в порядке. Пошли.

«Прости, отец, но встречи не получилось. Ты так и не обрел блудного сына, на что тебе вполне наплевать, а я — корней. И, наверное, мне тоже наплевать. Слишком поздно...» — Борский вдруг почувствовал, что нелепый и отважный заморыш, старше его всего на четыре года, как-то заменил ему придуманного отца. И одновременно — отсутствующего сына. Надо же, до прихода сюда он и не подозревал ничего подобного...

— Культ личности! — сочувственно вздохнул сержант Мозгунов.

— Да! — подхватил Борский. — Но мы его преодолели и вычеркнули из памяти. По этому принципу русскую историю можно очистить от татарского ига, Ивана Грозного, Смутного времени, почти всех Романовых, а также от эпохи волонтаризма, и оставить лишь безупречное настоящее.

— Нет, товарищ Борский, — возразил думающий русский человек, милиционер Мозгунов. — О настоящим нам после скажут...

14

...Егошин раздвинул прибрежный кустарник, опрыскавший его нестуденой вечерней росой, и чуть не наступил на пристроившуюся там пару. Взвизгнула женщина, и грязно выругался мужчина.

— Извините!.. — пробормотал Егошин, поспешно отступив.

Мимо него, одергивая платье, проскользнула женщина, он не увидел ее в потемках, но по запаху духов и светлому взлету волос угадал туристку из их группы и тут же признал мужской голос. Он не представлял себе, что ему будет так больно. А он-то поверил в эту женщину, в ее гордость, опрятность, честь. И как после всего срама рыжий прохвост уломал ее? Неужели марочный коньячок и потные объятия столь соблазнительны? Да что я понимаю в се-

годняшних молодых людях, особенно в женщинах! Может, физически он ей вовсе не противен — ядреный, настойчивый мужик, а она, наверное, одинока, — едва ли муж пустил бы ее в такую романтическую поездку! — и ей, конечно, мечталось о приключении, о том, чтоб разменять пустоту, обыденщину, опять поверить в себя, в свою неотразимость и что не все пропало. Наверное, она предпочла бы другого кавалера: киноартиста или эстрадного певца, но за неимением лучшего сойдет и этот, все-таки нестандартный и чудовищно настырный, что несомненно льстит. Егошин слышал, как Рыжий звал ее, бранился, и прибавил шагу, не из страха, а потому что при своем разочаровании чувствовал вину перед людьми, которым все испортил. Его раздражала и злила собственная неловкость. Нельзя же быть таким растяпой! Не везет Рыжему, то его спихнули с саркофага, теперь согнали с груди избранницы! Последнее — просто свинство. Но что поделать, не может же он вернуть эту испуганную газель под сень кустов.

— Ах, вот ты гад, гнида! — произнес за его спиной задыхающийся голос. — Не удалось удрать?

Егошин остановился.

— Я не удирал. Мне совестно, что я помешал вам. Извините.

— Вон как заговорил!.. Видать, дружка твоего — уголовного рядом нету. — Рыжий встревоженно оглянулся.

— Не беспокойтесь. Его здесь нет, — мягко сказал Егошин.

— Ты мне, сука, за все заплатишь. Вся вонь от таких, как ты. Вечно ты мне поперек лезешь, всю жизнь. Интеллигент паршивый!..

«Знакомая мелодия, — подумал Егошин. — Но неужели это правда?.. Значит, я все-таки не зря коптил небо, если мешал таким, как этот?.. Ах, как измельчал, как измельчал ты в новом образе, Колычев!.. Да и враг твой — мелочь... Но это ничего... ничего... Я же еще буду... когда-нибудь буду опять. И тогда прикончу Железную старуху зла...»

— Ладно, — сказал он ясным и звучным голосом. — Брось болтать пустое, Малюта, делай, зачем пришел!..

И рыжий верзила, что стоял напротив него, будто что-то вспомнил. Нет, то было не воспоминанием,

а догадкой, что ему подсказывают его истинную суть. Он смешно, наивно наклонил к плечу голову, сиюсь постигнуть конечный смысл услышанных слов или разгадать отзвук, который они породили в нем. И какое-то доверчивое выражение появилось на его грубом лице, он верил, что сейчас все объяснится до конца. Но Егoшин молчал, глядя выжидающе ему в лицо. Рыжий потупился, потом вскинул голову, быстро шагнул к маленькому человеку, стоящему над черной водой, и протянул вперед руки...

Квасник и Буженинова



Известно, что мелкие причины могут привести к грозным последствиям: птичка чиркнула крылом по снегу — и лавина устремилась с горы, круша все на своем пути. А бывает, когда маленькая жизнь скромного бытового человека направляется и ломается великими историческими событиями, к коим он ни сном, ни духом не причастен.

Внук знаменитого временщика и полюбовника царевны Софьи, князя Василия Голицына, Миша увидел свет в затерянной посреди архангельского безлюдья деревне Кологоры, куда его опальный дед со всем семейством был сослан царем Петром. Поначалу Голицына сослали в городок Каргополь, но едва он туда прибыл, власти одумались и отправили его дальше — в Яренск, забытую богом зырянскую деревушку, но и здесь князь не задержался: извет Шакловитого о тайных сношениях его с Софьей, заключенной в монастырь, еще более отягчил судьбу изгнанника и привел на край света — в Волоко-Пинежскую волость.

Отец Миши Алексей Васильевич быстро извелся в нужде, пустоте и мраке полунощного края и отдал душу богу; мальчика воспитал дед, явивший неожиданную в баловне счастья стойкость духа и телесную выносливость. Человек для своего времени весьма сведущий в науках, передовой по мировоззрению, он отменил местничество и одним из первых взгляделся в Европу, но не угадал в юном Петре государя, за которым следовало пойти, как и Петр не разглядел сподвижника в Софьином фаворите. Василий Василь-

евич дал любимому внуку образование, какого тот не получил бы и в Славяно-греко-латинской академии, куда, впрочем, княжичей и не отдавали. Он обучил смышленного мальчика не только грамоте, счету, истории, географии, закону божьему, но и древним языкам, коими владел свободно, а также начаткам немецкого и французского, уловленных на слух в Кукуе, где охотно бывал.

Потеряв сына, князь Василий всей любовью и надеждой сосредоточился на внуке Мише. Но сильное чувство не мешало прозорливости. Мальчик нравился ему смышленостью, ровным характером, легкостью, с какой переносил лишения — впрочем, нельзя чувствовать себя лишенным того, чем не владел, — и доверчивой привязанностью. Нравилось деду и то родовитое, что проглядывало сквозь бедную, крестьянскую одежку в фигуре внука и в осанке, коли приложимо к подростку такое слово. Внук не унаследовал ни тонкой красоты деда, ни скромной пригожести отца; широкое, щекастое, крутолобое лицо с карими теплыми глазами могло бы показаться простоватым, не выпирай так отчетливо порода: голова прочно и прямо сидела на широких плечах, крутая грудь, чуть тяжеловатый стан, стройные крепкие ноги — все обещало вылиться в презентабельную наружность настоящего русского барина. Но чувствовал князь Василий, что внуку не хватает характера, и это его горестно тревожило. Его сын был слабым человеком, потому и сломался так быстро, сам князь лишь в ссылке явил мужество смирения. А так — у старика хватало внутренней честности признаться себе в этом — недоставало ему воли и упорства, необходимых для государственного человека. Он почитался некоронованным царем России, но обязан был этому лишь Софьиной любви. Он мог не уничтожать местничества, не подписывать долгожданного вечного мира с Польшей, не вынашивать великих государственных реформ; Софье достаточно было его взгляда из-под длинных пушистых ресниц, прикосновения легких и крепких рук, забытья в его объятиях. Но и здесь потерпел князь чувствительный урон. Поддавшись честолюбию Софьи, дал вовлечь себя в злосчастные крымские походы, хотя знал, что нет у него ратного дарования и беспощадности, необходимых для войны, а тем временем наглый и ловкий Федька Шакловитый

занял его место, пусть не в сердце сладострастной царевны, а лишь в постели. Подавленный двойным бесчестьем в ратном и любовном делах (за первое его увенчали незаконными лаврами, за второе — рогами), он согласился против воли в отчаянную минуту на устранение Петра, чем и подписал себе приговор. И ведь знал же, знал, несчастный, что служит неправому делу. Возьми верх Софья — и Россия осталась бы в своем душном беспробудном сне. И тогда все попытки сбросить вонючий вшивый тулуп, укрывший с головы русское тело, ни к чему бы не привели.

А будь он сильным человеком, как и положено государственному мужу, то бросил бы заведомо проигранную игру и перешел бы на сторону Петра, да не хватило духу.

Когда князь Василий понял, что не может переступить через себя не из-за любви, давно погасшей, а из благодарности Софье, то пошел до конца за неверной возлюбленной, незаконной претенденткой на шапку Мономаха, преступной сестрой и возмутительницей государственного порядка. А место ему было при Петре. Он не мог быть ни правой, ни левой рукой царя, да и было у того рук, что у индийского бога Шивы, но князь мог быть при царевом уме. Это неправда, будто Петр сам все решает и никаких советов не слушает. Царь с детских лет ко всему прислушивался, и приглядывался, и мотал на пробивающийся ус. Как некогда Голицын, он повадился на Кукуй, чтобы набраться сведений и знаний у бывалых иноземцев. Петр сделал адмиралом пройдоху и пьяницу Лефорта — тот не мог устоять на палубе даже в штиль, — потому что ценил его умную голову. Но не хватило князю Василию характера, и похоронил он свои бескорыстные — ради общего русского дела, и честолюбивые — во славу собственного рода мечты. Наверное, в сознании неотвратимости всего содеянного и коренилось спокойствие князя, которое окружающие принимали за мужество.

А может, то, что не удалось деду, выпадет внуку? Не станут же ни в чем не повинного юношу век тут держать. Небось простят и семейство, как только уйдет из этого мира осужденный глава, и вернут в Москву. Но была и подспудная мысль: авось Мишку раньше вызовут в столицу для участия в государевой заботе. Царю нужны молодые шляхтичи для службы

в армии и на флоте, на верфях, рудниках, при прокладке каналов и дорог, в приказах. Людей не хватало, их зазывали из-за границы. Русь очнулась, строилась с места, но двигаться могла лишь усилиями своих сынов. Если б старый князь не надеялся на скорую перемену в Мишиной судьбе, он поторопил бы свой уход, дабы не мешать внуку. Это грех, но страха божьего князь не ведал, он знал — все зло от людей. Уж больно хотелось поверить, что не засохнет их ветвь, вон другие Голицыны в большом фаворе при царе состоят и все вверх тянут.

Мишенька умный, а что не зубаст, так восполнит прилежанием, радением о государевой пользе, и притом он, потомок Голицыных, может позволить себе не толкаться, не работать локтями и не кусать исподтишка соперников. Про себя Василий Васильевич знал, что на любом поприще для успеха одного лишь прилежания недостаточно, надо уметь пускать в ход зубы, а иной раз напрочь рвать другим горло, если фортуна сама не выберет тебя в любимчики, да уж больно хотелось ему славы и успеха для Мишеньки, в этом видел он оправдание своей незадавшейся жизни.

Миша в самом деле прославится, но совсем на иной манер, нежели мечталось опальному временщику. Слава его прогремит по свету, о нем будут слагать стихи еще при жизни, писать пьесы, он станет героем оперы и того нового призрачного искусства, появление которого не мог предвидеть его дед. В энциклопедических словарях будет он стоять отдельно от всех Голицыных: остальные и сам Василий Васильевич, тягавшийся с царем, и славный Голица, давший имя роду, и все воители, все государственные деятели пойдут в одной рубрике: ГОЛИЦЫНЫ, один Мишенька — наособь. Эту честь он заслужит, явив в своем лице величайшее унижение человека, до которого доводило когда-либо самодержавие «нижайших рабов своих», — так подписывался в посланиях к Елизавете Петровне знаменитый немецкий философ Иммануил Кант, став на короткое время подданным императрицы.

Но все это ждало Мишу в далеком будущем. А покамест и самому причудливо-злему не могло представиться, что под хмурым пинежским небом добродушный, румяный не по климату, неглупый

и смиренный юноша зреет для столь удивительной и редкой участи. Рядом с ним тихо угасал выдающийся, с несостоявшейся судьбой деятель России — первый среди тех, кто, играя в большие, грозные игры, где ставка — человеческая голова, определил ужасную судьбу своего внука.

Надежда изгнанника оправдалась: когда Миша достиг юношеского возраста, его затребовали в столицу. Как ни больно было старому князю расставаться с последней своей привязанностью — к остальной семье относился он с прохладной ласковостью, — он был счастлив. А внук, похоже, не разделял этого чувства. Миша испытывал грусть не только от разлуки с дедом, было жаль оставлять суровую и милую землю, ведь иной он не ведал.

В самом нежном возрасте он просто не понимал, что семья его живет совсем не так, как ей следовало бы по знатности и заслугам предков. Подобно всем местным мальчишкам, Миша радовался каждодневному бытию: летом — солнцу и птицам, осенью — морошке и клюкве, зимой — снегу, санкам и небесному сиянию, весной — близости короткого северного лета. Он рос на деревенской улице, а в непогожие дни сидел в теплой избе, что-то мастерил, слушал сказки. И до чего ж вкусна была сырая семга и прихваченная морозцем клюква.

Позже он узнал, что семье надлежало жить не в глухой деревушке на краю света, под надзором, а в палатах каменных или богатой усадьбе, в окружении многочисленной челяди. Потерянный далекий и прекрасный мир представлялся довольно смутно, но тревожил воображение, впрочем, не настолько, чтобы в мальчике зародилась навязчивая, болезненная мечта об утраченном великолепии, о Москве белокаменной, — не мог говорить о ней без слез старый князь.

В тревоге юношеского созревания Миша стал чаще и томительнее думать о том, что скрывается за краем видимого пространства. Но вяловатая душа мальчика оставалась чужда честолюбию и мятежным порывам. Да, дед велик был в дни фавора, державу русскую под себя подмял, а чем все кончилось? С большой высоты падать больнее, хотя дед никогда не жалуется на

судьбу. «Мог бы я стать царю первым помощником в его великих делах, — говаривал князь Василий, — ибо теми же глазами глядел на будущее Руси, те же вынашивал замыслы, да господь иначе рассудил. Послал мне наказание за мои грехи». — «А в чем твои грехи, дедушка?» — отважился раз спросить Миша. «Много их. А худший — злоумышлял я против царя», — сказал старик, и замолчал, и никогда больше к этому разговору не возвращался.

Юность склонна к самообольщению. Но тут обольщалась пустой мечтой старость. А Миша не связывал особых надежд с той жизнью, которую знал только по рассказам, которая издали влекла его, но пуще страшила. Он, не видевший больших людных селений и путных домов, робел перед городом с его величественными соборами, высоченными колокольнями, каменными палатами, многолюдством, толчеей, шумом и ежился при мысли о важных, нарядных, самоуверенных господах, среди которых придется жить, пусть он и знатнее многих из них. Миша не представлял себе ни этой будущей жизни, ни службы и даже не знал, чем бы ему хотелось заняться. В рассказах деда его больше всего грели довольно скупые и пренебрежительные упоминания о подмосковной вотчине с огромным садом, прудами, с библиотекой и картинами на стенах. К этому примечывалась молодая хозяйка и всякая прелесть, думать о которой зазорно и раздражительно. Но вотчина давно отошла к другой ветви Голицыных, что были в чести у государя и вовсе не собирались уступать нагретого места внуку изменника. Как обычно бывает, жизнь сама распорядилась, а о намерениях юноши никто и не спрашивал.

Не успел Миша ни оглядеться в Москве, ни оробеть больше той робости, что уже жила в нем, как его доставили перед лицо царя. И тут Миша не испытал ни страха, ни какого-либо враждебного чувства к повелителю, сломавшему жизнь его семье. Дед сам говорил, что несет кару за свою вину перед царем, а он, Миша, ни в чем не виноват, ему бояться нечего. Впрочем, логический расчет ни при чем, просто он не боялся — и все!

Было время, когда самодержец пытался прощупать направляемых для обучения в чужие земли юношей по части грамоты, счета, географии и слав-

ных деяний предков, но вскоре от такой проверки отказался, убедившись, что ни один кандидат дальше псалтыря в науках не двинулся. Теперь Петр рассчитывал лишь на пронизывающую силу своего взгляда. Он заламывал юноше чуб и вперялся в глубь зрачков, пытаясь вычитать там ценность подданного. К чести юных шляхтичей, они стойко выдерживали темный, мерцающий взор царя, открывая ему небесную прозрачную голубизну младенческого идиотизма. Но пить они начинали уже в каретах или возках задолго до пересечения русской границы и не оставляли сего занятия во все дни обучения в Сорбонне, старых университетах маленьких немецких городков, амстердамской или лондонской навигационных школах. И все-таки многие из них научились в чужеземных странах не только танцам, поклонам и всякому светскому обхождению, но и полезным предметам: иностранным языкам, математике, словесным наукам, международным тонкостям для посольских дел и практическим занятиям по судостроению, вожждению кораблей, строительному и рудному делам.

Как всегда, хотя и с большим, нежели обычно, интересом Петр впился в глаза юноше. Затем, желая поглубже погрузить взгляд в зрячие колодцы испытуемого, схватил Мишу за чуб и запрокинул ему голову. Голицыну было неловко и стыдно за царя, ни с того, ни с сего причиняющего ему боль. Он улыбнулся Петру: дескать, ничего, вытерплю.

— Счету обучен? — отрывисто спросил Петр.

Голицын ответил подробно.

— И латынь знаешь? — недоверчиво спросил Петр.

— Знаю, государь. Могу читать, писать и разговаривать.

— С кем? — хохотнул Петр, но лицо оставалось жестким, а взгляд темно и грозно пронизывающим. — Ты что, пустозерскую академию кончил?

— Дед был моей академией, государь.

— Изменник? — И Петр так сжал в кулаке голицынский вихор, что у того заслезились глаза.

Голицын не ответил.

— Овечкой небось прикидывался? Меня во всем виноватил?

— Нет, государь, всю вину на себе считал.

Петр сказал задумчиво:

— Он умный, твой дед... Кабы за Софьин подол не цеплялся... Ладно, поедешь в Париж, в Сорбонну.

И перед недавним обитателем волоко-пинежской пустоты развернулись парижские виды. Жизнь Миши в ту пору мало чем отличалась от жизни любого парижского студента, но значительно разнилась от жизни тех соотечественников, которые вместе с ним проходили курс наук в одном из старейших европейских университетов. То были юноши из состоятельных семей, получавшие от родителей щедрое содержание. Они жуировали всюю, манкировали лекциями, чередуя светские и полусветские удовольствия с вульгарными попойками, единственно для увлажнения горла, дабы оно вовсе не сохлось в стране сухих и полусухих вин.

Князь Голицын, не будучи приучен к вину в самые восприимчивые лета, выпивки чурался, он много читал, усердно посещал лекции, ходил в оперу и французскую комедию, конечно, не в ложи и не в партер, прогуливался по аккуратным французским садам и паркам, наслаждаясь не столько их расчисленной красотой, сколько дивными мраморными скульптурами в аллеях, изображавшими античных богов и героев, имел — за весь курс — две-три скромные связи, обнаружив серьезность и верность, весьма непривычные для легкомысленных француженок.

Почти так же — трудолюбиво и скромно — будет жить в Париже другой русский юноша, о котором Петр произнесет прозорливые слова: «Вечный труженик». Он будет с тем же старанием учиться, корпеть в библиотеках, надсадно вызывать примадонн с галерки парижской оперы, восхищаться скульптурами в парках, дворцами, всем красивым и утонченным, чем в избытке обладал Париж, но распорядится накопленным богатством удачнее Миши, что при этом не принесет ему счастья. Этот усердный и одаренный юноша, став зрелым мужем, приложит руку, хотя и без охоты, из-под палки — в прямом смысле слова — к великому издевательству над Михаилом Голицыным, обессмертив его в похабных стихах, хотя ему удавались и звонкие, чистые песни. Так переплелась жизнь двух русского происхождения парижских студюзов разных лет: Михаила Голицына и Василия Третьяковского.

По родине юный Голицын не скучал, ибо старая

родина — Кологоры — при всей нежной памяти о ней уж слишком проигрывала в сравнении с блистательной Лютецией, а к новой, недавно дарованной — Москве, — он не успел привыкнуть, привязаться сердцем. По деду скучал, но приучил себя не думать о нем, зная, что больше с ним не встретится.

Если он раньше жил в пространственной пустоте, но в душевном угреве, то сейчас в густоте одушевленного и вещественного мира пребывал с незаполненной душой; веселые подружки, так любившие недорогие перстеньки, брошки и просто золотые монетки, могли дать лишь короткое тепло своего юного, ловкого, умелого тела — не больше. Но юный князь верил, что по окончании курса получит служебное назначение скорее всего при одной из наших иностранных резиденций и тогда устроит всерьез и свой дух, и свою плоть.

Вопреки ожиданию по выходе из стен университета он был отозван домой и зачислен малым чином в военную службу, в захудалый армейский полк. Похоже, кому-то сильно не хотелось, чтобы внук опального временщика оказался близок ко двору и, глядишь, пошел бы в гору. Даже полуобразованные люди были нарасхват в петровской Руси, а тут пренебрегли выучеником лучшего европейского университета.

Многие дворяне считали, что военная служба — кратчайший путь к успеху.

Вот и роду Голицыных строго разграничивались дарования: были Голицыны — воины и Голицыны — государственные мужи, между ними находились Голицыны — баре, склонные к роскошной жизни, изящным искусствам и проживанию больших состояний. Мой скромный герой принадлежал, несомненно, к третьему типу Голицыных. Баре — байбаки — эстеты Голицыны порой достигали временного успеха в дворцовой или государственной службе, но Михаил Голицын этой возможности не имел. Отдаться же своей прямой склонности — сибаритству — тоже не выходило: надо служить, да и пуст карман. А к воинской трубе он был положительно глух.

В армейской службе оказались вовсе не нужны все приобретенные им знания, глубоко изученные языки, мудрость прочитанных книг, воспитанный на изящном вкус, безукоризненные манеры. Требовались ка-

чества прямо противоположные, которых Голицын был напрочь лишен: решительность, жестокость, грубость, умение беспрекословно подчиняться высшим и беспощадно давить низших. Все это было чуждо его натуре, он не снискал благоволения командиров, симпатий товарищей и благодарности низших чинов, державших его за придурка. Солдатам было ни тепло ни холодно от его бессильной доброты; пусть он сам держал руки на привязи, за него зверовали другие офицеры. Выходило так на так.

Неизвестно, в каких он участвовал кампаниях и как проявил себя в деле, лавров, во всяком случае, Голицын не стяжал. Его чело украсит в свой час иной венок: из капустных листьев, пучков редиски, петрушки и огородных сорняков. Но это позже, когда житейский путь будет пройден почти наполовину.

Голицын жил чужой жизнью, пустота внутри него все ширилась, и, чтобы хоть как-нибудь ее заполнить, он женился. Впрочем, тут отсутствовал волевой жест, он позволил себя женить на помещицкой дочери, засидевшейся в девках. За женой взял он приданое — справное именье, но армейская служба помешала свить гнездо. Походная жизнь уводила его прочь от дома, где ж тут было привязаться к жене и детям!

Голицыну было около сорока, но дослужился он только до майора, в то время как его сверстники ходили в полковниках и генералах. Знатные люди быстро поднимались в чинах, ибо начинали не с нуля, их зачисляли в военную службу, когда они еще размахивали игрушечной сабелькой. У Михаила Алексеевича подобного преимущества не было. Он покорно тянул армейскую лямку, поняв, что внуку волоко-пинежского изгнанника хода не дадут, покорно принял смерть жены, покорно уступил детей опекунству ее родителей, а в смутные дни, наступившие за кончиной Петра, вышел в отставку. И это не было волевым жестом, он просто выпал из армии, как лишний гриб из кузовка. И тут Голицын наконец очнулся от сонной одури и чего-то захотел. Трудно сказать, чего именно — характер у него был смятый, что объяснялось условиями, в каких он родился и вырос, он не смел чего-либо желать и уж подавно заявлять вслух о своем желании. Добрые люди научили его отпроситься в Италию для поправки застуженного в бивачной

жизни здоровья. Разрешение было получено, и он сразу укатил во Флоренцию, снова одинокий, свободный и не знающий, что с этой свободой делать.

На берегах Арно Голицын довольно скоро понял, как распорядиться своей свободой, — надо поскорее от нее избавиться. Отдав дань несравненной архитектуре — соборам, дворцам купцов и герцогов и старому баптистерию, дивному куполу Брунеллески, венчающему собор Санта-Мария дель Фиоре, галерее Уффици, — равно и нынешней прелести живого, кипучего торгового города с золотыми рядами на мосту через тенистую, пахучую и живописную реку, потолкавшись в густой веселой ночной толпе, он снял чистый — по итальянским меркам — флигелек на окраине города у виноградаря, содержавшего небольшую тратторию тут же рядом, и поспешил влюбиться без памяти в его младшую дочь Люцию. В деревенском пригороде Флоренции ее отец считался богачом и был исполнен к себе немалого уважения. К русскому князю он относился в меру любезно, но без малейшей угодливости и даже почтительности. Голицына скорее забавляло, нежели сердило самомнение винодела-трактирщика, которого он шутливо называл про себя будущим тестем.

Михаил Голицын мог по праву считаться мужчиной в самом соку, но все-таки разница лет между ним и любимой угнетала, сковывала и без того нерешительного князя. Люция, смуглая, темноглазая, белозубая девушка, ничем не отличалась от других смазливых итальянок, способных вызвать мгновенное желание, исчезающее без следа, стоило отвести взгляд. Но, видимо, чем-то все-таки отличалась, если впервые в жизни Голицына охватила страсть. Он и не подозревал, что способен так воспламеняться.

Подобным взрывом страсти некогда пленил царевну Софью князь Василий Голицын, причем оба так никогда и не догадались, что то была страсть честолюбца и реформатора, вдруг узревшего кратчайший путь к осуществлению грандиозных замыслов. В то мгновение, когда князь Василий осознал, что это мясистое лицо с тяжелыми серыми глазами, эта бесформенная плоть и неожиданно маленькие красивые руки, эти увядшие волосы и густые шелковистые брови вольны дать ему все, чего захочет ненасытная жажда свершения, его пробила дрожь, сообщившаяся

Софье и кинувшая их друг к другу навсегда. Никому не разъединить было нашедших одна другую в сумятице мироздания половинок единой сути. Князь все понимал про нее. Софья могла ему изменять с топорным и сильным Шакловитым, когда Голицына не было рядом, — князь Василий сам разбудил в ней чувственность, не подвластную воле; но мечталось ей в медвежьих объятиях стрелецкого вожа о худом узком теле Голицына, его пронзающем до сердца жаре, и когда он возвращался из походов, большого, размашистого Шакловитого будто шапкой-невидимкою накрывало — Софья его не замечала. Жгучая память об их первом соединении была так сильна в ней, что она не заметила, не почувствовала его остуди. Про себя самого князь Василий понимал куда меньше, чем про Софью; недостающей ему половинкой была вовсе не царевна, а его собственная жена.

Внук князя не подменял одного чувства другим, и его страсть была неподдельна и, как всякое сильное, искреннее, излучающееся из сердца чувство, не могла не затронуть молоденькой италяночки. Голицын слова ей не сказал, лишний раз взглянуть боялся, а девушка знала, что важный русский барин без памяти влюблен.

Охваченный испепеляющей страстью, Михаил Алексеевич мечтал о тайных уладах любви, но никак не о радостях законного брака. Подобный мезальянс просто не приходил на ум. Гедиминович, внук негласного правителя России, аристократ с головы до пят не мог взять в жены дочку крестьянина-корчмаря, как бы ни цвел ее юный рот, какие бы волны ни исходили от смуглого гибкого тела. Этого бы просто никто не понял. И потом разница в годах: через десять лет он будет стариком, а она только вступит в самый опасный женский возраст. Ночью Голицын ворочался без сна, прикидывая, какую бы сумму предложить отцу и какие подарки преподнести ей, чтобы избавиться от неутраченного жжения в груди и всех других беспокойств. Он попробовал подарить Лючии брошку с гранатами, которую приобрел за сходную цену в золотых рядах над Арно. Она засмеялась, приколотла брошку к полупрозрачной ткани, прикрывающей легко дышащую грудь, чмокнула его дочерним поцелуем в крутой вспотевший лоб и вернула драгоценность. «Я не могу принять такого дорогого

подарка». Никакие уговоры не помогли. «Отец убьет меня». Это было явным преувеличением, и Голицыну подумалось, что путь к корсажу дочери ведет через карман папаши, глубокий карман в холщовых штанах, где покоилось множество вещей: часы, ключи от винных подвалов, штопор, кисет с табаком, трубка и кресало, молитвенник, шприц для вытягивания винных проб, какие-то маленькие инструменты, складной нож и серебряные монетки. Усидев с торговцем три оплетенных бутылки «кьянти», Голицын осторожно дал понять, что мог бы прекрасно обеспечить Лючию. Старик поинтересовался, что он имеет в виду. Виллу на ее имя в любом привлекательном месте Италии, коляску, лошадей, кучера и служанку. Трактирщик слушал благожелательно, попыхивая трубочкой и отмечая кивком каждый из посулов, потом спокойно сказал, что все хорошо, недостает лишь малости: божьего благословения. Если князь способен выдержать маленький церковный обряд, то пусть забирает Лючию, хотя и негоже ей опережать старших сестер.

Человек более решительный и предприимчивый, чем Михаил Алексеевич, наверное, не придал бы большого значения болтовне зазнавшегося корчмаря и постарался бы объяснить ему, какая пропасть разделяет знатнейшего русского вельможу (не беда, что он от сохлой ветви могучего голицынского древа), богача (для итальянцев все русские — баснословные богачи) от миловидной флорентийской простолюдинки; мог бы подействовать на корыстолюбие старого крестьянина, посулив ему хороший куш на расширение дела, или попытался бы соблазнить Лючию, не оставшуюся безразличной к его влюбленности, — дородный, породистый и простодушный князь нравился женщинам; он мог, наконец, что было не редкостью в Италии, похитить Лючию с помощью наемных удальцов, но все эти отважные дерзкие замыслы были не по Михаилу Алексеевичу: даже охваченный страстью, он оставался человеком с деликатной душой.

И Голицын согласился на женитьбу, сделал по всей форме предложение, которое было милостиво принято, правда, с одним непременным условием, чтобы он перешел в католичество: за человека другой веры Лючия не пойдет. Все его уверения, что у русских это не положено и может привести к тяжелым

последствиям, оказались напрасны. Равно было отвергнуто предложение о принятии невестой православной веры. Старый трактирщик слыл фанатичным католиком, а Лючия — послушнейшая из дочерей.

Тяжело менять веру, хотя Михаил Алексеевич не отличался религиозностью, как и его вольнодумный дед. Тот, правда, учил внука закону божьему, но в святой вере не настаивал. Дряхлый кологорский попик, что-то брусивший в тихом безумии, и вечно пьяный дьячок не могли привить ему уважения к церкви. Да и после Голицын ходил в храм по обязанности, проборматовывал положенные молитвы, не вдумываясь в их смысл и ничуть не уповая на помощь небесную. И коли такая отвлеченность вторглась между ним и любимой, то можно сменить религию, хотя всякая измена была ему не по душе. Он настаивал на одном: чтобы все произошло без лишнего шума. И обращение, и свадьба. Капризный кабатчик и тут было заартачился, поняв уже, что из князя можно веревки вить, но Голицын испугал его, сказав, что это грозит лишением состояния, если во дворе сведают о его вероотступничестве. Будущий тесть согласился, потому что звонкую монету ставил выше своего католического усердия и крестьянского тщеславия. Все было сделано тихо и чинно.

Положа руку на сердце, Голицын не без тайного удовольствия решился на дерзкий и крайне опасный по тем временам шаг. Ему захотелось хоть раз в жизни совершить с в о й поступок. До этого им безраздельно распоряжалась чужая воля, решавшая, где ему жить, чем заниматься, даже женитьба, выход в отставку и поездка в Италию были также ему подсказаны. Конечно, и к перемене веры его принудили, но этим оплачивалось счастье, а главное, тут был вызов, пусть тайный, тому порядку, который угнетал его всю жизнь. Он впервые почувствовал себя человеком, способным на самостоятельный жест.

Потекли дни безоблачного счастья, увенчавшиеся рождением очаровательной смуглой кареглазой дочери. И Михаил Голицын, безвинный узник, игрушка в руках царя, нищий сорбоннский студент, армейский тусклый офицерик, полубарин в не успевшем образоваться семейном доме, лишенный отцовства вдовец,

узнал, что такое счастье. Он вложил кое-какие деньги в дело тестя и целиком отдался своей запозднившейся первой любви.

Он купил славный домик, увитый диким виноградом, с небольшим благоуханным садом, по которому пробежал звонкий ручеек, приобрел музыкальные инструменты — у него был хороший слух, он легко научился играть на клавесине, лютне и флейте, а Лючия мило пела низким, трогательно не идущим к ее летучей стати голосом. Страсть Голицына не только не утихла, но разгоралась все ярче, он похудел, загорел, красиво и гордо сидела крупная голова на широких русских плечах. Счастлива была и Лючия.

Он совсем забыл о России, но Россия помнила о нем. О, этот памятный разум государства, способный не забывать и о ничтожнейшем муравье из своей муравьиной горы, если тот помечен знаком неблагонадежности! Но далекая родина до поры молчала, занятая совсем другими, большими и тревожными делами. Такими серьезными делами, что, не оборонись старина руками молодого поколения, и Россия получила бы новую институцию, ограничивающую самодержавие. Многие видели в затее олигархов-верховников прообраз русского парламента. И снова это сотрясение империи, едва не приведшее к катаклизму, роковым образом отразилось на судьбе скромного, тихого человека, не державшего в душе иной заботы, кроме своей любви. Настывший в архангельской студи и армейском палаточном прозябании, Голицын самозабвенно грелся и никак не мог отогреться под жарким солнцем Италии.

После дворцовой чехарды — на трон сначала взошла волей и дерзостью Меншикова поднятая Петром из лифляндской грязи Марта Скавронская, нареченная Екатериной, затем, после внезапной ее смерти, — законный наследник, царев внук Петр II, тоже не задержавшийся надолго и умерший в одночасье, что помешало придворным пронырам Долгоруковым возвести на престол обрученную с ним девицу из своего дома. За дело взялись «верховники», члены Верховного тайного совета во главе с решительным, умным, но политически близоруким князем Дмитрием Михайловичем Голицыным, и пригласили на престол герцогиню Курляндскую Анну, ограничив ее права «кондициями» — условиями. Она была до-

черью старшего брата и соправителя Петра, слабоумного Ивана Алексеевича. Вернее сказать, считалась дочерью, ибо недееспособный Иван не мог вздыбиться на любовь, он даже свет божий зрил, лишь приподымая пальцами застятые взор веки. Анна, как и две ее сестры, была нагульным ребенком царицы Прасковьи — блудливой святоши. У Анны не было преимущественных прав на престол, но Дмитрия Михайловича Голицына устраивало, что она вдова, к тому же самая бедная, несчастная и бессильная из всех возможных претендентов на престол, стало быть, окажется игрушкой в руках верховников.

Анна Иоанновна, не любимая матерью, потерявшая мужа вскоре после свадьбы, третируемая царственным дядей, не признаваемая курляндским дворянством, влачила существование жалкое, почти нищее. Петр приказал отпускать ей на жизнь ровно столько, чтобы не дать помереть. К тому же к ней был отряжен в Митаву для пристального догляда гофмейстер Петр Бестужев. Догляд она чуть ослабила, сойдясь с четолюбивым интриганом. Когда Бестужева на время отозвали, у нее оказалось утешение более душевное: мелкий дворянин, искатель фортуны Бирен, недоучившийся студент — курс наук завершился для него побоями, которые нанесли ему корпоранты за дрянной, низкий характер и нечестность, — неудачливый карьерист — попытки пристроиться при русском дворе завершились опять-таки избиением. Дважды битый Бирен держался надменно, был он высок ростом, превосходно сложен и красив, несмотря на длинный острый нос. Он пристроился конюшим при герцогине Курляндской, взяв на себя заботу о жалких одрах, на которых она передвигалась. Давно пережившая свою весну, Анна влюбилась до умопомрачения в красавца-лошадника. Войдя в фавор, Бирен первым делом присвоил себе старинную княжескую фамилию Бирон, которую в ту пору с блеском носил знаменитый французский маршал, прославившийся на полях сражений и еще больше на ристалищах любви.

Анна Иоанновна, счастливая на любых условиях избавиться от гиблого курляндского заточения, без звука подмахнула кондиции, составленные князем Дмитрием Голицыным при вялом участии титулованных сподвижников, которые не шли за ним, а вла-

чились на аркане сухонькою, но властной рукой прирожденного диктатора. Среди условий было одно страшное для Анна Иоанновны: не брать с собой в Россию Бирона — ее единственную отраду, Кукленка, пропахшего конюшней,— для Анны Иоанновны эти дурманы были пленительнее всех дразнящих парижских благоволий. Чудовищное насилие над ее душой и плотью придало ей необходимую смелость в решительную минуту жизни.

Анна Иоанновна отправилась в Москву, куда при Петре II перетасили столицу, а Бирон тайно пробрался в Петербург и спрятался в дворцовых конюшнях, где почувствовал себя, как дома. Харчишками он запасся, воду лошадям приносили, а спать под боком у кобылы — что может быть лучше!

Пока Бирон находился в «стойловом содержании», произошла трагикомическая история рождения и тотчас же последовавшей смерти российского «парламента». Но вождь этого обреченного на провал движения не был смешон. Заурядный военачальник и крупный администратор Петровской эпохи, ушедший в тень в дни засилья Долгоруковых, Дмитрий Голицын выступил на авансцену истории, когда Россия вновь осталась без царя в голове. Неурядицы, интриги, произвол временщиков, полное небрежение делами, забвение петровского государственного наследия, алчный цинизм и распад тех, кто когда-то «делал историю», привели страну в полное расстройство. Если б не страх, внушенный Петром исконным врагам России, могла бы повториться страшная заваруха Смутного времени.

В этих обстоятельствах, когда надо было действовать быстро, отважно и решительно, Дмитрий Голицын явил волю настоящего вождя. Но одно дело — растормошить вялых, тянущих каждый в свою сторону сподвижников, составить сильный документ, даже принудить будущую государыню к согласию на ограничение власти, и совсем другое — повернуть колесо истории. Для этого у Голицына не оказалось прежде всего понимания тех глубинных движений и перемен, которые неотвратимо творились под пеной внешней российской жизни. Не обойденная верховниками знать, не вмешательство гвардии сорвали планы Голицына, а впервые выступившее как единая сила дворянство, не учитываемая до сих пор в государ-

ственных расчетах часть привилегированного российского населения. Это они, шляхтичи, служилые люди царя, испугавшись, что вместо одного фаворита получат на шею десяток крутохватов, и вовсе не желая идти опять под боярскую руку, ударили челом Анне, чтобы она разорвала кондиции. Государыня не могла устоять перед единодушным гласом своих подданных и публично разорвала в клочья бумагу Голицына.

После этого она поспешила в Петербург, в конюшню к милому, которого нашла в кислом настроении, перепачканным с ног до головы навозом и сенной трухой. Она ничего не сказала, только издала тихое нутряное ржание, похожее на глубокий, со дна желудка хохоток. Он мгновенно все понял и ответил ей мощным всхрапом, заставившим всех кобыл в стойлах тревожно забить копытами. Так началось правление и счастье Анны Иоанновны, а верноподданное дворянство, подарившее ей самодержавную власть, вместе со всей Россией получило бироновщину.

Дмитрий Михайлович Голицын не ошибся, отпел свое дело такими словами: «Пир был готов, но гости были недостойны его! Я знаю, что я буду его жертвой. Пусть так — я пострадаю за отечество! Я близок к концу моего жизненного поприща. Но те, которые заставляют меня плакать, будут проливать слезы долее меня». Провидческие слова, но едва ли он думал, что самые горячие слезы, хотя они никогда не выкатятся из глаз, омывая внутреннее лицо, будет проливать его внучатый племянник, ни сном, ни духом не причастный к делам «верховников» и узнавший о них с большим запозданием. Анна Иоанновна не посмела тронуть влиятельнейшего среди старой знати князя Дмитрия и даже назначила его членом восстановленного в своих правах Сената, никакой роли в государственном управлении не игравшего. Но князь в Сенат почти не являлся, проводя все время среди книг, картин и статуй в своей подмосковной вотчине — селе Архангельском.

Анна затаила против него лютую злобу и только ждала случая, чтобы свести счеты с человеком, едва не вырвавшим из ее рук абсолютную власть и, что еще хуже, пытавшимся разлучить ее с любимым. Случай такой представился в 1736 году: Голицына примазали к некрасивой тяжбе его зятя Константина Кантемира со своей мачехой, вдовой молдавского господа-

ря, угодливо отыскивали вину и присудили к смертной казни. Но и тогда императрица не решилась пролить кровь Дмитрия Голицына и всемилостивейше заменила казнь заточением в Шлиссельбургскую крепость. Имущество князя было конфисковано и, как обычно в подобных случаях, ушло к Бирону, уже получившему стараниями Анны титул герцога Курляндского.

Примерно в это же время вспомнили о подзадержавшемся на лечении в Италии Михаиле Алексеевиче. Случайно ли это произошло или захотелось императрице иметь под рукой всех членов ненавистной голицынской фамилии, сказать трудно. Голицынское древо так разрослось, что не счесть ветвей, но все же род переживал упадок: крупных людей произвели, а дети их еще не вошли в возраст, другие сами померли, третьи были вроде Михаила Алексеевича — оробевшие. На виду оставался лишь один Голицын, столь далекого ответвления, что мог считаться скорее однофамильцем, нежели родней опальных Голицыных.

Послушный Михаил Алексеевич вернулся со всей возможной поспешностью, привезя с собой жену и ребенка, хотя внутренний голос подсказывал ему, что делать этого не следует. Да уж больно отогрелась его душа возле них и непосильным казался холод нового одиночества.

Князь прикинул, что человек он маленький, отставной, никому не мешает, состояньице у него незавидное, дай бог с семьей прокормиться, ни в каких интригах и заговорах сроду замешан не был, а в тревожную для государства пору дегустировал вино в подвалах тестя и с верховником Голицыным не был даже знаком.

Доложившись о приезде, Михаил Алексеевич избрал местожительством Москву, подальше от двора, а жену с дочкой поселил в Немецкой слободе. В долгом путешествии от берегов Арно до Москвы-реки и Яузы он достаточно наслушался о всех событиях, сопровождавших вступление Анны на престол, и о том, что беспокойный род его снова покрыл себя ненужной славой, и что страной правит курляндец Бирон, не занимающий никакого поста, но владеющий сердцем императрицы. Много чего еще услышал Михаил Алексеевич и сильно опечалился.

Михаил Алексеевич обладал малым опытом рос-

сийской жизни, знал ее больше по рассказам деда да по скудным наблюдениям во время гарнизонного стояния своего полка в провинциальных городках. Не было у него и друзей закадычных, которые могли бы просветить его насчет отечественных порядков, а главное — насчет опасностей. И когда появился молодой Алексей Апраксин, муж его дочери от первого брака, отпрыск старинного боярского рода, особенно возвысившегося при Петре, Голицын обрадовался ему, человеку своего круга, которому можно открыть душу. Они сблизились, Голицын признался зятю, что переменял веру, и объяснил причину.

Апраксин был человек странный. Собою благообразен, ловок, несколько вертляв, как-то въедливо сердечен и легок мыслью. Казалось, он забывает слышанное тут же: в одно ухо влетает, в другое вылетает. И Голицын открылся ему, не столько доверяя его надежности и скромности, сколько полагаясь на изумительное беспамятство графа и безразличие к чужой жизни. Апраксин был с тобою, пока видел тебя, и тут он мог произвести впечатление заинтересованности, душевности и благожелательности, но стоило расстаться, тотчас забывал о тебе: с глаз долой — из сердца вон. В какой-то мере такие люди удобны для общения, особенно в огнепальное время.

Апраксин нигде не служил, имел порядочное состояние и много свободного времени. Он обрадовался возникшему, словно из небытия, тестю, как радовался любому развлечению. Голицын, конечно, был поставлен в известность о сватовстве Апраксина и послал дочери свое отеческое благословение с берегов Арно, но встретились они с дочерью равнодушно. Их ничто не связывало, кроме тусклых воспоминаний. И поскольку в этих воспоминаниях не было чего-либо значительного и теплого, они скорее отчуждали, нежели способствовали сближению. А вот Апраксин его заинтересовал. Михаил Алексеевич впервые видел человека своего круга, столь приверженного вульгарным увеселениям. Тот мог целыми днями толкаться в Китай-городе, глазеть на бродячих лицедеев, плясунов, фокусников — особенно любил крикливого кукольного Петрушку, — на юродивых у папертей церковных, на вечно пьяных, задиристых бесприходных попишек возле храма Василия Блаженного и фальшивых белоглазых слепцов, гнусавым распевом

выпрашивающих подавание, на ползунов, горбунов и прочих нищих калек; обожал уличные потасовки, травлю мелких воришек, избиение — вусмерть — крупных, ссоры лоточников, балаганные чудеса вроде волосатой женщины или пожирателя огня. А вот к домашнему театру императрицыной сестры, где давались назидательные спектакли с пением и музыкой, Апраксин оставался равнодушен. Казалось, он не может заполнить пустоту внутри себя. Впечатления вытекали из Апраксина, как вода из худого ведра; наслонявшись по кривым улицам, отбив бока на запруженных площадях, проведав знакомых, посидев в трактире, не поленившись сгонять в Кукуй, наслушавшись низких, в чреве закипающих басов кремлевских дьяконов на всенощной, посетив какую-нибудь ассамблею или театральное представление и, казалось, налитый впечатлениями всклень, он утром вставал пуст и сух и нуждался в новом наполнении.

Голицын не принадлежал к тем, кому всякая несхожесть кажется уродством, болезненным вывертом. Причудливый нрав и странные привычки зятя скорее располагали к нему Голицына, редко встречавшего оригинальных, самобытных людей. К тому же Апраксин был прекрасный слушатель — жадный, отзывчивый, а сам рассказывать не любил: уже известное, пережитое и как бы отработанное было ему скучно. Требовались новые впечатления, новые дрова, чтобы гореть. Откровенность Михаила Алексеевича с близким по родственным узам, но малознакомым человеком объяснялась и стремлением переложить часть собственной ноши на чужие плечи — отсюда идут все ненужно доверительные разговоры, — и желанием произвести впечатление, задержать на себе рассеянный голубой взгляд зятя, стать чем-то, человеком с судьбой, загадкой, тайной, а не облаченной в кафтан и панталоны пустотой. Порой Голицын сам начинал сомневаться в своем существовании. Он обретал вес плоти и жар духа, лишь когда перешагивал порог чистенького домика швейцарского часовщика в Немецкой слободе, приютившего за скромную плату его жену и дочь, и оказывался в объятиях заплаканной, осунувшейся Люции. Да, не на такую жизнь соединяла она свою судьбу с богатым русским герцогом, владельцем роскошных палаццо, загородных вилл и толпы рабов. К чести Михаила Алексеевича,

он никогда не хвастал своим несуществующим богатством, все это великолепие явилось распаленному воображению алчного тестя-винооторговца. Лючия же не заносилась высоко, вполне довольная той обеспеченной жизнью, какую они вели в Италии. Но она не понимала, почему на родине мужа должна ютиться у чужих людей, выходить на прогулку только вечером, не отлучаясь далеко от дома, видаться с законным супругом изредка и украдкой, прятаться в задней комнате, когда приходят клиенты или соседи старого часовщика. Тот попытался растолковать ей, что у русских браки людей разной веры не положены. Но ведь они с мужем единоверцы, возражала Лючия, князь принял католичество. Тем хуже, по здешним законам ей следовало бы перейти в православие. Измученная женщина была готова на все, но тогда и Голицыну надо перекрещиваться, а попробуй он сделать это тайно!

Сам Михаил Алексеевич пребывал в странной печальной беспечности, сродни обреченности. Похоже, что в некоем тайном провидении, не допускаемом до ума, он угадывал, чем все кончится, и где было ему восстать против судьбы? Да и что он мог? Подкупить попа? А ну-ка тот заботится и донесет. Бесприходные попы, правда, что хошь за деньги сделают, а потом проболтаются спяна. В глубине души Голицыну не хотелось отказываться от единственного пункта, тем более что в успех он не верил. Оставалось ждать. Нет, не ждать, ибо впереди не светит, а делать вид, будто ничего особенного не произошло. Ну, жили они с Лючией вместе, сейчас живут врозь — бывает и так у людей. Он, когда в армии служил, вовсе редко видел свою жену. И ведь Лючия, как и ее папаша, сама хотела, чтобы он стал католиком, вот и терпи, нельзя менять веру, как исподнее.

Все эти мысли, конечно, не утешали. Вид несчастной, испуганной Лючии и жалкой мышкы-дочери сутулил беспомощностью, виной и стыдом. Когда же он поверялся Апраксину, то как бы вставал над маетой: да, его удел таиться и страдать, но он посмел и ведет с в о й счет с богом.

Апраксину не надоедало слушать историю любви и вероотступничества Голицына. Он приходил в страшное возбуждение. Парик сползал с головы, и без того вытарщенные от неумного любопытства глаза

чуть не вываливались из орбит, пот тек со лба на веки, щеки, губы, подбородок, за шелковый шейный платок, который, намокая, из лилового становился черным.

Вначале Апраксин просто слушал, но однажды, видать, прочно закрепив в уме, вопреки обыкновению, главное событие, стал расспрашивать о католических храмах, церковных обрядах, одежде священников и причта, о всех отличиях от православной службы. Польщенный его интересом, Голицын с увлечением, какого на самом деле не испытывал, принялся живописать великолепие и головокружительную высь католических церквей и соборов, украшенных дивными фресками и картинами, скульптурами и витражами, красоту и торжественность богослужения, органную музыку, уносящую душу в горние выси, всю пышность католической церкви, поставившей себя выше владык земных. Ему было немного стыдно, когда он так разливался: его деревенскому воспитанию, заложенному в детстве, остались чужды подавляющая мощь, бесстыдная красота, вызывающее богатство католических храмов и помпезно-холодных служб. Не будучи истово верующим, он, случалось, испытывал в бедной деревянной поповке сладкое до слез волнение, а в католических храмах его рассеянный взгляд вбирал лишь внешние впечатления, а душа молчала.

Через некоторое время Михаил Алексеевич узнал, что его зять Апраксин тоже принял католичество. И сразу тревожно мелькнуло: это даром не пройдет. Конечно, он и вообразить не мог, чем обернется поступок слишком впечатлительного и беспечного графа.

Когда же Голицына затребовали в Петербург, он уже не сомневался, что едет на правёж. С какой стати двору помнить о его мышинном существовании? Апраксин проболтался, он, может, и не выдал его, только хвастался своим переходом в другую, зело роскошную веру, но смекалистые люди небось сразу учуяли, откуда ветер дует. Михаил Алексеевич спешил и не смог перед отъездом повидаться с легкомысленным зятем. Он не научился думать о людях так плохо, как они того заслуживают. Апраксин и не скрывал, кто «отверз» ему «вежды», и, впервые сохранив все подробности бесед с «духовным отцом» в своей худой голове, поведал любопытным о тайном браке Голицы-

на с итальянкой, которую тот прячет в Немецкой слободе.

И пока князь Голицын, успокоив, как мог, жену, тащился на перекладных в Петербург, оттуда же поспешал гонец к московскому губернатору с приказом немедленно выслать из пределов России итальянскую девку Лючию с байстрючкой — брак по католическому обряду монаршей волей был признан недействительным. Без он и другое повеление, составленное в не менее энергичных выражениях: отрядить в Тверь Сергея Бутурлина и Герасима Ларионова с помытчиками, тайниками и силками для поимки объявившейся там белой галки. Это второе поручение немало озадачило губернатора, не считавшего себя в ответе за тверские редкости.

Да, сама императрица заинтересовалась скромной персоной Михаила Алексеевича. Когда московский донос достиг Петербурга, в злобном сердце Анны вспыхнула мстительная радость. Наконец-то она хоть на одном из Голицыных отыграется до конца за их зверование над коленом Иоанновым. Дважды посягали, окаянные, на законную от бога власть! Сперва князь Василий хотел возвести на престол Софью и самому сесть рядом, лишив короны ее отца Ивана и соцарствующего с ним младшего брата Петра. Этого, хитрый, сбежал в Троице-Сергиеву лавру, а простодушный, доверчивый Иван остался у них заложником. Хоть и смутен был ему окружающий мир, но страх, душный, неотступный страх преследовал Ивана, сорвались на вечной опаске слабые силы, помер страдалец в тридцать четыре года, оставив вдову и трех дочек на произвол младшего братца. Петр вволю поиздевался над сиротами. Средняя сестра, окрутившись тайком с Мамоновым, выпала из царевых расчетов, а им с Катериной досталось по «сокровищу», по грязному борову: Катьке — мекленбургской, а ей — курляндской породы. Катька от своего сбежала, а ее красавец, слава те господи, быстро от пьянства очоурился, но успел наплевать в душу молодой жене. Не появивсь Кукленок, жеребец статный и горячий, хоть руки на себя накладывай. А тут вдруг засветило нежданное счастье, открылся путь к трону. И снова поперек Голицын высунулся, близкий родич того, Софьиного усладника. Бог милостив, отвалился и этот, сейчас в Шлиссельбурге кашку

просяную пустыми деснами перетирает. И ведь глазом не повел, старый коршун, ни когда ему смертный приговор зачитали, ни когда по высочайшей милости жизнь даровали. Он уже раз чуть не сыграл в ящик при Петре по делу лисы и казнокрада Шафирова. Отмолила его невесть с чего Екатерина Алексеевна, которую он иначе как Мартой Скавронской и драгунской подстилкой не величал. Что за слабость такая владела обеими императрицами, когда миловали они подлеца? Уважение к древнему роду? Да ведь Долгоруковы, поди, не уступают Голицыным, а как она сама их всех по совету Кукленка, жеребчика — золотое копытце, перепластала: кого на колесо, кого на плаху. А главного смутьяна оставила доживать в бесчестье. Глядишь, долго не протянет, верные порошочки раздобыл умница Педрилло-шут. И вот опять Голицын — от рождения ссыльный, отставной майоришко, пустельга, нищий — показал родовой характер: святой вере изменил, жену-еретичку взял да еще дурачка Апраксина сбил с истинной веры. За это голову снять мало. То-то и оно, что мало. Этим она не разочтется с Голицыными за весь стыд и страх, за позор молодых лет, за унижение, которому, виданное ли дело, подвергли ее, уже императрицу; за Кукленка, вывалявшегося в конском навозе, пока над ней изголялись, за все... Так рассчитается, что он плаху за милость сочтет, когда будет каждый день умирать от стыда, плевков, затрещин, публичного осмеяния, когда станет ниже самого последнего из ее подданных, ниже бессловесной твари. И наслаждением сочилось сердце угрюмой Анны, едва она представляла себе медленную казнь Голицына.

По пути к кабинету императрицы Михаилу Алексеевичу то и дело попадались какие-то странные люди: карлики, арапы и арапчата (с Петровых времен, с черного Ганнибала пошла мода на африканцев и при дворе и в домах знати, а кому не по карману африканцы, красили жженой пробкой своих марфúшек и тишек); козлобородый горбун в полосатых обтяжных штанцах, плаще до половины ягодиц и с пером в бархатной шапочке при виде Голицына заблеял и ткнул его головой в живот так ловко, что не смял красного пера, и вприпрыжку побежал прочь. Затем из двери выглянул кто-то, длинный, худющий, с морщинистым серьезным лицом, в шляпе горшком,

украшенной цветами и куриным пухом; он подмигнул Голицыну карим зорким глазом, странно подмигнул — насмешливо и невесело — и скрылся. Чуть не наскочил на князя погруженный в невеселую думу роскошно одетый вельможа преклонных лет. Голицын остановился, чтобы пропустить почтенного придворного, но тот вдруг очнулся, скруглил испугом глаза и юркнул в какой-то закуток. Голицына удивили его поперечно-полосатые шерстяные чулки, так не подходившие к изысканной одежде. Последним повстречался князю стройный смуглый молодец, одетый, как итальянский синьор, но в странной, усыпанной бисером шапчонке и со скрипкой в руке; он провел смычком по струнам, родившим долгую, томительную, скулящую ноту, и высоким резким тенором, почти фальцетом, пропел, ломаясь: «О, кара миа, донна Лючия!..»

Князь вспомнил популярную неаполитанскую песенку, его тревожно резануло имя — Лючия.

Через несколько минут князь Михаил Голицын узнал, что у него нет жены, нет дочери, нет имения, но взамен всех потерь он получил должность придворного шута...

Поразительно было пристрастие угрюмой Анны Иоанновны к шутам, придуркам, карликам, арапчатам, забавникам всякого рода. У нее на службе было шесть шутов мужского пола, двое достались по наследству от Петра: знаменитый Балакирев и козлобородый португалец Лакоста, в прошлом маклер и мелкий аферист. Петр подарил Лакосте необитаемый островок на Балтийском море и пожаловал титул царя Самоедского. Лакоста был хитер, неглуп и удивительно начитан в Священном писании. Петр любил дискутировать с ним на религиозные темы. Лакоста и Педрилло-итальянец пользовались особой любовью Анны Иоанновны, создавшей специально для них орден Сан-Бенедетто — уменьшенную копию второго по значению русского ордена святого Александра Невского. Легко представить, как это «льстило» кавалерам высокого ордена — сановникам и генералам, но императрица любила унижать людей без всякой нужды. Скрипач Педрилло — его настоящее имя Пьетро Мира — приехал в Россию с итальянским

театром, но предпочел музыке более прибыльную должность придворного шута. Он был в большом фаворе у Анны и Бирона. Они использовали его посредничество при найме итальянских певцов и танцоров, поручали ему покупку бриллиантов и прочих драгоценностей у обедневшей итальянской знати. Сохранилось поразительное по нагло-издевательскому тону письмо Педрилло к одному разорившемуся и «глупому до изумления» герцогу. Педрилло был силен, ловок, великолепно владел шпагой и еще лучше — кинжалом, его опасались задевать. Бирон, не разделявший пристрастия императрицы к шутам — он сам любил только деньги и лошадей, — делал исключение для Педрилло и даже заводил его для разных смешных проделок. Об одной из таких изрядных шуток рассказал Петр Долгоруков в своих записках о нравах при дворе Анны Иоанновны.

«Как-то Бирон сказал Педрилло: «Правда ли, что ты женат на козе?» — «Ваша светлость, не только женат, но моя жена беременна, и я надеюсь, мне дадут достаточно денег, чтобы прилично воспитать моих детей». Через несколько дней он сообщил Бирону, что жена его, коза, родила, и он просит, по старому русскому обычаю, прийти ее навестить и принести в подарок, кто сколько может, один-два червонца. На придворной сцене поставили кровать, положили в нее Педрилло с козой, и все, начиная с императрицы, — за ней двор, офицеры гвардии, — приходили кланяться козе и дарили ее. Это дикое шутовство принесло Педрилло 10 тысяч рублей».

Самым несчастным среди шутов был князь Никита Федорович Волконский. Он стал жертвой императрицыной мести его жене, в прошлом знаменитой красавице, презиравшей жирных и неопрятных дочерей царя Ивана Алексеевича. Едва укрепившись на троне, Анна своей монаршей волей постригла Волконскую в монастырь, а на ее мужа напялила шутовской колпак. Его зятями были преуспевающие государственные мужи, братья Бестужевы, но даже эти родственные узы не помогли бедному старику. А самих Бестужевых, людей гордых и надменных с низшими, ничуть не смущала принадлежность родича к шутовской кувыр-коллегии.

Впрочем, и могучий клан Апраксиных пальцем о палец не ударил в защиту графика Алексея, тоже

зачисленного в шуты за отступничество от правой веры. Анна Иоанновна сочла, что усугубит унижение Голицына, если тот будет кочевряжиться рядом с зятем.

В отличие от Волконского и Голицына, молодой Апраксин несколько не тяготился жалкой ролью. Можно подумать, что он наконец-то обрел свое истинное лицо. Его шатания по рынкам, площадям и тесным улицам Китай-города в поисках грубых увеселений, пристрастие к балаганам, уличному театру, кривлянию бродячих актеров были безотчетным поиском собственной тайной сути. Теперь он нашел себя. Шут по призванию, Апраксин с веселой охотой выламывался на глазах Анны и ее двора: падал, кувыркался, раздавал затрещины и сам получал их, подставлял подножку своему неповоротливому тестю или рассеянному князю Волконскому, скакал верхом на палочке, задирали Балакирева и царя Самоедского, плясал под скрипочку Педрилло, вызывал громкий смех и был вполне счастлив. В роли шута он оказался злым человеком: затевал драки, обижал бедных арапчат и не пропускал случая причинить неприятность безответному Голицыну.

Самым жалким, униженным, заплеванным шутом был Михаил Голицын. Когда Анна обрушилась на него с площадной бранью и он понял, что жизнь рухнула, у него разом выпали волосы. Он не знал этого, пока не снял парик, — весь клееный марлевый испод был забит его выпавшей русой шевелюрой. Несколько минут императрицыного грома и молний превратили цветущего мужчину в старика с голой, как бильярдный шар, головой. Любимым развлечением Апраксина было сдернуть парик с лысой головы тестя, это неизменно вызывало благосклонный смешок государыни и брезгливую усмешку Бирона.

Вместе с волосами Голицын утратил и то, что называется чувством собственного достоинства, точнее, ощущение себя как личности.

За дружбу с кавалером Монсом, соблаздившим жену Петра, прошедший застенок, пытки, битье кнутом, ссылку, солдатчину дворянский сын Балакирев и то, бывало, огрызался на императрицу и даже на самого Бирона, отказывал им в повиновении, за что был нещадно сечен, но повадки своей независимой не бросал. Педрилло и Лакосту боялись трогать; князя

Волконского щадили; Апраксин так охотно шел навстречу оскорблениям, пинкам и тычкам, что с ним не интересно было заводитьсь. Отыгрывались все кому не лень на Михаиле Голицыне. Тон задавала императрица.

Как-то Голицыну велено было подавать гостям освежающее питье — разные квасы: хлебный с изюмом и хренком, клюквенный, яблочный, грушевый, вишневый. Начинать обнос надлежало с государыни. То ли квасок и впрямь не удался — да ведь не Голицын его готовил, — то ли во рту горчило, но императрица, сделав глоток-другой, сморщилась, плюнула и с силой выплеснула из кружки остаток в лицо Голицыну. Державный жест сочли нужным повторить все придворные, кроме князя Куракина. За свою испытанную преданность он один получил право напиваться на дворцовых приемах, хотя Анна извела древний обычай изобильного винопития; князь на дух не переносил квасу, а горячительные напитки слишком уважал, чтобы ими плескаться.

Да, шутка получилась отменная. Разве не смешно, когда человеку обливают рожу пенистым квасом, но поведение Голицына усугубляло комизм. Уже зная, что остаток кваса непременно угодит ему в глаза, он не пытался ни увернуться, ни прикрыться рукой, ни хотя бы прорваться досадой, гневом, жалобой. Нет, он всякий раз наивно удивлялся коричневой или другой окраски жиже, стекающей с подбородка на камзол. Он тер лицо ладонями, разглядывал их удивленно, обтирал о панталоны и шел за новой кружкой кваса, что-то бормоча и задумчиво покусывая губы. Голицын словно решал какую-то непосильную задачу и тратил на это все душевные силы, не оставляя ничего для обиды, гнева, возмущения или молчаливого призыва к состраданию. Нет, он всегда оставался серьезен, задумчив и покорен. Какой-то стержень сломался в Голицыне, в нем не осталось воли ни к сопротивлению, ни к самозащите. Он безропотно принимал все, что над ним творили, и только хотел постигнуть омраченным рассудком, что же такое случилось, почему все так переменилось в его жизни, куда девались те, с кем ему было хорошо, и откуда пришло столько вражды и зла. Ответ ускользал, и он сердился на себя за недогадливость.

Вместе с квасом, выплеснутым в лицо, государыня

подарила Голицыну и новое имя, хотя вовсе о том не помышляла. Это имя попало во все дворцовые ведомости, официальные бумаги, вытеснив наследственное, «крестным отцом» оказался шут Балакирев.

— Квасник! — давясь от смеха, сказал Балакирев, хотя темные глаза его оставались сумрачными, и ткнул Голицына пальцем в живот.

Придворные разразились хохотом, даже Бирон позволил себе улыбнуться и швырнул Балакиреву золотой, который тот ловко поймал. Видя такую щедрость по-немецки экономного Кукленка, Анна Иоанновна, расточительная до болезненности, сорвала с пальца брильянтовый перстень и кинула Балакиреву. Он так же ловко поймал и этот дар, глянул на пляшущего под свою скрипочку Педрилло, усмехнулся, подметив его алчный, завистливый взгляд, и не спеша, чтобы позлить итальянца, насунул перстень на мизинец. Питаный, битый, познавший бешеный гнев Петра, шут Балакирев не боялся шута Педрилло со всем его итальянским коварством.

Кличка присохла. Теперь у Голицына было отнято последнее — имя. Он смирился и с этим, как и со всем другим. Кончать с собой надо было сразу, но человек со смятой душой был лишен дара последнего жеста. И он отозвался на Квасника. Прибавилось лишь умственной заботы, надо было что-то понять в связи с новым именем: почему так, разве дозволено, коли не крестили... и как понять — имя ему дали или фамилию?.. — но даже вопроса перед собой толково поставить не мог. Неглупый, образованный, живой человек неудержимо катился в черную яму.

Помимо шутов «мужеска пола», у Анны Иоанновны имелся еще штат шутих, или, как она сама говорила, дур и полудурок. К последним относились болтушки, обычно из девиц благородного происхождения, их разыскивали по всей стране. Как только доходил слух, что где-то в российских пространствах объявилась выдающаяся трещотка, туда немедленно посылался циркуляр, составленный в той же строгой манере бюрократического велеречия, что и другие официальные бумаги, касающиеся дипломатических, хозяйственных или военных дел, и циркуляр этот предписывал немедленно доставить ко двору в целостности и сохранности говорливое чудо. Болтушки заменяли Анне Иоанновне газету: «С.-Петербургские

ведомости» были сухи, казенны и ничего интересного, кроме сообщений об охотничьих трофеях императрицы, не помещали. А ей требовались городские сплетни: кто женился, кто проворовался, кто с кем согрешил, у кого ребенок родился, кто жену или тещу поколотил, кто да чем занедужил. Лишь о смертях Анна Иоанновна не любила слушать, и если какая трещотка пробалтывалась, она кричала: «Кукла, по-ди вон!.. Ступай, ступай вон!» — и швыряла в провинившуюся чем попало. Болтушкам запрещалось садиться в присутствии императрицы — у них деревене-ли ноги, кружилась голова. Одна из трещоток сильно недужила и как-то после нескольких часов непрерывной работы языком вдруг грохнулась в об-мороке. Анна Иоанновна приказала принести столик и ширму. Болтушку привели в чувство, сунули за ширму и разрешили опереться локтями о столик, после чего она вновь открыла словесный кран. Анна Иоанновна боялась оставаться наедине со своими мыслями, ибо сразу начинала думать о том, что трон, который она легко получила, так же легко может быть отобран.

Лучше других отвлекала Анну Иоанновну от тягостных мыслей любимейшая шутиха, камчадалка Буженинова. Конечно, то была не настоящая фами-лия, которой она и сама уже не помнила, — Бужени-новой прозвала ее государыня, предпочитавшая всем изысканным блюдам простое и вкусное кушанье из свинины. Рядом с крошечной, хоть и не карлицей, всегда грязненькой и неумно веселой дурочкой, в ми-ру Евдокией Ивановной, государыня особенно счастливо ощущала превосходство всех своих жен-ских статей: фигуры, дородства, роста. Буженинова любила яркие шали и побрякушки, государыня обря-жала свою любимицу, как рождественскую елку, а та платила ей заразительной улыбкой, открывавшей тридцать два белейших неровных, спереди чуть выпи-рающих зуба. Улыбка эта веселила, успокаивала.

Больше Бужениновой Анна Иоанновна любила только Бирона, но то была страсть. Ради него тяже-лая, сырая, часто недужившая императрица задела-лась лихой, бесстрашной наездницей, привязалась к лошадям и даже устроила кабинет при конюшнях, ради него стала меткой ружейной охотницей, лучни-цей и бильярдисткой, ради него вела большую карточ-

ную игру в «фараон», «банк» и «квинтич», хотя не выносила карт; она всегда держала банк, чтобы проиграть, а если это не удавалось, не обменивала выигранные марки на деньги. Чрезмерная тароватость императрицы дорого обходилась ее придворным: мотовство предписывалось всем желающим появляться при дворе, требовались умопомрачительные, всегда новые туалеты и обилие драгоценностей, необходимо было умение сорить деньгами, на чем немало выгадывали шуты, кроме Волконского и Голицына; первый старался не принимать подачек, второй никогда их не заслуживал, хотя в шутовской возне ему отводилась наиболее докучная и тягостная роль. Если играли в чехарду, он подставлял широкую спину для прыгунов, если дрались, то самые крепкие затрещины доставались ему; всем шутам, кроме Педрилло, на утреннем выходе императрицы полагалось сидеть в лукошке и приветствовать ее петушиным кукареканьем. Только Голицыну велено было квохтать наседкой и хлопать крыльями.

И тут на свою беду ему удалось додумать одну мысль: наседка квохчет и хлопает крыльями, когда сносит яйцо, а он ничего не сносит. Это мудрое соображение он осмелился высказать императрице своим новым просевшим скрипучим голосом:

— Квасник, дурак, что ты городишь? — запричитала Анна Иоанновна, — Квасник, поди вон!

— Собака лает, лягушка кричит, — высунулась, сверкая сахарными зубами на грязном лице, Буженинова, — ямщиком свищет, кошкой мяучит, стрикодонном стрикодонит, а пузырем лопнет!

То была поговорка-скороговорка Анны Иоанновны, где она ее подхватила, бог ведает, императрица почему-то любила слышать этот бессмысленный набор слов от других, но придворные всегда сбивались, и это ее сердило. Одна дура Буженинова выпаливала, не споткнувшись, затейливую чушь, и всякий раз государыня обнаруживала тут какой-то неожиданный смысл. Вот и сейчас поговорка оказалась весьма кстати — навела государыню на счастливую мысль. Хватит стрикодону зазря стрикодонить: коль сидишь в лукошке и квохчешь, так уж высиживай цыплят. Отныне Голицыну всякий раз стали подкладывать в лукошко еще теплые, из-под наседки, яйца. Он не смел покидать лукошко, пока не выведет цыплят.

Случалось, что по неловкости или задремав, он давил яйца. Тогда ему вымазывали физиономию клейкой массой и запрещали утираться. Допоздна ходил он в мерзопакостном виде. Умывали его квасом.

К штату шутов и шутих императрицы принадлежало несколько арапок и арапчат с несмываемой чернотой плосконосых лиц и десятка два разноцветных попугаев, которые гадили всюду, кроме своих позолоченных клеток. Анна Иоанновна очень ими утешалась.

— Попугаюшко!.. Попугаюшко!.. Марфутка дура?

— Дур-ра! — со вкусом подтверждал палево-розовый хохлатый попугай.

— Попугайчики, Квасник дурак? — спрашивала императрица.

— Дур-рак! Дур-рак! Дур-рак! — ликуя, орали слепяще золотые, кроваво-красные с синими крыльями, дымчато-черные с малиновыми коронами, зеленые, как гороховые стручки, изумрудные и снежно-белые красавцы. Этим крикам пернатых обучил Лакоста.

Михаил Алексеевич наклонял большую лобастую голову, с которой тотчас падал парик, обнажая глянec голого черепного свода, и задумывался над очередным мучительным вопросом, который никак не мог поставить перед собой, хотя не было на свете ничего важнее. Шуты принимались толкать его, тормошить, а четырнадцатилетний Биронов сын, допускаемый на взрослые собрания — хлестать по икрам злым кнутиком из сыромятной кожи. Шуты одевались не хуже вельмож, отличали их поперечно-полосатые шерстяные чулки, предписанные отечественным дуракам. Педрилло и царь Самоедский щеголяли в обтяжных штанах с продольными широкими полосами. Они все числились на дворцовой службе, получали жалованье и довольствие: мукой, топленным маслом, сальными свечами и дровами, как и первые российские академики, один из которых неизменно присутствовал на дворцовых приемах, занимая промежуточное положение между шутами и попугаями. То был знаменитый пиит Василий Тредиаковский, пробудивший в высшем обществе тягу к стихам. Всякое значительное событие: взятие вра-

жеской крепости, тезоименитство государыни, заключение мирного договора, благополучное разрешение от бремени любимой кобылы Бирона, любой праздник или тризна непременно требовали поэтического воспевания. Порой возникала настоятельная нужда в поэзии, способной возбудить государыню. Она чувствовала легкое остужение Бирона и винила в том самое себя, постоянные недуги притупляли ее чувственность. И на это был великий мастер Василий Кириллович. Стоя на коленях перед императрицей, он читал любереазжигающие вирши и неизменно получал «всемилодивейшую из собственных Ее Императорского Величества рук оплеушину» и детишкам на молочишко.

Этот замечательный деятель русской культуры, прививший России классицизм, а русской поэзии — силлабо-тоническое стихосложение, прожил жизнь немногим лучше голицынского горевания поры его придворной службы. Его и бивали, и раз едва не забил насмерть кабинет-министр Артемий Волынский. Волею провидения этот омерзительный даже для грубых и страшных нравов той поры поступок напрямую связан с злосчастной судьбой Голицына, о чем речь пойдет в свое время. А избиение несчастного поэта было опрометчивым ходом в смертельной игре, в которой решались не только личные судьбы главных людей эпохи, но и всего общерусского дела. Так уж получилось, что маленькой жизнью Михаила Алексеича Голицына управляли события исторической грозности.

Прошло время, Михаил Алексеич так и не обрел привычки к выпавшей ему доле, не приспособился, не облегчил хоть сколько-нибудь жалкой своей участи. Он оставался изгоем даже среди шутов, и странно, что мстительная злоба Анны Иоанновны не только не утишилась, не смягчилась хотя бы скукой от покорного унижения человека, не сделавшего ей ничего плохого, а как-то дурно затвердела. Она подозревала, что таинственным, непостижимым образом Квасник ослабил действие кары, вывернулся из той скорби, которая читалась в мученическом взоре князя Волконского. Тот продолжал томиться болью по жене, а этот грузный, мерзко сановитый дурак ушел в какую-то щель, где его не достать ни пинками, ни квасом. Однажды Анна Иоанновна заставила Буже-

нинову спросить шута при ней: скучает ли он о жене? Квасник сделал такое глубокомысленное лицо, что стало ясно; он не понял, о чем идет речь.

Голицын не притворялся, он и правда не помнил своей прошлой жизни, но смутный образ чего-то бывшего брезжил неясным томлением, и хотелось угадать черты того, что он в предельном и мучительном напряжении определял: раньше было не так. А как?.. Этого он не знал. Анна была по-своему права. Муку Голицына скрало помрачение рассудка, которого хватало лишь на прямое действие сиюминутной жизни. Голицын сохранил от забытого прошлого некоторые мелкие привычки, скажем, дважды в день потчевать нос понюшками табака, сохранил всегда отличавшую его опрятность, осанку, так смешившую придворных, а государыню остро раздражавшую, но почти отвык говорить, хотя все слова помнил. А с кем и о чем было ему говорить? Он никогда не улыбался, но и не плакал. Получал удовольствие от бани, особенно на полке, но не испытывал боли от побоев. Голицын не обижался на окружающих, ибо не понимал их поведения; наверное, эти человекоподобные иначе не могут, а он не может поступать по-ихнему.

Меж тем он приближался к пику своей страшной жизни, к тому, что сделало его известным не только в России. Вернее сказать, его несло к этому пику в бурном потоке, каким давно обернулась тогда историческая жизнь России, сам он был щепкой, размокшим бумажным корабликом.

Анна Иоанновна, по определению тогдашней медицины, страдала тяжелой «каменной болезнью». Граф Петр Панин в своих записках утверждал, что внутри государыни находился камень величиной с мельничный жернов, «который обнимал всю внутренность утробы и совершенно обезобразил устройство оной». Окружающие чувствовали, что дни ее сочтены, но сама Анна упорно гнала мысль о смерти и через силу старалась поддерживать прежний образ жизни: с лошадьми, охотой, стрельбой по птичьим стаям из окон дворца, карточной игрой, бужениной и Бироном. Но принимала теперь лишь самых близких, оставаясь нередко в постели, под пышным атласным одеялом, в ногах у нее скоморошничала Буженинова, а в головах — грудастая Биронова жена Бенингна по-

давала государыне лекарства и предписанное врачами освежающее питье. Квас был уже не про ее честь.

Постоянное недомогание, дурное настроение требовало выхода, и Анна отыгрывалась на шутах, болтушках, арапках, ТрEDIAKовском и даже на попугаях, которых берегли,— птица заморская, ценная, нежная,— но однажды государыня в порыве неудовольствия всемилостивейше вырвала хвост у златоперого, с пунцовой короной красавца собственными ее императорского величества ручками. Без этого украшения он почему-то не мог летать, смешно кувыркался в воздухе, падал и пронзительно орал. Вначале это развлекало, потом стало раздражать, попугая ощипали, зажарили и жесткое — не прожевать — мясо скормили двум наиболее жалким шутам: Голицыну и Волконскому. Апраксин тоже просил кусочек, но ему не дали.

Всех волновал вопрос о наследнике. Петр I принял узаконение о том, что наследника назначает царствующий государь, но сам преемника не назначил, чем и вызвал большую смуту. Всесильный князь Меншиков подарил России последовательно двух монархов, прежде чем успокоиться в березовской ссылке; удачно «распорядился» престолом князь Дмитрий Голицын «со товарищи», за что и был награжден заточением, а товарищи — плахой. Забегая вперед, скажем: по смерти Анны Иоанновны престолом распоряжалась гвардия. Как бы предчувствуя грядущие неурядицы, Анна решила навсегда закрепить трон за коленом Иоанновым: она вызвала к себе племянницу Анну Леопольдовну Мекленбургскую и объявила наследником первенца мужского рода незамужней еще принцессы. К исходу тридцатых годов, когда императрица серьезно занедужила, принцессу выдали замуж за герцога Брауншвейгского и с нетерпением стали ждать наследника, который и появился в должный срок и был наречен Иваном. Но кому быть регентом в пору малолетства Ивана VI? Конечно, матери — племяннице и наперснице императрицы. Это казалось естественным всем, в том числе самой Анне Иоанновне, но не Бирону, герцогу Курляндскому, ведь регент — неограниченный правитель России. Прозрачный расчет временщика «соединить Россию и Курляндию под своим скипетром» вовсе не устраивал

другого честолюбца, кабинет-министра Артемия Петровича Волынского.

Либеральные русские историки, равно и доверчивые исторические романисты, хотели видеть в Артемии Волынском то, чего в нем не было: бунтаря, защитника шляхетских вольностей, непримиримого борца с бироновщиной. А был он несостоявшийся временщик. Ему не удалось сыграть той роли, какую играли Меншиков, Иван Долгоруков, Бирон, он появился на авансцене русской истории слишком поздно, когда все главные места у кормила власти были захватаны. И хотя Петр успел его приметить и выделить, он остался самым непреуспевающим птенцом гнезда Петрова. Волынский слишком торопился сравняться со старшими баловнями фортуны и великими казнокрадами: своим шефом Петром Шафировым и кумиром Меншиковым. Едва войдя в милость к Петру, он вскоре ее лишился по необузданному мздоимству, своеволию и служебным злоупотреблениям. Большой карьеры Волынский так и не сделал, но успел разорить молодую Астраханскую губернию и возмутить инородцев своими притеснениями и грабительством, равно и обобрать казанские земли, где он сперва воеводил, потом губернаторствовал. Он вошел в доверие к Анне Иоанновне, выступив против верхников, а затем участвуя в несправедном суде над ними в самой видной роли. Колоссальными взятками он расположил к себе и Бирона.

Ленивой умом Анне он понравился своими четкими, ясными докладами (писать, по собственному признанию Волынского, он «всегда был горазд»), исполнительностью, беззаветной, как ей казалось, преданностью и был назначен кабинет-министром. Так он оказался на высоте, с которой возможен любой, самый далекий прыжок. В пылком воображении Волынского мелькали смелые планы: заместить при Анне Бирона, осилив того радетельным государственным умом, для чего он пытался наставлять ее макиавеллистически тонкими посланиями («горазд был писать»), но вскоре похоронил эти расчеты — Анна была слишком предана Бирону, к тому же недолговечна. Тогда он обратил взор к Анне Леопольдовне: что, если войти к ней в доверие и подчинить себе легкомысленную сластолюбивую дуру, как подчинил кумир Данилыч государыню Екатерину Алексеевну?

Но он решительно не нравился Анне Леопольдовне, признававшей лишь обходительных, лощеных кавалеров. Тогда он вспомнил о дочери Петровой Елизавете, законной, черт побери, наследнице царя-преобразователя: вот бы кого возвести на престол, а там и сесть рядом в качестве законного мужа — он далеко не стар, крепок и по неумемному духу сродни шалой принцессе.

Сближение с умными людьми: Татищевым, Еропкиным, Хрущовым дало новое направление его мыслям. Он скинет Бирона, но не путем интриг, сомнительных амуров, а опираясь на смелое, вольнолюбивое шляхетство, которое сделало Анну самодержицей, защитив ее от верховников, а в благодарность получило бироновщину. Пора посчитаться за все надругательства, пора оградить свои права от наглости курляндского временщика. Это свободолюбие загадочно и гармонично соседствовало в Волынском с планами личного возвышения. Однажды он публично пролил слезу, представив себе, как будет гордиться его сын величием отца.

Способный искренне вдохновляться всем, что может принести ему выгоду, Волынский всерьез рассуждал с друзьями-единомышленниками о необходимости государственного переустройства и законодательного утверждения прав дворянства, набрасывал разные прожекты, которые потом все оказались в руках Тайной канцелярии. В одном Волынский был до конца искренен, когда на допросе, на дыбе отказывался признать себя ниспровергателем. Он просто хотел куролесить над Русью, как Бирон. Чем он хуже?..

Благоприятели русского шляхетства что ни день собирались у Волынского, болтали языками, но ничего не делали для осуществления своих честолюбивых замыслов, даже не пытались приобрести сообщников среди дворян в армии или чиновничьей среде. Добились они лишь одного: по городу потек слух о заговоре. Поражает легкомыслие, доверчивость и безалаберность главных действующих лиц тех кровавых спектаклей, которые разыгрывались перед вечностью. Заговорщики то собираются в доме, полном слуг, и даже забывают притворить двери, то разглагольствуют в кабаках на радость осведомителям, то, пренебрегая перлюстрацией писем, открывают душу

друзьям, знакомым, подругам в горячих посланиях, губя не только себя, но и своих адресатов; из-за жалких промашек проваливаются дерзкие планы, но порой столь же безответственные люди производят государственный переворот с ротой гвардейцев — легкомыслие противников превосходило их собственное.

Как ни беспечен и ни самоуверен был Волынский, но вскоре он почувствовал если не охлаждение, то настороженность императрицы. А потом Бирон откровенно дал понять, что против Волынского интригуют. Бирону нужны были клеветы среди влиятельных русских, нельзя же опираться только на немецкую партию, но он напрасно полагал, будто Волынский годится на эту роль. Ублаженное, пусть и не насытившееся до конца честолюбие столкнулось со жгуче неудовлетворенным и потому непримиримым честолюбием. Волынский не внял предупреждению, а вскоре чем-то задел Бирона. Тот надулся, Волынский пренебрег обидой фаворита. Бирон увидел, что на Волынского рассчитывать нечего, тот ведет какую-то свою игру. Он принял это к сведению и холодно возненавидел кабинет-министра.

Друзья дали понять Волынскому, что он зарвался. Выход был один — вновь завоевать расположение Анны. Это было непросто: государственной заботой ее не проймешь, плевать она хотела на российские дела, когда ее собственные так плохи. Желтая, мрачная, с жерновом в чреслах, возлежала она на высоких подушках, изводя капризами заботливую Бенингну, то и дело гневалась на болтушек, которые от усердия языки себе обтрепали, усаживала их за пяльцы. Вместо «сорок» приказывала доставить гвардейских солдат с женами, они должны были плясать и водить хороводы. Но и это быстро надоедало, гвардейцам давали по бокалу венгерского вина и отсылали прочь. Шутов Анна Иоанновна видеть не могла, от них у нее начиналось разлитие желчи. Одного Педрилло изредка звали, чтобы поиграл на скрипке. Она еще отзывалась на неумную и ласковую веселость Бужениновой, и то ненадолго: «Куколка!.. Кукла!.. Пошла вон, надоела!..»

Волынский понял: надо измыслить какое-то небывалое увеселение, чтобы императрица встряхнулась, забыв о боли, выиграла духом и плотью, изобрести

что-нибудь грандиозное — в Нероновом духе. Спать Петербург?.. На это могут не пойти, к тому же нет холма, с вершины которого хорошо наблюдать игру пламени, вся окрестность — площадь. Да и зима на дворе, значит, увеселение требуется в российском студеном роде, а не в римском — жарком.

Волынский прикинул туда-сюда и поделился своими мыслями с друзьями.

— Давно бы так! — отозвались «реформаторы». — Наконец-то очнулся. Только чем е е удивить?

— Представляется мне санное шествие великое, — чуть неуверенно начал Волынский, но затем голос его налился, — всех народов, населяющих нашу землю, даже самых диких: самоедов, иргизов. И чтобы каждая народность в своем одеянии была, со своей музыкой. А сани будут запряжены и лошадьми, и верблюдами, и оленями, и собаками, и быками...

— Свињьями тоже, — подсказал молчаливый умный Хрущов.

— А кто на них ездит?

— Кто хошь. Нешто Анна, тем паче Бирон знают русские обычаи? А занятно!

— На свињьях Остреман с Левенвольде поедут, — предложил зодчий Еропкин.

— Не шуткуй, — одернул его лобастый серьезный Татищев. — На свињьях поедет тот, кто государыне не потрафил: дани не уплатил или бунташным делом баловался.

— Слона надо, — снова сказал Хрущов.

С этим все сразу согласились, хотя и не очень понимали, при чем тут слон и кто на нем поедет. Но слон — это величественно.

— Пусть восчувствует государыня, сколь необъятна ее держава, — вдохновенно продолжал Волынский, — сколько разных народов под ней ходит. Обольется ее сердце законной гордостью, и хворь отступит. Да и потешат ее нарядами, песнями, плясками все эти уроды.

— А всежки этого мало, — пригасил его радость упрямый Татищев, всегда желавший добраться до последней сути. — Шествие — хорошо, да ведь оно должно куда-то прибыть. Не во дворец же их поведут.

— Эк куда хватил! — с досадой сказал Волынский. — Разведем костры на площади, выкатим бочки

вина, цельных быков и кабанов на вертела насадим. А как нажрут, прогоним домой.

— Не о сволочи всякой, о государыне речь, — веско сказал Татищев. — Ты ее, что ль, на площади потчевать будешь?

— Ладно, не тяни, — поморщился Волынский, догадавшийся, что головастый грамотей чего-то удумал.

— Ледяной дом нужен! — изрек Татищев.

— Дом?.. А зачем?

— Дом — это так говорится... Дворец изо льда — и снаружи, и изнутри. И в этом ледяном дворце, за ледяными столами пир закатить, какого еще в целом свете не бывало.

— Смеешься, что ли? — неуверенно сказал Волынский. — Нешто можно такой дворец построить, и кто за это возьмется?

— Можно, — тихо и спокойно произнес зодчий Еропкин. — В нашем климате — и говорить нечего. Даже итальянцы ледяные капризы строят, а в такой морозище!.. Изо льда, Артемий Петрович, строить сподручней, чем из дерева, камня или глины. Он и режется легко, и никакого крепежу не требуется, кроме воды. Хочешь, я все в полном виде и плепорции изобразю?

Но когда через несколько дней Еропкин представил рисунок, изображающий весь дворец целиком, и чертежи его отдельных частей, Волынского снова взяло сомнение: неужто такое осуществимо? Еропкин заверил, что можно смело показывать проект государыне, и коли она утвердит, то все будет исполнено до тонкости и даже сверх того прелестнее. «Пойми, Артемий Петрович, — убеждал его Еропкин, — коли мы обманем государыню, ты выкрутишься, а ведь мне карачун». Последний довод убедил Волынского, который в своих жизненных расчетах полагался лишь на низменные свойства человеческой природы: страх, корысть, зависть, мстительность — и никогда на благородные. Друг Еропкин сказал правду: коли с ледяным домом что будет не так, ему конец, если и не от Анны Иоанновны, то от самого Волынского. Ноздри рвут за меньшие провинности — за подстреленного рябчика или куропатку, ибо вся дичь принадлежит государыне — Диане-охотнице. Но за обман доверия помазанницы божьей ноздрями не откупишься.

Рисунки и чертежи Еропкина произвели на Анну

Иоанновну большее впечатление, нежели Волынский мог надеяться. Ее серое обрюзгшее лицо порозовело и высветилось. А услышав о шествии народов, она чуть с кровати не соскочила. Она не выразила ни малейшего сомнения в осуществлении всего этого грандиозного и невиданного праздника и сразу назначила Волынского главой машкеральной комиссии. При всей своей проницательности Волынский не проглянул причины столь сильного воодушевления Анны Иоанновны. То была месть Кукленку, который в последнее время, ссылаясь на важные заботы, почти не приходил к ней. Зато Волынский не обманулся в благожелательном отношении Бирона к его планам: по немецкой сухости и отсутствию воображения тот не поверил в затею с ледяным домом и от души желал пошатнувшемуся кабинет-министру скорейшего падения.

Но теперь уже Волынский знал, что все будет: и ледяной дворец, и шествие народное, и даже слон, за которым послали к персидскому шаху. Немало соболей, куниц, песцов и горностаев потребовалось в уплату. Еропкин решил по зрелому размышлению поставить возле дворца второго слона — ледяного, и этот слон будет выбрасывать из хобота нефтяной огонь. Волынского опять взяло сомнение: в своем ли тот уме? Но глаза зодчего смотрели светло и ясно, и Волынский успокоился.

И все-таки апофеоз празднества, едва ли не превзошедшего все чудеса, придуманные Волынским и его штабом, родился в проснувшемся уме императрицы: шутовская свадьба. Куколка Буженинова уже не раз говаривала со смехом, что ей осточертело в девках ходить, не хочет она помирать, не изведав сладости любви. Государыня надсаживалась от хохота, слыша эти признания от грязной, засаленной, зубастой полукарлицы. Но когда Буженинова вновь завела свою погудку, Анну вдруг осенило: «За чем же дело стало? Кругом вон сколько кавалеров: и беленьких, и черненьких». — «Я девица приличная, — возмутилась Буженинова, — теремного воспитания. Я в грехе не хочу. Чтобы все по божескому закону». — «О том и речь, выбирай себе жениха, враз окрутим, а свадьбу сыграем в ледяном доме». Буженинова вдруг как-то странно засмеялась, стала кувыркаться, дурачиться, притворяться сконфуженной. «Ладно, — решила Ан-

на, — выдадим тебя за короля Самоедского, будешь мне как сестра». — «Да какой он король! — взвизнула Буженинова. — Бродяга, протерь вроде меня. Нет уж, матушка, в сестры я тебе не прошусь, а вот княгиней быть очень даже желаю. Пойду только за Голицына, он твоей заботой один у нас холостяк». Бедный Михаил Алексеевич стоял так низко, по мнению Анны, что она даже не сообразила, что речь идет о нем, и стала припоминать, какие Голицыны остались на виду. Один есть, но далеко за ним лезть. «Да ты, Куколка, с остатнего ума съехала. Нешто возьмет тебя президент юстиц-коллегии?» — «А ты дурее меня, матушка, — нахально отозвалась Буженинова. — Больно нужен мне твой президент, сама с ним целуйся. Я о нашем говорю, о Мишеньке, очень он мне по душе». — «О Кваснике? — наконец-то сообразила Анна, и злое сердце ее возликовало: вот оно, последнее, ни с чем не сравнимое надругательство, которого так недоставало, — окрутить Гедиминовича с грязной полудуркой-камчадалкой. — Целуй руку, Куколка, быть тебе княгиней». Но какая-то жалость к этой дурехе шевельнулась в императрице. «Неужто тебе не противно?» — спросила Анна почти сочувственно. «А чего?.. Он мужчина видный... С положением, — закатывая глазки, ломалась Буженинова. — Да и ты, матушка, чай, не поскупишься — подбросишь на свадьбу деревеньку». И это понравилось Анне: Буженинова, конечно, хотела угодить ей, идя под венец с заплеванным слабоумным шутком, хотя Анна могла бы выдать ее за писаря, за попovichа и даже за офицера: дай ему повышение, крестик в петличку и «душек» — любой согласится. Но хорошо, что шутиха сама назначила себе награду, не любила Анна быть кому обязанной, даже шутихе; все должны быть в долгу перед ней. «Быть посему!» — государственным голосом изрекла императрица Анна.

Узнав о жениховстве Квасника, Апраксин, Балакирев и король Самоедский увенчали его венком из капустных листьев, петрушки, укропа и разных сухих трав. Голицын покорно принял дар и ходил в срамном венке, пока тот не рассыпался.

Распоряжение императрицы о свадьбе шутов удивило единомышленников Волынского неожиданной пронзительностью ленивого ума императрицы. «Гуманная» выдумка вызвала восхищение у доморо-

ценных кромвелей, решивших положить предел сво-
евластию русских монархов.

— Недаром у ней с Петром один корень! — уми-
лился Еропкин.

— Какие они кровные, коли Петра Салтыков
настрогал? — раздумчиво произнес Татищев. Впро-
чем, от кого Анна, тоже неизвестно.

— По такому поводу вирши надобны, — заявил
Хрущов.

— Какие еще вирши? — Волынский никогда не
мог уследить за извилистыми ходами его сокровенной
мысли.

— Молодую чету славящие. В одически-высмеи-
вательном роде. Зело непристойные. Императрица
похабство любит, а гневается только для вида. Пиите
ТрEDIAKовскому сколько табакерочек да перстеньков
перепало!

— Сия поэзия в Европе анакреонтической прозы-
вается, — изрек Татищев.

— Полегче! — предупредил Волынский, не лю-
бивший, чтобы перед ним заносились. — В Европе
народ изнеженный, а нашему уху позабористей
надобно. Ничего. Васька ТрEDIAKовский спра-
вится.

Когда славно задумано, все идет к рукам. Затеял
Анну развлечь и свое положение укрепить, а заодно
вышло Голицыных чванный род в грязь втоптать да
еще с паршивцем ТрEDIAKовским посчитаться. Во-
лынский, гордившийся своим происхождением от
героя Куликовской битвы воеводы Волынского-Боб-
рока, все равно выходил ниже Гедиминовичей и не
мог им этого простить. С ТрEDIAKовским был иной
счет. Еще до студенческих парижских дней поэт поль-
зовался покровительством Куракиных, заклятых
врагов Волынского. Кабинет-министр подозревал, что
по наущению Куракина ТрEDIAKовский написал на
него гадостные вирши, имевшие хождение в Петер-
бурге. Раболепствуя перед государыней и Бироном,
ТрEDIAKовский был весьма сварлив в академии, да
и перед вельможами не всегда гнул спину. Раб ужи-
вался в нем с другим человеком, знаящим себе
цену. Сейчас Волынский покажет, какая ему цена.
Одно дело — развлекать императрицу виршами в
анакреон... тьфу... роде, другое — публично про-
честь похабную оду, славящую свадьбу пошлых

шутов: сам себя в грязь втопчет, раздувшееся ничтожество!

И все же ни одно задуманное дело, даже если им правят такие сильные руки, как у Волынского, не проходит совсем гладко. Затруднения, самые порой неожиданные, возникали во все дни подготовки к празднеству. То сдох на полпути отправленный из Персии слон: сожрал с сеном каску и колет ратника, отряженного к нему в охрану. Как оказались в сене эти предметы? Конечно, можно было обойтись одним ледяным слоном, но Волынский любил каждое дело доводить до конца, тем паче что сметливый Еропкин нарисовал дивную золотую клетку, в которой повезут шутов на слоне из храма в ледяной дом. Ратника забили и назначили другого, шаху выслали новые щедрые подарки — мех черно-бурых лисиц, и второй слон благополучно прибыл в Петербург, вызвав легкое волнение в городе, быстро, впрочем, подавленное.

Немалые хлопоты доставило собрание по всей стране инородцев, входящих в Русскую империю. При первом беглом подсчете их оказалось такое множество, что голова пошла кругом. Решили, что обсчитались: одних и тех же узкоглазых зачислили по разным «ведомствам». Обратились в академию, но оттуда прислали список чуть не вдвое больший. В академии, если исключить Василия Тредиаковского, сидели одни немцы: что они в русских обстоятельствах понимают, им лишь бы свою ученость показать, а заодно создать помеху русскому делу. Этот список кинули в печь, а ранее составленный своим умом привели в надлежащий вид: так, всех насельников земель за Оренбургом и к югу зачислили в иргизы, всех, кто к Кавказским горам жметя, — в абхазцы, жителей далеких восточных пределов — в якуты, сделав исключение для камчадалов в честь невесты Бужениновой, обитателей же моховых тундровых пространств — в самоеды. И все равно народов оказалось чуть ли не больше, чем во всей Европе: хохлы, чухонцы, мордва, черемисы, башкиры, калмыки, чувашы, вятичи, молдаване, татары — всех не перечсть.

Слон — существо нежное, избалованное, неудивительно, что первый посланец из Персии сдох в пути, хотя, казалось бы, что такое его необъятному же-

лудку колет и каска! Жители же Российской империи — народ закаленный, в дороге не портящийся, но и здесь случались накладки. Кто опился, кто какую-то дрянь сожрал и от живота изошел; у самоедов олени передохли — к нашей траве не приучены; иные до того запаршивели и обтрепались в дороге, что пришлось их в госпиталь класть на оправку и откорм, а платье новое по ихним образцам шить.

Но ни разу не пал духом Волынский, ни разу не мелькнуло у него, что не справится, — слишком велика была ставка. Если б такую энергию на дело пустить, то можно было бы осчастливить всех иргизов, абхазцев, якутов, самоедов, и для внутренних народов еще бы осталось. Великую транжирку Анну Иоанновну не только не смущали, но радовали чудовищные расходы, она, не думая, подмахивала любой счет. Бирон, конечно, злился, что деньги текут мимо его кармана и в немалом количестве прилипают к ладоням великого казнокрада Волынского. Но тут герцог Курляндский заблуждался: Волынский впервые, имея дело с казенными суммами, не только ими не корыстовался, но и свои добавлял. Утешала Бирона лишь мысль о неминуемом позорном провале кабинет-министра.

Зима в тот год выдалась крепкая и без капризов. Неву как схватило льдом, так уж не отпускало. Снегу выпало в пропорции — достаточно для надежности зимников, но без завалов и непролазных сугробов. В Петербурге не было ни вьюг, ни метелей, ничто не мешало возведению ледяного дворца. Вопреки опасениям Волынского, именно это, казалось бы, сложнейшее и ненадежное дело продвигалось без сучка и задоринки волей и умением Еропкина и безответной покорностью исполнителей. Рубили лед на Неве, тут же нарезали ровными плитами и на санях отвозили на площадь меж Адмиралтейством и Зимним дворцом, где надлежало стоять ледяному дому.

Еропкин говорил, что нету большего удовольствия, чем строить из льда: не нужно ни кирпича, ни камня, ни дерева, ни крепежного раствора, ни гвоздей, ни мрамора или гранита для отделки, ни кровельного железа, ни жести для водостоков — только синеватый чистый лед из Невы и невская вода.

В положенный срок поднялось ледяное сверкающее чудо. Его столько раз описывали в прозе и поэзии, изображали на картинах и в рисунках, что нет запала с видом первооткрывателя шагать в чужой, глубоко втоптаный след. Лучше привести два старых текста, из которых первый замечателен своим старинным красноречием, а второй — суховатой протокольной точностью.

Вот что писал член Санкт-Петербургской академии наук, физик, профессор Георг Вольфганг Крафт, коллега Тредиаковского, предваривший свои упоминания о том, что лед — малоупотребительный материал, до сих пор из него делали лишь в Италии оконницы, стаканы и зажигательные стекла; последним занимался прославленный французский физик Мариотт.

«Здесь, в Санкт-Петербурге, художество гораздо знатнейшее дело изо льда произвело. Ибо мы видали из чистого льда построенный дом, который по правилам новейшей архитектуры расположен, и, для изрядного своего вида и редкости, достоин был, чтоб, по крайней мере, таково ж долго стоять, как наши обыкновенные дома... На сем месте (между двумя весьма достопамятными строениями, а именно — между созданною, от блаженные и вечнодостоинья памяти императора Петра Первого, адмиралтейскою крепостью и построенным, от блаженныя ж и вечнодостоинныя памяти государыни Анны, новым зимним домом, который для своего великолепия достоин всякого удивления) началось строение, самый чистый лед, наподобие больших квадратных плит, разрубали, архитектурными украшениями убирали, циркулем и линейкою измеряли, рычагами одну ледовую плиту на другую клали, и каждый раз водою поливали, которая тотчас замерзала и вместо крепкого цемента служила. Таким образом, через краткое время построен был дом, который был длиною 8 сажень, или 56 лондонских футов, шириною в 2 сажени с половиной, а вышиною, вместе с кровлею, в 3 сажени; и гораздо великолепнее казался, нежели когда бы он из самого лучшего мрамора был построен, для того, что казался сделан быть будто бы из одного куска, а для ледяной прозрачности и синего его отцвета на гораздо дражайший камень, нежели на мрамор, подходил».

А вот другой стрывок, представляющий из себя пересказ профессором Шубинским какого-то старого текста:

«Архитектура дома была довольно изящна... Кругом всей крыши тянулась сквозная галерея, украшенная столбами и статуями, крыльцо с резным фронтисписом вело в сени, разделяющие здание на две большие комнаты, сени освещались четырьмя, а каждая комната пятью окнами со стеклами из тончайшего льда. Оконные и дверные косяки и простеночные пилястры были выкрашены зеленою краскою под мрамор. За ледяными стеклами стояли писанные на полотне «смешные картины», освещавшиеся по ночам изнутри множеством свеч. Перед домом были расставлены шесть ледяных трехфунтовых пушек и две двухпудовые мортиры, из которых не раз стреляли. У ворот, сделанных также из льда, красовались два ледяных дельфина, выбрасывающие из челюстей с помощью насосов огонь из зажженной нефти. На воротах сидели ледяные птицы. По сторонам дома, на пьедесталах с фронтисписами, возвышались остроконечные, четырехугольные пирамиды. В каждом боку их было устроено по круглому окну, около которых снаружи находились размалеванные часовые доски. Внутри пирамид висели большие бумажные восьмиугольные фонари, разрисованные «всякими смешными фигурами». Ночью в пирамиды влезали люди, вставляли свечи в фонари и поворачивали их перед окнами, к великой потехе постоянно толпившихся здесь зрителей. Последние с любопытством теснились также около стоявшего по правую сторону дома ледяного слона в натуральную величину. На слоне сидел ледяной персиянин, двое других таких же персиян стояли по сторонам. «Сей слон, — рассказывает очевидец, — внутри был пуст и хитро сделан, что днем воду на двадцать четыре фута пускал, ночью, с великим удивлением всех зрителей, горящую нефть выбрасывал. Сверх же того, мог он, как живой, кричать, который голос потаенный в нем человек трубою производил».

Внутреннее убранство дома вполне соответствовало его оригинальной наружности. В одной комнате стояли: два зеркала, несколько шандалов, большая двуспальная кровать, табурет и камин с ледяными дровами. В другой комнате были стол резной работы,

два дивана, два кресла и резной поставец, в котором находились точеная чайная посуда, стаканы, рюмки и блюда. В углах этой комнаты красовались две статуи, изображавшие купидонов, а на столе стояли большие часы и лежали карты с марками. Все эти вещи, без исключения, были весьма искусно сделаны из льда и выкрашены «приличными натуральными красками». Ледяные дрова и свечи намазывались нефтью и горели.

Кроме этого, при Ледяном доме по русскому обычаю была выстроена ледяная баня...»

Народ петербургский сам себе не верил: неужто и впрямь стоит посреди города это диво дивное? Едва продрав глаза, до дел, до присутственной тяготы и потной работы, до ссор и дразг, до уныния и слез, до всего, чем томителен день маленького человека, бежали к Адмиралтейству. Вот он! В морозной синеве, под негреющим ярким солнцем сверкает гигантский золотой слиток. И едва ли не еще краше был он ночью, под месяцем, исходя серебристо-зеленоватым свечением. И, отмораживая себе носы и ноги, петербуржцы вздыхали, что, увы, не вечна эта красота, истечет мутноватой влагой с веем апрельских ветров.

А придворные что ни день парились в ледяной бане, и даже матушка-государыня раз пожаловала со всем причтом болтушек, фрейлин, шутов и арапчат. Сама Анна Иоанновна дальше предбанника, где шуты сразу затеяли обычную возню, не пошла, а болтушек париться заставила. Пару подавал кваском Голицын-Квасник, которого и за мужчину не держали, хотя именно ему предстояло скорое бракосочетание, а нахлестывала белые задницы сердитым можжевеловым веником Буженинова. А вот ее саму заставить попариться оказалось делом невозможным. «Ну, Куколка, попарься, хоть перед свадьбой смой коросту», — тщетно нудила Анна Иоанновна. «А я ему и так хороша!» — в сознании своей неотразимости отмахивалась грязнуля Буженинова. Анна Иоанновна покатывалась со смеха. Она и сама не злоупотребляла омовениями, ибо возлюбленный ее предпочитал крепкие запахи, но все же перед свиданием с ним протирала лицо и шею французской ароматной водой, румянила щеки, сурьмила брови. А Буженинова вечно ходила чумичкой, лицо от пота и жира нефтью отливало, руки были как у арапки.

Но безгливости к ней государыня не испытывала.

Словом, все шло к триумфу Волынского. В последний момент чуть не подгадил придворный стихоплет, дутое ничтожество Васька Тредиаковский. В канун праздников стихов не представил, а, вызванный для объяснения, нагло заявил, что он-де Академии наук секретарь, первый российский поэт и негоже ему воспевать шутовскую свадьбу. Он поет императрицу и великия ее деяния, славу русского оружия и виктории, венчающие все войны россиян. Ну, Волынский показал ему славу русского оружия и виктории россиян — так отделал палкой, что тот еле ноги унес. Но не домой, чтобы за вирши сесть, а к Бирону — жаловаться. Волынский случайно наткнулся на него в прихожей герцога Курляндского. Тут уж он всерьез принялся за наглеца, бил его в рыло и в душу, топтал ногами, и не помогло российскому Анакреону, что на вопли его вышел Бирон. «Прекратите!.. Здесь вам не конюшня!» — «Конюшня и есть!» — дерзко ответил Волынский, терявший в ярости всякую осмотрительность, и выдал академии секретарю еще и за Бирона. После чего отвез его в караулку, где поэта добавочно наказали по строгому воинскому уставу, хотя тот в военной службе сроду не состоял. «Чтоб были вирши!» — приказал Волынский, когда страдальца укладывали на шинельку, чтобы отнести домой.

И, конечно, на другое утро вирши были представлены, и хотя Волынский не считал себя большим знатоком поэзии, он понял, что Тредиаковский постарался на славу. «Ведь можешь, когда захочешь, — сказал он милостиво. — Истинная поэзия рождается под палками». И велел подать поэту большую рюмку водки, соленый огурец и машкеру, ибо на распухом лице Тредиаковского отчетливо проступали сквозь густой слой пудры лиловые, синие и багровые следы избияния, срамно в таком злом виде на ассамблею являться.

Волынский отделал поэта столь беспощадно не за малое неповиновение — тут и десятка пинков хватило бы, — а за проглянувшее в жалком бунтаре пренебрежение к нему, еще не списанному со счетов сановнику. Наслушался вздорных разговоров у покровителя своего Куракина, вот и обнаглел. Ладно, еще посмотрим, чья возьмет.

И пришел день великого торжества Волынского, апофеоза самодержавной власти, не ведающей предела в надругательстве над человеческой сущью.

Поначалу все шло благопристойно: шутов венчали обычным порядком, и не было в них ничего смешного или недостойного: ни в невесте, которую заставили вымыть лицо и руки, нарядили в белое подвенечное платье и всю увешали драгоценностями — не поскупилась императрица в такой значительный и веселый день на щедрейшие подарки Куколке, — ни в представительном, даже сановитом Кваснике, одетом по последней парижской моде. Правда, те, кто оказывался к нему поближе, слышали, как он бормотал в пустоту: «Гм, похоже на свадьбу, но где жених!?» — «Ты жених и есть», — говорили ему. Он наклонял голову в хорошо расчесанном и крепко державшемся парике, задумывался, шлепая губами, потом сипел: «Я, государи мои, в некотором роде женат... Я не могу обманывать даму».

Придворные были в восторге — Квасник превзошел самого себя, и жаль, не было в церкви квасу, чтобы плеснуть в задумчиво-серьезную гладко выбритую рожу. Но государыня не велела задевать его в этот день, все должно идти по разработанному Волынским плану.

Уже перед аналоем Голицын обернулся к Бужениновой: «Сударыня, не имею чести вас знать, тут какое-то недоразумение...» — «Ничего, батюшко, успокойся, — перебила шепотом Буженинова. — Не трудя голову, все по-божески. Ты человек свободный, а сейчас нас господь соединит». — «Вы так полагаете, сударыня?» — произнес Голицын, и рот его некрасиво приоткрылся, как у судака, выброшенного на берег, и уже не закрывался во все время службы, хотя Буженинова толкала его в бок: «Закрой хлебало, батюшко, ведь перед богом стоишь». Он даже на вопрос священника ответить не мог, и нетерпеливое «да» бросил за него посаженный отец Бирон. Голицын снова провалился в ту бездну, где роились, не обретая отчетливого образа, тени не событий даже, а воспоминаний о какой-то жизни, то ли прожитой им, то ли пригрезившейся, то ли рассказанной ему в незапамятные времена. Он никак не мог разобраться в этом мельтешении красок и линий, в уколах необъяснимой

боли, в тоске, сжимавшей сердце, и в чем-то ином, противоположном, чему он не помнил названия, просившем улыбки, но рот будто затвердел в уголках губ, когда ему впервые плеснули квасом в лицо, и не умел растягиваться.

Кольцо невесте Голицын тоже не смог надеть, ибо принадлежащее внешнему миру не пронизывало сгустившийся в нем хаос. Его выручила Буженинова, она так ловко просунула палец в кольцо, которое он бессмысленно держал в руке, что никто не уловил замешательства.

По выходе из церкви молодых посадили в большую позолоченную клетку, дюжие молодцы водрузили клетку на спину слону, и под крики, свист, улюлюканье толпы они двинулись во главе растянувшейся чуть не на версту процессии мимо Зимнего дворца, куда уже успела вернуться государыня со свитой, к манежу герцога Курляндского. Как ни затейливо и ни фантастично было зрелище медленно и широко шагающего по заснеженным петербургским улицам слона и качавшейся на его спине золотой клетки, где, судорожно вцепившись в прутья, таращились перепуганные молодые, шествие народов было еще ошеломительнее. Разноплеменные поезжане в национальных праздничных костюмах ехали парами, кто на оленях, кто на маленьких, с длинными гривами лошадках, кто на статных рысаках, кто на верблюдах, кто на ослах, кто на собаках, кто на козах, кто на свиньях, каждый со своей музыкой, игрушками и символами, ехали в санях, сделанных в виде зверей, птиц, рыб и ярко раскрашенных.

Волынский, убедившись, что Татищев и один может наблюдать порядок шествия, поспешил во дворец, откуда с балкона тепло укутанная Анна любовалась процессией. Его поразило лицо государыни: обычно-серо-желтое, оно пылало, словно раскаленное гневом, и кабинет-министр испугался, что чем-то не угодил ей. Анна не обернулась, когда он вошел, и, только заметив Волынского возле себя, схватила за рукав.

— Петрович, говори... Слышь, говори, кто такие... про всех... в подробности!

Анна Иоанновна была потрясена. Впервые ее сонную, отзывающуюся лишь одному человеку да

пустому баловству душу прожгло сознание, какой великой, необъятной страны поставлена она повелительницей. Что знала она в России: Москву, Петербург да тракт между двумя столицами, поразивший ее своей протяженностью и пустотой вокруг; знала она, что есть в этой стране очень далекие земли, их называли Сибирью и туда ссылали неугодных и проштрафившихся, но где они, эти земли, не представляла и не любила о том думать. Где-то там, где холодно, пусто и скучно. А она жила в тепле, свете, окруженная людьми, предупреждающими каждое ее желание. Анна знала, конечно, что есть и другие края, не только холодные, ночные, но и солнечные, теплые. Малороссия хотя бы, есть великие реки, а на них города, есть много всяких губерний, где сидят губернаторы и воруют, за что их ссылают в Сибирь, но другие, поставленные вместо них, воруют ничуть не меньше. Это было для нее Россией, но это не было Россией, как она сейчас поняла. Святой боже, сколь же необъятно пространство российской державы, можно ли объехать его хоть за целую жизнь, и как же различны всем видом и обиходом племена, эту необозримость населяющие! Цвет волос, разрез глаз, крепь скул, не говоря уж об одежде, — все было у них разное.

Цепко усвоивший все наставления Татищева, Волынский почтительно и уверенно, как подобает государственному деятелю, все знающему о народной жизни, сообщал Анне Иоанновне краткие, но исчерпывающие сведения о всех «разноязычных и различных» поезжанах, следующих мимо Зимнего дворца. Анна Иоанновна только охала.

— Надо же, и такие водятся!

— Гляди-ка, совсем как живые!

— Как только ты их всех в голове удержишь!

— Ах, батюшки мои, какие халаты! А шапки!

Живут же люди!

— Неужто все мои подданные? Ох, утешил и распотешил!

И когда скрылись последние сани, она сказала другим, глубоким голосом:

— Спасибо тебе, Артемий Петрович, за мою Россию! — и протянула ему руку для поцелуя.

Волынский грохнулся на колени, а Бирон с досады перекусил черенок трубки.

Пока поезд народов многих объезжал все главные петербургские улицы, царица успела переодеться. Сверкая бриллиантами, пенясь брюссельскими кружевами, в роскошном платье, выписанном из Парижа, рослая и величественная, Анна прибыла в манеж со своей свитой, когда поезжан уже разместили за длинными дубовыми столами. Царице и чете Биронов был накрыт отдельный стол, сюда же в знак особой милости поставили прибор для Волынского — отличие сугубо платоническое, ибо церемониймейстер праздника лишь раз приблизился к столу, чтобы выпить кубок за здоровье ее императорского величества.

Виновники торжества были усажены неподалеку за отдельным столиком. О них едва не забыли в суматохе и выпустили из клетки, когда они почти одеревенели от холода.

Столы поезжан были установлены так, что государыня могла беспрепятственно наблюдать за ними. Они сидели парами и ели свои национальные блюда: от сырой мороженой рыбы — любимого лакомства самоедов, до теплого жирного иргизского пилава, который берут руками из казана, медного таза с крышкой, и раскаленного, с углей, абхазского шашлыка на острых пиках. Еду каждая народность запивала своим напитком: водкой, горилкой с перцем, вином, пивом, кумысом, зеленым чаем и другим чаем, который готовится с мясом и жиром, — административный гений Волынского учел все вкусы и запросы.

Буженинова отдышалась первой. Она поглядела на мужа, пребывавшего в нетях: погасла от тряски, страха и холода последняя искра, порой озарявшая его омраченный рассудок. «А хорош!» — восхитилась Буженинова. Лицо просторное, лоб высокий, нос как выточенный. Вот что значит порода. Чего с ним не творили, а кровь-то сменить не могли, древнюю голубую кровь в Голицыных. Вон Кукленок, пыжится из всех сил, играет во владетельного князя, а все равно прет из него паршивый курляндский выскочка. Господи, достался же такой аристократ безродной камчадалке, которая и родителей своих не знает, как не знает, почему их занесло на Камчатку! Ее ведь только считают камчадалкой, а она русская, это же сразу видно. Помнила Буженинова себя уже побирушкой,

ютившейся по чужим углам, помнила здорового бородатого мужика в медвежьей шубе и волчьем малахае, который пожалел сироту, забрал с собой в большую Россию, пристроил в услужение к «добрым» людям, морившим ее голодом. А потом чистой случайностью попала она в дурки Anne Иоанновне. Но Буженинова не любила думать о прошлом, о настоящем думать незачем, в нем надо жить с толком, а вот о будущем мечтать стала, когда увидела князя Голицына. Мечтать никому не возбраняется, и камчатская нищенка, запечный сверчок, возмечтала о князе. Она давно уже решила попросить у Анны его в мужа, знала, что та не откажет по лютой злобе своей на Голицына. Конечно, она и вообразить себе не могла и в самых крылатых мечтах, что ради ее замужества возведут ледяной дворец, навезут народ со всей русской земли, закатят невиданный пир и вся знать, сама государыня будут гулять на ее свадьбе.

Пусть все это для потехи задумано, да поженили-то их не в смех, а по закону, в святой церкви, сам преосвященный венчал. И смеется хорошо тот, кто смеется последним. Волынский вон как распетушился, а все равно Кукленок ему голову скусит. И Кукленка в свой черед скovyрнут или кончат, как только государыня загнетса. А от нее уже гнилью несет. Так они все друг друга перепластают. И чего им охота на верхушку лезть, нешто кто на ней удержался? Сами они шуты гороховые, хуже тех, что в лукошках сидят. А эти — в халатах, тубетеях, малахаях, портах широченных, — нешто они не в смех сюда созваны? Значит, тоже шуты. Хоть их за столы усадили в одном лошадином дворце с государыней, которая и сама-то лошадь — отгарцевавшая, запаленная, разбитая на все четыре ноги. Сейчас поезжане жрут, пьют, орут, хохочут, после отпоят, отпляшут, а вот доберутся ли домой — неведомо. Волынский-нехристь их не повезет. Конечно, которые с севера, на оленьих и собачьих упряжках, глядишь, доползут, они ведь на ком едут, тех и жрут помаленьку в дороге, а которые на верблюдах, или на волах, или на свиньях, с теми хуже: или жрать, или ехать. Об остальных и говорить нечего: морозы все круче заворачивают, добреди-ка до Сибири, до Камчатки. Так и останутся их косточки в белых просторах.

Громкие крики «виват!» прервали мысли Бужениновой, это Волынский провозгласил тост во здравие императрицы. Буженинова подтолкнула супруга и вскочила на свои короткие ножки. Когда улеглись восторги, Волынский по знаку Анны предложил выпить за здоровье молодых. И все гости захохотали, закричали: «Горько!» Голицын не двинулся, словно все это его нисколько не касалось, но Буженинова быстро подскочила к нему и как клюнула в вялые губы.

Голицын словно очнулся, провел пальцем по губам.

— Я, кажется, забылся,— просипел он.— Пожалуйста, не сердчайте.

И тут возникла грузная фигура в красном домино и черной маске с огромным приставным носом. Волынский хлопнул в ладоши, призывая к вниманию. Домино откашлялось и начало каким-то напряженным и словно придушенным голосом:

Здравствуйте, женившись, дурак и дурка,
Еще...тота и фигурка!
Теперь-то прямое время нам повеселиться,
Теперь-то всячески поезжанам должно беситься.

— Кто это? — спросил Голицын.— Похоже на Третьяковского. Его голос. Почему он в маске?

— А ему наемни Артемий Петрович всю морду искрошил.

— Бедняга...— прошептал Голицын.

Квасник-дурак и Буженинова
Сошлись любовью, но любовь их гадка.
Ну, мордва, ну, чуваша, ну, самоеды,
Начните веселье, молодые деды!

Было тихо. Вирши, выбитые кулаками и дубинкой из Третьяковского, никого не веселили. «Молодые деды» просто их не понимали, а придворным, знавшим, почему секретарь академии напялил уродливую маску и красное домино, было не до смеха. Очень легко было представить себя на месте этого русского академика, если Волынский войдет в силу. Невольно вспоминался князь Мещерский, которого Волынский в пору своего астраханского гу-

бернаторства подверг невиданному кровавому из-
язанию.

Кабинет-министр покусывал губы, утешая себя мыслью, что прикончит ТрEDIAKовского, если тот не вызовет хотя бы улыбки на почерневшем от усталости лице императрицы.

Балалайки, дудки, рожки и волынки!
Соберите и вы, бурлацкие рынки.
Ах, вижу, как вы теперь рады!
Гремите, гудите, брянчите, скачите,
Шалите, кричите, пляшите!
Свищи, весна, свищи, красна!
Не возможно нам иметь лучшее время:
Спрягся ханский сын, взял ханское племя,
Ханский сын Квасник, Буженинова ханка.
Кому того не видно, кажет их осанка.
О пара! о не стара!
Не жить они станут, но зоблить сахар,
А коли устанет, то будет другой пахарь.

И тут государыня громко прыснула, представив себе, как обогатит красавица Буженинова сиятельно-го шута — своего мужа.

Смех государыни подхватили придворные, стараясь перещеголять друг друга в усердии, даже сумрачный Бирон пофыркивал, прикрывая рот кончиками пальцев. Видя веселость государыни, возликовали поезжане. Шум стоял такой, что ТрEDIAKовский вынужден был прервать чтение. Он и сам чувствовал, что тут муза улыбнулась ему, хорошо было завернуто, но все-таки он не ожидал такого триумфа. Он готов был простить все — и побои, и унижения — Волынскому за то, что тот дал ему подняться на вершину мастерства и успеха. Закончил он звучным голосом:

И так надлежит новобрачных приветствовать ныне,
Дабы они во все свое время жили в благостыне:
Спалось бы им да вралось, пилось бы да елось.
Здравствуйте ж, женившись, дурак и дурка,
Еще...тота и фигурка!

— Мало его в бурсе секли, — уловила Буженинова сквозь восторженный рев пирующих.

Голицын низко нагнулся над столом, из карего большого, полного глаза медленно выкатилась слеза

и, прочертив дорожку по щеке, сорвалась в тарелку. А ведь он понял, что это о нас, захолонуло в Бужениновой. Значит, понимает, что мы повенчаны. И острая жалость к этому беспомощному человеку пробила ее. Она налила в бокал водки и подала Голицыну.

— Выпей-ка, батюшко, авось полегчает.

Он послушно взял бокал и неторопливо, словно воду, осушил ее маленькими глотками. Затем протянул руку, уверенно наполнил бокал, выпил, еще раз наполнил и снова выпил. Буженинова с некоторым испугом следила за его действиями: хорошо, если маленько очумеет, не надо, чтобы сегодня чересчур многое открылось ему, время для этого еще придет. А ну как, отвычный от вина, он свалится, как бы чего дурного над ним не учинили.

Но выпитое подействовало на Голицына благотворно: приоткрывшееся в грязных виршах Тредиаковского задернулось непроницаемым пологом вместе со всем, что являло собой его нынешнее положение, а взамен явилось, хотя и оборванное, смутное представление о чем-то хорошем, что некогда с ним было, он не трудил тяжелую голову попытками принудительных уточнений, довольствуясь тенью радости.

— Простите, сударыня, что не представился. Князь Голицын. Не соблаговолите ли назвать ваше имя?

— Княгиня Голицына, Авдотья Ивановна.

— Какое совпадение! — обрадовался князь. — Вы из каких Голицыных?

— Из самых лучших. — Бужениновой стало не по себе, хотя она знала, что опять в нем что-то повернется и он забудет об этом разговоре, как уже забыл о поганных виршах Тредиаковского. А забыл ли?.. Это водочный туман застит ему память. Он не безумный, как думают многие, но, трезвый или пьяный, он скрывается в своей темноте, чтобы не помнить, не знать, что происходит с ним. — Я по мужу Голицына, — добавила Авдотья Ивановна.

— Голицыны роднились со многими знатными родами России, — любезно заметил князь. Маленькая, красиво одетая, вся в бриллиантах дама с высокой грудью и живым чернобровым лицом ему нравилась, даже чуть выпирающие верхние резцы не порти-

ли впечатления, напротив, придавали ей некий возбуждающий интерес. Он давно так приятно не беседовал.— Вы случайно не урожденная Салтыкова?

— Нет.

— Шаховская?

— Нет.

— Оболенская?

— Нет.

— А кто же вы?

— Урожденная Буженинова,— глядя ему прямо в глаза, сказала Авдотья Ивановна.

Он долго молчал, что-то опять перестраивалось в нем, пытаюсь завязать новые связи, но эта работа оказалась ему не по силам.

— Это не дворянский род,— сказал он угрюмо.— Я знаю одну Буженинову. Другие небось не лучше.

— А чем она тебе плоха, батюшка? — улыбнулась Авдотья Ивановна.

— Черна, грязна...— Он передернул плечами и потянулся за бутылкой.

Буженинова перехватила его руку и отодвинула бутылку. Голицын настаивать на своем и прежде не больно умел, а потом, при дворе, и вовсе разучился.

— Не говори, батюшко, чего не знаешь, у ней все чисто,— защитила шутиху княгиня Голицына.

На этом разговор молодых оборвался. Анне надоело застолье, она возжаждала новых впечатлений. Начались пляски. Многоязычные пары поочередно исполняли свои национальные танцы. У северян пляски были похожи на борьбу и охоту; иргизы под однообразные завораживающие звуки большого бубна то поврозь плыли над землей, то, сходясь, вились друг вокруг дружки, будто косу сплетали; черные, усатые, с тонкими ногами абхазцы семенили на подогнутых носках мягких козловых сапог, размахивали широкими руками, хватались за кинжалы — нагнали страху; малороссы грохотали гопаком, русские рассыпали бисер дробцов. Императрица, отяжелевшая после обеда, снова развеселилась, еще раз допустила Волынского к руке, приголубила омраченных Биронов, а ТрEDIAKовского пожаловала золотой табакеркой.

Затем молодоженов схватили под микитки, втолкнули в позолоченную клетку и водрузили, едва не грохнув оземь, на спину слона. Поезжане опять распределились по своим саням, а императрица и придворные расселись по каретам, и все отправились к ледяному дому.

Пучки огня вылетали из разверстых пастей дельфинов и загнутого кверху хобота слона, и переливчатые отсветы проскальзывали по голубизне ледяных стен. Высвеченные «смешные» картины в пирамидах вертелись, не надоедая громадной заиндевелой толпе. Появление новобрачных и сопровождающего их кортежа исторгло надсадный вопль из тысяч застуженных глоток.

Молодых со всякими дурацкими церемониями уложили на ледяную кровать. К наружным дверям приставили караул, чтобы счастливая чета не надумала раньше времени покинуть свое уютное гнездышко. В отношении новобрачного то была излишняя предосторожность: непривычный к вину, Голицын был пьян до бесчувствия, его внесли в опочивальню. Все понимали, что ночь в такой студии молодоженам не пережить, но это никого не волновало, и даже государыня не шевельнула пальцем для спасения своей любимой Куколки. Зато она сделала другой жест, который сильно огорчил придворных. В сени дворца втащили вместительный короб, и Анна Иоанновна швырнула туда жемчужное кольцо. С вымученными улыбками дамы стали кидать в короб серьги, брошки, браслеты, кольца, мужчины — драгоценные табакерки, бриллиантовые булавки, золотые монеты. Всех, конечно, интересовало, кто воспользуется этими дарами, поскольку было мало вероятия, что новобрачные встанут ото сна. Но никто не заметил, как исчез короб. Предусмотрительная Буженинова, знавшая, что будет одаривание, доверила сокровища попечению шута Педрилло. Пьетро Мира мог ограбить самого папу, но у своего полушкой не пользуется.

Анна Иоанновна, одарив «обреченных смерти», поспешно отбыла, гонимая начавшимися коликами; придворные, перестав источать вымученные улыбки, вздыхая, отправились восвояси; поезжан прогнали спать, народ столичный тоже разошелся по домам, дождавшись, когда слон и дельфины в последний раз

полыхнут горячей вонючей нефтью; часовые, хватившие для угрева по кружке, замерли возле дверей и сами обернулись ледяными статуями; все погрузилось в тишину и мрак, лишь, отражая свет ущербного месяца и вознесшихся звезд, поблескивала громадная и страшная игрушка, которой по молчаливому сговору сильных и согласию всех остальных предстояло быть саркофагом двух несчастных людей.

Но одно существо не присоединилось к губительному согласию — совсем крошечное существо, почти карлица, с детскими ручками и ножками и с большим и сильным сердцем любящей русской женщины — Авдотья Ивановна Голицына.

До этого места история бедного Михаила Голицына — Квасника и шутихи Бужениновой общеизвестна и уж, во всяком случае, общедоступна, а вот что было дальше, знают совсем немногие. Полагаю, что это должны знать историки, занимающиеся эпохой Анны Иоанновны, и те беспокойные чудаки, которые, заинтересовавшись чем-либо, доходят «до упора», до самой сути.

Итак, Авдотья Ивановна не собиралась умирать в ночь, когда восходила ее звезда, впрочем, за себя она вообще не боялась, ее маленькое тело было наполнено горячей и быстрой кровью, которой не страшна никакая стужа, но надо было оборонить любимого.

У молодых была постель: тощие тюфячки, простыни, подушки и большое пуховое одеяло. В натопленной горнице и жарко бы показалось, особенно вдвоем, но здесь и тюфячок, и одеяло — не защита. Авдотья Ивановна попробовала растолкать мужа, но тщетно. Был он тяжеленек и в ответ на все ее усилия лишь всхрипывал да шевелил губами. Она вышла в сени, приоткрыла незапертые двери и выглянула наружу. Часовые застыли с ружьями на плече. «Словно государственных преступников стерегут, — усмехнулась про себя Авдотья Ивановна. — Неужто им палить велено?» Приглядевшись, она поняла, что воины спят вполглаза. Она столько лет обреталась при дворе, что изучила привычки и повадки всех к нему причастных и знала это умение бывалых солдат спать на часах

с полуприкрытыми глазами и просыпаться от малейшего шума, от мышьяго шороха. Их командиры тоже знали эту особенность и не раз пытались накрыть караульных, подкрадываясь к ним на цыпочках, но никогда не имели успеха. В последнее мгновение часовой возвращался в явь, и вся его фигура обретала напряжение чуткой готовности. Конечно, в каждом деле не без прорухи: дворцовые легенды сохранили память о выроненных ружьях и даже о грохнувшихся на пол ратниках. Выпавшее из рук оружие предсказывало военную конфузию — татарский набег или объявление войны, падение стражника — смерть в царствующем доме.

Спящие у ледяных дверей воины крепко держались на ногах, а их ружья словно примерзли к плечам. Поступь крошечной Авдотьи Ивановны была легче мышьяй. Она проскользнула между караульными и побежала к будке. Растолкав подвыпившего унтера, за колечко с камешком получила на ночь овчинный тулуп. С этим тулупом она опять прошмыгнула между стражниками и вернулась к своему мужу.

Авдотья Ивановна раздела его и укрыла тулупом. Сама разделась тоже и подсунулась под него. Тулуп натянула так, что они скрылись в нем, как в пещере. Тело ее было горячим, и особенно горячи маленькие руки, которыми она терла мужу спину, бока, шею. Он быстро согрелся, а когда Авдотья Ивановна задремала, удивленная, что чужое тяжелое, неповоротливое тело так легко ей, то продолжала безотчетно растирать его...

Михаил Алексеевич проснулся в душной, давящей темноте, рванулся из нее и скинул тулуп. В окошки процеживался рассеянный, не рождавший четких очертаний свет. Такой размытый свет льется в комнату в морозный день из окон, покрытых наледью. Он ощутил холод и тут понял, что вокруг все ледяное: и стены, и пол, и потолок, и окошки. Это открытие не осталось в Голицыне, оно вытеснилось другим: с ним произошло необыкновенное, когда-то испытанное, но потом исчезнувшее не только из жизни, но даже из памяти и воображения. Он не мог понять, что это было, но тело знало об испытанной радости и сообщило свое знание рассудку. Теперь он видел, что не один в ледяной комнате: в постели лежало маленькое

существо, нагое, белое, женское. Он задрожал, опустелый мозг пронзило множеством стрел, причиняя острую, колющую боль, и каждая стрела тянула за собой нить; эти нити сплетались, перепутывались, но и создавали связи.

— Вы кто? — спросил тихо.

— Жена твоя, родимец, княгиня Голицына.

Перепутанные нити вдруг разобрались, натянулись, и он смог прочесть их узор.

— Но вы... Ты была другая... смуглая.

— А теперь белая. А о смуглой лучше забудь. Ты о многом забыл, едва ли не обо всем. Так вот, об этом лучше не вспоминай. И вообще не вспоминай, живи, чем есть, потом все само соберется.

Голицын слушал, и что-то находило в нем смутный отзвук. А женщина, жена, была перед ним в своей доверчивой наготе, и его плоть оказалась умнее смятенного духа, он склонился к ней. Закрытыми глазами Авдотья Ивановна увидела, как в ледяное окно, не взломав его, влетел белый ангел.

А когда оба опамятавались, Голицын с тупым упорством сказал:

— Та черная.

— Кто такая? — не поняла Авдотья Ивановна.

— Бу... бу... — Он не мог выговорить ее клички.

— Э, родимец, черного кобеля не отмоешь добела, а белого проще нету запачкать. Такая служба. Ты ведь тоже не такой, как есть, потому — служба.

Разбудив плоть князя, Авдотья Ивановна принялась создавать ему новую душу, потому что от старой немного осталось. Но делать это надо осторожно, чтобы не скрылся опять в раковину безумия.

— Служба? — бессмысленно повторил Голицын.

— Конечно, служба. Дворцовая. Выгодная, только ты пользоваться не умеешь. Ты да Волконский. Многие такой службе позавидуют. Но она не для тебя и не для меня... теперь. Потерпи, у нас вся жизнь впереди.

— Жизнь? — ужаснулся он. — Разве это жизнь?

— Я не об этой жизни говорю. О другой, новой. Теперь уж недолго ждать. А потом у нас с тобой все будет не хуже, чем у людей.

Они едва успели одеться, как явился унтер за тулупом.

— Ты того... помалкивай,— предупредил он Авдотью Ивановну.— Не то мне башку сымут.

— Не бойся,— сказала Авдотья Ивановна.

— Не бойсь, не бойсь,— проворчал унтер, который, видать, не успел опохмелиться и был в дурном настроении.— А может, требовалось, чтобы из вас ледяной статуй вышел.

— Очень даже может,— согласилась Авдотья Ивановна.

— Ладно, выметайтесь,— вздохнул унтер.— Никаких распоряжений о вас не дадено.

— А куда мы пойдём? — спросил Голицын.

— Ко мне,— сказала жена.— У меня свой покойчик есть. И даже с банькой.

— Хотите в ледяной попариться? — предложил унтер.

— Сам парься крапивным веником.— Авдотья Ивановна взяла мужа за руку и повела в свою жизнь, которая отныне стала их общей.

Самое трудное было примириться с «дворцовой службой», как Авдотья Ивановна называла шутейное дело. Возвращение памяти имело свою оборотную сторону. Одно дело, когда режут по замороженному телу, другое — по живому. С первыми квасными опивками, угодившими в лицо, что-то омертвело в Михаиле Алексеевиче, а потом он и вовсе утратил чувствительность. А как снести надругательство сейчас, когда он начинает дрожать от одной мысли об унижении на глазах жены?

— Да плюнь ты на них,— убеждала Авдотья Ивановна.— Подумаешь, беда! Если тебя на улице карета грязью окатит, ты сильно переживаешь? Досадуешь, конечно, но обтерся и дальше пошел. И нешто об этом помнишь? Ну, плеснул дурак квасом, так это он свиньей вышел, а не ты.

Голицын молчал, тяжело сопя и наливаясь кровью. «Как бы удар не хватил!» — тревожилась Авдотья Ивановна. И опять принималась за свое:

— Считай, что тебе такая служба выпала. Ты в пехоте был. Мало грязи месил и в грязи валялся?

— То другая грязь.

— Почему другая? Ты же ее не выбирал. Ты

чистюля. А тебя в эту грязь дураки-командиры совали. Ты хотел сухонькой тропки и чистого ночлега. А пуль неприятельских, походной грязи, вшей, дурости начальства ты вовсе не хотел. И тоже небось орали, ругали, оскорбляли. Скажи, не так?.. Всюду одно и то же. Как к чему относиться. Тебе плеснули квасом в рожу, а ты: «С вашей милости колечко». Дали пинок: «Пожалуйте золотой»,— Авдотья Ивановна осеклась.

Лицо Голицына стало лиловым, шея вытянулась, а кадык набух: ни дать ни взять разгневанный индюк. «Эдак сразу вдовой станешь!» — мелькнуло испуганно.

— Я у них под ногами... Спасу мне нет. Но торговать честью не стану.

«Честь! — подумала Авдотья Ивановна.— О какой чести бормочет этот битый, оплеванный, измордованный бедолага?.. А может, он прав? Его честь — терпеть и не брать подачек. Мы-то все как собачонки на задних лапках. Даже старик Волконский, когда суют, боится не взять. А моему Бирон раз колечко кинул, так тот и не нагнулся. Король Самоедский подобрал. Мы думали, не заметил, а вот оно что!..»

— Не серчай, родимый. По глупости сболтнула. Всяк ведь на свой аршин... А ты не такой. Но почему ты зятю своему сдачи не дашь? Он тебя то толкнет, то ущипнет, то ножку подставит, а ты, знай, глаза лупишь.

— Я перед ним виноват,— опустил голову Голицын.— Соблазнил чужой верой.

— Кто в вере крепок, того не собьешь. А в шутах ему самое место. Что он, что король Самоедский, что господин Балакирев — ничем другим быть не могут да и не хотят. Вон Балакирев — куда его ни кидало, а все назад под дурацкий колпак спешил. Это как в итальянской кумеди: все друг друга лупят хуже, чем при дворе, а нешто актеры обижаются? Такой у них талант.

— У меня нет такого таланта,— пробормотал Голицын.

И все же что-то из рассуждений Авдотьи Ивановны запало ему в душу. Он старался контролировать свое поведение и предупреждать враждебные выходки, насколько это было возможно. Когда проси-

ли квасу, он осведомлялся любезно: «Какого прикажете: хлебного, клюквенного, вишневого или грушевого?» Ему отвечали. Видимо, даже такого крошечного разговора достаточно, чтобы протянулась какая-то человеческая ниточка, и уже рука не подымалась для хамского жеста. А может, останавливало и присутствие Бужениновой, что котенком вилась в ногах императрицы. Анна, к своему удивлению, обрадовалась, что Куколка уцелела в ледяной ночи. Она сама не ожидала, что так к ней привязана. Ласковость государыни все видели и боялись обозлить любимицу. Но были и такие, не до конца изгнившие, что совестились унижать мужа на глазах жены.

А зятя своего Михаил Алексеевич, памятуя наставления Авдотьи Ивановны, проучил. Однажды, когда тот по своему обыкновению ударил его исподтишка, Михаил Алексеевич отвесил ему такую затрецину, что Апраксин волчком пролетел всю приемную императрицы и расквасил нос о «монашку» карельской березы. Присутствующие расхохотались, захлопали в ладоши, но Апраксин впервые не испытал ни малейшей радости от того, что вызвал смех.

Другой раз, заметив, что Балакирев нацелился прыгнуть через него, Голицын услужливо пригнул широкую спину, крепко уперся руками в колени и позволил ловкому, но подутратившему былую гибкость суставов старому шуту совершить великолепный прыжок, вызвавший одобрение придворных. После чего спокойно отошел в сторону, не дав вовлечь себя в шутовскую чехарду.

Но ведь недаром говорят: в огне брода нет. Как ни берегайся, беда тебя сама найдет. И случилось это вскоре после того счастливого дня, когда Авдотья Ивановна объявила ему, что ждет ребенка. Голицын уже трижды становился отцом, но такого чувства, как сейчас, не испытывал. Подумаешь, какой фокус — сотворить ребенка, когда ты в расцвете лет, когда и жена у тебя молодая, и спокойствие на душе, и упругое сердце мерно и сильно гонит кровь по жилам. Но создать дитя, когда ты весь изломан, раздавлен, смят, когда ты пробыл в разлуке с самим собой и всем светом долгие годы, когда тебя шатало от голода не потому, что не было еды, а потому, что кусок не шел в горло, когда ты, казалось, навсегда выбыл

из круга живых,— это великое чудо, знак божьего благоволения, знамение, которое еще надо разгадать. Значит, он для чего-то нужен богу, коли тот хочет привязать его к жизни такими прочными нитями.

В этом умиленном, философически-религиозном настроении Голицын и отправился на службу. Он с непривычной легкостью предавался обычным глупостям, казавшимся столь ничтожными рядом с постигшей его благодатью. Как мог он придавать этой чепухе значение? Эти вельможи, сановники, фавориты — просто дети, большие, злые, капризные, глупые дети, не отвечающие за свои поступки. Он тешит взрослых детей. Вот он закудахтал — смеются, вот козу состроил — смеются, вот упал — смеются, вот Биронов сын по ногам его кнутиком хлестнул — смеются, аж закатываются, чтоб перед папашей милого сорванца выставиться. Смейтесь, бог с вами, а у меня сын будет, и ему уже не придется корячиться перед вами. Тут он заметил, что граф Левенвольде с досадой швырнул карты на стол и что-то резкое сказал своей белокурой партнерше красавице Лопухиной. Небось опять пробросился, а на нее валит. Играть он до страсти любил, а выдержки и умения большого нету. На проигрыш обычно не особо злится, он и вообще не злой. Деньги любит и делает их предостаточно в компании с другом своим Бироном. Положение Левенвольде при дворе почти такое же прочное, как у самого герцога Курляндского (это он, Левенвольде, предупредил Анну о посланных ей кондициях верховников), но амбиций неизмеримо меньше. Он не рвался к власти и к государственным постам, довольствуясь званием обергофмаршала, мог выполнить тонкое дипломатическое поручение, но к деятельности не стремился. Левенвольде хотел играть в карты, иметь много денег и любить женщин. В дальнейшем он еще больше сузил круг своих желаний: денег для картежной игры требовалось по-прежнему много, а женщины свелись к одной-единственной — очаровательной и своенравной Наталье Лопухиной. Левенвольде принадлежал к числу немногих, которые никогда не обижали Голицына, точнее, просто не замечал его, как и остальных шутов. И Голицын был благодарен ему за это. Приметив, что граф оглянулся на столик с напитками, желая, видимо, про-

мочить спекшееся от азарта и горечи проигрыша горло, он быстро наполнил кружку и поднес Левенвольде.

Тот сделал несколько быстрых, жадных глотков. Но вместо того, чтобы успокоиться, насвеже, как бы без помех обозрел свою дурную игру и разозлился на себя. Да ведь себя не накажешь, а Лопухина была не из тех дам, чтобы дважды спустить колкость. Перед Левенвольде маячило широкое красное лицо — и резким движением он было поднял кружку. И тут увидел в странном, неестественном приближении два коричневых глаза с глубокой темью круглых зрачков, но то были не зрачки, а маленькие колодцы, и на дне их проглядывала такая мука, такая пронзающая молчаливая мольба, что Левенвольде передернуло от невывального проникновения в чужую боль, на мгновение ставшую его собственной. Он сумел оборвать движение руки.

— Хороший квас... Благодарствую, — пробормотал он и отдал кружку.

Маленькую сценку между обергофмаршалом и шутом длиной в несколько ударов сердца заметили придворные и сделали естественный вывод: коли уж сам Левенвольде не решился окатить Квасника, значит, нынче такой расклад.

Пронесло на этот раз, но от судьбы, видно, не уйдешь. И потерпел Михаил Алексеевич от невольного творца своего счастья Артемия Волынского. После Ледяного дома и шествия народов звезда Волынского поднялась, как никогда, высоко, слишком высоко, чтобы удержаться в такой головокружительной выси. Он не был настоящим политиком, умеющим различать в сегодняшнем успехе зерна завтрашнего поражения и ловким ходом обезоружить врагов. В успехе он был невыносимо заносчив, в неудаче — малодушен и низок. Его энергия, нахрап, дерзость не превращались в решительность, как, скажем, у Меншикова или Миниха. Завоевав вновь расположение Анны и осадив немецкую партию, Волынский вернулся к бесцельным свободолобивым разговорам в своем кружке, не слишком заботясь о конспирации. С другой стороны, он не пропускал случая показать Анне, что годится не только для устройства шутовских праздников, в его речах, обращенных к императрице, вновь зазвучала наставническая нота, раздражавшая

Анну и бесившая Бирона. Тот в грош не ставил Во-
лынского-реформатора, но боялся Волынского-интри-
гана. Парламента России кабинет-министр, понятно,
не даст, а ему, Бирону, нагадит. Вопрос о престоло-
наследнике, младенце Иоанне Антоновиче, был ре-
шен и закреплен соответствующим актом, регентша
вроде бы тоже известна — его мать Анна Леополь-
довна, но подписание этого указа государыня все
откладывала, видя в нем как бы согласие на собст-
венную смерть. Бирон надеялся, что Анна Иоан-
новна передумает и назначит регентом его, но добить-
ся этого было ох как непросто! Препятствий множе-
ство: и сама потерявшая уверенность, раскисшая от
болезни императрица, и пустая, сластолюбивая, но
охочая до власти Анна Леопольдовна, и ее упрямый
дурак-муж герцог Брауншвейгский, и честолюбивый
Миних, даже на друга Левенвольде нельзя положить-
ся. Но все это люди без корней, а Волынский был
русским, старинного рода, но связан и со служи-
лым дворянством. Его необходимо убрать. И Бирон
сказал Анне Иоанновне без всяких околичностей: или
он, или я. Это и решило участь Волынского. Без Биро-
на императрица не мыслила утекающей из нее жизни.

Как ни был Волынский зашорен верой в свое
мнимое торжество, но и он почувствовал угрозу. Его
ясные, точные доклады вдруг оказались императрице
не нужны, во дворец его перестали приглашать. И тог-
да Волынский явился незванный, чтобы тайное сделать
явным, чтобы дать врагам своим открытый бой.
То был смелый до отчаянности шаг, но продикто-
ван он был не отвагой, а полным отсутствием вы-
держки.

В покоях императрицы все было по-прежнему.
Анна лежала на высоком ложе под ярко-голубым
стеганым одеялом в чепце с лентами и розовом
пеньюаре, подчеркивающим нездоровую желтизну
лица и тени в подглазьях; Бирон у изголовья сосре-
дотченно орудовал ногтечисткой; Бенингна пригото-
вляла какое-то лекарство, в ногах за ломберным сто-
лом — Левенвольде, Лопухина и князь Куракин вели
нескончаемый карточный спор, в дальнем углу рос-
лый Миних — голова отрублена тенью от порть-
еры — о чем-то шептался с белокурой томной
Анной Леопольдовной, начальник тайной канцеля-
рии Ушаков медленно потягивал квас, ошаривая

присутствующих тяжелыми оловянными глазами, а придворный Квасник стоял наготове, чтобы принять пустую кружку, шуты кочевряжились на ковре. Буженинова-Голицына, ластясь к опущенной руке Анны Иоанновны, скалила белые зубы. Педрилло пританцовывал, пиликал на скрипочке, меж клеток с гортанно покрикивающими попугаями томился Тредиаковский со свернутой в трубочку рукописью, тщетно ожидая, что на него обратят внимание и он угостит присутствующих очередными виршами. Но поэта не замечали, как не замечали Волынского. Кабинет-министр отшвырнул подкатившегося с кривляниями Апраксина, вышел под взгляд государыни и низко поклонился. Анна посмотрела сквозь него, словно он был прозрачный, потом равнодушно отвернулась. Остальные продолжали заниматься своим делом. Бирон даже на мгновение не перестал полировать ногти.

Надо было что-то сказать, но горло схватило сухью, Волынский откашлялся и сипло бросил в никуда: «Квасу!»

Михаил Алексеевич поспешил исполнить приказание кабинет-министра и в избытке усердия налил ему вишневого квасу, хотя прекрасно знал, что тот признает только хлебный с хренком, об остальных отзывался презрительно: немцы в России все изгадили, даже квас.

Волынский жадно глотнул раз-другой, ощутил противную сладость, бешено глянул на застывшего в любезно-достойной позе Квасника и с силой плеснул ему в лицо темно-красной жидкостью. Будто кровью умылось широкое, сразу изгнавшее улыбку лицо. Но ярость Волынского не утихла.

— Ты чего мне суешь, дурак?

— Не гневайся, батюшко! Успокойся, родимец! — слышался тонкий голос.

Никто не заметил, как успела Буженинова сорваться с места, налить хлебного квасу и поднести Волынскому. Тот отвернулся от Квасника, увидел белую шапку пены, кружку в маленькой нечистой руке, непроизвольно потянулся за ней, но не успел взять. Кружка отодвинулась и вдруг стремительно приблизилась к его лицу — в глаза, в ноздри, в открытый рот ударило коричневой жидкостью. Это было так дико, что лишь по громовому хохоту окру-

жающих кабинет-министр понял, что случилось. Карлица отомстила за своего мужа и обдала его квасом. Схватить, разорвать ее, как кошку, а там пропади все пропадом! Он рванулся вперед — и будто о стену ударился. Между ним и карлицей вдвинулась большая нелепая фигура, с рожи стекали рубиновые капли. Ах, этот!.. Волынский двинул плечом, фигура не шелохнулась, Волынский шагнул в сторону, но фигура вновь загородила ему путь. Ярость уже не ослепляла взора. Волынский видел массивное тело Квасника, который был одних с ним лет и в той же силе, но куда тяжелее. Такого не сдвинешь. А драться с шутом — смешно и унижительно. И еще он увидел, что к нему за спину заходит верста в генеральском мундире — Миних, а сбоку надвигается мертвоглазый и крепкий, как кленовый свиль, палач Ушаков. Кабинет-министр почти обрадовался голосу императрицы:

— Выйди, Артемий Петрович. Не срамись понапрасну.

Лучше удалиться по приказу государыни, чем ждать, чтобы тебя вышвырнули вон. Он повернулся и, задев локтем Миниха, быстро прошел к дверям. «Это конец!» — подумал Волынский.

И он не ошибся. Поэтому и сошла с рук Авдотье Ивановне ее выходка, а Голицыну — непозволительное заступничество. Волынский был обречен на мучительную смерть.

Уже на следующий день он стоял перед Ушаковым в застенке Тайной канцелярии. Кабинет-министра взяли, не потрудившись предъявить сколь-нибудь важной вины. Даже бывалый Ушаков был озадачен, что должен допрашивать такого серьезного человека из-за сущих пустяков: насчет избиения академии секретаря Тредиаковского и посылки государыне книги зело бесстыдного политика Никколо Макиавелли с «тайными намерениями». Разве из этого состряпешь дело? По счастью, спохватился камердинер Волынского и донес, что его хозяин с товарищами готовил заговор, злоумышлял против императрицы и, что всего хуже, оскорблял ее поносными словами. Сделали обыск, нашли записки Волынского, наброски проекта об улучшении государственного устройства — перепевы мыслей «верховника» Дмитрия Голицына, взяли Еропкина и Хрущова (Татищев уже

сидел по делу о казнокрадстве) — и работа закипела.

До этого у Волынского оставалась надежда выкрутиться: неужели с него всерьез спросится за оплеушины бездарному виршеплету или посылку сочинения знаменитого флорентийца? Но когда Ушаков, как-то сыто позевывая, сказал: «Хрен с ним, с Тредиаковским, хрен с ним, с Макиавеллем, ты мне о заговоре своем расскажи», — кабинет-министр понял, что его песенка спета. И сразу потерял достоинство.

Он обретет его лишь на эшафоте.

В России всегда путали слово и дело. Люди говорили ничего не значащие слова, за которыми не стояло никаких злокозненных намерений, а их наказывали беспощадно, зверски. Мягких наказаний не ведали. Самыми легкими были сечение кнутом, вырывание ноздрей, ссылка в Сибирь. Так расправлялись с ворами, грабителями, браконьерами.

С болтунами обходились круче. Любое слово, сказанное против монаршей особы, тут же объявлялось заговором, за это сажали на кол, колесовали, четвертовали — с предварительным урезанием грешного языка. Более гуманных приговоров не ведали, лишь монаршья воля могла смягчить участь осужденного: кол заменить колесованием, колесование — четвертованием, а последнее — простым отсечением головы. Слова, которыми обменивался Волынский со своими друзьями, слова, которые он небрежно предавал бумаге («горазд был писать!»), слова, которые не перешли даже в подобие дела, были расценены как свершившееся злодеяние. Доброе сердце императрицы облегчило участь несчастных «словесников»: Еропкина и Хрущова просто обезглавили, Волынскому по урезанию языка отрубили вывихнутую на дыбе руку, после чего палач отсек ему голову. Трупы казненных свезли в Самсоньевскую церковь и по отпевании бросили в общую могилу.

Так судьба Михаила Голицына еще раз перелестнулась с историей. Но мученический исход Волынского несколько не облегчил его собственных мук.

Анна Иоанновна умирала, но и это не внушало радужных надежд. Как-то еще распорядится шутами Анна Леопольдовна или, вернее, Бирон? Задумыва-

ясь над своей жизнью, Голицын не раз спрашивал себя, что легче: нести крест в идиотическом беспамятстве или в нынешнем все сознающем страхе? Теперь ему казалось, что раньше унижали не его, а кого-то, кто имел лишь внешнее сходство с ним, душа не чувствовала боли, затихла. Но душа его оттаяла в Ледяном доме, стала живой и мучающейся. И хоть теперь оскорбляли реже и не так зло, но было это во сто крат больнее, потому что он переживает не только за себя, но и за жену, а главное, за того, кто должен появиться на свет. Голицын не мог избавиться от чувства, что тычки и пинки отражаются на зреющем в утробе Авдотьи Ивановны младенце. Его воображению рисовалось, что крошечное новое существо явится в мир обезображенным, в кровоподтеках, синяках и даже не со смятой, как у него самого, а с переломанной душой. Авдотья Ивановна своим поступком с Волынским спасла не только его сердце, но и будущее дитя. Спасла раз — и он сумел ей помочь, но в других случаях она может оказаться бессильной. А что ждет их при жестоком и ненавидящем все русское Бироне? Голицын тосковал, но все-таки никогда бы не поменял нынешнюю тревогу на прежнее животное спокойствие. Ведь случались вечера, а то и целые дни вдвоем с Авдотьей Ивановной — императрица теперь редко кого допускала к себе, кроме врачей и Бирона, — эти часы и дни были такими счастливыми, что стоило вытерпеть даже адовы муки.

Они уже не боялись прикасаться к былому: у Авдотьи Ивановны прошлого, в сущности, не было, так — маета нужды и зависимости. Но Голицыну было что вспомнить и о чем порассказать. Странно, но даже прекрасное воспоминание прежних лет: Италия, смуглая горячая Лючия — не вызывало в нем страдания. Беспокойства за нее и за почти стершуюся в памяти дочь он тоже не испытывал: виноградарь-корчмарь не даст им погибнуть. А любви былой так и вовсе не помнил, Авдотья Ивановна стала его Италией, стала всем, что он когда-то любил. И еще одно властно привязывало Голицына к крошке-жене: с тех первых дней она никогда не говорила о будущем, не строила воздушных замков, держала его и себя в сегодняшнем, но ему казалось, что она провидит для них что-то хорошее впереди. И это помогало справляться со всеми страхами и сохранять равнове-

шенность в той дьяволиаде, которую он теперь все чаще называл службой. В этом тоже была заслуга Авдотьи Ивановны. Слово — не обозначение предмета и явления, а сама суть. Назови «службой» пытку души, и ты все выдержишь.

Авдотья Ивановна благополучно разрешилась от бремени младенцем мужеска пола через месяц после блаженные Ее императорского Величества кончины и через неделю после трагикомического падения регента Бирона. На этом событии мы остановимся, поскольку здесь в последний раз судьбу Михаила Алексеевича решили исторические потрясения.

Бирон все-таки вырвал из рук умирающей Анны указ о назначении его регентом. Освободив народ от четырехмесячного подушного обложения, Бирон считал, что достаточно укрепил свою популярность в подлом сословии, и занялся серьезным делом: уничтожением недовольных. Усилили караулы и разъезды, столицу наводнили наушниками и доносчиками. В крамольники мог угодить каждый из-за неосторожно сказанного слова, по лживому навету, по излишнему усердию шишов, по смутному подозрению испугавшегося собственного возвышения временщика. Бирону следовало бы пересажать всю Россию, кроме членов своей фамилии, поскольку недовольны были все. Даже немецкая партия, даже друг любезный Левенвольде. Никто не верил в способность курляндского выскочки, корыстолюбца и лошадника управлять великим государством, и никому не хотелось делить участи обреченного на падение диктатора.

Серьезные заботы не помешали герцогу Курляндскому распорядиться шутейной командой. По окончании траура шутам надлежало вернуться к исполнению обычных обязанностей. Все должно было оставаться таким же, как при жизни великой императрицы, этим регент лишней раз доказывал свою беспредельную преданность усопшей благодетельнице. Значит, опять чехарда, тычки, драки, сидение в лукошках, квохтанье, поднесение кваса, дрожь в коленках...

И тут сказал слово другой честолюбец, долгие годы находившийся на вторых ролях и терпеливо выжидавший своего часа.

Настало время для военного инженера, генерал-аншефа, победителя турок и шведов графа Миниха. Он не был человеком идеи, вроде верховника Голицына, не был таким неумным честолюбцем, как Волынский, грезившим о ступенях трона; не похож был Миних и на Бирона, для которого власть означала прежде всего богатство.

Он был человеком действия. Непрерывное делание было необходимо его редкостно энергичной, сильной и неутомимой натуре. Придворные интриги, глупость и алчность временщиков, безразличие наследников Петра к целям великого государя не давали ему развернуться. Миниху все это надоело, он хотел большого дела и славы.

Он не был мастером интриги и заговоров и совершил свой переворот с обезоруживающей простотой. Получив испуганное согласие Анны Леопольдовны принять регентство, подполковник лейб-гвардии Преображенского полка Миних взял роту гвардейцев, арестовал Бирона, выдернув его из супружеской постели, и провозгласил регентшей мать малолетнего царя Ивана Антоновича. Арест Бирона сопровождался гадко смешными подробностями. Герцог забился под кровать, а извлеченный оттуда, стал кусаться, царапаться и лягаться. Его связали, закатали в ковер, рот заткнули платком и в таком виде сволокли в карету. Бенингна тоже сопротивлялась, тонкий пеньюар разорвался в клочья под грубыми руками гвардейцев, обнажив изобильные розовые тела. Так позорно завершился один из худших периодов многострадальной русской истории.

Переворот Миниха имел следствием роспуск шутейной команды. Анна Леопольдовна, сама достаточно натерпевшаяся от вздорного нрава тетки — ее ругали и хлестали по щекам как нерадивую фрейлину, — не находила удовольствия в унижении других людей. Она разогнала болтушек и уволила с придворной службы всех шутов, щедро их наградив. Голицыну была возмещена стоимость конфискованного имения.

— Ну и я тебя отпускаю, батюшко, — сказала Авдотья Ивановна, когда благодетельствованный регентшей муж вернулся домой.

— Куда? — не понял Голицын.

— В твою новую настоящую жизнь.

— А разве у нас не настоящая жизнь? — с улыбкой спросил Голицын.

— Нет, вся наша жизнь — в шутку. Сам знаешь. С шутки началось, шутя продолжалось. А что не отверг меня, за это тебе благодарность. Я тебе не ровня и всегда это знала. Сейчас ты вольный человек, в своем достоинстве и при средствах. Наш брак вовсе не считается, раз ты другой веры.

— Чего ты?.. О чем ты?.. — бормотал растерявшийся Голицын.

— Пора тебе начать жить, как по родовитости твоей положено, а чужой злобой отнято. Ты же Голицын! И как тебя ни мытарили, как ни гнули, а сломать не смогли. Человек ты свежий, крепкий, в полном здравии. Будет у тебя и дом, и жена-ровня, и детишки. А за меня не переживай, нашего богатства и на двоих хватит.

Последних слов ее Голицын уже не слышал. Он наконец-то понял, что все это всерьез, что Авдотья Ивановна приняла решение, а он хорошо знал, как тверда она и неуступчива, если что задумала. Голицын не умел спорить, бороться, убеждать, он никогда ни в чем не мог поставить на своем, все распорядились им, как хотели: цари, министры, фавориты, военачальники, даже итальянский виноторговец и его дочка, да что там — огрызки человеческие из шутейной команды, а он умел только покоряться, молча потуплять голову. Голицын зарыдал, затопал ногами в бессильном отчаянии, стал колотить себя кулаками в грудь.

Авдотья Ивановна испугалась, что он опять выпадет из ума. Она видела его в беде, в нечеловеческом унижении, видела битым и растоптанным, видела раз за свадебным столом слезу на его щеке, но никогда не видела и даже не представляла плачущим. Этого от него никто не мог добиться.

Она должна была дать Голицыну свободу выбора. Он мог остаться с ней из благодарности или по слабости, а Авдотья Ивановна этого не хотела. Ведь она любила. Но слишком велико их нынешнее неравенство. Какая она жена князю — Буженинова, божья нелепица, камчатская оборванка рядом с Гедиминовичем, статным, пожилым красавцем, от которого за версту веет родовитостью!

— Милый, да что ты?.. Что с тобой?.. Ну, не хочешь, никуда я не уйду. Только перестань, родимый. Никуда не денется твоя Авдошка. Вот я, всегда с тобой, пока не прогонишь... Да шучу я... Твоя я, твоя, понял?.. Давай утрем слезки.

— Ты правду говоришь?

— Конечно, правду.— Она протянула ему фуляр, и князь трубно высморкался.

Через месяц к черному ходу дворцового флигеля была подана вместительная карета; в нее сели высокий представительный барин в шубе с бобрами и маленькая барынька в соболях. Туда же забралась дородная молодница с грудным ребенком в атласном конверте. Карета тронулась, за ней потянулись три возка с поклажей. Князь и княгиня Голицыны отправились в свое имение в подмосковном селе Братовщине, приобретенном через доверенного человека.

По тем еще скромным временам имение Голицына могло считаться образцовым: усадьба в отменном состоянии, за мужиками недоимок не числится, а сам господский дом — табакерка. В елисаветинский век богатые и знатные фамилии начнут возводить в своих сельских вотчинах каменные дворцы с колоннами, приглашая для строительства лучших петербургских и московских зодчих, разбивать французские и английские сады, украшая их мраморными статуями, городить искусственные гроты, балюстрады, фонтаны. Но в ту патриархальную пору даже знаменитому Архангельскому, имению верховника Голицына, было бесконечно далеко до того роскошного вида, который ему впоследствии придадут новые владельцы, баснословно богатые Юсуповы. Дома состоятельных помещиков тогда мало чем отличались от деревенских изб, разве что были попросторнее и окошки стеклянные, а не слюдяные, да крыльцо позатейливей. Крыша — та же дранка, обстановка — грубо сколоченные столы, лавки вдоль стен, два-три городских стульца, сундуки, пол застлан рядом.

А у Голицыных дом хоть и деревянный, да оштукатуренный, двухэтажный, и под железом, крыльцо с белыми колоннами; в первом этаже имелось зальце

с изразцовыми печами, несколькими старыми потемневшими картинами на стенах и огромным паникадиллом. На втором этаже находился кабинет с дубовым письменным столом, прямоспинным креслом, диваном и книжным шкафом, рядом — спальня и детская. К дому примыкали флигели, там были комнаты для гостей, поварня, кладовые, контора, чуланы для дворни, баня. За домом расстился громадный сад, его прорезали липовые аллеи, был и чистый пруд с карасями и клумбы против парадного входа.

Голицыну дом полюбился, но Авдотья Ивановна не разделяла его восторга. «Нынче и это сгодится, — говорила она, — а там, конечно, ты по-другому отстроишься». Эти слова пугали Голицына каким-то темным намеком, но, утомившись страдать, он сразу прекращал разговор.

Поместью принадлежало большое село и пяток не слишком захудалых деревень. Михаил Алексеевич, поддерживаемый во всех своих начинаниях женой, в короткое время крепко и выгодно устроил хозяйственную жизнь в своих владениях. Кого оставил на барщине, кого перевел на оброк, а кого отпустил в город, на заработки. Он прогнал старого управителя, бессмысленно придиричивого немца, которого крестьяне ненавидели и всячески старались обмануть. На его место Голицын поставил приказчика из местных, сметливого молодца, взяв с него клятву, что воровать тот будет не много, не мало, а средственно, чтобы барину не захотелось сдать его в солдаты. И еще ему было велено не прижимать крестьян без нужды, не то пойдет к ним на правож. Новому управляющему равно не хотелось ни под ружье, ни под розги земляков, его стараниями имение обеспечивало Голицыных и прибыль давало, крестьяне тоже не жаловались.

Вскоре Авдотья Ивановна подарила Голицыну второго сына. На радостях Михаил Алексеевич закатил пир, пригласив всех окрестных помещиков. Это был народ мелкотный, хотя и не вовсе бедный. Но жили бирюками, иные сидни даже в Москве не бывали, не то что в Петербурге. Помещики были ошеломлены великолепием дома Голицыных и оказанным им приемом. Непривычный к роли хозяина и боящийся уронить себя чрезмерной обходительно-

стью, которую могли счесть заискиванием, Михаил Алексеевич надувался, как индюк, был важен до высокомерия и тем необычайно понравился гостям. Таким они и представляли себе настоящего вельможу, приближенного суровой Анны Иоанновны, о царствовании которой ходило столько темных слухов. А вот радушная, веселая Авдотья Ивановна разочаровала помещиков своей простотой и неавантюжностью; разве такая жена положена князю Голицыну!

В свою очередь, Авдотья Ивановна невысоко оценила гостей, вспомнив о них много времени спустя, и, как поначалу показалось Михаилу Алексеевичу, вроде бы ни с того ни с сего.

— До чего же соседи наши дремучи, только что шерстью не поросли!

Они сидели на лавочке возле клумбы и отмахивались от комарья.

— Люди как люди, — равнодушно отозвался Голицын.

— Нет, не такая тебе компания требуется.

— Что ты все меня возвышаешь? Да кто я такой? — рассердился Михаил Алексеевич, которому не понравилось словечко «тебе», будто разъединяющее их. Уже не в первый раз Авдотья Ивановна как бы проводила черту между ним и собой.

— Надо, чтобы к тебе из Москвы, из подмосковных вотчин господа приезжали, — мимо его слов продолжала Авдотья Ивановна. — И они поедут, когда прослышат про твои хоромы.

— Какие еще хоромы? О чем ты, Дунюшка? Нешто я Шереметев или Куракин? Да и зачем они нам?

— Молчи! — приказала Авдотья Ивановна. — Чем ты хуже их?

— Не привык я к пышности. А главное, денег нет на такое мотовство.

— Есть, Миша, — очень серьезно сказала Авдотья Ивановна. — Я же говорила тебе, что мы богаты.

Голицыну вспомнилось, что как-то в первые дни их супружества она обмолвилась о каком-то богатстве, но не до того ему тогда было, а после и вовсе выпало из головы. Ну что она, сердешная, в богатстве смыслит? Думает небось, что незаможная деревенька, пожалованная на свадьбу Анной Иоанновной, и раз-

ные ее подачки: перстеньки, брошки, браслетки — невесть какое состояние. Откуда ей знать, что такое настоящее богатство?

— Да ты не веришь?

Авдотья Ивановна прошла в дом и вернулась с увесистой шкатулкой, которую несла с трудом на плече. Она открыла шкатулку, и у Голицына за-слезились глаза — такой оттуда ударил блеск и сверк.

— Господи, откуда?

— А это приданое. Ты пьяненький был, не заметил, поди, как нас одаривали. Матушка императрица пример подала. Остальным куда деваться?

Авдотья Ивановна заметила его брезгливое, отстраняющее движение.

— Эти дары не в короб, а в ледяную могилу кидали.— И добавила с тихой угрозой: — Не смей ими гребовать...

— О чем ты? — испугался Голицын.— Нешто я что говорю?

— То-то!.. Вот он, твой дворец, Михаил Алексеевич!

— Почему «твой»? — вскинулся Голицын, в такие минуты робость его оставляла.— Нет ничего моего и не будет — только наше!

Она помотала головой.

— Это для твоей новой жизни. Меня уж в ней не станет.

— Куда же ты денешься? — вымученно улыбнулся Голицын.

— Куда все деваются, туда и я. Выкормлю поскребыша своего и уберусь... Я все свое от жизни получила... Нешто могла я мечтать о таком?.. А ты должен еще одну жизнь прожить, самую лучшую. Был господь наш Иисус на кресте, а стал в славе. И ты должен восстать в славе. Так я решила, и не спорь со мной. Не раздражай больного человека.

— Чем же ты больна, Дунюшка? Мы врачей вызовем, хочешь, в Италию поедем?

— Вот моя Италия.— Она обмахнула пространство рукой.— А врач меня осматривал. Помнишь, я на грудь жаловалась, говорила, что придется кормилицу брать?.. Ничего у меня с грудью не было, а сидела во мне моя болезнь. И врач это подтвердил. От нее не лечатся и не выздоравливают... Прекрати!..

Я еще поживу здесь... А мой наказ ты исполнишь. Поклянись, что исполнишь!.. Смотри, а то я тебе являться стану...

— Являйся, Дунюшка! — попросил Голицын. — Все легче...

Авдотья Ивановна верила: слово муж сдержит, чего бы ему ни стоило. Этого она и добивалась. Пришлось сказать о своей неизлечимой болезни, чтобы связать его обязательством, а то, не ровен час, руки на себя наложит. Она знала, как Голицын ее любит, и ничего не боялась. Его любовь сбережет ее в каком-то высшем тайном смысле, назвать который она не умела.

А Михаил Алексеевич после этого разговора вроде бы успокоился. Он не плакал больше и, когда спал, все прижимал к себе ее маленькое тело, так что ей становилось трудно дышать, но Авдотья Ивановна и не пыталась освободиться из его рук. На посторонний взгляд с ним было все в порядке, правда, приказчика удивляло, что вникавший прежде во все хозяйственные подробности Михаил Алексеевич вдруг перестал интересоваться хозяйством, хотя подступала уборочная страда. Ушлый молодец не попался на удочку внезапного доверия и еще умерил воровство. Конечно, приказчику и в голову не могло прийти, что барину все сделалось безразлично: хоть вовсе не убирайте, не молотите, не сейте. Он хотел каждую минуту быть с Авдотьей Ивановной и не тратиться ни на что другое. Он следовал за нею, как тень, а стоило ей, все слабеющей, прилечь, как он тут же подваливался к ее боку. Голицын почти не страдал, она это знала. С ним сделалось что-то похожее на прежнее выпадение из памяти. Только тогда Михаил Алексеевич полностью освободился от себя, а сейчас сумел отогнать страшное. Он так сосредоточился на ней живой, что не осталось места для образа утраты. Да ведь нельзя просто забыть о том, что ежеминутно напоминает о себе, это вне человеческой воли; свое благое беспамятство Михаил Алексеевич оплатил частичной утратой личности. В нем не было сейчас ни любви к детям, ни радости от дома, от прогулок, ни беспокойства о хозяйстве, ни интереса к чему-либо творящемуся на свете, он дышал и не мог надыхаться одной Авдотьей Ивановной. «И не надышишься, милый, — нежно и жалеюще думала Авдотья Иванов-

на.— А все-таки большое облегчение — уметь так прятаться от страшного». Сама она жила, как раньше, не изменяла своим привычкам, спокойно и твердо ждала близкого конца, но думать старалась только о хорошем, что выпало ей в жизни. Утешалась она и мыслями о будущем величии Михаила Алексеича.

Хорошая собака никогда не умирает на глазах хозяина, находит такое укромье, где ее невозможно отыскать. Она не хочет удручать зрелищем своего конца того, кого любила всем беззаветно преданным сердцем. Видимо, это древний животный инстинкт заговорил в Авдотье Ивановне, по корням близкой природе и почве.

В один из ничем не примечательных мягких пушистых зимних дней она исчезла. И как могло это случиться? Михаил Алексеич ни на шаг не отпустил жену от себя — да ведь случилось! Усыпила она его, что ли, или заколдовала, но вдруг он как-то странно вздрогнул, будто со сна, и очнулся в пустоте. Голицын заметался, забегал по дому, стал обшаривать каморы, двигать мебель, хлопать дверцами шкафов, потом спохватился и кликнул людей. Длинной цепью двинулись они через сад к лесу. Голицын все приглядывался к следам, их было множество — маленькие опущенные следы животных и птиц. Но ведь и следки Авдотьи Ивановны были не больше.

Они обыскали сад и примыкающую к нему березовую рощу, окликая Авдотью Ивановну и аукаясь — тщетно! — и углубились в еловый бор; здесь снег был столь глубок, что люди проваливались по пояс, — нешто тут пройти такой крошке? — но Михаил Алексеич замороженно ломил вперед, и дворе нечего не оставалось, как следовать за ним.

Нашел ее сам Михаил Алексеич, хотя не признал в первое мгновение, приняв меховое пушистое существо в развилке соснового сука, пригнувшегося под снежным гнетом, за зверьку вроде кунички. А это была Авдотья Ивановна в шубке и меховой шапочке, уже замерзшая, одеревеневшая. Голицын взял ее на руки — она ничего не весила. Только сейчас увидел он, как мало от нее осталось, как сморщилось, усохло

в детский кулачок желтое лицо с провалами забитых снегом глазниц. Михаил Алексеевич видел ее, такую важную и значительную для него, преувеличивающим оком, а сейчас зрение его опустело, и Авдотья Ивановна словно съежилась, уже мертвая предстала перед ним в настоящем своем облике.

Он понес ее на вытянутых руках и весь путь до дома по-волчьи выл, так что у дворовых волосы под шапками становились дыбом.

Нашлись добрые души, взявшие на себя похороны и все сопряженные с ними хлопоты: Михаил Алексеевич ни на что не годился...

Потом началось долгое, тяжелое опаматование.

Постепенно Голицын выполнил все наказания Авдотьи Ивановны. Детям нанял воспитателей. Построил каменный дом — бело-синий, с колоннами и лепниной. Обставил его английской мебелью. Женился. Жену взял из семьи почтенной, но не родовитой. Ее страстью было наряжаться, но долгое время всем великолепием парижских нарядов любовались лишь дремучие очи окрестных помещиков. А потом, как предсказывала Авдотья Ивановна, слухи о роскоши и хлебосольстве голицынского дома достигли Москвы, и среди его гостей появилось немало чуть замшелой, но весьма родовитой знати. У новой княгини Голицыной был один несомненный дар: она умела принять любого гостя и любое число гостей, сохраняя вид величественного благоволения, неизвестно почему осенившее внучку петровского барабанщика, выслужившего офицерский чин и потомственное дворянство. Ей очень повезло, поскольку ничего другого, кроме представительности, от нее не требовалось.

Когда князь и княгиня Голицыны выходили на прогулку, оба большие, статные, нарядные и торжественные, он, опираясь на трость, она — на его твердую руку, дворовые бросали дела, чтобы полюбоваться этим величественным и никогда не надоедавшим зрелищем.

Соседские помещики князя боготворили. Он устраивал великолепные охоты с борзыми и гончаками, хотя сам никогда не брал ружья в руки, поил и кормил до отвалу и даже перепившему, наскандаливше-

му гостю не делал никакой укоризны, а заботливо отправлял домой на своих лошадях. У него был великолепный погреб, и, наверное, по всей России не нашлось бы таких квасов, как у Голицына. Из чего только их не готовили! Помимо всех известных квасов, у него подавались шипучие хмельные квасы из заморских фруктов, выращиваемых в оранжереях, с примесью каких-то трав. И была традиция: каждому новому гостю князь с задумчивой полуулыбкой собственноручно подносил кружку кваса, чуть наклонив крупную голову под великолепно расчесанным париком, и говорил душевно: «Извольте, сударь, откушать». С поклоном принимал опорожненную кружку и протягивал платок, чтобы гость отер пену с усов. Говорили, что императрица Анна пила квас только из его рук, и на эту привилегию никто не смел посягать. Что правда, то правда.

А вообще правды о нем не знали, да и не стремились узнать. Каждое историческое событие становится сперва легендой (еще при жизни современного ему поколения), потом предметом научного изучения, и окончательный образ обретает себя вновь в легенде. Конечно, случались люди, утверждавшие, что блистательный вельможа был шутком при дворе Анны Иоанновны, но это не производило на гостей Голицына обидного для князя впечатления. Бироновщина была овеяна какой-то мистической жутью, пережить то время, да еще вблизи самого Курляндского сатаны, было уже подвигом. А как ты назывался, кем числился, какие муки терпел в страшное огнепальное время, стоит ли разбираться? Лучше почтительно молчать перед страстями, которые по божьей милости не выпали тебе на долю.

Сам Голицын никогда не говорил о прошлом и умел безмолвно прекращать эти разговоры в своем присутствии, что еще увеличивало общее к нему уважение. Не хотел этот человек ни лавров, ни сострадания, ни восхищения, ни содрогания, он имел мужество существовать в нынешнем своем образе, не озираясь на прошедшее.

Никто не задавался вопросом: счастлив ли хозяин гостеприимных пенатов — это казалось само собой разумеющимся. Если он и претерпел гонения в прошлом, то настоящее все ему возместило.

Сам Михаил Алексеевич был иного мнения на этот счет. Он видел свое счастье в минувшем, когда, закончив шутовскую службу, возвращался к Авдотье Ивановне, срывал парик с потной головы, скидывал пыльный кафтан, и они вдвоем шли париться в ее домовую баньку, и он поддавал пару хлебным квасом.

С годами его меланхолия, не переходившая во что-то болезненное, тягостное для окружающих, стала усиливаться. Однажды Голицын задумался об этом и сделал выводы. Он завел шутов. Кормил и содержал их отменно, но был строговат.



Р а с с к а з ы



ШКОЛЬНЫЙ альбом

Быль

1

Мне оставили этот большой альбом в красном коленкоровом переплете, на титульном листе которого старательно выведено тушью: «331-я школа, выпуск 1938 года», чтобы я заполнил два чистых листа — в одном разделе: «Они сражались и погибли за Родину» — на Павлика С., моего первого и лучшего друга, в другом: «Здоровья и счастья» — на самого себя, которому это пожелание в самый раз. Есть еще третий раздел: «Вечная память» — о безвременно ушедших: от старых ран и недугов войны, как Володя А., или от мирных болезней, как автодорожник Люсик К., или от самогубления, как инженер Юра П.

Есть особая судьба, и я жалею, что не мне поручили написать о Ляле Румянцевой. Досрочно закончив медицинский институт, она пошла работать врачом в лагерь немецких военнопленных армии Паулюса; те привезли из-под Сталинграда жестокий тиф, Ляля заразилась и умерла — двадцати трех лет. Но мои школьные друзья, составители альбома, рассудили иначе — наверное, справедливо, — что о Ляле должны написать Ира и Нина, учившиеся с ней в школе с первого до последнего класса, затем в институте с первого до последнего курса и метавшиеся в тифозном бреду на соседних госпитальных койках. Лишь здесь их пути разошлись: Ляли не стало, Ира и Нина вернулись в жизнь.

Впрочем, о Ляле я уже писал раньше, есть у меня такой рассказ в книге «Чистые пруды» — «Женя

Румянцева», где в образе героини соединились черты двух моих соучениц: Ляли Румянцевой и Жени Рудневой — называю и последнюю полным именем, ибо оно принадлежит истории. Майор Руднева — штурман легендарного женского бомбардировочного полка Марины Расковой посмертно удостоена звания Героя Советского Союза, о ней написаны книги, ее замечательный по искренности дневник выдержал много изданий. Почему я соединил двух девушек в одну — сейчас мне и самому трудно разобраться. Все же попробую. С Женей меня в школе ничего не связывало. Мы учились в разных классах, она была секретарем комсомольской организации, самой видной общественницей школы, я же являл собой полное отрицание всех Жениных устоев: индивидуалист, злостный прогульщик (к тому же с ведома и одобрения родителей), и пусть не хулиган, не дебошир, но тихий хамила, читавший на уроках постороннюю литературу и дерзивший учителям, которых Женя глубоко почитала всей своей большой и теплой душой. Но более всего смущало прямолинейную и бесхитростную Женю, что при таком недостойном поведении учился я, подобно ей, на одни пятерки, чем являл особый соблазн для слабых и неустойчивых натур. Это разрушало Женины представления о добре и зле, о нравственной основе жизни. Однажды она попыталась провести со мной душеспасительную беседу, но я высмеял ее бессильные потуги вернуть меня на путь истинный. Женя скинула русую прядку на взблеснувший слезой глаз и отступилась. Мы не перемолвились больше словом до окончания школы, а после выпускного вечера разошлись — навсегда.

Женя поступила на механико-математический факультет МГУ, но мечтала стать астрономом. Она была деятельным членом Московского отделения Всесоюзного астрономического общества. «Мне хочется открыть хоть маленькую звездочку, — признавалась она друзьям. — Пусть будет на небе и мой светлячок». Возможно, это честолюбие, но такое милое и трогательное!

Война перечеркнула все ее планы. Женя была на редкость цельной натурой, и не могло быть сомнений, какой путь она изберет. В нашем альбоме о Жениной военной судьбе сказано с протокольной точностью

и краткостью. Текст помещен сбоку от портрета той Жени, которой я уже не знал, — двадцатилетней и красивой. В ее лице таинственно соединились открытость, мягкость с волевой завершенностью черт, упрямая крутизна лба искупалась полуулыбкой добрых губ, а в моей памяти Женя осталась полноватой, рыхлой девчонкой-нескладехой.

Из альбома: *В начале октября 1941 года по призыву ЦК ВЛКСМ о наборе девушек в армию Женя Руднева среди первых была рекомендована в женскую авиационную часть Героя Советского Союза Марины Расковой. В мае 1942 года после окончания авиационной школы штурман звена ночных бомбардировщиков Евгения Руднева вылетела на фронт в район Северного Кавказа. В марте 1943 года она вступает в члены КПСС, и в этом же году ее назначают штурманом полка. За участие в освобождении Кубани женскому авиационному полку, где служила Женя, было присвоено звание Гвардейского (Гвардейский Таманский полк)».*

От меня: Женя, как и все ее подруги по полку, летала на У-2, у нас эти фанерные одновинтовые самолеты прозвали «кукурузниками» — они могли при необходимости сесть на кукурузное поле и схорониться среди початков, а у немцев — «бесшумной смертью», «ночными дьяволами» — их нельзя было засечь улавливающими устройствами и поразить из зенитных орудий; они шли на бомбометание с выключенными моторами и слишком низко, чтобы осколки зенитных снарядов могли причинить им вред, требовалось лишь прямое попадание.

Из альбома: *«В ночь на 9 апреля 1944 года, совершая свой 645-й боевой вылет на бомбежку вражеских позиций, Женя Руднева погибла. Это было над Керчью. Имя Жени Рудневой внесено в книгу Боевой славы. 26 октября 1944 года Евгении Максимовне Рудневой за мужество и отвагу присвоено посмертно звание Героя Советского Союза».*

Звездная мечта Жени осуществилась: Золотая Звезда увенчала подвиг, а Всемирное географическое общество назвало Жениным именем вновь открытое небесное светило. И когда мы праздновали наше общее шестидесятилетие в моем загородном жилье, с ночного подмосковного июньского неба на нас глядела и Женина звездочка.

В рассказе «Женя Румянцева» герой уговаривается после школьного выпускного вечера с девушкой, которой он нравится, ничуть о том не подозревая, встретиться через десять лет у средней колонны Большого театра. В назначенный срок он является к месту свидания, зная, что девушка эта погибла на фронте. Судьба девушки подобна судьбе Жени Рудневой. Но я ей, мало сказать, не нравился, и мы никогда не уславливались о подобной встрече. Уславливались мы с Лялей Румянцевой, и в тот миг на меня пахнуло странной, неожиданной нежностью, оставшейся запоздалым сожалением в моей душе. О Лялиной судьбе я узнал по окончании войны, но свое обещание выполнил и в должный час пришел к Большому театру с букетом цветов, который отдал потом какой-то одинокой девчонке.

По своему максималистскому характеру Ляля напоминала Женю, равно как и по безоглядности общественной отдачи. И она была такой же прямой, жестко честной, требовательной к себе и к другим. Но у нее эти волевые качества растворялись в стихии женственности. Ляля была стройна и спортивна, в девичьем ладном облике проглядывал близкий женский расцвет. Женя оставила школу серьезной и неуклюжей девчонкой с плохо координированными движениями, набивавшей шишки обо все углы, — самым трудным предметом для нее была физкультура. Самолет — продолжение тела летчика, к тому времени, когда Женя поднялась в небо, она обрела полную власть над своей созревшей плотью, стала ловкой, крепкой и ладной, и, словно отвечая этому чуть запоздавшемуся превращению, пришла к ней первая и последняя любовь.

Женя обрела то, чем владела Ляля, а Ляля оказалась несостоявшейся Женей. По своей высокой и решительной душе она имела право на подвиг и непременно совершила бы его, если б жизнь ее не оборвалась так внезапно и нелепо. Но разве ее смерть не была подвигом? Она лечила, спасала тех, кого должна была ненавидеть, до конца оставалась верна клятве Гиппократата, которую в суматохе ускоренного выпуска даже не успела дать. Но это не тот подвиг, о котором слагают песни, пишут книги, и мне захотелось как-то исправить допущенную жизнью несправедливость. Пусть Женя поделится с подругой своим

подвигом, а Ляля — тем очарованием, которым в школьную пору Женя не успела открыться. И две девочки: Женя Руднева и Ляля Румянцева соединились в рассказе в одну — Женю Румянцеву.

И в альбоме, по-моему, неверно было их разъединять: Ляле отвели место среди «безвременно умерших». Нет, Лялю тоже надо считать фронтовичкой, отдавшей жизнь на поле боя.

Женя Руднева — наша слава, наша гордость, наша боль, но она принадлежит не только нам, и я называю ее здесь полным именем, то же самое делаю в отношении Ляли Румянцевой, чтобы уравнились они в памяти, коль не случилось этого при жизни. Но больше так я никого называть не стану. Я оставляю моим друзьям лишь имена, под которыми знал их в школе и которые указаны в альбоме, и первую букву фамилии, чтобы не спутались тезки. И вовсе не потому, будто считаю их хуже знаменитой Жени Рудневой или безвестной, трагически ушедшей Ляли Румянцевой — нет, нет и нет! Но Женя, повторяю, вырвалась из-под моей власти: судьба девушки, которая шла на смерть не раз, а шестьсот сорок пять раз, стала всеобщим достоянием, Ляля же у меня повязана с ней, что заставляет называть и ее полным именем. Но я не могу говорить с такой уверенностью знания ни о других ушедших, ни тем паче о живых, чья судьба пребывает в движении, развитии. Они не уполномочивали меня быть их Пименом. Писать же без внутренней свободы нельзя. А свободу эту можно обрести лишь одним — никаких полных имен. И тут уж не должно быть исключений, кроме оговоренных выше. Это не всегда легко, особенно когда приходится любимейшего друга называть Павлик С. Есть еще одна причина, почему я должен обходиться без фамилий: не всем нам повезло в жизни, не все были всегда правы и перед другими, и перед самими собой, но перед нами и этим альбомом на них нет вины. Так чего же потащу я их на суд людской? Того же, за кем мы такую вину числим, нет в альбоме, но об этом подробнее будет сказано в конце. Не знаю, насколько убедительно обосновал я свое решение, похоже, что не очень-то, но, думаю, оно покажется справедливым по мере чтения этих записок...

Не случайно сразу за Женей Рудневой страница альбома отдана Павлу Г. О нем написала бывшая наша девочка Сарра М., одноклассница и соседка Павла по дому бывших политкаторжан на Покровке.

Из альбома: «...Павел Г., Павел, Павлик — самый серьезный из нас, молчаливый, задумчивый, он был полон доброты и доброжелательности. Он обладал редким даром сопереживания, всегдашней готовности разделить и принять на себя тяжесть чужих огорчений. Он был другом в трудный час. Его серьезность, взрослое чувство ответственности делали его нечастую веселость и органическое умение радоваться чужой радости еще более пленительными.

Он был нашей совестью. Он не знал компромиссов, столкнувшись с тем, что считал недостойным. Его порядочность в таких случаях проявлялась не доказательствами и спорами — он, смешно надувшись, что-то бормоча под нос, не желая разговаривать, уходил, и это было сильнее всяких объяснений.

Как часто, когда мы шумели и спорили, он, заложив руки за спину, молча ходил, размышляя, ничего не слыша, замкнувшись в свои мысли.

В отличие от нас его жизнь была очень трудна, ранняя тяжелая болезнь сделала его мать инвалидом. Он был хорошим сыном — добрым, внимательным и работающим.

Он хорошо учился, не для отметок, его многое интересовало, особенно точные науки, его отношение к занятиям было не школярским, как у многих из нас, и знал он больше, чем мы. Так уже считалось, что он получит техническое образование, но он решил стать врачом.

Врач — вот было его человеческое назначение. Его душевные качества не могли не вылиться в это решение. Это не будет мистикой — сказать, что не только он, но и его избрала медицина. Такие избранники бывают редко.

Когда он, еще не дипломированный врач, оперировал раненого в палатке полевого госпиталя, начался налет немецкой авиации. Он лег на раненого, закрыв его своим телом. Палатка полевого госпиталя не защитила их: они были пробиты одним осколком — врач и боец.

Нельзя оскорблять память нашего друга рассуждениями о том, что он мог бы спастись,— для него выбора в этот миг не существовало.

И незачем писать о памяти. Он с нами, пока мы живы, он жив. Ты с нами, Павел, друг наш».

Павел Г. был чуть ниже среднего роста, худощав, с какой-то странной ныряющей походкой, а ноги ставил по-балетному — носками врозь. В классе ничего не знали о его домашней жизни и вообще мало знали о нем. Между нами и Павлом стояла математика. Он постоянно решал задачи: в младших классах — арифметические, потом алгебраические, а в старших, вместе со своим единственным школьным другом, блестяще одаренным Колей Р., предался магии интегралов и дифференциалов. Свою напрягающую над высшей математикой мысль Павел оберегал, зажав уши и сцепив пальцы на затылке. Отрешенным взглядом смотрел вверх или сквозь окружающих, что-то вечно искал в лишь ему ведомых пространствах. Он не стремился к одиночеству, но умел создавать его среди любой шумной компании, чтобы оставаться со своими мыслями. Блез Паскаль признавался, что серьезное мышление занимало ничтожно малое время в его жизни, наш Павел всегда был нацелен на с е р ь е з н о е. Его миновали и наши грехи, и наши доблести: он не хулиганил, не курил в уборной, не хвастался, не дрался, не бегал за девочками, не занимался спортом и не глотал тоннами увлекательное чтиво. Он думал... И решал он не только математические, но и нравственные задачи. Одна из главных — выбор профессии. Конечно, он наступил на горло своему истинному призванию, решил стать врачом. Душевная самоотверженность подавила мозговую склонность...

Помню, как удивило меня восклицание моей матери, впервые увидевшей Павла Г.: «До чего красивый мальчик!» Мне и в голову не могло впасть, что неприметный, весь в себе, Павел красив, что у него вообще есть внешность, заслуживающая внимания. Красивы были герои чистопрудных ристалищ с прической «под бокс», папироской в углу презрительно сжатого рта, хмуро-дерзким прищуром из-под лакированного козырька «капитанки», с напульсниками на крепких запястьях и мужественными фингалами. Мать почувствовала, что я не понял. «У него серебряные

глаза. Боже, ни у одного человека не видела я серебряных глаз!» Я свято верил каждому слову матери — и тут же обнаружил, что наш скромный Павел сказочно красив: светло-серые, прозрачные глаза его и впрямь отсвечивали серебром. Но потом я опять перестал замечать серебро радужек вокруг его удлинённых глубоких и темных зрачков, да и самого-то Павла едва видел — слишком полярны были наши интересы.

Сейчас я смотрю на фотографию Павла, помещённую в альбоме, — как же красиво, одухотворенно, возвышенно это чистое и серьёзное, среброглазое юношеское лицо!..

Бывшая девочка Сарра М., так хорошо написавшая о Павле, открыла мне, что наш молчаливый друг был куда понятнее и ближе ребятам, знавшим его не только по школе, но и по большому дому политкаторжан, где шла его главная, трудная и самоотверженная жизнь.

Сарра до последней минуты не знала, примет ли участие в общем дне рождения: у нее очень большое сердце. И вот она с нами — удивительно моложавая, стройная, подтянутая, строго и хорошо одетая и такая интересная, какой не была даже в юности. Но она ничего не ест и не пьёт, только подносит к губам рюмку с вином, когда произносится очередной тост. Хотя я не считался хозяином — хозяевами были мы все, — встреча как-никак происходила «на моей территории», и это невольно понуждало меня к повышенной пристальности. Набрав в тарелку еды, я подошел к Сарре: «Ты что — голодовку объявила?» — «Все в порядке, — голос прозвучал чуть резко. — Только не надо ко мне приставать. Прости. Не сердись». Я понял, чего стоил Сарре приезд сюда, каким волевым напряжением оплачены ее прекрасная форма, подтянутость, сиюминутная пригожесть...

Всю свою трудовую жизнь, закончившуюся раньше срока из-за болезни, Сарра была библиотечаршей в театральной библиотеке. Находиться постоянно возле книг, так хорошо владеть словом, это видно по тем двум страничкам, что она написала о Павле, и не стать, пусть тайно, писательницей — такого быть не может. Я сказал ей об этом. Она пожала плечами. «Это все, что я написала за всю мою жизнь. И впервые поняла, до чего же непосильное дело — литература.

Теперь я преклоняюсь перед писателями. Вы — мученики!» — «Не стоит преувеличивать, — возразил я. — Святых Себастианов среди нас куда меньше, чем арбалетчиков».

А потом кто-то сказал в тосте, что вся жизнь Павлика была лишь ради того единственного мига, когда он прикрыл собой раненого. Сарра побледнела от гнева. «Это чисто поэтическая мысль — красивая и пустая. И дурная к тому же. Он родился и зрел, чтобы прожить большую, нужную, серьезную жизнь. Павел поступил так, как только и мог поступить, но плохо думать, что его душа томилась в предбытии миллионы миллионов лет ради одной коротенькой вспышки. Нет, нет!.. Не надо всегда все оправдывать, благословлять и превозносить только потому, что это было». — «А что надо?» — «Не знаю. Отвергать, не соглашаться, протестовать, вопить, плевать в бороду бога, может, тогда все мертвые вернуться...»

Странный инструмент — человеческая память! Только из-за того, что о Павле заговорили, я обнаружил в себе неведомые запасы воспоминаний. Это случилось в ту недолгую пору, когда «открытый» мамой Павел стал для меня прекрасен, как небожитель. Наша классная руководительница Мария Владимировна, опытная, с крепкой рукой, умеющей натягивать и отпускать вожжи, но несколько обделенная даром беспристрастия, столь важным для педагога, тоже на свой лад открыла Павла Г. Его незаурядные математические способности, любознательность, глубокая серьезность (он был тихим зеленым островком посреди бурных и мутных вод нашего класса) вдруг были замечены и оценены статной, как будто в латы закованной, медноволосой и суровой классной руководительницей. И с присущим ей волевым напором она стала делать из него первого ученика. Было это, если не подводит память, в шестом классе. У нас имелась штатная первая ученица Нина Д. — кладезь школьных добродетелей, образцово-показательная по всем статьям, до некоторой даже роботообразности. Забегая вперед, скажу, что во взрослой жизни эти ее качества обернулись безукоризненным поведением на всех крутых виражах судьбы, громадным чутьем и безоглядой самоотверженностью в избранной ею врачебной профессии. Первая ученица с аккуратными, скучными косичками стала человеком высшего

класса. Но тогда эта румяная девочка была до того правильна и примерна, что при ее появлении каждый живой организм скисал, как молоко в жару. И наша классная руководительница чутко поняла, что в седьмом классе, когда программа резко усложняется, понадобится иной герой для угнетения малых сил. Тут мало будет старательности, аккуратности, умения опрятно содержать тетрадки, сидеть как мумия за партой, пока учитель объясняет или пишет на доске пример, соря мелом, мало зубрежного рвения — от этих до этих, ни в коем случае не забегая вперед, мало привычки рано ложиться спать и вставать чуть свет (замечательным домашним режимом Нины Д. угнетали не только нас, но и наших родителей) — от лучшего ученика потребуются иные качества: живой ум, пытливость, увлеченность наукой, сила глубокого характера. Мария Владимировна, конечно, понимала, что Нина с ее хорошими способностями, прилежанием, ясной памятью, внутренней дисциплиной и отсутствием пагубных страстей не ударит в грязь лицом и в седьмом, и во всех последующих классах, но правильно рассудила, что мужающим подросткам нужен будет иной образец для подражания. Принадлежа к нетерпячей и решительной породе мичуринцев, она не стала ждать милостей от природы, а решила сама изготовить нам идола впрок.

Поскольку она вела у нас все главные предметы, на Павла посыпались как из рога изобилия высшие отметки не только по тем дисциплинам, где его превосходство не вызывало сомнений, но и по тем, где он успевал куда меньше. Он вдруг оказался отличным художником — рисовать вовсе не умел, дивным певцом — без слуха и — косолапый слабак — украшением физкультурного зала. Конечно, за всем этим чувствовалась твердая рука Марии Владимировны, чей авторитет в школе был неоспорим. Похвальные грамоты и премии каждую четверть отмечали выдающиеся успехи Павла.

Но был у него один изъян, крайне осложнявший задачу Марии Владимировны возвести его на школьный Олимп, — неправдоподобно уродливый почерк. Среди нас были настоящие каллиграфы: Нина Д., ее подруга Ира Б — на, Лида Ч., Володя М., остальные обладали вполне сносным почерком — сама же Мария Владимировна учила нас в первом классе выво-

дить палочки и нолики, потом какие-то древние узоры и, наконец, буквы, учила жестко и хорошо. Павел писал грамотно, но невообразимым почерком — рука не слушалась его, как он ни старался, казалось, это не человек писал, а ползала по бумаге испачкавшаяся в чернилах муха. Лист из школьной тетрадки Павла задал бы нелегкую задачу графологу. Я до сих пор помню не только кляксовую неопрятность его писем, но и начертания отдельных букв. У его «я» была крошечная головенка, просто капелька чернил, а под ней непристойное разножие, напоминающее о на скальной живописи в мужской уборной; его «щ» требовало громадного пространства, а хвостик буквы превращался в самостоятельное «у», сползающее в нижнюю строчку и производящее там беспорядок; случалось, буквы вклинивались одна в другую или уменьшались до микроскопических размеров, и разглядеть их можно было лишь с помощью лупы, а то вдруг вырастали в великанов. Почему рукописания такого тихого, сосредоточенного и собранного человека, каким уже в детстве был Павел, имели столь смятенный вид — ума не приложу.

Мария Владимировна старательно закрывала глаза на этот серьезнейший по школьным мерилам недостаток и твердой рукой вела Павла к славе. Ребята, конечно, понимали, что дело нечисто, но снисходительно относились к педагогическим вольтам классной руководительницы. Павла любили и уважали за его подлинные достоинства, а его математическим гением гордились и восхищались. К тому же для нас Павел был удобнее Нины в качестве иконы. Он не пеленал тетрадок и учебников в белую бумагу, не заваливался в девять вечера и не вскакивал с рассветом, не обтирался холодной водой, тут он не мог служить образцом для подражания, а решать математические задачки, как он, никто заставить не мог, для этого требовалась особая голова.

Надо отдать должное чистоте и отвлеченности Павла, он долго не замечал своего положения любимчика, баловня, первого ученика и отрады очей классной руководительницы. Рассеянный — не от захваченности внешними впечатлениями, а от углубленности в собственный мир, — всегда немного печальный, он жил, как жил, упиваясь дивным языком математики и не делая шага навстречу Марии Влади-

мировне. Но она была настойчивым, точно знающим свою цель взрослым человеком, а он, при всей своей высокой отрешенности, все-таки мальчишкой, а не схимником, глухим к голосам земли. Он услышал наконец осанну, возглашаемую в его честь. И поначалу смутился, сжался, стал еще молчаливей и замкнутой. Но капля камень точит, а ведь он вовсе не был камнем, четырнадцатилетний подросток с мягкой душой, которую защищал от вторжений, чтобы целиком тратить на математику и больную, безмерно любимую мать. Яд проник к нему в кровь. Павел поверил в свою исключительность, избранность, в свое превосходство над окружающими, во все то, чем планомерно и упорно заражала его классная руководительница. Он стал другим: на уроках все время высовывался, чтобы первым ответить на вопрос или решить пример, на собраниях брал слово, и в тихом его голосе зазвучали противные наставительные нотки. Он даже занялся своим почерком, хотя и без успеха. А получая очередную награду, уже не потуплял виновато серебристого взгляда, а прямо и преданно смотрел на Марию Владимировну и весь учительский синклит, готовый отдать за них жизнь. Он словно очнулся после долгой дремы, но очнулся не в себя, а в какого-то другого, куда менее ценного человека.

Все это кончилось конфузом, спасшим ему душу. Мария Владимировна заболела, впервые на моей памяти, и не пришла на занятия. Урок вела новая, молодая учительница, которую мы не знали и которая не знала нас. Чтобы сразу утвердить ужасом свой авторитет, учительница закатила внеочередную контрольную по русскому языку. Когда на другой день она раздавала проверенные работы, тетрадка Павла лежала в самом низу. Подняв ее двумя пальцами, новая учительница сказала: «А этому ученику даже «неуд» — слишком много. Чья это тетрадка? — И когда Павел подошел, брезгливо сморщилась: — Какая гадость! Как тебе не стыдно? Большой парень!» — и швырнула ему тетрадку.

Она, конечно, переборщила по молодости лет, захотела сразу «поставить себя» в классе, к тому же не ведала, на кого замахнулась неопытной и дерзновенной рукой. Но поведение Павла было еще ужаснее. Он вдруг забился, как балаганный Петрушка, которого для изображения панического ужаса дергают за

все веревочки разом, так что руки, ноги и голова на тонкой шее мотаются в разные стороны, застучал кулачками по учительскому столу, разревелся и, в ключья порвав тетрадку, выбежал из класса.

Дня два он не появлялся в школе, а потом пришел такой же, как всегда, нет, такой, каким был раньше, когда не лез вперед, не назидал других и не смотрел с собачьей преданностью в глаза наставникам, а пребывал в своем тайном надежном мире, излучая оттуда, из своего укромья, серебристый свет. На что уж мы были шпаной, но ни один человек в классе ни словом, ни взглядом, ни усмешкой не напомнил Павлу о жалкой сцене, разыгравшейся при раздаче контрольных. Молодая учительница больше у нас не появлялась, и пока не вернулась Мария Владимировна, уроки поочередно вели руководительницы параллельных классов.

Павел ушел в тень. Писать он стал еще хуже, размазывал в тетрадках такую грязь, что любо-дорого посмотреть, нелюбимые предметы вовсе забросил, являя полное равнодушие к плохим отметкам, и окончательно вознесся в чистый, хрустальный мир математических формул.

Мария Владимировна поняла, что он потерял для нее, и отступилась. Утешение, впрочем, не заставило себя ждать. Она нашла замену трудному Павлу в лице очень способного и «приятного во всех отношениях» Бамика Ф. На этот раз она не промахнулась. Даровитость натуры сочеталась в этом рослом мальчике с уникальной механической памятью, веселым, а не нудным, благонаравием и той душевной прозрачностью, которая бывает у людей, не захваченных одной всепоглощающей страстью. Типичный гуманист, очень начитанный и даже сам друживший с пером, Бамик посещал химический кружок, редактировал стенную газету, хорошо играл в теннис и волейбол, блестяще владел речью, его разносторонность исключала опасный перекося, интересы не переходили в роковую увлеченность, он был создан для роли школьного кумира. Бамику требовался лишь легкий толчок, чтобы раскрыться во всем блеске, и этот толчок состоялся. Бамик не обманул доверия Марии Владимировны и до окончания школы оставался на недостижимой высоте. Лишь изредка что-то случалось с безукоризненным аппаратом его памя-

ти, что приводило к провалам столь невероятным, что их старались поскорее забыть, как нечто непостижимое и враждебное человеческому сознанию: так, в десятом классе он вдруг не смог извлечь... квадратный корень. И тогда я догадался, что Бамик своим феноменально устроенным мозгом запоминает и решения математических и физических задач, теоремы, формулы и записи химических реакций — думать, соображать в области точных знаний он не может. А может — и здорово может — в литературе, истории, обществоведении, даже биологии, столь же преуспевал он в предметах, основанных на чистой памяти: географии, немецком языке. Блеск Бамика не потускнел с годами, он так и остался самым ярким среди нас, но об этом в своем месте...

Думается, на том уроке, когда Павел порвал свою тетрадку и разревелся перед всем классом, вернее, в дни, последовавшие за этим прискорбным событием, и укрепилась его душа для будущего, с тех пор он стал готов к тому, чтобы прикрыть собой от гибели другого человека. Молодая, неопытная учительница своим антипедагогическим поступком спасла его душу, которую уже начала растлевать наша многомудрая классная руководительница. Я совершенно уверен, что Павел в конечном счете все равно устоял бы против Марии Владимировны, вернулся бы к себе настоящему, но кто знает, чего бы это стоило, какой ценой оплачиваются в отрочестве подобные победы. А тут обошлось болезненной, без наркоза, но быстрой операцией, и он очнулся здоровым и стал тем, чего не сказала впрямую, но подразумевала бывшая девочка Сарра, — лучшим из нас...

3

И все же, разве не была лучшей Женя Руднева?.. А разве Ляля Румянцева уступала ей?.. И да простят меня мертвые, что я оставляю их милые тени — ненадолго — и обращаюсь к миру живых, но почему не считать лучшим Яшу М., которого по старой памяти мы называем до сих пор Яшкой, несмотря на его научное звание и почетную седину, — столько сохранилось в нем молодой доброты и веселости, отзывчивости, легкости и привязанности к нашему прошлому

под сенью чистопрудных лип? И когда на общем дне рождения он попросил слова, все сразу заулыбались, готовые принять то радостное добро, которое он всегда приносит с собой.

Как и положено, он прочел свои новые стихи — о шестидесятилетних мальчиках и девочках, и тут многие, не переставая улыбаться, смахнули украдкой слезу — такая глубокая нежность скрывалась под тонким покровом шутливости. Любое доброе дело, если вносить в него излишнюю торжественность, серьезность на грани угрюмства, теряет свою живую, трепетную суть и начинает отдавать тленом. Эта опасность сопутствует каждому сборищу, когда оно не интимно, и сводит людей не случайностью внезапных дружеских наитий, а общностью нынешней или прежней службы, какими-то датами, когда оно ритуально. Мы все дети своего времени, несем на себе его тавро, обязаны ему и многим хорошим и кое-чем дурным, даже вот наши школьные, естественные, как воздух, вода и трава, встречи не защищены от опасности уподобиться месткомовским балам. Можно забыть о цели встречи, сведя все к водочкам и закусточкам, а можно впасть в бездушную высокопарность — ведь наши уста натренированы в парадном пустозвонстве. Своим добрым и неошибающимся сердцем Яшка неизменно предугадывает угрозу либо усталой натужности, либо старческой сентиментальности в духе ветеранов, его чуткое ухо улавливает и тот мерзкий тонкий звон, какой издает графин, когда по нему стучат карандашом, призывая к вниманию, — последнее не следует понимать буквально. Он тут же берет игру на себя и озонирует воздух. Удивительно ловко он это делает. Я пытался уловить, как возникает та или иная тема, помогающая ему вернуть праздник в праздник, но мне это никогда не удавалось. Он, конечно, ведущий наших встреч, не тамада, не распорядитель с бантом на рукаве, а чуткое, угадчивое сердце, которое всегда на страже. Вот и сегодня почему-то оказалось нужным, чтобы, отвечая на какой-то вопрос, он рассказал о своем зяте.

— Он чудный мужик, но, можете себе представить, старше меня! Когда он попробовал величать меня «папой», я ответил ему тем же, с чуть большим основанием. Мои сослуживцы прозвали его «Долгожитель». И не забывают участливо спросить: «Ну,

как твой Долгожитель?» Но дочери с ним хорошо, а на остальное наплевать.

К исходу вечера, когда скорое расставание набросило тень печали на еще длящуюся, но уже ведающую о конце встречу, Яшка, чтобы подбодрить нас, прочел первомайское послание руководству своего института, щедро посыпанное аттической солью. «Лирику я посвящаю только нам, — пояснил Яшка, — всех остальных жалю сатирой. По-моему, вовсе не смертельной. Но недавно новый директор вызвал меня и спросил, что я думаю о выходе на пенсию. Я сказал, что работаю в институте тридцать один год, имею более ста научных трудов, в том числе шесть книг и пятнадцать брошюр, что моя лаборатория всегда была на лучшем счету, но при этом я нисколько не устал». — «Но от вас устают другие, — промямлил он. — И вообще, я чувствую, что мы не сработаемся». — «Вы напрасно беспокоитесь, — сказал я. — Мне это говорили все ваши предшественники, а расставались мы друзьями. Идея о нашей несовместимости осеняла их регулярно после Первомая, Октябрьских праздников и Нового года». — «Как?! — вскричал он. — Значит, на Октябрь и на Новый год — опять?..» — «Опять, — подтвердил я грустно. — Такова традиция». Он был умный человек и рассмеялся: «Ну, раз традиция!..»

Чего там дурака валять — мы уже старые люди. Но не внутри своего круга, в том и заключается одно из главных чудес нашей дружбы, что, старея как бы параллельно, мы не замечаем следов, пятен, щербин времени друг на друге. Конечно, все крайние утверждения условны, бывает, и поразишься, вдруг обнаружив плешь в седых поредевших кудрях златоглавого школьного херувима или превращение бывшей кошечки в тюленя, но обалдение это коротко, как вздрог. Андерсеновскому Каю попал в глаз осколок кривого зеркала, и все самое красивое на земле: юные лица, цветы, плоды, деревья обернулись ему уродством. Когда мы вместе, божьи ангелы роняют из пухлых, с перетяжками ручек райское зеркало, и каждому безболезненно проникает в хрусталик крошечный его уломочек. Мы смотрим друг на друга и не видим ни морщин, ни одряблевшей кожи, ни погасших глаз, ни сутулости, вокруг не больные, усталые, наломанные войной и миром старцы, а юные пажи и прелестные фрейлины. Последний акт «Спящей

красавицы». И когда Бамик Ф. атавистическим жестом берет немолодую руку Кати Г., своей школьной любви, руку, рывшую окопы на трудфронте, подсовывавшую горшки под раненых в эвакогоспитале, обожженную химикатами на производстве, прекрасную жесткую руку труженицы, у него под пальцами нежная лайковая кожа восемнадцатилетней красавицы, на которую он и дышать боялся. Такой она осталась для него навсегда. И для всех нас...

Но вот что удивительно, хотя иначе и быть не могло. Кому-то удалось разыскать и привести на общее рождение Шуру К., неизвестно по какой причине исчезнувшую с горизонта сразу по окончании школы, хотя она все это время жила в Москве и работала на ЗИЛе, круглолицую смуглую Шуру, представшую по прошествии сорока двух лет симпатичной опрятной бабушкой. Наверное, она изменилась ничуть не больше всех остальных, но друг в друге мы вообще не замечаем перемен в силу их постепенности, а тут увидели сразу результат, и он ошеломил нас. А бедная Шура, потрясенная видом стариков и старух, помнившихся ей безусыми юнцами и свежими девушками, просто не могла поверить, что это прежние однокашники, и церемонно обращалась ко всем на «вы».

Потрясение было велико, и на помощь поспешил Яшка М.:

— Не падать духом, все это уже было в литературе. Вспомните «Портрет Дориана Грея». Мы с Шурой открыли друг другу свой истинный облик. Но дальше пойдет не по Оскару Уайльду. Увидите, к концу вечера Шура покажется нам шаловливой красоткой, а мы ей — маленькими лебедями.

Так оно примерно и случилось... Да, мы все-таки старые люди, и порой нам делается и грустно, и больно, и даже страшно, и безмерно, пронзительно печально, и как хорошо, что под рукой есть Яшка М.!

— Яшка — самый добрый человек на свете, — сказала мне Таня Л., сама исполненная редкой доброты. — Неотложная душевная помощь. Когда кому плохо, так сразу — к Яшке.

— Вот не знал... — начал я и осекся, сразу поймав себя на вранье, — уж мне ли не знать!

Это было много лет назад. Со мной случилась беда, испытать которую доводится, наверное, хоть раз в

жизни каждому человеку, — нет, не меня бросили, от этого еще можно защититься, найти противоядие, а я сам оставил женщину, которую любил, и тут уж ничего не поделаешь, ничем не защитишься, как не поднять самого себя за волосы. Такое — бесповоротное, иначе бы не случилось вообще. Я не знал, как проживу остальную жизнь, но еще труднее было прожить наступающую ночь, первую ночь одиночества. И рука моя сама набрала телефон Яшки. Он не стал спрашивать: с чего, мол, да почему, как поступил бы на его месте каждый нормальный человек, не стал лопотать: давай, старик, лучше завтра, на работу рано вставать да и водку сейчас не достанешь, он просто спросил, где мы встретимся. «На улице Горького. У ВТО». Когда мы встретились там, ресторан был уже закрыт и толстый злой швейцар лишь выпускал запозднившихся посетителей. Да простит мне давний грех Сергей Федорович Бондарчук — я выдал себя за него. В те годы густые седеющие волосы придавали нам некоторое сходство. Во всяком случае, подвыпивший швейцар сразу поверил и широким жестом распахнул дверь. Знакомая официантка, уже расстававшаяся с фартуком и крахмальной наколкой, выдала из заначки три бутылки водки и лимон.

Всю ночь мы сидели с Яшкой в моей кухне, пили из чашек довольно холодную водку, запивая тепловатой, припахивающей хлоркой водой из-под крана и высасывая горькую кислоту из долек лимона — в моем московском жилье, где я почти не бываю, холодильник пожизненно отключен. Яшка ни о чем не спросил меня и терпеливо слушал ту околесицу, которую я нес, чтобы заговорить «зубную боль в сердце». Говорил же я о чем угодно, только не о подлинной причине, побудившей меня сломать ему ночь и весь следующий день. Конечно, он и сам обо всем догадался, по-настоящему добрая душа всегда проницательна к чужой беде, но ничем себя не выдал. Утром, когда я без сил и сознания рухнул на тахту, Яшка прикрыл меня пледом и поехал на работу.

Он замечательно держит выпивку, только еще добрее улыбка, еще теплее взгляд, лишь в последнее время у него стало краснеть лицо. Но однажды его скосило — на поминках по нашему общему другу Юре П. В альбоме под именем Юры — чистая страница, его вдова, тоже наша соученица, не выбрала

времени написать ни о нем, ни о себе. А может, ей трудно?.. Яшка выпил тогда не больше обычного, но тут же развалился в куски: рыдал, бился лбом о столешницу, падал. Он впервые хоронил друга, и душа в нем рухнула. Он не мог принять этой смерти. И другой наш друг — Боря Ф., маленький, слабогрудый, вынес Яшку, как раненого с поля боя, на спине и протащил через всю Москву — таксисты отказывались их везти — до своего дома, где уложил в постель и, сам давясь слезами, провозился с ним всю ночь. То был единственный случай, когда «неотложной помощи» понадобилась помощь со стороны...

4

Заговорив о Юре П., я не могу расстаться с ним так просто. Ему выдалась нелегкая, даже горестная жизнь. В школе у него все шло отменно, он был одной из самых популярных фигур среди старшеклассников, отнюдь не бедных яркими индивидуальностями. Худой, длинный, весь какой-то шарнирный, с копной летучих светлых волос, он лучше всех в школе бегал на коньках и лыжах, прыгал с трамплина, частенько ломая свои косточки, которым недоставало фосфора. Он искуснее всех танцевал и, не зная нот, извлекал из рояля волнующие мелодии модных тогда блюзов, танго и фокстротов. Но мало этого: обладая редкой координацией движений и чувством равновесия, он творил чудеса на велосипедном круге Чистых прудов и на маленьком катке «Динамо», где сейчас теннисные корты. На велосипеде он делал цирковые номера: выписывал виражи, стоя на багажнике и не держась за руль, мог переместиться на ходу с седла на руль и ехать задом, мог поднять велосипед на дыбы и катиться на заднем колесе. А динамовский лед он испещрял узорами сложнейших фигур на обычных хоккейных коньках. И, наконец, он лучше всех ребят разбирался в технике, любой мотор, механизм был для него открытой книгой. Добавьте к этому общительность, легкость на подъем, всегда хорошее настроение, полное отсутствие тщеславия, и портрет Юры П. будет готов.

Мы еще кончали школу, когда осиротела наша соученица Нина В., в которую давно и безнадежно был влюблен Юра. Едва развязавшись с выпускными

экзаменами, он поспешил сделать ей предложение. Его родители были решительно против столь раннего брака, к тому же мечтали об иной жене для своего сына. Юра тут же порвал с ними и ушел из дома. Нина оценила его рыцарственный поступок — они стали мужем и женой. Трудно начиналась совместная жизнь молодых...

Юра поступил в технический вуз, Нина — в физкультурный. Учились, бедовали, духом не падали, друзья помнили о них. Когда Таня Л., упоминавшаяся мною, вышла замуж, у них появился второй дом, всегда готовый пригреть, накормить, напоить. Юра не брезговал никакой работой: ставил «жучки» в квартирах, что-то чинил, что-то выводил из строя — по желанию заказчика, конструировал электроплитки и обогреватели, на которые был великий спрос в дни войны, наконец, сделал величайшую халтуру своих черных дней: осветил Елоховский собор, создав множество неповторимых световых эффектов и заработав кучу денег. Эта история имела последствия, поскольку беспечный Юра всюду таскал с собой священника Елоховского собора, включая и те дома, которым интимная связь с видным церковником не могла послужить к украшению. Кое-кому нагорело... Я хорошо помню этого шустрого служителя культа: он приходил в штатском, но с волосами до плеч и прежде всего закреплял каштановую гриву женскими заколками на темени, после чего просил поставить «что-нибудь быстренькое». Танцор он был неутомимый — хлопнет стопку, понюхает черную корочку, и снова в пляс...

Нина и Юра окончательно вышли из нужды, когда начали работать. Нина — в школе преподавателем физкультуры, Юра — на авиационном заводе. Он быстро завоевал репутацию выдающегося специалиста. У них появилась машина, затем и хорошая квартира, не по дням, а по часам росли два мощных, кровь с молоком сына. Юра так разнежился, что позволил себе «хобби» — аквариум с полным кислородным обменом, — до сих пор не понимаю, что это такое. Но, к сожалению, хобби Нины оказалось не столь безобидно, как увлечение золотыми вуалехвостками и бархатисто-черными, с просеребрю телескопами. Ей все время хотелось блистать и покорять. Мне противно становиться в позу моралиста, да и что мы знаем о чужой душевной жизни?! И разве не чарует

из века в век миллионы людей бессмертный образ, созданный в странной грезе скучным аббатом Прево, — пленительная Манон Леско? Насколько суше, холоднее и прозаичнее была бы жизнь без этого пронзительно женственного, добродушного и безвинного в своем неведении греха существа, которому господь бог не заложил в маленькое, тугое, ровно бьющееся сердце ни крупницы постоянства! Она просто не знала, что это такое, милая, беспечная Манон, она искренне любила преданного де Грие и, желая, чтобы ему тоже было хорошо, посылала в утешение своих подруг. Но де Грие родился с роковой печатью — он однолюб, он может любить лишь свою Манон, все остальные красавицы мира для него не существуют. Наш друг не уступал в любви и верности кавалеру де Грие, словно взвалив на себя непосильный труд доказать жизненность образа, созданного в XVIII веке, в наше прозаическое, технарское время, к тому же весьма покладистое в вопросах нравственности.

Юра не жаловался, в компании по-прежнему был весел, лихо барабанил по клавишам, глушил себя работой и тем, чем обычно глушат боль русские люди. Он служил под началом некогда знаменитой летчицы; она помогла раскрыться его инженерскому дарованию, терпела его прогулы и срывы и упорно боролась за него против него же. С ее поддержкой он много успел, получил высшие награды... Яшка М. сказал однажды: «Наш Юрка или пьет, или получает ордена». Время врачует далеко не все раны. Юра терял себя... Лишь однажды он собрался нацельно и пришел на встречу, посвященную пятидесятилетию нашей дружбы, достойно выдержал долгое застолье, хорошо говорил; он увидел, как все его любят, и ответил нежностью, и у нас мелькнуло, что Юрка вернулся, навсегда вернулся, но это оказалось прощанием. Через две недели его не стало.

Так, может быть, Юра был лучшим из нас? Уж во всяком случае, самым верным. Но существует и другая верность — собственному образу. Оставаться в нем всю жизнь — тоже мужество. И нет у меня слова упрека нашей старой подруге, которая до сих пор, всем годам назло, полна очарования. Если Юра ей все прощал и до конца оставался вместе, значит, она была для него лучшей из женщин, и мы не вправе думать иначе, чтобы не оскорбить дорогой памяти...

Как трудно все же решить, кто из нас лучший. Стоило листануть альбом — и сразу мысль: а разве не лучше всех Мусик Т.? Он — Михаил, но со школьной скамьи носит это девчоночье имя и не хочет иного. Ведь альбом оформлял он и бестрепетной рукой вывел: Мусик. Прежде заводилой наших встреч и главной труженицей далеко не простых, да что там — крайне обременительных мероприятий была Таня Л., — она с дней войны собирала нас, как Иван Калита русскую землю, — но сейчас, замотанная внуками и всей разросшейся семьей, она выпустила бразды правления, которые подхватили надежные руки бывшей преподавательницы французского Туси П. Ей помогает энергичная Валя М. — звукооператор на пенсии, а общее идейное руководство осуществляет Галя Б., всю жизнь отдавшая партийной работе. Выйдя на пенсию, но не обрета покоя, Галя весь неизрасходованный идеологический запал сосредоточила на школьных друзьях, что дарит нас чувством прочного идейного комфорта. С каждым годом организовать встречу становится все сложнее, уж слишком все заморочены, облеплены потомством, как пни опятами, утомлены собственными недугами, инфарктами мужей или затянувшейся молодостью жен, да и тяжела на подъем старость при всех благих намерениях, и на помощь слабому полу пришел начальник цеха контрольно-измерительных приборов химического завода, проще говоря — Мусик.

У Мусика есть одно необыкновенное свойство: впечатление такое, будто вот уже много лет он ничем, кроме школьных дел, не занимается. Если он не хлопочет по организации очередной встречи, то возится с нашими фотографиями: перепечатывает их, размножает, иные снимки увеличивает, в день праздника Победы рассылает письма родителям и близким погибших фронтовиков, заполняет альбомы — и тот, о котором я пишу, и еще один — жанрового, что ли, характера, — разыскивает пропавших — у нас есть такие, о чьей судьбе до сих пор ничего не известно, или придумывает что-нибудь новенькое во славу старых Чистых прудов, где уже давно не живет. Помню, как я удивился, когда в Доме ученых он представил

меня довольно молодой и очень интересной даме, назвав ее женой. Тут только до меня дошло, что Мусик — отнюдь не приложение к школьному детству, что у него есть своя, отдельная душевная и домашняя жизнь, семья, работа. Да и самого Мусика я увидел через эту привлекательную женщину будто впервые. Он замечательно сохранился — самый моложавый из нас, с яркими смешливыми глазами, и приятный теноровый голос его по-юному свеж и звонок. Он выглядит моложе двух наших «вечных юношей» — Лени К. и Бамика Ф., докторов наук, почтенных профессоров без седины и морщинки, стройных и легких, с мальчишеской повадкой. Молодец Мусик, такую жену смело выхватил из мира, вовсе постороннего Чистым прудам, а мне подсознательно казалось, что у него и быть не может своей, отдельной, из плоти и крови жены, лишь некая коллективно-духовная — наши бывшие девочки от А до Я.

Есть еще одно обстоятельство, что прочно держит Мусика в прежнем образе. Он не Герой Советского Союза, как Женя Руднева, не Герой Социалистического Труда, как Коля Р., не лауреат Государственной премии, как Мила Ф., не профессор, как Бамик, Леня или Игорь Л., не без пяти минут генерал, как Слава П., не кандидат наук, как Гриша Т., Боря Ф., Аня С., Лида Э., Оля П., Витя К., Яшка М. Он даже не может, подобно большинству ребят, со скромной гордостью написать о себе, что за долгие годы вырос от... и до... Вскоре по окончании института, еще во время войны, совсем молодым, неопытным инженером, он был назначен начальником цеха. Людей не хватало, и ответственный пост доверили вчерашнему выпускнику. Наш скромный Мусик не оплошал, и когда война кончилась и вернулись на завод матерые кадровики, его оставили во главе выросшего цеха. А потом прошло еще тридцать пять лет, и, вопреки общепринятой драматургии, Мусик не стал ни главным инженером, ни директором завода, не говоря уже о более высоких постах. Он остался начальником цеха. Правда, цех стал совсем другим: и по площадям, и по кадровому составу, и по техническому оборудованию, по объему, ассортименту и качеству выпускаемой продукции, по тем производственным задачам, которые сейчас решает. Вместе с цехом растет и наш друг, не отстает, не буксует, идет вровень, чуть впереди, как и поло-

жено руководителю, — из всех служебных карьер такая, на мой взгляд, заслуживает наибольшего уважения.

Мусик никогда не говорит о своих производственных делах и вообще о той жизни, которая не связана со школой, он не любит смесей. Но однажды мне удалось поймать его на коротенький, быстро им прекращенный разговор.

— Тебе сейчас, наверное, много легче работать? — спросил я.

— Труднее, — улыбнулся Мусик.

— Но у тебя же огромный опыт...

— Опыт — не куча: навалил, взобрался и сиди, почесывая брюхо. Это штука динамичная, не выносящая застоя. Но дело в другом — проще было с людьми.

— А что — люди стали хуже?

— Нет. Была война — и каждый вкалывал на всю катушку. Что ни скажешь — тут же сделают. Потом восстановление — та же картина. А теперь — черта с два, ты докажи, растолкуй, убеди... Больно умными все стали...

— Расчетливыми, хочешь сказать?

— И это есть... Но вообще-то ребята хорошие, только другие. По-другому хорошие, по-другому плохие. Старые мерки не годятся. Но это интересно. «Покоя нет...»

Вот оно, главное — покоя нет. И в этом причина душевной свежести нашего товарища, он не закоснел, не остановился, не подался к обочине.

— Ну, а награды у тебя есть?

— Как же — две медали восьмисотлетия Москвы!.. — он расхохотался и пошел петь дуэтом с профессором Леней «В любви ведь надо открытым быть и честным» — их коронный номер...

...Листаю альбом. Мои дорогие друзья в подавляющем большинстве не корчат из себя словесников: их автобиографические справки предельно лапидарны. Листочки со скупыми признаниями наклеены рядом с фотокарточками — обычно не последних лет (на это отважилась лишь Ира Б — ва, затмившая в десятом

классе нашу профессиональную красавицу Нину В.), но и не слишком уж давних. У В. Розанова есть суждение, едва ли известное моим друзьям, что наружность человека в определенную пору жизни оказывается как в фокусе. Рассматривая фотографии известных писателей, В. Розанов говорил: «Это еще не Тургенев», «Это еще не Толстой» или «Это уже не Достоевский», «Это уже не Чехов». В фокусе происходит полное слияние внешней и внутренней сути человека, и тогда можно сказать: «Вот настоящий Тургенев... Толстой... Достоевский... Чехов...» У разных людей такое вот «наведение на фокус» происходит в разную пору жизни, чаще всего не слишком рано, но и не слишком поздно. Хотя возможны исключения, и кто-то уже в молодости выходит из фокуса, а кто-то попадает в фокус на излете дней. Наверное, мои друзья бессознательно руководствовались тем же принципом, лишь немногие, не ведая своего «фокуса» или не достигнув его, дали по две фотографии: школьную и сегодняшнюю, мол, разбирайтесь сами, где я больше похож на себя. Я помню наших соучениц в юном расцвете, и все же они правы, что выбрали другие карточки, отражающие их завершующую человеческую суть. То же относится и к сильному полу. Исключение составляют лишь те, кого война оставила навеки молодыми...

Автобиографии достойны того, чтобы быть приложенными к анкетам для поездки, скажем, на Золотые Пески в Болгарию, — лишь самое необходимое, ничего лишнего, никаких эмоций, кроме дежурного (и при этом искреннего) выражения благодарности школе и преданности друзьям. Но в самом лаконизме этих справок — честность и душевное целомудрие, стыдящееся громких слов. Ведь это написано для своих, а свои все знают, все понимают и где надо сами заполнят пробелы в скурых строках.

Именно бесхитрость этих справок делает их документами времени. В них отчетливо проступает то общее, что характерно для прожитых нами нелегких лет. В этом, не боюсь сказать, типичность, историчность скромного школьного альбома.

Наш выпуск был последним, когда мальчишки шли в институты, а не на действительную военную службу. Начиная с 1939 года у парней была только одна дорога: из школьных дверей на призывной

пункт. Они зрели для первой жатвы самой страшной и беспощадной из всех войн. И все же многие из нас были на войне, иные не вернулись назад. Наши ребята попадали на фронт либо добровольно, либо по ускоренному выпуску медвузов. О некоторых я уже говорил. Погиб на фронте любимец школы, медврач Жорж Р., вернулась в звании подполковника медицинской службы Женя М., не вернулись рядовые Павлик С., Яша Ч., Коля Ф., Боря С., летчик-лейтенант Саша С. пришел, освободив Прагу, Будапешт и Вену, комвзвода Витя К., пришли, исполнив воинский долг, Володя А., Гриша Т., Ваня К., Гриша Г., Юра Н. А у девушек был трудфронт, госпитали, строительство оборонительных сооружений, рытье противотанковых рвов. «Работала и училась», «Работала и училась»... — это прочтешь всюду, где о военных годах. Просмотрите толстый альбом с начала до конца, вы не найдете ни одного уклонившегося, ни одного пытавшегося обмануть судьбу, скользнуть боковой тропкой. Зато найдете немало таких, кто мог быть среди нас сегодня, но пошел на смерть...

Коля Ф. был студентом-автомобилистом третьего курса, когда началась война. Он сразу рванул на фронт, ему твердо сказали: доучивайся, на твой век войны хватит. Но его отец был репрессирован, и комсомольское сердце приказывало Коле кровью смыть отцовскую вину, в которую он сам не верил. Когда студентов послали на рытье окопов под Дорогобуж, он сумел уйти на фронт. Зимой 1942 года Коля бился под Ленинградом, летом получил партийный билет. Каким же он был солдатом, если его, сына репрессированного, приняли в партию! В ту же пору в рядах белорусских партизан сражалась его мать Мария Семеновна Коваленко. Мать вернулась домой, сын сложил голову под Мясным бором. Колин отец по-смертно реабилитирован.

Коля Ф. был большой, красивый и застенчивый. Он словно стеснялся, что занимает так много места в пространстве, сутулился, сжимался, силясь у малиться. Потом я узнал, что не одна пара девичьих глаз оплакала его преждевременный уход.

Страница, предоставленная Саше С., кажется пустынной: две фотокарточки и справка — больше ничего. На маленькой карточке — Саша — школьник восьмого или девятого класса. Фото явно официаль-

ное: строго анфас, под неизменной лыжной курточкой — нашей прозодеждой, нашим спортивным костюмом и нашим смокингом — рубашка-ковбойка и галстук — верх франтовства. Волосы разделены пробором, одна прядь кокетливо сброшена на лоб. Кому предназначалась фотокарточка — неизвестно. Она не передает главного в Саше — его расцветки, он был немислимо рыж и конопат. В школе блистал на волейбольной площадке: плассированная подача, необычайно точный, изящный пас, а гасил, как гвозди вбивал. Пошел Саша в авиацию. С начала войны — на фронте, штурманом на бомбардировщике. Вот он на другой фотографии, в военной форме: лицо подсушилось, построжало, веснушки сошли, добротная командирская шинель, а на голове — буденовка со звездой, делающая Сашу похожим не на летчика Отечественной войны, а на конника гражданской. Что ж, помня прекрасные движения его веснушчатых рук на волейбольной площадке, легко вообразить, как ловко действовал бы саблей конник Степанов. Но у него была другая воинская специальность.

Министерство обороны СССР
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ КАДРОВ

103106, г. Москва, К-160

№ 173/4/117356

22 мая 1978 г.

Тов. СТЕПАНОВОЙ Т. А.

125057, г. Москва, А-57, Ленинградский
проспект, дом 77/2, кв. 600

На Ваше письмо, адресованное в Центральный архив Министерства обороны СССР, сообщаю, что штурман экипажа 854 бомбардировочного авиационного полка лейтенант СТЕПАНОВ Александр Пантелеевич пропал без вести 5 июля 1943 года.

Другими сведениями Главное управление кадров не располагает.

Начальник отдела

Войтенко

Обратите внимание на дату ответа — 1978 год. Прошло тридцать семь лет с того дня, когда штурман Степанов не вернулся на свою базу, а его все ищут.

Естественно подумать, что ищет мать, но ее уже нет на свете. «Тов. Степанова Т. П.», которой адресовано письмо, — наша подруга Туся, по мужу Степанова. Справки дают только родным, и Тусе ее новая фамилия помогает искать Сашу. Даже родная сестра Саши перестала ждать и надеяться, а Туся будет искать нашего рыжего друга, пока в ней самой бьется сердце. Она дала для альбома эту официальную справку, потому что не хочет, чтобы о Саше писали, как о том, кого уже не надо искать...

А страница, отведенная Борису С., до сих пор пуста. И я догадываюсь, почему так случилось. Рассказать о нем очень трудно. Он учился в нашей школе с первого по девятый класс, затем перешел в спецшколу, готовившую к поступлению в артиллерийские училища. Он жил в том же доме, что Павел Г. и Сарра М., где жило еще много наших ребят, большом доме бывших политкаторжан, и написать о нем должен был бы кто-то из его соседей. Став артиллерийским учеником, Борис изредка захаживал в свою старую школу, скромно гордясь щеголеватой военной формой, но связи наши ослабли, другое дело — ребята с одного двора, с ними он оставался по-прежнему близок. Но вот поэтому-то им особенно тяжело писать о нем, о горестной судьбе смелого и строгого юноши, в котором страна потеряла крупного военачальника, потеряла из-за мешка картошки.

Борис был прирожденным военным, командиром, он выбрал путь не просто по склонности, а по страсти, по всей душевной организации. Он мечтал о подвигах, о славе и начал готовиться к бою с четвертого класса. Он закалял свое тело: круглый год, в любую погоду ходил в рубашке из туалъденера — джинсовая ткань нашего детства, не признавая ни пальто, ни даже лыжной курточки. Он тренировал себя походами — пешком, на лыжах, на велосипеде, дальними, трудными маршами сквозь осенний дождь и зимнюю вьюжную стужу. Спал на жестком, обливался ледяной водой, мог сутками не есть и не пить, читал книги только о войне и, крепкий, как кленовый свиль, был добр и великодушен, никого пальцем не тронул, потому что обладал душой воина, а не задиры драчуна.

Уже в дни войны, накануне получения первого командирского звания, ночью во время дежурства Бориса по части со склада украли мешок картошки.

Суров закон военного времени. Борис был судим и осужден с заменой тюремного срока штрафным батальоном. Свой проступок он должен был искупить кровью, он искупил его смертью. Погиб Борис в первом же бою. На его воинской чести нет пятна. Но разве это утешение?

Им могло бы гордиться Отечество, но гордимся лишь мы, его школьные друзья, ибо знаем, на что он был способен. И смертно жалеем, и ком в горле мешает вырваться словам о нем. Но они будут, эти слова...

7

Меня властно манят ушедшие, хотя их, по счастью, куда меньше тех, кто продолжает дело жизни. Наверное, это правильно и справедливо, «ведь мертвые уже не мертвые, когда живые благоговейно воскрешают их образ». И жаль, что у меня так мало сведений, чтобы достойно воссоздать образ погибших на войне. Я и о живых знаю далеко не все, но не унижу ни их, ни себя «писательскими» расспросами о том, что мне осталось скрытым в их душах и жизненных обстоятельствах. Все это должно было прийти ко мне из прошлого и настоящего, из воздуха наших встреч, из беглых слов, улыбок, вспышек доверительности, морщин, уже и не знаю из чего еще узнаешь так много о близких людях, не подвергая их ни следовательскому, ни журналистскому нажиму; из всего движения жизни приходит по крупицам такое знание и складывается либо в законченный, либо в приблизительный образ. Пусть лучше останутся пробелы в этих записях, но пополнять их искусственно я не стану.

Пока что я просто перелистываю альбом, читаю скупые строчки, вглядываюсь в лица тех, кто только что покинул мой дом, кто уехал на большом автобусе, раздобытом, конечно, Мусиком, всеильным, когда дело касается дружбы. Достать автобус в предолимпийские дни оказалось непосильным для наших Героев, лауреатов, профессоров, это сделал в два счета скромный начальник цеха.

Они уехали, оставив почти все вино невыпитым, — нам не нужны стимуляторов, когда мы вместе, и хотя среди нас имеются любители заздравного кубка, даже им хочется хмелеть не от помоев алкоголя, а «от слез,

от песен, от любви». Остались цветы, легкий беспорядок, который хочется сохранить, как последнюю память, помада на краешке чашек, рассыпанные по дивану пластинки с мелодиями тридцатых годов, под которые мы когда-то учились танцевать, удивительно неуклюжие и косолапые в отличие от нынешних юнцов, рождающихся с твистом и шейком в крови, запах скромных духов, и какой-то печальный воздух, и печальный, уже ненужный, по всему дому свет, и этот альбом в красном коленкоровом переплете.

Краткие записи помогают уловить то общее в нашей участи, о чем я уже говорил и что роднит выпускников 1938 года чистопрудной школы с выпускниками всех других школ страны, со всем поколением, делает их судьбу частицей судьбы народной. Но индивидуальное, создающее неповторимость лица, куда труднее вычитать в застенчиво-скупых строчках, большей частью просто невозможно, но когда что-то знаешь, то, ухватившись за кончик нитки, можно распутать целый клубок.

Для меня полной неожиданностью оказалось признание Иры М. «К сожалению, надо сказать, что у меня в детстве дома, в семье, было много неблагоприятного...» До чего же гордо-скрытная натура была у стройной, сдержанно-приветливой, легко и ярко красневшей девушки, если она не позволила никому заглянуть себе за плечи! Ира не рвалась к школьной премудрости, но из самолюбия заставляла себя хорошо учиться. Теперь я понимаю, чего это ей стоило. Наверное, оттого в школьных стенах в ней чувствовалась некоторая напряженность, исчезающая напрочь на Чистопрудном катке. Тут она мгновенно преобразалась. У нас многие девчонки отлично бегали на коньках, но куда им до Иры! У нее был шаг, постав и дыхание прирожденного скорохода. Она стелилась по льду, с горящими глазами отмахивала круг за кругом машистым шагом красивых сильных ног, глубоко и ровно дыша высокой грудью. Отваливалась с души вся тяжесть, жизнь искрилась и пела, как облитый электрическим светом лед под остриями ее коньков.

В свободу, открывшуюся за дверями школы, она вкатилась, будто с мощного разбега по чистопрудному льду: в 1938 году поступила в педагогический институт, в 1939 вышла замуж, в 1940 родила сына.

Что ни год, то радость. А дальше война — и все пошло вкривь и вкось. Эвакуация оборвала учебу, муж вернулся с фронта контуженый, с осколком в легких. Начались годы мучительной борьбы за жизнь, здоровье и будущее мужа. О себе она напрочь забыла, но мужа спасла. Он выздоровел, окреп, получил гражданское образование, начал работать и быстро пошел в гору. Пора было Ире и собой заняться, но родилась дочь, и надежды на продолжение учебы в институте вновь пришлось отложить. Все же ей повезло больше, чем Джуду-незаметному, до могилы мечтавшему о высшем образовании: через двадцать лет после окончания школы Ира получила институтский диплом. Начала жадно работать: преподавала, вела аспирантов, переводила техническую литературу. Ну, и, конечно, воспитывала детей. Вновь ощутила она под ногами забытую радость скользящей, несущей вперед поверхности. И тут ей нанес удар человек, которому она стольким пожертвовала. Он знал ее терпеливую доброту, самоотверженность, преданность семье и думал, что ему все сойдет с рук. Он забыл, что жена его была еще и гордым человеком. Ира указала ему на дверь. Осталась работа, остались дети, оба получили высшее образование. Теперь сын — начальник отдела в научно-исследовательском институте, дочь — старший инженер. И остались у Иры — мы. Вот что она пишет: *«Наши школьные встречи приносят мне много радости, дают силу, уверенность в себе, в делах, в жизни, хотя помощи я ни от кого не просила. Жизнь сложилась трудная, но сознание, что рядом есть школьные друзья, всегда поддерживает, внутренне собирает»*.

Дорогие слова! И как прекрасно, что, хоть в трещинах и буграх был лед, не сбился твердый, машистый шаг чистопрудной конькобежки!..

8

Еще труднее судьба выпала Лиде Ч. Она даже не смогла приехать на нашу встречу, но никто не обмолвился в ее адрес и словом упрека. И один из первых тостов мы подняли за ее здоровье — худенькой, хрупкой, с прозрачными исколотыми иглой пальцами великанши духа.

Лишь однажды кроткая, деликатная, бережная к друзьям Лида повысила голос. «Не смейте меня жалеть!» — прикрикнула она на Таню Л., перебравшую в добрых чувствах. Пусть лучше Лида сама скажет о себе:

«Я, Лида Ч., родилась в 1919 году 3 октября. После окончания школы № 311 в 1938 году поступила в инженерно-экономический институт. Проучилась там два курса. По семейным обстоятельствам вынуждена была его оставить. Работала в Министерстве строительных материалов инспектором военного отдела до 1946 года, а затем ушла с работы, так как заболел муж.

У меня сын и двое внуков. Одному — 7 лет, а другому — 8 месяцев. Муж тяжело болен и требует повседневного ухода за собой.

Министерство мелиорации обещало нам предоставить отдельную квартиру в Марьино, так как мы живем в коммунальной квартире.

Я всегда с вами, мои дорогие друзья, и хотя у меня жизнь сложилась не так хорошо, как у вас, но я стараюсь делать все так же полно, как и вы, — воспитала сына, сейчас занимаюсь воспитанием внуков.

В этом я нахожу свою цель и любовь к жизни».

Есть ли весы, способные измерить тот труд и то терпение, те жертвы и те замороженные в груди слезы, тот страх и надежды, словом, всю ту жертвенную самоотдачу бессрочной вахты, которую несет Лида возле любимого, беспомощного человека, своего мужа, отца ее ребенка? Я не жалею тебя, Лида, разве можно жалеть человека, способного на такое. Скорее уж мне надо жалеть себя самого и всех тех, кому никогда не подняться до твоей высоты.

Болезнь дорого даже там, где врачебная помощь бесплатна; о том, как жила семья на пенсию парализованного человека, могут рассказать Лидины исколотые пальцы, Лидины бессонные ночи. Но настал день, когда отступились лечащие врачи, когда у самых близких повисли руки. И вот тогда рядом с Лидой оказался тот единственный врач, который мог поспорить со смертью, потому что вооружен был не только врачебной наукой, а тем, что больше знаний, — ее школьная подруга, бывшая первая ученица, правильная девочка со скучными косичками, короче, Нина Д. С тем же спокойно-сосредоточенным видом,

с каким прежде готовила домашние задания или писала контрольную, она занялась спасением едва тлевшей жизни. И справилась с этим уроком столь же безукоризненно, как и со всеми остальными.

Крайние утверждения никогда не бывают истинными. И цельная, уравновешенная, крепкая Нинина натура однажды спасовала перед стихийной силой жизни. Такой вот стихией вторгся в ее размеренное, опрятное бытие, неожиданно-негаданно для всех окружающих, а более всего для самого себя лихой малый, наш соученик, есенинская душа Ваня К. Он невелик ростом — особенно рядом с Ниной, — да и тот добрал уже после школы, сильно лысоват, а какой смоляной зачес вскипал над его лбом, когда он носился по футбольному полю, один из лучших, а главное, неистовых, азартных игроков нашей школьной команды!

Он был таким во всем: если уж чем увлечется, то всегда через край. Когда-то кожаный мяч прикончил его рвение к наукам, но в свою очередь был побежден шашками — Ваня стал мастером спорта, чемпионом Москвы; затем, будто спохватившись, что не спортом единым жив человек, в темпе окончил юридический институт и помешался на стихах; не знаю, пишет ли он сам, но помнит наизусть всю русскую поэзию. Кумир же его — Есенин.

Смелая, неординарная жизнь Вани (он и отвоевал горячо — с контузией и ранами) исполнена метаний, крутых поворотов и случайностей. Реки, выходя из берегов, затопляют тихие долины. Ванин безудержный разлив достиг Нининых ног, забурлил и на мгновение сбил ее с твердой почвы.

Продлись их совместная жизнь дольше, не исключено, что текучая Ванина суть обрела бы четкую форму. Но поток, прорвав плотину, устремился дальше. Отхлынувшие воды оставили на влажном песке большое тельце ребенка, в котором притаилась испуганная душа, — Ванину дочку от первого брака. Движением спасителя Нина наклонилась и подняла забытое человеческое существо, просто и спокойно, как всегда, взяв на себя ответственность. Она вылечила и воспитала Ванину дочку, оплатившую ей не просто благодарностью, а тем, что стала хорошим и счастливым человеком.

Такова наша Нина — первая во всем: в учебе, профессии, доброте, преданности, дружбе. И еще одна

маленькая подробность. У Нины появилась — уже давно — однофамилица — из наших соучениц. Та, что металась рядом с ней в тифозном бреду на госпитальной койке, в лагере для немецких военнопленных, Ира Б — на. Вот несколько строк, завершающих Ирину «справку» в альбоме:

«Первый раз я вышла замуж после войны в 1945 году. Замужество было очень неудачным. Через несколько лет я вышла вторично за брата Нины Д., тем самым окончательно породнившись с ней».

В последних словах звучит нотка гордости. Так мог бы написать один из светских героев Марселя Пруста, породнившись с домом Германтов, первым в Сен-Жерменском предместье. Гордость Иры основательнее, ибо перед аристократизмом духа ничто гербы и поколения родовитых предков...

Неудивительно, что при таких отношениях наши старые «ребята» роднятся уже и через младшее поколение. Дочь Вали К. вышла замуж за племянника Лиды Ч. и уехала с ним в Ригу, откуда он родом. И недавно туда же последовала сама Валя, и опустело ее место за нашим дружеским столом. Неисповедимы промыслы божьи, в данном случае, скорее, антихристовы. Рослая, прекрасно сложенная, свежая, бодрая Валя К. как будто решила доказать, что старость приходит лишь к тем, кто на нее согласен. И на последней встрече, как некогда в школе, при виде Вали во мне сразу ожили строки из «Будрыса»: «И, как роза, румяна, и бела, как сметана, очи светятся, будто две свечки». Но там это сказано о полячке младой, Валя же — русская до последней кровиночки — кустодиевская красавица, но без телесных излишеств, русская Венера, держащая образцовую спортивную форму. Лишь у висков красиво седели волосы, придавая особую прелесть румяному ясноглазому лицу. Но когда Валя, дослужившись до пенсии, вырастив дочь, не числя за собой никаких долгов — ни гражданских, ни нравственных, радостно готовилась к той новой заботе, что приходит рано или поздно к матерям взрослых дочерей, долголетний спутник ее жизни счел себя свободным от всяких обязательств и решил начать «новую жизнь», полагая, видимо, что старая полностью себя исчерпала. Мы ничего об этом не знали, но рядом с Валею была Лида Ч., которая поняла, в каком душевном и физическом вакууме осталась

ее подруга, так любившая свой дружный, веселый, населенный дом, и что ей не справиться одной. Лида настояла на переезде Вали в Ригу к молодоженам.

Недавно там с «инспекционной поездкой» побывал наш друг Шура Б. и привез успокаивающие известия: Валя акклиматизировалась, занимается внуком, обретая былой душевный покой, хотя и очень скучает по старым товарищам.

На нашей встрече я болезненно ощущал черный провал в столь плотно заполненном пространстве — не было яркого кустодиевского мазка, не было Вали...

9

Как бы писатель ни пытался быть верным изображаемой действительности, равнозначия никогда не достигнуть. Всякая «быль» в литературе все-таки не была. И происходит это не из-за спонтанной игры воображения, побеждающей в тебе правдивого свидетеля и добросовестного писца, а в силу неизбежного сгущения материала, из которого ты строишь. Всякое искусство, имеющее дело со временем, обязано работать на сжатие: литература, театр, кино, иначе действие повести, пьесы, фильма должно быть равно по времени изображаемым событиям, что, разумеется, невозможно. Не стоит говорить о тех исключениях, когда изображаемое событие столь же непродолжительно, как и рассказ о нем.

Сжатием неизбежно уничтожается второстепенное, вроде бы незначашее, лишнее, остается лишь главное — сердцевина. Но если говорить серьезно, разве есть в жизни что-то незначашее, тем паче лишнее? Нередко в этом лишнем, в паузах бытия и заключается то, что станет будущим, и вообще главное так переплетено с неглавным, что нельзя их разнять, это не сцеп, а сплав. Кто-то сказал: «Жизнь — не предприятие, а состояние» — мудрейшие слова, и, стало быть, в ней ценно каждое мгновение, вся мимолетность. Литературное сжатие материала действительности, независимо от воли автора, резко нарушает все пропорции, нередко создает ложную картину.

В моих записях это привело к тому, что чистопрудные ветераны стали друг для друга словно бы подпорками, некими часовыми дружбы, кассой душевной

взаимопомощи. Не товарищеский круг, а кооперативное общество «Дружба», вроде того что создала калечная героиня маленького и очень сильного романа Эрве Базена «Встань и иди». Это история девушки-инвалида, которая собрала вокруг себя своих бывших друзей и создала «службу взаимовыручки». Для тех социальных условий, в которых действуют герои Базена, и, добавлю, для тех характеров, которые он создал, взбалмошная затея калечки оборачивается высоким подвигом. Но мы — из бессмертной 311-й — живем в иной действительности, у нас нет необходимости все время за кого-то судорожно цепляться, большинство жизненных проблем решается не частным путем, что вовсе не исключает личного участия в чужой судьбе. Но нам противна расцветшая в последнее время меновая форма общения: ты мне достанешь дефицитное лекарство, я тебе — билеты в Большой театр, ты мне — запчасти на машину, я тебе — путевку в Сочи, ты назовешь меня «советским Чеховым», я тебя «современным Горьким»... Не стоит дальше перечислять, эта короста на теле общества к моему рассказу никакого отношения не имеет. Но есть и другое, о чем сказала Марина Цветаева: дружба, исключаящую всякую помощь в беде, это не дружба. И было бы дико, если бы мы, в угоду голому принципу, жервовали естественной склонностью человеческого сердца прийти на помощь тому, кого любишь. Но вот что важно: у нас никто не просит о помощи, и если ее все же оказывают, то по собственной угадке (за сорок лет лишь считанные разы прозвучал сигнал S O S!), но мало этого — помощь принимают, лишь находясь на краю. Мы не хотим обременять нашу дружбу ничем инородным, всеми силами оберегаем ее свет и чистоту от обывательщины любого сорта. Помню, как накинута на своего сына добрая Таня Л., когда тот обратился ко мне с какой-то пустячной просьбой: «Это что еще такое? Мы дружим пятьдесят лет, и ни о чем не просили друг друга, а ты, паразит, ишь, сообразил!..» Жизнь, здоровье, судьба — тут мы на страже, но создавать друг другу бытовые удобства — недостойно наших отношений. Мы хотим друг от друга лишь того, что дарят глаза и слух, и кожа, ощущая, как тепло, присутствие дружественной плоти, и сердце, которому легко и покойно.

Человек атавистически боится за свою спину, нет ничего страшнее нападения сзади. Недаром же и путники на дорогах, и прохожие на городских улицах часто без нужды оборачиваются. Когда мы друг с другом, нам не надо озираться, бояться за свою спину. Чувство безопасности, защищенности, которое мы дарим друг другу, возвращает нас к детству, когда мы и впрямь были так чудесно защищены всемогуществом взрослых...

10

Немногословие моих друзей иной раз вызывает досаду. Разве вычитаешь необыкновенную судьбу Милы Ф. в коротенькой справке, кончающейся сообщением о присуждении ей в 1978 году Государственной премии СССР «за разработку вопросов консервации крови». Когда-то Юрий Олеша острил по поводу медсестер, бравших у него кровь: «Служба крови», — и сам гордился своей остротой. Но вот то, чем занимается Мила Ф., и есть служба крови в прямом смысле слова.

Много было крови на пути самой Милы, такой домашней, уютной, созданной для теплой, тихой семейной жизни, какая вроде и была обещана ей в детстве. Но прожила она совсем другую: трудную, тревожную, порой мучительную, разрывную, но сильным человеком оказалась наша розовая, толстощекая, русоволосая Мила и обломала рога судьбе, пытавшейся сломать ее.

Бывают дети, чья главная жизнь проходит в школе, там находит пищу их неумная любознательность, раскрываются ранний общественный темперамент, организаторские способности — такими были Женя Руднева, Ляля Румянцева, Бамик Ф.; другим школа дарит успех и поклонение: Ире Б — р, Нине В., Ире Б — вой, или славу — Коле Р. — победителю математической олимпиады, выдающимся спортсменам Юре П. и Ване К. Мила в школе была малозаметна, да и не старалась привлекать к себе внимание, не то лишний раз вызовут к доске, училась же Мила весьма средне. Даже зная урок, отвечала тихо, отрывисто, неубедительно, вся краснея от смущения, и жалобный взгляд из-под светлой пряди молил: да отпустите вы меня, зачем мучаете ребенка? Она не была ни общественни-

цей, ни спортсменкой и многим казалась недалекой девочкой.

Но совсем другой становилась она, когда отваливался школьный гнет. Мне памятен, как золотая сказка, нарядный, изобильный Милин дом, так непохожий на все наши коммунальные норки. Милин отец был крупным военачальником, комкором, семья занимала четырехкомнатную квартиру в большом доме военных между Чистыми прудами и Потаповским переулком. Мы, четырнадцатилетние подростки, приходили в гости к Миле, но ужинать нас приглашали вместе со взрослыми, это было ново и ошеломляюще. Нам наливали по рюмке вина, что еще повышало наше самоуважение, и с удивительным тактом щадили юную ранимость; не было ни фальшивых потуг включить нас во взрослый разговор, ни снисходительного и тем обидного внимания, нас просто предоставляли самим себе. Мы чувствовали себя по меньшей мере не хуже бедных родственников. Нам разрешали послушать после ужина, как влюбленный в Милину мать молодой поэт с лишним позвонком в шее громко, раскатисто читал стихи о гражданской войне, в которой по возрасту не мог участвовать.

А потом мы уходили в Милину комнату, где ставили пластинки с хорошей музыкой, смотрели книжки и альбомы по искусству, фотографии знаменитых певцов. Мила была меломанкой, любила театр, видела все лучшие спектакли, много читала, с ней было на редкость интересно, ее нелепая школьная застенчивость оборачивалась тонким очарованием сознающей себя женственности, и я, наверное, влюбился бы в Милу, если б уже не был влюблен в ее мать. Мила была очень похожа на свою мать: красками, линиями, обещанием стати и странным жаром, который то ли исходил от нее, то ли возникал во мне самом, как ответное пробуждение чего-то еще неизвестного. Но Мила лишь обещала стать тем, чем ее мать уже была. И я смертельно завидовал длинношеему поэту, хоть он и не участвовал в гражданской войне, которую воспевал, но все же носил высокое звание взрослого мужчины.

Свет, музыка, стихи, весь праздник дома кончился в 1937 году, когда отец Милы разделил участь Тухачевского, на которого походил внешне: литой красавец с мощной грудью. Мать Милы пропала на долгие

годы, а наша подруга переехала к тетке в огромную коммунальную квартиру в Брюсовском переулке и кончала другую школу.

Я бывал в Брюсовском и узнал новое Милино окружение: ее прекрасную, с легкой сумасшедшинкой тетку, навек зачарованную Надсоном; она напоминала цветок, засушенный меж листов толстого фолианта и забытый там, но не безуханный, как у Пушкина, а источающий тонкий, сладкий и волнующий аромат старины, где гимназии и курсы, Надсон и святые идеалы, прокуренные сходки и рахманиновские «Вешние воды»; и была еще там молодая арфистка, тоже отключенная от действительности, она играла нам паваны, гальярды и чаконы, я смотрел на Милино лицо, держащее в насильственной улыбке, в расширенных зрачках какое-то бедное мужество, вспоминал ее мать, и мне становилось так больно, что с тех пор я боюсь арфы.

Снова я встретился с Милой уже в войну, в те провальные, черные для меня дни, когда после контузии, госпиталя и медкомиссии судорожно противился предписанной мне участи инвалида. Я разыскал Милу через ее тетку; война, чадающая и не дающая тепла печурка в неотопливаемой комнате, «служащая» карточка, по которой изредка давали яичный порошок и порошковое молоко, не поколебали ее любви к Надсону и верности святым идеалам. Мила жила теперь у своей свекрови в Сверчковом переулке, наискось от дома, где я родился и прожил первые семнадцать лет жизни. Оказывается, она вышла замуж за недруга моих отроческих лет, черноглазого мотоциклиста Дарика, и уже стала вдовой — Дарик погиб на фронте. Но когда я пришел в ее грустный дом, мальчишеские драки и вражда были справедливо расценены как старая дружба, и меня по-родному встретили — не только сама Мила, но и мать Дарика, красивая армянка с тугим аристократическим профилем. Я никогда не видел, чтобы мать, только что потерявшая сына, с таким достоинством несла свое горе. Она не избегала говорить о сыне, охотно слушала мои рассказы о нем, но не позволяла переходить какой-то грани, где началось царство лишь ее скорби. Отношения свекрови с невесткой нельзя было назвать просто хорошими, даже нежными, это было какое-то взаимопроникновение друг в друга, братство боли, неразмыкающееся

душевное объятие. Мне открылось это довольно неожиданным образом. Поначалу я опасался, что мой вид неприятен матери Дарика — живой, а ее мальчик лежит в мерзлой земле; болтающий языком, когда он замолк навсегда, и почему я возле Милы — школьный друг? — ну, так и оставайся в памяти детства. И вдруг я понял: она хочет, чтобы я был у них, рядом с Милой, и не только у них, совсем не у них, чтобы я увел Милу в другую жизнь, ибо она не считала жизнью Милино существование при ней. Она знала, эта умная армянская женщина, что у нее самой есть более сильный стимул выжить, чем у Милы, ей нужно вырастить младшего сына и у нее хватит сил это сделать без помощи выматывающей себя ради них молодой женщины, ставшей вдовой, едва вступив в брак.

Мила кончила стоматологический институт — туда легче было поступить, чем в любой другой медицинский, но война сделала из нее хирурга, сперва по лицевой, а там и по общей хирургии. И открылся Милин талант — она оказалась хирургом милостью божьей, вскоре ей стали доверять самые сложные полостные операции. Она работала на износ: операционная, истерзанные человеческие тела, кровь, кровь, смертельная усталость, печальный полумрак дома свекрови — вот и все. А матери Дарика хотелось для нее хоть немного счастья. И я чувствовал, что темные глаза этой женщины испытующе и вроде бы с надеждой останавливаются на мне. У Милы никого не было, кроме пребывающей в эмпиреях тетки, а тут появился выходец из ее прошлого, однокашник, товарищ погибшего мужа, старый друг, знавший и чтивший ее родителей, крепко стукнутый фронтовик, последнее тоже было важно — не тыловой сверчок. Догадывалась ли Мила о том, что никогда не облакала в слова ее свекровь? Не знаю. Что думала сама Мила о нашей вновь начавшейся дружбе, такой же странно осторожной и что-то всегда не договаривающей, как в детстве, — не знаю. Я был свободен и подавлен этой непрощеной свободой, потеряв — не в смерти — свою первую любовь. Но я был подавлен не только любовным крахом. Я вроде бы уцепился за поручень уходящего поезда — съездил корреспондентом-разовиком от «Комсомольской правды» на исход Сталинградской битвы, когда подчищали Тракторо-

заводской поселок, увидел и первые шаги возрождения почти уничтоженного города, написал обо всем этом и получил приглашение стать... собкором по глубокому тылу. Но и это еще полбеды: возвращаясь из Сталинграда товарным вагоном, прицепленным к эшелону с немецкими военнопленными (может, на одном из них сидела та сыпнотифозная вошь, которая погубила Лялю Румянцеву?), я отравился трупной водой, которую набирал прямо с раскисших мартовских полей — нескончаемого солдатского кладбища. Водокачки были взорваны, разбомблены, а машинист запретил брать воду из паровоза. Я заболел сталинградским колитом, так называли врачи эту ужасающую желудочную болезнь. Мало того, что я исхудал, как скелет, ослабел, как дистрофик, через каждые пятнадцать — двадцать минут я должен был мчаться в туалет, невзирая на обстоятельства. Мила — врач, она и не такое видела, но в качестве жениха я сам себе был омерзителен. И я дал себе слово исчезнуть до полного выздоровления — будто можно хоть от чего-то вылечиться! Когда же немного пришел в себя, то сразу уехал на фронт военным корреспондентом «Труда», а вернувшись, как раз успел на Милину свадьбу, которую справляли в знакомом доме по Брюсовскому переулку.

Мила увидела своего будущего мужа впервые на госпитальной койке, затем на хирургическом столе. Я уже говорил, что она стала хирургом «за все», ей доверяли — и охотно — случаи теоретически безнадежные. Распространено мнение, что у хирургов руки похожи на руки пианистов, та же мощь с утонченностью (вспомните сильные, длиннопалые, чуткие руки знаменитого хирурга Юдина на портрете Нестерова — чем не дивные руки Святослава Рихтера!). Но и у выдающихся пианистов бывают маленькие руки, едва охватывающие октаву, например у Генриха Нейгауза, учителя Рихтера. И маленькие, пухлые руки Милы с тонкими короткими пальцами, облитые резиновыми хирургическими перчатками, умели делать чудеса, приближаясь к истерзанной плоти раненого. Но такой истерзанной, такой измученной плоти еще не видела хирург Ф.: от молодого, красивого лейтенанта осталась одна оболочка, внутри все было перемолото. И Мила начала борьбу за человеческую жизнь, как делала уже сотни раз, с той лишь разни-

цей, что никогда еще борьба не казалась ей настолько безнадежной. И невдомек ей было, что в эти нескончаемые, мучительные часы над операционным столом она спасала не только жизнь молодого офицера, но и свою собственную судьбу, своих будущих детей и детей этих детей. Наверное, лейтенанту очень хотелось жить, потому что одной медицины тут было недостаточно. Его молодая воля к жизни помогла и хирургу, потерявшему сознание по окончании операции, и всем тем, кто потом раздувал еле тлеющий огонек. А когда лейтенант окончательно очнулся в жизнь, то обнаружил, что его чувства к хирургу Людмиле Ивановне отнюдь не исчерпываются благодарностью.

И вот я гуляю на скромной военной свадьбе. По новобрачному никак не скажешь, что он вернулся с того света: рослый, веселый красавец, приятно поющий под гитару, с точными, изящными движениями. Последнее неудивительно: три его сестры балерины, причем две старшие — примы Большого театра; карьере младшей помешал вошедший в семью ее мужем знаменитый бас — голос требует жертв. Усердно и чуть грустно пью я рюмку за рюмкой за здоровье молодых. Единоборство со сталинградским колитом было выиграно, хотя и не столь полно и решительно, как одноименная битва, повернувшая войну вспять, а главное — слишком поздно.

Я смотрю на Милину сегодняшнюю фотографию: она в белом халате и белой шапочке, очень взрослая и серьезная, доктор медицинских наук, лауреат, бабушка. У Милы спокойно на душе (впрочем, откуда я знаю?): ее мать давно вернулась, а тому, кого уже не вернешь, возвращено доброе имя. Красивая и мужественная армянская женщина хорошо воспитала своего младшего сына, брата погибшего Дарика, сейчас он один из первых кинорежиссеров.

Долгих радостных лет тебе, Мила, ты лучшая из нас...

Но вот я открываю альбом на фотографии девятнадцатилетнего юноши с теннисной ракеткой в руке и знаю, что лучше его для меня нет, не было и не

будет. Мой первый друг, мой друг бесценный!.. Есть у меня рассказ с таким названием, где я в который раз пытался передать его черты и, как всегда, не сумел этого сделать. А когда-то я написал единственную в моей жизни большую повесть, которую назвал его именем «Павлик», хотя там была использована моя собственная фронтовая история — лишь конец вымышленный, а рассуждение о том душевном ущербе, из-за которого молодого человека зовут детским уменьшительным именем, тоже не имеет никакого отношения к моему другу. Павликом его называли после школы лишь старые друзья. Но, впервые затеяв длинную работу и догадываясь, как она будет мне тягомотна, я нарочно назвал героя Павликом, потому что мне сладко было писать: Павлик, Павлик, Павлик...

Из альбома:

«Павлик учился в нашей школе с первого до последнего класса и при этом для многих, почти для всех, прошел как бы стороной. Считалось, что он «при мне», и, как я убедился во время наших встреч, таким и остался в слабой памяти соучеников. Но только не в моей памяти... Не бывает дня, чтоб я не вспомнил о нем с болью, нежностью, уважением, безмерной благодарностью. Он был лучше меня: цельнее, чище, вернее, духовнее. Потому и стал он для меня так бесконечно важен на всю жизнь, что в детстве и юности я был при нем, а не он при мне — вопреки очевидности.

Он был на редкость сдержан, столь же искренен и раним, поэтому неохотно допускал кого-либо в свою душевную жизнь. Даже собственная семья плохо его знала. Павлик не был однолюбом в дружбе: кроме меня он любил так же, как и я, талантливую, острого, изящного в каждом движении, доброго и дерзкого Осю Р.— мальчика из другой школы. Он тоже не пришел с войны...»

Само собой подразумевалось, что в альбом о Павлике напишу я. Но не туда меня повело. Зачем надо было укорять друзей, что они не сумели оценить Павлика по достоинству? И совсем уже глупо обвинять Валю З., нашу соученицу, единственную девушку, которую любил Павлик, что она не ответила ему взаимностью. Ведь он не приказывал мне:

Ты Расскажи всю правду ей,
Пустого сердца не жалея.
Пускай она поплачет,
Ей ничего не значит.

Вот и она смотрит на меня со страниц альбома: в строгом английском костюме, преподавательница английского языка сперва в школе, потом в институте, жена кандидата технических наук, мать сына-инженера. Она мало изменилась, только как будто развеялась, отлетела прочь легкая дымка, что заволакивала ее лицо с далекими серо-зелеными глазами и непонятно кому обращенной полуулыбкой крепких темных губ. Теперь в этом лице все ясно, четко и понятно. Ее муж и сын работают в НИИГИДРОМАШе. Я прочел об этом и окончательно успокоился. Близ НИИГИДРОМАШа смолкают страсти...

...Но что это было?.. Прошло пять лет, и я уже не берусь судить: явь ли это, или сон, или греза наяву, или слишком сильная работа воображения, материализовавшая видение, или принуждение памяти к самообману?.. Но это все оговорки здравомыслия — собственного — в угоду здравомыслия других. Про себя же я знаю, что это было, было и подготавливалось долго, в той странной, иронической манере, какую почему-то избирает потустороннее, обнаруживая себя смертным людям. Не к лицу тайным силам несерьезное обличье, и первым на это обратил внимание Лесков в своем загадочном рассказе «Белый орел».

А все началось с мух. Изумрудных, блестящих, металлических, тучей накинувшихся на меня в глубине леса. Они облепили мое лицо, путались в волосах, бились с размаху в глаза, мгновенно и больно жалили. Комару, чтобы укусить, надо пристроиться, выпустить жало, проткнуть кожу, а эти изумрудные разбойницы шли в атаку шильцем вперед и наносили укус с лета. Вначале мне было смешно, потом досадно, а потом — страшно. Я бросился наутек, они преследовали меня до высоковольтной линии, там зависли на краю леса зеленым роем, взныли не мушиным, а дико-го пчелиного роя гудом и сгнули.

Я уже писал об этом, да, кажется, не однажды, настолько потрясла меня мушиная агрессия. Четверть века хожу я в наш лес, и никогда со мной подобного не случалось. И мух таких, изумрудно-металлических и остервенелых, я сроду не видел.

Другой раз в сумерках я наступил на дикую свинью. Звучит смешно, но когда земля вдруг стронулась, вздыбилась под ступней и разразилась бешеным визгом, мне было вовсе не до смеха. Я отскочил, споткнулся, упал, увидел промельк темного тела, и только тогда сообразил, что со мной произошло. Я вспомнил рассказы о кабанах, приходивших ночью в наш поселок, — они перерывали огороды, вытаптывали клумбы, валили ограды — и, не желая искушать судьбу, повернул назад. Потом, успокоившись, понял, что спугнул не взрослую свинью, а подсвинка-годовика и что произошло это вблизи того самого места, где на меня напали мухи. И что туда, стало быть, путь заказан, а это по законам сказки означает: должен идти.

И я ходил все лето и никогда не знал там удачи. То одно, то другое. Раз забрел в дремучие заросли крапивы — выше меня ростом. Шел по едва приметной тропинке, может, она и не человеческими ногами топтана, а звериными — у нас тогда в лесу много зверей было: лоси, кабаны, лисы, куницы, ласки, не говоря уже о всякой мелочи: кротах, ежах, мышах, — а может, то был весенний сток талой воды — желобок-западинка, и забрел в густой малинник, как всегда перемешанный с крапивой. Не верилось, что у дикой малины могут быть такие крупные и сладкие ягоды! Я прорубался к пунцовой благодати напролом сквозь крапивный лес, размахивая палкой, как мачете, пренебрегая жгучими охлестами, и в конце концов оказался в непролазной колючей чаще, и если б не вкус малины во рту, можно было бы подумать, что малинник мне просто пригрезился. Когда я наконец выбрался из стрекучих джунглей, то был весь как сплошной волдырь.

Несколько раз я просто выдыхался. Эта тропка или то, что я принимал за тропку, не имела конца. Я шел по ней два, три, четыре часа, впереди не возникало просвета. Я хорошо знаю наш лес, вернее, оба леса по сторонам широкой просеки, где проходит высоковольтная линия. По одну руку — хвойник с чащами, забитыми валежником, с сырыми балками и лесными озерцами в топких берегах, заросших осокой, по другую — чистый березняк, без подлеска, сквозной, светлый. Но у нас нет больших расстояний, как ни углубляйся в лес, как ни плутай, а часа через

два-три непременно выйдешь в поле, или к речке, или на околицу деревни, или к парникам, или к коровьей ферме, или к той же высоковольтной. И лишь одно направление, где меня подстерегали смешные и досадные неприятности, обладало неестественной протяженностью.

Однажды я попробовал обмануть лес, обойдя его опушкой. Он зелеными мысами вдавался в простирающееся до самой Десны поле, где — в дикое разнотравье, где — в клеверище, где — в пастбищные овсы, где — в сорняковый пар. Я срезал эти мысы, всякий раз ожидая, что увижу устье таинственной тропинки, но обнаруживал лишь очередной мыс. При полном солнце из легкой, светлой, как кудель, тучки брызнуло грибным дождиком; он удалялся стенкой, в нем запуталась коротенькая радуга. И тут с бездонно голубого чистого неба с оглушительным треском вонзилась в землю прямая, как отвес, лишь вверху расщепленная молния, запахло лечебным электричеством, а потом — чуть приметно — гарью. Я не сразу заметил, что повернул назад, а заметив, продолжал быстро идти к дому. Меня била изнутри какая-то пульсирующая дрожь. Такого унижительного страха я не испытывал даже на войне. А ведь я люблю грозу — и не только в начале мая.

Я понял, что не должен хитрить с лесом; неведомо кем направление задано, ну и держись его. Я вновь пошел, как библейский патриарх: «сам не зная куда». Теперь мне казалось, что я достигну чего-то, не потому, что пройду дальше обычного, а потому, что кончится странный искуc. Дорога осилится не простым терпением путника, а каким-то иным терпением. Но лето перевалило за половину, и ничего не изменилось. Может быть, не следует так тупо ломить вперед, держась за муравьиную тропку, что, если свернуть в чащу, в бурелом, заблудиться? Это было и легко, и трудно. Легко, потому что после контузии в числе других потерь я утратил унаследованную от матери способность ориентироваться в пространстве; трудно, потому что лес, как уже говорилось, всегда куда-нибудь выводил — во всех направлениях, кроме одного-единственного, не имеющего конца.

Теперь я поступал так: долго шел привычным маршрутом, а потом будто забывал о тропке, переставал выглядывать ее под иглами, подорожником, ло-

пухами и брел на авось. И глухая тревога щемила сердце.

Раз я вышел на незнакомую лесную луговину. Казалось, что солнце отражается в бесчисленных зеркалах, таким блистанием был напоен мир. И зеленая луговинка залита солнцем, лишь в центре ее накрывала густая круглая тень от низко повисшего маленького недвижимого облака. В пяточке этой малой тени, на возвышении — бугор не бугор, камень не камень — стояли о н и: Павлик и Оська. Вернее, маленький Оська полулежал, прислонясь к ногам Павлика, казавшегося еще выше, чем при жизни. Они были в шинелях, касках и сапогах, у Павлика на груди висел автомат, Оськиного оружия я не видел. Их лица были темны и сумрачны, это усугублялось тенью от касок, скрывавшей глаза. Я хотел кинуться к ним, но не посмел, пригвожденный к месту их отчужденностью.

— Чего тебе нужно от нас? — голоса я не узнал и не видел движений мускулов на темных лицах, но догадался, что это сказал Павлик.

— Чтобы вы были здесь. На земле. Живые.

— Ты же знаешь, что мы убиты.

— А чудо?.. Я вас ждал.

— Ты думал о нас, — мне почудился в страшном своей неокрашенностью голосе Павлика слабый отзвук чего-то былого, родного неповторимой родностью. — Думал каждый день, вот почему мы здесь.

— И вы?..

— Мертвые. У него снесено полчерепа, это не видно под каской. У меня разорвано пулей сердце. Не занимайся самообманом. Хочешь о чем-нибудь спросить?

— Что там?..

Ответа не последовало. Потом Оська, его голос я помнил лучше, да ведь и расстались мы с ним позже, чем с Павликом, тихо проговорил:

— Скажи ему.

— Зачем ты врешь о нас? — в голосе был не упрек — презрительная сухость. — Я никогда не горел в сельской школе, окруженной фашистами, а он не выносил товарища из боя. Меня расстрелял немецкий истребитель, а ему снесло затылок осколком снаряда, когда он писал письмо. На мертвых валят, как на мертвых, но ты этого не должен делать. Думаешь,

нам это надо? Ты помнишь нас мальчишками, мы никогда не мечтали о подвигах. И оттого, что нас убили, мы не стали другими. Разве ты любил героев?

— Вам плохо там?

— Никакого «там» нет,— жестко прозвучало в ответ.— Запомни это. Все — тут. Все начала и все концы. Ничто не окупится и не искупится, не откроется, не воздастся, все — здесь.

— Сказать вам что-нибудь?

— Нет. Все, что ты скажешь, будет слишком маленьким перед нашей большой смертью.

Я не уловил их исчезновения. Поляну вдруг всю залило солнечным светом, облако растаяло, а там, где была приютившая мертвых солдат тень, курилась легким выпотом влажная трава.

Время от времени я пробую найти этот лесной лужок, но знаю, что попытки тщетны...

12

...Уже к вечеру у нас затеялась странная и неожиданная игра: каждый должен был рассказать о своей школьной любви. В самой игре ничего особенно странного нет, наверное, и в других компаниях затевается что-то похожее, хотя я никогда об этом не слышал и сделал свое предложение по внезапному наитию, впервые в жизни выступив зачинателем общего дела. Странной была та серьезность, с какой почти все до одного отнеслись к моему предложению. Возможно, этому способствовали прямота и откровенность первых ответов. При ином начале, вполне вероятном и уместном, игра так бы и осталась игрой и скоро бы нам прискучила. Но совсем по-старому вспыхнувшее лицо Милы Ф., тихий шатнувшийся голос и вздрог губ, так и не сложившихся в улыбку,— она начинала — мгновенно сбили шуточный настрой. Оказывается, ничего не минуло, не рассеялось дымом, а вошло в нашу суть, в будущее, хоть мы и сами не отдавали себе в этом отчета.

Бамик Ф. сказал, что еще третьеклассником влюбился в Лялю Румянцеву и нарочно стал членом «бытовой комиссии», проверявшей материальное положение ребят на предмет выдачи ордеров на калоши, чтобы под этим предлогом проникнуть к ней в дом.

Уловка в духе графа Альмавивы обула Лялины ноги в новенькие блестящие калоши на пунцовой байковой подкладке, но хитроумного влюбленного ничуть не приблизила к предмету поклонения. Между ними оказались калоши фабрики «Красный треугольник» — материальный фактор губителен для слишком щепетильных душ.

А потом он хорошо и взволнованно говорил о своей долгой юношеской влюбленности в нежную пепельно-волосую Катю Г. Его любовь ни для кого в школе не была тайной, равно и то, что в исходе школьных дней он отступился от Кати. Теперь его видели с Лилей Ф., принадлежавшей к тому типу рано созревающих девушек, которые с ошеломляющей и унижающей их сверстников быстротой превращаются в роскошных дам. Бамик говорил, как потряс его запах настоящих в з р о с л ы х Лилиных духов, которые он впервые обонял, и как кружила ему голову вся атмосфера взрослости, таинственно окутывающая Лилю.

Бамик считает, что дружеская близость с тремя столь разными, но на свой лад совершенными женскими существами крайне осложнила ему выбор подруги жизни.

Он встречал — и нередко — хороших женщин, но наплывал образ Лили Румянцевой с ее яростной прямоотой, обостренным чувством справедливости, с душой как натянутая струна, или — нежной, лунной Кати с пушистыми волосами, в которых запутался рассвет, или — празднично-женственной Лили, и сравнение оказывалось убийственным для претендентки. Лишь когда появилась женщина, в которой словно соединились три любимых образа, конечно не механически, а растворенные в иной стихии, в ином индивидуальном очаровании, Бамик нашел свою жену.

После всего, что наговорил Бамик весьма обескураживающе — для меня, во всяком случае, — прозвучало нежное, тишайшее, проникновеннейшее признание Кати, что Бамик ей никогда не нравился. Она знала о его чувстве к ней, уважала это чувство, но не разделяла. Я не успел по-настоящему ощутить разочарования, когда Катя с той же тихой, проникновенной искренностью добавила: «Но дружба с Бамиком была самым большим даром всей моей жизни.

Она сформировала меня как человека. Если есть во мне что-то хорошее, то все от Бамика. Я никогда не забываю об этом...»

Говорят другие. И часто называют имена тех, кого уже нет: Коли Ф., Бориса С., Жоржа Р., Ляли Румянцевой. Неужели ушедшие были лучше нас? Или просто легче признаться в любви к ним, нежели к тем, кто еще наполняет своим шумом жизнь? Неправда, об этих тоже говорят...

13

Нет школы без первой красавицы, предмета всеобщего поклонения. У нас их было три: каждой отмечен определенный период школьной жизни, как царствование Людовика XIV тремя знаменитыми фаворитками: Луизой Лавальер, маркизой де Монтеспан, г-жой де Ментенон. С первого до седьмого класса царила Ира Б—р. В седьмом началось двоевластие, закончившееся победой другой красавицы — Нины В. В десятом лучшие мужи пали к ногам Иры Б—вой. Остуде долгого поклонения Ире Б—р способствовало то, что возле нее вырос, загородив от всех глаз, вратарь нашей школьной футбольной команды, красивый, рыцарственный и мужественный Володя А. В играх он пропускал не так уж мало голов, но эти ворота твердо решил отстоять. Он неважно учился, преуспевал лишь в спорте, но и спорт затмили черные косы и худощавая цыганистая красота Иры Б—р, вечно нуждавшаяся в защите, оберегании, заботе, лелеянии. Володя предался этому хлопотному делу столь самоабвенно, что окончательно забросил науки, остался на второй год, а после школы сразу пошел на действительную. Всю войну служил на бронепоезде. С победой не кончилась его служба, да он и не торопился домой. Девушка, которую он любил, стала женой другого. Нет, она ждала, сносила не одну пару башмаков, но жизнь взяла свое. Володя был человек, сильно битый войной. Он не сумел ни приладиться к мирному существованию, ни найти в нем нового интереса. И дал себя добить вывезенной с войны болезнью печени. Некогда самый крепкий из нас, кроме одного Бориса С., он ушел первым.

Ира Б—р сказала о своей единственной, через всю юность любви с той простотой искренности и боли, что Володя не мог бы и мечтать о лучшей эпитафии.

Нина В., вытеснив Иру, прочно заняла трон. Это было очень живое, несколько буйное царствование во вкусе развеселой дщери Петровой Елизаветы. Менялись фавориты, но разжалованный далеко не всегда изгонялся прочь, ему позволялось сосуществовать со счастливым соперником. Веселая, компанейская, отличный товарищ, кареглазая, свежая, улыбчивая, открытая и загадочная своей манящей сутью, недостижимой таким лопухам, какими мы были до окончания школы, не в пример нынешним скороспелкам, Нина правила своей державой легко и радостно. Но до чего же мы все удивились, когда она сказала, что единственным мальчиком, затронувшим в школе ее сердце (открывавшееся, как мы и тогда догадывались, более зрелым кавалерам вне школьных стен), был вполне ничтожный Вовочка Л., белокурый баранчик, женственный, робкий и липучий, которому каждый, в чьих жилах текла мужская кровь, считал своим долгом отвесить мимоходом тумака, дать щелчок или другим способом выразить свое презрение. Был он не просто беззащитен, тогда бы его в конце концов оставили в покое, нет, в нем угадывалась какая-то противная жизнестойкость.

Эту нашу смутную ребяческую угадку подтвердила Нина. Оказывается, баранчик каждый день провожал ее из школы, крадясь по другой стороне улицы. Когда же Нина шла в школу, он уже поджидал ее, спрятавшись за водосточной трубой. И почти всегда попадался под руку какому-нибудь уличному мальчишке. Жалко и покорно улыбаясь, он смотрел на Нину собачьими глазами и своей безответностью осилил всех героев, бойцов, умников, остряков и гениев 311-й школы.

Нину сменила на престоле Ира Б—ва. Она охотно позволяла за собой ухаживать, поощряла соперничество, будила в доверчивых душах тщетные надежды, а сама только и ждала окончания школы, чтобы выйти замуж за Володю А.— тезку и однофамильца нашего вратаря, что позже служил на бронепоезде. Этот Володя был тоже первоклассным футболистом.

Сухощавая интересная дама с седой прядью в ореховых волосах очень спокойно поведала нам о своих

школьных брачных планах, приводивших в отчаяние ее семью. «Замуж, как вы знаете, я, действительно, вышла через полгода, только не за Володю, а за взрослого человека, архитектора, с которым прожила всю жизнь...»

14

Иные признания вызывают улыбку. Ваня К. на редкость искренно, хорошо рассказал о своей влюбленности в Марусю И. Он помнит ее всю — от спортивных резиновых тапочек до белой кофточки с хрустко наглаженным воротничком и гребенкой в волосах, и мы невольно ждали от Маруси ответного признания. Но она заявила, что в школе ее волновали лишь волейбольная сетка, хорошо надутый мяч и запах дезинфекции в физкультурном зале. Настал черед удивляться и мне: учительница французского языка Туся П. суховаато сообщила, что в 9-м классе была влюблена в меня до безумия. В тот год мы часто собирались в гостеприимном Тусином доме, где бывали и десятиклассники, с которыми дружила Туся. Я с завистливым восторгом глядел на этих светских львов — гитаристов, певцов, остряков, великолепных танцоров, скромно сознавал свое ничтожество рядом с ними и вообразить не мог, что представляю хоть какой-то интерес для хозяйки дома.

А все-таки взаимность чувств редко одаривает людей. Но мои друзья уплатили столь щедрую дань несовпадениям еще в школе, что во взрослой жизни оказались весьма удачливы. При теперешней брачной чехарде от нашего альбома веет древними домостроевскими добродетелями. Лишь четверо представителей сильного пола шли к счастью с нескольких заходов, всего две наши соученицы оставили своих безнравственных мужей, а одну, прожив жизнь, бросил муж.

Игра подходила к концу, и, кажется, все мы с тяжестью на душе ждали, что сейчас настанет очередь Шуры Б., славного, одаренного, благородного Шуры, с которым судьба обошлась на редкость сволочно.

Даже писать об этом трудно. Если уж кто из нас заслуживал счастья, так это Шура, человек чистого

сердца, высокой духовности и той роковой цельности, что исключает всякую приспособляемость. Он рано нашел себя, увлекшись театром, поступил в ГИТИС, выдержав жестокий конкурс. Еще в школе он любил — раз и навсегда. Но началась война, а у Шуры в графе «национальность» стояло — немец. В нем были намешаны разные крови, но слова «Рот Фронт!» звучали ничуть не хуже чем «Но пасаран!» или «Будь готов!», и родители записали его немцем, чему он не придавал никакого значения. Немцев выселяли из Москвы, и Шура со всей семьей оказался в Темиртау, затем в Караганде. И в Темиртау и в Караганде люди живут, что убедительно доказал его младший брат. Окончил институт, стал инженером, женился, родил детей, давно уже он директор крупного завода, известный, уважаемый в округе человек.

У Шуры так не получилось. Не было у него ни интереса к другой профессии, ни интереса к другой жизни. Но надо жевать хлеб, к тому же на руках больная мать, и он пошел работать — прорабом. Я говорил, что Шура — человек очень даровитый, и, не любя своей профессии, он стал отличным специалистом. Потом он узнал, что любимая вышла замуж. Он сделал попытку завести свою семью, но из этого ничего не получилось. Потому что он не жил, а томился. Время остановилось для него на тех днях, когда он был в последний раз в Москве, на Чистых прудах, с любимой девушкой.

Почему же он не вернулся в Москву, когда это стало возможным? Ему не к кому было возвращаться. Да и тяжело больная мать на руках. Его время остановилось. Для тех, с кем он начинал жизнь, оно шло, он убеждался в этом во время своих редких поездок в Москву, и в душе подымалось злое чувство отчужденности.

Но вот матери не стало, и он без рассуждения и колебания кинулся в Москву. Он не строил никаких планов, не обольщался радужными надеждами, он просто хотел вернуться в мир своего начала.

У меня был литературный вечер в Политехническом институте. Выступая с узенькой, приближенной к публике эстрады, я увидел в первом ряду двух подруг: Тусю П. и Нину В., затем обратил внимание на сидящего между ними мужчину наших примерно лет в хорошем сером костюме и очках. Видимо, Туся

привела своего мужа, с которым я не был знаком. Когда вечер кончился, мы встретились в фойе.

— Узнаешь? — спросила Туся.

Я поглядел на худое, выразительное, совсем незнакомое лицо человека в сером костюме, отметил его элегантную костлявость и подумал, что он напоминает немецкого рабочего-активиста из фильма тридцатых годов. Такими их всегда изображали в нашем кино: очень серьезными, угловатыми, надежными.

— Шура Б.!..

— Ты сам узнал меня или тебя предупредили?

За десять лет, проведенных в одной школе, мы никогда не учились с Шурой в одном классе, хотя нас часто перетасовывали, не обменялись и словом и даже не здоровались. У нас не было точек соприкосновения: он увлекался театром, я — спортом; разные друзья, разные компании. И все-таки я мгновенно узнал его, хотя в нем не оставалось ничего от прежнего коренастого розовощекого юноши с русыми волосами. Видимо, я помнил о нем.

Шура вернулся к нам, друзья приняли его, словно и не было всех долгих лет расставания. Но ему с нами не просто. Он меряет нас мерками прежних дней, но мы, конечно, стали другими; у всех своя жизнь со своими радостями и бедами, и нет объединяющего нас крова, над каждым собственная крыша, а Шура хочет, чтобы все было, как раньше, ведь его часы только сейчас снова пошли. Но мы не можем отбросить всю прожитую жизнь и вновь оказаться с нашим другом свободными, легкими, необремененными, как встарь, на неизменных Чистых прудах. Московские бульвары — самое стабильное в нашем слишком склонном к переменам городе, но даже они меняются. Тверской бульвар лишился памятника Пушкина, наш — приобрел ресторан-стекляшку. Трудно сказать, что хуже...

Наверное, мы в чем-то виноваты перед Шурой. Но все люди виноваты друг перед другом, иначе на земле царил бы безмятежное счастье. Мы — под огнем и либо должны, как один, стать Матросовыми, либо прощать друг другу наши несовершенства. Наверное, Шура еще привыкнет к нам, к тому, что мы не закрывали телом амбразур. Но и не бежим с поля боя.

И вот звучит Шурин голос:

— Ничего нового я не скажу. У меня все началось и кончилось, когда другие только примерялись к жизни...

15

Наверное, мы, и правда, собрались в последний раз. Мы все сказали, что могли, остальное принадлежит другим. И тут кто-то заметил, что Аня С. уклонилась от признаний. Всеобщая радость — помедли, помедли, вечерний день...

— Да что я?.. — добродушно улыбается Аня. — Мне и признаваться-то не в чем.

Аня — полная, спокойная, уравновешенная. Обычно серьезна, но когда начинает смеяться — частым, дробным, тонким смешком, — то никак не может остановиться. Аня — воплощение домашних добродетелей: образцовая хозяйка, прекрасно готовит, особенно удается ей тесто. Так и кажется, что всю жизнь у плиты простояла. Нет, не на кухне прошла ее жизнь: тут и рытье окопов под Москвой, и лесозаготовки, военный завод (делала снаряды), учеба в Тимирязевской академии и опытная Орловская станция, аспирантура и защита кандидатской; была замужем, овдовела, вырастила дочь, которая тоже закончила аспирантуру, скоро будет защищаться. Просто не верится, что добродушная, рассудительная, чуть вяловатая Аня прожила такую энергичную жизнь.

— А ну, признавайся в своих грехах! — подначивают ее.

— Было бы в чем! — Аня растерянно обводит присутствующих светло-голубыми глазами. — Я ведь некрасивая, а подружки все — красоточки. Только мне мальчик понравился, они тут как тут. Он и не нужен им вовсе, но охота из меня дуру сделать. Я глазами хлопаю, а его уже приручили. И решила я ни в кого не влюбляться, все равно отобьют! — и Аня заливается своим долгим, дробным, добродушным смешком.

Аня и сейчас смотрит на подружек как на писанных красавиц, а на себя как на дурнушку. Ей и невдомек, что со своей прекрасно уложенной седой головой, с выражением доброты и достоинства на

терпеливом русском лице она по меньшей мере не уступает им.

Может, Аня лучшая из нас?..

Да что же, у нас все — лучшие? Почти так. Лишь одного не позвали на общий день рождения, и его нет в нашем альбоме. Он оскорбил высокомерием, самодовольством и хвастовством одного из нас, своего однокашника, когда тому было очень плохо и трудно. И мы, не сговариваясь, изъяли его из нашего круга.

Остальные же пусть будут на этих страницах. Даже Володя М., который хмуро отклонил приглашение: а чего я там не видел? Я бы не стал упоминать об этом, если б он не работал в отделе кадров одного из министерств. По-моему, работа с людьми — не его стихия. А впрочем, не нам судить Володю. Когда-то он был хорошим и верным парнем.

16

За оградой сигналит автобус. Неужели уже кончился этот день — короткий, как сама жизнь?..

И вот они уходят — и названные мною в этих записках, и не названные лишь случайно: Тоня О., Вера К., Женя Б., Лида Э. Я стараюсь удержать перед глазами их лица, улыбки, движения...

А потом сижу один за полночь над альбомом и читаю бесхитростные слова, звучащие мне, как «Песнь песней»:

«Я, Шура Т., родилась 10 сентября 1920 года. В 1928 году поступила в 1-й класс 311-й школы на углу Лобковского и Мыльникова переулков. Училась до 9-го класса. Затем по семейным обстоятельствам вынуждена была пойти работать. Поступила бухгалтером в Мосхлебторг... Имею дочку, которая кончила институт. В настоящее время с рождением внука занялась его воспитанием. Ему сейчас два года и восемь месяцев, и он доставляет мне удовольствие в жизни...»

Шура Т. была самой маленькой в классе. Она всегда стояла последней в шеренге. Будь здорова и счастлива, маленькая бабушка Шура! И долгих лет тебе. Долгих лет, покоя и радости всем вам, дорогие мои друзья...

Авторское послесловие

Я написал о нашем школьном альбоме вовсе не потому, что считаю его чем-то из ряда вон выходящим. Напротив, это рядовой альбом, который при желании могли бы составить выпускники любой другой школы, и как раз в этом его смысл. Тут не было никакого отбора — пятьдесят человек объединены лишь тем, что вместе учились. По этим пятидесяти можно судить обо всем поколении, судьба которого была сурова. Но и мертвые, и живые сохранили достоинство Человека. Вот о чем мне и хотелось рассказать.

В те юные годы



Семье Р—ных, давшей крупного ученого, многообещающего литературоведа, талантливого художника и бесстрашного солдата

1

Что мог я сделать для тебя, Оська?.. Я не мог ни защитить тебя, ни спасти, меня не было рядом с тобой, когда смерть заглянула в твои раскосые глаза, но и будь я рядом, ничего бы не изменилось. А может быть, что-то изменилось бы и неправда, будто каждый умирает в одиночку?.. Но к чему говорить о том, чего не вернешь, не изменишь, не переиграешь? Я мог сделать для тебя лишь одно — не забыть. И не забыл. Я помнил о тебе и Павлике каждый день той долгой и такой короткой жизни, что прожил без вас, и вымучил у вечности свидание с вами. Я не просто верю, а знаю, что эта встреча была. Она не принесла ни радости, ни утешения, ни очищения слезами, ничего не развязала, не утихомирила в душе. И все-таки я начну мой рассказ, нет, мой плач о тебе с этой встречи, и не стану искать новых слов для нее, а воспользуюсь старыми — они близки сути:

«Это произошло несколько лет назад в лесу, неподалеку от моего загородного жилья, на долгой и таинственной тропке, которую мне никак не удавалось пройти до конца — лес неумолимо гнал меня прочь. И тогда я понял, что должен ломить по этой заросшей тропке, пока не возобладаю над чем-то, названия чему нет...

Теперь я поступал так: долго шел привычным маршрутом, а потом будто забывал о тропке, переставал выглядывать ее под иглами, подорожником, лопухами и брел на авось. И глухая тревога щемила сердце.

Раз я вышел на незнакомую лесную луговину. Казалось, солнце отражается в бесчисленных зеркалах, таким блистанием был напоен мир. И зеленая луговина залита солнцем, лишь в центре ее накрыла густая круглая тень от низко повисшего маленького недвижимого облака. В пяточке этой малой тени на возвышении — бугор не бугор, камень не камень — стояли о н и: Павлик и Оська. Вернее, маленький Оська полулежал, прислонясь к ногам Павлика, казавшегося еще выше, чем при жизни. Они были в шинелях, касках и сапогах, у Павлика на груди висел автомат. Оськиного оружия я не видел. Их лица темны и сумрачны, это усугублялось тенью от касок, скрывавшей глаза. Я хотел кинуться к ним, но не посмел, пригвожденный к месту их отчужденностью.

— Чего тебе нужно от нас? — Голоса я не узнал и не видел движения мускулов на темных лицах, но догадался, что это сказал Павлик.

— Чтобы вы были здесь. На земле. Живые.

— Ты же знаешь, что мы убиты.

— А чудо?.. Я вас ждал.

— Ты думал о нас.— Мне почудился в страшном своей неокрашенностью голосе Павлика слабый отзвук чего-то бывшего, родного неповторимой родностью.— Думал каждый день, вот почему мы здесь.

— А вы?..

— Мертвые. У него снесено полчерепа, это не видно под каской. У меня разорвано пулей сердце. Не занимайся самообманом. Хочешь о чем-нибудь спросить?

— Что там?..

Ответа не последовало. Потом Оська, его голос я помнил лучше, да ведь и расстались мы с ним позже, чем с Павликом, тихо проговорил:

— Скажи ему.

— Зачем ты врешь о нас? — В голосе был не упрек — презрительная сухость.— Я никогда не горел в сельской школе, окруженной фашистами, а он не выносил товарища из боя. Меня расстрелял немецкий истребитель, а ему снесло затылок осколком снаряда, когда он писал письмо. На мертвых валят, как на мертвых, но ты этого не должен делать. Думаешь, нам это надо? Ты помнишь нас мальчишками, мы никогда не мечтали о подвигах... И оттого что нас убили, мы не стали другими...

— Вам плохо там?

— Никакого «там» нет, — жестко прозвучало в ответ. — Запомни это. Все тут. Все начала и все концы. Ничто не окупится и не искупится, не откроется, не воздастся, все — здесь.

— Сказать вам что-нибудь?

— Нет. Все, что ты скажешь, будет слишком маленьким перед нашей большой смертью.

Я не уловил их исчезновения. Поляну вдруг всю залило солнечным светом, облако растаяло, а там, где была приютившая солдат тень, курилась легким выпотом влажная трава.

Время от времени я пробую найти этот лесной лужок, но знаю, что попытки тщетны...»

2

...А теперь я начну с самого начала. Мать взяла меня в «город», так назывались ее походы по магазинам Кузнецкого моста, Петровки, Столешникова переул-ка. Станный, торжественный и волнующий ритуал, смысл которого я до конца не постигал, ведь мама почти ничего не покупала там. В пору, когда товары были, — по нехватке денег, позже — по отсутствию товаров. Тем не менее день, когда мама отправлялась в «город», сиял особым светом. С утра начинались сборы: мама мыла волосы какой-то душистой жидкостью, сушила их и красиво причесывала; потом что-то долго делала со своим лицом у туалетного столика и вставала из-за него преображенная: с порозовевшими щеками, алым ртом, черными длинными ресницами, в тени которых изумрудно притемнялись ее светло-зеленые глаза, — чужая и недоступная, что усиливало мою всегдашнюю тоску по ней; мне всю жизнь, как бы тесно ни сдвигал нас быт, как бы ни сближало на крутых поворотах, не хватало мамы, и сейчас, когда она ушла, во мне не возникло нового чувства утраты, лишь острее и безысходнее стало то, с каким я очнулся в жизнь.

Когда мама брала меня в «город», то было несказанным наслаждением с легким наркотическим привкусом, помешавшим дивным, подернутым сладостным туманом и бредцем видениям задержаться в моей памяти. Отчетливо помнятся лишь перевернутые человеческие фигуры в низко расположенных

стеклах обувного магазина на углу Кузнецкого и Петровки, но что это были за стекла и почему в них отражалась законная толпа да еще вверх ногами — убей бог, не знаю и не догадываюсь. Наверное, это легко выяснить, но мне хочется сохранить для себя тайну перевернутого мира, порой населенного только большими ногами, шагающими по серому асфальтовому небу, порой крошечными фигурками, под головой которых блистала небесная синь. Еще я помню страшного нищего на Петровке, возле Пассажа, он совал прохожим культю обрубленной руки и, брызгая слюной, орал: «Родной, биржевик, подай герою всех войн и революций!» Нэп уже был на исходе, и бывшие биржевики испуганно подавали горластому и опасному калеке. Сохранилось в памяти и пленительное дрыганье на пружинке меховой игрушечной обезьяны Фоки с детенышем: «Обезьяна Фока танцует без отдыха и срока, ходит на Кузнецкий погулять, учит свою дочку танцевать. Веселая забава для детей и молодых людей». Веселая и, видимо, дорогая забава, потому что мама упорно не замечала умильных взглядов, которые я кидал на обезьянку Фоку, и молящих — на нее. Лишь раз был я близок к осуществлению своей мечты о неутомимой танцорке: на Фоку должны были пойти остатки гигантской суммы в десять рублей, собранные мною по алтынам и пятакам на приобретение пистолета «монтекристо» и украденных у меня из кармана в магазине Мюра и Мерилиза. Никогда еще «город» не слышал такого истощающего рева, каким я разразился, обнаружив пропажу. Благородное оружие (в пяти шагах убивает наповал человека!) уже тяжелило мне правую руку, а в левой дергалась смешная меховая Фока, и я видел себя кумиром двора. Горе от пропажи, ввергшей меня в прежнее ничтожество, усугублялось потерей доверия к миру, впервые посунувшемуся ко мне страшным свиным рылом. Но хватит об этом, я поддался скольжению памяти, ведь ко времени, с которого начинается мой рассказ, «город» освободился и от нахального нищего, и от обезьяны Фоки, и от дорогого изобилия (оно сосредоточилось в нескольких «торгси-нах») — походы матери лишились и тени корысти, стали чистой данью молодым привычкам, но она по-прежнему изредка брала меня с собой — порыться в книжной рухляди букинистических магазинов.

...Перейдя у Кривоколенного переулка Мясницкую, еще не ставшую улицей Кирова, мы, вместо того чтобы повернуть налево мимо источавшего спертый резиновый запах магазина, некогда торговавшего всевозможными изделиями из резины, а сейчас — в начале тридцатых — лишь странными полукалошами-полуботинками по ордерам, двинулись напрямик, в Милютинский переулок, возможно уже ставший улицей Мархлевского, но еще не привыкший к новому названию, в узкую, глубокую щель меж высоченных домов, над которыми, как и над всем городом, пугающе возносилась мрачная громада городской телефонной станции, тогда единственной в Москве. Здание это — по-прежнему темное и угрюмое — сохранилось по сию пору в отличие от многих бесценных памятников отечественного зодчества, но, умаленное общим ростом города, не так бросается в глаза.

Мама вошла в подъезд дома против наглухо замкнутых, будто сросшихся со стенами ворот телефонной станции, коротко приказав мне ждать. Не знаю, почему она не взяла меня с собой. Сейчас принято таскать детей повсюду, а мама тщательно отстраняла меня от взрослой жизни, считая, что я должен обходиться миром своих одноклассников, помимо, разумеется, семьи. Печать тайны на бытии взрослых заставляла меня относиться к ним с благоговением; рудимент почтительности сохранился по сию пору: даже вышагнув за шестьдесят, я не могу ответить на «ты» человеку старше меня и всякий раз ужасаюсь, когда «тыкают» пожилых людей румяные мелкотравчатые сановнички.

Я остался на улице, у незнакомого подъезда, что было уже достаточно неудобно: по мальчишескому кодексу тех лет любой сопляк, обитающий в этом доме, мог турнуть меня отсюда, как бродягу, забредшего в ленные владения.

Этот уют усугубляется тем давящим впечатлением, какое производила на мою вовсе не робкую, но слишком отзывчивую душу гигантская башня смерти, наивно принимаемая за телефонную станцию. Мне казалось, что она вот-вот рухнет, повалится нацельно всей чудовищной глыбой и, ударившись о твердь окружающих зданий, разлетится на миллионы кусков, и это будет концом света.

Отвлек меня от гибельных мыслей мальчишка,

рисовавший что-то углем на тротуаре. Он был мал ростом и возрастом, дошкольник, мелкота с большой головой на хилом тельце, «рахитом» небось во дворе зовут. Если бы такой задрался, то получил бы «все-ленскую смазь», несмотря на все мое уважение к кодексу уличной жизни. Но мальчишка не замечал меня, как и прохожих, топтавших его рисунок, стиравших подошвами непрочные угольные линии. Мальчишка знай делал свое дело. Негоже третьекласснику интересоваться занятиями такой мелюзги, но как раз в эту пору мои вяловатые художнические потуги стали получать признание в семье и школе. Сам я не придавал им слишком большого значения, хотя любил возиться с цветными карандашами и акварельными красками, срисовывая карикатуры из «Смехача», «Бегемота», «Крокодила» и книжные иллюстрации, чаще всего сказочные. Копиист я был впрямь отменный, у меня получалось здорово похоже на оригинал, при этом я никогда не прибегал к переносу изображения с помощью сетки, даже не догадывался, что существует такой способ, весьма популярный у придворных портретистов. Равно не приходило мне на ум нарисовать что-либо по воображению или с натуры. Помню, как поразила меня ворона вульгарис, срисованная моим одноклассником с живой вороны. Соученики были другого мнения: эта скромная черно-серая птица не шла ни в какое сравнение с моими рыцарями, мушкетерами, принцами, кощеями, чемберленами, брианами, но во мне сразу забродило вино моей молодой художнической славы. Я попробовал нарисовать что-то «из головы» — ничего не получилось, попытался изобразить воробья с натуры — снова неудача, мешали его трехмерность, движения, переменчивость от беспрестанно творящейся в нем жизни. Я умел лишь срисовывать плоскостные неподвижные изображения высмотренного чужими глазами.

Мальчишка, ползающий по асфальту меж ног прохожих, не имел перед собой ни рисованного, ни живого образца, он рисовал из себя то, что сам придумал. А придумал он профиль мужчины с остроко-нечной бородкой, ниточкой усов, с длинными вьющи-мися волосами, падающими на кружевной воротник из-под широкополой шляпы, украшенной страусовым пером. Мальчик чуть наметил кожаный колет, пере-

вязь через плечо, а все усилия отдавал лицу: носу с горбинкой и хищно вырезанными ноздрями, темно-му блестящему глазу (потом, уже дома, думая об уличном художнике, я тщился понять, как, работая углем, сумел он придать глазу серебристый блеск?), резким складкам, сообщавшим лицу решительность, силу и хитрость; и тут во мне все заняло: мне показалось, что мальчишка покусился на образ моего любимого героя — д'Артаньяна, каким он появляется в первом томе «Десяти лет спустя»: разочарованного, одинокого, почти нищего, коварно разжалованного из капитанов королевских мушкетеров снова в лейтенанты. Я несколько лет прожил в двойном образе: московского мальчишки и дерзкого гасконца, у меня были ботфорты, плащ, шляпа с пером и шпага с настоящим эфесом. В описываемую пору я уже расстался с мушкетерским плащом, но не с растворенной в крови верой, что мне даны особые права на этот образ. И тут какой-то гном, рахит — и читать-то небось сам не умеет — на глазах всей улицы рисует дорогие черты моего кумира!

У меня над кроватью висел в благородной овальной рамке портрет д'Артаньяна. Старинная рамка, стекло и почетное место на стене вводили в заблуждение рассеянных, легковверных, а также близоруких гостей, и они принимали мою мазню за произведение искусства. Узнав, кто сотворил это чудо, они цокали языками и смотрели на меня потрясенно, как Чичиков на юного Фемистоклюса, отраду нежного родительского сердца Манилова. Но я-то знал, что моя восхитительная акварель — просто грубая и неграмотная подделка, куда хуже обычных перерисовок из журналов и книг. Я создавал этот портрет жульническим способом, притворяясь, будто ловлю из воздуха любимые черты, я то и дело поглядывал на картинку из «Трех мушкетеров». Там, правда, мушкетеры сидели за завтраком на бастионе Сен-Жерве, а я своего д'Артаньяна поставил, как перед деревянным ящиком фотографа-пушкаря на Чистых прудах, — изобразить фигуру в сложном ракурсе я мог лишь при честном срисовывании. Доверчивая фронтальная поза моего д'Артаньяна убеждала меня, что на этот раз я не копирую, а творю. В известной мере так и было, поэтому рука, лежащая на эфесе шпаги, оказалась чуть не вдвое длиннее другой руки, согнутой бубликом и

упертой в бок. Необычайно мощно выглядели ботфорты — носками врозь, я не поскупился на размер, такие сапоги были бы велики даже гиганту Портосу. И вообще странным образом трогательный и глуповатый друг д'Артаньяна внедрился в созданный мною образ, иначе откуда взялась такая дородность у художавого гасконца? Да просто я не умел изображать удобу — тени скул на всосе щек, тени в глазницах и впадинах висков. У меня лицо получилось гладким, как блин, круглым и сытым. Короткая ручонка, упирравшаяся в тучный бок, усугубляла дородность мушкетера со слоновыми ногами. Словом, д'Артаньяном тут и не пахло.

Меня не столько удивляло восхищение посторонних людей, сколько неподдельное удовольствие мамы от их похвал. Уж она-то знала, кого я тщился изобразить, и, несомненно, видела все удручающее убожество моей попытки, и тем не менее сама подводила гостей к рисунку в овальной рамке, и, покусывая губы, умеряла горделивую улыбку. Хотела ли она придать мне смелости и усердия? Но, чуждая самообману, она не могла не понимать, что художник из меня никакой. Или в этой частной неодаренности ей проглядывалась моя общая глухая бесталанность, и, человек незаурядный, умный, с тревожной душой, не нашедшей приложения бродящим смутным силам, она хотела обмана, чтобы продолжать верить в свое единственное творение?..

Брошенный матерью в чужой державе на унижение этому головастику с огрызком угля в запачканной руке, я начисто забыл о собственной трезвой оценке своих художественных способностей и портрета в овальной рамке. Я помнил лишь, что один из гостей принял его за неизвестного Франса Галльса. Мальчишка унизил меня, унизил любимый образ, швырнул его под ноги прохожим, он заслуживал гильотины!.. Но, разогревая в себе ненависть к мальчишке, я все с большим, хотя и мучительным интересом следил за его работой. Это совсем не было похоже на мой тщательный, кропотливый и неуверенный труд. Мальчишка был размашист, смел и вместе строг к себе: вроде бы все хорошо, а ему не нравится — смахивает угольную пыль и вновь кидает легкие уверенные штрихи. И вдруг я понял, что не только не умею, но и не люблю рисовать, а занимаюсь этим

лишь потому, что меня хвалят и незаслуженные похвалы приятны. А этот мальчишка рисовал с наслаждением, не замечая ничего вокруг, не нуждаясь в похвалах, весь в угольной пыли, с черными по локоть руками и усами под носом. И он знал, что должен нарисовать, хотя перед ним не было образца. Я уже слышал слово «творчество», но не умел им пользоваться, а если б умел, то непременно применил бы к его... (я уже знал слово «вдохновение», но считал, что оно относится только к Пушкину) пачкотне на тротуаре. Словом, мальчишка делал такое, что мне никогда не сделать. И я впервые обратил к себе знакомое и страшное слово «бездарность», которым мамы гости пользовались часто, с охотой и таким гадливо-безжалостным выражением, словно сами были наделены великими талантами. Мне стало горячо от стыда: несколько дней назад я сказал с усталой мудростью и чуть свысока закадычному другу Мите Гребенникову, громко и неискренне восторгавшемуся моими новыми рисунками: «Человек, наверное, должен владеть каким-то искусством». «Ты искусник, да?» — подластился Митя. Я скромно пожал плечами. Искусник!.. Сволочь бездарная — вот кто я! И жуткая пустота открылась внутри. Наверное, страшась такой вот пустоты, подводила мама гостей к портрету в овальной рамке. Ведь к этому времени выяснилось, что у меня нет слуха, и старый беккеровский рояль покинул наш дом, хромал я и в арифметике, лишний раз подтвердив родственность двух столь разных, казалось бы, миров — музыки и цифр; фантастическая приверженность к Дюма в ущерб всякому иному чтению мешала поверить, что во мне зреет незаурядный гуманитарий. Профессий, конечно, много, и всякий нормальный, да и не очень нормальный человек отыщет себе занятие по вкусу, но цыганка нагадала маме, что ее сын будет знаменит, и бедная мама, обзревая неуклонно ширящееся пространство моей непригодности, все более озадачивалась: откуда ждать славы? Мама так и не дождалась серебристого сияния вокруг моего чела, как не дождался и я сам, но увидела мое имя в толстом, убедительном томе «Кто есть кто в мире»: там было сказано, что я родился и умер в Москве, хотя последняя дата не установлена. «И хорошо, что не установлена, — сказала совсем седая мама, покусывая губы, — живи как можно долъ-

ше, сынок, всем назло. Но умереть ты должен только в Москве и лечь возле меня на Востряковском кладбище. Я буду тебя ждать».

Все это — через век, а тогда, разозленный и пришибленный гениальностью проклятого мальчишки, я совершил величайшую низость. Зайдя ему за спину, я стал подошвой стирать непрочный рисунок. Я размазал колет, перевязь, кружевной воротник, стер эспаньолку, горько-язвительный рот, ниточку усов, нос с горбинкой и складки от ноздрей к уголкам рта — мальчишка ничего не замечал. Его будто околдовали. Счастье это или несчастье?.. Но даже если несчастье, хотелось бы пережить такое. Сейчас он возился с пером на шляпе, стараясь придать ему крутой, залихватский изгиб, а шляпа уже ничего не венчала: я успел размазать глаз, бровь, завитки волос, а когда вышла из подъезда мама с шляпной картонкой в руках и что-то сказала мальчишке, заставив его бросить работу и встать, я прикончил и все остальное. Мама казалась озабоченной и чем-то недовольной. Сделав мне знак головой, она быстро зашагала к Мясницкой. Перейдя на другую сторону переулка, я оглянулся. Мальчишка стоял над своим уничтоженным рисунком: от мушкетера осталось лишь черное пятно. Злоба стремительно истаивала во мне, замещаясь стыдом и жалостью. Как мог я опуститься до такой гнусности? К тому же тайной: ведь он так и не заметил меня. Издали мальчишка не выглядел «рахитом». Голова немного великовата для худенького тела, но была в нем ладность, даже изящество. А движения, как у актера на сцене: точны, выверены, пластичны — удивительный, волшебный какой-то человек. Мне хотелось, чтобы он скорее разревелся и тем поставил точку на этой скверной истории. Но он все смотрел под ноги, затем протер глаза, затряс головой, всплеснул руками, высоко подпрыгнул и расхохотался. Заходясь от смеха, он начал отплясывать какой-то дикий индейский танец. Я ничего не понимал. Над чем он смеется? Разве ему не жалко своего рисунка и неужели он думает, что прохожие непреднамеренно стерли его своими подошвами?

Меня с силой схватили сзади за плечи. Я оглянулся и увидел искаженное гневом мамино лицо. Она легко приходила в ярость, правда и быстро остывала.

— Ну, что ты стоишь как истукан? Мы никуда не успеем. А тут еще Муся навязала мне свою шляпку!..

Муся была давнишняя мамина приятельница, из тех немногих, что мне нравились, — она вносила в дом праздник самим своим появлением: рыжеволосая, с большим, ярким, всегда смеющимся ртом, благоухающая и неизменно в ликующем настроении. Муся жила в трех шагах от нас, но будто на другом конце света, у нее всегда было лето, всегда солнце. Тень догадки коснулась моей души и скользнула прочь. Я должен был о чем-то спросить маму, но упустил о чем. Внимание мое было приковано к мальчику на другой стороне переулка. Он уже не хохотал и не прыгал. Он озирался, чего-то искал. И нашел: кусок чистой, недавно оштукатуренной и побеленной стены справа от подъезда. Он примерился к белому пятну, подошел и взмахнул рукой, сжимающей кусочек угла. Здесь его картина будет в большей сохранности, ее не затопчут пешеходы, она доживет до следующего утра, когда ее смоет из резиновой кишки разъяренный дворник. Тогда мальчик найдет другую чистую плоскость. Важно рисовать, а не трястись над своим рисунком, помещать в рамочку и вешать на стенку.

— Этот мальчик, — показал я маме рукой, — здорово рисует.

Мать удивленно поглядела на меня.

— Ты что, забыл?.. Муся приводила его к нам. Это ее сын Оська...

Ничто не дрогнуло в моей душе, когда впервые прозвучало это имя, ставшее для меня на короткие и, наверное, самые счастливые годы радостью, праздником, карнавалом, а на всю последующую жизнь — тоской и болью. Никакие дружбы и любви и вся человечья несметь, неотделимая от моей судьбы, не могли пригасить в памяти добрый и насмешливый свет раскосых глаз мальчика, убитого сорок лет назад...

Наверное, уже сейчас надо сделать оговорку, чтобы предупредить законное недоумение читателей этих записок. Как же так: взялся рассказывать о своем

друге, а говорит все время о себе. Но это неизбежно. Характер Оськи не успел отвердеть, еще только формировался. Ему не было отпущено времени для поступков, для участия не только во взрослой, но даже в юношеской жизни, если не считать скороспелых потуг, ничего не говорящих о его сути. Он не успел даже влюбиться, хотя, кажется, успел влюбиться в себя девушку, проводившую его на войну, и, как много позже оказалось, зрелую женщину, плакавшую по нему. Он был в душах своих родителей, считавших его ребенком, и своих друзей, знавших, что он личность. Из этих друзей остался на свете я один. Павлик погиб под Москвой, другой друг, талантливый актер, поэт и переводчик, разбил о быт любовную лодку и лишил себя жизни.

Наше свидание на земле было так коротко. К тому же три года возрастной разницы — это ничего не значит под уклон дней, но очень много — на заре жизни. Нас подровнял его рывок к зрелости уже вблизи расставания. И что я знаю об Оське? У меня много любви, тоски и боли, но мало строительного материала. Я могу воссоздать его только через себя, из соприкосновений, совпадений и несовпадений наших путей. Один жестокий человек сказал: все молодые люди похожи друг на друга. Это было сказано из глубины презрения к людям, но известная доля истины тут есть. Конечно, все молодые люди разные, но крайне нелегко проглянуть эту разницу, поскольку они решают одну задачу — первого и самого трудного приспособления к жизни, утверждения себя в ней. Любому нормальному юноше свойственны завышенное представление о собственной ценности, идеализм (чему не мешает защитный скепсис, порой цинизм), ранимость и отсюда — яростное стремление сберечь от посторонних (самые посторонние — родители и близкие) свою внутреннюю жизнь. Я не обладал, да и не мог обладать по молодости лет такой проницательностью, чтобы видеть Оську изнутри. И реконструировать хоть как-то его образ я могу только через себя: в своем месте я скажу о той неожиданной помощи, какую получил от его отца...

В тот день на улице Мархлевского мама ошиблась, думая, что я уже видел Оську. Возможно, Муся и приводила к нам сына, только меня не было дома, а мама забыла упомянуть о визите высокого гостя. Знакомство наше состоялось, когда Оська уже учился в школе. Мама сказала: «К нам придет Муся с сыном, ты его не обижай!» Я удивился: обижать кого-либо было не в моих правилах, и мама это знала. Обижали меня, и довольно часто, причем без всякого повода. Меня задевали и дворовые ребята, и школьные, чаще — старшие, проходу не давали чистопрудные и девяткинские; даже миролюбивые обитатели дома военных, где был проходной двор, сокращавший путь в школу, не раз испытывали на мне силу мышцы бранной. По-моему, это объяснялось одним: меня не научили бояться, не научили осторожности. Я жил в атмосфере любви, меня любили и в семье, и все многочисленные родичи нашей домоправительницы Верони, как московские, так и деревенские — в селе Внуково, в деревнях Акулово, Сухотино, Конуры, любили во дворе, за исключением двух-трех злыдней, любили в классе, любили, вернее, делали вид, что любят, друзья дома. И я упорно верил, что и другие люди должны так же относиться ко мне; каждое проявление агрессии казалось мне случайным, не стоящим внимания, я быстро забывал обиду и снова лез на рожон. Эта храбрость от заблуждения особенно раздражала бойцовых ребят недружественного нашему дому Девяткина переулка и чистопрудную шпану. Но сколько бы ни убеждали меня домашние ходить безопасными путями, ноги сами несли меня на вражескую территорию. Я был физически сильным мальчиком, хорошо натренированным трапецией и лесенкой, висевшими в моей комнате с высокими, дореволюционными потолками, а также гантелями и английской гимнастикой, которой научил меня дед, но я не давал сдачи. Мне не было больно, а удивление перед внезапным нападением перевешивало обиду. Желание постоять за себя пробуждалось изредка, когда все уже было кончено и мои обидчики или рассеивались, или уходили сомкнутым строем на поиски новой жертвы. И еще одно гасило во мне волю к сопротивлению: мне было трудно совершить жест удара. Горький вообще

не мог поднять руку на человека, я же мог, но нужно было очень расстараться, чтобы я перешагнул невесть кем наложенный (только не матерью) запрет. Такие старательные ребята все же находились, и я их бил с какой-то странной, расчетливой яростью. Но победы не приносили удовлетворения, напротив, неприятно щемило и ежилось внутри. Даже отлупив грозу дома, тупого, задиристого и жестокого Кукурузу, я помнил лишь его горестную ошеломленность, налитые слезами глаза, ободранные о булыжник пальцы и гнусное улюлюканье дворовой мелкоты. И странно: шагнув за половину жизненного пути, я вдруг разуверился в хрупкости и мимозной чувствительности окружающих и радостно пустил в ход кулаки. Прошло немало времени, прежде чем я утихомирил столь несвоевременно пробудившегося в немолодом писателе Васку Буслаева. В детстве же я очень любил товарищескую борьбу, но никогда не связывался с младшими ребятами. Мое миролюбие и незащищенность раздражали маму, почему же вдруг она сочла нужным призвать меня к кротости? Наверное, она знала что-то о сыне своей приятельницы Муси.

Я совсем забыл о нем, нет, не забыл, конечно, слишком много уязвившего мою гордость было в воспоминании, но загнал в самый дальний угол сознания образ мальчика, чей рисунок так подло уничтожил. К тому же прошло несколько лет, я как бы перешел в другой вес: с художественными иллюзиями было покончено, мушкетер в рамке, правда, еще висел на стене, но он остался как милая память минувшего, как и облезлый плюшевый медвежонок; я был безответно влюблен в девочку старше меня на два года и в учительницу биологии с тяжелым пучком золотых волос, и какое мне вообще дело до этого мозгляка?

Муся с мамой уединились в нашей второй комнате, а я остался с Оськой. Он счел нужным представиться:

— Тезка слуги Хлестакова! — И сюсюкающим тоном добавил: — По улице бодро шагала веселая компания: Миша, Вова, Боря и маленький Осик. — Он тяжело вздохнул. — Всегда последний, всегда сзади, так-то, брат!

Наверное, до вздоха была цитата из какой-то дурацкой детской книжки. Я не понял: смеется он или всерьез сетует на жизнь. Он, конечно, вытянулся

с той поры, но настоящего роста не набрал. И все же не выглядел «маленьким Осиком», который всегда плетется сзади. Он производил впечатление весьма бойкого и самоуверенного паренька, и поскольку сам я ни бойкостью, ни просто находчивостью не отличался, то насторожился и даже немного оробел. И еще — он перестал быть «рахитом» — пропорциональный, очень стройный, к тому же кокетливо одетый: курточка, брюки «никкер-бокер», клетчатые шерстяные носки.

— Ну, показывай, чем живешь! — сказал Оська и ни с того ни с сего продекламировал, грассируя: — «Вошла ты, резкая, как «нате!», муча перчатки замш, сказала: «Знаете — я выхожу замуж». Что ж, выходите... Видите — спокоен как! Как пульс покойника...»

Стихи меня оцарапали, хотелось узнать, чьи они, но я постеснялся спросить и тем выдать свою необразованность.

Давно уже содержимое ящичков письменного стола потеряло для меня всякий интерес, но, чтобы развлечь гостя, я показал ему какие-то инструменты, коллекцию пересохших, почти рассыпающихся бабочек в коробке под стеклом, толстый, в красном тисненном переплете альбом с марками, финский нож и пистолет «монтекросто», на который я вторично скопил деньги после большого ограбления в Мюре и Мерилизе. Благогородно тяжелый, с длинным блестящим стволом и шершавой, красиво изогнутой ручкой, из всего барахла детских лет он один сохранил притягательность. Оська, смеясь, прицелился в меня, сильно сощутив правый глаз, — он не умел обращаться с огнестрельным оружием.

— В пяти шагах убивает человека, — сообщил я. — Наповал!

Оська посмотрел на опасную игрушку и тихо отложил. В альбоме с марками его привлекли портреты царей, шахов, султанов, магараджей, президентов и прочих правителей кануна мировой войны, когда этот альбом был выпущен, — коллекцией моей он пренебрег. С острым любопытством всматривался он в старые и молодые лица под коронами, цилиндрами, касками, треуголками, чалмами, тюрбанами, фесками. Он возликовал, дойдя до юношеских и даже детских лиц правителей Пенджаба, Бенгалии, Каш-

мира, Раджастана. Расфуфыренные на восточный лад мальчишки выглядели на редкость эффектно.

— Вот это да!.. Гип, гип, ура! — возвеселился Оська. — Мировые пацаны! — И вдруг запел: — «По-видай там раджу и эмира, посмотри баядерок балет, а невесте своей из Кашмира привези золотой амулет!..»

Сам лишенный слуха (сейчас меня уверяют, что не слуха, а способности воспроизводить мелодию), я мгновенно чувствую даже малую фальшь, — у Оськи был абсолютный слух. Грассировал он еще сильнее, чем при чтении стихов, похоже, он кому-то подражал, ведь в обычном разговоре его «р» звучало чисто, но спросить об этом я опять постеснялся, равно и о том, что он поет. Раздражение мое против гостя все росло.

— Альбом — вещь, а марки — дерьмо, — подвел итоги Оська. — Что у тебя еще есть?

— Лобзик.

— Отсталое развитие, дружок! Ты еще занимаешься выпиливанием?

— Нет, я думал, ты занимаешься.

— «Какими Голиафами я зачат — такой большой и такой ненужный?» — спросил Оська с отчаянием. — «Милостивые государи! Говорят, где-то — кажется, в Бразилии — есть один счастливый человек!»

У меня заломило голову. Наверное, не нужно было вслушиваться в его трескотню, лишенную какой-либо связи с происходящим, но я искал в ней смысл, и мои бедные мозговые извилины заплелись в косу.

Обветшалые сокровища, которых мне, впрочем, хватало в Оськином возрасте, оставили его равнодушным. Кроме альбома, он не нашел у меня ничего заслуживающего внимания. Где-то в залавке валялись деревянные шпаги с «настоящими» эфесами и мушкетерский плащ с осыпавшимся золотым крестом на груди; фетровую шляпу с остатком обломавшегося страусового пера отдали Верониному брату Якову, чтобы прикрывал голову во время пахоты, а ботфорты — другому брату, Егору, сторожившему сухотинские сады. Но стоило ли ворошить залавочную пыль: этот скороспелый подросток небось давно вышел из мушкетерского плена. Чем он живет, что мсжет его заинтересовать? На д'Артаньяна в овальной рамке он даже не глянул, сразу поняв, что это — дрянцо, тем менее хотелось показывать ему останки

былого увлечения: ящички с красками, кисточки, палитры, и я даже не открыл нижний правый ящик стола, где погребено мое художническое прошлое.

— «И вдруг все вещи кинулись, раздирая голос, скидывать лохмотья изношенных имен...» — замогильным голосом произнес Оська. — Что ты читаешь, бледнолицый?

Я мотнул головой на полку с книгами.

Он подошел, взгляд его удивленных, раскосых глаз забегал по корешкам. Меня злила эта беглость, означавшая, что все книги ему знакомы. При этом он что-то бормотал, то вдруг повышая голос почти до крика, то опадая в шепот. Затем отчетливо и спокойно сказал, глядя мне в лицо:

— «А тоска моя растет, непонятна и тревожна, как слеза на морде у плачущей собаки». Стихов у тебя нет. Ну, а «Смока Беллью» ты хоть читал?

— Не помню. Может, читал. Чье это?

— Джека Лондона. Если б читал, помнил бы. Целая серия романов. Все лучшие люди зачитываются. Но ты совсем бушмен.

Он явно нарывался. И тут я вспомнил о мамином предупреждении. Значит, она знала, что Оська ломака, хвастун и задира. При этом он еще и сопляк — смешно с ним связываться. Но до каких пор должен я терпеть его разнузданность? Он явно демонстрировал свое пренебрежение ко мне: слонялся по комнате, трогал вещи и небрежно отбрасывал, выкрикивал раздражающе-непонятные стихи, свистел, пел. Позже, сблизившись с Оськой, я узнал, что он не терпит незаполненных минут. Ему всегда нужно было что-то делать: играть, читать, разговаривать, спорить, рисовать, клеить, позже — фотографировать, ставить шарды, показывать фокусы, он не терпел пустоты; мой обиход его не заинтересовал, живого общения не получилось, и образовался вакуум.

— Ты в шахматы играешь? — спросил я с опаской, поскольку сам лишь недавно узнал расположение фигур на доске и четырехходовку киндермата.

— Нет, — отозвался он пренебрежительно. — Я не играю ни в шахматы, ни в шашки, ни в бирюльки и не занимаюсь авиамоделизмом. В вист — роббер-другой, пожалуйста, в покер, кункен.

— При чем тут авиамоделизм?

— Все дураки увлекаются авиамоделизмом.

Я этим не увлекался, но почувствовал себя оскорбленным. Мне казалось, что я обиделся за хороших, умных, способных и сосредоточенных ребят, занимающихся непростым и благородным делом, но задело меня другое: он вроде в дураки меня зачислил. Самолюбие мешало признаться в этом, но злоба закипела, противно и сладко.

— А чем ты увлекаешься? — преодолевая себя, спросил я.

— Женщины, вино и карты... Каждый настоящий мужчина должен уже к обеду пахнуть дешевыми духами и пудрой.

И в доказательство он сунул мне под нос ладонь, а когда я машинально наклонился, чтобы понюхать, вдруг хлопнул меня по носу и губам и радостно захохотал. Ни слова ни говоря, я выпрямился и ударил его кулаком в лицо. Ударил сильно, он отлетел назад, наткнулся на продавленное кресло и повалился в его истертую кожаную глубь. Из носа у него вытекла струйка крови, и на верхней губе выступила алая капля. Он потрогал ушиб и увидел на пальцах кровь. Лицо его скривилось; я, как и тогда, на Мархлевского, ждал, что он расплатится, и хотел этого, но он не заплакал. Достал чистый белый носовой платок, высморгался, а когда кровь перестала идти, аккуратно сложил платок, промокнул губу и спрятал платок в карман. Он посмотрел на меня — странно, без тени страха или злости, даже обиды не было в его раскосых, темно-карих глазах, лишь удивление и словно бы вина.

— Слушай, — сказал он добрым голосом. — Ну, чего ты?.. Я вовсе не хотел тебя обидеть. Правда!

Я молчал. Я видел его подпухший нос, тонкое лицо, выострившиеся домиком над раскосыми глазами шелковистые брови, непрочное, нежное, будто фарфоровое, лицо, и горло забило картошкой.

— Брось!.. Забудем!.. — Он выметнулся из кресла, подошел ко мне и поцеловал в щеку.

Спартанское воспитание, которое давала мне мама, исключало всякие проявления сентиментальности, меня никогда не целовали, не гладили и вообще не трогали без нужды — это было строжайше запрещено. При встречах и расставаниях у нас в семье обходились рукопожатием, все чувства полагалось

держат на запоре. И это открытое движение доброты, нежности и доверия перевернуло во мне душу...

Я никогда больше пальцем не тронул Оську, как бы он ни задирался, а это случалось порой в первые годы нашей так сложно начавшейся дружбы. Позже, в пионерском лагере, я бдительно следил, чтобы его кто-нибудь не обидел. А такая опасность постоянно существовала, потому что, при всей своей доброте, открытости и любви к людям, Оська был насмешлив, размахист, крайне неосмотрителен и наступал на ноги дуракам, нисколько того не желая. Однажды Оську избил парень из старшей группы по кличке Жупан. Я публично вздул Жупана, чтобы другим было неповадно. Сам Оська подошел, когда экзекуция уже закончилась и его обидчик размазывал по лицу кровавые сопли. Оська отвел меня в сторону.

— Я прошу тебя... я очень прошу тебя никогда за меня не заступаться. Ладно?

— В Христосика играешь?

— Нет,— он засмеялся.— Просто мне наплевать, а для таких, как Жупан,— целая трагедия. Ну их к черту!.. Не выношу, когда унижают людей...

5

Мне до сих пор непонятно, как мы вработались в ту дружбу, память о которой за сорок лет не только не стерлась, не потускнела, но стала сильнее, пронзительней и неотвязней — щемяще-печальный праздник, который всегда со мной. Мы трое — Павлик, Оська и я — были нужны друг другу, хотя едва ли смогли бы назвать в словах эту нужность. В дружбе есть нечто не поддающееся анализу, как и в любви, о которой вернее всех сказал Гете: «Очень трудно любить за что-нибудь, очень легко — ни за что». Конечно, безоглядное, слепое влечение любви, ее таинственный зов неприменимы к дружбе, но и в дружбе есть что-то сверх сознания. Впрочем, я знаю, что с Павликом нас спаяли поиски своего места в жизни, давление властных глубинных сил, не ведавших очень долго своего применения. Это были разные устремленности, моя раньше обрела имя — «литера-

тура», его позже — «театр», но мучений они доставили нам в равной мере. Терпеть и одолевать неизвестное было легче вдвоем. Мы оба слышали зов: встань и иди незнамо куда. Мы встали и пошли. Мы искали неведомую землю то вместе, то поврозь, сходясь и расходясь, черпая бодрость и надежду в стойкости другого, который сам в себе этой стойкости не ощущал. Нас связывали и внешние обстоятельства жизни: мы сидели на одной парте, жили в одном подъезде, вместе готовили уроки, вместе испытывали свой дух искусственно придуманными увлечениями, ибо не догадывались о подлинных; мы находились в постоянном обмене — неудивительно, что у нас выработалось схожее отношение к людям, ко многим жизненным вопросам, что наши вкусы, пристрастия и отторжения совпадали. И хотя все это еще не самая душа нашей дружбы, предпосылки взаимоприятия ясны.

С Оськой обстояло по-другому. Мы не были связаны территориально и не могли видаться так часто, да и не стремились к этому. Все-таки для нас с Павликом он долго оставался щенком. С ним можно было говорить о многом, потому что он был развит, начитан, остроумен — все это далеко в обгон лет, — но нельзя было говорить о том главном, что нас томило, и — что еще важнее — нельзя было об этом молчать, как часами молчали мы с Павликом, занимаясь черт знает чем: от химических опытов — вдруг мы великие ученые? — до бесконечного держания на кончике носа половой щетки или бильярдного кия — ради упражнения и проверки воли. А когда мы подражались, Оська на пороге десятого класса обрел «достоинство мужчины», упоенно воспетое Шиллером. Павлик был уже на действительной военной службе, и я несколько растерянно увидел рядом с собой почти взрослого человека, как будто сознательно принявшего на себя часть душевных обязательств Павлика. С Оськой было интересно, наполненно, весело, «крылато», не найду другого слова, — это правда, но не вся правда, ведь бывало и грустно, и смутно, и тревожно... Всякое бывало, но в памяти остался солнечный свет, который потом уже никогда не был так ярок.

Перед решительным шагом Оськи во взрослую жизнь нас сблизил теннис. Это было в пору, когда я начал писать и сразу рухнул как футболист. Играющий тренер «Локомотива» Жюль Лимбек выкинул меня из юношеской футбольной школы, которую вот-вот должен был открыть. «Писателишка!» — сказал он презрительно, и погас костер, озаривший отрочество и раннюю юность. Бумагомарание почти заполнило пустоту. Но футбол приучил меня сильно чувствовать свое тело. Оно мне мешало в прикованности к письменному столу, надо было найти новый отток мышечной энергии; бега трусцой — панацеею от всех напастей — тогда еще не знали. Оська, который все умел, показал мне, как держать ракетку. Я влюбился в теннис, хотя далеко не столь самозабвенно, как в футбол. Вскоре Оська потерял для меня интерес в качестве партнера, но появился другой, куда более сильный теннисист — его отец. Может быть, мне и вообще следовало начать эти записки с него?..

Пять лет назад я увидел на одной из московских улиц афишу, извещавшую, что в выставочном зале на улице Вавилова открыта персональная выставка художника Владимира Осиповича Р—на в связи с его восьмидесятилетием. Выставка Оськиного отца.

Я не видел Владимира Осиповича с июня 1941 года. За несколько дней до объявления войны мы играли в теннис на кортах маленького стадиона «Динамо», что в глубине необъятного двора, вернее, целой системы дворов, простиравшихся от Петровки до Неглинной. В зимнее время корты заливали водой и превращали в каток, самый уютный и лирический из всех московских катков. Норвежские ножи тут были запрещены, поэтому на «Динамо» не бегали, как на Чистых прудах или в Парке культуры и отдыха, а катались по маленькому кругу, обычно об руку с девушкой, под музыку из репродукторов. Едва ли не самые поэтические воспоминания юности связаны у меня с этим катком. Летом здесь хозяйничали взрослые. На нескольких особенно ухоженных кортах проводились соревнования, международные встречи (тут играл сам великий Коше!), на остальных резались (часто на малый интерес: пирожное, шампанское, коньяк — из местного буфета) любители разного

ранга. Среди них выделялся пожилой, жилистый, гладковыбритый человек в пенсне; держа ракетку чуть не за обод и не обладая поставленным ударом, он за счет железной выдержки, цепкости, интуиции — всегда знал, куда летит пущенный противником мяч, — брал верх не только над перворазрядниками, но, случалось, и мастерами. Прошло какое-то время, и во мне стали видеть возможного преемника славы дивного старца. Совершенно напрасно, как не замедлило выясниться.

К тому времени я уже обыгрывал классных игроков, которых подводило сознание своего превосходства над упрямым и суетливым любителем с непоставленным ударом. Да, у меня не было ни драйва, ни смэша, но я умел доставать все мячи. Жестокий урок я получил от высокой, смуглой Тамары с необычайно длинными, стройными и мощными ногами. Такие ноги я видел лишь у знаменитой гипсовой «Женщины с веслом» — олицетворения нашей цветущей молодости в довоенное время, но у живой из теплой плоти женщины — никогда. Тамара слышала о моих блистательно-сомнительных победах и отнеслась к сражению с чрезмерной серьезностью. Она носилась по корту на своих божественных ногах, то и дело выходила к сетке и разгромила меня под ноль в сете. Это был неслыханный позор. В утешение мне Оська говорил, что я проиграл не Тамаре, а ее ногам.

— Сыграй с Ниной, — уговаривал он меня. — Она не уступает Тамаре, но ты ее побьешь. У нее короткие волосатые ноги.

Ноги у Нины были действительно коротковаты, но зато белая майка обтягивала грудь Юноны, и я не стал искушать судьбу. Я вернулся к своему постоянному партнеру — Оськиному отцу. Владимир Осипович был высокий, худой и стройный. «Вечный юноша», — называли его друзья. Очень молчаливый, он никогда не заговаривал первым и разжимал твердые сухие губы лишь по крайней необходимости. Я не помню, чтобы он о чем-нибудь спросил меня, ну, хоть о мамином здоровье, ведь они были друзьями в пору его недолгого брака с Мусей. По слухам, они с Мусей разошлись легко, как некогда сблизилась, и сохранили дружеские отношения. Этих красивых, напоенных сильной жизнью молодых людей разлучило не отсутствие взаимной любви, а боязнь непостоянством убить

то большое, доброе и важное, что скрывалось за первой безоглядной влюбленностью и за последующим свободным браком. Он остался хорошим отцом Оське, который его стыдливо, тайно, никому в том не признаваясь, обожал; он был верным, хотя и несколько эгоистическим другом своей бывшей жене. Мне он казался образцом мужчины: прекрасного роста (все братья Р—ны отличались статью, и Муся была хорошего женского роста, непонятно, в кого пошел Оська), на узких легких костях ни волоконца лишнего мяса, летящая поступь, сухие, точные движения. Оська тоже хорошо двигался, но совсем иначе, с какой-то балетной плавностью и грацией — походка и повадка матери; лишь в драйвах и клопштоссах обнаруживалась в нем способность к отцовскому резкому, волевому жесту.

В ту пору немало художников из оформительского в основном цеха работало «под англичанина». Один так заигрался, что стал для всех Джоном, хотя и не думал отрекаться от своего простого русского имени. Тут не было ничего от пресловутого монтера Вани, «что в духе парижан себе присвоил звание электротехник Жан». Кстати, почти все эти художники принадлежали к кругу Маяковского, иные учились с ним во ВХУТЕМАСе, работали в РОСТА и по рекламе, иллюстрировали его стихи и поэмы. Владимир Осипович был одним из первых и самых даровитых оформителей книг Маяковского, с которым его связывали тесная дружба и карты. У этих художников хватало вкуса не ломаться под Маяковского, которого они боготворили, английский же стиль возник как самозащита. Все они принадлежали к авангарду и, не желая в годы торжества фотографического реализма отступать от собственного лица, подались в оформители и если не вовсе забросили станковую живопись, то уже не выставлялись: маска невозмутимого, молчаливого джентльмена хорошо скрывала разочарование.

Я любил играть с Владимиром Осиповичем: при всей своей невозмутимости он был самолюбив, скрыто азартен и, подобно Маяковскому, терпеть не мог проигрывать. Борьба шла в каждом гейме, за каждый мяч, но я его неизменно дожимал. Его поставленной, с сильными ударами игре недоставало класса, чтобы одолеть мою вязкую, изнурительную для соперника

манеру. Раздраженный моей цепкостью, безостановочной бегом по всей площадке, он в конце концов посылал мяч в сетку или в аут. Мне не надоедали мои однообразные победы: в глубине души я знал, что он играет лучше меня. И он это знал и верил, что наконец-то возьмет верх. Но чего-то ему не доставало, какой-то малости. Он и вообще был не из тех, кто побеждает. Его участь — быть стойким и прекрасным в поражении, которое в этическом плане нельзя отличить от победы. Владимир Осипович научился у Маяковского стремиться к выигрышу: стиснув зубы, сосав худые щеки, остекленев взгляд серо-зеленых глаз, он мужественно боролся, но неистребимое благородство сводило на нет все его усилия. Рисунок игры был для него важнее результата. Он не мог заставить себя гнаться за безнадежным мячом, использовать явный промах, нудно «качать», как это делал я, провоцируя ошибку противника, он всегда стремился к красному завершающему удару. Его игра была образцом корректности, чего никак нельзя было сказать о моем поведении на корте. Оська, добродушно следивший за нашими баталиями, сказал однажды: «Отец обречен, он играет, а ты выигрываешь».

В еще большей мере это было свойственно самому Оське: он вообще не думал о выигрыше, а только о красивом и сильном ударе. Теннис привлекал его эстетически: белые наглаженные брюки (тогда играли только в брюках), белая рубашка с короткими рукавами, звенящая элегантная ракетка, мячи, похожие на аппетитные булочки, красноватый песок площадок, загорелые стройные люди, иные с громкими именами, горячий кофе и бриоши в буфете, атмосфера праздничности — все это чрезвычайно импонировало не лишенному снобизма Оське, впрочем, как и мне, но я еще хотел выигрывать. В этом сказывалось глубокое различие между нами, которое обнажала игра. Режиссер Жан Ренуар, сын знаменитого художника, сказал, что жизнь — это состояние, а не предприятие. Для Оськи игра, соревнование, спортивная борьба были частью общего, радостного, упоенного состояния, именуемого жизнью, были струями, пенными завихрениями в блаженном потоке, несущемся неведомо куда, да это и не важно, ибо счастье и смысл в самом движении, а не в достижении берега. Для меня же, увы, жизнь была и осталась предприятием.

Лишь очень редко, да и то в юности, и едва ли не с одним Оськой забывал я о цели и просто жил. Сам Оська вовсе не был слонялой, бездельником — широко одаренный и необычайно склонный к культуре, он жадно вбирал сведения и впечатления, не знал пустых часов, он рисовал, блестяще фотографировал, помогал отцу, оформлявшему павильон Сельскохозяйственной выставки, страстно читал, захлебывался стихами, не пропускал ни одной премьеры. И при этом от него веяло беспечностью запретов и преград, самообуздания, изнурительной возни с собой и юношеского самоедства. Радость его была естественным состоянием. Поистине у жизни никогда не было столь легкого и солнечного любовника.

Далеко же увело меня от выставки Владимира Р — на!.. Я не подражаю Стерну, великому мастеру околичностей и уводов повествования в сторону, хотя то, что я пишу, тоже можно назвать «Сентиментальным путешествием» — в страну юности. Но сейчас я просто оступился в прошлое и не мог из него вырваться.

Р — н — талантливый художник с собственным четким миром, в котором он прочно, свободно и уверенно существует. Нетрудно угадать токи, идущие от Пикассо, да он и не скрывает своего пристрастия к творцу «Герники», дав на выставку триптих, посвященный любимому мастеру. Он мог позволить себе этот опасный жест признательности, ибо не является ни эпигоном, ни даже прямым последователем Пикассо.

Мне вспомнились полотна Р — на, висевшие в Оськиной комнате: два автопортрета, на одном художник бреется, погружая лезвие бритвы в аппетитную, белую, как кипень, пену, обложившую щеки и подбородок; на другом он словно посмеивается над своим дендизмом: левый глаз выкруглен и вспучен моноклем, которого он никогда не носил; в малонаселенных натюрмортах непременно — ветка сирени, царят мои любимые цвета: зеленый и фиолетовый. Манера заставляла вспомнить об импрессионистах, хотя ни с кем конкретно связать его было нельзя. Это отступление в далекое прошлое было, как ни странно, попыткой сблизиться с настоящим, с тем победным направлением, которое все непохожее на себя предавало анафеме, и Р — н избрал наименее гонимый

«изм» (закрытие бесподобного Музея западной живописи, бывшего Щукинского, произошло много позже). Помнится, он показывал свои импрессионистические полотна Луи Арагону, Эльзе Триоле — старым друзьям — и приехавшему с ними из Парижа почтенному искусствоведа. «Как хорошо! — воскликнул знаток. — Но если бы раньше!»

На этой выставке «импрессионистический зигзаг» не был представлен, не было тут ни графики, ни экспонатов, связанных с долгой работой Р—на по оформлению выставочных павильонов, ничего, кроме станковой живописи, причем последних лет. Ну и поработал художник в приближении своего восьмидесятилетия! И главное, он выровнял линию, идущую от первых послевоенных лет к нашим дням, развил и обогатив всем опытом долгой жизни, твердым мастерством и бескомпромиссной верой в свою правду, заложенную в его искусство эпохой Маяковского. Многое шло от освеженной отроческой памяти и переживаний прекрасной взволнованной молодости двадцатых годов, и я почему-то решил, что тут полно авторских повторений. Каталог доказал мою ошибку: картины не имеют аналогов в прошлом. Как свежа и сильна ностальгическая память художника! И как при этом целомудренна, чужда умильности и слезницы. Р—и до скупости строг, прежде всего в цветовом решении. Картины почти монохромны: разные оттенки серых, голубых, реже лиловых тонов. У Р—на почти не встретишь ярко-синего или красного цвета, что, быть может, несколько обедняет его живопись, но вместе с тем придает ей удивительное благородство, деликатность и мужественность, соответствующие его характеру и манере поведения. Редко бывает, чтобы искусство и его творец были настолько похожи, картины Р—на — прямое продолжение его личности.

Он остался верен идеалам молодости, духу Маяковского, тому, что не сознательным усилием воспитателя (какой из него воспитатель — для этого он слишком деликатен, сдержан и бережен к миру другого человека, пусть этот человек — родной сын), а невольным давлением своей цельной личности и таланта вложил в Оську. Все увиденное на выставке смыкалось с Оськиными пристрастиями, его любимыми стихами, всем ощущением жизни, которое обнару-

живалось напрямую в его фотографиях. Меня словно коснулось Оськино дыхание.

Захотелось оставить несколько слов в книге отзывов. Не считая себя вправе вторгаться в теперешнее неведомое мне самочувствие Владимира Осиповича, я написал в книгу так же уважительно, благодарно и «посторонне», как другие посетители, восхищенные подвигом восьмидесятилетнего художника. Оставленные мною строчки ни в коей мере не приглашали к ответу, напротив, давали понять, что ответ не ожидается. Но ответ последовал — телефонным звонком.

— Вы по-прежнему Юра или Юрий Маркович? — Голос совершенно не изменился, был так же звучен, чист и ровен. — Это говорит Р—н. Спасибо за добрые слова. Почему вы пропали, неужели думаете, что мне неприятно вас видеть, раз Оси не стало?

С обычной прямоотой он сказал о том, что в самом деле мешало мне увидеться с ним.

Через несколько дней я перешагнул порог его мастерской в том же доме, где располагалась выставка.

Мы оба испытали шоковый момент при встрече, хотя и от разных причин. Он неправдоподобно молодо выглядел для своих восьмидесяти: худой, стройный, в прекрасно сидящих коричневых брюках и кремовой тонкой шерстяной рубашке; лицо не обвисло морщинами, смугловатая кожа туго обтягивает лоб, скулы, подбородок, привычен всос худых щек, лишь по глазам, по их усилию сверкать и твердо глядеть сквозь возрастающую усталость можно догадаться, что ему много лет. Позже, когда он стал готовить кофе на электрической плитке и делать бутерброды, я заметил у него некоторую шаткость походки, словно бы мимолетную потерю равновесия при резких поворотах. Но это можно было высмотреть лишь особо вьедливым взглядом, и неудивительно, что медицинская комиссия без всяких затруднений продлила ему еще на два года пользование шоферскими правами.

И все же он стал другим. У него изменилось то, что вообще не меняется: форма головы. Тут дело в волосах и прическе: вместо прежнего высокого седого зачеса с подбритыми висками, что удлиняло голову и вытягивало лицо, теперь с половины темени начина-

лась редкая седая щеточка — округлившаяся голова придавала ему неожиданное сходство с Оськой. Это мешало, сбивало с толку, порой мелькало дурманное ощущение, что передо мной оживший постаревший Оська, чье возвращение я странно проглядел.

В свою очередь Владимир Осипович был ошарашен моим обликом, что всячески пытался скрыть, обликом старости того, кто помнился ему двадцатилетним. В конце концов он не выдержал и спросил как бы между прочим, сколько мне лет.

— К шестидесяти идет, — ответил я.

— Слушайте, Юрий Маркович, но вам никогда не дашь столько! — Он не умел говорить неправду даже из вежливости, голос его утончился.

— Если это действительно так, то называйте меня по имени. Это даст мне иллюзию молодости.

— Да, да, конечно! — сказал он и поспешно добавил тоном глубочайшего изумления: — Значит, Осе было бы сейчас за пятьдесят? Вы можете представить себе Осю старым?

— Сейчас, пожалуй, могу. Вы похожи на состарившегося Оську. Не на состарившегося себя, а на своего состарившегося сына. Вам этого никто не говорил?

Он покачал головой.

— Оська был на крылышках — стрекоза, ангел. Я думал, это уходит с годами, и не представлял себе Оську старым. Оказывается, можно набрать возраст и не приплюснуться к земле.

— Вы думаете, со мной этого не случилось?

— Это видно по вашей живописи.

А потом мы пили водку под очень вкусные бутерброды и пахучий черный кофе и увязывали настоящее с прошлым. Владимир Осипович сказал, что у него тяжело больна жена, с которой он прожил без малого пятьдесят лет.

Странно, я и не знал, что в пору наших теннисных баталий он был женат, давно женат. И почему-то Оська никогда не говорил мне об этом.

— А как Муся?

Он внимательно посмотрел на меня.

— Я похоронил ее. Два года назад.

До Оськиной юности, когда все стало по-другому, нас соединяло лето и разводила зима. Он учился в первой смене, я — во второй, где уж тут видется, лето же мы проводили в одном пионерском лагере, в разных местах Подмосковья. Старая Руза мне запомнилась лишь неудачным заступничеством, а Голицыно — первым взрывом Оськиных театральных увлечений, которые я не разделял: моими подмостками было футбольное поле. Старшая вожатая, студентка режиссерского факультета ГИТИСа, взялась поставить силами драмкружковцев «Романтиков» Ростана. Оська был одним из главных актеров — он играл забудыгу-бретера, имя которого вылетело из памяти, — и главным художником спектакля. Премьера, состоявшаяся в родительский день, прошла с оглушительным успехом. Оська забил всех. Зрителям нравились его совершенная развязанность на сцене, отчаянное грассирование и то, что, произнося повторяющуюся фразу «И так, играя под сурдинку», он неизменно оговаривался: «Играя под сардинку», — и восторженно вторил дружному хохоту. Подобно знаменитому Живокини, Оська умел расположить к себе зал. Он упивался своим разнузданным лицедейством, но не обольщался успехом. Один из старших мальчиков — Юра Холмский плел кружева в роли старика подагрика, но его тонкий комизм бледнел перед раблезианской буффонадой Оськи. «Холмский — гений! — орал Оська после спектакля. — А я — жалкий гаер!» И с чарующей музыкальностью запевал:

Я усталый, старый клоун,
Я пляшу с мечом картонным.
И в лучах моей короны
Догорает ясный день...

— Оська не ломается, но и не играет, — говорил о нем Холмский. — Артистизм сам прет из него, как пух из вспоротой перины...

А совсем нового Оську я встретил в Коктебеле, куда приехал на лето, окончив школу и без экзаменов — отличный аттестат — поступив в медицинский

институт. О, это лето!.. Здесь со мной произошло то, о чем в Сицилии говорят: «Его расшибло громом». Удар настиг меня в тривиальной обстановке обеда в столовой дома отдыха. Вошла, нет, выплыла девушка, похожая на Царевну-Лебедь Врубеля. Вижу белое одеяние-оперение, гордый постав головы, таинственный, с легкой косиной взгляд, не курортный, а райский обливной загар и жемчужный кокошник, которого не было. Я стал мгновенно и полно несчастен, еще до того, как узнал, что она на два года старше меня, дочь знаменитого ученого и ждет приезда жениха, молодого, но уже прославленного поэта. А что за мной? Я и студент-то липовый, только принятый в институт, но еще не начавший учиться, о моих литературных потугах известно одному отчиму, и он относится к ним сдержанно. Оставалось одно: скрыть свою потрясенность от окружающих, в чем я и преуспел. Не удалось обмануть только Оську.

— Есть один путь,— сказал он.— Произвести на Дашеньку впечатление. Сразу выделиться из толпы. Ошеломить ее.

— Чем? Точной подрезкой в середину или хорошим отыгрышем? Плаваю я неважно, танцую средне, загораю плохо. В ресторан повести не могу — поздержался в дороге. Броситься на ее глазах в море с Карадага? Я не решусь пригласить ее в горы.

— А ты видел розарий МАИ? — Он имел в виду соседний дом отдыха.— Давай ночью его обдерем, и ты поставишь на профессорский стол фантастический букет. Все обалдеют, ее мать лопнет от гордости, а Дашенька сразу поймет, что ты готов ради нее на все.

Так мы и сделали. Букет не вмещался в эмалированное ведро, которое Оська раздобыл невесть где. Но вся затея едва не провалилась глупейшим образом. Четвертым за Дашенькиным столом сидел молодой литературовед с вывернутой верхней губой: когда он говорил или улыбался, розовый подбор выгибался наружу, образуя как бы третью губу. Но он подавал большие литературные надежды, и в научной среде его ценили. И ему позволялось занимать Дашеньку до приезда жениха. Когда семья явилась к завтраку и обнаружила на столе клумбу обрызганных влагой роз, Дашенькина мать, то ли в искреннем заблуждении, то ли провидя тягостные последствия галантного

дара, осклабилась и притворно-сердито накинулась на трехгубого:

— Ах, Игорь, вы, право, невозможны!.. Я так и знала, что от вас жди сюрприза!..

И этот гад, вместо того чтобы отвести от себя лестные подозрения, выпятил с довольным видом третью губу и застенчиво потупил рачьи — за толстыми стеклами — глаза: мол, каюсь, но такой уж я парень! Я молчал, убитый горем, но Оська был на страже. С величайшей развязностью он подошел к профессорскому столу, поздоровался, назвал Дашеньку «таитянкой» и сообщил, что милиция ищет злоумышленника, обобравшего розарий МАИ. Трехгубый побледнел и пролепетал, что не повинен в этом ни сном ни духом.

— А на вас никто и не думает, — пренебрежительно бросил Оська. — Кишка тонка! Это сделал мой безумный друг, пожелавший остаться неизвестным.

Дашенька густо — сквозь загар — покраснела, а моя будущая теща метнула на меня первый исполненный ненависти взгляд.

— Зачем вы это сделали? — спросила Дашенька, когда мы столкнулись днем на садовой дорожке.

Я обонял свежий смуглый аромат ее загорелой кожи и ореховых нагретых солнцем волос, теплые волны накатывали, мутя сознание.

— Не знаю, — пробормотал я, — от беспомощности.

У нее была манера чуть заводить левый глаз; коричневая радужка сдвигалась в уголок, к виску, прибиток подголубленной белизны отдавал холодом. Позже я узнал, что мгновенная косина значила отторжение Дашеньки от собеседника в обиде, недовольстве или недоумении. На этот раз причина была в последнем, она не сразу поняла, что я имею в виду, а когда поняла, теплая коричневая изгнала накат холодной белизны.

— Я не хочу, чтобы вы из-за меня стали узником.

Вечером мы пошли на танцы. Оська оказался провидцем: профессорское воспитание можно было прошибить лишь выдающимся хулиганством. Когда поэт-жених наконец приехал — большой, грузный, добродушный, на редкость симпатичный, — он понял, что опоздал. Было объяснение, и поэт укатил в Москву. Там он написал цикл стихов о ревности с та-

кой силой, что чуть было не закрыл навсегда тему, и утешился. Но не утешилась Дашенькина мать, возненавидевшая меня раз и навсегда. Ее совсем не занимал вопрос: а если это любовь? Близкий друг больших поэтов и замечательных музыкантов, она чтит святыню любви, но отказывала в праве на нее студенту из тусклой семьи, коли его чувство мешало великолепному будущему дочери. Это будущее гарантировалось красотой и очарованием Дашеньки, высоким местом ее отца, громкой репутацией семьи, первоклассным окружением. Тут дело было не в плоской корысти. Умная, властная, но несколько зашоренная чрезмерной целеустремленностью своего сильного, не ведающего ни сомнений, ни компромиссов характера, Дашенькина мать привыкла видеть вокруг себя либо людей выдающихся, либо преуспевающих, случалось, что оба качества совпадали. Для нее естественным стало мерить окружающих весьма строгой меркой, я же под эту мерку никак не подходил. В ее представлении — отчасти справедливом — я еще не начинался как человек и вряд ли когда-нибудь начнусь. А уж если и начнусь, то никак не для Дашеньки; она старше меня на два года, в зените пышного девичьего расцвета, которому пора уже стать расцветом женственности. Бутоны должны взорваться алой прелестью цветка, но не для сопляка, а для зрелого человека, достойного любви по своим талантам, положению или хотя бы гарантированному будущему. Она и сама так вышла замуж и была отменно счастлива в своей семейной жизни. Лишь однажды она поддалась стихийному чувству к великому поэту, их старому другу, а он этого даже не понял, и ничего, кроме стыда, горя и разочарования, столь заманчивая в стихах любовь ей не принесла. Уплатив горькую дань иллюзиям, она раз и навсегда поняла, что не надо путать поэзию с правдой. Она знала, как строится счастье, и — прочь паршивого мальчишку, сбившего с толку ее разумную дочь! Посчитав Оську чем-то вроде Лепорелло при мне, она не простила даже его тени, что Дашенька не стала музой добродушного и вовсе не безумного поэта...

И так получилось, что Оська оказался поверенным нашей любви. У Дашеньки было к нему двойственное отношение: она ценила его безграничную преданность мне, то есть нам, ее привлекала Оськина лег-

кость, беспричинная праздничность — так сладко хоть на время забыть о неустанной и душевной материнской давящей, — и вместе с тем ей казалось, что дружба с мальчишкой компрометирует меня и наши с ней отношения, утягивая их во что-то детское. Козырями ее матери были мои юные лета и душевная незрелость. Дружба с Оськой — все равно что игра в пятнашки или казаки-разбойники. В дальнейшем, уже в Москве, этот мотив усилился: я вовсе не спешил остепениться, по-прежнему предпочитал обществу серьезных, солидных, даровитых людей компанию какого-то шалопа. Дашеньке нечего было возразить матери. Но это было не совсем так: к «гелертерам», посещавшим их дом, я не испытывал ни тяги, ни пиетета, но Поэт и Музыкант обладали в моих глазах притягательностью, почти равной Оськиной.

Впоследствии, когда Оська резко и доврeменно (по ханжескому счету) повзрослел, Дашенька опасалась, что он увлечет меня в свою грешную соблазнительную жизнь. Словом, совсем не просто было отношение моей подруги, потом жены к моему лучшему другу, и все же между нами тремя случались минуты и часы удивительной родности. Павлик к тому времени служил действительную, очень редко приходил на «побывку» и, хотя он единственный из моего окружения пользовался признанием в Дашенькиной семье, волей обстоятельств оставался в стороне от наших сложных игр.

Мы встречались с Дашенькой дважды в неделю. Один раз официально и чинно на приемах в ее доме, в субботу вечером или в воскресенье днем, в зависимости от того, ждали гостей к ужину или к обеду. Круг их почти не менялся, то были старые, испытанные друзья, за редким исключением — супружеские пары, но каждый раз опробовался хотя бы один новый гость. За все время, что я участвовал в этих встречах, к монолиту постоянной компании пристал надолго лишь известный прозаик. Время от времени приглашались молодые ученые — потенциальные Дашенькины женихи (по расчетам ее матери), блестящие умы, тщательно скрывавшие этот блеск, но они не задерживались, робко, печально и твердо отвергаемые Дашенькой. Любопытно, что от меня вовсе не пытались скрыть мотив их присутствия в доме, Дашенька — по честности, ее мать — из желания лиш-

ний раз подчеркнуть, что со мной всерьез не считаются. Пренебрежительное отношение ко мне разделяли все гости, кроме двух, главных: Поэта и Музыканта — я чувствовал идущее от них тепло. Это объяснялось отчасти их добротой и уважением к Дашеньке, распространявшимися и на ее избранника, — они-то в отличие от остальной компании прекрасно понимали суть наших отношений, отчасти же — тайным недоброжелательством к ее матери. Отдавая ей должное как значительной и сильной личности, многолетней участнице их сложного бытия, они видели ее фальшь и маскировку утонченным эстетством плоских жизненных расчетов.

Справедливости ради должен сказать, что Дашенькину мать никто не знал до конца и в первую очередь — она сама. В дни своего долгого, мучительного и сознаваемого умирания она поднялась над бытом, болью, даже страхом за безмерно любимую дочь и сравнилась с тем высоким, одухотворенным образом, который неудачно примеривала к себе всю жизнь.

Проницательность этой женщины напрочь отказывала ей, когда дело касалось самого важного в ее жизни. Она тряслась над Дашенькой, как Скупой над своими сокровищами, но ее ничуть не настораживало, что раз в неделю дочь уходит заниматься к подруге (без телефона), которую никто из домашних в глаза не видел, надевая лучшее платье, а вместо учебников укладывая в портфель лакированные лодочки. Допустим, последнего она могла и не видеть, но почему не удивлял ее нарядный облик дочери, подкрашенные ресницы, запах французских духов и то, что с занятий Дашенька возвращается во втором часу ночи и сразу же запирается в своей комнате. И это в семье, где весьма ценились такие старомодные сантименты, как прощальный поцелуй на ночь.

Занятия проходили в однокомнатной квартире моего отчима в Подколокольном переулке. На редкость не повезло мне с памятными местами моего детства! Я знаю москвичей, которые могут показать и дом, где они увидели свет, и школу, в которой учились, и даже дачу где-нибудь в Мамонтовке, Удельной или Кратове, где проводили лето. Мой старый дом перестроен, а флигель, где я родился и рос, снесен, акуловская дача затоплена Учинским водохранили-

щем, школу заняла Академия педагогических наук, а дом, где жил отчим, забрало Агентство печати «Новости».

Мы уходили из Подколокольного переуллка в девятом часу вечера и ехали в ресторан «Москва» на четвертый этаж, где нас ждал Оська, уже заказавший столик. Почему мы облюбовали этот шумный и несколько тревожный ресторан? Он был сравнительно дешев, и хотя я уже получал гонорары за рассказы и рецензии, но все же не такие, чтобы покушаться на «Метрополь» или «Националь». Кроме того, здесь не нарвешься на знакомых Дашенькиной семьи, которые могли бы просветить ее мать насчет истинного усердия дочери в науках, и, наконец, там пел Аркадий Погодин, который нам нравился.

И под песню Аркадия Погодина «Сегодня мы должны с тобой расстаться» Дашенька сказала мне однажды, что это — о нас. Ее жизнь стала адом, она вконец изолгалась, и лучше сразу порвать, чем длить эту трусливую, воровскую жизнь. «А зачем нам скрывать? Давай скажем все как есть. Почему мы не можем любить друг друга открыто?» — «Ты с ума сошел! — У нее выступили слезы. — Это убьет маму!»

Пусть я не бог весть что, но и не настолько омерзительен, чтобы вызывать такую жгучую и стойкую ненависть, Дашенькиной матери нужно было выдать дочь за человека, в которого она сама могла бы влюбиться, чисто платонически, разумеется. Это вообще не редкость: влюбленность тещи в зятя, хотя куда привычнее — прямо противоположное. Дашенька должна была получить мужа из рук матери, избранного ею, возлюбленного ею, ибо это одно могло избавить раскаленную душу от мук ревности к тому, кто получит Дашеньку. Моя беда была в том, что Дашенькина мать не могла влюбиться в меня. Она могла влюбиться в знаменитость — действующую или потенциальную, на худой конец в человека видного, авантажного, с лестным положением. Она привыкла к таким людям в своем окружении и не хотела других, не верила им, даже боялась. Студентик с жалкими литературными попытками был ей гадок, враждебен, невыносим.

Дашенька любила свою мать, восторгалась ею, была убеждена в ее мудрости, знании жизни, людей и, конечно же, ее, Дашенькиного, блага. Наша история

ничуть не поколебала этой веры. Дашенька шла ко мне — и в прямом и в широком смысле, — как иные вступают в холодную воду: зажмурившись, оглохнув, утратив память, с обреченностью в сердце. Человек и сам не знает, зачем подвергает себя такому мучительству, но веление неотвратимо. Но сейчас она опять слышала голос разума, и родовое, конструктивное громко заговорило в ее душе. Я был приговорен...

Хорошо помню, как странен и красив был ночной московский мир, когда мы отвозили Дашеньку на такси домой. Мы не разговаривали, я смотрел в окно, и щемяще прекрасными казались мне знакомые дома, подворотни, подъезды, фонари, деревья; таким драгоценным окружающее становится лишь перед отъездом. Я уезжал в страну, где не будет Дашеньки, в страну, где все плоско, двухмерно, лишено тайного смысла, тускло исчерпывается в себе самом. Когда мы подъехали к ее дому, мне показалось, что она захочет попрощаться, я теснее припал к окошку.

— До свидания, — сказала она холодно и вышла из машины.

— Я поеду к тебе, — сказал Оська. — Неохота будить мать.

Последнее никогда не удерживало его от весьма поздних возвращений домой, я был признателен ему за эту ложь. Сам бы я не позвал его к себе — из гордости.

Потом, когда мы легли — я на тахте, Оська на раскладушке, — он спросил, закуривая:

— Вы что — порвали?

— Она порвала.

— С чего вдруг?

— Ни с чего. Это давно назревало. Ты же знаешь — ее мать меня не выносит.

Дымок от папиросы расплывался о луч света заоконного фонаря, бьющий в щель меж шторами, и, клубясь, растекался по нему. Я не мог представить, как мне одолеть завтрашний день и все последующие дни, которые теперь будут днями без Дашеньки.

— Не злись и не бей мне морду. Ты у Даши — первый?

— Да.

— Значит, она вернется.

— С чего ты взял?

— Она растратила семейное достояние. И это —

при такой матери! Значит, она тебя здорово любит. Ты осилил мамашу.

— Как видишь — нет.

— Это последний рецидив покорности. Дать тебе добрый совет? В следующий четверг отправляйся на свою мансарду у Хитрова рынка и жди ее там.

— Ты спятил?

— Ничуть. Она человек жеста.

— С чего ты взял?

— А помнишь букет? Ее сразил твой жест — наповал. Поверь умному человеку. Она все равно вернется. Будет звонить. Знаешь, как дозваниваются из автомата?.. Дай ей возможность красивого, великодушного жеста, без бытовой шелухи и сора. Она человек мелодраматический, любит добрые эффекты... недобрые тоже. Мне лично это нравится...

Так уговаривал меня семнадцатилетний мудрец, и я не то чтобы поверил ему, но что-то привлекало в диковатом предложении. И в следующий четверг я поехал в Подколокольный. Ждал я напрасно. Но ожидание было таким значительным, страшным, насыщенным и опустошающим, что подумалось: так можно излечиться. Через неделю я снова был в темноватой уютной комнате, глядевшей единственным окном в глубокий асфальтовый двор. Я не успел начать ждать, когда в дверь постучали. Я сразу узнал быстрый и решительный от смятенности стук. Прежде чем открыть, я посмотрел во двор, словно желая запомнить, какая творилась жизнь в то мгновение, которое все равно не остановится, как ни моли, и не повторится никогда. Ребята гоняли в футбол. Из грузовика бережно вынимали огромные, сверкающие, мучительно хрупкие листы стекла. Писал на корточках ребенок, а над ним высилась, защищая от вселенского зла могучим крупом и ширью спины, его молодая мать. Мелькнула стайка воробьев и сгинула. Небо было чистым и голубым. Я открыл дверь. Мы были так потрясены явлением друг друга, что впервые в нашем укомье пренебрегли близостью. Она ничего не могла прибавить.

Я так и не сказал Дашеньке, что меня надоумил прийти сюда Оська, она не простила бы этого ни мне, ни ему. Оська находил достаточно глубины на поверхности жизни, его бесконечно радовало внешнее существование, но когда требовалось, он включал

некое тайное устройство и проникал за зримую очевидность людских характеров и обстоятельств. Это ум души, который куда ценнее головного ума. Он знал окружающих лучше, нежели они знали его.

Наверное, следует, по выражению Аполлона Григорьева, «договаривать» каждую песню, коли начал. Дашенькина мать добилась своего, когда я был на фронте, мне досталось слабое утешение самому отказаться от моей любимой, от жены, с которой не прожил семейно и месяца...

8

Оська, как уже говорилось, заторопил приход юности мятежной. До войны оставалось полгода, когда он ринулся во взрослую жизнь. Кружок «просветителей» собирался на катке «Динамо». Мне и моим друзьям этот маленький каток представлялся местом идиллическим, но было у него и другое лицо. Тут царил банда, состоявшая из недорослей разного «профиля»: папенькиных сынков, познавших в опережение лет все земные радости, и опекавшей их — отнюдь не бескорыстно — местной шпаны. И те и другие мало времени проводили на льду, они торчали в открытой курилке возле мужской уборной и трепались на вечные темы: девочки и выпивка. Еще их интересовали заграничные шмотки, портной Смирнов, бесподобно подымавший плечи коротких по моде пиджаков, бильярд и карты. Компания, повторяю, была крайне разношерстная: одним концом она сползала в блатную трясику, на другом — цинизм и низкопробщина соединялись с известной культурностью, начитанностью, знанием языков и редким по тем простым временам внешним лоском.

Обаяние приклатенного мирка не могло бы захватить здоровую душу Оськи, но его сводила с ума изысканность Брёммелей с Петровки. Как элегантно они курили, как легко и привычно вливали в себя крепкие напитки, как небрежно и властно обращались с девушками, как высокомерно цедили слова и разяще острили с каменными лицами, как резали в середину и с каким шиком забивали в угол, а их фланелевые брюки и пиджаки из синей рогожки!

Дома у них можно насладиться полной «Книгой маркизы» Сомова, полистать голливудские журналы, послушать песенки Мориса Шевалье, к тому же они были умны, насмешливы, ничего не принимали всерьез и самое главное — предельно упростили Оське нелегкий для всякого сколько-нибудь значительного юноши шаг.

Оська вначале ничего не говорил ни мне, ни тем более Павлику, морально крайне брезгливому, о своей новой компании. Не то чтобы он ее стыдился, ничуть не бывало — он упивался новым образом жизни: с ресторанами, бильярдными, картами, ночными грешными сборищами, равенством с бывалыми людьми, — и не хотел, чтобы мы высмеивали то, что для него было осуществлением мужского идеала. Ему проще было жить в двух мирах: в старом — с нами, в новом — с теми, чье зловещее очарование пленяло. Мы и не догадывались, как далеко зашла болезнь. Выдал Оську язык. У него была хорошая речь, воспитанная средой, стихами и традицией Маяковского, речь, конечно, сугубо городская, но чистая и образная — Оська умел красно и хлестко говорить, а сейчас с дурацкой самоуверенностью черпал из мусорного ящика пошлость омертвелых сленговых оборотов и слов-уродцев. Первым не выдержал Павлик. Он пришел по отпускной: в солдатской одежде, тяжелых сапогах, стриженный под машинку, с погрубевшим костяком, серьезный и хмурый. «Где ты набрался этой дряни? — спросил он Оську. — Со шпаной дружишь?» Оська смутился, что случилось с ним нечасто. «Я просто дурака валяю. Люблю, как Сатин, мудреные слова. И вас надо немного просветить. Отстали от жизни. Знаете, например, что такое «закон хазы»?» — «Знаем, — мрачно ответил Павлик, — дерьмо». И тут меня осенило: «Твои новые дружки — это идиоты из динамовской курилки. Ты вечно там ошивался». — «Они вовсе не идиоты, — с достоинством возразил Оська. — Тут ты сильно ошибаешься. Конечно, идиоты есть всюду, но они не делают погоды. Тон задают ребята острые: начитанные и классные игроки. С ними интересно». — «Представляю!» — «Ничего ты не представляешь. Взял бы да и пришел разок на наши сборища. Писатель должен все знать!» — захохотал Оська. «А ты правда сходи», — поддержал Павлик, и я понял, что он имел

в виду. Мы не должны отдавать им Оську, но нельзя бороться с призраками, надо знать врага в лицо.

И я узнал вскоре, на сборище, состоявшемся в Оськиной квартире в связи с отъездом его матери в командировку. Сильное впечатление! Я все-таки не думал, что это так противно. Пили много и гадко: из стаканов, чашек, прямо из горла, лишь «аристократы» лениво потягивали сухое вино. Они держались на особицу, и мне показалось, что главное удовольствие они получают от распада окружающих, в первую очередь девчонок. Их переглядки, ухмылки, брезгливые, сквозь зубы реплики были противнее пьяного угара, неопрятности застолья: вилок не признавали, ели руками, консервы выскребывали ножом, плевали на пол, окурки давили в бокалах. Свинство было сознательным, но унижался не конкретно этот вот дом, как мне вначале представилось, а родительский дом вообще — опрятность, устои, порядок. В этой компании не пели, их песни еще не были написаны, не танцевали, их ритмы еще не родились, им, в сущности, нечем было занять себя, кроме примитивного эпатажа, издевательства над любовью и ленивого переругивания на непонятном мне языке.

С трудом выпив рюмку водки и не закусив, так все антисанитарно выглядело, я забился в угол дивана, не пытаюсь соединиться с происходящим. До войны во всех молодых компаниях обязательно был Король. Имелся он и здесь — юноша с лицом Дориана Грея. Он повернулся ко мне и любезно сказал, что видел в «Огоньке» мой рассказ. «Это дебют?» — и улыбнулся темно-карими глазами и уголками прекрасно очерченных губ. Господи, какая у него была улыбка! Оська тоже хорошо улыбался, но слишком просто-душно, слишком открыто. А этот юноша, улыбаясь, приобщал вас к тайне, которая откроется лишь избранным и доверенным. И я наверняка поддался бы очарованию королевской улыбки, если бы не подскочил парень по кличке Делибаш с экстренным сообщением. Король засмеялся, кровь мгновенно прилила к голове, матово-бледное лицо грубо, свекольно побагровело, полуоткрывшийся и застывший буквой «о» рот стал выталкивать порциями хрипло-захлебные звуки, будто Король выпал из петли, и наш разговор, не успев завязаться, погиб в приступе тупо-

го, неуправляемого, недоброго хохота. Как позже выяснилось, обрадовало Короля, что «Катку накачали вусмерть». Катка была его фавориткой, недавно вытесненной другой избранницей — Елкой. Она поклялась свести счеты с Елкой, и Король приказал обезопасить ревнивицу. Сейчас Катку унесли в спальню и закинули под кровать. И довольный Король грубо хохотал.

Затем он окликнул дужего парня со странной фамилией Подопригора.

— Катку — нах хаузе!.. — И швырнул ему пятерку.

— Мало, — сказал Подопригора. — Она в Останкине живет.

С брезгливым выражением Король швырнул еще пятерку.

Подопригора прошел в спальню и через некоторое время выволок оттуда растерзанную Катку, с красным помятым лицом.

— Король, — сказала она жалобно. — Ну чего он?.. Ведь больно... Ты скажи ему, Король...

— Пить надо меньше, — заметил Делибаш.

Катка обвела компанию осоловелыми несчастными глазами.

— Нарочно меня напоили?.. Это ты им велел, Король? Избавиться хочешь?.. Какая же ты дрянь!.. — И, оттолкнув Подопригору, сама пошла к двери.

Я поискал глазами Оську. Он исчез. Не видно было и пепельноволосой Ани, спокойно и отчужденно сидевшей весь вечер в темном углу...

Компания исчезла молниеносно, когда я звонил по телефону из длинного, темного, зловещего коридора, — Оська жил в сдвоенной квартире. Вернувшись, я застал лишь грязную посуду — подружки Короля и его свиты не потрудились прибрать за собой. У меня дома никто не подошел — все спали, на метро я опоздал, такси ближе, чем на площади Свердлова, не поймашь, останусь здесь. Я распахнул окно, зловещее здание телефонной станции надвинулось всей своей слепой громадиной, но чистый горьковатый воздух ранней осени ворвался в комнату и погнал прочь миазмы. Я собрал остатки еды в салатницу и поставил ее на подоконник, бутылки снес в угол комнаты, столешницу вытер газетой, вымыл руки

в ванной и, сняв ботинки, улегся на широком, с выпирающими пружинами диване.

Я чувствовал, что мне не заснуть. Хотелось понять, что значит для Оськи низкопробная компания. В его поведении была какая-то двойственность: он уверенно плавал в мутной воде этого аквариума и одновременно наблюдал его содержимое как бы извне, сквозь стеклянную стенку. Холодноватый прищур со стороны явился для меня полной неожиданностью. В своих отзывах о новых приятелях он был куда наивнее и восторженней. Чего-то я не ухватывал в Оське.

А сна ни в одном глазу. В изголовье находилась этажерка с книгами и журналами. Я стал тянуть оттуда то одно, то другое, удивляясь, как всегда, многообразию и непоследовательности Оськиных интересов: то мне попадались занимательная физика, то монография о Фелисьене Ропсе, то детские книжки Хармса, то «Автомобиль дядюшки Герберта» с чертежами моторов и шасси, то стихи Маяковского в обложке Оськиного отца, то потрепанные, зачитанные до дыр томики Джека Лондона из дешевенького собрания сочинений начала тридцатых годов. Потом я нащупал довольно тяжелый, совсем свежий альбом с фотографиями. Я стал его листать и вспомнил, что Оська говорил о цикле фотографий «Московский дождь», который он сделал с помощью своего приятеля из арбузовской театральной студии. Я знал этого своеобразного парня, сочетавшего напряженную жизненную активность с обескураживающей замкнутостью и молчаливостью, почти равной немоте. Он был интересный актер, а потом открылся как самобытный поэт и первоклассный переводчик. Сцену он бросил после первого успеха, единственная книга стихов вышла после его смерти, а как переводчик он получил признание при жизни, оставаясь за спиной поэтов, которым дал жизнь на русском языке. Под маской невозмутимости таился страстный характер, приведший его к гибели.

В те юные годы, о которых идет речь, у него была ладная крепкая фигура и легкая косолапость, определившая поступь — бесшумную и мощную, как у таежного медведя, узкие глаза с поволокой над крутыми скулами и редкая, томительно-застенчивая улыбка. Он присутствовал на всех фотографиях —

большей частью в своей естественной печали, изредка улыбающийся, и тогда становилось еще печальней; топчущий лужи под косыми струями дождя, у гранитного подножия памятника, у витрины с крабами и коньяком, на трамвайной остановке, у водосточной трубы, глядя на нее так задумчиво и нежно, словно собирался сыграть ноктюрн на извергающей воду флейте, у афиши с просторным лицом актрисы, роняющей из огромных глаз дождевые слезы, на бульваре с черными, по-весеннему голыми деревьями, смотрящий вслед девушке. Это была тихая, «под сардинку», как произносил артист Оська в ростановском спектакле, песня городскому одиночеству. Печальная песня, но без тоски, без маеты и уныния. Хотелось быть на месте юноши под дождем, на перекрестке, на трамвайной остановке, на аллее бульвара, его что-то ждало впереди, не за тем, так за другим поворотом, пусть эта девушка не остановилась, прошла мимо, появится другая, она движется навстречу ему сквозь косые струи, прозрачный пар, и они уже не разминутся. Песня одиночества и надежды...

Я проснулся довольно поздно. Герой-любовник пошел в школу, куда направилась его пепельноволосяя дама, не знаю. В комнате — прибрано. На столе, под чистой салфеткой, я обнаружил баночку шпрот, хлеб и масло, а на спинке стула — чистое полотенце. Я помылся, поел и собрался уходить, когда в дверь позвонили. Открыв, я, к своему удивлению, узнал Елку, новую возлюбленную Короля, с ней была незнакомая рослая девушка с влажными глазами оленихи и прыщавым подбородком.

— Слава те господи! — сказала Елка. — С утра названиваю, хоть бы кто трубку снял. Думала — перемерли. Я тут клипсу обронила.

— Какую еще клипсу?

— А вот такую, — она показала на правое ухо, в розовой мочке голубела поддельными сапфирчиками дешевенькая клипса. — Мы с Королем в ванной обжимались. Наверное, там.

Она прошла в ванную комнату и сразу вернулась, привинчивая клипсу к мочке.

— Порядок! Пива там не осталось?

— Нет.

— Вот свиньи, все вылакали. А Оська где?

— В школу пошел.

— В какую еще школу?

— В обыкновенную.

— А зачем ты его продаешь? — сказала она с упреком. — Он врал, что работает. Оказывается — школьник.

— Он и работает. Помогает отцу. У него отец выставку оформляет.

— Все равно ты его заложил. Он скрывал — про школу.

— Я этого не знал. Пусть врет умнее. А если всерьез — может, оставите мальчишку в покое?

— Ты его воспитываешь?

— Это вы его воспитываете. И довольно вонюче.

— Не дешевись! Пи-да-гог!

Несмотря на задиристый тон, она была симпатична. Стройная, сухощавая, с миловидным сероглазым личиком и странно озабоченным лбом. Молодая кожа не могла собраться в настоящие морщины заботы, но стягивалась в тугие вертикальные складки между бровями. Я ничего не знал о Елке, но по тому, как она примчалась за копеечной клипсой, было ясно, что жизнь королевской наложницы отнюдь не роскошна. Одета Елка была очень скромно, хотя и со вкусом: приталенное легкое пальтецо поверх серого вязкого платья, шляпка из мягкого материала под фетр, принимавшая в ее руках любую форму. За время нашего разговора Елка придавала ей то фасон «маленькая мама», то пирожка, то картузика, отчего менялось и выражение лица: от «незамути вода» до вызывающе хулиганского.

— А сама ты что делаешь? — спросил я.

— Работаю, что мне еще делать? Я у тетки живу, на своих хлебах.

— А почему филонишь?

— Отпросилась. Надо в Быково съездить. По теткинским делам. Вот Гретку подбила. Она с занятий смылась.

— С каких занятий?

— Что ты — как следователь? В техникуме она.

— А вчера почему не была?

— Уже влюбился? Пустой номер. Она на Короле чокнутая. А к нам ей вход запрещен — нецелованная. — Елка иным, хлестким словом обозначила девственность рослой Греты.

— Не думал, что вы такие моралисты!

— Нам лишний шорох ни к чему... А ухватила обеими руками, ну и держись покрепче, дура! — последнее относилось к Грете.

— Я красиво хочу, — тоненько донеслось с высоты.

— Ходи на балеты, там красиво... Слушай, поехали с нами, — вдруг предложила мне Елка. — Все равно тебе не черта делать.

Дел у меня было по горло, но неожиданно для самого себя я согласился.

Эта поездка в осенний пригород, в золотой теплый солнечный октябрь, в пустынные, тихие дачные улицы, устланные палой листвой, бесшумно скользящей по земле, осталась щемящей памятью в душе. В отличие от моих друзей я жил слишком зашоренно в свои двадцать лет. День мой делился между институтом, «муками слова» и беготней по редакциям. Моими праздниками была Дашенька, но оставались эти нечастые праздники по-прежнему строго регламентированными, и с каждым разом я все больше переживал их предопределенную краткость. Изменить же что-либо Дашенька была не в силах, и приходилось молчать, чтобы вовсе не потерять ее. Жилось мне трудно. И писать оказалось не легко. Теперь и лето утратило свою безмятежность. А осенью я впрягался в воз, который был мне совсем не по силам. Чтобы выдержать, я заковывал себя в строжайший режим. И вдруг ни с того ни с сего — золото и синь и чуть горчащий мед воздуха, красивая девушка и чувство полной свободы. Я был близок к тому, чтобы влюбиться в Елку. Но она этого не хотела и деликатно удержала меня на расстоянии.

Наверное, мне хотелось отомстить ей за скрытый отпор, когда я сказал, что она спровоцировала жалкую историю с Катькой.

— Да ты сдурел! — Елка даже не обиделась. — Все — от Короля. А за Катьку не переживай. Она с Подоприморой спелась. Два алкаша — пара... И за Оську не переживай. За себя лучше опасайся. А к Оське ничего не прилипнет.

— Откуда ты знаешь?

— Знаю. Нагляделась. Оську не ухватить. Он сам по себе.

— А ты?.. Ты тоже сама по себе?

— Нет. Я — при Короле. Я в него — вот как!.. —

Она провела рукой над шляпой, которой перед этим придала форму попевского колпака. — Я тебя понимаю... Только зря ты... Пусть ребята отгуляют, им недолго гулять.

— Почему?

— Адольф не даст. Войны не миновать. И пули на ребят уже отлиты.

— Только не на Короля, — подначил я.

— Да!.. — сказала она с непонятым, презрительным торжеством. — Тут я с тобой согласна. На него пули нету.

Так и оказалось. Короля не взяли — по здоровью. Все остальные из веселой компании надели шинели. Ни один не вернулся.

9

Когда началась война, Оська еще сдавал выпускные экзамены.

В день получения им аттестата мы собрались у меня. Пили вино. Моя любимая была с нами. Охмелев, Оська уговаривал нас срочно пожениться. «Вы должны это сделать. А то война расшвыряет так, что и не найдете друг друга. Так валяйте, пока я с вами. У меня нет ни одного женатого товарища. А до чего же приятно бросить: «Жена моего друга». Это — как патент на взрослость. В суровых фронтовых условиях Дашенька станет «жинкой одного кореша». Пошли в загс!» Дашенька закатывала глаза, что было недобрым признаком. «Зачем тебе косвенные доказательства своей взрослости? Ты можешь и сам жениться». — «И оставить вдову с персидскими глазами?» — смеялся Оська. «Почему обязательно?..» — «Не надо! — оборвал он с каким-то брезгливым выражением. — Утешай кого-нибудь другого. Мне наплевать, что убьют». Таким я не видел Оську. В его тоне прозвучало не ухарство, не хмельная бравада, а презрение к жизни. Если ему наплевать на жизнь, то и на дружбу наплевать. Значит, нет для него ничего святого?.. Прошли десятки и десятки лет, прошла жизнь, когда я понял смысл его до конца серьезных, сокровенных слов...

Уходил Оська на войну в конце октября, из опустевшей Москвы. До этого он проводил отца и мать в эвакуацию. По странной игре судьбы, эти два человека, чьи пути так рано разошлись, уезжали одним автобусом. Муся сунула своего бывшего мужа в транспорт, принадлежавший учреждению ныне действовавшего поклонника. Оська был комически умилен этим совместным бегством. «Отошли на заранее подготовленные позиции,— смеялся он.— Отец вторично обрел в моей матери друга ко спасению». Но ему было грустно, и переживал он остро разлуку с отцом, а не с матерью. «За мать я спокоен. Это стальная птица. Отца жалко. Весь год он маялся желудком. Язва, что ли? Он молчит, но я вижу, какой он желтый, ссохшийся». Желтый, ссохшийся человек оказался самым прочным из троих: истлели косточки его румяного, сроду не болевшего сына, улетела в мир иной стальная птица, а он, еще более ссохшийся, по-прежнему налегает худым плечом на ветер. Дай бог ему здоровья...

Оська уезжал со дня на день, его уже дважды требовали с вещами на призывной пункт, но почему-то отпускали домой. Со мной было неясно. Мой институт эвакуировался в Алма-Ату, а я подал заявление в школу пехотных лейтенантов. Медицинская комиссия меня забракела. И военком посоветовал доучиваться в институте. Надо было суметь попасть на фронт в обход райвоенкомата.

Но вот стало точно известно: Оську и его товарищей по выпуску отправляют на восток в трехмесячное пехотное училище. Он пришел проститься с моими домашними, потом мы поехали к нему на Мархлевского. Я знал, что он ждет девушку — ту самую пепельноволосую Аню, которую выудил из «королевского пруда», а вернее, она выудила его и увела из мутных вод,— и хотел попрощаться у подъезда, но Оська настоял, чтобы я поднялся.

Когда мы провожали Павлика на действительную, он разделил между нами свои скромные богатства, Павлика не баловали дома и растили по-спартански. Правда, в восьмом классе ему сшили бостоновый костюм «на выход», и Павлик проносил его до армии, время от времени выпуская рукава и брюки, благо

запас был велик. Но у него имелся дядя, выдающийся химик, и однажды этого дядю послали на международную научную конференцию за кордон, что в ту пору случалось нечасто. В пожилом, нелюдимом, обсыпанном перхотью, запущенном холостяке, по уши закопавшемся в свою науку, таилась душа пижона. По окончании конференции он потратил оставшиеся деньги на приобретение жемчужно-серых гетр — тогдашний крик моды, — смуглой шелковой рубашки, двух свитеров, роскошного галстука и темных очков, почти не встречавшихся в Москве. Но, вернувшись домой, он понял, что наряжаться ему некуда, поскольку ни в театр, ни в гости, ни на балы он не ходил, а таскать на работу столь ослепительные вещи стыдно, да и непрактично: прожжешь химикатами; тогда он вспомнил о юноше племяннике, и на скромного Павлика пролился золотой дождь. Правда, ко времени его ухода в армию вещи малость пообносились, утратили лоск, но все же мы с Оськой были потрясены до глубины души, когда Павлик царственным жестом передал нам свои сокровища. От костюма пришлось отказаться — по крайней ветхости, остальное мы поделили: Оська забрал дымчатые очки, я сразу напялил гетры. Оська взял галстук с искрой, я — рубашку, каждому досталось по свитеру.

Теперь Оське ужасно хотелось повторить мужественный обряд прощания, когда без соплей и пустых слов товарищу отдается все, чем владеешь на этом свете. Но сделать это Оське оказалось куда сложнее, нежели Павлику: все сколько-нибудь стоящие джемперы, рубашки и галстуки он давно проиграл Бочке, Делибашу, Карасю и Подопригоре (за исключением полученного от Павлика наследства, с которым разделалось беспощадное время); фотоаппарат еще раньше подарил герою фотосерии «Московский дождь», библиотеку вывезла мать, а картины — отец. Оставались предметы домашнего обихода, и Оська совал мне рефлектор, электрический утюг, кофемолку, рожок для надевания туфель, пилу-ножовку и две банки горчицы; от испорченной швейной машинки я отказался — не донести было всю эту тяжесть; еще Оська навязал мне лыжные ботинки и траченную молью шапку-финку, суконную, с барашковым мехом.

Может показаться странной и недостойной эта барахольная возня перед разлукой, быть может, на-

вечной, ничтожное копанье в шмотье посреди такой войны. Неужели не было о чем поговорить, неужели не было друг для друга серьезных и высоких слов? Все было, да не выговаривалось вслух. Нас растили на жестком ветру и приучили не размазывать по столу масляную кашу слов. А говорить можно и простыми, грубыми предметами, которые «пригодятся». «Держи!..» А за этим: меня не будет, а ты носи мою шапку и ботинки и обогревайся рефлектором, когда холодно... «Бери кофемолку, не ломайся!» Это значит: а хорошая у нас была дружба!.. «Давай, черт с тобой». А внутри: друг мой милый, друг золотой, неужели это правда и ничего больше не будет?.. «Нá дуршлаг!» Но ведь было, было, и этого у нас не отнимешь. Это навсегда с нами. Значит, есть в мире и останется в нем...

В разгар расхищения Оськиного имущества пришла Аня. Я уносил, она что-то принесла — байковые портянки своего отца, ненадеванные, теплое белье, табак. Она серьезно, как положено русской женщине, собирала на войну своего любимого. Оську это разве селило. «Неужели я настоящий? — спрашивал он. — Портянки, теплое белье — это не шутка, особенно портянки. Я начинаю чувствовать себя частицей народной жизни. Что еще положено солдату? Котелок, деревянная ложка за голенищем, парочка вшей, трехлинейка, подсумок... Кстати, знаете, я хорошо стреляю. Даже выиграл районное первенство. Мне казалось, что это когда-нибудь пригодится. Допрыгался, Адольф! «Когда настанет миг воинственный, падет последний исполин, тогда ваш нежный, ваш единственный, я поведу вас на Берлин!..»

Аня никак не отзывалась на все это витийство. На ее полудетские плечи опустилась тяжкая ноша — судьба солдатки.

Оська чуть скиксовал, когда, нагруженный дарами, я вышел на лестничную площадку. Мы не видели друг друга в темноте, но я знал, какое у него лицо, когда он сдавленным голосом сказал:

— Слушай, может, отправить ее домой?.. У меня есть спирт.

— Не надо.

— А зачем она?.. Хоть отговоримся напоследок.

— Не отговоримся.

Я знал, что ему будет легче, если он останется с этой девочкой. Они выпьют разведенного спирта,

лягут в постель, а утром, неспроставшийся, обалделый, опаздывающий, он кинется на призывной пункт и опомнится уже в другой, окончательной жизни.

Что-то сместилось в сумраке, и на миг обрисовалась его худая, совсем детская шея.

— Не сломай голову. Ступеньки сбитые, — были последние его слова.

Мы не обнялись, не поцеловались, даже не пожали друг другу руки — все это было так незначаче. Он долго стоял на площадке, слушая мои удаляющиеся шаги. Парадная дверь и дверь его квартиры захлопнулись почти одновременно.

На улице было так же темно, как на лестничной клетке. Синие маскировочные фонари не давали света. Телефонная станция, даже не проглядываясь, ощущалась давящей громадой. Вот здесь, на тротуаре, большеголовый мальчик с раскосыми глазами самозабвенно рисовал мушкетера, а я из зависти и ревности зашаркал его рисунок. И он хохотал, пораженный новой загадкой жизни. Давно это было или недавно?.. А может, еще только случится?.. Я приду сюда и увижу мальчика, ползающего на коленях с куском угля в руке, и сам буду мальчиком, только добрым, и не испорчу его рисунок; а потом начнется долгая, бесконечная жизнь бок о бок... Нет, не будет этого, да и было ли когда?..

От улицы Мархлевского до Гоголевского бульвара я прошел пешком. Почему я не сел в метро, ведь мой путь шел мимо станций: «Площадь Дзержинского», «Площадь Свердлова», «Библиотека им. Ленина», — не знаю. Я шел и шел, почти по прямой, а вещи оттягивали мне руки. Дважды меня останавливали патрульные, придирчиво осматривали рефлексор, электрический утюг и кофемолку, небрежно — все остальное и отпускали. Помню, я думал о том, что мама обрадуется рефлексору: в доме перестали топить, а печурки еще не вошли в московский военный быт.

Оську я никогда больше не видел, хотя долгое время верил, что он мелькнул мне на снежной, но уже потекшей мартовской дороге между аракчеевским поселком Селищево на Волхове и Малой Вишерой.

Я возвращался в деревню Дору, где стояла моя часть, из «прорыва», как называли вражеский мешок под Мясным бором, куда фатально вползала наша ударная армия. Мы только что перебрались через реку, и наша полторатонка, гремя разболтанными бортами, кашляя и задыхаясь, стала карабкаться по береговому откосу, когда навстречу нам вышли лыжники-автоматчики. Из-под круглых зеленых касок глядели усталые мальчишеские лица. Очень новые, с необмятыми воротниками шинели, необстрелянное оружие за спиной, блестящие, как зеркало, шанцевые лопатки, не отрывшие ни одного окопчика, говорили о том, что эти автоматчики — молодые бойцы пополнения. Маршевый батальон не держал строя, и многие из автоматчиков ложились на снег для короткой передышки: кто ничком, кто свернувшись калачиком. Иные жадно, горстями запихивали себе в рот пушистый, сухой снег. Но были более выносливые или более упрямые. Согнувшись и не глядя по сторонам, они упорно шагали обочь дороги с лыжами на плече.

Промчалась штабная «эмка». Сзади нее, привязавшись ремнем к буферу, неся, присев на корточки, молодой лыжник. Вслед ему полетели веселые выкрики и шутки, забавная его выдумка как будто вернула бодрость уставшим паренькам.

Проносясь мимо нас, боец поднял голову, и я узнал беспечное, с чуть монгольским разрезом глаз, красивое, дерзкое, дорогое лицо Оськи. Я что-то заорал и на ходу вывалился из кузова.

Штабная машина быстро удалялась к Волхову. Размахивая руками и крича во все горло, я бежал следом за ней, Оська приподнялся, я чувствовал — он силится меня разглядеть, но расстояние между мной и машиной быстро увеличивалось. Лыжники провожали меня удивленными взглядами. Я выбежал на берег Волхова, когда машина уже подпрыгивала на досках моста. Впереди лежал замерзший, в черных полыньях Волхов. Другой берег тонул в сумерках, а наш как-то печально светился, словно по его откосам расстелили бледные ризы. Никогда не забыть мне щемящей тоски закатов Приволховья. Казалось, что солнце, исчерпав свою скудную, бедную силу, навсегда прощается с землей, медленно и блекло навек умирает день.

Резкий, гортанный крик команды заставил меня очнуться. Уже весь батальон собрался на краю обрыва, и вот первый автоматчик, словно пущенный из пращи, сорвался и понесся под откос, взметая снежную пыль. За ним второй, третий... Один за другим лыжники стрелой неслись к реке, в воздухе мелькали палки, синие колени на снегу сплетались в сложный узор. Вот уже первый лыжник петляет между черными ямами полыней, и, настигая его, мчатся десятки других юных автоматчиков. И уже нет здесь усталых детей — быстрые, собранные в комок, устремленные вперед солдаты наступления. Противник был далеко, за ледяными валунами другого берега, за редким, как расплзшийся шелк, иссеченным снарядами лесом, но мне казалось, что стремительное движение этих лыжников не кончится, пока они не достигнут сердца врага. И мне стало менее грустно при мысли о том, что Оська находится среди настоящих людей...

Оказалось, что Оська никогда не был на Волховском фронте. Он погиб у Ильменя. В один из московских госпиталей привезли его товарища, одноклассника, который был с ним в последнем бою. И перед тем, как его ранили, он видел Оську, тащившего на спине раненого.

Так сказал он Оськиной матери, когда она пришла к нему в госпиталь... А как же с упреком, брошенным мне мертвым солдатом? Может быть, Оська просто подставил плечо раненому товарищу, а потом того подхватили санитары и Оська вернулся в бой?.. Может быть, Оська не хочет, чтобы поступок, естественный для него, как дыхание, выдавался за подвиг? А может, еще глубже: всякие котурны оскорбительны для нашей дружбы?..

12

Однажды я спросил Владимира Осиповича: писал ли он Оську? «Пробовал, у меня не получилось. Чего-то не хватывал». Он достал из шкафа небольшой карандашный портрет Оськи, нет, портрет — чересчур сильно, набросок, сделанный уверенной и мастеровитой рукой. Удлиненные, китайского разреза глаза, сжатый рот, нежный овал, лицо серьезное и печальное — я не помню Оську таким. Но чем пристальней вглядывался я в портрет, тем крепче становилась

убежденность, что я вижу настоящее Оськино лицо. Наверное, я вычитывал в его чертах то, что мне хотелось: легкость, веселье, озорство, иногда задумчивость, предшествующую шутке, остроумной выходке, озарению. Это был Оська, с которым божественно просто. А непредвзятому зрению Константина Рождественского (я разобрал подпись под наброском) открылся совсем другой юноша.

— Какое печальное лицо! — сказал я. — Это не Оськино выражение, а сходство удивительное.

— Вы считали Оську бездумным весельчаком?

— Бездумным — нет. Но он был веселым человеком. Очень веселым, в этом его очарование...

— Ему было весело жить — правда... Но, очевидно, не всегда. Вы видели его рисунки?

— Детские?

— Взрослых у него и не могло быть. Скажем: юношеские.

— Я думал, он давным-давно это забросил.

— Оказывается, нет. Мы с Мусей нашли целый ворох его акварелей последних лет. Значит, он их никому не показывал.

Владимир Осипович с приметным усилием наклонился и достал с нижней полки шкафа толстую стопу акварелей. На всех рисунках присутствовал паучий знак свастики. Фашизм пытал, терзал, уничтожал человеческую плоть. Шли в пике «юнгерсы». Падали бомбы на городские крыши. Перли вперед солдаты в рогатых шлемах, почти закрывавших лица, с прижатыми к брюху автоматами. Резиновые дубинки обрушивались на головы. Волосатый кулак ломал челюсть, крошил зубы. Задастые, с закатанными выше локтей рукавами узколобые неандертальцы били, пытали, жгли, расстреливали. В пыточных застенках, за решеткой тюрем, за колючей проволокой лагерей, в лужах крови умирали люди с нежно-скуластыми лицами; ни одному из них смерть не смогла навязать безобразной позы. На каком сильном чувстве творил Оська свою тайную «Гернику».

— Он ненавидел жестокость, — услышал я голос Р—на. — Ему не уцелеть было в современном мире.

Я вспомнил и понял Оськину фразу: «А мне наплевать, что убьют». Он знал, что не вернется с войны, и не хотел выглядеть жертвой. Он шел на с м е р т н ы й бой и не ждал пощады.

Недавно раздался телефонный звонок.

— Юра, доброе утро. Это Володя. Как какой?..
Р—н!

Что-то помутилось у меня в голове. Сходство голосов, короткая, похожая на воинскую команду, на выстрел фамилия, и потом... отец моего друга никогда не называл себя так. Мы оба помнили о разделяющей нас разнице в четверть века. И что-то сбилось во мне. Владимир Осипович... Осип Владимирович... Ося... Володя... Ну почему он вдруг назвал себя по имени? Недавно он потерял жену, с которой прожил жизнь. Одиночество, срыв всех привычек, беспомощность. Конечно, он все это преодолет, но сейчас нужно дружеское плечо, о которое можно опереться. И наверное, мы стали равны в державе старости?.. Юра... Володя... Нет, Ося! Я дождался его, и вот уже не призраком юноши на лесной поляне, под медленным сизым облачком явился он мне, а во плоти, в образе естественной и хорошо несущей себя старости.

— Я болел, но сейчас все в порядке. Работаю,— слышал я Оськин голос.— Грех забывать друзей,— металлом пробивается привычное бесстрашие, но меня уже не обмануть, я знаю, что Оська нашел способ вернуться ко мне.

Дорожное происшествие



Курбатовы познакомились с Иванцовыми лет восемь назад. Смешно звучит чинное слово «познакомились» для того странного неприличия, каким явилась их первая встреча на маленьком, заросшем раkitником островке посреди тихой Пры. Как и обычно, Ольга с мужем проводили отпуск на реке, в тот раз шли на байдарке по водам окского заповедника и решили сделать привал на одиноком и, как им показалось, необитаемом островке. Они только успели вытащить байдарку на песчаную косицу, когда раздвинулись ветви прибрежного кустарника и появились обнаженные мужчина и женщина, молодые, рослые, стройные, гордые и бесстыдные, как боги, снизошедшие к ничтожным детям праха, вторгшимся в их обитель. Вначале Ольга видела лишь красоту их загорелых долгих тел, исполненных такого совершенства и дивной уверенности в себе, что ее не коснулась и тень смущения, скорее, легкий стыд за себя одетую, но такую жалкую физически рядом с ними; потом она заметила их сандалеты из кусков пластика, темные очки, поднятые на лоб, наручные часы, цепочку с камешком на груди мужчины, серьги в ушах женщины и обручальные кольца на пальцах обоих, осознала их человеческую природу, мучительно покраснела и уперла глаза в землю.

После она с удивлением вспомнила, что муж ее, застенчивый и нелюдимый, вечно стремящийся схорониться в своей раковине, обнаружил завидное самообладание: он спокойно и внимательно разглядывал обнаженных людей, вызывающе задерживаясь взгля-

дом на женщине. Голые люди рассмеялись и, взявшись за руки, побежали к воде. Ольга видела их движения по теням, достигавшим ее босых ног, и словно от щекотки невольно поджимала пальцы. Вот они скинули сандалеты, опустили на песок очки и часы и зашлепали по мелкой у берега воде...

— Ну, хватит играть в монашку, — услышала она привычный, ворчливо-насмешливый голос Игоря. — Помогай!..

— Может, уйдем отсюда?.. — пробормотала она.

— Черта с два! Им того и надо. Не выйдет, голубчики!..

После, когда они уже поставили палатку и вскипятили чай, островитяне, чуть прикрывшись пестрыми лоскутками, подошли к их костру. Они ничуть не были смущены своей хулиганской выходкой, сразу признались, что сделали это нарочно, дабы отвадить непрошенных гостей, но, коль номер не удался, глупо и обременительно враждовать на столь малом клочке суши. Они назвали себя — Иванцовы: Жанна и Кирилл, архитекторы из Ленинграда. За чаем с рижским бальзамом — вклад первожителей острова в общую трапезу — их жизненное положение еще более уточнилось: Кирилл был строящим архитектором, а Жанна — администратором от зодчества — что-то связанное с защитой кандидатских и докторских диссертаций. От обоих веяло молодым апломбом и счастливой уверенностью в себе, но у Кирилла это опиралось на сознание своей творческой силы, а у Жанны — на служебное положение, ставящее людей в зависимость от нее. У всякого другого это было бы противно, но в Жанне, большеглазой, улыбчивой, открытой, — мило и чуть наивно; чувствовалось, что дарованную ей небольшую власть она не использует во зло и с радостью помогает людям. Кирилл и Жанна были однолетками с Ольгой, следовательно, почти на десять лет моложе Игоря, но они не признавали его старшинства, с ходу стали звать Игорем, даже Игорььком, хотя он представился как Игорь Николаевич и упомянул раз-другой о своих сединах. С Ольгиными ровесниками сорокадвухлетний Игорь стремился сохранять возрастную дистанцию, чтобы не казаться эдаким молодящимся старичком. Но для этих свободных, раскованных людей его ухищрения ничего не значи-

ли, они просто и естественно приняли его в свой возраст.

Но Игорь почему-то не мог принять этого дара простоты. Он был напряженным и неестественным. Он старался кем-то к а з а т ь с я. Ольгу удивляло и раздражало поведение мужа. Но по собственным ощущениям она догадалась, что с ним происходит, — и ее чувственность была возбуждена появлением современных Адама и Евы. Впрочем, за себя-то она могла ручаться, а угрюмый, замкнутый Игорь (он вовсе не был таким в пору их начала, но затяжной кризис в его столь много обещавшей лаборатории испортил ему характер) сохранил способность к воспламенению.

Хоть и не слишком часто, страстные, безудержные порывы Игоря вспенивали тихие воды прочных и уже долгих семейных отношений. В спокойное время Ольге было достаточно знать, что муж жив и здоров (вернее сказать, неопасно, привычно нездоров, ибо этот сильный, жилистый, выносливый человек постоянно мучился то глазами, то горлом, то поясницей, то невралгическими головными болями), на остальную его суть, омраченную неудовлетворенным честолюбием, у нее просто не хватало времени, поглощенного работой, домом и больше всего детьми, неблагополучными, как и все современные дети. Но когда Игорь в очередной раз влюблялся, откуда-то находилось время для страданий, вздохов, слез и нудных, ничего не дающих объяснений. Потом она придумала словно бы оправдание романам Игоря. Он, как и его лаборатория, обещал неизмеримо больше, нежели дал до сих пор. Первым среди своих одаренных сверстников он защитил докторскую, получил самостоятельный и очень важный участок работы, а сейчас его многие обошли, иные даже академических лавров сподобились. Он не жаловался, не ныл, на расспросы отмалчивался или бурчал что-то о своей бездарности, что никак не соответствовало его истинной самооценке, и все глубже погружался в свою ночь.

Каждое новое увлечение начиналось у Игоря с отчаяния — затянувшиеся научные неудачи лишили его былой веры в себя, — затем приходила блистательная и неизбежная победа с короткой и пустой радостью сублимации. «Так ему легче», — думала Ольга, научившаяся жалеть мужа-победителя. А дру-

гого, подавленного, молчаливого, с повязанным горлом или глазом, она еще любила.

Да, любила, но какой-то чуть брезгливой любовью. Он смутно чувствовал это и сам отдалялся от нее, физическая близость все реже соединяла их, а лишь в тесном, забывшем обо всем объятии могли бы они вернуть былое. При этом оба знали, что никогда не расстанутся, как бы ни густел сумрак, окутавший их существование. Позади осталось золотое, и оно еще брезжило — стоило лишь оглянуться. И пока они различали этот нежный золотистый просвет, можно было выдержать все: отчуждение, неудачи, разочарования, измены, нелепость жизни и собственного поведения. Они были словно помечены неким божественным знаком, возносившим их над собственной нищетой и нищетой окружающего.

Их союз, нет, сплав, значил для Игоря едва ли не больше, чем для нее, хотя он никогда об этом не говорил и не признался бы даже под пытками. Та их любовь совпала не случайно, знать, с расцветом его личности и таланта, когда все верили, что Курбатова ждут незаурядная судьба, великие свершения и слава. Для нее же их прошлое было прекрасно само по себе: она любила, и ее любили. Все было захватывающе интересно провинциальной студенточке — вдруг стать женой совсем взрослого и даже небезызвестного в научном мире человека, хозяйкой дома со множеством не дающихся рукам вещей. Упоительно было ходить в походы — пешком и на байдарках, лазать по горам, ночевать в палатке, заводить легкие дорожные знакомства, ощутить в своем теле новую жизнь, стать матерью, кормить свое дитя и каждую ночь тянуться к мужу. Это осталось в крови и плоти, осталось вопреки всему, навсегда привязало к отягощенному, мрачному и неверному человеку.

И все-таки она и сейчас часто чувствовала себя счастливой. Вернее сказать, как только болезни отступали от детей и отгорало очередное увлечение мужа, она сразу становилась счастливой. У нее был врожденный талант радости, которая шла к ней от всего: хороших книг, музыки, ясного дня, от людей, особенно от людей, если был на них хоть малый свет, от спектаклей и фильмов не вовсе серых, от чьей-нибудь случайной улыбки в метро или переполненном рейсовом автобусе — они жили за городом, — от цветов,

белок, поползней, от первой весенней бабочки и последней паутины в осеннем горьком воздухе. И, наверное, это ее свойство привязывало Игоря к семейному очагу. Можно жить отраженной радостью тому, кто сам утратил или почти утратил способность к чистой и бескорыстной радости. Дети, которых он по своему любил, хотя никогда ими не занимался, не могли бы удержать его от разрушительных поступков, диктуемых страстью, одурманенностью сиюминутным. Потом, с остудью, пришли бы раскаяние, мучительное сожаление о содеянном, тоска и боль, отвращение к себе, но все это потом, когда уже поздно, а удерживало Игоря от непоправимого то мощное бессознательное веление, которое называется инстинктом самосохранения: в трудном для него мире спасение было в радостной улыбке на круглом лице жены.

А вообще-то при всей сложности и запутанности своей жизни Курбатовы считались счастливой парой, им многие завидовали, и, наверное, в том был резон, раз они нужны друг другу и всегда останутся нужны... И вот эта счастливая пара встретила на поросшем ракитником островке с другой счастливой парой, и пробежал ток, создалось электрическое поле, в котором так сильно напряжение собственной и чужой жизни. Нагие боги взволновали пришельцев — персть земную — и, догадавшись о том, сами расположились к ним. Но их тяга была другого рода и свойства. Загорелые, рослые, безукоризненно сложенные, островитяне ошеломляли своим физическим совершенством, помноженным на великолепное бесстыдство. Ольгу занимало, какое впечатление производят они с Игорем на Иванцовых. Игорь, чуть выше среднего роста, мускулистый, хотя давно забросил спорт и даже зарядки не делал, с головы до ступней заросший буреющей шерстью, с жестким скуластым лицом и холодными синими глазами, выглядел достаточно убедительно: матерый мужик, знающий, что почем в жизни. Его смута, неуверенность, желчное недовольство собой были известны только жене, окружающим он казался сильным, очень наполненным, но и не растрчивающим себя человеком, что вызывало невольное уважение, особенно у женщин. И новые знакомцы, люди свободные, раскованные, чтобы не сказать разнузданные, хоть и называли его по имени,

все же, обращаясь к нему, окрашивали интонацию чуть приметной почтительностью, то ли осторожностью. Возрастное старшинство Игоря тут было ни при чем, — давление личности. Маленькую, полноватую Ольгу с круглым, немного кукольным лицом и водянисто-серыми глазами, пристальная серьезность которых замечалась далеко не всеми и не всегда сразу, они снисходительно приняли за «добрую бабу». Это огорчало: Кирилл Иванцов затронул в ней какие-то скрытые, неизвестные ей самой резервы личности. Впрочем, она вскоре поняла, что эти двое так упоены, так поглощены друг другом, что остальные люди для них — лишь более или менее живописные фигуры, оживляющие фон их любви.

Ольга, решившая, что Иванцовы вместе со студенческой скамьи, удивлялась свежести их чувства. Но оказалось, что они женаты всего второй год, а до этого каждый прошел через неудачный брак, и у Жанны была дочка, оставшаяся с отцом. «Как же вы ее уступили?» — поразила Ольга. Жанна пожалала скульптурными плечами: «А что было делать? Девочка большая, сама выбрала. Она любила отца, а Кирилла сразу возненавидела». Прямота Жанны нравилась, но, похоже, она была не слишком огорчена решением дочери. «Мы не угадали друг друга в институте, — заметил Кирилл. — И крепко поплатились». То была единственная серьезная фраза, произнесенная им за все время. Он принадлежал к числу людей, не дающих заглянуть в себя, и потому в разговоре отделялся шутками, прибаутками, расхожими словечками, междометиями и смехом. А смеялся он хорошо, белозубо, и оттого этот слишком частый и беспричинный смех не раздражал. На вопрос, что он строит, Кирилл ответил радостно: «Все больше кúры», — а пойманный на плагиате, защитился развесялым оскалом. «Ну, а что бы вы хотели строить?» — допытывалась Ольга. «Большие, большие и красивые, красивые дома». Ничего иного Ольга не могла добиться при всем своем умении раскрывать человека.

В отличие от мужа красивая Жанна была даже чрезмерно обстоятельна в речах и твердо уверена в незыблемой истинности своего мнения; соображений собеседника, а тем паче возражений она просто не слышала. Говорила Жанна звучным, хорошо поставленным голосом, но лицо оставалось странно не-

подвижным. Кириллу, похоже, нравился апломб жены, хотя в глазах его порой мелькала мягкая усмешка. Жанна рассуждала о каких-то неизвестных Курбатовым ленинградцах с таким видом, словно это мировые знаменитости, которых обязан знать каждый мало-мальски образованный человек. Круг, в котором вращалась Жанна, казался ей чрезвычайно значительным, единственно заслуживающим внимания. В исходе вечера Ольга почувствовала, что Игоря утомила ее манера и вспыхнувший в нем было огонек пригас.

Но потом Кирилл принес гитару, и они стали петь вдвоем и пели замечательно, особенно Жанна, чей грудной голос, освободившись от наставительной жесткости, брал за сердце. И песни у них были какие-то странные и умные. Где выкопали они эти городские романсы конца прошлого века, чью мещанскую сентиментальность щепотка печальной иронии обращала в вечную боль мира, и никогда не слышанные Ольгой песни первых революционных лет с наивным и щемящим героизмом, и какие-то совсем новые грустно-смешные песенки московского музыкального содружества двух физиков с биологичкой, напоминающие старинные гальярды и ричеркары, но с оттенком современного безумия.

Для полного счастья Ольге не хватало лишь разговора «о боге», как насмешливо называл Игорь разглагольствования о причастности к мировому духу и прочие отвлеченности. Но с «мировым духом» в этой компании обстояло неважно: Игорь категорически отвергал все «высокие материи», Жанна, похоже, не подозревала о наличии таковых, сотворив себе на удивление цельное мировоззрение из земных забот и радостей. Кирилл, который, возможно, и был способен заглянуть за внешнюю оболочку вещей и явлений, бдительно оберегал свой внутренний мир, гася всякий серьезный разговор на дальних подступах. Тут он был на редкость бдителен. Ольга, вечная дилетантка, к числу своих привязанностей относила и старую ленинградскую архитектуру, ей захотелось узнать, когда усталые певцы смолкли, как относится Кирилл к итальянским зодчим, привившим свое искусство столице северного государства. Она спросила о России. «Очень, очень гениально! — засмеялся Кирилл. — Но ведь не Палладио?» — «А Растрелли?» — «Очень,

очень гениально, но ведь не Альберти?» «Значит, вы не считаете их?..» — «Стоп! — прервал Кирилл. — Вы требуете от меня утверждений, а утверждения погубили Троя». — «Почему?» — спросила она обескураженно. «Не знаю. Так считает Жироду, а уж он зря не скажет». Она слышала о Жане Жироду, читала о нем у Моруа, называвшего его «всегда и во всем первым», но ни романов его, ни сборника рассказов, ни пьес, переведенных на русский язык, ей достать не удалось. Она пыталась расспросить Кирилла об этом французском писателе, но услышала в ответ лишь шутливо-уклончивое: «До того изысканный, до того изысканный! Хушь плачь!» — и поняла, что продолжать разговор бессмысленно. Ему это не интересно, ему интересно вот так играть, выскальзывая из пальцев прилипчивых людей. Возможно, он бы сменил тон, если бы она ему хоть немного нравилась, но он так захвачен Жанной! А полноватенькая приставучая коротышка, являющая совершенную противоположность его прекрасной удлиненной жене, должна вызывать у него отвращение. Ну, нет, оспорила Ольга сама себя, если уж он кого и способен заметить сейчас, так лишь приставучую коротышку — хотя бы по закону контрастов. Но закон на этот раз не сработал.

И тут она увидела пробудившиеся заблестевшие глаза угрюмого нелюдимца Игоря, — грудной, тоскующий, неподвластный волевому императиву прирожденного администратора голос Жанны вновь притянул его к ней. «Странно, я ревную, — подумала Ольга, — хотя сейчас тот редкий случай, когда мне ничего не грозит. Завтра мы уедем и никогда больше не увидим этих притягательных, но неспособных к сближению людей. Да я и не имею права ревновать, ведь мне нравится Кирилл, несмотря на все его ерничание и душевную скупость. Я никогда не изменяла Игорю, но, честное слово, если б у меня хватило смелости, я бы изменила ему с Кириллом. Хотя меня уже подташнивает при мысли, что чужая мужская плоть проникнет в мою плоть. Но я справилась бы с собой, надо хоть раз испытать то, чему люди придают такое невероятное значение, из чего возникло все великое искусство, из-за чего погибла Троя, а вовсе не из-за утверждений, и столько замечательных людей лишлось жизни. В моей любви с Игорем было все, кроме

упоения, страсти, то бедное наслаждение, какое я получала, да и сейчас изредка получаю от него, не могло породить Ромео и Джульетту, Антония и Клеопатру и даже застенных яростных скандалов наших соседей, неутомимо ревнующих друг друга. Я люблю Игоря, предана ему, как собака, и, если понадобится, отдам за него жизнь, но я хотела бы хоть раз потерять голову, застонать, закричать и оказаться на небе... Может, Игорь потому и отдалился от меня, что не получает ответа? Мужчине унижительно, если он не в силах разбудить женщину. Крепко же мне не повезло, что впервые понравившийся человек так упоен собственной женой. Или, напротив, повезло. Это Игорь умеет, отпылав, возвращаться на круги своя, а у меня бы все полетело под откос. Господи, а как же дети?..»

Вдруг, внутренне спохватившись, она подивилась дикой стремительности этих беспочвенных мыслей. Ни с того ни с сего она проделала огромный путь — предала мужа, разрушила семью, и все это в считанные мгновения. Наверное, и в окружающих людях происходит нечто подобное и кто-то, в свою очередь, только не Кирилл, уводил ее от мужа, страстно любил, потому бросал, а может, и убивал, — кто его знает? Боже, как опасна жизнь при такой быстроте и силе человеческого воображения и разболтанности нравственных тормозов. Сколько раз была она влюблена, брошена, растоптана, убита?.. А вдруг ни разу? Это еще страшнее. Она слишком незначительна и малопривлекательна, к тому же прочная репутация безнадежно верной жены губит на корню всякую мужскую инициативу. Ей стало жаль этих не состоявшихся в чьем-то воображении драм, немного обидно и от глупой обиды — смешно. Она рассмеялась. Кирилл поглядел на нее впервые с интересом и не спросил, чему она смеется, как сделал бы всякий нормальный человек, а сам засмеялся. И словно искорка промелькнула между ними.

Но не из этой искры, а от зажигалки Игоря возгорелся великолепный костер, умело и бережно сложенный на песчаной косице. Огонь сразу отогнал едучих комаров и безвредную, но утомительную мошкарку, облеплявшую лицо, руки, ноги, проникавшую за пазуху и пытавшуюся внедриться в глаза. Комара надо прихлопнуть, чтобы прекратить его маленькую

и злую поневоле жизнь, а этих мошек достаточно было коснуться — так непрочно их существование. Смолистый дым разом отогнал всю летучую нечисть, и почему-то Ольга только сейчас заметила, что Кирилл и Жанна оставались в своих «бикини».

— Вы сумасшедшие!..

— Да ведь тепло.

— А гнус? — сказала она по-таежному.

— Комары нас не кусают, — заявила Жанна. —

А мошки — бог с ними.

— Правда не кусают? — Ольге почудилось в этом что-то значительное.

— Еще как кусают! — успокоил ее Кирилл. — Мы научились не обращать внимания. Это очень упрощает жизнь на воде и в лесу.

— Вы часом не нудисты? — поинтересовался Игорь.

— Мы нудисты, — засмеялся Кирилл. — Все время издеваемся над собой: делаем зарядку, стоим на голове, купаемся в проруби, два раза в год голодаем и собираемся перейти на сыроедение...

— Не пьем, — подсказала Жанна.

— Но ты куришь. — И Кирилл сразу омрачился.

— Хорошо, что напомнил, — сказала Жанна. — Я не курила целую вечность. — Она достала из невидимого кармашка сигарету, подкатила к себе уголек и закурила. — Я могу отказаться от чего угодно, но пять сигарет в день обязана выкурить. Иначе не стоит жить.

— А мы с Ольгой не курим, — сообщил Игорь, — не делаем зарядки, не стоим на голове, не купаемся в проруби и не голодаем. Зато не прочь выпить. Ольга, правда, дуреет с трех рюмок, а меня хрен свалишь!..

— Не выношу подобного тона, — ледяным голосом сказала Жанна.

— Я говорю как говорю, — ответно обозлился Игорь. — И менять свою речь ради голой дурехи не намерен!

На миг Ольге представилось, что тут и погаснет зажженный ими костер, но Жанна почему-то не обиделась и показала Игорю язык, а Кирилл расхохотался — несколько натужно. «Да он токует, мой муженек! — осенило Ольгу. — Вот оно что!.. Грубость, резкость, прямота — это впечатляет. И Жанна клюнула... Как-то не согласуется это с образом безза-

ветной влюбленности, который у меня сложился. Но что можно понять в людях при таком летучем знакомстве? А понять хочется — зацепило душу...»

Лежа ночью в палатке, уже в полусне Ольга вдруг сшиблась с подавшимся к ней мужем и догадалась о своем встречном движении. Они соединились с давно забытым рвением и тайным стыдом, ибо каждый понимал и про самого себя и про другого, откуда родился этот порыв.

Казалось, обе пары настолько сблизились за минувший день, что уже не расстанутся. Ольга, во всяком случае, была уверена, что продолжать путешествие они будут вместе. Но Иванцовы не собирались оставлять этот островок, считая его чуть ли не своей собственностью, и надеялись продержаться здесь «до последней галеты», как по-морскому выразился Кирилл. Более того, Курбатовым стало ясно, что молодоженам вовсе не хочется делить свое уединение с кем бы то ни было. При всей симпатии, какой они прониклись к зашельцам, а на этот счет не было сомнений ни у Ольги, ни у Игоря, редко сходящихся во мнениях, Иванцовым не терпелось вернуть свою тишину и одиночество, насыщенное друг другом. Им нравилось разгуливать и купаться голыми, целоваться сколько душе угодно, вести дикарскую жизнь на прогретом солнцем островке, заросшем розовым иванчаем и голубым шалфеем, и где в ракитнике у них было оборудовано уютное логовище. Но обе пары вопреки сиюминутным соображениям были убеждены, что случайная, странная встреча будет иметь продолжение. Их не смущало, что они живут в разных городах, а ведь даже в одном городе мудрено свидеться, и все страстные летние дружбы, завязывающиеся «на всю жизнь», не выдерживают расторгающей силы привычного быта, поразительно косного и плотного, неспособного найти в себе места для чего-то нового...

У них все произошло несколько иначе. Они помнили друг о друге: Курбатовых по возвращении домой ждало смешное, с рисунками письмо Кирилла, где он и Жанна были изображены в виде голых дикарей то на деревьях, то на охоте с копьями и томагавками, то на плоту с острогой, нацеленной в водную глубину, то у костра. Текст под рисунками был менее остроумен, хотя в нем чувствовалась старательность напрягаю-

щейся над непривычным мысли, и Ольга решила, что тут потрудились Жанна. Но тем трогательнее выглядело это усилие повеселить далеких людей. С тех пор на все праздники от Иванцовых приходили поздравительные письма, всегда с рисунками, особенно затейливыми на Новый год. Курбатовы отвечали открытками, но иногда Ольга размахивалась на большое письмо, которое адресовала Жанне в тайной надежде, что той будет недосуг читать и рассеянно, по диагонали его проглядит Кирилл и, может, раз-иной усмехнется над ее бытовыми наблюдениями.

Эти письма открыли Ольге возможности, о каких она не подозревала. Оказывается, ежедневная жизнь предстает в новом, «одрагоцененном» качестве, если о ней писать. Все мелкие, привычные события дня обретают иной смысл и странную значительность, когда их укладываешь в слова, а слова предаешь бумаге. Писать часто Иванцовым было неловко, она стала адресовать письма самой себе, а потом, отбросив искусственную эпистолярную форму, завела «записок толстую тетрадь» в блестящей и праздничной черной клеенчатой обложке.

Каждый год Иванцовы собирались приехать в Москву и, случалось, приезжали — то Жанна, то Игорь; вместе — ни разу, но были так завалены делами, что добраться до Курбатовых, обитавших в тридцати километрах от города, им не удавалось. С приближением лета Иванцовы неизменно предлагали провести отпуск вместе. Курбатовы охотно соглашались. Велись долгие телефонные переговоры, строились планы, но всякий раз дело срывалось — по вине ленинградцев. У Курбатовых жизнь была более упорядоченная, Кирилл же, связанный со стройками, и Жанна — с частыми заграничными командировками, никак не могли спланировать свой отпуск. Так продолжалось года три-четыре, а потом, словно смирившись с неизбежным, они перестали писать друг другу, обмениваться праздничными поздравлениями и прорываться сквозь пригородный коммутатор. Все связи оборвались, хотя память осталась...

А когда уже и память померкла, нежданно-негаданно нагрянули Иванцовы. Не было ни письма, ни звонка, ни телеграммы, просто два больших, дородных, красивых человека — мужчина и женщина, — оба сплошь в джинсовой ткани, вышли из забрызган-

ной грязью «Волги»: недавно прошел короткий, но хлесткий июльский ливень, расквасивший землю, — и направились к крыльцу Курбатовых, мимо босоногой Ольги, мывшей машину. Ольга сразу узнала их, хотя они не просто изменились, а стали совсем другими людьми, задохнулась от странной боли, сжавшей грудь сожалением, печально и чем-то темно-тяжким, что хотелось вытолкнуть из себя. Ей самой непонятна была острота ее отзыва на появление этих чужих, давно канувших в прошлое людей. Они ее не заметили или не признали — тем лучше. Игорь дома, он откроет Иванцовым, примет на себя неловкость и смуту нечаяемой встречи, поставит на стол вино и яблоки, настолько его хозяйственных способностей хватит, а она забежит к подруге, наденет чулки и туфли, благо у них один размер, причешется и подмажется. Ольга выскочила за дверь по-деревенски, в затрапезе; хотя их научный поселок пользовался статусом города, быт и нравы отличались сельской простотой.

Приводя себя в порядок у туалетного зеркала подруги, Ольга старалась представить, какое впечатление произведет она на Иванцовых. Как будто она мало изменилась, да ведь за собой не замечаешь. Если Иванцовой, жившие куда легче и проще, как всякие бездетные люди, не сохранили молодости, стали другими — у них сменилась физиология: задержавшаяся поджарая юность уступила место тяжеловатой мясной зрелости; особенно велика перемена в Жанне — эта дородная, широкобедрая, грудастая матрона ничем не напоминала стройную, удлиненную, как лунная тень, островитянку, да и сухопарый Кирилл смахивал теперь на штангиста тяжелого веса, так во что же должна была превратиться Ольга, пережившая мучительнейшую пору в своей жизни? Ее дочь Лена была жертвой акселерации. Она болезненно стыдилась своего «безобразного» роста и не подозревала о своей редкой, какой-то скандинавской прелести: в вышине подснежниками синели ее глаза из-под легких, как кудель, прядей зло начесанных на лоб льяных волос. Лена считала, что у такого монстра, как она, не может быть ни любви, ни полноценной женской жизни, и в семнадцать лет бросила себя, как кость, какому-то подонку, забеременела, тайно сделала аборт, а потом, придумав себе дивного неродившегося эльфа, зажалела его смертно и покатила под

откос. Того парня она прогнала, но пришли другие — ничуть не лучше, появилось вино, много вина, она неминуемо погибла бы, если б мать не поднялась на спасение. На полтора года было заброшено все: муж, сын, отданный под надзор бабушке, друзья, книги, театры, все, что Ольга любила, чему отдавала упоенно и радостно свободное душевное время; единственной опорой — Игорь грубо и вместе жалко устранился — была тетрадь в черной клеенчатой обложке, которой она поверяла свои муки. Ольга перестала быть матерью Лены, стала ее подругой, почти такой же беспутной — пила и курила в компании прыщавых хлыщей, пытавшихся к ней приставать. Ночи напролет выслушивала горячечные, бредовые, страшные признания своего несчастного детеныша, исходившего пьяными слезами из-под льняной кудели, и медленно, осмотрительно, незаметно и неуклонно, осененная какой-то вовсе не присущей ей мудростью (наверное, то был просто материнский инстинкт, поднывавшийся до проникающего знания), шаг за шагом вытащила свою девочку из болота, вернула к жизни, доверию, радости, надеждам. Кошмар черных дней рассеялся, как последний дымок тех скверных сигареток, которыми отравляли Лену прыщавые недоноски. Лена поступила в институт, у нее появился кавалер, еще более рослый мальчик-баскетболист с огромными ступнями и кистями, тонкой шеей и детски милым лицом с глупыми усиками. Его поразительная наивность помогла Лене вернуться в свой возраст. К тому же он пристрастил ее к спорту. То, что было ее вечным проклятием, обернулось залогом спортивных достижений. Теперь она не без зависти говорила о какой-то Ульяне, вымахавшей за два метра и ставшей незаменимым центровым...

Спасая дочь, она упустила сына и мужа. Впрочем, с сыном не оказалось хлопот. Этот тринадцатилетний философ — он запоем читал Платона, а в школе учился на одни тройки — опрометью кинулся в освободившиеся материнские руки, жестоко презрев бабушкину самоотверженную заботу. Ему нужна была только мама, и никто не мог ее заменить. Ольга не догадывалась, что хмурый книжник так оголтело ее любит, теперь она могла платить ему тем же. Что же касается мужа, то вряд ли он принадлежал ей и до несчастья с дочерью. Постоянным было лишь его

материальное присутствие в ее жизненном пространстве, в душевном смысле он существовал дискретно, слишком часто исчезая в своих безоглядных, хотя и краткосрочных влюбленностях. И все же она почувствовала его молчаливую стыдящуюся благодарность за дочь и многое ему за это простила.

История с дочерью имела два разнозначных последствия: менее значительное — она стала красить свои густые темные волосы, поседевшие прядями; сплошная седина — красиво, особенно при молодежном лице, но она стала пегой, как Холстомер, а это смешно. Красилась она из презрения к своей бабской слабости всякий раз в другой цвет и сама чувствовала, как это отзывается если не на характере, то на манере поведения. Блондинкой она становилась нежной и легкой, ее тянуло к людям; шатенкой обретала какую-то томность, загадочность, вовсе ей не свойственные; брюнеткой была решительна, жестковата и не стеснялась говорить людям правду в лицо, вернее полуправду — разве всю правду кому скажет даже брюнетка? — рыжей она сама себя боялась, столько появлялось в ней отчаянности и своеволия. Впрочем, все эти превращения были скорее в самоощущении, в готовности воплотить каждую ипостась, нежели в действительном выявлении личности, стиснутой семьей, работой, трудным бытом и — буквально — транспортной давилей — на работу и обратно. Настоявшись в очередях, натерпевшись в переполненном вагоне метро, затем в рейсовом автобусе, где о тебя гадко трутся слюнявые обормоты, намаявшись у плиты и корыта, ты уже не станешь ни томной, ни дерзкой, ни отчаянной, ни опасной. Лишь в отдушинах праздников, отгулов или благословенных дней инфекционного гриппа удавалось ей если не воплотить, то хотя бы намекнуть окружающим на идею избранной масти.

А второе: ее записи в черной клеенчатой тетради перестали быть «дневником сумасшедшей домохозяйки», обрели литературность. Она вдруг открыла, что форма наделяет пережитое прочной жизнью. Ты овладеваешь материалом, лишь когда находишь ему точную форму, аморфность слаба и нежизнестойка, как островная мошкара. Она нередко старалась придать своим записям вид маленьких новелл, завершенных в самих себе, стала работать над фразой, изво-

дить бумагу на черновики. Она не помышляла о напечатании этих набросков, но как-то допускала, что их прочтут. И не то чтобы родные после ее смерти, обнаружив в недрах письменного стола связку толстых клеенчатых тетрадей, а совсем посторонние люди при ее жизни. Она никогда не думала всерьез о том, чтобы выйти на суд людской, и гнала прочь подобные мысли, если уж слишком наседали, но подспудно это жило в ней, ибо есть в человеке тот подвал, куда он вроде бы не заглядывает, а там-то и таится самое главное...

И, втирая в кожу крем перед туалетным зеркалом, Ольга думала, чем пополнится ее тетрадь после неожиданного приезда Иванцовых, думала о своем лице, вроде бы сохранившем четкий овал, о своей шее, еще округлой, и с раздражением понимала, что Иванцовы без особых усилий разглядят все пятна и следы времени, оставленные на ее плоти, жалела, что их приезд застал ее в «шатеновый» период, куда проще было встретить их брюнеткой или того лучше — рыжей, и удивлялась своему волнению.

Радостные возгласы, приветствия, она зачем-то поцеловалась с Жанной, шутики по поводу взаимного неузнавания (итак, она тоже неузнаваема), пролитое на скатерть в спешке — скорее чокнуться! — красное вино, громкие упреки не поймешь в чем: «Это все вы!», «Нет вы!» — словом, встреча по высшему классу старой дружбы, а значит, с бескорыстной фальшью: ведь дружба не успела начаться. Но что-то все-таки началось, иначе почему Иванцовы здесь? Почему они приехали через столько лет к людям, которых видели меньше суток, с которыми обменивались лишь телеграммами и открытками (Ольгины послания не в счет, на них не бывало и не ожидалось ответа) да короткими, неслышными, полубредовыми телефонными разговорами? И почему они приняты так, словно их все время ждали? Значит, действительно что-то зацепилось тогда?.. Или что-то кончилось потом?..

Ольга с наигранным умилением, на деле же цепко и остро приглядывалась к гостям. Тот несколько загадочный образ, в котором удерживал ее нынешний цвет волос, помогал ее наблюдательности, исключая внешнюю активность, суету, организацию быта. Игорь безотчетно и безропотно подчинился этой пере-

мене, требовавшей от него бóльшего включения в хозяйственные заботы, и сейчас неуклюже, но старательно обслуживал гостей, предоставив жене свободу.

Ее первое впечатление, что нынешние Иванцовы не имеют ничего общего с прежними, укрепилось. Прежде всего они начали пить. Потом перешли в другой вес, в буквальном и фигуральном смысле. Какие они большие, могучие, иначе не скажешь, здесь дышала сама древняя богатырская Русь. У Жанны в наплечной кожаной суме (суме переметной, а не дамской сумочке) свободно мог бы поместиться богатырь средних габаритов. Кирилл?.. О нем очень точно сказал Игорь, подметивший пытливый взгляд жены: «Верно, он похож на конную статую?» Лучше не придумашь. При всей своей отяжеленности, даже живот наметился, Кирилл остался красивым человеком, хотя красота его стала другой: огромная, совершенной формы голова, прекрасной лепки просторное лицо с широко расставленными серыми чуть навывкате глазами, большой, четко очерченный спокойный рот. Он освободился от своей ернической манеры лыбиться невесть с чего, сыпать шутками и присказками, всякими защитными фразочками, вроде «большие, большие и красивые, красивые дома», которые якобы собирался строить. Вспомнив об этом, Ольга спросила, удалось ли ему осуществить свое намерение. Он удивился ее вопросу: верно, не понял, что это цитата из него самого, а, получив разъяснение, усмехнулся и сказал, что «больших домов» он построил во множестве, а вот «красивых, красивых»... и развел руками. Ольге почудилось, что он не просто шутит, веселый ответ скрывал какое-то разочарование. Жанна с неожиданной тонкостью поняла все это и стала превозносить мужа. Кирилл застраивает целые районы, он в Ленинграде нарасхват, получил Государственную премию... «Уймись, — полуобернувшись к ней, бросил Кирилл. — Премию мы получили целой шарагой». Они заспорили, а Ольга подумала, что плохо дело, когда достоинства творца надо подтверждать наградами, премиями и прочими вещественными знаками признания. Впрочем, это справедливо не только для творцов. Она не станет хвастаться, что Игорь стал профессором.

Да, свершилось уже нечаемое. Игорь перешел на преподавательскую работу, получил кафедру, а если

всерьез, то распрощался с надеждой сказать свое слово в науке. Но, видимо, он так устал гоняться за призраком великого свершения, так был измотан неудачами, безнадежной застылостью своей судьбы, что эфемерные лавры расслабили в нем какой-то мучительный сцеп, сняли судорогу неудовлетворенного честолюбия, оскорбленной гордости, и он принял подачку куда охотнее, чем можно было от него ожидать. Он не обрел счастья, для этого в нем должна была бы смениться кровь, но ему стало легче. Душа многослойна, и живет человек обычно верхними слоями; особенно хорошо защищенные люди умеют вообще не помнить о наличии глубинных слоев, Игорь к их числу не принадлежал, он затаил горький вздох, но было бы куда хуже, если б все оставалось по-прежнему. Игорь и влюблялся теперь реже, словно нехотя, чтобы не потерять форму. Значит, он достиг какого-то душевного равновесия. Но Ольге казалось порой, что он жалеет о своей проклятой лаборатории, о сумасшедших надеждах, сменяемых отчаянием, о фанатичных поисках и вере, вере... Нет, он не обманывался на тот счет, что за внешним успехом — капитуляция...

А вот у Жанны — полный порядок. Она достигла вершины в своей области. У нее был большой тугой зад, крепкие икры, распирающая кофточка грудь, яркое до грубости лицо, она еще в большей мере, нежели Кирилл, изжила свой юный образ, но то, что получилось, наверное, нравилось мужчинам. От нее исходил какой-то сухой жар, и глаза ее ярко блестели. Ольге она не нравилась. Но, может, это обычная зависть малых росточком людей к великанам? Жанны было на редкость много не только телесно. Ольга редко встречала столь мощно озвученного человека. Она говорила неумолчно — уверенным, громким, чуть хриповатым от табака голосом, басовито смеялась, кашляла, щелкала сумкой, хрустела чем-то в одежде и создавала вокруг себя кинетическую бурю: хваталась то за сигареты, то за ронсонскую зажигалку, роняла ее, подбирала, шаря рукой по полу, то за пепельницу, хотя сбрасывала пепел или в тарелку, или на скатерть, или себе на юбку, собирала этот пепел длинным ногтем и опять рассыпала, часто прикладывалась к бокалу, то и дело поправляла красивые, естественного орехового цвета волосы, ры-

лась, гремя и звеня, в суме переметной и ничего оттуда не доставала, хлопала в ладоши при каждой удачной фразе — своей или чужой. Ей было совершенно безразлично о чем говорить, с поразительной легкостью она перескакивала с предмета на предмет и обо всем все знала.

Ольга украдкой поглядывала на Кирилла. Вид у того был отсутствующий. Разглагольствования жены шли мимо его слуха, а он, откинувшись в удобном мягком кресле, потягивал вино, отдыхая после долгой дороги. И, наверное, был доволен, что велеречие Жанны избавляет его от необходимости участвовать в разговоре. Подобный негласный сговор облегчает ход семейной телеги. У них с Игорем так не получилось. Он мог ее обрезать при посторонних, если его что-то в ней раздражало, она была бережнее к больному мужскому самолюбию, но тоже при случае давала сдачи и не всегда приходила на помощь. Наверное, им не хватало любви, осенявшей Иванцовых уже столько лет. И тут в ней шевельнулось сомнение: так ли уж беззаветно влюблены друг в друга Иванцовы, как в далекие островные дни? Жанна берет игру на себя, что вполне устраивает Кирилла, он производит впечатление человека то ли заленившегося, то ли подувшего азарт жизни. Возможно, он не испытывает восторга от ее разглагольствований, но так проще и удобнее. Не чувствовалось в них прежней поглощенности друг другом, может, этим и объясняется неожиданный приезд? На необитаемый остров их явно не тянет. Впрочем, не стоит спешить с выводами.

Иванцовы явились с диковатым предложением: ехать вместе, прямо сейчас, машиной на юг. Почему же было не написать об этом заранее, не позвонить? «Этот метод скомпрометирован, — сказала Жанна. — Сколько раз мы так делали и в результате увиделись через восемь лет». И вдруг оказалось, что бредовая идея вполне осуществима. Игорь уже находился в отпуске, Ольга могла взять его хоть завтра, многоумный сын бесился в Артеке, а Лена уезжала на спортивный сбор. Старую кошку Василису можно, как всегда, подсунуть соседям. Людям мешают не столько дела и заботы, сколько косность и боязнь нарушить инерцию.

Когда уже все было обговорено и решено, возникла мысль изменить маршрут и вместо надоевшего пере-

населенного юга махнуть на север. Курбатовы недавно приобрели вездеход «Нива», на котором Игорь собирался ездить на рыбалку. Он не был рыболовом, но в профессорской среде, к которой он теперь принадлежал, считалось обязательным иметь какое-то увлечение, связанное с природой. Приходилось выбирать между альпинизмом, скалолазанием, подводной охотой, просто охотой и рыбалкой. Игорь остановился на самом простом и наименее утомительном — рыбалке, ради этого он и взял вместо «Жигулей» «Ниву»: передние и задние ведущие — это звучало убедительно для любителей усложнять жизнь, Игорь сразу стал своим, хотя дальше экипировки дело пока не двинулось.

— Поехали на Север, — предложил Кирилл, — к старым великим монастырям, где роспись Феодосия, иконы Кушакова, а главное — тишина, безлюдье. И нет оголтелых южных толп, очередей в молочные и шашлычные и кишаших телами пляжей.

Что-то похожее на воодушевление проглянуло в тоне и повадке Кирилла. Игорь был равнодушен к монастырям, не интересовался церковной живописью, но еще больше не любил юга — из-за многолюдства. «А купаться там есть где?» — «Еще бы! Великолепные озера, прозрачные до самого дна, монахи знали, где селиться. Рыба сама ищет крючок, вот такие сазаны и караси! Я там часто бывал в студенческие годы». Ольга давно мечтала о Севере, знала там каждый монастырь, каждый храм и каждую старенькую деревянную церквушку, пощаженную огнем небесным и людским, но все по книгам. Она пришла в восторг, что, впрочем, мало затронуло присутствующих. Окончательное решение зависело, по-видимому, от Жанны. Та освежилась глотком вина, закурила новую сигарету, все это с крайне значительным видом, и заявила, что паломничество по северным святым местам давно ее привлекало, но старой их «Волге» не осилить проселков, особенно если зарядят дожди. А коли бог послал вездеход — передние и задние ведущие, — то и думать нечего. От радости Ольга захлопала в ладоши, на что никто не обратил внимания.

Ольгу обычно не слишком занимало, как относятся к ней люди, ей было важно собственное отношение, свой жадный к ним интерес. Чувство это неизме-

римо возросло с появлением тетради в черной клеенчатой обложке. Но она не могла воспринимать Кирилла просто как знакомого или дорожного спутника, и его пренебрежение ее коробило. «Неужели все дело в том, что они люди нерядовых профессий, а я простая служащая? Но ведь Жанна всего лишь администратор от искусства. Преуспевающий администратор, но какое нам с Игорем до этого дело? И все же Игорь считается с ней, а Кирилл со мной нет. При этом Жанна несколько не волнует Игоря. Разве так смотрел он на нее на острове? Сейчас у него взгляд вареного судака. И Жанна это чувствует и распускает хвост. Неужели ей нравится мой мрачнюга? Он привлекает женщин, но более молодых, наивных, неискушенных, он им безотчетно напоминает тех антигероев, о которых они не читали и которых не видели на экране, но чей манящий образ реет в воздухе. Но Жанна — тертый калач, впрочем, ум и ловкость администратора не имеют отношения к женской сути. Забалованная любовью Кирилла, она могла остаться недоразвитой в сфере чувства. К тому же в своем кругу она привыкла царить и сонный взгляд когда-то жадно распахнутых глаз ее задевает. Ладно, проживем — увидим. Мне здесь отводится роль собачьей души, верной, преданной, заранее на все согласной и радостно лижущей хозяйские руки. Вообще-то, мне плевать на их дурацкое высокомерие, я действительно всему рада, с тех пор как выздоровела моя девочка и... с тех пор как у меня есть моя тетрадь», — последнее сказало в ней через заминку, разозлившую Ольгу. «Почему я должна этого стесняться? Потому что я не просто веду дневник, а замахиваюсь на литературу. В дилетантстве есть что-то стыдное. Но так ли уж величествен профессионализм, если за ним нет бога? Чем ремесленник от науки или искусства лучше одаренного дилетанта? Тем, что он, как правило, точнее, тверже делает свое дело. А я даже не знаю, есть ли у меня хоть какие-то способности. Но я никому не навязываю своих писаний. Стоп!.. Я отдаю им время, которое должно принадлежать дому, семье, детям. О господи!.. Кто-нибудь еще задумывается над этим?.. Ладно, хватит ныть, надо собираться в дорогу. Ни от Игоря, ни от гостей не жду проку, а ведь двое из нашей компании — настоящее «кладбище для отбивных» — откуда это?..»

...Через три дня погожим утром они ели тощие шашлыки на струганых деревянных палочках, запивая жирное, с дымком мясо бледно-розовым молдавским вином у стен Троице-Сергиевой лавры.

А затем долго слонялись по монастырскому двору, приглядываясь к похожим на хлопья копоты старухам, с обглоданными древними лицами и горящими глазами фанатичек, к калекам в креслах на колесах и самодельных тележках, иные перемещались вполз, отталкиваясь от земли деревянными утюгами, обезножившие страдальцы пронесли веру в исцеление со дней Сергия Радонежского, к ражим молодцам-семинаристам, наводящим на мысль о бессмертном забулдыге Хоме Бруте, и разудалым бурсакам, столь любимым русской словесностью, к чинным слушателям — или как их там? — духовной академии с бледными лицами в обрамлении жидких молодых бород и пытливым, исподлобья, взглядом; куда меньше привлекали их многожды виденные храмы, колокольни, трапезные, палаты. У скорбных могил Годуновых Игорь покинул компанию и пошел в машину читать графа Монте-Кристо. «Мне нравится, что ваш муж не притворяется любителем старины, — заметила Жанна. — Кажется, он вообще не играет ни в какие культурные игры». Уж не в Ольгу ли она метила, считая показным ее наивный энтузиазм? Но Ольга была искренна, в чем не собиралась убеждать Жанну, впрочем, поступаться в поездке чем-либо для себя интересным она тоже не намерена, пусть лучше Жанна подозревает ее в ломанье. «Да, он естествен, как природа, — сказала она о муже. — Правда, природу никто не обвинит в невоспитанности». — «Господь с вами, мне это и в голову не приходило, — впервые смешалась Жанна. — Мне очень нравится простота его поведения. Я сама такая же». — «Ну, значит, вы легко найдете общий язык». Ольга заметила, что Кирилл прислушивается к их разговору, как-то подозрительно щурясь. Похоже, ему доставило удовольствие, что Жанну сбили с толка...

Из тетради Ольги Курбатовой:

«...Мы уже четвертый день в пути. Я мало записываю, потому что негде уединиться. Я не люблю раскрывать свою тетрадь даже на глазах Игоря. Это все равно что

раздеться при посторонних. Правда, большинство людей относится к этому с простотой богов Олимпа, не замечавших, драпируют ли легкие ткани их совершенные тела или сорваны шаловливым зефиром, а я так не умею. Я до сих пор стесняюсь Игоря и ни за что не покажусь голой своей дочери. И дело не в том, что я стыжусь своего тела, я нормально сложена, не одрябла, у меня чистая кожа, но мои старомодные родители внушили мне в детстве несовременную стыдливость. И мне отчаянно стыдно записывать свои сокровенные мысли на глазах других, ощущение такое, будто я душевно обнажаюсь. А приткнуться негде, твое укромье сразу обнаруживают и с ехидцей: «Никак, сочиняете!» или что-нибудь столь же дурацкое. И почему об этом положено спрашивать с лукаво-усмешливым видом, будто ребенка, изображающего курильщика с помощью щепки или карандаша: «Да ты, никак, дымишь, малыш?» То ли так бессознательно выражается неверие в твои возможности, то ли замаскированное презрение к бездарной любительщине? У Чехова есть рассказ про сельского сочинителя, замученного насмешками и кличкой «писатель». Я уже не раз слышала и от Жанны и от Кирилла: «Наша сочинительница». Нет, я ничего не сочиняю, записываю как есть. Вернее, как вижу. Стараюсь понять себя и других, все, что происходит с нами, хотя с нами ровным счетом ничего не происходит. Но вот я раскрываю тетрадку, беру карандаш, и пусто прожитый день заполняется; на самом деле, все время что-то происходит, только мы не задерживаемся на «мелочах», ничему не придаем значения, торопимся жить дальше. Единственный способ дать происходящему вокруг тебя значение и вес — это фиксировать его на бумаге. Но не так, как я делала все предыдущие дни, — не скорую руку, чтобы упаси боже никто не застал меня за стыдным занятием. Ведь не думала же я о том, как выгляжу, когда рожала, мне надо было дать жизнь ребенку, помочь ему появиться на свет, ничего в нем не повредив, я была сосредоточена на своем важном труде, так и здесь нечего стесняться, надо тужиться и не думать о том, какое впечатление ты производишь на окружающих...

...Посмотрела я свои записи — до чего же они бедные и формальные! А ведь мы проехали Загорск, Переяславль, Ростов, Борисоглебское — мои люби-

мые места. А пишу я о них так, будто собираю материалы для туристской брошюры, голые факты, пустые сведения. Кстати, для этого можно было бы и не ехать. Жанна знает все о каждом здании, церкви, колокольне. У нее поразительная механическая память, и она запомнила все, чему ее учили на лекциях по истории отечественной архитектуры. Правда, я заметила у нее странную особенность: она не узнает здания, даже целые ансамбли; так, она не узнала Горицкий монастырь в Переяславле, но стоило назвать его, как она буквально засыпала нас сведениями об этом памятнике. То же самое произошло в Ростове и в Борисоглебском. Может, потому и не вышло из нее зодчего, что ее глаз не отзывается на форму и образ строений? Зачем же пошла она в архитектурный? А зачем я пошла в финансовый? В школе мне легче всего давалась математика, возможно, Жанна была первой по черчению. В отличие от нее Кирилл сразу узнает любой памятник, но ни дат и ничего прочего, сопутствующего, не помнит. И тут Жанна берет свое. О любой церкви она может сказать, когда и кем построена, по какому поводу, когда освящена, когда и как перестраивалась, какие хранит культовые ценности. Раньше я бы с ума сошла от радости, что мне все так замечательно объясняют, а сейчас притворяюсь, будто в восторге и упоении. Конечно, мне приятно видеть кремли, и храмы, и золотые купола, но жизнь, творящаяся в железной коробочке нашей машины и на привалах, интереснее «седой старины» и плоских грустных пространств, приютивших ее в себе. Храмы, колокольни, звонницы, трапезные, палаты, алтари, иконостасы, царские врата, простите мне мою холодность, я еще вернусь к вам, а пока мне хочется разобраться в моих спутниках, прежде всего, конечно, в Иванцовых. Игоря на время исключаю, хотя и он любопытен в сложившихся обстоятельствах. Об Иванцовых, если просто и коротко: разомкнулось объятие. Но как, почему и кто первый убрал руки, не знаю. Скорей всего, резкого разрыва не было, время исподволь развело сцеп. Но не ошибаюсь ли я? Юный пыл нельзя сохранять вечно. Страсть уступает место другой любви: спокойной, верной, надежной и по-своему не менее сильной, чем в головокружении начала. Мне хочется уверить себя, что у них что-то разладилось. Но я исхожу из внешне-

го, поверхностного впечатления. Конечно, сейчас они не укроются на острове и не выйдут обнаженными навстречу непрошеным гостям, чтобы изгнать их из своего рая. Им прежнее уединение не только не нужно, но, пожалуй, опасно, поскольку обнаружится возникшая между ними пустота. Они редко обращаются друг к другу: все переговорено и каждый заранее знает, что скажет другой. Кирилл, правда, подсказывает Жанне названия церквей и делает это деликатно, как бы между прочим, щадя ее самолюбие, чего никак не скажешь о моем профессоре. Конечно, Игорь — хам, да и я не прежняя овечка, но разве мы ничего не значим друг для друга? Да он загнетса без меня, прежде чем научиться жарить себе яичницу. Впрочем, погибнет он не от голода, а от неконтактности, полного неумения строить отношения с людьми. Я веду его сквозь жизнь на невидимых помочах, как малыша, учащегося ходить. Сам он не сделал мне, в сущности, ничего хорошего, кроме детей, но и этого более чем достаточно, чтобы я прощала ему жалкие грехи. А честно — и мне без него стало бы куда труднее. Своей слабостью, неприспособленностью он будит во мне какие-то скрытые силы, делает смелее и выносливей. И не только это. Он необходим мне со своим вечно дурным настроением, болезнями и странной гордостью. Он никогда ни перед кем не заискивал, не искал окольных путей, нужных людей, покровителей, был сам по себе и поступал только себе во вред. Это редкость в наше прагматическое время. Мы никогда не были Адамом и Евой, но молодость у нас была, и были единство, и радость, и хорошая компания, и доброе застолье. Потом у него испортился характер, все потускнело, я переключилась на детей, он — на баб, но, по совести, мне трудно его упрекнуть. Неудовлетворенность главным делом плохо компенсировалась в семейной жизни, где он тоже оказался на вторых ролях. По-моему, из-за этого он не смог понастоящему сблизиться с детьми. Он их любит, но словно на расстоянии. Нельзя сказать, что у нас с ним наступило охлаждение, пламени-то сроду не было, поскольку я не сумела зажечься. Но у нас с ним застыло в приемлемой форме с у п р я г и — мне недавно попало это слово в романе о послереволюционной деревне, так называли объединение двух крестьянских дворов на экономической основе. Нас

с Игорем связывает не только экономика, мы нужны друг другу, нужны детям, мы будем до конца тащить вдвоем свой воз. Впрочем, за это нельзя ручаться. Недавно я поняла, что время работает не на укрепление, а на расслабление уз. И вдовцы с такой быстротой женятся, а вдовы — выходят замуж, что не только не успевают износить башмаков, в которых шли за гробом, но и просто разуться после похорон. Очевидно, в слишком затянувшихся браках изгнивает живая сердцевина и остается мертвая оболочка из рутины, привычки, боязни осложнений, и смерть несет избавление более жизнестойкому. Но это уже в старости, которой мы покамест не достигли. А сейчас мы с Игорем — замечательная, крепкая советская семья, а вот что такое Иванцовы — не ясно. Они начинали на очень высокой ноте и, кажется, сорвали голос. Получился каламбур: они действительно больше не поют дуэтом. К тому же у них нет детей, а это тоже кое-что значит. В их душах просторно, там найдется место для любого постояльца. Похоже, Жанна решила приручить — скажем деликатно — моего невежу. Это по ее инициативе мы разбились на пары. Правят в очередь то она, то Игорь, поэтому они занимают передние места. Кирилл поначалу брал в руки баранку, но с такой ленью, что его перестали тревожить, я же так и не научилась водить машину, мы задние пассажиры. Жанна правит лучше Игоря, увереннее, а главное, куда свободней. Игорь вопьется в дорогу и уж ничего не замечает, кроме встречных машин, дорожных указателей, обочин и пищеварения мотора. А Жанна правит как бы между прочим, одной рукой, другая обычно занята сигаретой — курит она беспрерывно, иногда поправляет прическу или пудрит нос, разглядывает себя в зеркальце, к тому же трещит без умолку. Из-за шума мотора почти ничего не слышно, но иногда долетают волшебные имена Феллини, Минелли, Мартини, впрочем, последнее, кажется, не из державы искусства, а по винной части. Жаль только, что Игорь не оценит всех этих тонкостей, он терпеть не может кино, эстраду, за границей не бывал, а из напитков предпочитает водку и пиво. А я вдруг поняла Игоря. Он не может простить Жанне, что она украла у него ту стройную девочку с необитаемого острова. Ведь если не делать удручающих сравнений с прошлым, то Жанна по-своему хороша и уж, во всяком

случае, неизмеримо лучше Игоревых лохмушек. Но он помнил островитянку, а Жанна ее убила. И он мстит ей вызывающим пренебрежением. А Жанна не привыкла терпеть поражения. Ей необходимо самоутверждаться в любом окружении, любой среде. А зачем? Она же очень преуспевает по службе. Но не преуспевает у Кирилла, и это ей не безразлично. Ей кажется, что, швырнув Игоря к своим ногам, она выиграет в глазах Кирилла. А чего хочу я? Чтобы Кирилл заметил меня, догадался, что я тоже женщина. Неужели он мне действительно нравится? Нет, это что-то другое. Он мне по-человечески не нравится. Ужасно трудно сформулировать свое отношение к нему. Он проник мне в кровь. Это случилось еще тогда, на острове. Потом я забыла о нем, но вот он появился, и давно канувшее вернулось. Мне это мешает. Я не представляла, что в такой тесной территориальной близости — нас же прямо кидает друг на друга на ухабах — можно остаться столь разобщенными. Незнакомые люди в общем купе невольно вступают в какие-то отношения. Кирилл же меня не видит. Что я — порченная, или патологический урод, или непроходимая дура, или от меня дурно пахнет? Да ведь нет ничего этого, и другим людям я чаще всего нравлюсь — и мужчинам и женщинам. Но здесь я провалилась и у него и у нее, хотя и устраиваю их как спутница, тем более что веду наше маленькое дорожное хозяйство.

Лишь раз он обратился ко мне. Жанна, почти бросив руль на скверном, ухабистом, разбитом шоссе за Ярославлем, что-то с жаром доказывала Игорю, почти задевая горячей сигаретой его сонное лицо.

— Отелло и Дездемона, — сказал Кирилл. — Только навыворот.

Я не поняла.

— Старый мавр доконал девчонку болтовней. Здесь роли переменились: Дездемона берет мавра за горло.

— Вы ревнуете? — спросила я.

Он усмехнулся и ничего не сказал...

15 июля

...Давно ли я написала, что древности меня не волнуют, и вот уже должна взять назад эти безответственные слова. Мефодиевский монастырь перевернул мне душу. Боже, до чего же хороши белоснежный

кремль, и собор, и надвратная церковь, опрокинувшись в прозрачное озеро! А трехсотлетние живые дубы, а бархатистый исчерна-зеленый мох на камнях в изножи монастырских стен, а трапезная с узкими прорезями окон, а деревянная галерея, идущая вдоль долгого пристенного здания, где находились монашеские кельи! Как это чудесно и как горестно мое словесное бессилие... Великая и проклятая русская литература сказала о монастырях, церквах и соборах все, что можно сказать, и с верой, и с безверием, и до слез трогательно, и насмешливо, и восторженно, и осуждающе, и с печалью, как об уходящем, и с каннибальным оскалом: да сгинь!.. Нет у меня своих, никогда и никем не произнесенных слов, а придет человек, посмотрит вокруг такими же, как у меня, серо-голубыми глазами и увидит вроде бы то же, что вижу я: белые стены, золотые главы, узкие окна, бойницы, дубы и ворон, но увидит так, будто никто до него не видел, и скажет об этом такое, словно не было ни Тургенева, ни Лескова, ни Чехова, ни Бунина, ни Мельникова-Печерского, никого, и люди ахнут и сами увидят все по-новому, как он велел. Какое же это счастье, и почему мне не дано? Лучше бы уж вовсе не догадываться о нем, тогда бы душа была спокойна. Как у моего Игоря или Жанны. Кирилл, тот малость загрустил, но по своему поводу. Вот, мол, обычное строение XV века: крепостца на северном пределе начавшего расползаться княжества Московского и собор как собор, ничего гениального, строили безвестные мастера, хорошие ремесленники, а мы ахаем и охаем. Может, время возводит обыденное в высший чин? Может, и наши микрорайоны будут казаться потомкам чудом красоты? Ишь, скажут, как строили, черти, какой вкус, какая фантазия! И какая во всем соразмерность, гармония! Что за гений это создал? Кирилл Иванцов, ныне забытый зодчий. Боже, вздохнет потомок, как же мы расточительны, если забыли Кирилла Иванцова!

— Не завидую потомкам, если наши микрорайоны покажутся им чудом,— пробурчал Игорь.

— Завидовать нечего...— рассеянно, думая о своем, отозвался Кирилл.

Сосет червячок. И не в шутку было сказано при встрече: «большие, большие» дома построил, а «красивых, красивых» пока не видать...

В монастырском дворе много разного люда, одни сидят и лежат на траве, другие расположились на лавках и что-то едят из газет и мешочков — дорожный припас, — иные дремлют под сенью старых дубов, мухи садятся на потные лица. День солнечный, но паркий, душный, похоже, гроза собирается. Поглядишь на все это и забудешь, какой на дворе век, — паломники, страждущие духом и телом, сползлись со всей Руси поклониться святым иконам, Николаю-угоднику дивной кисти солнечного Феодосия и его же Спасу на плафоне, грозному лику, сильно пострадавшему от времени. Как странно, что единственная роспись, поддавшаяся тлену, — лик Спасителя. Странная и многозначительная двусмысленность, чем-то напоминающая конфуз с мертвым телом старца Зосимы, доставивший такое гнусное удовольствие старику Карамазову. Может, и тут испытание: я покроюсь тленом и плесенью среди сохранившей всю первозданную красоту и яркость живописи, а вы не дрогнете в своей вере в меня. И началось это испытание со страстей богочеловека.

Конечно, все эти люди не были странниками, каликами переходжими, но паломниками ко святым местам Феодосиева искусства их можно назвать. Немногие, как и мы, приехали на машинах, другие на автобусах, есть и такие, что добирались попутным транспортом и просто пешком — древним русским способом: разувшись, шагали по теплой земле, по толстой мягкой пыли, по жестким складкам проселков и полным влаги колдобинам, по траве-мураве, по цветам терпеливо шли бескорыстные люди разного чина-звания, но здесь все без чинов становилось; перед богом, пусть ему и не служат, он все равно пребывает в своем доме, равны большие с малыми. Так думала я в простоте души, пока не услышала ужасные слова: из-за повышенной влажности к Феодосию не пускают. Вот почему так картинно раскинулись под дубами, мгновенно обретя древле-истомленный вид, паломники-туристы. Добирались сюда с муками, а к святыне-то нет хода. Оказывается, не все равны в бывшем божьем доме, в чем я не замедлила убедиться с радостью, крепко смешанной с отвращением и стыдом. Нас пропустили. Как только узнали, что тут архитектор-лауреат и профессор — завкафедрой, повышенная влажность воздуха перестала иг-

рать роль. Впрочем, не исключено, что главную роль сыграла всюду входящая Жанна. А может, наши драгоценные легкие не выдыхают влажных пузырьков? Сама заместительница директора по научной части вызвалась быть нашим гидом. Тут возникла небольшая заминка. Пока мы расписывались в книге почетных посетителей, несколько паломников прорвались следом за нами в вестибюль. Их стали гнать прочь.

— А кто дал вам это право? — с ненавистью крикнул Кириллу голубоглазый бородач.

— Господь бог, — смиренно ответил тот.

Бородач глянул в книгу посетителей. «А-а, понятно!» — и сразу исчез. А почему он так оробел? Почему признал наше преимущество? Раз нельзя, так всем нельзя. Фрескам Феодосия едино дыхание профессора или счетовода. Мне было стыдно, и все же я пошла. Еще стыднее было бы, если б я не пошла и поставила в глупейшее положение нашу любезную гидессу, которая в дальнейшем раскрылась весьма замечательным образом.

Поначалу я как-то не обратила на нее внимания, смущенная мерзким проявлением nepoтизма. Когда мы уже перешагнули заветный порог и робкие бунтари удалились, в святая святых ворвались какие-то теткн типа пригородных огородниц или молочниц, а с ними крепкий, с каленым лицом старикан. Они, верно, услышали, что кого-то впустили, и решили силком осуществить свое право. Доказывать что-либо этим решительным людям не имело никакого смысла. Они были из тех, кто никогда не ждет милостей ни от природы, ни от себе подобных. Наша гидесса сразу это поняла, кинулась им навстречу, загородила проход, за которым голубел, розовел и золотился Феодосий, своим крупным телом, увеличенным холщовым хитом, старинным русским платьем, которое она наде- ла, когда пошла с нами в храм, до этого была в строгом английском костюме. Крестом раскинув руки, она произнесла низким, из глубины, голосом, который, усиленный резонансом, был почти страшен: «Стой, дерзкие! На что покушаетесь?.. Выйдь!» В этом было что-то библейское, что-то от древних пророков, и теткн со своим краснорожим вожаком отпрянули. «Назад! — продолжала пророчица. — Иль не будет вам удачи в делах ваших!» Последнего энергичная

команда никак не хотела, и торгаши вновь были изгнаны из храма.

Гидесса заперла дверь большим ключом и спокойно присоединилась к нам. Ни улыбки на лице, ни слова в объяснение диковатой сцены — вот это характер! — и жестом пригласила нас следовать за ней.

Теперь уже я пригляделась к ней. Она на редкость хороша собой, но типично русская красота ее сурова. Это не Кустодиев, не Архипов, такой могла быть боярыня Морозова, еще не истомленная заточением, пытками, но уже ведающая о своем избранничестве. Очень правильное, классически правильное лицо, бледное, с черными матовыми глазами, в которых изредка вспыхивает искра, твердый обветренный улыбающийся рот, высокая гордая шея. Благородно удлиненные кисти рук. О фигуре ее трудно судить из-за бесформенного хитона. Она довольно высока ростом, с развернутыми плечами и очень прямой спиной, высокая грудь натягивает льняную ткань. У нее неспешные торжественные движения и плывущая поступь, вот оно, старинное: как лебедь белая, плывет. Я подумала, что ее поведение — игра, умно найденная поза, но когда она заговорила, рухнула к ее ногам.

Дело не в том, что она говорила, а как она говорила. Очень ровным, глубоким, довольно низким, чистым голосом, сохраняя в лице спокойную величавую печаль. Она ни разу не сбилась на скороговорку, не поддавалась профессиональной монотонности, не позволила себе той полуулыбки, какой умный экскурсовод извиняется перед квалифицированной аудиторией за то, что в тысячный раз повторяет одно и то же. Нет, ее речь звучала так, словно она впервые произносила вслух давно выношенное в душе. При этом она не делала вида, будто импровизирует, слова были отобраны, тщательно выверены; весомые пространственные фразы со сложным синтаксисом и торжественным ритмом поначалу озадачивали необычностью и непростотой построения, а потом обрели музыку, усиливающую впечатление от сказанного. Так говорил бы орган, если б обрел дар слова. А когда она чуть смягчила интонацию, сделала более житейской и теплой, то слезы навернулись на глаза. Так она рассказывала о приходе сюда из-за лесов, болот,

полей и рек старого Феодосия с двумя дюжими сыновьями; монастырь был почти необитаем, мастера работали в глухой пустоте, кормились ржаными сухарями и козьим молоком, спали в балагане из веток и древесной коры, с восходом солнца, помолившись, брались за кисти. Сохранилось предание, будто старый Феодосий, пока творил свое художное дело, не употреблял ни медка, ни мяса животных и молодцов-сыновей держал в той же строгости, чтобы никакие греховные помыслы, никакое горячение крови не осквернили чистоты создателей божественных образов. К концу работы Феодосий так иссох и ослабел, что приходилось поддерживать под локоть руку, сжимающую чудодейственную кисть.

Она говорила, что исследователи так и не смогли установить, что писал Феодосий, а что его сыновья. Можно лишь о подкупольном Спасителе сказать с уверенностью, что это написано самим Феодосием, ибо не допустил бы мастер к изображению сына божьего учеников, пусть они ему родная плоть. Такое ведь не рукой пишется, а всей верой и мукой сердца. Да еще в большом и совсем не благостном Николае-угоднике трудно заподозрить участие чужой руки. Тут наша гидесса задумалась или сделала вид, что задумалась (я совсем, как Толстой: воробей сделал вид, будто клюнул зерно, — верх недоверия), и сказала: «Феодосий был совсем стар, когда приехал сюда, он расписал собор, исполнил главное дело своей жизни и отошел. А сыновья его, еще молодые, крепкие и, несомненно, искусные художники, исчезли, как и все не бывали. Никто не знает, куда они делись, как жили дальше, где работали, ни один из них не нажил самостоятельного имени. Как странно, писали неотлично от гениального отца, а он ушел — и они канули. Видать, настолько ему подчинились, что уж не способны были на творчество, или же иное: не было в них творческого огня, только наследственные способности, вот они и дали поглотить себя без остатка чужой творческой силе».

Когда мы прошли в последний придел со Спасом на плафоне, гидесса (ее зовут Надежда Дмитриевна) не пошла за нами. «Там слова не нужны?» — спросила я. «Нет, — прозвучал ответ. — Я не могу туда сегодня ступить». — «Что так?» — поинтересовался Кирилл. «Не достойна». — «Согрешили?» — не удержался.

жался тот от пошлости. Она так поглядела глубокими, сузившимися, потемневшими глазами, что, не будь он защищен броней самоуверенности и наплеваательства, быть бы ему испепеленным. «Да,— сказала она, чуть вскинув голову,— была гневной». — «К жеман-мироносицам вы, похоже, не принадлежите?» — продолжал резвиться Кирилл. «Нет!» — отрезала она и отступила от дверей.

Когда-нибудь я напишу об этом создании Феодосия, но не в суете нашего нынешнего существования. Перед ним меркнет даже поразительный Николай-угодник с его большим, темным мужицким лицом и странно тоскующими глазами. Я не видела такого Христа — грозного и чуждого прощению. Может быть, нечто подобное есть в Христе Микеланджело в «Страшном суде», но трудно судить по репродукциям. Но для меня гневный, яростный, поражающий грешников сын девы Марии вообще не Христос. А это Христос, но в такой безнадежной печали, и разочаровании, и отчуждении ото всего, что щемит сердце. И невероятно, что такого Христа написал просветленный, нежный Феодосий. Его Христос искупил грехи человеческие и понял, что ни к чему его жертва. Невыносимо угрюм его взгляд, в нем нет ни сострадания, ни снисхождения, не говоря о прощении. И пятна сырости усугубляют угнетающее впечатление от образа. И ко всему он дивно, как-то грешно красив.

Что случилось с Феодосием, если он после всех своих не написанных даже, а выласканных нежнейшей кистью небожителей и угодников божьих написал Христа, отвернувшего себя от людей и тем отказавшегося от своей сути? Что случилось с мастером, откуда у него такая безнадежность после столь долгого пребывания в божьем саду? Во что перестал он верить: в человека или бога?..

Когда мы вышли из придела, я спросила Надежду Дмитриевну: известно ли хоть что-нибудь о последних днях Феодосия, что сотрясло его угасающую душу? Она вдруг обняла меня, прижалась так, что я почувствовала запах сухих полевых цветов от ее кожи, волос и льняного платья, и шепнула:

— Зови меня Надей!

Она мгновенно угадала подтекст моего вопроса, значит, я верно увидела Феодосиева Христа: ее жест

и слова были как посвящение в сестры. А потом она призналась мне, что не один год пытается разгадать эту тайну. Когда-то существовало предположение, что это вообще не Феодосий писал, но тщательный анализ, проведенный крупнейшими знатоками, неопровержимо доказал принадлежность фрески кисти Феодосия. Да тут не нужно никакого анализа: не было тогда на Руси другого художника, которому такое было бы по плечу. Да разве допустил бы Феодосий другого к самому заветному? Надя считает, что какое-то страшное потрясение постигло художника. В его фреске — вызов, богоборство, поразительные для его светлой и кроткой натуры. «А может, он потерял сыновей?» — высказала я предположение. «Какой ты молодец! — сказала она с суховатой усмешкой. — Я вот сколько лет бьюсь, а ты явилась — и тайна раскрыта. Нет, сыновья Феодосия пережили отца, о том сохранились свидетельства». Может, Надя и похоронила себя здесь, чтобы разгадать эту тайну? Сейчас тут людно: полно экскурсантов, работают студенческие отряды — укрепляют осевшие монастырские стены, приезжают художники, реставраторы, искусствоведы из разных городов, но зимой — медвежий угол... Она как в заточении, и нужна какая-то большая цель, чтобы лучшие годы жизни убивать в такой глухомани. Будь Надя хоть местной, еще можно было бы понять, но она коренная ленинградка, там у нее мать, квартира. И странно, что она не замужем и никогда не была, а ведь ей к тридцати. Надя — незаурядная личность, к тому же красавица, наверное, многие мужчины добивались ее руки. Похоже, что тайна Феодосия не единственная загадка этой тихой обители...

24 июля

Я думала, что тесно сойду с Надей, и много накрутила вокруг этого. У меня есть странная особенность: я быстро схватываю в живом разговоре и поразительно тупа в чтении. Я имею в виду не беллетристику, а серьезные книги: по искусству, литературе, истории. Читаю — и ничего в меня не входит, вернее, входит, пока читаю, а закрыла книгу — и всё испарилось, хоть начинай сначала. Но в тех редких случаях, когда мне случалось говорить со специалистами:

искусствооведами, литераторами, историками, я сразу начинала понимать то, что ускользало от меня в умных книгах. За полтора часа с Надей я узнала о русской иконописи больше, чем за все предыдущие годы. Но какие-то мелочи мне стыдно у нее спрашивать, чтоб не показаться круглой душой: например, почему у всех коней на старых иконах и фресках такие маленькие головы? Что это за общая у всех изографов аберрация зрения? И я обратилась к Кириллу. «Божественные кавалеристы скакали только на ахалтекинцах», — ответил этот обормот. У туркменских коней, правда, маленькие головы, так что острота потянула на три с плюсом, но ответа я не получила. Ну и ладно. Куда хуже, что я совсем не вижу Надю. Влажность прошла, и все исстрадавшиеся паломники валом валят к Феодосию. Экскурсоводов не хватает, и Надя водит группы. К тому же директор в отпуске, и на ней все хозяйство заповедника и строительные заботы. Обидно, конечно, но ничего не поделаешь.

Кругом немало старинных церквей, заброшенных монастырей, а ходок я хороший да и попутные машины случаются, и я не теряю времени даром. Хуже обстоит с моими попутчиками, их никуда не вытянешь. Они вполне насытились Феодосием и не хотят больше ничего, тем более что не раз тут бывали, а Игоря далекое прошлое не интересует. Так на кой черт было ехать сюда? Не ради же мерзкого пива местного производства и мелких раков, которыми мы объедаемся до типуна на языке, и купания в довольно-таки холодном озере? Тогда уж честнее было махнуть на теплое море, к дымящимся шашлыкам и сухому грузинскому вину. А здесь стыдно вести такую растительную жизнь...

29 июля

Эти дни мне особенно везло с транспортом. Удалось съездить в Светлозерск, где сближаются две системы великих каналов — старая и новая, и оказалось, что старая надежнее, не заилется, в то время как новую, затопившую столько богатейших пойменных угодий, не успевают расчищать. Старый канал, довольно узкий, идет через город, его краем, а новый вливается в Светлое озеро, затем продолжается на другой его

стороне. Задумано вроде бы рационально, но почему-то не учли то, что испокон веку известно каждому местному жителю: озеро весьма капризно, большую часть года здесь свирепствуют штормы, и суда нередко терпят бедствия, поэтому сейчас срочно строят молы, волнорезы, чтобы как-то погасить губительную ярость водной стихии. И все громче раздаются голоса, что новый канал вообще не нужен, достаточно было углубить старый, построенный с образцовым расчетом. На узком бульварчике, идущем вдоль старого канала, я увидела бронзовый бюст строителя — графа Клейнмихеля, так вот он каков, столь щедро осмеянный Лесковым балбес Кленыхин, любимая жертва русских исторических романистов, включая Тынянова, царский подхалим, которого мутило при виде царя от страха и угодничества. Неплохо сработал шут гороховый!.. Полтора столетия прошло, а построенный им канал исправно несет службу, в то время как нынешний, созданный во всеоружии техники, не только подорвал экономику края, сильную молочными продуктами (с затоплением лучших покосов — заливных лугов — скот захирел), но и требует невероятных средств для своего поддержания. И я подумала, а что если вся русская история основана на литературных мифах? Едва ли есть другая великая страна со столь неразработанной историей; большинство наших представлений о знаменитых людях и событиях прошлого почерпнуто не из научных трудов, а из беллетристики. Русская философия — это литература, русская история — тоже литература. Вот и живут в нашем представлении пьянчуги-гвардейцы братья Орловы, ворюги: Меншиков и Шафиров, карикатурный Шувалов, половой психопат-меланхолик Потемкин, развратница Екатерина, интриган Безбородко, болван Клейнмихель, злой карлик Нессельроде, а кто строил Россию, кто собрал это непомерное государство и оберег от бесчисленных врагов, кто скрепил его расплзающееся тело дорогами, каналами, почтовой связью? Жалко, что у меня нет гуманитарного образования, как интересно было бы написать роман о созидательных силах России. При этом взять не эпоху Петра — тут много сделано, а, скажем, время Алексея Михайловича, или елизаветинское опамывание от кошмара бироновщины, или «дней Александровых прекрасное начало»...

Я попробовала заговорить об этом со своими спутниками, но они посмотрели на меня, как на сумасшедшую. Похоже, они вообще подзабыли о моем существовании, благо кормятся теперь своей мочью. Я удивительно умею выпадать из кузова, как последний, лишний гриб. И в моей собственной семье я становлюсь необходима, лишь когда несчастья, болезни, тяжелые неудачи. А здесь все, слава богу, отменно здоровы, веселы и, похоже, замечательно ладят друг с другом, хотя последнее для меня загадка. Жанна крайне серьезно взялась за моего мужа, и ему это начинает льстить. Первый и самый трудный барьер взят этой энергичной женщиной — память о стройной нагой девочке уже не мешает Игорю находить привлекательность в нынешнем пышном ее расцвете. При виде Жанны мне всегда вспоминается постановление об излишествах в архитектуре. Но гранит, мрамор, бронза, позолота и мореный дуб больше не отпугивают моего неблагодарного. А какова позиция Кирилла? Впечатление такое, что это его не только не задевает, но даже устраивает. Сегодня я получила тому подтверждение.

Когда я вернулась из Светлогорска, их не было в доме приезжих, дежурная сказала, что они на озере. Я пошла туда. Они варили на костре уху из плотиц, которых наловили днем. Я подошла туда одновременно с Кириллом, нагруженным пивом. И хотя я вернулась из дальней поездки, мне едва кивнули. Иные заботы туманили им чело.

— Достал? — сказала Жанна. — А где Надя?

Кирилл пожал плечами.

— Что-то опять со строителями...

— А нет ли у тебя соперника? — любопытствовал столь нелюбопытный Игорь.

Вот те раз! Оказывается, они сошлись с Надей куда короче, нежели я со своими «культурными запросами», и даже вон куда повернуло!

— Соперник есть, — нехотя сказал Кирилл с тем странным, нечитаемым выражением, которое я уже не раз видела на его крупном, обманчиво открытом лице. — Хотя совсем не такой, как ты думаешь.

— Не темни, — сказала Жанна. — К ней в келью прилетает Змей Горыныч? Или дух Феодосия?

Надя, правда, жила в монастырской келье, сырой и темноватой, но всегда хорошо протопленной.

— Феодосию с ней не справиться, — заметил Игорь. — Разве что сыновья подсобят.

— Никто к ней не прилетает, в том-то и загвоздка. Соперник — она сама... По вечерам наша милая Надя запирается на замок, снимает одежду, ложится на одр, гладит себя ладонями по всему телу и приговаривает: «Никому это не достанется, никому».

— Вот те раз! — всерьез удивился Игорь. — Плохо твое дело.

— Это нарциссизм, — авторитетно сказала Жанна. — Очень распространен в Швеции. Я видела фильм, снятый скрытой камерой.

— Грязное вранье! — крикнула я.

— Нет. — Кирилл повернулся ко мне. — Прежде всего тут нет ничего грязного. Все даже слишком чисто. А когда врут, то берут слово, что никогда, никому, ничего... С меня слова не брали. А рассказала экскурсовод Люда, знаете, которая носит ромашковый венок. По-моему, они все тут малость чокнутые. Видать, возле разжалованного бога ясности ума не сохранишь. Я тоже не поверил сперва, больно дико, глупо и... досадно. А Люда: да будет вам! Мы сколько раз подглядывали. Хотите — можете сами убедиться.

— За чем же дело стало? — спросил Игорь.

— Что я, школьник?

— Подлость! — сказала я. — А Люда просто дрянь.

— Почему?.. — противно протянул Игорь. — Люди и вообще не щадят друг друга. А тут нет никакого криминала.

— Ни малейшего, — поддержала Жанна. — Просто затянувшееся девство. У Фрейда все это описано. Пройдет с первым же мужчиной.

Почему она меня так раздражает? Я едва различаю, что она говорит, протест возникает при первых звуках ее самоуверенного голоса.

— Это месть запозднившимся женихам, — сказал Игорь. — Тем прекрасным, достойным ее мужчинам, что не спешат к Мефодию, а если и приезжают, то с женами.

— Вот чего недостает легенде о Дон-Жуане, — озарило Кирилла. — Он отбивал женщин у мужей, любовников, господ бога — помните, монахиню? — и даже у мертвецов. Но никогда не отбивал женщину у самой себя.

— За чем же дело стало? — сказал Игорь. — Ты можешь превзойти севильского обольстителя.

Но тут Кирилл вдруг потерял вкус к этому сомнительному трепу, стал каким-то рассеянным, занялся ухой, принялся снимать пену, подсыпать перловку, чтобы осадить слизь. Жанна завела свои бесконечные истории, уснащенные знаменитыми именами и названиями прославленных местностей, чего я не выношу. Я стала помогать Кириллу, у которого тоже не моя группа крови, но, оказывается, это не всегда вызывает отталкивание. Теперь я знала точно: Кирилл больше не с Жанной. Это вовсе не манера поведения, а подлинная суть. Они врозь. Кажется, это называют свободным браком. Кирилл выиграл для себя полную независимость, предоставив и Жанне свободу, которую та использует лишь для того, чтобы вернуть его. Видимо, она опробовала немало способов и сейчас решилась на самый отчаянный: возбудить его ревность, уязвить мужское самолюбие. Говорят, что это помогает. Странно, я вдруг ощутила сочувствие к Жанне или просто по-бабьи поняла ее. Но мне куда легче: у меня дети, и даже какая-то частица Игоря остается при мне. И эта тетрадь. А что у Жанны?..

2 августа

Вчера я оказалась свидетельницей довольно неприятной сцены. Дело было под вечер. Я вернулась из пригородного бывшего женского монастыря, куда ходила пешком по очень скверной разбитой дороге, покалечила ноги и душу, но уже не ухабами, а удручающим видом порушенной обители. Грязь, смрад, нечистоты, битый кирпич, страшноватые закожаневшие лопухи. В доме настоятеля поместилась контора утильсырья, там еще относительно чисто, все остальное — мерзость запустения. Наружные стены собора и остальных строений целы и крепки, внутри все ободрано с каким-то остервенением и гнусно загажено. А купола со сбитыми крестами сохранили свое золото и синь. Наверное, не так уж трудно и накладно восстановить этот памятник XV века. С ним связана какая-то трагедия: то ли здесь задушили по приказу Грозного княгиню Старицкую, то ли свершилось иное выдающееся преступление волей длиннорукого царя,

старожилы, которых я пыталась расспросить, давали сбивчивые показания. На монастырь же им наплевать с высокого дерева. Разочарованная и подавленная, я покатила на своих сбитых пятках с горки к озеру. Там в затишке под мефодиевскими стенами, где студенты-строители заделывают разлом, под старыми ветлами, наклонившимися к воде, хорошо ловится рыба. И сейчас там трудился какой-то рыбак, я не обратила на него внимания, зашла за большие серые валуны и погрузила ноги в прохладную воду. Вот когда я поверила Наде, что это целебная, живая вода. Воспаленную, зудящую кожу остудило, успокоило, будто разгладило, и какое-то не физическое, а душевное наслаждение разлилось внутри. Вот так бы и сидеть на валуне, болтать ногами в нежной, серебристой воде, глядеть на белые, слегка похилившиеся стены и проблескивающие сквозь листву купола и ничего не хотеть, ничем себя не томить, потому что все уже состоялось. Только не надо спрашивать себя, что именно состоялось. Потому что тогда окажется, что ровным счетом ничего не состоялось: ни ты сама, ни твоя семейная жизнь, ни твой честолюбивый муж. И все же что-то другое, более важное состоялось, ну хотя бы ты ощущаешь себя в истории родины, ты способна радоваться всему, что вокруг, и делать это своим. «Все глядеть бы на синие главы...» Если это тебе дано, то ничего иного не нужно. Не нужен ни успех, ни прямое или косвенное утверждение себя, надо лишь чувствовать, что свята вода, свято небо, свята земля, свято все сущее.

Так я сидела там в какой-то непонятной растроганности, а потом от пролома в стене к озеру спустился юноша из строительной студенческой бригады. Я его немного знала: он однажды подошел прикурить, когда мы валандались на берегу. От него приятно пахло стружками, а за поясом был заткнут топор. Значит, не из каменщиков, а из плотников. Приятный интеллигентный молодой человек с большими влажными, почти черными глазами, толстогубий, с ниточкой усов и смуглой, по-юношески нечистой кожей. Он из энергетического института, работает тут второй год и здорово поднаторел в церковном зодчестве. Он не знал, что двое из нас архитекторы, и с наивной гордостью прозелита стал делиться своими познаниями о зависимости архитектурных форм

от материала. Мне и в голову не приходило, что сводчатые перекрытия стали возможны лишь с появлением камня как основного материала. Но Жанна почувствовала себя ущемленной тем, что новобранец культуры залез в их огород. Жанна уронила свысока, что крайне признательна за лекцию, но архитектура — профессия ее и мужа. Были названы, как положено, чины и звания. Бедный парень аж побелел сквозь смуглоту. Он был, видать, человек с характером: самолюбивый, страстный, и не простил своей промашки ни себе, ни нам. Было любопытно наблюдать, как он исподволь нащупывал слабину наших профессионалов. Он быстро понял, что Жанну не подковырнешь, поскольку она ничего не строит, а в этом смысле неуязвима. Но к Кириллу он-таки подобрался. Он спросил, почему сейчас понятие типового строительства стало синонимом бездарности. «А чем еще оно может быть?» — лениво процедил Кирилл. «Ну хотя бы тем, что оно было при Бове, после московского пожара, — сказал студент. — Все чудесные особняки построены по типовым проектам мастерской Бове». — «Сравнили!» — усмехнулся Кирилл. «А почему нельзя сравнивать? Разница только в масштабах, но сделайте поправку на время. Там было творчество, а тут ремесленничество». — «Ой, бросьте! — прервала Жанна. — Вы же ничего в этом не понимаете!» — «А чего тут понимать? Типовые проекты Бове создали Замоскворечье, арбатские переулки, а ваши...» — «Ладно, неинтересно!» — сказала Жанна и пошла к воде. Кирилл — за ней. Я хотела поговорить со студентом, но он уже всех нас считал врагами. Пробурчал что-то злое и, не попрощавшись, ушел.

Сейчас я могла извиниться перед ним за случившееся, но он меня не увидел. Он шел к рыболову. Валуны скрыли их, но ветер доносил слова.

— Кирилл Петрович, нам надо поговорить, — сказал студент.

Оказывается, там был Кирилл, а я не узнала его издали, наверное, потому, что никак не ожидала здесь встретить. Был священный час пива и раков.

— Кирилл Петрович, — сказал студент. — Оставьте Надежду Дмитриевну в покое.

Кирилл довольно долго не отвечал, потом закинул удочку, я видела, как прорадужилась леска в возду-

хе; когда грузило ушло на дно, он поддернул, чтобы крючок не зацепился за водоросли.

— Это она вас послала?

— Никто меня не посылал.

Я сразу поняла, что студенту этот разговор не даст ничего, кроме унижения, и была благодарна Кириллу, когда тот произнес довольно мягко:

— Знаете... в такие дела лучше не вмешиваться.

Мальчишка тоже держал себя в руках, представляю, чего ему это стоило.

— Ну какие там «дела»? Вы же сами знаете, что никаких дел нет и быть не может.

— Тогда о чем же вы беспокоитесь?

— О Надежде Дмитриевне. О ее покое. Ее тихой жизни. Не надо ее сбивать по-пустому.

— А вы кем, простите, ей приходитесь: братом, сватом?.. Кто вам дал такие права?..

— Не надо, Кирилл Петрович! Вы же умный человек. Зачем вы так?

— Молоды больно меня учить!

— Разве возраст так важен? Вы старше не только меня, но и Надежды Дмитриевны, так будьте великодушны.

— Вы зря стараетесь, — теперь в тоне Кирилла отчетливо пробилась злость. — Ваши шансы равны нулю.

— Плохо вы говорите — шансы... Мне казалось, вы другой. Поймете.

— Я понимаю куда больше, чем вы думаете. — Кирилл уже не злился, он стал серьезен и прост, но собеседник не мог уловить этой перемены, потому что, говоря о Наде, они имели в виду двух разных женщин. — Вы хороший парень, но, не сердитесь, слишком молодой. Эта ситуация не для вас.

— Я вас предупредил. Наломать дров и смыть — не выйдет! — Студент, как и следовало ожидать, сорвался, его понесло. — Не выйдет!..

— Вы считаете, я должен жениться на Надежде Дмитриевне? — Такой издевательской жестокости я от Кирилла не ожидала, ведь он говорил с мальчиком.

— Ладно!.. Смейтесь!.. — Парню не хватало дыхания, как астматику. — Но смотрите... если что... я зарублю вас!.. Честное слово! Так и знайте!..

— Ого! — сказал Кирилл. — Доболтались. Я, дру-

жок, не из пугливых. Но если бы вы только знали, до чего это никчемный разговор!

Это прозвучало искренне, не задиристо, скорее устало, и парень озадачился. Он постоял там еще и, ничего больше не сказав, побрел прочь. Мне подумалось, что Кирилл отступился от Нади. Не из трусости, он несколько не боялся этого мальчишки, который, и правда, мог взмахнуть топором, а из отвращения к сложностям. О его полном спокойствии я могла судить по тому, как ловко он подсек и потащил к берегу крупного, яростно бьющегося окуня...

...Вечером наши опять пропали. Была хорошая ранняя луна, и я решила, что они пошли на озеро. Так и оказалось. Я еще издали увидела их силуэты на широкой лунной полосе. Они резвились, плескались золотыми брызгами, орали. Я подумала, что они добавили к традиционному пиву что-то покрепче, но веселость их объяснялась другим: они купались голыми. Островной вариант, теперь уже на троих. Как однообразна и нища реализация бытовой человеческой свободы. Но даже это доступно лишь на необитаемой земле или под непрочным покровом довольно светлой ночи. Они стали убеждать меня последовать их примеру. И вдруг совершенно неожиданно для себя я разделась и пошла прямо на Кирилла, взывавшего ко мне метрах в пяти от берега, а тут враз примолкшего от обалдения. Видимо, они считали меня неспособной на такую смелость. Я и была неспособна, но что-то со мной случилось. То ли надоела вечная изолированность, то ли меня подстегнул случайно подслушанный разговор на озере, то ли во мне гнездится задавленная воспитанием разнузданность, но я сделала это с завидным бесстыдством и даже с удовольствием.

Мое хулиганство было воспринято как нечто героическое и прекрасное, можно было подумать, что я совершила подвиг, акт самосожжения во имя идеи или другой великий жертвенный поступок. После молитвенной тишины они разразились аплодисментами и дикими воплями восторга. Возможно, моя сдержанность и неучастие в их играх чему-то мешали, а сейчас пали последние препоны. Странное дело, мне самой стало легче с ними. В сущности, все это чушь собачья, и моя стародевическая стыдливость выглядела жеманно-ханжески. И все-таки во мне возникло

ощущение какой-то утраты. Не очень важной, отнюдь не смертельной, ну вроде бы потеряла свою детскую фотографию, где снята с молодой матерью, или бабушкин театральный бинокль, или старый музыкальный ящичек с поющей птичкой — невелик убыток, но с ними: фотографией, биноклем и птичкой, было все-таки лучше. Оборвалась какая-то ниточка, тянувшаяся с детства. Может, это нужно, а то я никак не могу оторваться от своего прошлого, словно куренок, привязанный за ногу к колышку. Теперь я лихая, разнузданная бабенка, мне сам черт не брат. Но мои партнеры ничего подобного о себе не думают, просто они люди, идущие в ногу с моралью времени, которому всякие фиговые листочки не менее смешны, чем полосатые, до колен купальные костюмы начала века.

После купания Кирилл, ставший вдруг очень внимательным, признался, что, хотя и чувствовал ко мне симпатию, считал синим чулком, занудой и моралисткой и даже слегка побаивался. Он так вдохновился, что вспомнил фразу какого-то французского романиста о женщине, которая, раздеваясь, надевала свой самый безвкусный наряд — наготу. «О вас можно смело сказать, что вам ничто так не идет, как одежда наших прародителей». — «Может быть, — ответила я, впадая в тот же дешевый тон, — но я не франтиха». Шутка вызвала всеобщий восторг. Я стала своей, полноправным членом разнузданного братства...

3 августа

Неожиданное решение: мы отправляемся домой. Мне заявили: «Монастырское окружение давит». И лучше провести оставшиеся отпускные дни у нас в Подмосковье, благо квартира свободна. Оказывается, наши ленинградцы больше всего на свете любят белоствольные березовые рощи, которых нет ни здесь — серые тощие кривулины, ни под Ленинградом. Что-то плохо верится в эту березовую страсть, здешняя жизнь исчерпала себя для них, не дав ожидаемого удовлетворения, а перемена декораций сулит новые надежды. Подробнее думать мне об этом не хочется, и так у меня образовалась привычка слишком многое решать вперед. Спорить с ними я не могу, получится негостеприимно. Надо собираться, через час мы вы-

езжаем. Каковы же предварительные итоги? Мы все очень хорошие люди; не залезем в чужой карман, не предадим, не продадим, мы не употребляем в пищу маленьких детей. Мы милые. Мы дерьмо собачье. Оба суждения равно справедливы...»

Они выехали в назначенное время, не затруднив себя прощанием с Надеждой Дмитриевной, которая, правда, куда-то отлучилась, и Ольга напрасно просила дожждаться ее и сказать слова прощания и благодарности. Вместо этого написали теплую записку и оставили в дирекции. И вот они уже мчались в обратном направлении с Жанной за рулем, не запомнившись людям, возле которых провели без малого три недели, никаким добром, если не считать ларечницу, у которой брали пиво и раков, хорошо приплачивая сверх положенного, поскольку с двери не снималось объявление: пива нет.

Они ехали то медленно, то быстро — в зависимости от дороги, пока не попали на московское шоссе, и там припустили во все лопатки. Их настигали дожди, грозы, солнце высушивало капли на стеклах и капоте, по вечерам жуки и мошки разбивали свои бедные тела о лобовое стекло, которое темнело до непроглядности, и приходилось включать дождевики и дворники, а иногда останавливаться и пускать в ход тряпку.

Со скоростью восемьдесят — девяносто километров в час мчались они в своей смуте, в неясности целей и смысла овладевшей ими спешки, не отдавая себе отчета, что их ждет, не ведая самих себя и не ожидая никакой ясности от будущего. Они жили какой-то мелкой давностью, сиюминутностью: подробностями дороги, случайными и неслучайными прикосновениями друг к другу, которые их волновали, — нет, это слишком сильно, во всяком случае, для троих из них, — но которые замечались; они жили своим микромиром, загнанным в железную коробочку вездехода «Нива», а большой наружный мир обнаруживал себя случайной чепухой, вроде дождя, выщерблины шоссе, гравия, забарабанившего по днищу машины на ремонтируемом участке дороги, расплющившегося о стекло жука, машин, которых надо обойти; этот мир почти не требовал ответа, ибо, казалось, не задавал

никаких вопросов, не ждал ни отзыва, ни отклика, разве что чисто механических: дать сигнал, указать обгон, прибавить газ или притормозить. Но даже та, которой приходилось это делать,— Жанна, окончательно завладевшая рулем, не осознавала своих чисто автоматических движений, выработанных долгой практикой...

2

Самое трудное для Андрея Петровича было подняться утром с лежанки. Его наломанное в долгой жизни тело, выстуженное в окопах, плену, накоруженное в полевой работе, с некоторых пор вовсе не хотело ему подчиняться, отзываясь нестерпимой болью на каждое усилие. Болели, не сгибались ноги, руки, поясница, шея, он не мог встать с лежанки, как делают все нормальные люди и как еще год-другой делал он сам, скинув ноги и легким толчком отняв спину от теплой тверди. Он долго лежал, собираясь с силами, которых не было, и с духом, помогающим выдержать и одолеть боль и немочь, скопившиеся и затаившиеся в ночном покое сна. Наконец, почуввав некий толчок из глубины организма, он спускал с лежанки ноги, дотягивался до пола, утверждался на нем и, цепляясь за свое ложе, вставал; сперва он был скрюченным, будто сломленным в пояснице, затем выравнивался почти до полной прямизны. Лишь малым сломом в крестце платила старости его небольшая фигура, сохранившая и сейчас крепкую соразмерность. Трудными были и первые шаги по избе, колени не хотели гнуться, и поясница опоясывалась острой, отдающей под сердце болью. Придерживаясь за стены, стулья и комод, он добирался до сеней, где висел рукомойник, всегда налитый всклень, ополаскивал лицо, шею, грудь холодной водой, отчего ему сразу становилось лучше. Свежесть входила к нему внутрь, утишала боль, что-то упорядочивала в костях и мышцах. Он будто собирался нацельно. Хороша была родниковая водица, которую он каждый день приносил из дальнего лога. А колодезную, тоже хорошую, сладкую воду признавал лишь для чая и готовки пищи.

Освежившись, покрепчав, Андрей Петрович старательно намыливал руки до плеч, потом лицо, грудь,

шею и смывал мыло наручной мочалкой, которую ему подарил сын. На редкость опрятный человек, Андрей Петрович даже в самые худые дни своей жизни старался держать тело в чистоте, насколько было возможно. Вытеревшись суровым полотенцем и проведя гребенкой по седому ежику волос, Андрей Петрович возвращался в горницу более легким, прочным шагом, и тут жизнь на мгновение замирала в нем: он вспоминал, что Марья Тихоновна нет на свете и весь долгий день он опять должен прожить без нее. Жена его померла от сердца два года назад, а он все не мог к этому привыкнуть и в утреннем туманце толком не очнувшегося сознания забывал, что ее больше нет. Это повторялось изо дня в день, и он всегда разом слабел, опускался на табуретку, дрожа телом и шлепая отвисшими губами. Потом утирал рот, сжимал зачем-то ладонями виски и начинал жить один. Но не вовсе один, он вспоминал, что у него есть сын Пашка, неплохой мужик, а у сына семья: добрая баба — жена и две дочки.

Позавтракав молоком, хлебом и яйцами, он разжигал печь, наполнял чугунок водой, словом, хозяйничал. Обслуживал он себя сам: ездил на мопеде, недавно подаренном ему сыном, в сельмаг, случалось, и в райцентр, готовил обед, ковырялся в огороде, кормил кур и мастерил всякую всячину. Он руками все умел: и по дереву, и по железу, мог и набойки поставить, валенки свалять, и одежду поправить: зашить, заштуковать, мог и любую технику починить. До того как сын подарил ему мопед, он ездил на собственного изготовления тарактелке: собрал моторчик, приладил к велосипеду, и хоть трещал и вонял ужасно бензиновый конек, а возил безотказно.

Дел у Андрея Петровича хватало: и на себя время тратилось, и на семью сына, давно зажившего своим домом. Только скучно ему было. Пока обезножившая Марья Тихоновна лежала на высокой деревянной кровати, не знал он слова такого «скука», а как ее не стало, хотел даже на работу вернуться, чтобы не быть одному, да врачи не допустили. А им-то какое дело? Это все Пашка подстроил, что-то сделалось с ним после смерти матери, пробудилась душа к отцу, которого он не больно прежде жаловал, чересчур заботлив стал. Впрочем, куда взяли бы семидесятидвухлетнего

старика, разве что в сторожа, а это тоже одиночество, пожалуй, похуже домашнего.

О сыне Андрей Петрович начинал думать, когда чуть отпускала ежеутренняя печаль по жене. Сын упорно хотел переселить его к себе. Дом у Пашки, правда, громадный, да еще с летником, размахист был знаменитый на всю область колхозный кузнец. А Андрей Петрович не шел к нему, хотя чуть не всю жизнь тосковал о сыне, даже когда они после долгой-долгой разлуки опять стали жить вместе, сына он не обрел. Андрею Петровичу крепко не повезло, пусть сам он не считал это невезением и никогда не жаловался на судьбу, уверенный, что каждому человеку определен его путь, и как ни ловчи, а пройдешь своей стежкой, не чужой.

А путь заместителя предколхоза Андрея Петровича лежал, как и у всех его здоровых сверстников, через войну, изранившую его тело и наградившую за то орденами и медалями. Уже недалеко от победы, зимой сорок пятого года, прямой солдатский путь дал злой зигзаг. Приказано было драться до последнего патрона окруженному стрелковому взводу, так и дрались, а у противника патроны еще оставались, и попали в плен несколько уцелевших подраненных бойцов, в том числе и Андрей Петрович. После, вспоминая об этом бое, Андрей Петрович считал, что приказ следовало дать другой: последний патрон оставить для себя, тогда все вышло бы правильно. В лагере его кое-как подлечили и отдали хозяину на ферму, где он проработал до разгрома гитлеровской Германии, недолго — месяца два. Хозяин относился к нему ни хорошо, ни плохо, кормил худо, но с голоду сдохнуть не дал, немцы и сами тогда едва перебивались. Освободили его из немецкой неволи — и в наш проверочный лагерь: надо было выяснить, не завербован ли он гитлеровской разведкой для причинения всякого ущерба своей Родине. Андрей Петрович понимал такую осмотрительность и не имел претензий.

Вернулся он домой много позже уцелевших земляков, и не гремели оркестры в его честь, не произносились приветственные речи и не сдвигались пиршественные столы. Только рыдала и щупала руками его голову и плечи постаревшая жена, будто не веря, что это действительно он, и угрюмо пялился из-под крепкой — отцовой — лобной кости плечистый незнако-

мый подросток — его сын. Андрей Петрович понимал его и огорчался: у всех отцы пришли героями, в орденках и медалях, с сундучками, полными гостинцев, в почетной солдатской одежде, а Пашкин батька притащился в засаленном ватнике, сношенных обутках, и не простил отцу разочарования и стыда самолюбивый Пашка. Отслужив действительную, он женился и сразу отделился от родителей. Заглядывал к ним редко, но к себе на праздники приглашал.

Работал Андрей Петрович в полеводческой бригаде рядовым колхозником, палочек в тетрадку, наверное, больше всех записывал: для памяти и порядка, потому что не полагалось за них никакой выгоды, а кормился с женой от огорода, козы и кур. А потом пришла пора, когда палочки стали оплачиваться грубыми кормами, картошкой, а там и зерном и даже деньгами. Зажили хорошо. Хотели его на прежнюю должность выдвинуть — зампреда, но жена вдруг сказала: не надо, и он, малость удивленный, отказался. Потом Пашка завел разговор, чтобы он на восстановление наград подал, и опять Марья Тихоновна сказала: не надо, и он послушался. Наверное, она считала его настолько виноватым, что отказывала ему в праве на какое-либо возвышение. Он недолго так думал, поняв, что причина в прямо противоположном. Любящая женщина не простила другим его беды и обиды и не хотела для него запоздалых милостей. Андрею Петровичу открылось, что в душе своей жены он был и остался самым первым героем. Любил он ее смертно, иначе не скажешь. И чем старше и некрасивей она становилась, тем огромней любил. Поседевшая, сырая, с распухшими ногами, дряблой темной кожей, она оставалась ему желанна, что стыдило, даже мучило, но в тайне души восхищало бедную Марью Тихоновну, страдавшую, что она ухудшается телесно, в то время как перенесший всяческие страсти Андрей Петрович на диво застыл в прочном образе полного жизненных соков человека. Он резко и сразу сдал после ее кончины, как будто из него выдернули стержень. Он, правда, держался на людях, но лишь усилием воли, не стало в нем внутреннего скрепа, и все, из чего он состоял, томительно заныло, заболело.

Но умереть Андрею Петровичу не хотелось, потому что он хотел думать о Марье Тихоновне, вспоми-

нать ее, когда она была босоногой девчонкой с веснушчатым седлом на широком переносье и косеньким резцом — об лед зуб повредила, катаясь на санках; когда стала высокой, худощавой девушкой со строгим светлым лицом, короной заложенными косами и редкой радостной корзубенькой улыбкой; когда вымахала в крупную женщину с тяжелой грудью, крепким станом, широкими бедрами, и старый, разменявший восьмой десяток человек чувствовал молодое волнение; память скользила дальше: к их долгой разлуке и его мыслям о ней, попыткам представить, что она делает, говорит, как ходит по избе и по улице, укладывается спать; потом замирала на его возвращении домой после войны, плена и проверки и текла дальше, когда он надыхаться не мог близостью этой единственной за всю его жизнь женщины и не заметил, как она стала старухой с тяжелыми ногами и всегда слезящимся глазом, словно полились в расслаблении отпущенного болью сердца все зажатые внутри слезы, — для него она навсегда оставалась в своей первой прелести.

Ставя самовар, завтракая, готовя обед, прибирая в горнице, занимаясь хозяйством, он все время находился в общении с Марьей Тихоновной, чаще молчаливом, слишком хорошо они друг друга понимали, чтобы им нужно было тратить слова, но и разговоры тоже между ними случались, больше о том, что произошло уже после ухода Марьи Тихоновны и о чем она не могла без него знать. Он не жаловался ей на свои хворости и тоску, а рассказывал о простой текущей жизни: кого из ее старых подруг повстречал на улице или в магазине, о домашней скотине, о какой-нибудь птице, залетевшей в огород, иногда что-нибудь из газет, только не о войнах и политике — это Марья Тихоновна ненавидела и презирала всем своим честным сердцем, а о том, что какой-то чужак съел на спор сто десять мясных пирогов или выпил сто шестьдесят кружек пива, а другой неделю на голове простоял, а еще один с ядовитыми змеями полгода в одной клетке просидел. Марья Тихоновна любила в людях всякую чудину, если то не шло в ущерб и муку другим, а самим собой пусть человек распоряжается, как хочет. Ведь если всерьез, у человека нет ни над чем власти, кроме него самого, да и эта власть сильно ограничена. Мы все делаем по чужой воле: и вниз

головой стоим, и со змеями живем, вот только на мясные пироги нас не принуждают, так пусть же мудрит над собой, сердешный, коли есть к тому возможности и охота.

В последнее время появилась у Андрея Петровича новая тема для разговора с женой, хотя он тут ничего прямо не говорил, ибо сам еще не разобрался, что к чему, а бросал намеки или сообщал голые факты, без умозаключений. А похоже становилось, что жизнь не только на худое и жестокое способна, но и на доброе, на утешение изнемогающему сердцу. Речь шла о сыне, совсем другим он стал. То ли потянуло его к отцу каким-то запоздалым прозрением, то ли пустынно оказалось без матери посреди своего семейства, которому он и голова, и судья, и милостивец, и каратель, а нужно человеку, чтобы и над ним кто был старший. При всем своем вызывающе самостоятельном характере, своеволии Пашка чтит мать и в самые трудные минуты шел к ней, всячески затемняя желание получить помощь, поддержку. А может, мать сказала сыну на смертном одре какое-то главное слово об отце, выправила его кривой взгляд, а может, просто поручила сыновней заботе. Андрей Петрович этого не знал. Меньше всего допускал он разговор умирающей с сыном о нем. Марья Тихоновна презирала Пашку за отношение к отцу и не унизилась бы ни до каких просьб. Скорее могла ожечь его горьким и казнящим словом.

А ныне как подменили Пашку. Речь отрывистая, вздорная осталась, повадка быстрая, небрежная, вроде бы пренебрежительная — тоже при нем, но появилось и новое, прежде всего интерес к отцовской жизни. Будто между прочим стал спрашивать: «А ты под Сталинградом был?», «И Днепр форсировал?», «Здорово вам тогда дали?...» Другой раз: «Значит, ты всю Польшу прошел?», «А на своей земле немец крепко дрался?» Отвечал Андрей Петрович всегда односложно и без охоты, а однажды сказал: «Что ты, сынок, все равно как меня пытаешь? Успокойся наконец. Был я солдат как солдат, не лучше и не хуже других. Потом не повезло мне сильно, такая уж доля. А в конце так повезло — домой вернулся, многие до этого не дожили. Гордиться мне особо нечем, но и стыдиться нечего». — «Я не к тому, — буркнул Пашка. — Недодано тебе за войну. Терпеть не люблю несправедли-

вость». — «Додано, сынок, всем, кто воевал, сполна додано нашей победой. Прочее все — пена».

Перестал расспрашивать его о прошлом Пашка, но стал интересоваться его нынешним существованием. Продукты подкидывал, приемник хороший приволок, потом вознамерился купить ему мотороллер. Андрей Петрович наотрез отказался, не привык подарки получать, да и не нравилось ему только на моторе ездить. Нравилось педали крутить и только по усталости включать чужую силу. Тогда сын привез из Москвы новенький, весь в желтом жирном солидоле мопед. И по своей нетерпечности стал сразу орать, предупреждая отказ. И чтобы не обижать сына, Андрей Петрович с благодарностью принял дорогую игрушку. Покойная Марья Тихоновна утверждала, что всем хорошим, что в нем есть: трудолюбием, ручной хваткой, прямоотой, честностью, пошел Пашка в отца, а всем дурным: вспыльчивостью, лишним самолюбием, «закидонами», в покойного деда, ее отца — выпивоху и рукосуя, которого Марья Тихоновна не больно уважала, хотя и жалела, пока жив был.

А Пашка как завелся, так уж не мог остановиться. Зачем-то повез Андрея Петровича на председателевой «Волге» в городскую больницу, где его осматривали разные врачи, просвечивали и фотографировали в полной темноте, включали в электрическую сеть посредством многих проводов, заставляли читать мелкие буквочки в отдалении — и в результате прописали очки с более сильными стеклами. И еще оказалось, что он плохо слышит. Он-то считал, что вполне достаточно, хотя левое ухо вышло из строя еще во время войны, контузия убила какой-то нерв. Ему выдали слуховую кнопку, от которой окружающий мир стал ужасно громким, назойливым, одуряющим ненужными сигналами: гудками, грохотом, лязгом, треском, ревом — чудовищная звуковая мешанина взамен прежней блаженной тишины, наполненной нежным шорохом в ушной перепонке или шепотом Марьи Тихоновны. В разговоре же он слышал собеседника, подставляя ему живое ухо, а также хорошо улавливал по губам, что ему говорят. Поэтому кнопку он, вернувшись домой, спрятал подальше, а очки надевал, когда требовалось рассмотреть что-то мелкое: козявок в пшене или печатные буквы на каком-нибудь продуктивном пакете. Никаких лишних хворостей, кроме

положенных по возрасту, у Андрея Петровича не обнаружили, но лекарства, купленные сыном в аптеке по рецептам врачей, он принимал из уважения к сыновней заботе все разом, жменей, по утрам перед чаем.

Но сыну и этого всего оказалось мало, стал нажимать на отца, чтобы тот переехал к нему. Ему, мол, создадут настоящий уход. Но тут Андрей Петрович был непреклонен: из своего старого дома у него будет только один путь — на погост, под бок к Марье Тихоновне. Он не верил в бессмертие души и твердо знал, что за смертью ничего не будет: ни встреч, ни искупления, ни воздаяния. Все здесь. И человек длится после ухода лишь памятью любящих. А память эта может быть такой сильной, что человек как бы и не умирал. Поэтому он и хотел еще жить, чтобы длилась Марья Тихоновна, она ведь жила в нем каждый день, каждый час и во сне продолжалась, и он, изнемогая от одиночества, все-таки хотел продолжать жить, как жил до сих пор, чтобы ничто не отвлекало его от этой непрерывной памяти. А в доме сына так не будет, не может быть, потому что волей-неволей станет он отвлекаться на внешнее существование посреди большой семьи. К тому же старый дом его был весь пропитан покойной, здесь она жила, любила, рожала сына, ждала мужа, бедовала, радовалась, пела песни, гуляла в праздники, все, что тут есть, знало прикосновение ее рук, нет даже самой малой вещицы без ее отметины; все бессловесные насельники: печь, чугуны, стол, стулья, лавки, табуреты, комод, фикусы, горшочки с геранью на подоконниках — отвечали своим непонятным человеку взором на взгляд слабеющих глаз Марьи Тихоновны, и ей куковала время пестрая, выскакивающая из деревянного домика кукушка, которую Андрей Петрович не слышал своим контуженным слухом, но раз услышал через усилительную кнопку и поразился ее пронзительному голосу.

На память сына ни в отношении матери, ни в отношении самого себя даже при всей нынешней Пашкиной преданности Андрей Петрович не слишком полагался. Конечно, они с Марьей Тихоновной сохранятся в Пашке, но это не животворящая память, слишком многое другое его отвлекает: своя жена, свои дети, своя жизнь.

Но Пашка наседавал крепко. Упрямством он тоже пошел в отца. Только у Андрея Петровича упрямство тихое, терпеливое, защитное, а у Пашки — бурное, нетерпящее, наступательное, ему надо под себя согнуть человека, взять верх над обстоятельствами, а не просто выстоять против них. «Хочешь, батя, дом сохранить, перенесем его к моему, делянку тебе прирежут». Наверное, прирежут, только не трудилась на той делянке Марья Тихоновна, не ступала по той земле. И видела она из окошка золотые шары в своем палисаднике, а не красные георгины, как у Пашки. Сколь ни докучна и даже тяжела Пашкина настырность, а открывалось за ней такое дорогое, о чем раньше и мечтать не мог старый, не избалованный жизнью человек, — ответная любовь сына к отцу. Андрей Петрович даже растерялся, не отнимет ли его окрепшее от взаимности чувство чего-то у Марьи Тихоновны, а потом понял, что ничего отнять нельзя, ибо это в великую отраду покойной.

Утро Андрея Петровича продолжалось необходимыми хозяйственными заботами. Как ни скромно живет человек, а всегда-то ему чего-то надо. Кончились спички, соль, лавровый лист, как раз те товары, которые в избытке имелись в сельмаге, но хотелось Андрею Петровичу намариновать банку подберезовиков, до которых охоч был Пашка, а сноха только солить сырые грибы умела. Для маринада требовались уксус и перец, а за этим надо ехать в райцентр. Там можно и внучкам гостинцы купить и сношку чем порадовать, она, как маленькая, жадничала на даровую чушь: рамочку из мелких ракушек, тарелочку с переводной картинкой... Поездка осмыслилась, и уж не жалко стало бензина, поедаемого мопедом не по мощности. Да и день выдался солнечный и не особо жаркий, с легким продувом низкого легчайшего ветра.

Он оделся по-дорожному: старые штаны со вшитым в межножье шинельным куском, чтобы не протирались о седло, куртку из кожзаменителя, картузик, непрочно сидевший на его плотном седом ежике. Андрею Петровичу собственная глубокая старость рисовалась с большой гладкой розовой плешью в обрамлении легких седых волос; молодежь бы, конечно, подтрунивала, загадывая в затяжные дожди одиннадцать лысых для перемены погоды, зато лысина

свидетельствует о глубокой работе мысли, в которой истлевают волосы. Но у него голову плотно прикрывал короткий, жесткий, не вовсе седой, а будто присоленный волос. Мечтал Андрей Петрович и о вставных челюстях, как у Марьи Тихоновны, чтобы каждый клал их на ночь в свой стакан, а утром начищал и вставлял в рот. Но он сохранил все свои крепкие желтоватые зубы. Как он сохранил такую зубастую пасть, понять невозможно: он и в немецком лагере подголаживал, и у хозяина питался скудно, а потом от цинги кровью плевался и мог каждый шаткий зуб пальцами из гнезда вынуть. Но вот вернулся домой, и обратно упрочились зубы в деснах, грыз мозговые кости и щелкал грецкие орехи. Ему хотелось стареть вровень с Марьей Тихоновной, которая и зубов рано лишилась и облезла на темечке и висках, ему бы маленько опережать ее во всех неизбежных потерях, но природа не пожелала. Марья Тихоновна, горя о своем увядании, не могла нарадоваться сохранности своего старика. Он только спекся маленько, ссохся, потемнел кожей, а так почти не изменился с возвращения из долгой военной отлучки.

Защемив брючины стиральными зажимками, Андрей Петрович долил бензина в бачок, подкачал шины, приторочил к багажнику клеенчатую сумку и авоську и вышел со двора.

До шоссе он катил мопед вручную. Улица была горбатой, педали крутить трудно, а вонять и тарыхтеть двигателем посреди деревни не хотелось. У колодца ему повстречалась старуха Махонина, вдовствующая бригадирша огородников.

— Здоров, мотоциклист! — бросила она вроде бы небрежно, а с тайным подкатцем в медовом голосе. — Куда собрался?

Было ей уже за шестьдесят, но ни сама она, ни окружающие не считали ее женскую жизнь исчерпанной. Была она еще в теле, при хорошем доме и лучшем в деревне приусадебном участке, да и на сберкнижке кое-что имелось. Андрей Петрович, который по деревенскому счету еще числился в женихах, не хотел впустую крутить женщине голову.

— В район, — сказал он деловито. — Не нужно ли чего?

— Красенького не захватишь? — жеманно попросила бригадирша.

— Будет сделано,— пообещал Андрей Петрович и прибавил шаг.

С пустыми ведрами — плохая примета — шла на встречу ему старуха Богачева, по кличке «Сойка», — она первая подымала тревожный звон по деревне, предупреждая односельчан о грозящих опасностях — мнимых, в отличие от умной розовой птицы с синим мазком на каждом пере.

— В район, что ли? — осведомилась Сойка. — Чего бидон не взял?

— А на кой он мне?

— Керосину набрать. Война с Полярисом будет.

— На такую войну керосина не напасешься,— улыбнулся Андрей Петрович. — Баталия предстоит затяжная.

— Как думаешь, будут вкуировать или самим уходить?

— Самим. В леса.

— А может, не дойдет он сюда? — вдруг преисполнилась надежды Сойка. — Гитлер же не дошел.

— У этого — как ты называешь? — Поляриса лошадей больше.

— Я так и думала! — сказала с горьким торжеством Сойка и двинулась дальше, гремя ведрами.

Андрей Петрович продолжал свой путь. Дети дразнили индюка, тракторист Панков, безжалостно растерзывая гусеницами колхозную площадь, кратчайшим путем гнал свой «Минск» к магазину за водкой, шла обычная деревенская летняя жизнь, несколько вялая перед близящейся страдой.

Он вышел на шоссе. Здесь простор открылся широко, и было в нем много всякого: полей ржаных и пшеничных, лесов хвойных и смешанных, столбов высоковольтных передач и труб по горизонту, и небо разное: над головой синее, в белых хлопочках, в стороне Москвы — задернутое плотными низкими облаками; в противоположном направлении из высокой тучи с белой сердцевиной, похоже, сыпался град, но эта туча сюда не придет, ее в обход поведет, — ласточки высоко-высоко летают. А шоссе сейчас тихое, только молоковозы прошли к городу, солдаты на грузовике куда-то проехали, наверное, на войну с Полярисом, легковушек почти не видать. Он перебрался через кювет на обочину...

...Серая «Нива» приближалась к Москве. До окружного шоссе оставалось менее ста километров. И неумоимо сидевшая за рулем Жанна торжественно объявила, что разменена последняя сотня. На что задние пассажиры отозвались вялым «ура». После этого Жанна вновь поделила внимание между дорогой, довольно пустынной в субботний полдень, особенно в направлении столицы; из города изредка проносились запозднившиеся любители природы, курением — приходилось оживлять щелчком зажигалки то и дело гаснущую сигарету, и вконец оттаявшим Игорем. Жанна знала, что приручила этого сыча. Она могла шлепнуть его по руке, потрепать за ухо, толкнуть забытым спортивным движением в плечо, доверительно сжать ему колено — жест, означавший очень многое и разное. Он был твердый орешек, и Жанна чувствовала естественное удовлетворение, что расколола упрянца. К тому же ее взвинчивала какая-то слишком многозначительная тишина позади, тишина совсем иного толка, нежели та, что царила по пути к святым местам. То была свинцовая тишина скуки, несовместимости, сейчас — тишина особого напряжения. Что-то началось. Жанну никогда не занимало, как относятся женщины к ее мужу. Он не принадлежал к числу тех растроганных и податливых людей, которые могут ответить нежностью на любовь и преданность даже не нравящейся им женщине. В Кирилле все происходило автономно. Он сам выбирал, сам все решал и, за редчайшими исключениями, добивался успеха.

Жанна была права. На заднем сиденье творилась своя молчаливая жизнь. Сказать этим людям друг другу было нечего, но что-то такое между ними возникло, что заставляло каждого остро чувствовать близкое существование другого, порой касаться друг друга, словно проверяя и подтверждая наличие этой странной связи: ладонь Кирилла опускалась на круглое колено Ольги, а ее маленькие сильные руки с четкостью автомата отдирали его пальцы, но не отшвыривали прочь, а чуть задерживали и отпускали, слегка сжав, что было и наказанием и поощрением. Ольга могла бы отодвинуться, изменить позу, ну хотя бы понизже натянуть юбку на ноги, но она этого не делала. При резких поворотах ее кидало на Кирилла, она не сопротивлялась инерции, но, восста-

навливая равновесие, бросала возмущенный взгляд на затылок Жанны, целиком перекладывая вину на нее. Кирилл понимал и ценил эту молчаливую ложь, ведь Ольге ничего не стоило держаться за поручень.

Они проносились мимо деревень, райцентров, автобусных остановок, мимо автомобилистов, возящихся со спущенными шинами, туристов, жгущих костры за кюветами, мимо старух, торгующих у дороги молодой картошкой, огурцами, грибами, смородиной, но не уделяли внешней жизни даже мимолетного внимания, равнодушные к окружающему не потому, что ими владели сильные страсти, а потому, что закрутившая их чепуха давала малое забвение, помогавшее не помнить хоть короткое время о несделанном, неполучившемся, ненайденном, о всех изменах своей сути или представлению о себе; в тусклом возбуждении маленького предательства, учиняемом в отношении друг друга, в жалких потугах представить эту бедную сублимацию игрой оживших чувств, и все же не обманываясь до конца на этот счет и ничуть не сознавая той малой, но несомненной опасности, какую представляла для окружающих их выключенность из взаимной мировой поруки.

Потом, как всегда бывает в подобных обстоятельствах, у каждого сложился свой образ случившегося. Игорь помнил, что он давно заметил фигуру старика с мопедом на обочине, собиравшегося выехать на шоссе. Его еще удивило, что Жанна не снизила скорости, не забрала влево, только коротко посигналила, и он восхитился ее уверенностью и хладнокровием. Видимо, в настоящий шоферский профессионализм входит расчетливое доверие к тем, кто на дороге. Любитель вроде него начинает без толку суетиться: оглушительно сигналит, выворачивает к осевой, а то и за осевую, что чревато неприятностями, резко сбрасывает скорость или жмет на тормоз. А вот как надо: короткий сигнал — прочь с дороги, и все!..

Кирилл тоже мельком уловил что-то такое впереди, но не придал этому значения, сосредоточенный на красиво напрягшихся икрах Ольги, которая слегка изменила позу. Что ему прежде застило глаза, как он мог не видеть ее пусть коротковатых, но на редкость аппетитных ног!

Ольга вообще ничего не видела, занятая волнующими маневрами Кирилла. Икры у нее отличались

особой чувствительностью, и она боялась выдать себя сидящим впереди.

Жанна увидела вполне вовремя старика, подурячки сунувшегося на шоссе со своим мопедом, и по-сигналила ему. Старику полагалось свернуть к за-крайку шоссе, но Жанне невдомек было, что он туг на ухо и не услышал ее сигнала. Она еще успела заметить, что на спидометре значилось: 60 км / час — все законно. Она щелкнула зажигалкой и хотела что-то сказать Игорю, но вдруг увидела его перекошенное лицо и глупо открытый рот, из которого выкатилось круглое: «Оп!» Сама не зная почему, она резко затормозила и сразу почувствовала удар наезда. Ее кинуло грудью на баранку, и будто черная молния вспыхнула в глазах...

Чудовищный толчок, кинувший мопед вперед, с еще большей скоростью перебросил Андрея Петровича через руль на асфальт. Он понял, что умирает, а вместе с ним прекратится и призрачное бытие Марьи Тихоновны. От невыносимой этой мысли он потерял сознание, а когда очнулся, она опять была в нем, и душа его воссияла, осталась лишь дерьмовая физическая боль в отшибленных местах. Да этим его не испугаешь, не такое видывали. Откуда только пришла эта боль? Может, правда, война?.. Хватит придуряться, удар был сзади, его просто стукнула проезжая машина. Небось, самосвал с пьяным по субботнему дню водителем. Он хотел встать, но тут почувствовал, что чужие руки отдирают его от асфальта, пытаются поставить на ноги, причиняя из лучших, конечно, побуждений лишнюю боль. Тогда он принялся сам помогать себе вырваться из очередного смертного капкана. Вздохнул поглубже, собрался весь, выпрямился и понял, что на ногах ему не удержаться. Но добрые люди подхватили его под микитки, подпирали сзади, не давали упасть обратно на землю. Он чувствовал к ним благодарность и несколько помутненным сознанием сообразил, что это пассажиры остановившейся неподалеку машины, они увидели его на земле и поспешили на помощь. Он только не мог взять в толк, почему высокая загорелая женщина в больших темных очках орет на него: мол, сам виноват, почему не послушался сигнала, зачем полез на шоссе!.. Конечно, сам виноват, каждый человек сам виноват во всем плохом, что с ним случа-

ется. Искать других ответчиков — хуже душу измучишь. «Нешто я кого виню? — проговорил он заплетаящимся языком. — Глухой я. А который сшиб — небось, не со зла, а отвечать — кому охота?» Тут он заметил знакомые лица — двое односельчан подошли: подвыпивший Петька Воронов и дурачок Косой, который сразу стал сокрушаться о покореженном колесе мопеда...

...Ольга видела, как сшибли старика, но видела это будто на экране телевизора, а не в действительности. Это принадлежало к печальным случайностям жизни, к дорожным происшествиям, неизбежным, увы, в век огромных скоростей: люди не поспевают внутренне за той чудовищной, смертоубийственной техникой, которую создали для мнимых удобств. Жалко старика, но если слишком сосредоточиваться на подобных печалях, не хватит сердца для тяготы всей жизни. Лишь когда машина, визжа тормозами и разбрызгивая гравий, резко и косо остановилась и Кирилл выпрыгнул наружу, а за ним — Жанна с Игорем, она вдруг осознала, что все происшедшее не кадры телехроники, а на самом деле случилось с ними, они задавили старого человека.

Потом с ней творилось что-то странное, она не помнила, как вышла из машины, но помнила, как ее рвало у обочины. И она видела пострадавшего, невысокого жилистого старика с рассеченными в кровь подбородком, скулой, лбом, с грязными пятнами на морщинистом лице, мешающими разглядеть и запомнить его черты, в порванных на коленях штанах с бельевыми зажимами внизу и в старой куртке из поддельной кожи, тоже разорванной; видела Жанну в темных очках, широко разевающую рот, но не слышала ни слова из того, что та говорила. Она вообще ничего не слышала, кроме гула, наполнявшего голову. Потом появились какие-то, тоже безмолвные, мужики, один из них подхватил старика, другой поднял его искалеченный велосипед с моторчиком. Первый голос, который она услышала, был ее собственный, истерически-громко требовавший, чтобы старика отвезли в больницу. Тут ей кто-то больно отдал ногу, но она продолжала кричать о больнице, тогда Игорь, она только сейчас разглядела его в малой толпе, схватил ее, как клешнями, за локти и поволок к машине. Она упиралась, что-то кричала, он же

с белыми от бешенства глазами шипел: «Заткнись!.. Заткнись, дура!..» Она вдруг ослабела и позволила втолкнуть себя в ненавистную машину. Там она заплакалась.

А затем они опять оказались все вместе, только за руль сел Игорь, и неторопливо тронулись дальше. А ей казалось, что после содеянного надо удирать изо всех сил. Она не понимала, как удалось им избежать немедленной расплаты. И тут Кирилл ударил себя по колену кулаком и сказал с ошалелой радостью:

— Ей-богу, пронесло!.. Ну и даем!.. Только с Жанкой бывает такое!..

— Могли записать номер,— заметил Игорь.— Нас задержит первый же пост ГАИ.

— Чепуха! Надо было составить акт на месте. Теперь мы отопремся.

— А вмятина?

— Успокойся! — резко сказала Жанна.— Я смотрела — ни царапины. Повезло, что не было свидетелей. А старик так обалдел, что и не понял, кто его сбил.

— И вы... вы... искалечив человека... вот о чем заботитесь? — Ольга заикалась от омерзения.

— Да, я сбила зеваку. Благодарите своего мужа. Это он крикнул мне под руку.

— Так это я виноват? — покосился на нее Игорь с насмешливым интересом.

— Сам знаешь, Игорек, что хуже нет кричать водителю под руку,— укорил Кирилл.

— Ну, и подонки же вы оба! — медленно произнес Игорь.— Сразу спелись. А чего же ты сам не предупредил ее? Было бы полезнее, чем хватать за коленки мою жену.

— Ну-ну! — примирительно сказал Кирилл.— Так мы черт знает до чего доболтаемся.

— О чем вы все говорите? — с тоской сказала Ольга.— Господи, какие же вы все... Да разве в этом дело? Надо было помочь старику. Отвезти его в больницу.

— Старик пошел своим ходом.— Голос Жанны звучал резко и властно.— Ничего с ним не случилось. Удар пришелся по колесу его драндулета. Он отделался легкими ушибами. Другой раз будет внимательней. А если б мы начали с ним возиться, нас бы накрыли.

— Ну и накрыли бы. Надо отвечать за свои поступки.

— Да?..— Жанна сняла очки и поглядела на Ольгу блестящими от ненависти глазами.— Виноваты мы все, вы это отлично знаете. Но загремела бы я одна. Ловко придумано!

Ольгу поразили ее слова, гнусную правду которых она сразу приняла. Невероятно было, что это первая поняла и не побоялась сказать вслух Жанна.

— Тут я с вами полностью согласна,— почти спокойно сказала Ольга.— Убили старика мы все сообща.

— Не надо драматизировать,— вмешался Кирилл.— Никто никого не убивал. Старик оклемается. Одно неприятно, что нельзя было дать ему на бутылку и на ремонт мопеда. Это сразу показалось бы подозрительным.

— Опять вы об этом!..— В голосе Ольги прозвучало отчаяние.

— Там два мужика подошли,— продолжал Кирилл.— Один бусой, а другой косой. Но косил он как-то плохо, то ли от дурости, то ли от излишнего ума. Этот мог запомнить номер. По-моему, он догадался, что наша активность не из чистого человеколюбия.

— Особенно Ольгин воинствующий гуманизм. Что за неумение держать себя? — брезгливо сказал Игорь.

— Неумение или нежелание? — ледяным тоном спросила Жанна.

— Это неважно. Позиция наша крепка — мы ничего не знаем.

— А чего вы так перетрухали? — спросила Ольга.— Посадят ее, что ли?

— Кто знает? — серьезно сказал Кирилл.— Вчерашний коньячок дает выхлоп. А за наезд в нетрезвом виде по головке не погладят.

— Когда мы познакомились, вы пили только рижский бальзам — ложку к чаю.

Это было глупо и ненужно, ответный удар, более увесистый, не заставил себя ждать.

— Когда мы познакомились,— Жанна даже повеселела от ловко найденного ответа,— вы купались в костюме!

— Бойтесь несостоявшихся людей,— в пустоту произнесла Ольга.— Это потенциальные убийцы...

— Может, хватит? — сказал Игорь.

— ...они не видят ни самих себя, ни окружающих, им ничего не жаль, ничего не ценно, не дорого...

— Остановите машину! — крикнула Жанна. — Я сойду.

— Прекрати истерику! — прошипел Игорь Ольге и впервые на ее памяти добавил грязное ругательство...

...Конечно, ни о каком гостевании у Курбатовых и речи не было. Иванцовы в тот же вечер уехали в Ленинград. Кирилл попил с Игорем чаю на кухне, но Жанна даже не зашла в дом. Она выкатила из гаража «Волгу» и провозилась с ней все время. Кирилл чаевничал, разбирал вещи и прощался с хозяевами. Руки Жанна ополоснула под колонкой, а Игорю и Ольге махнула из окошка машины. За руль опять села она, — в чем-чем, а в силе характера ей не откажешь.

Они уехали, а Курбатовы остались в пустом доме, но еще пустынное было в их душах после так неожиданно начавшегося, так странно продолжившегося и так печально завершившегося вояжа. Впрочем, для Ольги ничего не кончилось. Она все время думала о старике, которого они вышибли из седла мопеда, а может, вообще из догоравшей жизни. Что с ним? Как тяжело он пострадал? Он был в шоковом состоянии, и то, что его поставили на ноги и даже повели домой, ничего не значит. У него могло быть все отбито внутри. Хорошо, если врачебная помощь поспела, а могли и до дома не довести. Много ли надо старому, истасканному организму? Но если он даже в относительном порядке, что думает он о людях, поступивших с ним так беспощадно? Сшибли, всего окривелили и даже помощи не подали. Но ведь он не догадывается, что это они. А так ли?.. Похоже, он просто не хотел с ними дела иметь. Но пусть он даже не признал их, ведь те люди, которых он презирает за подлую трусость, все равно они.

Жить с такими мыслями было особенно трудно в пустом жилье, наедине с Игорем, который представлялся ей теперь не мужем, а сообщником по мокрому делу. Она с надеждой подумала о тетради в черной клеенчатой обложке и вдруг с ужасом поняла, что написать о случившемся не сможет. Ни строки, ни слова... Ее охватило отчаяние. Значит, все ее писание гроша ломаного не стоит, раз она не в си-

лах говорить о главном?.. Ее боль была так велика, что она призвала на помощь Игоря. «Знаешь что — угомонись, — посоветовал тот. — Почему ты считаешь, что не бывает безвыходных ситуаций? Вот мы попали в безвыходную в моральном плане ситуацию. Мы ничего не можем сделать для старика, не угробив Жанну. А разве это справедливо?» — «А бросить искалеченного старика справедливо? И потом — нельзя равнять нашу вину с ее». — «Тебе так хочется ее упечь?» — гадливо спросил Игорь. «Плевать я на нее хотела. Мне старика жалко. Я места себе не нахожу. Меня тошнит от себя самой». — «Хочешь казаться лучше нас?» — «Плевать я на вас хотела! Я не могу жить». — «Тут я бессилён... — Он посмотрел на нее, и в нем проснулось забытое великодушие. — Хочешь, я съезжу туда и узнаю, что со стариком. Он наверняка жив и здоров, и я придумаю, как сунуть ему деньги». Она посмотрела на мужа с благодарностью. «Тебе нельзя ехать. Могут узнать машину. Я сама это сделаю».

...Они не помнили, да, верно, никогда не знали названия деревни, возле которой произошел несчастный случай. И четких примет местности не осталось в памяти, и все-таки Ольга была уверена, что найдет. В человеке заложено столько всякого, о чем он не подозревает дневным рабочим сознанием. Его темные глубины хранят бесчисленное множество случайных и ненужных образов, он может вспомнить такое, чего вроде бы и не было вовсе, его знания об окружающем неизмеримо больше того, чем он привык обходиться, и Ольга не сомневалась, что внутренний толчок подскажет ей, где сходить.

Сев возле Рижского вокзала в рейсовый автобус, идущий в Переяславль, она отправилась в коротенькое, но самое важное путешествие в своей жизни. Они долго ехали по никак не кончавшейся Москве; вот уже вроде иссяк город, и пошли старенькие почерневшие ропетовские дачки, и вновь громадные корпуса загораживают горизонт. Город теснит природу все дальше на север, и не верится, что перед самой войной тут были чистые реки в травяных берегах, березовые рощи, сосново-еловые боры, колодцы с чудесно и печально скрипящим воротом. А сейчас высокие, сверху донизу застекленные корпуса, трубы, гигантские резервуары, какие-то вышки, ажурные столбы высоко-

вольтных передач, провода с желтыми шарами в предупреждение идущим на посадку самолетам.

Где-то за Братовщиной вспомнилось, что есть еще природа, возделанные и отдыхающие поля, пастбища, избы, проселочные, клубящиеся пылью дороги. И пахнуло в вонький автобус травой, и хвоей, и землей. Она спокойно проехала Загорск, не уплатив дани дивным куполам, а потом возле какой-то невзрачной деревни уверенно поднялась и вышла из автобуса.

Здесь это было, чуть дальше, по ту сторону шоссе, но ее интересовало не место происшествия, а деревня, куда увели пострадавшего. Были все основания думать, что он местный. Найти его не представляло бы труда, если действовать в открытую, но она должна быть предельно осторожной ради Жанны. Ольга охотно взяла бы все на себя, но никто ей этого не позволит. Надо найти старика, не навлекая на себя подозрений. Помочь ей мог лишь случай, весьма вероятный, принимая во внимание небольшие размеры деревни и сельскую общительность.

Исхаживая из конца в конец пустынные улочки: дети уже пошли в школу, взрослое население занято на работе или по домашности, — она наткнулась возле колодца на востроносую старушку с тесно поставленными и круглыми, как у птицы, глазами. Ольга хотела к ней обратиться, но старуха предупредила ее намерение.

— И чего ты, милка, взад-вперед шныришь? — спросила старуха, укорной ворчбой прикрывая любопытство.

— Дедушку одного ищу, а как звать, забыла. — Ольга лгала с таким спокойствием, будто всю жизнь только этим и занималась. А может, ее тайная душа хранила и эту способность?

— Какого еще дедушку? Тут одни бабушки остались.

— Хороший такой... — Ольга улыбнулась, вспомнив тайной душой, что за всеми ссадинами, кровью и грязью, за всем безобразием, сотворенным с ним наездом, дедушка был, правда, хороший, — благообразный, не поддавшийся дряхлости.

— А мы все тут хорошие. — Старуха обнажила в усмешке свой единственный желтый клык.

— Он на мопеде ездил, — сказала Ольга.

Лицо старухи притемнилось, или Ольге так почув-

дилось? Нет, какая-то хмурость набежала на морщинистый лик, а блеклый взгляд выострился.

— А зачем он тебе?

— Дом хочу снять.

— Кто же это дачу в сентябре снимает, на зиму глядя?

— Сыну воздух чистый прописан. Я на весь год сговорила.

— Сомневаюсь я чего-то, — сказала старуха. — Андрей Петрович сроду не сдавал.

«Значит, с ним все в порядке! — вспыхнуло в Ольге. — Иначе не стала бы точить лясы старая!»

— Не сдавал, а мне решил сдать. Видать, деньги понадобились.

— Зачем ему деньги? Когда человек при пенсии и своем огороде... Нет, милка, ты чегой-то врешь.

— А зачем мне врать? — храбро сказала Ольга. — Может, просто любезность хотел оказать.

— Это на него похоже, — раздумчиво молвила старуха. — С другой стороны, Пашка к себе его тянул. Пустой дом — отчего не сдать?

— Какой Пашка?

— Да сын его, кузнец.

— А где он живет — Андрей Петрович? Не покажете?

— Нету Андрея Петровича, милка, преставился, царствие ему небесное. — Старуха осенила себя мелким крестом.

— Как преставился?..

— Да помер он. Ты что, русского языка не понимаешь?

— Отчего?.. — пробормотала Ольга, чувствуя подступающую дурноту. — Отчего он помер?

— Отчего люди помирают? — старуха вздохнула. — От смерти.

— Да как же так?.. — Ольга понимала, что говорит лишнее, ее назойливость странна и подозрительна, и еще немного, старуха обо всем догадается, но ничего не могла поделать с собой. — Жил, жил и вдруг помер. Он же крепкий был, ничем не болел!..

— Да чего ты расплескалась так? Нешто он родной тебе? Или за избу переживаешь?.. — Старуха вскинула зад и уселась на край колодезного сруба. — Неизвестно, отчего он помер. В одночасье. Сидел в избе, куртку зашивал, вдруг повалился, тут ему

и причина... Ушибли его, правда, сильно, — добавила, подумав, старуха. — Машина на него налетела, когда он в район ехал. Может, оборвала ему что внутренях. Кто его знает? Врачи разве правду скажут? Он после того случая долго болел, но отлежался и встал. И даже керосинку свою собрал. Пашка шумел, чтобы отец на ней больше не ездил, но Андрей Петрович, кроме покойной жены, никого не слушал. А тут взял да помер.

Ольга смотрела на старуху и видела, как на лоб ей сел маленький черный жучок и подполз под платок, в щелку над теменем.

— Жучок, — сказала она.

— Чего? — не поняла старуха.

— Жучок вам под платок заполз.

— И ляд с ним! Как заполз, так выползет...

Андрей-то Петрович век свой прожил, — пустилась в рассуждения бабушка. — Хоть жизнь его не больно баловала, знал и войну и плен германский, а солнце ему всежки посветило. Кого жалко, так это Пашку. Золотой мужик, хоть пыли много. И семью его жалко аж не знаю как.

— А что с ним? — Внутри у Ольги все мелко и часто дрожало, но голос звучал ровно.

— Приятеля на поминках в висок убил.

— За что?

— Да это он Косого-придурка. Тот видел, кто Андрея Петровича скovyрнул, и не сказал. Побоялся. Два, говорит, амбала здоровенных, а с ними еще бабища, кобыла, прости господи! Это она Андреем Петровичем распорядилась и еще орала на всех. Видать, из начальства. С такими свяжешься, жизни рад не будешь.

— А номер?.. Чего же он номер-то не запомнил?

— Нешто он понимал в номерах? Говорю — дурачок. А глаз на личность имел вострый. Вот он и ляпнул на поминках: а я знаю, кто твоего батьку ухайдакал. Так чего же молчал? А боялся. Ну, Пашка с обиды и ахнул ему в висок. Кузнец!.. А у дурачка кость слабая. Восемь лет Пашке впаяли, прокурор вовсе десятку требовал. Была семья, и нету семьи: старики на погосте, сын в тюрьге... Постой, милка, ты куда? Может, тебе в правление зайтить? Глядишь, и сдадут избу Андрея Петровича. Все равно пустует.

— Спасибо, бабушка, я зайду.

— Правление как раз за магазином.

— Знаю. Спасибо. До свидания.

— Привози мальчика-то. Здесь воздух — хрусталь. Соляркой, правда, воняет, но где теперь не воняет, нету таких мест. Постой, я радива два дня не слушала. Как там война идет?

— Хорошо,— завершила Ольга, не понявшая вопроса бабушки.

— Видать, мы крепко стоим. С керосином до сих пор свободно...

Ольга не помнила, как добралась до дома. Зато хорошо помнила, что била мужа чем попало по голове и лицу и он бил ее с не меньшей жестокостью...

Самое трудное было, пока не начались домашние напасти. Но вскоре у сына открылось воспаление среднего уха, а дочь разочаровалась, хотя и не слишком болезненно, в баскетбольном мальчике. Ольге стало не то что легче — просто не оставалось времени для самоедства. Ко всему у Игоря вскочили нарывы в горле. Надо было лечить: ухо одному, горло другому, душу третьей. А тут еще залило кухню живущим под ними соседям, и жэковские умельцы разворотили стену в уборной в поисках источника бедствия. И хотя уборная доказала свою невиновность, стену долго не заделывали, и борьба с домоуправлением потребовала от Ольги много душевных и физических сил. В начале зимы прорвало трубу отопления, потом в поселке исчезло мясо, а Лене потребовались вельветовые джинсы, которых днем с огнем не сыскать. Игорю предложили должность зам. директора института, он не знал, соглашаться или нет, ворочался ночью без сна и требовал к себе повышенного внимания. На работе Ольгу выбрали в местком: дел так прибавилось, что только успевай поворачиваться. А свою тетрадь в черной обложке она в злую минуту сожгла. И, всплакнув, почувствовала облегчение.

Время шло. Дни сменялись ночами, дожди — снегом, мели метели, раскалялись морозы, вытягивая прямые столбы дымов, потом холода отпустили, засочились сосульки, пахнуло весной. Болели, выздоравливали дети и муж, приходили какие-то люди, отмечались праздники вином и пирогами, повседневность не давала спуску, лишь иногда вспоминалось, что где-то на погосте лежит убитый машиной дед возле старой своей подруги, а в колонии томится по

семье скорый на расправу молодой кузнец и что она как-то странно, бессмысленно причастна к чужой беде. Порой она с недоброй ухмылкой думала, что расточительная жизнь так неэкономно распорядилась лишь для того, чтобы на свете стало одним графоманом меньше.

Где-то посреди жаркого, сухого лета, когда пришло время отпусков, Игорь сказал:

— Соберись с духом. Звонили Иванцовы.

— Кто?

— Вот те раз! Забыла Иванцовых?

— Аа!.. Наши сообщники.

Игорь поморщился, помолчал, в последнее время он быстро уставал от жены, но имел привычку все доводить до конца:

— Может, хватит самоистязаний? Неужели тебе еще не надоело?

— Надоело. До смерти надоело. Но я вовсе не так часто этим занимаюсь.

— И правильно делаешь. Они предлагают поехать вместе на Донской лиман.

Она не ответила.

— Ты оглохла?

— Нет, я слышу. Только почему ты так далеко?..

— Я могу подойти ближе. — Игорь с дурашливым видом сделал несколько шагов к ней. — Хватит ломаться. Посмотри на себя со стороны. Эта трагическая маска!.. Противно и безвкусно.

— Противно и безвкусно, — повторила она, словно прислушиваясь к звучанию этих слов. — Наверное, ты прав. Что же ты им ответил? Согласился?

— Сказал, что должен посоветоваться с тобой. Знаешь, они против тебя ничего не имеют, хотя ты хотела закопать Жанну. Кирилл сказал, что нам вместе будет лучше, чем с другими людьми.

— Он прав. — Ольга несколько раз кивнула головой. — Мы же из одной банды и повязаны общей мокрухой.

— Перестань... Старик отравился тухлой рыбой. А может, у него был инфаркт. Или диабетическая кома. Откуда мы знаем?

— А тебе легче, что ты не знаешь?

— Легче. Старик встал и пошел — это я видел. Что было с ним дальше — не знаю.

— Знаешь: он скоропостижно умер.

— Ежедневно скоростижно умирают сотни, тысячи людей. Всё! Я не могу тратить на это остаток жизни.

— Ты счастливый человек. Вы все счастливые люди.

— Так едешь ты или нет?

Она долго смотрела на него — и чем дольше смотрела, тем хуже видела. Он как бы расплывался, терял очертания: съеживался, умалялся, будто поглощался туманом.

— Как же я поеду? — сказала она этому крошечному призраку. — Ведь я осталась на дороге...

Терпение



Скворцовы давно собирались на остров Богояр; пути туда из Ленинграда комфортабельным трехпалубным туристским теплоходом вечер и ночь. На осмотр острова со всеми его пейзажными красотами и скромными достопримечательностями уходит от силы полдня, потом отдых, всевозможные развлечения, глубокий сон, как в детской колыбели, под легкую качку озерной волны, и ты — дома. Даже странно, что, живя всю жизнь в Ленинграде, они не удосужились раньше предпринять столь приятное маленькое путешествие. Это много ближе, чем манящие Кижы, куда они собирались каждый год, так и не выбравшись, но значительно дальше Орешка-Шлиссельбурга, где они тоже не бывали, в чем признавались с наигранным стыдом.

В семье никто не отличался охотой к перемене мест, влечением к старине, отечественной истории и церковному зодчеству. Жизнь семьи была «вся в настоящем разлита». Дети учились в инязе на английском отделении, мать занималась наукой — микробиологией, отец весьма убедительно изображал директора Института по мирному использованию атомной энергии.

Брат с сестрой, внешне несхожие, он — высокий, тонкий, пепельноволосый, она — маленькая, крепко сбитая брюнетка, полностью совпадали и в своих счастливых свойствах, и в молодых пороках. Оба числились отличными студентами, английский давался им без труда, что обеспечивалось редкой механической памятью и необремененностью сознания —

они стряхивали с себя обузу практически ненужных знаний, как собаки — воду после купания; душевная и умственная лень подкреплялась в них страстью к развлечениям и холодной иронией ко всем проявлениям человеческого энтузиазма, пафоса и просто серьезности.

Брат с сестрой все делали с улыбкой, родители улыбались редко: с серьезным видом уходили на работу, с серьезным видом возвращались, серьезно, хотя и не часто, встречались с друзьями, серьезно отдыхали всегда в одной и той же Пицунде — дальние заплывы, подводная охота, теннис, шашлыки на костре, кино, долгий, за полночь преферанс. Считалось, что все это они любят, так же как и своих детей, и друг друга (у дочери, правда, было особое мнение на этот счет). Брат с сестрой не любили никого, кроме самих себя, но настолько чувствовали и понимали друг друга через собственный эгоизм, приверженность к удовольствиям и потребительское презрение к окружающим, что это создавало между ними доверительную близость. К родителям они относились настороженно, поскольку нуждались в них, но корыстное чувство к отцу смягчалось снисходительностью, мать они почти уважали за стойкую отчужденность, объяснить которую не умели да и не пытались — мать им не мешала.

Скворцова трогало и умиляло, что в лицах и молодых упругих телах детей соединялись, хотя и по-разному, материнское и отцовское начала. Удлиненное сухое сильное тело, которое он передал сыну, обрело у того мягкую материнскую пластику, а на тонких отцовских губах вдруг всплывала невесть к чему относящаяся далекая потерянная материнская улыбка; дочь, будь она повыше и поплотнее, являла бы точную копию матери в ее восемнадцать, но острый пытливый взгляд из-под очень длинных тонких ресниц был отцов, и это единственное сходство оказалось доминантой ее внешности. Скворцов видел: дети — хищники, что обеспечивало им жизнестойкость, и это его радовало не меньше, чем «документально» утвержденная в них несомненность четвертьвекового союза — время не остудило страстной любви Скворцова к жене.

Скворцову стоило немалого труда устроить эту семейную поездку, о которой он давно мечтал, — ему

не хватало слишком рано эмансипировавшихся детей. И брату, и сестре было безразлично, куда ехать: на север, юг, восток или запад, не волновало их и конечное место назначения: море, горы, озеро, остров, город, дачный поселок, но требовалась подходящая, настроенная на их волну компания, хорошие диски или записи, много вина, понимание с первого взгляда и возможность это понимание реализовать. Они ни за что не согласились бы на семейный компот, если б им не было обещано по отдельной каюте, если б теплоходный бар с джазом уже не получил одобрения знатоков, если б родители не предоставили им полную свободу, в том числе от экскурсии по острову, где смотреть, как и повсюду, совершенно нечего. Взрослые люди просто отстаивают свой обветшалый мир — обычная борьба за существование — перед теми, кто сгонит их с арены, и потому усиленно притворяются, будто до сих пор ценят скудные радости своей аскетической молодости.

Паша и Таня Скворцовы справедливо считали, что им повезло с предками — могло быть куда хуже; каждое покушение на их время щедро оплачивалось деньгами и подарками, незамедлительным исполнением самых сложных просьб. Паша являлся собственником однокомнатной кооперативной квартиры с лоджией и «Жигулей», Таня знала, что в недалеком будущем ее ждут те же блага, но, полагаясь на собственные силы, рассчитывала достичь большего посредством раннего, тщательно продуманного брака. Она нравилась и сверстникам, и зрелым мужчинам, и старикам, что озадачивало ее брата, вовсе не ощущавшего ее притягательности, — обычная смазливая девчонка, каких тринадцать на дюжину. «Неужели ты сам не понимаешь, почему ко мне все липнут?» — однажды спросила Таня, раздраженная слепотой самого близкого человека. «Честно говоря, нет!» — «А во мне есть мами-но», — произнесла она, таинственно понизив голос. «Ну, и что с того?» — искренне удивился брат. В тугом, энергичном, очень современном лице сестры промелькнуло сходство с уже поплывшими чертами матери, но сходство это было зыбким, непрочным, к тому же он не чувствовал очарования матери, синего чулка, зануды, безразличной к блеску сына, а этого Паша не выносил. «В матери есть н е ч т о, — важно, свысока сказала Таня. — Поэ-

тому отец так помешан на ней. И во мне есть не что, и не видит этого только последний дурак». Паша возмутился и дал сестре подзатыльник. Они подрались — с большим ожесточением, причем обе стороны понесли чувствительные потери. Паша не отличался великодушием и расквасил сестре нос. Помирились они перед самой поездкой на Богояр.

Уже на пароходе Паша вспомнил о недавнем разговоре, оказывается, кое-что его заинтересовало. Не слишком... Слишком не надо ничем интересоваться, а то набьешь мозоли на мозги. Но теплоход плыл мимо низких и скучных невских берегов, бар был еще закрыт, а сестра все равно торчала у него в каюте, и Паша вернулся к прерванному побоищем разговору:

— Ты считаешь мать красивой?

— Если хочешь знать, в молодости она была даже красивей меня,— заявила Таня, и у брата опять зачесались руки.— Она зачем-то уничтожила все свои довоенные карточки, но у отца в бумажнике есть крошечное фото, вырезанное из группового снимка. Какое у нее лицо!.. Нет, я, конечно, пас перед матерью,— охваченная внезапным смирением, сказала Таня.— Зато у меня есть характер!..— смирение отступило перед новым напором самодовольства.— А маман этим не блещет.

— Во зазналась! — восхитился брат.— Ты начинаешь мне нравиться.

— А ты мне — нет. Терпеть не могу желторотых.

Паша заводился с пол-оборота, но в поклонении сестры был уверен. К тому же сейчас его занимало другое.

— По-твоему, мать бесхарактерная?

— Конечно! Она не любит отца, а живет с ним и даже не изменяет.

— А ты почему знаешь?

— Мы как-никак соседки...

— Ну, ты сильна!.. А ее заграничные поездки? Думаешь, за красивые глаза?

— Болван!.. Мать — крупный ученый. Другие хватали должностей и премий, но если требуется наука, посылают мать. А когда придуманные командировочки, за костюмчиками для внуков...— Она не договорила.— Не знаю... Возможно, у матери есть характер... или был когда-то, но она от него отказалась. Ей так проще. Во всяком случае, дома. А на

работе...— Таня пожала плечами.— Она заставила себя уважать.

— А я не верю, что мать настоящий ученый. Погасшие люди бесплодны.

— Видать, ты сильно мучаешься, что мать на тебя плевать хотела!

— Касса-то ведь у отца,— рассудительно заметил Паша,— остальное меня мало волнует. Тем более что отец насюсюкался надо мной за двоих. Но ты тоже зря разыгрываешь из себя маменькину дочку.

— А я и не разыгрываю... Но тебя мать просто не видит, а меня...— Она заколебалась и вдруг сказала искренне: — То ли жалеет, то ли хочет полюбить...

— Да не может! Все это маразм. Эскимосы оставляют престарелых родителей в чумах без харчей и огня — вот правильная постановка вопроса.

— Чего ты злишься?.. Наши никому не мешают. У тебя какой-то Эдипов комплекс навыворот.

— Ладно!..— теперь он всерьез завелся.— Ты мне надоела. И пора одеваться! — резким движением он спустил тренировочные брюки.

— А то я тебя не видела!..— презрительно уронила сестра, но все же вышла из каюты.

Они помирились в баре, возле стойки, где, по обыкновению, изобразили нежную парочку, чтобы спокойно, без помех отыскать себе что-нибудь подходящее.

Слухи о теплоходе в целом и о баре в частности не были преувеличены. Первокласная посуда, оборудованная по последнему слову техники, со вкусом отделанная деревом; скрытый свет, мягко разливающийся по стенам и потолкам, превосходная мебель, особенно хороши глубокие кресла и диваны, обитые красной кожей; полуовальная стойка бара обставлена высокими тяжелыми устойчивыми табуретами, сиденья тоже обиты красной кожей; пышногрудая чернокудрая испанского вида барменша со смуглыми полными руками ловко сбивала коктейли; хорошо одетая публика; правда, джаз с электрогитарами и прочей электромзыкальной техникой был шумноват, но это неизбежно, таково повсеместное требование отечественного вкуса — игра под сурдинку считается халтурой, — словом, все соответствовало высшим современным требованиям.

— Только не нажирайся сразу,— попросила

сестра. — Мне здесь нравится и охота продержаться до конца.

— Кого-нибудь подцепишь и продержишься. А меня оставь в покое! — резко сказал Паша, наметанным глазом обводя быстро заполнявшееся помещение...

...Меж тем их родители, поужинав в ресторане, вернулись в каюту-люкс и сейчас пытались решить, что делать дальше. По местному радио была объявлена обширная программа развлечений: в кинозале — новый фильм, в концертном — литературная викторина, в нижнем салоне — телепередача из Останкина, в верхнем — шахматный турнир. Все, кроме шахмат, представлялось соблазнительным, и Алексей Петрович Скворцов прикидывал вслух сравнительные достоинства каждого мероприятия, ероша свои мягкие, но упругие волосы, которые, растрепанные и перепутанные его худыми пальцами, как-то сами разбирались между собой и аккуратно ложились седыми волнами по сторонам прямого пробора на маленькой аристократической голове, когда заметил, что Анна выпала из общения, забыла о его существовании, вступив в тайный и бессмысленный сговор с ночью и темной маслянистой водой за оконцем, с которого сдвинула занавеску. Над Невой повис плотный туман, растворявший в себе редкие береговые огни и свет, источаемый теплоходом, да она и не пыталась что-либо увидеть в желтовато-неопрятной мути. Это лишь казалось, будто взгляд ее устремлен на что-то внешнее, нет, она всматривалась в себя, в свое прошлое, несбывшееся, обладавшее над ней магической властью. Если б Скворцов знал, что это останется у нее навсегда, он бы... все равно женился на ней, сознательно приняв ту муку, которую нес вот уже четверть века. Страшнее и безысходнее корежило его в юности, когда она любила его друга, единственного друга, почти брата, друга, не вернувшегося с войны и тем открывшего ему путь если не к сердцу, то к плоти любимой женщины. Нет, не просто открывшего, а сделавшего куда больше: он получил Анну, потому что от него пахло Пашкой; они и на войне были неразлучны до той последней минуты, когда приходится делать выбор, поставив жизнь на карту, ему повезло, а Пашка погиб. Была в Пашке при всех его достоинствах какая-то слабина, обреченность. Скворцов рано

угадал это в Пашке, казавшемся всем другим победителем, прирожденным лидером, юным вождем Оцеолой. Наверное, потому Скворцов не отступился от Анны при всей очевидности своего поражения, ибо чувствовал Пашкину незащищенность. Пашка был уверен, что друг зачехлил оружие, как поступил бы он сам в подобных обстоятельствах, ибо это диктовалось его оскорбительной для живых, нормальных, грешных и притом неплохих людей старомодной этикой. Свою неоправданную, сумасшедшую, фанатичную надежду, что верх останется все-таки за ним, Скворцов даже в наихудшие минуты не думал подкрепить хоть малым предательством друга; нечистота (в свете допотопной Пашкиной морали) была в том, что он ожидал его отступа, с боя, чем непременно воспользовался бы. А Пашка должен был рано или поздно споткнуться: ветряные мельницы нередко представлялись ему великанами, а носители действительной, хотя и тайной силы — карликами. Скворцов ждал и надеялся. Даже когда началась война и между Пашкой и Анной произошло все, — потом оказалось, что ничего не произошло, хотя она с бессмысленным упорством убеждала мужа в злые минуты, что вовсе не он, а Пашка сделал ее женщиной, — когда они уходили добровольцами на эту войну и Анна не могла найти для него даже порошинки участия, все, все отдав Пашке, Скворцов не отказался от надежды. Они могли оба погибнуть, это было более чем вероятно, но если одному суждено вернуться, то им окажется Скворцов, такие, как Пашка, с войны не приходят. А Скворцов пришел-таки, вернее, притащился, хотя был в полном здравии, но плен, проверочный лагерь и прочие мытарства надолго отсрочили его возвращение — весьма непарадное — в Ленинград. К этому времени Анна уже поняла, что Пашки нет в живых, хотя похоронки не приходило и он числился пропавшим без вести. Анна искала его на фронтах — пошла сандружинницей, позже по госпиталям, инвалидным домам, давала объявления в газетах и по радио — тщетно. Пашкины родители и сестра погибли в блокаду, другой родни не было, немногие уцелевшие приятели безнадежно разводили руками. Да Анна и сама все знала... Когда же неожиданно-негаданно вернулся Скворцов, Анна так ему обрадовалась, что он, истосковавшись, измучившись,

изболев сердцем, принял эту тоску по всему, чем была для нее юность, освещенная синью Пашкиных глаз, чуть ли не за любовь. Он признавал условность, искусственность этого чувства — и все-таки обманывал себя. Анна с напором, какого он в ней не подозревал, стала втягивать его в жизнь. Сама она уже много успела: защитила кандидатскую диссертацию, которую издала книгой, готовила докторскую. Скворцов долго находился в положении догоняющего, что никак не ущемляло его самолюбия — он слишком любил Анну, чтобы вести с ней какие-то счеты. Анна сразу согласилась стать его женой, и пока он не кончил институт, они жили на ее зарплату. Вскоре родился сын, названный в честь погибшего друга Павлом, Пашкой. Когда же Скворцов сравнялся с женой в научных степенях, а по заработку обошел, то ощутил вместо законного удовлетворения легкую утрату: для него было что-то щемяще-трогательное и волнующее в ее домашнем приоритете.

Скворцов считал себя счастливейшим человеком на свете: его пыл к жене с годами не остывал, он любил своих детей, неуклонно шел вверх по служебной лестнице. Сколько выпало ему на долю горького, мучительного, страшного, унижительного, а верх остался за ним. В юности, когда в человеке все так нежно и ранимо, он находился в Пашкиной тени, хотя не уступал тому ни умом, ни характером, ни внутренней наполненностью, ни даже физической силой. Когда они шутили и ожесточенно боролись, Пашка дожимал сухощавого, юркого противника только за счет большего веса. Скворцов был остроумней, находчивей Пашки, но где бы они ни появлялись, рассчитываться на первый — второй было лишним, люди сразу узнавали ведущего. Хорош был Пашка до омерзения, особенно на коктебельском пляже: бронзовый, синеглазый, темноволосый, с мускулатурой микеланджеловского Давида и спокойно-легким дыханием доброго и бесстрашного человека. Пашка царил в любой компании, что не мешало многим считать его недалеким. А был Пашка умен и проницателен, но последним качеством редко пользовался, щадя, жалея несовершенство окружающих. Скворцов понимал это с легкой завистью, ибо такого не мог себе позволить; Анна же понимала с ликующим восторгом. Она была не просто влюблена в Пашку, он был ее богом.

И она не могла забыть его, помнила беспощадно цепким женским чувством, хотя они не знали физической близости.

А что такое эта пресловутая близость? Они прощались в Коктебеле, где их застало известие о войне. В тот вечер Пашка и Анна ушли вдвоем в Сердоликовую бухту, откуда вернулись под утро. Скворцов знал, как беззаветно любила Анна его друга, и не сомневался в том, какой дар получил Пашка перед расставанием. Но, к великому его изумлению и торжеству, в первую брачную ночь он обнаружил, что Анна девственна. Неужели красавец, силач, супермен, как сказали бы сейчас, оказался пустоцветом? А ведь так бывает. Спортивные, сплошь мускулы и сухожилия, молодцы — порой никудышные любовники. Доверительных мужских разговоров они с другом никогда не вели, но в «доаннинский» период Скворцов слышал совсем другое о любовных подвигах Пашки. И он ревновал погибшего друга к своей жене, от которой имел двух детей, но которую так и не сумел разбудить. Однажды, в злой час, она сказала, что Пашка, а не он, сделал ее женщиной. Он услышал в ее словах лишь наивную попытку унижить его, причинить боль. И когда эта бессмыслица вновь всплывала, он не придавал ей никакого значения, замороженный бедной реальностью физиологии. И лишь недавно ему стукнуло, что Анна не изощрялась в злых выдумках, а говорила о чем-то действительно постигшем ее в ночной Сердоликовой бухте. Пашка проник ей в кровь, отравив ее собой, сделав нечувствительной к другим мужчинам. Скворцов знал, как поэтично и отвлеченно помнят люди о своей первой чистой любви. Анна помнила иначе — омертвлением женского естества, совершенно здорового, щедро способного к деторождению: помимо двух детей, было еще несколько аборт, сделанных ею вопреки его чуть не слезным уговорам, — ему до безумия хотелось, чтобы она рожала от него. Лишь раз, очень давно, осмелился он заговорить о ее холодности. «Много ты понимаешь!» — обрезала она. Это прозвучало презрительно и с такой грубой злостью, какой он в ней не подозревал.

И тогда Скворцов понял, что не успокоится, пока не причинит ей ответной боли. Он был терпелив и долго ждал своего часа, но в конце концов подвел ее

к тому вопросу, которого она почему-то ни разу не задала: как погиб Павел? Скворцов отвечал осторожно, взвешивая каждое слово. Их оставили вдвоем в покинутом немецком дзоте на развилке дорог. Приказ был: продержаться до подхода наших. Они и держались, хорошо держались... А потом настала тишина, о них словно забыли: и свои, и чужие... Деятельная натура Пашки не выдержала. Он пошел искать наших, Скворцов остался. Видимо, Пашка нарвался на тех немцев, которые после забросали дзот гранатами и взяли в плен контуженого Скворцова. «Зря он не остался», — только и сказала Анна. «Он хотел, как лучше, — мягко произнес Скворцов. — А может, просто не хватило терпения». — «Странно! Мне казалось, это его главное качество». — «Ты не была с ним на войне». — «Но я была с ним в Сердоликовой бухте». Таинственная бухта, где Пашкино терпение сделало из нее женщину. Чушь какая-то!.. Она продолжала с сухим смешком: «Конечно, куда ему до тебя! Ты, мой терпеливый герой, пересидел Пашку во всех смыслах». Скворцов пожалел, что затеял этот разговор, силы были неравны, любовь бессильна перед равнодушием. Он спасся в обиду. Старый, безошибочный ход, Анна умела причинять боль близким, но тут же начинала жалеть обиженного, каяться, и в эти минуты из нее можно было веревки вить. Пашкина черта — тот сгоряча мог ляпнуть черт-те что, а потом ластился котенком. Горячие люди отходчивы. Скворцов не горячился. У него была железная выдержка, умение дожидаться своего часа, и тогда он шел до конца. И еще — он безошибочно отличал необходимость от мнимых возможностей, которыми так часто обольщаются слишком самолюбивые и обидчивые люди. Конечно, у него в жилах текла кровь, не водица, и он совершал промашки, но не упорствовал в них. В свое время он сделал несколько добросовестных и несуетливых попыток проверить, насколько может освободиться от Анны, хотя бы ослабить путы, но оказалось, что с другими женщинами он испытывает вначале скуку, потом отвращение, и смирился со своим пленом. Но коли так, надо получать от нее максимум радости, не претендуя на то, чтобы ей так же радостно было с ним. В конце концов, это ее личное дело. Скворцов приспособился и к этому ее состоянию. Не терпел он лишь тех ее угрюмых выпадов из

действительности, которые в последнее время случались все чаще: похоже, что этим отмечено и начало их путешествия, обещавшего быть столь приятным. Надо принимать срочные меры, иначе все пойдет прахом. Лучший способ: озадачить ее, заставить изворачиваться, лгать или оправдываться.

— Ты думаешь о Пашке? — спросил он с нарочитой прямотой.

— Я думала о том, — сказала она, ничуть не удивленная диковатым вопросом, — что, явись сейчас Пашка, нам не о чем было бы говорить. Ты замужем за Алешкой?.. Дети есть?.. Кем ты работаешь?.. А Скворцов?.. Ну, еще что-нибудь о квартире, зарплате. Те же вопросы задала бы ему я. А дальше что?..

Скворцов промолчал. Он не ждал такого ответа, полагая, что она сама не может определить образ смутного томления, насылаемого придвинувшейся старостью. Грубая конкретность ее мыслей сбила его с толку. Они впервые отправились в маленькое путешествие всей семьей, у них прекрасная каюта-люкс, издалека доносится музыка, их не настигнет здесь ни телефонный звонок, ни внезапный наскок доброго знакомого, наконец-то можно расслабиться, перевести дух после трудной недели, сплотиться против холодного и всегда опасного мира, а у нее в мозгу — этот давно истлевший мертвец.

— Любопытно, — продолжала Анна с той же немой доверительностью, — когда расстаются, даже на короткий срок, люди, все время общающиеся друг с другом, они переполнены новостями и соображениями. Когда проходят годы и подавно десятилетия, даже самым близким нечего сказать друг другу. Мы сцеплены чепухой, повседневностью, бытовыми мелочишками, сдуло эту пену, и все — пустыня...

— Наверное, ты права... — протянул Скворцов и вдруг переиграл всю игру: — Но я имел в виду другого Пашку — нашего сына.

— А-а!.. — не было и тени замешательства, хотя она принадлежала к людям, остро ощущающим собственные промахи, и Скворцова кольнуло: уж не разгадала ли она его уловку? — А чего о нем думать? С ним все в порядке.

— Ты так считаешь?

— Дитя своего времени. Перебесится, будет как ты.

— Что общего? Разве я бесился?

— Нет?.. А при чем тут ты? — в голосе прозвучало раздражение.

— Мы так совсем запутаемся. Речь шла о нашем сыне. Ты его не любишь.

— Я смертельно боялась за него, пока он был маленький. Потом все меньше и меньше. А сейчас успокоилась. Он меня не интересует.

— Это жестоко!

— Твое любимое выражение. Неужели ты так нежен и уязвим? Мне кажется, что и ты, и твой безумствующий сынок сделаны из весьма прочного материала.

— Я никогда не выдавал себя за рохлю. Но жизнь обошлась со мной не лучшим образом. Тебе это отлично известно. И мне хочется защитить нашего мальчика...

— Пойди и забери его из бара. Чего ты от меня хочешь? Мне не справиться со здоровенным оболтусом. И вообще он творение твоих рук.

— А дочь?

— Что дочь? — Анна хотела вывести его из себя, но он не поддавался.

— Чьих рук творение?

— Ты думаешь, моих?.. Я ее совсем не знаю, эту девочку.

— Полезно менять обстановку, — заметил Скворцов. — Выясняется много нового.

— А что мы выяснили? — произнесла она устало. — Что я плохая мать и а ш и м детям? Для этого вовсе не нужно ехать на Богояр. Я могу умереть за них, если понадобится, я не могу жить для них. Они мне чужие. Это твои дети, а не мои. Вообще, у нас все — твое. Твои дети, твоя семья, твоя квартира, твои гости, а я — твоя жена.

— А я не твой муж?

Она промолчала. Скворцов не повторил вопроса. Что-то у него сегодня не срабатывало. Было несколько тем, действующих на Анну укрощающе: его военные злоключения, его здоровье, вообще-то крепкое, но он был мнительным человеком, а муки мнительного человека не уступают мукам больного, и Анна это знала, наконец, дети. Скворцов презирал обман, если в нем не было хоть крупинки правды: самочувствие у него сегодня было отменное, к тому же жалобы на

здоровье могли сорвать завтрашнюю экскурсию, военная тема уже затрагивалась, но не пошла на пользу, оставались дети, которые его и впрямь тревожили. Он знал, что они сидят в баре, пьют, заводят сомнительные знакомства, особенно волновался он за дочь и даже ревновал ее к паршивым, испорченным мальчишкам, а еще больше — к тем немолодым потаскунам, которые не стесняются замешиваться в юные компании с целями отнюдь не культуртрегерскими.

— Наверное, река на меня так действует, — тихо сказала Анна, и Скворцов понял, что это начало капитуляции — самые сладостные минуты в его отношениях с женой. Их семейной жизни не хватало тепла, доверия, при том что Анна действительно отдаст за детей и мужа всю кровь до капли. Но она скупится на простой жест доброты, участия, бездумной нежности да просто улыбку. Она выполняет долг — безукоризненно, не придерешься (а жаль, тогда стало бы чуть легче!), но не живет общей жизнью с семьей, а служит ей. И дети рано начали понимать это и потянулись к отцу, который не отличался столь безукоризненным вниманием к их нуждам и запросам, а просто любил их, баловал (позже выяснилось, что и ключ от кассы у него). Такой была Анна с друзьями, нет, с гостями, ибо ни одного из посещавших их людей — сослуживцев и покровителей Скворцова — она не возвела в чин дружбы. Возможно, она дружила с кем-то из своих коллег, но в дом не приглашала, и Скворцов их не знал. Сын, которому нельзя было отказать в остром уме, первым разгадал домашнее самочувствие матери: «Бедная мама — тяжело ей на двух работах».

Очевидно, река действовала как-то странно и на Скворцова — впервые он не поспешил навстречу жене. Его обступило прошлое, будто вклубившееся в герметически закрытую каюту из законной желтовато-нездоровой мути. И в этом прошлом стареющая, спокойно-грустная, а порой угрюмая, запертая на все замки женщина бесилась от счастья. О, это ошалелое от любви и счастья лицо!.. Конечно же, они с Пашей были обречены. Слишком большая радость смертных раздражает богов. Ничего не дается даром, за все надо платить, и к счастью продираются, оставляя на колючках не клочья шерсти, а шмотья кровавого мяса. Вот так продирался он, Скворцов... Пашка был не из

реальной жизни — витязь, былинный богатырь, дон Сезар де Базан, ему предназначалось жить в сказке, легенде или хотя бы в чьей-либо памяти. Последнюю форму жизни он и обрел. А в повседневности при его открытости, вере в людей и всех устарелых добродетелях ему нечего было делать. Если бы не гибель на войне (а он должен был погибнуть), его доконали бы менее романтическим способом.

Когда Скворцов вернулся, большинство людей, знавших о довоенной дружбе и соперничестве Скворцова с Пашкой, считало, что ему лучше не показываться Анне на глаза. Ей будет неприятен самый его вид — притащился из плена и унижения, нелюбимый и ненужный, тусклая тень, дрянная копия того, кто не вернулся. Скворцова не смутила слепая дурь окружающих: Анна была его спасением, но и он был спасением Анны, потому что лишь на нем одном лежал Пашкин отблеск. Но как бы ни был он вынослив и терпелив, порой казалось, что ему не выдержать. Анне необходимо было без конца ворошить прошлое, и он, зажав сердце в кулаке, помогал ей в этом. Даже в пору самого острого соперничества он по-своему любил Пашку. Анна же заставила его возненавидеть мертвеца. Он поражался человеческому эгоизму: молодая, добрая, тонкая женщина, к тому же прошедшая войну со всеми ее страданиями, знающая по себе, что такое боль, и тоска, и невозможность соединиться с любимым, раздирала ему душу: Пашка... Пашка... Пашка... Она могла без усталости и передыху жгутком крутить выжатую до капли тряпку юношеских воспоминаний о Коктебеле с его каменными вершинами, скудной растительностью, сухими запахами, разноцветными камешками на заплеске, бухтами, поэтическими традициями, смешными и грустными песнями, походами в Отузы, Козы и Старый Крым, с дальними заплывами и оголтелыми теннисными баталиями, где Пашка всегда побеждал, как и во всех спортивных играх, с шашлыками на Кара-Даге и теплым плодоягодным вином, и нескончаемый ностальгический бред золотил ей синие радужки больших несчастных глаз. Скворцов вытерпел это, как и все остальное, что извело лучшие годы его жизни: несчастную любовь, войну, плен, немецкий лагерь, проверку, ссылку, унижительное возвращение домой. Он получил Анну. Но разве кончились его муки? Пашка по-прежнему тор-

чал между ними, порой едва зримо, а порой так, что застил божий свет. Он невыносимо и грозно вырос, когда родился их первенец и Анна сухими, искусанными губами — рожала она долго и трудно — просипела, что имя сыну будет Павел. Кажется, тогда Скворцов до конца понял, что ненавидит Пашку. Проклятое имя долго мешало ему полюбить сына, о котором он так мечтал. Но еще в ранние годы мальчик без малейших усилий отмел предубеждение отца. Кроме имени, у него ничего не было от Пашки, несмотря на все скрытые и явные потуги матери вырастить его похожим на своего идола. Он был умен, хитер, уклончив, скрытен и полон странного в молодом существе презрения к людям. В нем было сбояние, гниловатое обаяние ранней испорченности, но что тут общего с размашистой и доверчивой манерой доброго богатыря, готового всех принять в свои непомерные объятия? Сын был шакалом, и это нравилось Скворцову. Он рассчитывал, что быстро созревающий и жадно напитывающийся отрицательным опытом паренек возместит хотя бы частично тот долг, который числил за обществом его отец. В свою очередь и сын ощущал в нем родственную душу, он рано уловил охлаждение матери и укрылся под отцову руку. Теперь имя Павел стало звучать иронически, поскольку им называли циничного, пьющего, курящего, очень себе на уме, скороспелого молодчика. У Скворцова было и другое опасение. Пашка и Анна принадлежали к одному физическому типу рослых, статных, смуглокожих, синеглазых брюнетов. Сын унаследовал узкое тело отца, его бледную кожу, светлые тонкие волосы, а мягкость движений и редкая, будто заблудившаяся улыбка — это то, что различало Анну с Пашкой. И тут Скворцову повезло. Так какого черта портит он себе путешествие, вновь буксуя мыслью в вязкой психологической грязи? Ведь нет проблем?.. Есть...

Ему надоело постоянное незримое присутствие Пашки. Убитому на войне молодому человеку, который — дико подумать — был в возрасте его молоко-соса сына, нечего делать в серьезной жизни стареющих, отягощенных опытом людей. Но он упорно лезет к ним: щенок, пляжный кумир, студент-недоучка, донкихотишко, солдатик, на котором не успело обмяться обмундирование. Сиди в своем солдатском

раю, коли такой существует, и не суйся к взрослым, усталым людям, прошедшим огонь, воду и медные трубы. Скворцову не раз казалось, что между ними происходит любовь втроем, что Пашка получает часть положенного ему наслаждения... Бред, пакость!.. Беда в том, что, старея, он теряет упругость характера, каждая дурная мелочь, неудача, перепад Анниного настроения, ничтожная обида уже не отскакивают от него, а налипают мокрыми осенними листьями. Это недостойно его. Разве жизнь кончилась? Нет, она лишь склоняется к закату, и надо не жадно, не торопливо, а с мудрой сосредоточенностью опытного дегустатора втягивать каждую каплю бытия, но его подталкивают под руку, и вино проливается мимо рта.

Что же случилось, почему с годами, сглаживающими шероховатости, обтачивающими острые углы, ему стало не легче, а труднее с Анной, почему сильней, болезненней задевает то, мимо чего он спокойно проходил прежде? Всю жизнь он бессознательно ждал от нее маленького, совсем маленького предательства прошлого, предательства Пашки. Хоть бы на мгновение свела бы она его с пьедестала или разрешила бы это сделать другому. Четверть века у подножия Пашкиного памятника — да этого не выдержат и стальные нервы, а он человек сильно битый. Неужели не могла она хоть из сострадания, из брезгливой жалости — он и на такое согласен — кинуть ему ничтожную подачку? И ведь она догадывалась, что ему это нужно, а не поддалась, ну, хоть бы от усталости — нельзя же всю жизнь держать оборону против человека, с которым вместе засыпаешь и просыпаешься. Какой твердый, душный и неженственный характер!.. А в Пашкиных руках она плавилась воском, но тот был слишком зелен, чтобы придать форму податливому материалу. Впрочем, она сама формировала себя для него...

Было томительно от старых мыслей и материальной близости душевно отсутствующего человека. Наверное, это усугублялось малым, замкнутым пространством корабельной каюты.

Что такое пространство и время не в философском, а в бытовом значении? Расстояния, версты, мили, пролегающие между людьми, зачастую сближают их силой тоски и страсти к соединению; время почти

никогда не работает на людей. Он врал, уверяя себя только что в обратном. Сближение, взаимопроникновение угадавших друг друга людей происходит всегда вначале, затем рано или поздно начинается неуклонное разъединение, отстранение необратимое — отчуждение. Подавляющее большинство людей отвергнет эту мысль как не просто ложную, но даже кощунственную. Но вдовцы быстро женятся под предлогом, что им некому будет воды подать, а вдовы, не износив башмаков, в которых шли за гробом, или выскакивают замуж, или обзаводятся сожителем, обычно моложе себя. Освобождение от близкого человека, с которым ты прожил долгие годы, при всей несомненности горестных переживаний поначалу — немалое благо. Человеку нужна свобода, а он всегда утрачивает ее целиком или частично в многолетнем сосуществовании с другим человеком. Бывают, конечно, исключения... Впрочем, у Ани, если я окочуюсь первым, жизненной активности не прибавится, она будет делать все то же и так же, как делала раньше, с великой добросовестностью, не растрачивая на это ни крупницы личности; постель ее не интересует, она не заметила, как перешагнула физиологический барьер, положенный каждой женщине. Обо мне она грустить не станет и уже без всяких помех окунется в тину своих золотых воспоминаний. Когда-то я помог ей в этом и был нужен, но потом она заметила, что тихо, но упорно противлюсь окончательному превращению в рака, способного лишь к попятному движению. Ее это явно не устраивает, чему прямое свидетельство наше, так весело начавшееся путешествие. И недовольство мной будет все возрастать и одновременно прятаться как можно глубже. Это изнурительно... А если она умрет раньше меня? Он не услышал в себе ответа. Подождал, но все в нем обезмолвилось. Он решил подойти к вопросу исподволь. Предположим, она меня бросит (что исключено), я сойду с ума, повешусь, ну, если не повешусь — ради детей, то совершу самые губительные поступки? Какие? Запью и закурю. Мой организм не принимает ни алкоголя, ни никотина. Брошусь в объятия продажных женщин. А где они, собственно, продаются? У нас нет профессиональной любви. Но кто-то этим все же занимается. Те же сотрудницы, что окружают меня в институте, так сказать, по совместительству. Скуч-

новатый омут греха. Забвение едва ли обретишь, разве что измажешься в иле. Ну, а если Аня умрет?.. Много тяжкого отвалится от души. Так много, что с оставшимся не прожить. Ему стало страшно, невообразимо и отчаянно страшно, что Аня возьмет да и умрет раньше его, и он громко застонал.

— Что с тобой? — испуганно спросила она, мгновенно почувствовав неподдельность переживания, родившего стон, и вырвалась из своей темной глубины не только сознанием, но подавшимся к нему телом.

— Черт его знает... — пробормотал Скворцов, сразу поняв, что бой выигран, но почему-то не испытывая победного ликования. — Кольнуло что-то... Как спицей, — добавил он, морщась и потирая ладонью бок.

— Это не сердце? — Она уже рылась в сумочке, доставая оттуда нарядные заграничные лекарства, которыми сама не пользовалась, равно как и отечественными, но в чью чудодейственную силу для близких людей свято верила. Она никогда не предлагала болящему одну пилюлю, один порошок, всегда приготавливала целый набор взаимонейтрализующих и потому безвредных снадобий. Мнительный Скворцов это понимал и преспокойно отправлял в рот жменю веселых разноцветных лепешечек и шариков, запивая водой. Сейчас привычный ритуал доставил ему особенное удовольствие, ибо, пользуясь озабоченностью Анны, он извлекал из своего положения выгоду благодарных прикосновений, умиленно-робких поцелуев в шею, мочку, плечо, висок. Требовалась двойная осторожность: не перебарщивать в энергии нежности, чтобы она не заподозрила обмана, и не распускать слюни старческой благодарности, что неаппетитно. Он хотел до конца воспользоваться плодами своей победы, это так восхитительно подозерную качку. Только следил, друг Скворцов, чтобы она не слишком боялась за твое здоровье, иначе все рухнет. Обмануть ее бесхитростность ничего не стоило, но обостренное чувство долга делало ее бдительной. Скворцов благополучно лавировал меж Сциллой и Харибдой. С каждой минутой она становилась все более ручной. Теперь нужно немного безумия, чтобы вынудить ее к другим уступкам, не столь губительным для его изношенного сердца, как намерение спуститься в бар и отобрать по коктейлю у их детей-пьяниц. Ничто не казалось Анне столь опасным для

сердечника (у Скворцова было сердце водолаза), чем алкоголь. Она молила мужа пощадить себя. Что угодно, только не этот страшный яд. «Вот так-то, моя строптивица!» — нежно думал Скворцов, вода губами по душистым, густым, черным в синеву волосам.

У него была счастливая ночь, впрочем, как и всегда...

...Детишкам повезло куда меньше. Сын Паша пить не умел. На мужественном сленге современной молодежи это называлось так: «Принимает по делу, но не держит выпивку». Он отдавал себе отчет в своей позорной слабости, но всякий раз надеялся, что пронесет. И на этот раз, в пароходном баре, Паше казалось, что все будет о'кей. Из предосторожности он решил не мешать, держаться одного, самого слабенького пошла. К тому же девочка ему попалась высшего класса, и не было никакой нужды надираться, чтобы глупая, хотя и с претензиями, парикмахерша показала Афиной Палладой.

Несмотря на весь свой жизненный опыт, Паша Скворцов никак не мог определить ее социальное и жизненное положение. Он подумал было, что она тоже путешествует с родителями, — студенточка, избалованное дитя, добившееся, вроде него с Танькой, полной самостоятельности. Новая знакомая решительно отвела этот вариант: вся прелесть подобных поездок побыть одной среди чужих, совершенно незнакомых людей, освежить душу, иначе незачем ехать. Внезапно Паша обнаружил, что она куда старше, нежели ему показалось вначале. От напитков, жары, духоты, папиросного дыма будто осыпалась пыльца юности, лишив ее лицо расплывчатой прелести, черты определились и чуть погрубели. Кто же она? Некоторая загадочность наводила на мысль об «Интуристе». Танцевала она лучше и современнее всех, пила с отменной легкостью, пепел стряхивала куда угодно, кроме пепельницы, за словом в карман не лезла; его волновал чуть хрипловатый, словно ворчащий голос, каким она парировала, легко и остроумно, его выпады, нравился медленный, толчками, из глубины смешок, но больше всего нравилась та простота, с какой она пошла в его каюту, когда джазисты принялись гасить свет, чтобы повытрясти монету из оголтелых танцоров.

В каюте Пашу тут же стошнило. Новая знакомая вела себя спокойно и дружелюбно: давала воды, поддерживала ему голову прохладной ладонью за лоб, вытирала лицо мокрым полотенцем, чувствовалось, что все это ей не в новинку. Морали не читала, но все-таки уколола: «Эх ты!.. А держался, как настоящий!» Ему было стыдно, до слез стыдно и досадно, он люто ненавидел себя, но все же сделал попытку вывернуться.

— Сроду такого не бывало. Пойло на меня не действует. Отравился сардельками за ужином. Ты помнишь эту гадость? — его передернуло от омерзения.

— Брось трепаться, сардельки были свежие... Ну, ладно, ты меня пригласил сюда как сестру милосердия, неотложную помощь?

— А куда торопиться? — он хотел потянуть время, чтобы прийти в себя.— Вся ночь впереди. Останешься у меня...

— Еще чего? Чтоб засыпаться? Давай не дури, или...

— Или что? — перебил он злобно, поняв, на кого нарвался.

— Или плати за испорченное платье.

— Пятерку на химчистку, так и быть... Покажи только, где испачкано.

— Дешевка! — сказала она.— Сопля на заборе. Клади пятьдесят, не то тебя так оформят, что папочке с мамочкой нечего будет на кладбище везти.

Паша был начитанный молодой человек, ему сразу вспомнился сэлинджеровский «Ловец во ржи» и щелчок официанта, превративший юного героя в кучку дерьма. Ему этого вовсе не хотелось. Ну, влип!.. Потом будет интересно вспомнить, ребята ахнут... Но сейчас надо выходить из положения.

— Ладно,— сказал он покладисто.— Люблю таких баб. Не в деньгах счастье. Но сперва покажи работу. Я ведь тоже не фраер.

Что-то похожее на уважение мелькнуло в ее холодных глазах...

Тане повезло еще меньше. Молоденьким девушкам часто нравятся мужчины много старше их, но у Тани тяга к «старью», как называл Паша избранников сестры, имела особый смысл. Она слышала смутно о любовной истории, пережитой матерью в ранней

молодости. Человек тот погиб на войне; в памяти отложились мазки: высокий, смуглый, синеглазый... Остальное дорисовала фантазия с помощью киноэкрана. И юный весельчак Пашка оказался пожилым романтическим героем, молчаливым и загадочным, с роковой печатью на челе. Таня бессознательно правляла портрет бывшего маминого возлюбленного под нынешний образ матери. Прекрасная меланхолическая пара владела ее воображением. В баре оказался человек того самого типа: высокий, загорелый, голубоглазый, с проседью, с твердым мрачным ртом — он с усилием разжал сухие губы, чтобы пригласить ее танцевать. Площадка была пуста, это смутило Таню, и все-таки она пошла. И не пожалела об этом, он танцевал, как Фред Астор, которого часто показывают по телевизору в отрывках из старых американских фильмов. Исходящая от него сила подавляла, и отнюдь не робкая Таня была благодарна ему за молчание, боясь показаться глупой. А он был умен каждым жестом, каждым взглядом и тем, как курил, как вел ее в танце, как молчал, особенно впечатляющим было его насыщенное молчание. И не нужны были никакие слова, чтобы он очутился у нее в каюте, где они сразу упали друг другу в объятия. А затем, как всегда, Таня захотела оборвать все на полдороге, ну, немного дальше, чем на полдороге, другие, поборовшись, смирялись с этим, но не так повел себя ее загадочный избранник. Выражение значительного и неподвижного лица не изменилось, но он отверз молчание уста, и стало страшно.

— Ты брось динаму крутить, — сказал Фред Астор. — Со мной такие номера не проходят. Напились, нажралась — и деру!..

Это было так неожиданно, так непохоже на все его прежнее поведение и на все, что Таня слышала и видела в своей жизни, что она растерялась до потери памяти. Разве они были в ресторане?.. Разве они ужинали?.. А в баре вообще не подавали еды... Она тянула весь вечер один-единственный коктейль, второго он ей даже не предложил. Зачем он лжет?..

— Чего вы хотите? — спросила она шатким не от страха, от омерзения голосом.

— Возмещения расходов, — произнес он и, немного подумав, ударил ее по щеке.

Было не больно, а невыносимо обидно и стыдно.

Глотая слезы, она открыла сумочку и протянула ему смятую четвертную.

— Это все? — спросил он угрожающе.

Она быстро закивала. Он взял у нее из рук сумочку, порылся там, нашел брошку с камешком и сломанным замком, опустил в карман. Бросив сумочку на столик, погрозил Тане кулаком и спокойно, чуть сутулясь, вышел.

Он пришел в свою каюту, разделся, принял душ и, волосатый, смуглый, мускулистый, прилег в плавках и майке на кровать. Вскоре вернулась его спутница — вероломная подруга Пашки.

— Порядок? — спросил он.

— Нормально. А у тебя?

— Фальшак. Соплячка и без денег. Взял вот это. Стоит чего-нибудь? — он кинул ей брошку. — Я в цацках не разбираюсь.

— Камешек настоящий. Ты дуся!

Кабюта погрузилась в темноту, а оконце высветилось бледным светом редющей ночи...

Ранним утром, туманным, прохладным, но обещающим хорошо и быстро разгуляться — солнце поблескивало наволочь, теплоход причалил к богоярской пристани. Большой, белый, чистый и нарядный, он замер у подножия холмистого, каменистого, поросшего лесом острова, с полуразрушенным монастырем по другую сторону, старинными церковками и часовенками по опушкам и в чаще, деревянными мостиками через ручьи и овраги, с туристскими тропами и звериными тропками, с широким большаком, ведущим к маленькому поселку возле монастыря, замер, погасив могучие моторы, на грани двух прохлад — резкой озерной и мягкой лесной, — со всей своей начинкой: хорошими и плохими людьми, перепившими юнцами и грешными девчонками, жадными до впечатлений экскурсантами, растроганными любителями природы, уставшими от города тружениками, с подонками и мошенниками, с дисциплинированной, ловкой командой и хапугами джазистами, с весельем и печалью, поэзией, грязью, робкими признаниями, развратом, любовью, ошибками, воспоминаниями, надеждами, со всем, что составляет человеческую жизнь, современный Ноев ковчег, собравший на борту, как и в правек, каждой твари по паре — чистых и нечистых, — но и в скверне людской невоздержан-

ности оставшийся безвинным. Уйдут на прогулку пассажиры, и вышколенная команда все приберет, выметет, отпылесосит, начистит, надраит, освежит, и он станет равно безупречен и внутри и снаружи, чтобы в следующую ночь опять превратиться в рай и ад, оставаясь при этом равным своей главной сути прекрасного судна, мощно и ровно рассекающего воды озер и рек.

Теплоход пришел точно по расписанию, причалил минута в минуту, и все, кто должен его был встретить, находились на своих местах: пристанские служащие, грузчики, почтари, медицинские работники, милиционеры, киоскеры, торгующие открытками, сувенирами и какими-то неправдоподобными изданиями по редким и специальным разделам знаний, попавшими невесть зачем на пустынный остров; за пристанскими строениями, клумбой с розами и гвоздиками, подстриженным кустарником и громадным валуном ледникового периода уже дежурили над корявыми корешками, разложенными на газетных листах, самые несчастные минувшей войны, притаившиеся из монастыря, некогда крупнейшего инвалидного убежища. Сейчас монастырь почти опустел, и последние доживающие там его обитатели подлежали переводу на новое и лучшее место. Корешки, гордо именуемые богоярским женьшенем, не обладали никакими целебными и омолаживающими свойствами, но, подобно дальневосточному чуду природы, напоминали по форме уродливых таинственных человечков и пользовались спросом у туристов.

Давно уже объявил побудку бодрый и требовательный голос судового диктора, и сейчас из репродукторов, которые нельзя выключить, лилась бодрая духовая музыка, но пассажиры раскачивались медленно. Почти никто не закрыл окошек на ночь, доверяя июльской ночи, и каюты настыли к утру, не хотелось выползть из-под шерстяных одеял. Но пришлось, поскольку старинные вальсы все чаще прерывались строгим голосом диктора, предупреждавшего, что экскурсоводы ждать не будут. Горячий душ возвращал телу жар и бодрость, музыка уже не раздражала, а звала вперед, хорошо думалось о завтраке и ароматном спелом воздухе соснового Богояра.

Быстро раздевшись с завтраком, Анна сказала мужу, что подождет его на берегу, где экскурсантов

должны разделить на группы — походы были разной трудности и продолжительности.

Она прошла мимо кают своих детей, даже не подумав постучаться и не замедлив шага, выбралась на палубу и по крутым сходням сошла на пристань, а оттуда — на прочную, недвижимую, надежную землю. В почти неощутимой зыбкости судового пространства и даже в строениях, смываемых водой, она чувствовала странное и неприятное напряжение, а сейчас ее отпустило.

На берегу было довольно пустынно: первая смена еще не кончила завтракать, а вторая поджидала своей очереди. Какие-то пассажиры, не желавшие связывать себя официальной экскурсией, выпрашивали у местных жителей, как пройти к монастырю и далеко ли до него.

— Дорога тут одна, — сказал мужичонка с корзиной, наполненной основными шишками, и кивнул на большак. — А идти недалече — километров десять.

— Ошалел? — возмутилась худенькая женщина в брезентовых рукавицах, толкавшая тачку с кирпичами. — И восьми нету.

— Может, и нету, — покладисто согласился любитель самовара.

— Да не слушайте вы их! — вмешался подрезавший кусты борцовой стати садовник. — Тут ровно семь километров.

— Шесть тысяч восемьсот сорок метров, — с угрюмой усмешкой отчеканил показавшийся знакомым Анне голос.

Пассажиры подались к валуну. Анна машинально последовала за ними и увидела калек, торговавших корявыми грязными корешками. Тут только вспомнила она о грустной участи Богояра — служить последним приютом тех искалеченных войной, кто не захотел вернуться домой или кого отказались принять.

— Точно высчитал!.. — заметил один из туристов.

— Не высчитал, а выходил, — подхватил другой. — Сколько раз промахал своими утюжками это расстояние? — спросил он безногого в серой с распахнутым воротом рубахе, очень прямо торчащего над газетой с корешками.

О калеке нельзя было сказать, что он «стоял» или «сидел», он именно торчал пеньком, а по бокам его

обрубленного широкогрудого тела, подшитого по низу толстой темной кожей, стояли самодельные деревянные толкачи, похожие на старые угольные утюги. Его сосед, такой же обрубок, но постарше и не столь крепко скроенный, пристроился на тележке с колесиками. Ему не по силам было отмахивать бросками тела почти семь километров от монастыря до пристани и столько же обратно.

За нарочитостью «свойского» тона туриста скрывалось желание благородной прямоотой, подразумевающей уважение к ратному подвигу и жестокой потере, установить добрую мужскую кроткость с половинкой человека. Ничто не дрогнуло на загорелом со сцепленными челюстями лице калеки, давшего справку. Он будто и не слышал обращенных к нему слов. Жесткий взгляд серых холодных глаз был устремлен вдаль сквозь пустые, прозрачные тела окружающих. Туристы почувствовали опасную неуютность этого человека и неловко, толкаясь, двинулись своим путем.

Анна пожалела, что не услышала больше его голоса, резкого, надменного, неприятного, но обладавшего таинственным сходством с добрым, теплым голосом Паши. Она подошла ближе к нему, но, чтобы тот не догадался о ее любопытстве, занялась приведением в порядок своей внешности: закрепила заколками разлетевшиеся от ветра волосы, укоротила тонкий ремешок наплечной сумочки, озабоченно осмотрела расшатавшийся каблук, затем, как путник, желающий сориентироваться в пространстве, обозрела местность: опушку сосново-елового бора с убегающими в манящую чащу тропинками, лужайку перед лесом, усеянную валунами, поросшую можжевельником и низенькими серыми березами-кривулинами; в лужайку мысом вдавался ярко-зеленый выпот, над которым кружил, будто спотыкаясь о воздух, черно-белый чибис; за большаком, ведшим, как она теперь знала, к монастырю — инвалидному убежищу, земля холмилась, на срезях взгорков обнажалась каменная порода, а по другую сторону синело озеро, волны облизывали плоский берег, оставляя на песке и камнях клочья пены. Затем Анна будто вобрала взгляд в себя, отсекала все лишнее, ненужное и сбоку, чуть сзади сфокусировала его на инвалиде в серой грубой рубахе.

Она не сознавала, что нежно и благодарно улыбается ему за напоминание о Паше. Она думала: если похожи голоса, то должно быть сходное устройство гортани, связок, ротовой полости, грудной клетки, всего аппарата, создающего звучащую речь. Мысль отделилась от действительности, стала грезой, в дурманной полуяви калека почти соединился с Пашей. Если б Паша жил и наращивал возраст, у него так же окрепли бы и огрубели кости лица: скулы, челюсти, выпуклый лоб, полускрытый блинообразной кепочкой; так же отвердел бы красивый большой рот, так же налился бы широкогрудой мощью по-юношески изящный торс. Когда-то она любовалась фидиевыми уломками в Британском музее, похищенными англичанами с фронтона Парфенона, и ее обожгла мысль: как ужасны оказались бы мраморные обрубки, стань они человеческой плотью. Этот калека был похищен Богояром из Британского музея, но обрубленное тело было прекрасно, и Анне — пусть это звучит кощунством — не мешало, что его лишь половина. Легко было представить, что и другая половина была столь же совершенна.

Чем дольше смотрела она на калеку, тем отчетливей становилось его сходство с Пашей. Конечно, они были разные: юноша и почти старик, нет, стариком его не назовешь, не шло это слово к его литому, смуглому, гладкому, жестко-красивому лицу, к стальным, неморгающим глазам. Ему не дашь и пятидесяти. Но тогда он не участник Отечественной войны. Возможно, здесь находятся и люди, пострадавшие и в мирной жизни? Нет, он фронтовик. У него военная выправка, пуговицы на его рубашке спороты с гимнастерки, в морщинах возле глаз и на шее, куда не проник загар, кожа уже не кажется молодой, конечно, ему за пятьдесят. И вдруг его сходство с Пашей будто истаяло. Если б Паша остался в живых, он старел бы иначе. Его открытое, мужественное лицо наверняка смягчалось бы с годами, ведь по-настоящему добрые люди с возрастом становятся все добрее, их юная неосознанная снисходительность к окружающим превращается в сознательное всеохватное чувство приятия жизни. И никакое несчастье, даже злейшая беда, постигшая этого солдата, не могли бы так ожесточить Пашину светлую душу и омертвить его взгляд. Ее неумное воображение, смещение теней да почудив-

шаяся знакомой интонация наделила обманным сходством жутковатый памятник войны с юношей, состоявшим из сплошного сердца. И тут калека медленно повернул голову, звериным инстинктом почуяв слежку, солнечный свет ударил ему в глаза и вынес со дна свинцовых колодцев яркую, пронзительную синь.

— Паша!.. — закричала Анна, кинулась к нему и рухнула на землю. — Паша!.. Паша!.. Паша!..

Она поползла, обдирая колени о влажно-крупитчатый песок, продолжая выкрикивать его имя, чего сама не слышала. Она не могла стать на ноги, не пыталась этого сделать и не удивлялась, не пугалась того, что обезножела. Если Паша лишился ног, то и у нее их не должно быть. Вся сила ушла из рук и плеч, она едва продвигалась вперед, голова тряслась, сбрасывая со щек слезы.

Калека не шелохнулся, он глядел холодно, спокойно и отстраненно, словно все это ничуть его не касалось.

Она обхватила руками крепкое, жесткое и вроде бы незнакомое тело, уткнулась лицом в незнакомый запах стираной-перестираной рубашки, но сквозь все это чужое, враждебное, нанесенное временем, дорогами, посторонними людьми, посторонним миром на нее хлынула неповторимая, неизъяснимая родность, которая не могла обмануть...

Она знала, что он уйдет на фронт сразу, как только они вернутся из Коктебеля, где их застала война, но до этого они должны стать мужем и женой — не по штемпелям в паспорте, а плотью единой. Это она повела его вечером в Сердоликовую бухту. Но Пашка оказался фанатиком порядочности, ханжа проклятый!.. «Ты маленькая, я не имею права...» — «Я твоя жена!» — твердила она и царапала его от злости. Они были одни в ночной пустынности бухты, отрезанной от населенной земли каменистым мысом, который надо оплывать, чтобы попасть на сердоликовый берег. Анна сорвала с себя одежду, связала Пашку своим телом и повалила на сырой песок. Они целовались так, что у нее надолго омертвели губы, она не чувствовала ни горячего, ни холодного, ни произносимых слов. Она испытала острое, невыносимое наслаждение, заставившее ее кричать и плакать, и при этом она знала, что Паша не взял ее. И ей казалось, что Паша испытал тот же ожог, хотя он, конечно, не плакал и не

кричал. «Почему ты не научил меня этому раньше?» — приставала она. «Я думал, у нас впереди вечность», — она видела в темноте его большую улыбку. У них не было ничего впереди, и рай, открывшийся ей в Сердоликовой бухте, сразу стал потерянным раем. Она слышала, конечно, что существуют физиологически обобранные женщины, которые живут при этом нормальной женской жизнью, рожают детей, любят своих и чужих мужей и вовсе не томятся чувством неполноценности. Но она была не из их числа. Девушкой, не приняв в свое лоно любимого, лишь соприкоснувшись с ним, она испытала опалившее все нутро наслаждение. Она и за Скворцова пошла в надежде, что с ним, на ком Пашкин свет, ей удастся обмануть свою плоть и вызвать хоть слабое подобие чуда Сердоликовой бухты, но чуда не произошло.

Она узнала, что потеря ее невозможна. Если не вышло с Алексеем, так не выйдет ни с кем другим. Ее костер мог зажечь только Пашка. А он предал, изменил ей со смертью, и все женское умерло в ней. Но оказалось, что его измена в тысячу раз подлее и злее, не смерть его забрала, а самолюбивая дурь, нищий мужской гонор и, что еще глупей и ничтожней, неверие в ее любовь. Какой идиот, непроходимый, тупой, злой идиот!.. Загубил две судьбы. Человек — частица общей жизни мира, он не смеет бездумно распоряжаться даже самим собой, тем паче решать за двоих. Он обобрал ее до нитки, оставил без мужа, уложив ей в постель бледнокожую ящерицу, убил настоящих детей, подсунув вместо них каких-то ублюдков. За что он так ее обнесчастил? Неужели мстил за свои потерянные ноги? Господи, он так ничего и не понял в ней... Она старая баба, забывшая о своей сути, но вот она вдыхает его запах, трогает грубую ткань изношенной рубахи, и в ней ожило все то, давнее, ночное, сердоликовое, и она так же безумно любит этого бесстыжего вора, укравшего у нее столько ночей и дней, укравшего всю жизнь, а за что он так?.. Душа ее скрючивается от боли, становясь под стать темным корешкам на газете, идиотскому символу его смирения. Она кричит, захлебываясь слезами:

— Какая же ты сволочь!.. Вор!.. Подлец!..

— Тише, — говорит он удивленно и беззлобно. — Что с тобой?

— Еще спрашивает?.. Где моя жизнь?

Она бьет его кулаками по любимому и ненавистному лицу, по твердой и гулкой, как панцирь, груди. Он обхватывает ее узкие пальцы своей большой рукой, лапицей, рукой-ногой, ведь он ходит тоже ею, и зажимает, как тисками. Конечно, ей не вырваться, и тогда она плюет ему в лицо.

Он почувствовал теплую влагу ее гнева на своей щеке, подбородке, правом веке, и ему стало до отвращения нежно, так бы и не стирать ее слюну, пусть впитывается в кожу, плоть и будет ее частицей.

— Павел Сергеевич, разреши я вмажу дамочке, — предложил другой безногий коммерсант.

— Не волнуйся, Данилыч, — сказал Паша. — Все в порядке!.. — И вдруг заорал так, что жилы натянулись канатами. — Назад, Корсар!.. На место!.. Лежать!..

Анна услышала клацающий звук, ее толкнуло воздухом в спину, затем, источая горьковато-душный, не собачий, а дикий, лесной запах, мимо нее, рыча и поскуливая, прополз громадный овчар, нет, не овчар, а полуволок, с булыжной мордой и грязной изжелта-серой шерстью.

— Лежать! — повторил Пашка. — Спокойно.

Корсар зевнул с подвывом, похожим на стон. Он проглядел нападение на своего хозяина, его бесшумный, стремительный прыжок запоздал, стал ненужен, и стыдом сочилось лютое сердце.

— Ты хорошо защитился, подонок!

Корсар поднял морду и зарычал, обнажая желтые клыки.

Пашка ударил рукой по земле, и пес завыл, будто удар пришелся по нему.

— Ты не очень-то, — сказал Пашка. — Он полуволок. Я могу не успеть.

— Плевать я хотела, — сказала Анна. — Пусть разорвет.

У нее заломило голову в висках. Раз или два в жизни испытывала она эту страшную, будто последнюю боль; перед глазами все плыло: пространство, валун, инвалиды, чудовищный пес, корешки; из текучего, потерявшего глубину и контуры мира недвижно-четко и объемно выступало лишь смуглое юношеское лицо. Она сообразила, что Пашка снял свою ужасную кепку-блин, его по-прежнему темные, без седины, густые волосы удлиннили лицо, приблизив

Пашку к прежнему образу, и еще она заметила, что мир стал очень населенным: в нем появилось множество глаз и все сориентированы на них. Очевидно, с ними что-то не в порядке, или не в порядке с этими очеловеченными рыбами-телескопами, плавающими в текучем мироздании, как в аквариуме без стенок. Плевать ей на них. А вот руки у нее получили свободу и можно опять ударить Пашку, но пропало желание.

Окружающее перестало струиться, все вокруг обрело твердый абрис, освободил голову железный обруч, — как ясен мир в зрачках! И этим вновь ясным, чистым зрением она обнаружила в глубине пейзажа, на заднем плане валящей из теплохода толпы белое, будто судорогой сведенное лицо Скворцова, ее мужа, отца ее детей, отсыпавшихся в каютах на белом теплоходе, доставившем ее через вечность и тысячи верст к Пашке, у которого не оказалось ног, но есть огромная свирепая собака и темные корявые корешки.

Скворцов опрометью кинулся назад к сходням и пропал. Чего он так испугался? Да какая разница?

— Перенеси меня вон к тому лесу, — попросила она Пашу. — Как раньше, помнишь?

Он недобро усмехнулся.

— А ты — ножками. Мне — нечем.

— Ну, почему же? — сказала она разумно и тупо. — Я хочу к тебе на руки.

Он поднял с земли два деревянных утюжка и показал, как передвигается, отталкиваясь ими от земли.

— Поняла?.. Знал бы, что пожалуешь, запряг бы Корсара в тележку.

— А ты разве не ждал меня? — спросила она удивленно.

Он метнул на нее тревожный взгляд.

— Шесть тысяч восемьсот сорок метров, — сказала она. — Вон как ты точно высчитал!.. Значит, ходил к каждому пароходу. Не корешками же торговать?

— А чем — жемчугом?

— Не ври. Ты никогда не был вруном. Ты единственный до конца правдивый человек, какого я знала. Ты ведь не стал пьяницей? — спросила она с испугом.

— И это было, — ответил он равнодушно. — Но завязал. Уже давно.

— Вот видишь... Ты меня ждал, потому и ходил сюда.

Он никогда не задумывался, для чего ковыляет на пристань. Так уж повелось: встречать туристские пароходы. И все, кто был способен хоть к какому-то передвижению, принимали в этом участие. Тащились на костылях, на протезах, на тележках, с помощью «утюжков», ползком, а одного — «самовара» Лешу старуха мать на спине таскала, привязывая к себе веревками, обхватить ее сыну было нечем. Иные торговали корешками, изредка грибами, но, положив руку на сердце, неужели ради этого одолевали они семь километров лишь в один конец? На Богояр большинство попало по собственному выбору, а не по безвыходности; сами не захотели возвращаться в семьи, к женам и детям, — из гордости, боязни быть в тягость, из неверия в душевную выносливость близких, притворились покойниками и похоронили себя здесь. А все равно тянуло к живым из большого мира, и, наверное, кое в ком теплилась сумасшедшая надежда, что среди сошедших на берег с белого теплохода окажется родная душа, и кончится иску́с, и уедет он отсюда в ту жизнь, от которой добровольно отказался. Но даже те, кого не приняли дома, тянулись сюда за чудом, которого не ждали, за чудом раскаяния. Это все правда, но не главная правда, которая проще. Хотелось увидеть людей о т т у д а, из той божественной жизни, которая заказана им, обитателям Богояра. Но ведь ОНА есть, есть, и ею живут иные из тех, что были рядом на фронте и тоже пролили кровь, но им больше повезло, им не нужно было уползать в чащу. Не так уж важно, почему человек оказался здесь: по свободному выбору или по необходимости, тем более что это не всегда установишь — иной вроде бы сам все решил, да что-то толкнуло его к такому решению, какое-то подсознательное знание. Но тянуло к белому теплоходу то немудреное, всем понятное чувство, что заставляет арестанта приникать к зарешеченному окошку: хочется глотнуть воздуха с воли, воздуха, каким были овеваны веселые люди, шумно сходявшие на горькую землю Богояра...

Павел попал на остров не сразу, не из госпиталя, а пройдя долгий и страшный путь калеки-отщепенца. И, спасаясь от полной деградаци́и, утраты личности, приполз сюда. Он ни на что не надеялся и не хотел

никакого чуда, но одно затаенное желание у него все же было: ленинградцы рано или поздно совершают паломничество на Богояр, это так же неизбежно, как посещение Шлиссельбурга или Кижей, и ему хотелось увидеть, какой стала Аня. Он был уверен, что она не узнает его, просто не заметит, а он из укромья своей неузнанности, спокойно разглядит ее. «Спокойно», — он именно так говорил себе, кретин несчастный! А сейчас какой-то дым застил ему зрение, он не видел ее толком, лишь в первые минуты, когда она появилась и еще не узнала его, он поразился ее сходством с той, что осталась в его памяти. Потом он понял мучающимся чувством, что она не совсем такая, вовсе не такая, эта большая, грузная, стареющая, хотя все еще привлекательная женщина. Но схожесть была, она сохранилась в чем-то второстепенном: взмахе ресниц, блеске темных волос, родинке над левой бровью, и эти мелочи перетягивали то, куда более очевидное, чем отяготили ее годы, и все-таки он не мог сфокусировать зрения, четко охватить ее облик.

— Идем, — сказала Анна, — идем туда.

И поползла в сторону леса.

— Перестань дурачиться! — крикнул он, и, почувствовав злость в его голосе, Корсар оцетинил загрибок, глухо зарычал.

Павел замахнулся на него колодкой, пес заскулил, припал к земле.

— Встань, Аня! Иди нормально.

— А что?.. — похоже, она не поняла, чего он от нее хочет.

— Ты здорова?..

— Да... конечно! — Наконец-то она осознала странность своего поведения. — Ты не бойся, Паша!.. Я совсем нормальная и даже очень ученая женщина, доктор наук.

— Смотри ж ты! — усмехнулся безногий. — Какое у меня знакомство!.. А ну, доктор наук, вставай, хватит дураков тешить.

Анна послушалась, хотя далось ей это нелегко. Она словно отвыкла стоять на двух ногах, и как далеко земля от глаз!.. Паша взмахнул своими утюгами...

Они пересекли большак и по травяному полю, усеянному валунами, двинулись к опушке бора. Корсар плелся за ними, свесив на сторону длинный розовый грязный язык.

Опушка пустила вперед кустарниковую поросль: можжевельник, бузину, волчью ягоду.

«Зачем нас понесло сюда,— думал Павел.— Зачем мы вообще длим эту бессмысленную встречу? Ну, увиделись... Это моя вина, не надо было караулить ее на пристани. Конечно, она права, я таскался сюда, чтобы увидеть ее, но зачем было соваться на глаза?.. Да я и не совался, она сама узнала меня. Что за нищенские мысли?.. Как будто я выпросил или выманил обманом эту встречу... Я не попрошайничал ни у людей, ни у судьбы... Это моя единственная награда, и сколько лет полз я к ней на подбитой кожей заднице! Пусть все это бессмысленно, а что не бессмысленно в моей сволочной жизни?.. Как поманила в молодости и с чем оставила?..»

Они не ушли далеко, но пристань со всем населением скрылась за пологим, неприметным взгорком, а им достался уединенный мир, вмещавший лишь природу и две их жизни. Анна подошла к нему — вплотную, надвинулась каланчой, он привык, что люди смотрят на него сверху вниз, а его взгляд упирается им в пуп, но сейчас это злило, тем более что она стала гладить его голову, шею, плечи, ласкать, будто милого мальчугана.

— Прекрати! — прикрикнул он. — Я щекотлив.

— Не ври, Паша. Ты не боялся щекотки. Я противна тебе? Неужели ты меня совсем разлюбил?

— О чем ты говоришь?.. Ты же взрослая женщина!.. Старая женщина, — добавил безжалостно.

— Я старая, но не очень взрослая, Паша, — сказала она добрым голосом. — Я только раз и была женщиной, с тобой, в Сердоликовой бухте, когда началась война.

— У нас же ничего не было.

— У нас было все. А больше у меня ничего не было.

— Ты что же — осталась старой девой?

— Нет, конечно. У меня муж, дети. Сын кончает институт... Боже мой! — воскликнула она, словно вспомнив о чем-то забавном. — Ты не представляешь, кто мой муж. Алешка Скворцов! Он стал такой важный, директор института...

— погоди! — перебил Пашка. — Твой муж — Скворцов. Разве он жив?

— Жив, жив!.. Ах, Паша, он мне все рассказывал. Что бы тебе остаться с ним... Ну, зачем ты ушел?..

Они поменялись ролями: теперь калека долго и тупо смотрел на женщину, переставшую нести свой расслабленный бред, вернувшуюся к разумности, рассудительности, но почему-то утратившую всякую наблюдательность: ей невдомек было, какое впечатление произвели ее слова. Вся их встреча была цепью несовпадений. Когда Анна, как ей представлялось, сумела шагнуть в тот прохладный мир реальности, куда приглашал ее всей своей твердой повадкой Паша, тому почудилось, что его засасывает в трясину ее бреда.

— Послушай, — сказал он осторожно. — О чем ты сейчас?.. Я не успеваю за твоими мыслями, все-таки не доктор наук. Снизойди к жалкому недоучке. О чем ты говоришь? Кто ушел, кто остался, где и когда все это было?

— Стоит ли, Паша?.. Я говорю о фронте... о вашем последнем дне с Алешкой. Ты не думай, он тебя не осуждает. Ты хотел, как лучше... Алешке, конечно, досталось: плен и... сам знаешь...

— погоди! — опять перебил Павел. — Что там все-таки произошло?

Ну, чего он привязался? Какое это имеет значение? На что тратят они время!.. Черт дернул ее заговорить... Она ведь не знает ничего толком. Ей почудилось что-то обидное для Пашки в недомолвках Скворцова, и она прекратила разговор. Ушел, не ушел... Вообще-то остаться полагалось бы Пашке, это было более по-солдатски. Для Скворцова приказ — не фетиш. Но остался он. Значит, что-то другое сработало в Пашке — мысль о ней. Ему захотелось выжить, выжить во что бы то ни стало. Отсюда его нетерпение. Скворцова никто не ждал. Теперь по-новому осветилось многое. Пашка считал себя виноватым в гибели друга, оставшегося на посту, вот почему он приговорил себя к Богояру...

— Слушай, а ты правда жена Алешки Скворцова или это розыгрыш?

Она чуть не заплакала.

— Паша, милый, очнись!..

— Ты жена Скворцова!.. Это грандиозно!.. Жена терпеливого русского солдата, который остался на

посту и получил христов гостинец. По-нынешнему гран-при!.. Нет, это грандиозно!..

Его лицо разжалось, как разжимается сведенный для удара кулак, и он стал удивительно похож на прежнего Пашку, когда тот в избытке хорошего настроения, ослепительной теннисной победы начинал дурачиться на коктебельском пляже. Она едва не обрадовалась перемене, но инстинктивно почуяла, что сейчас он менее всего похож на себя прежнего. Даже когда он стоял у валуна, над грязными корешками, вперив неподвижный взгляд в пустоту, он не был так далек от милого ей образа, как сейчас, когда обнажился в смехе его белоснежный оскал, лучились морщинки у синих глаз, взлетали, трепеща, большие кисти рук и весь он словно пробудился от медвежьего, на всю зиму сна. Но пробудился он не в себя прежнего, не в доброго витязя, готового заключить в объятия весь мир, а в большой надрыв, издевательскую — над кем и над чем? — ярость.

Она не понимала его внезапного срыва. Что это — лермонтовское: «Ты мертвецу святыней слова обручена»? Да ведь это не жизненно, так не бывает и не должно быть, живой думает по-живому. Она не собиралась оправдываться перед Пашей. Она пошла на фронт сандружинницей вовсе не в надежде его найти, такое бывает лишь в плохих фильмах, а потому, что хотела быть, где убивают. Ее не убили, даже не ранили, она вернулась в свой город, чтобы жить и ждать. Она и ждала, пока не пришел Скворцов и не отнял последнюю надежду. Была работа, был любящий пострадавший человек, Пашин друг, свидетель их короткого счастья, она не могла его полюбить, но уважала его чувство, его стойкость, и еще ей казалось: у нее может быть сын, похожий на Пашу. У многих людей для того, чтобы жить, еще меньше оснований. Но что случилось с Пашей? Отчего он взорвался? Когда она сказала, что Скворцов ее муж. Странно... Скворцов был его другом с раннего детства, они десять лет просидели за одной партой, поступили в один институт, полюбили одну девушку. Скворцов полюбил раньше, но ему на роду было написано во всем уступать Пашке. Со стороны это казалось естественным: Скворцов был интересным молодым человеком, а Пашка — явлением, праздником, божьим подарком. Так его все и воспринимали. Поначалу ее

отпугнула победительность курортного баловня. Бывают такие люди — для летнего отдыха. Во все играют, плавают «за горизонт», всегда в отличном настроении и загорают быстро, дочерна, без волдырей, и все дается их рукам: костер, шампуры с жирными кусками баранины, трухлявые пробки бутылок, гитарные струны. А в городе эти люди большей частью линяют, гаснут: пляжный Аполлон оказывается непреуспевающим служащим, студентом-тупицей, просто лоботрясом. Вместо прекрасного наряда смуглой наготы — жалкий ленторговский костюмишко, а куда девалась вся отвага, ловкость, покоряющая свобода слов и жестов? И все же она влюбилась в Пашку уже там, на берегу моря, когда он и внимания на нее не обращал, упоенный своими первыми взрослыми романами. А в Ленинграде она была согласна и на тупицу, и лоботряса, на последнюю шпану — любила без памяти. Но Пашка и в городе остался богом. Она вполне допускала, что Скворцов не слишком страдал, может, и вообще не страдал, находясь в тени, далеко не все люди стремятся в лидеры. И Пашка не стремился, но становился им неизбежно в любой компании, в любом обществе, в институте, на стадионе, и смирился со своим избранничеством, с тем, что ему всегда оказывают предпочтение. Быть может, он заплатил за это известной эмоциональной слепотой. Так он был ошарашен, узнав от Ани, что оказался счастливым соперником своего друга. Скрытность Скворцова привела его в ярость. «Домолчался, идиот несчастный!» — «А если б ты знал?» — «Обходил бы тебя, как Кара-Даг», — честно сказал Пашка. «За чем же дело стало?» — хотела она обидеться. «Поздно. Люблю». Проиграв, Скворцов остался на высоте. О Паше этого не скажешь. Что-то есть роковое в его характере: срываться в последнюю минуту. Так случилось на фронте, так случилось сейчас, перечеркнув его образ взрывом низкой, истерической злобы. Она и представить себе не могла, что т а к о е скрывается в Паше. Ну и пусть, что господь ни делает, все к лучшему. Кончилось наваждение, она обрела свободу от этого человека, хоть к старости, хоть на исходе плохо и горестно прожитой жизни. Свободна... Пуста, легка и свободна. Черта с два! Плевать ей на его «низкую злобу», на зависть и ревность к Скворцову, на то, что он откуда-то там ушел, да пропади все пропадом, ей ни-

кого и ничего не надо, кроме него самого. Любимого. Единственного. Но, может, ему надо — от чего-то освободиться, выплюнуть из души какую-то дрянь?

— Паша,— сказала она тихо,— что там было?..

Он мгновенно понял, о чем она спрашивает. Его будто ледяной водой окатило — перестал дергаться, размахивать руками и твердить свое: «Грандиозно!.. Грандиозно!» Только дышал тяжело, и ей нравилось, как мощно ходит его грудь под серой застиранной рубахой. И опять она подумала: какое ей до всего этого дело?..

— Ты же сама знаешь,— как будто из страшной дали донесся до нее голос.— Все знаешь от Скворцова. Мне нечего добавить.

Ну и ладно... Надо сесть на землю, чтобы видеть его лицо. Когда солнце бьет ему в глаза, радужки становятся такими же синими, как раньше, от нагретой кожи тянет тем же «смуглым» запахом, той же здоровой, чистой жизнью. Она так быстро и бесшумно опустилась на траву возле него, что он не заметил ее движения и не смог ему помешать.

— Паша...— позвала она, дыша им, его кожей, потом, рубахой.

Он потупил голову, изгнав синеву из глаз, лицо стало окаменелым, холодным, всему посторонним, как тогда у валуна. Но ее нельзя было сбить с толку, в лесу полно небродов: пересекающихся, сплетающихся, уводящих в сторону, но хороший охотничий пес держит след.

— Паша... О чем мы говорим?.. Кому это нужно?.. После стольких лет... После твоего воскрешения...

— А я и не умирал,— прервал он с подавленной яростью, он овладел собой, но внутри все клокотало.— Я умер лишь для тебя... и Скворцова.

— Бог с ним, со Скворцовым,— устало сказала Анна.— Но что я могла сделать?.. Ты же исчез. Я посылала запросы всюду. Ответ один: пропал без вести.

— Пропал — не убит.

— Но все знали, что за таким ответом. Могло мне в голову прийти, что ты скрываешься? Это чудовищно, Паша, какое право ты имел так мне не верить? Господи, я бы примчалась за тобой на край света.

— На тот край света ты бы не примчалась,— сказал он почти спокойно.

— Почему?

— Потому что это действительно край света. Не географически, конечно. Я попытался жить среди нормальных людей. После госпиталя. Когда меня наконец дорезали. В Ленинград я не поехал. Все равно ни родителей, ни сестры уже не было... Конечно, я думал о тебе,— произнес он с усилием,— зачем врать?.. Но и разжевывать нечего, так все понятно. Я решил начать сначала, доказать свое право быть среди двуногих. На равных, хоть я им по пояс. Не вышло... Помнишь, как было после войны? На всех углах поддавшие калеки торговали рассыпными папиросами. Коммерция нищих. Я этим не промышлял, учился на гранильщика. Но стоило зазеваться на улице, мне тут же кидали мелочь или рублевки. Никто не хотел обидеть, напротив, жалели, от собственной худобы отрывали. Особенно бабы, я ведь красивый был, помнишь? Но это меня доконало. Казалось, мне указывают настоящее место. Глупо?..

Она никак не отозвалась. Анна слышала каждое слово, но не пыталась вникнуть в суть, ей важно было лишь то, что скрывалось за словами. Похоже, он давно заготовил эту исповедь, проговаривал про себя, может, обращаясь к ней, но какое отношение имели эти старые обиды к чуду их встречи? Он хотел что-то объяснить, в чем-то оправдаться — все это лишнее. Пропавших лет не вернуть. Так зачем терять и настоящее?.. А может, он подводит какое-то обвинение против нее? И это лишнее. Все лишнее. Но ему зачем-то нужно выговориться прямо сейчас, словно для этого не будет другого времени. Паша, хотелось ей сказать, опомнись. Это же я, Аня, девочка с коктебельского пляжа, женщина — пусть ненастоящая — из Сердоликовой бухты. Но Паша не слышал ее молчаливой мольбы — с подавленной яростью продолжал бубнить о своем падении.

Он тоже торговал вроссыпь отсыревшими «Казбеком» и «Беломором», а выручку пропивал с алкашами в пивных, забегаловках, подъездах, на каких-то темных квартирах-казах, с дрянными, а бывало, и просто несчастными, обездоленными бабами, с вора-

ми, которые приспособляли инвалидов к своему ремеслу, «выяснял отношения», скандалил, дрался, научился пускать в дело нож. И преуспел в поножовщине так, что его стали бояться. Убогих он не трогал, а здоровых пластал без пощады. Ему доставляло наслаждение всаживать нож или заточенный напильник в распаленного противника и чувствовать, что он, огрызок, полчеловека, сильнее любой, все сохранившей сволочи. Он думал, что в конце концов его зарежут соединенными силами, и не возражал против такого финала. Но обошлось без крови — жалким, гадким, смехотворным позором. Раз к концу дня, по обыкновению на большом взводе, он сцепился с девкой из магазина, поставлявшей им краденые папиросы. Девка его надула, чего-то недодала, но не денег было жалко, взбесила ее наглость. Он преследовал ее на своей тележке по Гоголевскому бульвару от метро до схода к Сивцеву Вражку. Девка была здоровенная, все время вырывалась, да еще со смехом. А ударить бабу по-настоящему он даже тогда не мог. Так дотащились они до спуска на улицу, здесь он опять ухватил ее за карман пыльника. Она дернулась, карман остался у него в руке, а он сорвался с тележки и кубарем полетел по ступенькам. При всем честном народе. На тележке же штаны не обязательны, их все равно не видно за широким твердым кожаным ободом. И тогда он сказал себе: все, это край. И подался на Богояр.

— Хорошая история? — спросил он злорадно.

Она не ответила. Обняла его, навлекла на себя, поймала сомкнутые губы и откинулась назад.

В слившихся воедино людях звучала разная музыка. Ее восторг был любовью, его — любовью и ненавистью, сплетенными, как хороший ременный кнут. Под искалеченным и мощным мужским телом билась не только любимая плоть, но вся загубленная жизнь.

Она была почти без сознания, когда он ее отпустил. Но, отпустив, он вдруг увидел ее смятое, милое, навек родное лицо, услышал слабый шорох ночных волн, набегающих на плоский берег бухты, чтобы оставить на нем розоватые прозрачные камешки, — все мстительное, темное, злое оставило его, любовь и желание затопили душу. Он сказал ее измученным глазам:

— Лежи спокойно. Усни. Я сам.

...Обхватив голову руками и чувствуя под ладонями вздувшиеся рогатые вены на висках, Скворцов силился понять, что теперь будет и как ему выйти из новой и самой страшной ловушки, которую когда-либо расставляла перед ним жизнь. А ведь их и так было немало, иные захлопывались, но он, как лиса, отгрызал прищемленную лапу и уходил. А лапа потом отрастала. Но сейчас ловушка захлопнулась наглухо, тут не отделаешься частицей тела, не поползешь в берлогу, кропя землю густой горячей черной кровью. Но безвыходные положения бывают лишь с согласия человека, а он этого согласия не давал. Если он смог уйти от самого грозного и безжалостного, что есть на свете, — от государства, то справится с любым противником. Иначе грош ему цена. Пашке его не опрокинуть — где доказательства?.. Оговорить можно кого хочешь. На его, Скворцова, стороне десятилетия устоявшейся совместной жизни, дети, дом, прочный быт с кругом обязанностей, привычек, отношений. Она повязана, опутана, привязана бесчисленными нитями, которые удержат стареющую женщину от юных авантюр. Не уйдет же она к безногому обитателю инвалидного дома. Но этот безногий был Пашкой, и Скворцов допускал рассудку вопреки, что тут возможно все. Даже самое дикое, нежизненное и непостижимое трезвым дневным сознанием. Она бросит все, наплюет на дом, детей и работу, не говоря уже о нем. За ее утомленностью — громадная энергия... разрушения. Она способна на любой поступок, Скворцов ощущал это тем тонким и чутким местом под ложечкой, где помещается инстинкт защиты; оттуда шли панические сигналы, и лучше довериться им, чем логическим построениям, бессильным перед стихией.

Надо же случиться такому на последней прямой, когда, казалось, все страшное уже миновало и неоткуда ждать удара. Сам виноват — позволил расслабиться чувству самосохранения. Ведь он прекрасно знал, что на Богояре спокон веку находится инвалидное убежище. Правда, говорили, что его куда-то перевели. Следовало проверить это, прежде чем отправляться в сентиментальное путешествие. И почему он был так уверен в Пашкиной гибели? Он исходил из характера Пашки: такие не приходят с войны. Вот он и не при-

шел — в главном ошибки не было. Следовало учесть, что не прийти назад может и живой. Знать бы, где будешь падать, соломки бы подложил... А так и надо жить, только так: заранее подкладывать соломку. Этим и отличается умный от дурака, ответственный человек от жалкого разгильдяя. На кой черт понадобилась ему эта бессмысленная поездка? В дружную семью поиграть захотелось? Неужели на свете мало вполне безопасных мест. Можно было махнуть машиной в Таллин. Заказать номера в «Виру», там прекрасный ресторан, гриль-бар, даже ночная программа. И никаких искалеченных войной. А если они и есть, то тихо сидят дома, а не путаются под ногами у приезжих. Ладно, мечтатель!.. Думай лучше о том, какую избрать линию поведения. Все зависит от того, что ей там Пашка и а в р е т. Ну, это заранее известно. Доказать ничего нельзя. Все дело в том, кому захочет она поверить. Конечно, она поверит Пашке, если... если захочет поверить. Лучше не тешиться пустой надеждой, а смотреть правде в глаза... Скворцов вдруг заметил, что грызет ногти. Отвратительная привычка детства, от которой он поздно и с трудом отучился, вернулась к нему. Он обкусывал ногти, отдирал зубами заусеницы до крови, выгрызал мягкую кожу под ногтями и с упоением поедал обкуски собственной плоти, будто и впрямь примерялся к лисьему способу освобождения из капкана...

...Младший Скворцов наконец очнулся от долгого, по-юношески глубокого и полного сна, не омраченного ни выпитым накануне, ни унижительным приключением, о котором вспомнил сразу, едва продрал глаза. Но странно, сейчас о вчерашней истории думалось не только без огорчения и злобы, а с некоторым удовольствием. Он заставил эту дрянь повертеться. Он так и скажет ребятам, когда вернется в Ленинград. А что, если перехватить у Давшего ему жизнь деньги и продолжить игру? Нет, хорошенького понемножку. Сегодня он удовлетворится чем-нибудь попроще. Даже такому рисковому мужику, как он, требуется передышка. Он прошел в ванную комнату, раскрутил кран с горячей водой, пустил белесый от пара душ и с наслаждением ошпарился кипятком — у него была «обалденно» нечувствительная кожа, чем он очень гордился. Затем пустил ледяную воду, прямо

под душем почистил зубы и вышел из ванны бодрый, свежий, в отличном настроении, готовый для новых подвигов...

Его сестра не так легко расправилась с вчерашними впечатлениями. Она даже поплакала, вспомнив об украденной, да нет, нагло взятой у нее на глазах, словно конфискованной, брошке. Это была дорогая вещь — подарок отца на совершеннолетие, — хотя она не удосужилась спросить, сколько стоит. Отцу хотелось, чтобы она спросила о цене, но зачем потакать слабостям взрослых. Она же не собиралась продавать эту брошку. Видимо, уже тогда подсознательно решила подарить ее пароходному гангстеру. Обидно, противно, унижительно. Таня улыбнулась. Может, когда она станет такой же старой и потухшей, как мама, она вспомнит о вчерашнем как о смешной, простительной, даже милой ошибке бесшабашной молодости. Надо скопить побольше впечатлений на черные дни старости. Интересно, осмелится ли этот страшный человек прийти вечером в бар? «Осмелится»!.. Просто и спокойно придет, как на службу, чтобы объегорить очередную дуру. А может, надо заявить о нем капитану? Хорошо она будет выглядеть! Надо будет обеспечить себя на вечер кавалером понадежнее, чтобы этот прохвост опять не пристал. Да нет, он же видел, с нее нечего больше взять. Кроме молодости и красоты, усмехнулась Таня, но это его меньше всего интересует...

...Экскурсанты, разбитые на группы и ведомые ошалевшими от скуки гидами, ныряли в глубокие балки, карабкались навздым, делая вид друг перед другом и перед самим собой, что очарованы однообразной флорой острова и останками деревянных церквушек и часовен, поставленных отшельниками, божьими, но крайне неуживчивыми людьми, которым оказалось тесно в пустынности российских пространств. Туристы то и дело поглядывали на часы, словно могли ускорить движение почти остановившегося времени и вернуться на теплоход, где уютные каюты, музыка, телевизоры и водка...

...Двое на опушке вернулись из поднебесья, впрочем, женщина, похоже, этого не сознавала, она даже не потрудилась одернуть платье, это сделал мужчина. Анну удивил его жест. Пусть увидят ее нагой. Она

безмерно гордилась своим телом, всю жизнь таким ненужным, тяжелым, обременительным, но сохранившим способность к чуду и сейчас принесшим ей столько счастья. Она повернулась на бок, в его сторону.

— Надо сделать так, чтоб мы уехали вместе, — сказала Анна.

— Не понимаю.

— На нашем теплоходе.

— Куда?

— Ко мне, разумеется.

— Что за дичь?

— А ты как думал? Я тебя не отпущу. Ты пропадешь слишком надолго. Еще тридцать лет мне не выдержать, — в шутливости ее тона дрожала тревога.

Опустошенность, неизбежная после взрыва страсти, начала заполняться в нем чем-то горьким и недобрим. А ведь только что казалось, что внутри рассосалась старая, с колючими углами затверделость. Нет, она осталась, лишь повернулась, сдвинулась с места и легла хуже, неудобнее, больнее. Раньше он мог лишь догадываться, чего лишился, теперь — знал.

— А как же твоя семья? — спросил с усмешкой.

— Ты моя семья.

— Вон что!.. А жить мы будем со Скворцовым?

— Нам есть где жить, Паша. Ни о чем не беспокойся. Это моя забота.

— Видишь ли, — произнес он тягуче, — заботы не только у тебя. Тут есть парнишка, правда, парнишке этому уже за пятьдесят, но он так и не стал взрослым человеком. Почему — я тебе расскажу... оставь мою руку в покое!.. Его взяли в армию перед самым концом войны, прямо из школы, одолжили на месячишко и отпустили без рук, без ног. Он был из таежной деревни с подходящим названием Медвежье. Домой не поехал, сразу — на Богояр. В деревне у него оставалась старуха мать. Отец и два брата давно умерли от туберкулеза. А он, хоть и поскребыш, вырос на редкость здоровым, крепким, гладким, кровь с молоком, и не хотел, чтобы мать увидела его обрубком. Но старая полуграмотная крестьянка не поверила в гибель сына и отправилась разыскивать его по всей

России. Как она жила, где, чем питалась, непонятно, но через три с лишним года появилась здесь. И осталась, ехать им было некуда.

— Ты хочешь сказать, что мне...

— Нет! — отрубил он. — Лучше дослушай. Она устроилась тут сторожихой. Каждое воскресенье привязывала сына к спине и несла на пристань. Сажала на скамейку, вставляла ему в зубы зажженную сигарету, он дымил, смотрел на людей и улыбался. Близость матери помогла ему остаться пацаном с детской улыбкой, детским взглядом, детской чистотой и незлобливостью. Когда мать умерла, я стал таскать его на пристань. Сейчас он угасает, без болезни, без видной причины. Я не могу его бросить.

— Все поняла. Я останусь тут.

— Ты?.. Здесь не нужны ученые дамы.

— Я была санитаркой на фронте. Пусть он живет как можно дольше — твой дружок. А когда его не станет, мы уедем в Ленинград.

— Как все просто!.. По первому знаку бросить землю, на которой прожил четверть века... Не перебивай! Я отдаю должное твоему великодушию. Ты готова составить мне компанию... Помолчи, говорю!.. Видишь ли, здесь тоже идет жизнь, какая ни на есть, но человеческая жизнь со своими заботами, обязательствами, отношениями. Тебе даже в голову не пришло, что у меня может быть женщина.

— Еще бы!.. Я не сомневалась... Смотри, как ты богат, Паша, по сравнению со мной. Я могу бросить все, меня ничего не держит. А у тебя и друзья, и обязанности, и любимая женщина.

— Я не называл ее любимой — ни тебе, ни ей. Но она терпела меня почти десять лет. И сама понимаешь, не за богатство и положение.

— А я терпела б е з тебя — тридцать. И нечего ею восторгаться. Любая баба предпочтет тебя кому угодно.

— Да, лакомый кусок! — сказал он, не поддаваясь ее интонации. — Первый парень на Богояре. Так что видишь, нас голой рукой не возьмешь. Мы тут гордые. А ты, Аня, возвращайся домой, в свою жизнь.

— Ты больше не любишь меня? — она зашлась громким плачем, и на мгновение ему почудилось, что она актерствует, притворяется.

Он тут же устыдился своей низкой подозрительности. Будь добрым, в этом больше достоинства и силы.

— Я люблю тебя и всегда любил, ты сама знаешь. Нам крепко не повезло. Что поделаешь, Леше из Медвежьего не повезло еще больше, но даже и он не самый несчастный. Все-таки мы увиделись. Я дождался тебя. Круг завершен. Сегодняшнее не принадлежит действительности. Так не бывает. А тут случилось и останется в нас...

— Скоро кончится эта проповедь? — Она только сейчас поняла, что за его словами не жестокий каприз калеки, а принятое решение. — Зачем ты прячешься за словами? Ты просто боишься оторваться от этого берега, боишься перемен, большой жизни, от которой отвык.

— «Боишься» — это чтоб оскорбить? Ни черта я не боюсь. Скажи: «Не хочешь», и ты права. Не хочу я вашей жизни, вы к ней привыкли, вработались, а я нет. Думаешь, там на пристани я ничего не слышал, не видел?.. Зажравшиеся и вечно ноющие мещане — вот вы кто!.. Где морда, где задница — не поймешь, а все ноете, что с продуктами плохо. И запчастей не достать. И гаражи далеко от дома. С души воротит. Нет, не хочу я твоей «большой» жизни, мне в ней тесно будет.

— Жизнь разная, Паша.

— Под этим подписываюсь. Мы свое сделали, другие продолжают работу. Но за ними мне не угнаться, а с иными — не хочу. Твое окружение наверняка из тоскующих по запчастям, шиферу, загранкам и прочей тухлой муре. Да ну вас всех к дьяволу! Мы вас не трогаем, оставьте нас в покое. — Плотину прорвало, и, махнув рукой на все благие намерения, он заорал: — Не хотим!.. К чертовой матери!.. Зачем ты сюда притащилась, кто тебя звал?..

— Ты, Паша, — сказала она беззлобно. — Ты, родной.

— Ну, ладно... — он перевел дыхание. — Меня занесло. И все-таки это не такая чушь, как тебе кажется. Когда-нибудь поймешь.

— А я уже поняла. Ты не хочешь в Ленинград. Хочешь здесь остаться. И я с тобой.

— Да, много ты поняла!.. — Он смотрел на ее

любящее покорное лицо, на загорелые округлые, но уже немолодые руки, на поцарапанные травой ноги, смятую юбку, и его раздражало решительно все в ней: и моложавость, и пятна возраста, и доверчивая неприбранность, и золотая цепочка на шее, и покорность глаз, готовность повиноваться каждому его слову, только чтоб он не требовал разрыва. Он раздавил, как окурок в пепельнице, вновь нахлынувшее раздражение, голос его прозвучал сердечно:

— Прощай, Аня. Спасибо тебе за подарок. Я этого никогда не забуду.— И, отвернувшись, взмахнул утюгами и послал вперед свое тело.

Анна не пошевелилась. Она не верила, что он может уйти. И Корсар не верил, он тоже остался на месте, лишь приподнял голову и наострил одно ухо, другое, перебитое или перекушенное, висело бессильно. А Паша все кидал и кидал свои утюги, мощно бросая себя вверх и вперед — каждый бросок был куда больше человеческого шага. Анне представилось, что он вознесся над землей, к которой его так низко прибило, и летит по воздуху прочь от нее, ее рук и губ, ее любви и преданности, удирает, не поняв осенившего их чуда. Неужели так непроглядна тьма в его душе?.. Корсар первый прозрел правду, он шумно выдохнул воздух и помчался за хозяином.

Анна тоже вскочила и побежала. Но ее завернуло сперва на болото, а когда выбралась из кисло-смердной топи — на вырубку, и тут она сломала каблук о толстый корень. Она сбросила туфли, побежала босиком, но укололась, оступилась, зашибла пальцы, захромала и поняла, что ей не угнаться за Пашей, который далеко-далеко впереди летел над белесой дорогой темным, все уменьшающимся шариком.

И Павлу казалось, что он летит. Толкнись чуть сильнее, собери потуже тело, и ты вознесешься под облака, увидишь весь остров с пристанью и белым теплоходом, который в последний раз приплыл сюда для тебя.

Он был доволен собой. Получилась великолепная мужская игра: он взял женщину, которую когда-то любил, получил от Скворцова по старому долгу. И не дал себя захмутать. Он пожалел ее детей, пусть живут, не зная, что отец их трус и подлец. Он снова

остался на посту, как много лет назад, верный долгу и приказу, отданному на этот раз не белобрысым мальчишкой-лейтенантом, игравшим со смертью в орлянку на чужие жизни, а своей собственной совестью.

А ребята, конечно, заметили, как он удалился в лесок с приездом, думал Паша, летя над Богояром. Небось ждут не дождутся молодецкого рассказа. Здесь не знали зависти, любая удача одного становилась удачей всех, подтверждая общую жизнеспособность. Но когда он пришел в палату и на него накинулись с жадно-насмешливыми вопросами, он сказал серьезно и укоризненно:

— Бросьте, ребята!.. Это сеструха.

Все сразу замолчали. Не потому, что поверили, но Паша был командиром, атаманом, паханом, и его слово — закон..

...Анна с силой распахнула незапертую дверь каюты. Скворцову показалось, что она пьяна: почему-то босиком, кофточка выскочила из жеваной юбки, подол замаран землей, волосы растрепаны, лицо бледное, мятое и сырое, как после слез.

— Что с тобой?.. В каком ты виде?..

— Я была с Пашей,— объяснила она свой вид.

Скворцов принял откровенность за цинизм, это придало ему смелости.

— Я видел его и не хотел мешать. Я не допускал, что моя жена может настолько потерять себя.

— А пошел ты!..— устало произнесла Анна и тяжело опустилась на койку.

— Что он тебе сказал? — Скворцов понял, что случилось самое худшее, и голос его сорвался в петушинный крик.

— Какое твое собачье дело? И не ори сиплой фистулой. Не ори на мать своих детей, так, кажется, я называюсь в патетические минуты?

— Что он тебе сказал обо мне? Какую грязную ложь?

Она поглядела на него искоса, в мгlistом взгляде он прочел свой приговор.

— Я знаю... Клевета ходит торными дорожками. Он врал тебе, подонок, что это я ушел, а он остался? В точку?

Она повернулась к нему, лицо ее стало здешним, присутствующим.

— Он мне ни слова не сказал...

— Как не сказал? — во рту пересохло. Скворцов облизал небо, десны, губы.

— А почему, собственно?.. Господи, теперь я понимаю!.. И как могла я, дура окаянная, поверить, что Паша!.. Конечно, это ты ушел, трус, предатель. Бросил товарища, чтобы спасти свою шкуру. И Пашка стал калекой, а я несчастной на всю жизнь.

— Ты бредишь? — пробормотал Скворцов.

— Ловко придумал!.. Ничего не утверждал, а тень навел. И все ускользал от прямых слов... щадил память товарища. Я попалась и замолчала. И почему-то поверила в Пашкину смерть... Ох, ты знаешь людей, по-подлому, но знаешь. А вот столкнулся с благородством — и сам себя в дерьмо усадил. Как же я тебя ненавижу!..

Скворцов молчал. Возражать бессмысленно. Он попался, как последний идиот. Нет хуже иметь дело с такими, как Пашка, никогда не знаешь, что они выкинут. Могло прийти в голову, что калека будет молчать? Ведь это его единственный реванш. Преподнести женщине, что она живет с предателем, шкурой, трусом. А он вовсе не был ни трусом, ни предателем. Просто не захотел обреченно, как бык на бойне, ждать смерти. Пашка из породы рабов. Ему приказали, и все — собственная воля и мозг отключены. А в нем нет этого рабьего, он понял, что о них или забыли, или белобрысый лейтенант сыграл в ящик. Сколько могли держаться два человека? У них оставалось по одному диску, на что тут рассчитывать?.. В нем была воля к жизни, а в Пашке не было. Ему не повезло, он наткнулся на немцев, не успел содрать автомат с шеи, но ведь он мог выйти к своим и спасти Пашку. Глядишь, стал бы шафером с бантом на Пашкиной свадьбе. Чудесная картина! Всю жизнь мечтал стать благодетелем. А по ночам кусал бы пальцы. Спасибо!.. «Кто падет, тому ни славы, ни почета больше нет... Доля павших — хуже доли не сыскать». Это знали даже в самую героическую эпоху липовой истории человечества. Но Пашка не пал — вот в чем загвоздка. Явился с того света, чтобы изгадить ему жизнь. Нечего на Пашку валить. Тот промолчал, скрыл правду, непонятно почему, но скрыл. Сам проболтался, истерик. Не выдержали нервишки. Как

дальше будут развиваться события?.. Она на борту — это главное. Теплоход уже отчаливает. Запомнится тебе Богояр, на всю жизнь запомнится, хотя ты даже на берег не сошел. Не познакомился ни с растительным, ни с животным миром острова, ни с его историческими достопримечательностями — невосполнимая потеря... Ты немного приободрился, дружок? Имей в виду, в ближайшее время от тебя потребуются много выдержки и много изобретательства, иначе развалится здание, которое ты с таким трудом возвел.

Анна, слепо глядевшая за окно, обнаружила какое-то движение. Они покидали Богояр. Но остров не отдалялся, они шли вдоль берега. Над верхушками сосен возник деревянный, цветом в белую ночь купол с крестом — какая-то церковь. Очевидно, они оплывают остров, чтобы дать туристам более полное представление о Богояре. Она поднялась и вышла из каюты. Скворцов удержался от совета накинуть плащ.

Анну сейчас лучше не трогать. Но как ему распорядиться собой? Торчать в каюте скучно, тягостно и вредно — даром изведешь себя кружащимися вокруг одной точки мыслями. Надо скинуть наваждение. В трудную, быть может, в самую трудную минуту жизни он должен быть со своими детьми. Никто не знает, что выкинет эта женщина, она может внести страшный хаос в их жизнь, изобразить разрыв, уход, навести великий срам на семью, они должны сплотиться — не против нее, боже упаси, а против тех разрушительных сил, что в ней пробудились. Конечно, он ничего не скажет детям, просто надо быть вместе. Самое страшное все-таки не случилось — она уехала с ними. Победило элементарное благоразумие. Это давало надежду, и весьма серьезную. Обвинения, оскорбления, унижения, угрозы — сорный смерч, взвешанный с обиженной и слабой души, — не пугали. Скворцов знал: люди охотно считают тебя тем, за кого ты себя выдаешь, при одном условии — чтобы ты сам в это верил. Даже испытывая серьезные подозрения в надувательстве, они с умиленной покорностью продолжают играть в тебя такого, каким ты себя подаешь. И это распространяется даже на самых близких. Видимо, человек бессознательно экономит душевную энергию, которой у него не так уж много, —

идти наперекор в чем бы то ни было изнурительно, сложно, такой расход сил оправдан лишь важной целью. Скворцов уже ощущал себя благородным страдальцем, чья единственная вина — беззаветная любовь (тут была крупица истины); он не оставил бы Пашку, если б не Анна. Там, на последнем краю, ему мелькнуло, что он должен разыграть собственную карту. Инстинкт самосохранения тут ни при чем. Он шел к Анне!.. Женщина простит любое преступление, если оно совершается во имя нее. А тут и преступления нету. Он мог погибнуть, а Пашка уцелеть. Они уцелели оба, каждый со своими потерями. Но он притащился к Анне, а Пашка не поверил ей. Конечно, надо все додумать, чтобы сходились концы с концами, но важнейшее найдено: он знает, какого себя должен навязать Анне. Сам он уже вошел в образ и чувствовал себя достаточно уверенно. А сейчас белая рубашка, галстук, твидовый пиджак и — к детям...

Моторы работали бесшумно, ход большого белого теплохода был так тих и плавен, что казалось — он стоит на месте, а медленно поворачивается остров, давая обозреть себя со всех сторон. Была в этой малой земле посреди огромной бледной воды печальная тайна, которую она привыкла укрывать от чужих глаз. Когда-то тут были скиты отшельников, пробиравшихся сюда с великими тяготами из необжитой России в поисках последнего могильного одиночества; они зарывались в чащу и тишину, стараясь не знать о существовании друг друга, но недолг был их покой — едва начавшему осознать себя молодому государству понадобился этот остров как оплот против северных врагов (почему-то народы не могут быть просто соседями), и оно прислало сюда крепких мужиков: монахов и трудников, поставивших монастырь-крепость. Минули века, опустел монастырь и, как всякое оставленное вниманием человека становище, стал быстро разрушаться; заросли жесткими перепутавшимися травами двор и подъезды, треснули стены, ослепли окна; березы, таволга и крапива пробилась сквозь кирпичное тело, и тут его призвали для новой службы: стать убежищем отшельников середины нынешнего века, отдавших последней опустошительной войне больше чем жизнь.

Анна думала о монастыре, но почему-то не ждала, что увидит его, да еще так близко. Ей казалось, что монастырь находится в глубине острова, в лесном окружении, а но стоял на самом берегу, на другой от пристани стороне. Его кремль спускался к воде, лижущей подножие крепостной стены, а собор, службы и жилые постройки расположились на взлобке. Анна видела колокольню с темными немymi дырами там, где прежде благовестили колокола, храм с порушенным возглавием, длинное здание под новой железной крышей и живыми окнами, еще какие-то постройки, то ли восстановленные, то ли заново возведенные; потом открылся край двора с развешанным для просушки бельем, почему-то не снятым на ночь, с гаражом и сараями, перевернутой вверх колесами тачкой, ржавым воротом и поверженным опорным столбом. Она жадно вбирала в себя скудные, томящие знаки непрочитаваемой жизни и вдруг всей заолодевшей кожей ощутила, что это Пашин мир, что Паша, живой, горячий, с бьющимся сердцем, синими глазами, сухой смуглой кожей, — рядом, совсем рядом. Их разделяла лента бледной воды шириной не более двухсот метров, совсем узенькая полоска суши, ворота, которые откроются на стук, двор... Она прекрасно плавает. Паша сам ее научил. Он затаскивал ее на глубину и там бросал, преграждая путь к берегу. Приходилось шлепать по воде руками и ногами — плыть. Она оказалась способной ученицей. Какие заплывы они совершали! Чуть не до турецких берегов. Боже мой, как легко все может решиться: он не выгонит ее, если она, мокрая, замерзшая, постучится в его дверь. А все остальное как-то образуется. И Пашкиной женщине придется смириться, Анна была первой, та поймет это, наверное, она хорошая женщина.

Анна сбежала на нижнюю палубу. Только бы ей не помешали. Но кругом — ни души. Пейзаж всем осточертел, а теплоход был набит удовольствиями, как мешок Деда Мороза — подарками, и хотелось до конца использовать часы безмятежного досуга. Она тяжело перелезла через барьер и, сильно оттолкнувшись, прыгнула в воду. Ее оглушило, ожгло холодом, но она вынырнула, глотнула воздуха и, налегая плечом на воду, поплыла к берегу, к Паше. Теплоход отдалялся медленно, он был грозно огромен, на берег

же, как учил Паша, смотреть не надо — он не приближается. Руки и ноги были как чужие, плохо слушались, озеро совсем не прогревалось солнцем. Да ведь тут близко!.. Холод проник внутрь, стиснул сердце, она хлебнула воды и хотела позвать на помощь, но остатками сознания поняла, что этого делать нельзя, потому что тогда ее не пустят к Паше. Она не знала, что на теплоходе прозвучал сигнал «Человек за бортом» и уже спускали шлюпку, куда прыгнули вслед за матросами капитан и судовой врач. Она не почувствует, как ее выхватят из воды, как хлынет изо рта вода, когда сильные руки врача начнут делать искусственное дыхание...

...В баре, где Скворцов сидел со своими детьми, ничего не знали о тревоге. Видимо, ребята «сильно поиздержались в дороге», поскольку вторжение отца в их тщательно оберегаемый мир было принято весьма милостиво. Скворцов терпеть не мог все это: приторные и довольно крепкие напитки, оглушительную жесткую музыку, корчащихся в пляске святого Витта потных, с глупыми, остервенелыми лицами молодых людей, — но источал благосклонность. А потом он обнаружил на танцевальном круге гибкую брюнетку, за которой приятно было следить. Его сын, танцевавший с худощавой девицей в белых обтяжных джинсах и полосатой маечке — Париж, Рим, Копенгаген! — с усмешкой подмигнул брюнетке. Та не отозвалась, вскинула голову, но Скворцов мог бы поклясться, что Паша знает ее, и даже весьма близко. Он позавидовал простоте отношений нынешних... Удивлял избранник дочери: громадный простоватый детина с модно длинными волосами и лапищами молотобойца. К Скворцову он испытывал большое почтение и, прежде чем опрокинуть в себя очередную бурду, непременно с ним чокался. Скворцов объявил, что сегодня угощает он, это задело самолюбие молотобойца, но спорить с пожилым человеком он не посмел, а, отлучившись к стойке, принес четыре плитки шоколада «Золотой ярлык» и куль с апельсинами. Сам он шоколада не употреблял — чесался от него до крови, — а от «цитрусовых», как он называл апельсины, покрывался сыпью. «У вас аллергия, — утешил его Скворцов. — Сейчас это модно...»

...Судовой врач прижал пальцами веки Анны

и держал некоторое время, чтобы глаза закрылись. Она не захлебнулась — остановилось изношенное сердце. Конечно, это не было самоубийством, женщина видела спасательную лодку, но упрямо плыла прочь от них, к берегу. Зачем?..

Капитан думал: почему именно в его рейс должно было произойти ЧП. Ведь за все годы, что существует маршрут Ленинград — Богояр, лишь однажды пьяный свалился за борт, но был благополучно вытасцен. А это случай с летальным, как выражаются медики, исходом. И что ее дернуло?.. Приличная женщина, доктор наук, солидный муж, дети... За нее крепко спросится. Конечно, он тут ни при чем. Но ведь должен кто-то отвечать. И главное, в пароходстве начнут талдычить: «Почему именно с тобой это случилось?» А правда, почему именно с ним?.. Не потому ведь, что в молодости он дважды из лихости, из подражания легендарному черноморцу Маку, в которого были влюблены все молодые капитаны, дважды «поцеловал» причал?.. Конечно, его накажут. Но этим не ограничится. Запретят продажу спиртного в буфете, хотя погибшая туда и не заглядывала, а из тех, кто заглядывал, никто не прыгнул за борт; на час раньше будут закрывать бар и почему-то запретят танцевать «шейк»; пришлют в читальню еще несколько связок брошюр, которых и так никто не раскрывает, — и все это под знаком «усиления культурно-воспитательной работы среди пассажиров». Потом все войдет в привычную колею, жизнь куда сильнее маленьких очковтирателей, делающих вид друг перед другом, а главное, перед более крупными очковтирателями, будто можно помешать естественному ходу вещей, напору инстинктов, воли к наслаждению и забвению. Водку будут приносить с собой и пить из-под столиков, «шейк» — все так же отплясывать, оркестранты за тройки и пятерки — наяривать, сколько влезет, а в читальне — по-прежнему брать «Огонек», «Смену» и «Работницу», если уцелели выкройки. Все вернется на круги своя, и он снова будет в порядке, не вернется лишь эта женщина, которой врач наконец-то сумел закрыть синие удивленные глаза...

...Павел проснулся, как всегда, первым. Привычно спертый воздух — инвалиды ненавидели открытые окна, берегли тепло. Тяжелое дыхание, храп, стоны,

вскрики смертной боли. Этим озвучен сон искалеченных, самый крепкий и сладкий утренний сон. Они в бессчетный раз переживали в сновидениях, в точных или затуманенных, искаженных образах миг, на котором обломилась жизнь. В черепных коробках рвались бомбы, снаряды, мины, скрежетали стальные гусеницы, обдавала жаром раскаленная броня, оплавлялась в огне человечья плоть. Им снились госпиталю, послеоперационное опаматование в кошмар: тебя прежнего нет, от тебя осталось... Днем они вели себя, как все люди: улыбались, шутили, вспоминали, радовались, тосковали, ругались, спорили, курили, ели, пили, отдавали переработанную пищу — кто сам, кто с чужой помощью — к последнему невозможно было привыкнуть, — читали, слушали радио, смотрели телевизор и болели за футболистов и хоккеистов, писали жалобы в разные инстанции, собирали корешки, грибы, кто рыбачил, кто старался по хозяйству, другие работали в небольшой артели — ночью их души погружались в ад.

Павел привычным, отработанным движением скинул тело с койки и угодил прямо на свою кожаную подушку. Он заспался, шел уже седьмой час, надо быстро помыться, побриться, натянуть штаны, подвернуть брючины, хорошенько привязаться к подбою из толстой кожи — и в путь. Поест он на пристани, у него от вчерашнего дня остались два куска хлеба с баклажанной икрой.

Сквозь вонючую духоту до него долетел тонкий аромат, напомнивший о ночных фиалках, которые здесь не росли. Откуда такое? Запах усилился, окутал Павла со всех сторон, заключил в себя, как в кокон. Его собственная кожа источала этот запах — память о вчерашних событиях. Значит, Анна уже была!.. И ожил весь вчерашний день. Он ее прогнал. Теперь все. Незачем тащиться на пристань. Он свободен от многолетней вахты. Это почему же? А если она вернется? Она пришла через тридцать с лишним лет, вовсе не зная, что он находится на Богояре, так разве может не прийти теперь, когда знает его убежище? Рано или поздно, но она обязательно придет. Он должен быть на своем посту, чтобы не пропустить ее. Только сегодня это ни к чему. Сегодня она уж никак не вернется. Ее теплоход только подходит к Ленинграду, а другой теплоход отплыл на Богояр

вчера вечером. Но кто знает, кто знает!.. Раз поленись — и все потеряешь. Ходить надо так же, как ходил все эти годы, к каждому теплоходу, пока длится навигация.

Через четверть часа он уже мерил своим утюжками дорогу, а сзади бежал Корсар. В положенный час он был на пристани, на обычном месте, у валуна. Прямой, застывший, с неподвижным лицом и серо-стальными глазами, устремленными в далекую пустоту. Он ждал.

Ждет до сих пор.

Река Гераклита



В нынешнем году я нарушил давний обычай никуда не ездить в летние месяцы. Путешествую я только весной и осенью. Летом мне слишком жадно работается и хорошо думается, чтобы бросать привычную подмосковную жизнь с твердо налаженным бытом, книгами и мчаться куда-то. Но с некоторых пор начались перебои в безотказно работавшем механизме, мне словно чего-то недостает, и это мешает жить и работать. С удивлением я открыл для себя, какую важную роль играли в летние месяцы те два-три часа, которые я проводил в лесу. Здесь, а не за письменным столом происходила главная работа сочинительства. И вовсе не потому, что исхоженный вдоль и поперек лес помогал внутренней сосредоточенности, а потому, что он меня все время будоражил, загадывал разные загадки и тем поощрял душевную работу. Но в последнее время мне перестало хватать того малого пространства в излучинах Десны-подмосковной, где проходит моя жизнь.

Четверть века каждая прогулка приносила какие-то открытия, теперь я тяну пустые сети. Прежние погружения в неведомое превратились в гигиенические моционы, по отсутствию впечатления это почти бег на месте. Моя душа молчит, не отзываясь более тому, что уже было, было, без счета было...

И вот недавно друзья напомнили мне, что я живу близ границы чудесной страны, именуемой Калужская область, страны, причастной боли и славе России; там прекрасная Калуга смотрится с высоты в полные воды Оки, принимающей в себя Угру и Су-

ходрев, там леса, богатые ягодой и грибами, исторические города, старинные монастыри и памятные места великих битв. И там у них в деревне Мятлево над Угрой есть приобретенная в полную собственность «без гарантий» изба, готовая приютить меня. Я перенесусь в другую действительность, как бы не уезжая, не порывая с привычем, держащим меня в рабочем режиме. Это то, что мне нужно: путешествие души, а не физическое наматывание верст. Нежданный приезд из Таллина старого приятеля Грациуса избавил меня от последних колебаний. Белесый со стальным отливом, с острым профилем хорсой и неславянской холодной голубизной глаз, с тощим и ловким телом, Грациус считает себя потомком скандинавских морских бродяг. Он на редкость многогранен: ученый-библиофил, собиратель антиквариата, знаток иконописи и старой русской живописи, полиглот, кладезь всевозможных сведений. Предкам Грациуса не сиделось на месте, мой приятель унаследовал их географическое беспокойство. Он вечно в разъездах, часто без повода и цели. Узнав, что друзья пригласили меня в Мятлево, он тут же воспылал любовью к калужской земле, с которой связаны величайшие русские судьбы. Грациус так и сыпал именами: протопоп Аввакум, боярыни Морозова и Урусова, Баженов и Чебышев, Пушкин, Лев Толстой, маршал Жуков, Марина Цветаева... Мне сообщился его энтузиазм. Никогда еще не покидал я дом так беспечно...

Он будто ждал моего приезда — сосед наших мятлевских хозяев, невысокий, узкий в плечах, жилистый человек в розовой выгоревшей майке, заношенных брючонках, едва державшихся на тазовых костях, и кепке-восьмигранке. Лицо, открытые до плеч руки были черными от загара, а под лямочками майки и на лбу под сломанным козырьком кожа оставалась молочно-белой, как шляпка гриба поплавка. Левая нога не сгибалась в колене, и, опираясь на нее, он странно вздымался ввысь. Желтые глаза глядели заинтересованно и вроде бы ласково, но доверия не внушали. Как точны и сильны веления подсознательного в человеке! Через некоторое время я вспомнил давнишний рассказ моих друзей об их мятлевском начале. Этот желтоглазый симпатяга хватался за топор, когда они пытались вскопать огородную гряду во утолнение извечной тоски горожан по

с в о е м у лучку и редиске. «Нечего городским землю трогать! — надрывал он горло. — Нешто земля — чтоб на ней сеять?!» И отказались мои друзья от своего кощунственного намерения. Надо полагать, с тех пор соседские отношения как-то наладились, люди притерлись друг к другу, стало быть, и от меня требуется дружелюбие.

Перехватил он меня на пути из деревянного домика, скромно упрятавшегося в раkitнике.

— Приехали, значит? — с улыбкой сказал он и всадил хорошо наточенный топор в колоду.

Возле, прислоненные к плетню, стояли новенькие грабли — штук пять-шесть.

— Погостить, — сразу уточнил я, чтобы он не заподозрил в нас с Грациусом скрытых земледельцев. — На несколько деньков. А вы, гляжу, грабли делаете?

— А для совхоза! — отвечал он с охоткой и некоторой иронией, как о занятии пустячном. — Расценка — два рубля. Я не переустаю: пару в день, и хватит. Можно до полдюжины нагонять, а зачем? Я инвалид войны, при пенсии и своем хозяйстве. Дети давно отделились, только меньшей при мне. Так он механизатор. Закурим? — предложил он, вынув пачку сигарет «Мальборо».

— Откурился. — Я показал на сердце. — Откуда такие?

— Из нашего сельпо. Лежат навалом. Их мало берут: дорогие и слабые. Дыма не боитесь?

— На воздухе?.. А что еще там есть?

— Ром ямайский. Наш портвейчок, конечно. Седло хорошее, со стремянами. Детские коляски. А так пока больше ничего.

Он закурил, пустил ароматный дымок, и мы присели на скамейку возле его дома.

— Здесь у нас трудоспособных всего трое, — сообщил он доверительно. — Венька-задумчивый, Нюрка-блоха и мой Василий. Остальные на пенсии. Мы с дедом Пекой и Вакушкой — инвалиды войны, а женский мир — по годам.

Если мне не доставало информации, то Алексей Тимофеевич (имя соседа) томился невозможностью делиться ею. Мы должны сойтись.

— Где ранило? — спросил я.

— На Курской дуге.

— А немец тут был?

— Обязательно! Полдеревни спалил. Это же огромная деревня была в три улицы. А уж отстраивалась — в одну, вон в какую длинную.

Когда мы въехали в Мятлево, как раз напротив сельпо, значит, примерно посередине, улица не просматривалась до конца ни вправо, ни влево. Дома крепкие, под тесом или под железом, опрятные палисадники, справные дворы. При все том деревня казалась заброшенной: трубы не дымились, редко возле какой избы увидишь кур или уток, еще реже — телка на привязи или поросенка в луже. И духом жилым не тянуло. Загадку эту разгадать просто: местных жителей — раз-два и обчелся, а остальные — приезжие из города. Иные являются на конец недели, иные — на ягодный или грибной сезон. Я спросил Алексея Тимофеевича, сколько тут коренного населения.

— Дворов пятнадцать наберется,— подумав, ответил он.— Остальные с Калуги, Медыни, Москвы.

— Не скучно?

— Кому?

— Вам.

— Нам? А когда скучать-то? Днем работаешь. Телевизор цветной. Река рядом. Которые рыбу удят.

— Хорошо клюет?

— Кто?

— Рыба, кто же еще?

— Рыба тут вовсе не клюет. А рыбачок, бывает, так наклюется, что домой не доползет. А вы что — рыбалить приехали?

— Хотим попробовать.

— Здесь — пустое... У моста надо ловить. Вы проезжали.

— Это через Угру?

— Да. Стало быть, видели рыбачков...

Из дома вышла и, по-утиному раскачиваясь, прошла мимо нас с поганым ведром низенькая, коренастая, широкая в крестце старуха. В растянутых мочках качались круглые серебряные серьги. Я поклонился. Она угрюмо, не глянув, ответила.

— Моя... молодая,— усмехнувшись, сказал Алексей Тимофеевич.

— Недовольна, что я вас от работы отрываю?

— А куда она денется, эта работа? — сказал он

пренебрежительно. — Думает, что мы насчет бутылки соображаем.

— Не любит?

— А кто из женщин любит, чтобы мужик пил?.. Разве которая сама зашибает. Но в деревнях такие — редкость... Моя насчет этого сильно строгая. Мы с ней недавно, еще, можно сказать, приглядываемся... Жена, с которой я жизнь прожил, летошний год преставилась. Мы с ней четырех сыновей настрогали и дочку. Эту я для хозяйства пустил. Чижало, знаете, двум мужикам без бабы, особенно когда корова.

— Значит, действительно молодая. Я думал, вы шутите.

— Молодая, как есть!.. И с ндравом. Пришла сюда в охотку. Трех овец пригнала, свинью с поросенком и стадо гусей — восемь носов. Мужик у ней сильно раненный с войны пришел, лет пять помаялся и помер. Есть дочь замужняя, за Полотняным Заводом живет, но матерю к себе не просит. Муж сильно зашибает и в чумовом состоянии за топор хватается. А ведь известно, как зятя тещ уважают... Обрадовалась моя Татьяна замуж. И скучно одной, и любит хозяйствовать, а для себя одной — без интересу. Опять же, у меня корова. Пришла она, и все у ей закипело. К телевизору не присядет, до того занята. Зачем она так ломается — другой вопрос. Павлинов жареных мы не едали и сейчас не едим. А щи с кашей и раньше кушали. Да раз охота весь день суетиться — на здоровье. Только дай и другим свой интерес иметь. А она против этого интереса восстала.

Я не стал спрашивать, в чем состоит «интерес», вызвавший недовольство «молодой», и Алексей Тимофеевич почел за лишнее объяснить — и так все понятно.

— Она, надо сказать, не из ругательных старух. Только поворчит себе под нос и дальше вкалывает. Но внутри соображает. У ней в черепушке все время работа идет, я сроду таких не встречал. Жена-покойница голову иные дни вовсе не включала, меньшей, разве когда на курсах механизаторов учился, будкой пользовался, а так мог бы и на погребке держать, сам я, правда, из мыслящих. Переживаний много было, обратно же — война. Мы как с Венькой-задумчивым сходимся — страшное дело, не продохнуть от мыслей.

Но тоже — увлечешься граблями или еще чем, после спохватишься, батюшки, когда же я в последний раз думал?! Вот вы, человек, конечно, городской, от мозга головного кормитесь, а много вы о серьезном думаете?

— Нет,— честно признался я,— самую малость. Знаете, был такой француз Паскаль, знаменитый философ, ну, ученый, который...

— А я знаю, что такое философ,— спокойно прервал Алексей Тимофеевич.— Это который, поддав, за мировое устройство переживает. Раньше за такое по головке не гладили.

— А еще раньше на кострах сжигали. Но Паскаля не сожгли. Хитрый был, пил втихаря, за языком следил. Однако считался умнейшим человеком своего времени. А перед смертью признался, что о серьезном думал в редчайших случаях.

— Но, видать, дельно, раз о нем помнят... Молодая не как энтот... она всю дорогу в размышлениях, серьезных — сроду не улыбнется. Но вслух не высказывается, про себя копит. А потом действует. Так у нас вышло. Мы с сыном в воскресенье еще рассольчиком не поправились, а по деревне облако запылило: погнала молодая свое стадо к дочери. И списываться не стала, сама все решила. Даже зятя не забоялась. Из дома иголки не взяла, но своего не забыла. Мы от удивления обратно наглохнулись.

«Молодая» прошла мимо нас уже с пустым ведром и бросила тот же угрюмый, недружелюбный взгляд.

— Это соседей наших гость,— счел нужным определить меня Алексей Тимофеевич.— Он не по мою душу. Напрасно супишься.

«Молодая» не отозвалась, зашла в дом и сразу вернулась с решетом ранних падалиц и свернула за другой угол дома.

— Вот бабье! — усмехнулся Алексей Тимофеевич.— Только выпивка на башке, будто у людей другого разговора нету. Надо ж дурь какая!..

— Ну, и чем же все кончилось? — спросил я.

— Чего кончилось?

— Да с женой...

— С этой?.. А у нас ничего не кончилось. Я же говорил: ушла она к дочери и всю живность угнала. Окромья, конечно, коровы. Ну, а мужик нешто с коро-

вой управится? Я ее к сыну старшему свел. Пусть молоком семейство попользуется. Он ее сразу продал. И телевизор цветной купил, а мне фонарик карманный, только к нему батареек нету. Останние деньги, конечно, прогулял. И тут наша графиня надумала вернуться. Не показалось ей у дочери. Скушно. И зять балует. Вообще-то он смиренный, а выпимши — сразу за топор. Больше для куражу, но лавки, столы рубит.

— И часто он запивает?

— Запивают — которые запойные. Он каждый день пьет. Не сказать, что помногу, а бутылку бормотухи принимает. От нее, правда, чумеешь сильно. Ну, что такое ноль-пять красного для мужика? Но коли вскипятить все масла, все примеси, вся вообще отравка исключительно арктивизируется. Вроде это и хорошо: рупь двадцать, а ты в лоскутья, и вроде плохо: ни поговорить, ни песню спеть, ни уважения к себе почувствовать. Отключился, и все. В общем, не ужилась у дочери наша маркиза. Коровы и той нету, молоко в магазине берут, когда бывает. Гусю одному ейному зять голову срубил, а из овец обещался... как его?.. башлык сделать. Она велела мне сказать, что назад хочет. А я в сомнении. Вроде бы чего-то не хватает. Так хоть она по избе шастает, ругнешь когда или просто окликнешь, а тут говорить разучишься. Да и готовить я терпеть не люблю. Сын в столовке горячего похлебает, а я на сухомятке. Но вот с коровой... Больно она Пеструшку уважала. Фонарик — вещица занятная, но корову не заменит. Пошел я с Веней-задумчивым посоветоваться. Тот словами не сорит, но башка — прожектор... Веня выслушал и говорит: ставь бутылку. Сходил я в магазин, принес красного. Он говорит: моей голове бормотуха вредна. Вот те раз! Белого ближе чем на Полотняном Заводе не достать... А знаете, что за место такое — Полотняный Завод? Там Пушкин супругу себе взял — Наталию Николаевну Гончарову. Он тогда в картишки все, как есть, спустил и на богатой решил жениться. А Полотняный Завод паруса для флота ставил. Ну, это дело прошлое... Добрался я туда на попутной, а в магазине — обратно красное. Хорошо люди научили: в «Голубом Дунае» на станции имеется «Экстра» по пять двадцать! Но что делать — взял бутылку и поездом из Льва Толстого добрался. Оттуда молоковозом — до

фермы, а дальше пехтурой... Слышали, почему станцию Львом Толстым прозвали? Он там помер, когда с дому сбежал. У стрелочника в будке. Стрелочник после с круга спился. Понять его можно. Живешь себе потихоньку, стрелку передвигаешь, выгоревшими флажками помахиваешь, и вдруг тебе как крышка на башку — невиданный гений русской земли. Заходит, ложится на лавку и помирает. Понятное дело, стрелочник не выдержал, люди с меньшего в распыл идут... Ну, сели мы с Веней, выпили, он свою белую, я красную, но кипятить не стал, чтоб из сознания не выпасть. Он долго думал, видать, то туда, то сюда ложилось, а он мужик тщательный. Наконец говорит: до Полотняного далеко, придется сельповского красного взять. Пушай голова поболит, зато решится крепко, как на суде. Побег я в магазин, а продавщица уже замок вешает. Не успел я крикнуть: погоди, мол, — гляжу, облако над дорогой клубится, розовое такое от вечерней зари, а под облаком, маленько впереди, моя принцесса гонит стадо: овец, свинью с поросенком и гусей, каких зять помиловал. Надоело ей ждать, а может, решила, что молчание — знак согласия, и притащилась назад. А я ей, оказывается, рад, зря, мать честная, на дурака соседа столько денег извел. Портвейчок я все ж таки успел схватить, и мы его с молодой вдвоем распили. А за корову она особо не ругалась, она по ней слезами изошла. Понять ее можно: Пеструшка хоть и тугосися, но исключительно дойная коровенка. Я обещался на грабли подналечь и другой обзавестись.

Мы еще немного поговорили, а потом зашумел трактор, подкатил к дому и стал. В кабине пусто, видимо, трактор, как самодвижущийся танк «Галлет», управлялся на расстоянии.

— Мать! — крикнул Алексей Тимофеевич. — Василий приехал. Подсоби!..

Он пошел к трактору, и тут я увидел на земле молодого белобрысого парня, пребывающего в глубоком сне; он вывалился от толчка, когда машинально, уже в бессознательном состоянии, остановил трактор у родного порога. Невозмутимость Алексея Тимофеевича подсказывала, что ничего неожиданного в подобном возвращении с работы меньшего не было. «Молодая» не заставила себя ждать, вдвоем они подняли обмякшее тело и понесли в дом...

Внезапно я увидел, как много кругом детей. Почти как у Брейгеля на страшной картине «Играющие дети» или у Кафки в «Процессе», где они чуть было не заиграли насмерть несчастного героя. Но я плохо помню роман, к тому же читал его по-немецки, а при моем причудливом полужнании языка я частенько угадываю, вернее, придумываю не только отдельные слова, но и целые фразы, — возможно, у Кафки кочевряжающиеся дети ничем не угрожают герою. Но мне так интереснее и страшнее. Наверное, потому и пристрастился я к немецкому и английскому чтению, что, с одной стороны, это сотворчество, с другой — остается некая таинственная углубляющая недосказанность. Как-то раз я перечел по-русски один из таких досочиненных мною «готических» английских романов — и был поражен его скудостью, хотя затрудняюсь сказать точно, какие бездны мне отверзались в подлиннике.

Эти дети не играли, не ломались, не безобразничали, они наблюдали и обменивались впечатлениями. И предметом их опасного любопытства был чужак, зашелец, незнакомец, короче говоря — я. Чувствуя холодок в лопатках, я напустил на себя беспечный вид и в свою очередь принялся рассматривать детей. К соседскому плетню прислонились трое; худенькая девочка с прической «конский хвост» все время поправляла что-то в своей одежде: то лябочку майки, сползшую с худенького плеча, то выкрутившийся пяткой вперед носок, то выпавшую из-под юбочки штанину; другая девочка с широким неподвижным лицом тоже на знала покоя, ей непрерывно требовалось — выковырнуть соринку из глаза, извлечь жучка из уха, что-то выплюнуть, почесать укус на руке, прихлопнуть овода на шее, отмахнуться от слепня, потереться спиной о плетень — ни минуты покоя, как же должна она устать за день! — и странно противоречила кинетическая буря тишине неприсутствующего лица. Спокойствием, умиротворенностью веяло от третьего члена компании — толстого, крупного мальчика, одетого крайне причудливо: фуражка-капитанка, бушлатик, серые шерстяные подштанники и калоши. Капитан был сориентирован фасадом в мою сторону, но не буравил меня глазами, скорее уж со скромным достоинством предлагал для обозрения собственную персону.

От нашего дома на меня поглядывали украдкой два больших мальчика, похоже, я их уже видел, причем одного, стройного, с тонким лицом цвета слоновой кости, знал и до приезда сюда. Сталкиваясь со мной глазами, он стыдливо-зло потуплялся, уже тронутый догадкой о ценности своего внешнего воплощения. Другой мальчик был проще, он еще не ведал своей индивидуальности, оставался частью природы.

И была еще девочка лет семи, которая кралась вдоль забора, зырякая чудными блестящими глазами, я не различал их цвета, похоже, они, как стеклянные шары на клумбах, отражали цвет заглядывающего в них мира: неба, травы, цветов, птиц. На той стороне — тоже дети разного возраста, и все они смотрят на меня. Я обложен со всех сторон, бежать некуда. Как неловко и глупо стою я на ничьей земле, меж двух изб, где меня настигло грозное видение детей. Солнце бьет в глаза, кусают комары, я сроду не встречал таких едучих тварей. Но каждый жест подконтролен, и это сковывает, я робко поеживаюсь, меня не хватает на энергичный отмах.

Спасение приходит в образе моей хозяйки Веры Нестеровны, олицетворения надежности, безопасности, охраняющей силы. Она большая, у нее стиснутые, как у женщин Луки Кранаха, груди и широкий таз, тяжелые, медленные ноги; голубоглазое кукольное лицо обманывает детским простодушием, она — человек глубокий и острый.

— Самоцветов Федор, Княжевич! — накинулась она на больших мальчиков. — Вы чего за водой не идете! Сколько надо талдычить?..

И тут я вспомнил, что Княжевич — сын Веры Нестеровны, которого я знаю с младенчества, хотя видел мало. Остро ощущая чужое существование, он в присутствии посторонних начинал либо кукситься, либо ломаться, и его уводили из комнаты. К тому же с последней и давней нашей встречи он сменил облик, как змея — шкуру. С Федором Самоцветовым, его двоюродным братом, я познакомился совсем недавно, когда прибыл в Мятлево.

Бытовые интонации Веры Нестеровны сняли покров опасной тайны, расколдовали детский мир. Никто ничего не злоумышлял, и смотрели дети не только на меня — новенького, но и друг на дружку, на кур, собак, бабочек, стрекоз, на все, населяющее пейзаж, и,

конечно, на крадущуюся девочку, последнюю загадку в рассекреченном пространстве.

— Ты опять здесь? — накинулась на нее Вера Нестеровна, заземля эльфическое создание. — А мать знает?..

Девочка изогнула спину, как гимнастка на бревне перед обратным сальто; изящным круговым движением выпрямилась, наклонилась вперед, вновь распрямилась, сплела пальцы, уронила каштановую головку к правому плечу и на мгновение застыла в позе безнадежного изнеможения. Вера Нестеровна терпеливо и сердито наблюдала этот танец умирающего лебедя. Глаза девочки жили отдельной от тела жизнью: тело лгало, притворялось, отвлекало, усыпляло вреждебную силу чужой пронизательности, а глаза служили истинной сути, устремленные мимо Веры Нестеровны к средоточию всепоглощающего интереса — к романтическому Княжевичу.

— Ты бы мать пожалела! Она с ума сходит. Небось уже на реку с багром бегала. Какая же ты, Машка, непослушная! Я не велела тебе приходить.

Желтые глаза девочки — сейчас они отражали подсолнухи на сарафане Веры Нестеровны — упорным взглядом вкось и мимо заставили ту наконец обернуться.

— Мишка, паршивец, ты еще здесь? Катись за водой сейчас же! Вон Федька с ведром томится.

Мишины щеки опалово высветились, так выглядит румянец на бледно-смуглом, с чуть заметной прижелтью — цвет слоновой кости — лице. Он надменно вскинул голову, темные плотные волосы колечками завивались на стройной шее, и медленно пошел прочь. И в тот же миг Машка сгнула.

— Что за черт? — обалдело произнесла Вера Нестеровна. — «А царевна вдруг пропала, будто вовсе не бывала».

Мы одновременно обнаружили ее в репейниках на задах избы. Она пробиралась сквозь колючую поросль к колодцу. Вера Нестеровна посмотрела на меня, усмехнулась и... превратилась в соляной столб. С ней это случалось нередко — в избытке забот и жизненных интересов она не знала, за что взяться. Так и сейчас — возможностей было не счесть: готовить обед, идти на реку, заштуковать мужу походные брюки (он собирался провести отпуск на Алтае), читать

воспоминания декабриста Цебрикова, играть на лютне (у нее была лютня) или, отбросив внешнюю и внутреннюю суету, просто выкурить сигарету. Она остановилась на последнем.

Дети тоже разбрелись кто куда. Остался лишь морской капитан в серых подштанниках. Он следил за маневрами огнистого петуха, преследовавшего рябенькую курицу. Она упорно не поддавалась домогательствам красавца. Наконец он все же потоптал ее и, сразу утратив интерес, направился к другим женам, высоко задирая жилистые ошпоренные ноги. Курица отряхнулась, обронив серое перышко, и принялась расклевывать какие-то кишки. Капитан удовлетворенно покачал лобастой головой, одобрил мудрость естественной жизни и пошел в сарай по своему морскому делу. А мне почему-то захотелось написать о князе Одоевском. Я ничего не знал о нем, кроме того, что он сочинял, ставил какие-то опыты, музицировал и слыл чудачком. Когда-то я прочел его рассказ о композиторе Бахе, о котором он в свой черед ничего не знал, но Пушкин восхищался этим рассказом и даже воскликнул, предвосхитя стилистику более поздних времен: у нас не было исторического рассказа, у нас он есть теперь. Пушкин считал себя ответственным за русскую литературу. Потому и был так снисходителен к скромным творениям своих современников, он хотел их поощрить. Но дело не в этом. Хочется написать о князе Одоевском. Что — понятия не имею. Но хочу. Должен написать. Как связаны с этим велением моя хозяйка и шестилетний капитан в серых подштанниках, огнистый петух и рябая курочка, равно и другие местные впечатления, — понятия не имею...

И был лес...

И была река...

И был вечер...

А в лесу, густом, душном, жарком, пахучем, замечательном, — комары, слепни и оводы. Мы отмахивались ветками, Вера Нестеровна и Грациус курили сигарету за сигаретой, пуская дым изо рта, ноздрей, ушей, но в отличие от воспитанного таежного гнуса местная летучая гнусь не боялась дыма. Слепни и оводы — первые, больно жала, вторые, щекочуще внедряясь в кожу, чтобы отложить там яйца, — без счета гибли от наших шлепков, но это не устрашало остальную несметь. О комарах и говорить не приходится,

они чумели от нашего жизненного сока, как мятлевцы от горячей бормотухи, и расставались с жизнью в эйфорическом состоянии. Мы вышли из леса окровавленные, как из боя...

Угра — одна из лучших малых рек средней России: широкая, полноводная, упругая, с довольно сильным течением и потому чистая, с песчаным дном, не заросшая у берегов, то крутых, то плоских и всегда чистых, крепких. Чудесно было войти в прохладную воду: смыть кровь и комариные трупы, лечь на спину, закрыв глаза, и отдаться течению.

Мы долго сидели на берегу под вязами. Комары пропали. Легкий ветерок, потянувший низом, наклонивший травы, но не двигнувший и листка на деревьях, заставил попрыгаться маленьких демонов.

В лесу ветра не было, и на обратном пути нас ждала новая сеча...

Вечер не спешил, давая отбуйствовать закату. Багровое пламя на западе превратило серебристую Угру в реку крови, и все комары унеслись туда, чтобы погрузить хоботы в красный поток и налиться в разрыв субстратом жизни. Они вскоре поняли, что ошиблись, и, распаленные злобой, вернулись назад. Мы перестали сопротивляться. Вокруг каждого из нас, а сидели мы на пристроенной к избе терраске, реяло плотное облачко. Казалось, то парят зернышки граната — раздувшиеся брюшки просвечивали рубиновым.

Послышался тяжелый топот — вернулось с пастбища небольшое деревенское стадо, слышались озвонченные тишиной ласковые, зазывные голоса хозяек. Голос «молодой» не звучал среди них, но в ее дворе появились без всякого зова четыре овцы, слипшихся, как дешевые конфеты, — три взрослых, одна подросткового возраста. Потом померещилось, что это одна четырехголовая овца, настолько синхронны все движения и неразделимы тела. Эту единую овцу разрушил не поспевавший за стремительными маневрами подросток. Он отставал и панически кидался вослед остальным, чтобы снова присохнуть к боку матери. И возник другой образ. Манерно изогнутые шеи, тупая кротость во взоре, вон уж и венчик нимба зрится над каждой плоской головой — четыре кротких библейских овна парят над землей, чуть касаясь ее маленькими копытцами. Они враз начинают ощипывать траву, враз прекращают и выписывают новый

немыслимый и ничем внешним не спровоцированный зигзаг. Их до подлости смиренное, отвергающее даже намеки на индивидуальность и покорное невесте чему поведение раздражало, и мысль хищно обратилась к жертвоприношениям, закланиям, шашлыку. Появилась «молодая» с ведром в руке, налила воды в колоду и что-то крикнула овцам. Те на всем бегу красиво вскинулись на дыбки, повернулись на задних ногах и, колесом изогнув шеи, помчались к колоде, только малыш не справился с разгоном, проскочил вперед и перепуганно, во все лопатки кинулся вдогон.

Спал я на террасе. Набитое звездами, громадное — всюду — небо вытянуло меня наружу и поместило в пространстве. Оно было таким же, как в детстве, когда я спал в сухотинском яблоневом саду или под стогом в ночном, во всю сферу, не приглашенное никаким светом с земли, оно переливалось, мерцало, ворошилось, мигало, пульсировало, ж и л о, и лишь Млечный Путь оставался недвижим.

И была великая тишина. А я — постоянный житель Подмосковья — забыл о беззвучном мире. Ах, эти пионерские горны и бодрящие команды физзарядки, разносящиеся далеко окрест, и шесть пластинок, которые вот уже два десятка лет сопровождают юную, а заодно и нашу жизнь с раннего утра до позднего вечера; автомобили, бульдозеры, тракторы, мотоциклы ведут свои партии; трижды в день электродойка на молочной ферме шлет в простор пасхальный звон — я люблю рассматривать репродукции волжских видов Кустодиева с чудесными церквями и колокольнями на фоне синих небес под благовест доильных аппаратов; но главная звуковая мощь изливается сверху, там сосредоточены геликоны, тромбоны, барабаны, медные тарелки: над нами набирают высоту реактивные лайнеры с Внуковского аэродрома, над нами пролегает вертолетная трасса, соединяющая Внуково с Домодедовом, гигантские стрекозы почти задевают маковки сосен; и старые заслуженные самолеты, которым давно уже поставлены памятники, задышливо тянут над нами, патрулируя Калужское шоссе, а стрекочущие сельскохозяйственные самолетчики трудолюбиво кропят белесой слизью наши скромные садочки; порой в блистающем, без облачка небе гремят тяжкие громы — то преодолевают звуковой барьер новые ястребки. Ночью —

я сплю у открытого окна — изрыгающие красное пламя драконы проходят так низко, что я вжимаюсь в подушку. Нет тишины, нет неба, нельзя же считать небом ту истерическую высь, загаженную и провонявшую не меньше земли, где моторный рев давно погасил музыку сфер.

А сейчас надо мной простиралось небо. Тихое небо над притихшей землей. Полное беззвучие. Даже склеротический щebet крови в ушах — весенний лес, который всегда со мной, — замолк, пристыженный великим покоем мироздания. И не могло не родиться что-то из сплава внутренней и внешней тишины. Милые, забытые и полузабытые тени обступили меня. Они явились из дней моего младенчества, которые я не помнил, но, оказывается, все же помнил, из акуловского и рязанского детства, из громадной московской квартиры и кипящих котлов двух глубоких московских дворов, из дней моей первой любви в сердоликовом, горячем, ветреном, райском довоенном Коктебеле, из войны и поздней жизни, с кладбищ, оставив свои ведомые и неведомые мне могилы; были среди них фотографии-пушкарники с Чистых прудов, лодочники с разных пристаней — от Клязьмы до Ангары, милиционеры, зеленщики, продавцы ирисок и мороженого, охотнорядские мясники, школьные учителя, хранительница моего детства Вероня и вся ее бесчисленная родня. Мать в расцвете бесшабашной молодости, уводившей ее от меня, и старый, со всосанными щеками врач, лечивший бесплатно всех детей нашего дома (за доброту ему платили травлей, потому что был он рассеян, незащищен, горд и обидчив), — и, кажется, тут я начал плакать, и плакал не переставая до пробуждения, если только я действительно плакал, а не омывал сновидений воображаемыми слезами.

И сколько тут было людей, но не было ни одного лишнего, они все нужны мне, и я бы не поступился ни одним фотографом, обещавшим птичку, которая так и не вылетела, ни одним зеленщиком и — уж давно — ни одним мороженщиком, ни одним таксистом и ни одной легкомысленной девицей. Но даже по самому снисходительному счету, разве мне не попадались дурные и злые люди? Да, но им здесь не было места. Воображение вызывало лишь тех, кто хоть чем-то помог моей жизни: морковкой с лотка, леденцовым

петухом, пятикопеечной порцией мороженого в вафлях, добрым словом, или взглядом, или осуждающим молчанием. Как много надо людей, чтобы прожить и не сломаться, не рухнуть, а тут были и те, кто откупил меня ценой собственной жизни от смерти, мои товарищи, не вернувшиеся с войны. И мне представилось, что и я участвую в чужих хоровах, ведь и у других людей случаются минуты тишины, когда они могут оглянуться на тех, кто им сопутствовал или просто мелькнул блестинкой добра в их жизни. Как велика людская взаимосвязь, о которой мы забываем в повседневной суете. «Мы одной крови — ты и я» — почему пароль джунглей, подслушанный Кипплингом, не стал правилом человеческого общежития? А ведь мы так слабы, немощны в одиночестве, мы ничего не можем, если другие нам не помогают. Алфавитная истина. Но ничего так легко не забывается, как алфавитные истины. Спасибо доброй, тихой ночи на Угре, что напомнила о ней.

Разбудил меня петух. Казалось, он заорал в самое ухо. Я вскочил с сильно бьющимся сердцем. Не от испуга, от счастья и печали. Оказывается, с той уже далекой поры, когда я бросил охоту и рыбалку, не звучал мне голос «глашатая новой жизни». У меня дома есть старые английские напольные часы с боем — тоже хорошая штука, особенно зимой, когда темно, за окнами еще ночь, а семь мерных звонких ударов напоминают, что пора начинать жизнь, и гарантируют — без всяких оснований — покой и уют. Но это совсем другое — надтреснутый, хриплый, раскатывающийся по всей вселенной голос матерого, испытанного в боях и любви, бесстрашного петуха. Это призыв к битве, к подвигу, к молодости...

А потом был забытый гром пастушьего кнута и тяжелый топот коров, собирающихся в стадо; я приподнялся на койке и ухватил промельк четырехголового призрака, выметнувшегося с соседнего двора.

И тут сразу две курицы ликующе-паническим коконьем оповестили мир о счастливом разрешении от бремени. Вон они в ямках у плетня наших других соседей. Из дома вышел заспанный капитан в фуражке, бушлате, но без подштанников, голые незагорелые ноги засунуты в валенки. Он проковылял к раскричавшимся курицам, выгнал их из ямок и вынул по большому белому яйцу. Приложил к щекам,

чтобы ощутить теплоту. Строго поглядел на огнистого петуха, и тот понял его взгляд как призыв к действию. Хлопнул крыльями, низко опустил голову, словно для боя, и молниеносно подмял рябенькую курочку. Для обладателя такого гарема он отличался редким постоянством. Капитан потрюхал назад, споткнулся на ступеньках крыльца, шлепнулся, но яиц не выронил. Он поднялся, поправил сползшую на нос фуражку и, немного поразмыслив, вдруг взял паразитическую по силе, высоте и длительности ноту и с ревом вошел в дом.

Квохтали квочи по всей деревне, крикали утки, гоготали гуси, вскрикивали и бормотали голуби, скрипел колодезный ворот, заржала лошадь — чисты и вечны эти древние голоса. Да какой там вечны! Все это уже на исходе, а что придет на смену бытию, породившему русскую культуру?..

То затопляемые водами многими, то просто оставляемые на могильное гниение или на утеху сезонным людям, исчезают деревни. Говорят о необратимости исторического процесса, о выгодах, которые проистекают от этого в народной жизни. Самое легкое — предсказывать далекое будущее, поди проверь. А кто знает — может, все дозволено стронуть, сдвинуть, вывернуть наизнанку, а избу не трожь? Пахарем жила Россия, а пахарь жил в избе...

...Когда я мылся во дворе под рукомойником, появился озабоченный Федя Самоцветов с офицерским планшетом через плечо. Он достал из планшета тетрадный, в клетку, лист и толстый канцелярский карандаш. Задумчиво постукивая карандашом по зубам, он стал обозревать ближайшую местность. Вера Нестеровна говорила накануне, что Федя странный мальчик: он не купается, не плавает на дырявой надувной лодке, не ходит в лес, не дразнит девчонок, не играет ни в какие игры, живет в своем особом, тщательно оберегаемом мире, включающем книги, раздумья, страсть к топографии (он каждый день наново составляет план местности), уклонение от домашних обязанностей и постоянные ссоры с кузенком Княжевичем, причины которых невозможно уловить, поскольку интересы мальчиков не пересекаются. На мой взгляд, тут не было никаких тайн. Противоположности не всегда сходятся. Прямую, активную натуру Миши должна нестерпимо раздражать луна-

тическая повадка Самоцветова. Душевная самоизоляция Феде не обеспечивает ему защищенности, для этого он слишком нежен и раним. Любая резкость, грубость, малая несправедливость заставляют его страдать.

В романтическом, гордо-застенчивом Мише естественно и закономерно развивается мужское героическое начало. Самоцветов сложнее. Зачем он, едва проснувшись, составляет план местности, словно не может без этого ступить в знакомый мир, ограниченный для него, заядлого домоседа, несколькими избами, огородами, плетнями, палисадниками, сараями, домиками уборных, поленищами дров, купами деревьев да зарослями репейника? Но Федя с маниакальным упорством каждое утро погружается в свой однообразный кропотливый труд. Дурости взрослых людей свойственно провидеть будущее детей в их увлечениях. Значит, Феде предстоит стать топографом или картографом или штабным офицером, имеющим дело не с живым миром, а с его схематическим изображением, нейтральным к чувствам жалости и сострадания. Но мне почему-то казалось, что в этом «схематике» скрывается художник, которому слишком мучительно соприкосновение с внешним бытием, и он пытается хоть как-то упростить его, упорядочить, укротить, сделать не таким сложным и страшным. Другое дело — Миша, он художественен своей сутью, не источник творческих сил, а объект для их приложения. Пловец, ныряльщик, отчаянная голова, он обращен вовне, а такие люди становятся или зиждителями, или деятелями.

Пока я мылся, предаваясь одновременно приятно-му праздномыслию, Федя завершил свой чертеж. Он успел расписаться и поставить дату, когда появилась Вера Нестеровна с эмалированным бидоном.

— Давай-ка быстро — за молоком. Попьем парного.

— Почему я, а не Мишка? — проскрипело в ответ.

— Он на реке. Не побегу же я за ним!

— Я могу сбегать.

— Вот и сбегай, только не за Мишкой, а за молоком.

В ответ — долгое молчание. Федя тихо сочился, как скала, именно сочился, а не плакал, ибо плач — проявление внутренней активности и одновременно

расход сил, от плача люди устают, от бурных рыданий на ногах не держатся. Федя самопроизвольно сочился — из серых глаз, немного из носа, не сопровождая истечение никакими звуками и вряд ли даже замечая, что с ним происходит, как не замечает скала выбивающейся из нее влаги. Самозащита Феди осуществлялась с минимальным расходом сил, и эта бессознательная бережь к себе была несомненным, хотя и побочным признаком художественной природы.

— Как тебе не стыдно? — наседала Вера Нестерова. — Неужели ты не можешь принести бидон молока?

Мир был опять назойлив, резок, несправедлив, и Самоцветов перешел к активной обороне.

— Я маленький, — произнес он сипло и жалобно. — Мне тяжело.

— Зачем ты врешь? Ты же таскаешь воду из колодца, да еще как!

— Вместе с Мишкой... А потом, вода — другое дело! — сочь заметно усилилась.

— А какая разница?

— Очень даже большая!.. Молоко жирное, а вода пустая, у нее удельный вес меньше.

— Чего?.. Чего?..

— А ничего!.. У бабы Дуни — ярославка, жирность молока четыре и три сотых процента. Понеси такое!..

— Ну, знаешь! — озадачилась Вера Нестерова. — Ты меня совсем задурил. Без сигареты не обойтись. Ладно, сама схожу.

И мгновенно иссяк родник, скала перестала сочиться. Федя тихонько побрел прочь, ориентируясь по новому, уточненному плану, вскоре он оказался возле уборной, где и скрылся.

Он пробыл там ровно столько времени, сколько понадобилось, чтобы Миша Княжевич вернулся с реки. Федя правильно рассчитал, что Вере Нестерове будет лень идти самой, а бодрящий дымок сигареты, глядишь, и подскажет ей какие-то контрдоводы. Не ожидавший худого, Миша получил в руки бидон и указание: одна нога здесь, другая — там.

— А Федька что? — хмуро спросил он.

— Какой тебе еще Федька? Сказано — ступай!..

Мишка взял ведро и пошел тропинкой, ведущей

мимо уборной. Здесь он с силой рванул ручку двери, которая была на запоре.

— Ну, погоди, гад!..

Он скрылся за плетнем, а я увидел в репейнике знакомую фигурку, с верткостью ласки устремившуюся за ним следом сквозь колючие заросли.

Наш скромный завтрак сильно затянулся по вине Княжевича и Самоцветова: первый читал Сартра, второй погрузился в «Занимательную астрологию», оба тыкали вилками мимо пищи и обливались молоком под вопли Веры Нестеровны, и я чуть было не пропустил поучительное зрелище.

Все малолетнее население нашего микрорайона собралось возле соседней избы, где бравый капитан в полном параде — фуражка, бушлат, шерстяные подштанники, сейчас опущенные на калоши, — задумчиво и мощно мочился на лопухи, бузину, плетень, сарай, подсвинка, кур, на еще зеленые головы подсолнуха, котенка, неосторожно ступившего в зону орошения.

— Он ведерный самовар выпивает, — шепнул за моей спиной Федя. В голосе его звучало глубокое уважение.

— А ты на крышу можешь? — спросил Миша.

Богатырь даже не оглянулся, спокойно направил брандспойт вверх, и золотая струя заколотила по тесовой крыше.

— А в трубу?

Струя взмыла и рассыпалась брызгами в изножию кирпичной прокопченной трубы.

— Раньше надо было говорить, — недовольно проворчал «моряк». — Напора уже нету.

От отдал последнее ближайшим окрестностям и натянул подштанники. Дети исчезли разом, как воробьи. У крыльца Вера Нестеровна утешала вновь обернувшегося слезоточивой скалой Федю.

— Ну, что ты нюни распустил?.. Не по-мужски это. Дал бы ему сдачи, он бы — тебе, а я — ему... Так бы врзала! — добавила она кровожадно.

Откуда-то сверху послышался крик, мы дружно вскинули головы и увидели летящего с неба Княжевича. Он действительно летел, вернее, шел на посадку, раскорячившись, с вытаращенными от ужаса глазами. Лишь когда он благополучно приземлился на крыше своего дома, слегка ее проломив, мы догада-

лись, что произошло. Рассчитавшись с Федей, он счел за лучшее на время исчезнуть, не удаляясь значительно от родного порога. Лучше всего этой цели служила высоченная плакучая береза, простершая свои ветви над избой. Он мог спокойно отсидеться в густой листве, но заинтересовала клевета коварного плаксы Самоцветова и какой кары надо ждать. Миша стал тихонько продвигаться по суку, но толстый, крепкий с виду сук оказался гнилым и обломился.

Сейчас Миша, гордо подбоченившись, стоял на крыше, а мы, потрясенные и растерянные, смотрели на него снизу вверх, и очарованная девочка Маша, забыв об осторожности, прыгала и восторженно хлопала в ладоши, сияя драгоценными синими сейчас глазами.

— Ты здесь? — накинулась на нее Вера Нестеровна. — Опять без спроса?

Девочка понурилась, зеленая тоска налила ей глаза, отражавшие траву.

— Она тут с утра ошивается, — совершил донос Самоцветов и почему-то сразу перестал сочиться.

— А ты не ябедничай! — огрызнулась Вера Нестеровна.

Маша медленно, потерянно побрела прочь, чтобы спрятаться где-то поблизости.

— Мишка, мерзавец, спускайся сюда, — голос Веры Нестеровны звучал чуть устало, — надо надрать тебе уши.

Миша не откликнулся на соблазнительное предложение, он стоял, брезгливо выпятив нижнюю губу и презирая нас, как только может презирать сын неба жалких земных ползунов.

— Миша, спустись, мальчик, мама даст тебе в глаз, — попросила Вера Нестеровна.

Миша не внял, сохраняя свою высоту — в прямом и переносном смысле слова.

— Ты упадешь, дурачок, и сломаешь ручки-ножки. Сойди, сыночек, тебе ничего не будет... Ну, и черт с тобой! — Вера Нестеровна потянулась за сигаретами. — Нужен ты мне больно, такое барахло. Живи на крыше, бандит, мы с отцом другого сделаем.

Это Мишу не устраивало, он хотел остаться единственным. Юркнув в чердачное окно, он через мгновение оказался внизу. Но мать уже забыла о нем. Ее интересовало сейчас, почему верлибр не привился

русской поэзии. Я этого не знал, но случившийся рядом Грациус — он упорно играл в рыболова, пропадая весь день на реке, — стал доказывать, что верлибром пользовались и пользуются поныне многие отечественные поэты...

Остаток дня прошел спокойно, если не считать появления за ужином человека, о котором мы с Грациусом когда-то забыли. Он сидел, уткнувшись в толстый фолиант, и не поднял головы, чтобы поздороваться с нами, лишь буркнул что-то неотчетливо приветливое. Я высчитал, что это муж Веры Нестеровны. Запомнить его было трудно, поскольку он то сбрасывал, то вновь отращивал козлиную бороду. Был он светилом эндокринологии, в силу чего (закон контрастов) почти все время тратил на перевод Тита Ливия с латинского. И еще он часто болел радикулитом, поэтому мы не видели его до сих пор — очередной приступ. Естественно, что при таком недуге отпуск он проводил только в горах. Самое же удивительное, что истинным главой дома был этот молчун-невидимка, а не громогласная богатырша Вера Нестерова. Он вроде ни во что не вмешивался, но катилась семейная телега его волей и разумением. А еще более невероятно, что Вера Нестерова была счастлива с ним.

Я заметил, что Грациус, который и сам не был вполне реален, смущен, даже напуган появлением этого полупризрака. Вспомнилось уайльдовское: кентервилльский дух боялся привидений...

И снова была прекрасная ночь и петушиное утро...

Грациус соблазнил меня рыбалкой. Он ходил и на вечерние, и на утренние зорьки, но без успеха. Это меня удивляло: за что бы ни брался Грациус, у него неизменно все получалось, и если в чистой, полноводной Угре был хоть один ершик, он должен был достаться Грациусу. «Раз в положенное время нет клева, значит, берет в бесклевье», — мудро решил Грациус, и мы отправились на машине знакомой дорогой, через комарино-слепнево-оводовый лес к тому месту, где однажды купались. В лесном коридоре крылатая нечисть так облепила лобовое стекло, что дорога пропала. И сколь ни сноровисто вел машину Грациус, нас так трянуло, что я едва не прошиб головой крышу. Водитель не пострадал. «А говорят, что у «Волги» тонкая жечь! — заметил Грациус. —

Это же броня. Но и черепушка у вас тоже крепкая», — добавил он одобрительно, и мы вырвались из лесного сумрака в свет поляны.

Было настоящим удовольствием смотреть, как Грациус налаживает удильную снасть и надувает лодку, меня, «безрукого», он ни к чему не подпускал. У Грациуса необыкновенно умелые руки. Своими бледными веснушчатыми тонкими пальцами он творит поистине чудеса: может отремонтировать любую технику, склеить расколовшуюся на сто осколков фарфоровую чашку, так что не увидишь «швов», мастерски реставрирует иконы, картины, старинную мебель, неподражаем в карточных фокусах, требующих ловкости рук, — предметы исчезают, стоит ему проделать молниеносные пассы, равно и возникают из воздуха. Дико думать такое о кристально честном Грациусе, но мне кажется, что в нем погиб гениальный карточный шулер.

Никакая ловкость не поможет, если нет рыбы. Мы пробовали ловить под берегом, в редкой тресте, на стрежне, на глубине, отыскав омут, внахлест — верхоплавков, — хоть бы раз клюнуло. Ловили на дождевого червя, на мух, на стрекоз, на пшеничную кашу и хлеб, запасенные предусмотрительным Грациусом, на мормышку — тщетно. И все же один ершик оказался в Угре, его поймал Грациус.

— Господи! — воскликнул Грациус, возвращая ерша родной стихии. — Моби Дик!.. Белый кит!..

Я проследил за его взглядом. Между нависшими над водой ветвями плакучих ив, в слепящей ряби, то вздымаясь над водой, то погружаясь в нее, двигалось в нашу сторону огромное и прекрасное существо — белый кашалот — осуществленная в речном среднерусском варианте фантазия Мелвилла. Отфыркиваясь, вздымая фонтаны брызг, колыша воды от берега до берега, белое чудо приблизилось, выметнулось из-за деревьев и обернулось нашей милой хозяйкой Верой Нестеровной, плывущей баттерфляем. А за ней, отставая, захлебываясь, поспешал против течения из последних сил самолюбивый китенок по кличке Миша. Это было в духе Веры Нестеровны: она не терпела бессмысленного молодечества, но допускала любое испытание характера, жестокую проверку воли. Он захотел плыть с ней — пусть плывет, пусть мучается, потонуть не потонет — она рядом, а если слабак,

хвостун, трус, пусть вылезает на берег и томится своей неполноценностью. Но Миша был гордый мальчик, он плыл почти в забытьи, барахтался, закрывал глаза, ложился на спину и снова плыл; и доплыл на остатках дыхания и следом за матерью вышел из воды, дрожащий, синюшный, но не сдавшийся. Все же он не сразу подошел к нам, а вначале отдышался и повытряс дрожь из тела под бережком.

— Так будем есть уху? — спросила Вера Нестерова — расточительная природа отвалила этой славной женщине столько свежей плоти, что хватило бы на всех наяд окского бассейна.

— Из нототении, — сказал Грациус, складывая удочки.

— Из бельдюги и проститомы, — подхватила Вера Нестерова. — Почему нынешние рыбы — словно из публичного дома?

— Добродетельные все перевелись, — объяснил Грациус. — Вот и взялись за распутных тварей.

С независимым видом, весь пупырчатый, подошел Миша. Он редко смеялся и даже улыбался, этот мальчик, казалось, у него не хватает для улыбки кожи на лице, а сейчас, чуть приоткрыв рот, он издавал курлыкающие звуки и сгибался в поясе, словно живот болел, — он хохотал.

— Ты перекупался, мальчик? — встревожилась Вера Нестерова. — Тебе плохо?

— Бур-ла-ки! — через силу проговорил Миша.

Проследив за его взглядом, мы обнаружили странное шествие. К реке спускались гуськом связанные веревкой дети. Впереди шла Маша, а за ней еще четверо — мал мала меньше. Цепочку замыкало совсем жалкое существо в короткой распашонке: голые непрочные ноги то и дело заплетались, существо падало, волочилось по земле, кое-как вставало на четвереньки, потом и на две опоры, чтобы тут же снова упасть. При этом оно не плакало и не жаловалось.

— Бедный пацаненок! — пожалела Вера Нестерова.

— Это не пацан, — поправил Миша. — Это баба.

Непреклонный вож слабосильной ватаги свернул в нашу сторону, все покорно повиновались, только замыкающая баба опять шлепнулась и проехала на задку по откосу берега. В двух шагах от нас шествие

стало, слегка качнувшись назад,— малышка уцепилась руками за можжевельовый куст и сработала, как слишком резкий тормоз.

— Бурлаки должны петь,— сказал Миша.— Почему вы не поете?

Маша преданно и смущенно поглядела на жестокого красавца, она не знала, что такое бурлаки, и не поняла его слов.

— Так!..— опасным голосом произнесла Вера Нестеровна.— Что все это значит?

— Мама уехала на Полотняный Завод,— сказала Маша.— А нас связала веревочкой, чтобы не потерялись.

— А вы взяли и ушли!

— Ну и что? Мы все тут, никто не потерялся.

— Ох, и вольет тебе мать!

Маша покрутила головой, она разговаривала с Верой Нестеровной, но глаза ее, ставшие цветом в слоновую кость, были прикованы к Мише.

— Ничего не вольет.

— Вот те раз! Опять ты в бегах, да еще малышку потащила.

— А что делать, раз мы связанные?

— Дома сидеть... Мать зачем на Полотняный поехала? — культуролобивую душу Веры Нестеровны обеспокоила внезапная вылазка художницы в гнездо Гончаровых, вдруг там открылся музей или хотя бы экспозиция, связанная с полотнянозаводскими днями Пушкина.

— За консервами и вином,— сказала девочка.— У нас сегодня поминки.

— Какие еще поминки?

— По нашему папе. Его уже три года нету. Вас тоже позовут. Мама сама зайдет или меня пришлет с любезной запиской... Почему у тебя наколки нет? — спросила она Мишу.

— А на фига? — процедил тот сквозь зубы.

— Красиво! У моряков всегда наколки.

— Какой я моряк, дура?

— Ты разве не хочешь стать моряком?

Я думал, она дурачиться, нет, она грезила.

— А на фига? — спросил Миша.

— Хотелось бы больше лексического разнообразия,— заметила мать.— Ты что — говорить разучился?

— А чего она лезет? — с ненавистью сказал Миша.

— Хватит! Надоел. Давайте я вас развяжу.

— Не развяжете, — сказала Маша, и глаза ее стали как незабудки от голубого купальника Веры Нестеровны. — Это морской узел. Мама от папы научилась.

— Я, конечно, могу развязать, — тихо сказал Грациус. — Но стоит ли? Так они хоть не потеются.

— Ну, ладно, артель, топайте домой, — решила Вера Нестеровна. — Мы поплыли за вещами.

Не удостоив ее ответа, Миша пошел к реке.

Мать с сыном быстро скрылись из виду — сейчас им было по течению. Бурлацкая ватага развернулась и побрела, солнцем палимая, в обратный путь...

Напротив нас жила краснощекая старуха на больных, отечных ногах. Утром она с трудом выползала из дома, хватаясь за дверной косяк, плетень вокруг палисадника, ветки сирени, добиралась до скамеечки и усаживалась на весь день. В дом она возвращалась к вечеру, когда приходила с работы ее низенькая, живая, необычайно быстрая в движениях дочь, по делу прозванная Нюрка-блоха. Наверное, старуха тоже была когда-то быстрой, непоседливой, как ее дочь, это угадывалось по живой улыбке, какой она отзывалась на каждое впечатление мимо текущей жизни. Удивительно богата оттенками была ее молодая, легкая улыбка. То веселая, то озабоченная, то любопытствующая, то озадаченная, то грустно-недоумевающая. Ей нравилось любое проявление активности в окружающих, что они могут пойти в лес, на реку, в поле, на ферму, в магазин, друг к дружке в гости или на развилку дорог, чтобы с попутной машиной умчаться в бесконечные дали: на Полотняный Завод, в Медынь, хоть в Калугу. Она сопутствовала им душой, не завидуя, не сетуя на судьбу, приковавшую ее к месту.

Однажды в богатом наборе ее улыбок мелькнуло нечто, заставившее меня подойти. Мы поздоровались, и я уселся на лавку.

— Нравится вам у нас? — спросила старуха.

— Нравится. Только комаров много.

— У нас места возвышенные: сухие, — отозвалась она. — Комаров сроду не водилось. Потом объяви-

лись. Но мало, с недельку поедят, и нету. А последние годы — ужас что такое! Откуда они берутся? Может, из космоса?

Я пожал плечами. Старуха обрадовалась, засияла улыбками.

— Я сама надумала, а вот вы не спорите. Сейчас вообще много кое-чего случается, чего раньше не было. У нас за огородом, как гроза зайдет, по земле искры голубые бегают, будто зверьки играют.

— Может, там залежи железной руды?

— Мы думали — золота. Нюрка копала — ничего не нашла. Земля, навоз и черви. Летошний год ученый с Москвы приезжал опята собирать. У нас боковушку снимал. Так он говорит, что земля вроде в скорлупе помещается, и скорлупу эту всю ракетами продырявили. Теперь к нам всякая гадость сыплется, всякие заразы. У дочки на работе лекцию читали, про этот... алкоголь. Подсчитано, что у нас каждому жителю, младенцу или дряхлому старику, по сто граммов белого на день положено. А почему не выдают? Потому что и так, которые взрослые, залились до ноздрей.

Я сказал, что не вижу связи.

— Все от лучеиспускания зависит, — объяснила старуха. — Очень оно усилилось. Это не я говорю, а тот ученый, который опятами увлекался.

Кто его знает, может, так оно и есть. Мы сами ни за что не отвечаем. Активизировалось лучеиспускание — мы спиваемся, настанет лучеизнурение — протрезвимся.

— А с Алексей Тимофеичем вы не пейте. «Молодая» этого страсть не любит.

Почему после единственного и вполне невинного разговора нас дружно заподозрили в винном заговоре? Я заверил старуху, что о вине и речи не было, я вообще человек непьющий.

— Все непьющие, — вздохнула она с понимающей улыбкой. — Откуда только пьяницы берутся? «Молодая» говорит: хватит в доме одного чумового, на второго несогласная. Видали, в каком нимве Васька с работы вертается? Он знает, что дома не дадут, и по затычку запрохлывается. «Молодая» у Алексей Тимофеича все до копейки отбирает, а бутылку разве что на большие праздники ставит. Поэтому он человек ищущий.

Я повторил, что не собираюсь сбивать его с пути праведного.

— А то смотрите! — таинственно улыбнулась старуха. — «Молодая» у нас волшебница.

Удивительно подходило сказочно-балетное слово к угрюмому коренастому гному!

— Колдунья, — понизила голос старуха. — Ведьма.

— И кого она заколдовала?

— А меня, — ответила она просто. — Походку отняла.

— За что же она вас?

— Алексей Тимофеич, овдовевши, косил сюда глазом. Что было, то было. Я его, конечно, уважаю, но чтоб... да ну его к лешему! «Молодой», видать, доложили. Она женщина усмотрительная, вот и приковала меня. Вообще у нее сглаз один: лишать человека спорости.

— Это как понять?

— А вот так. Соседка Симка нашла брошенную колоду. В другом краю деревни. Замечательную колоду — овец кормить. «Молодая» шла раз мимо, увидела, она ужас до чего к хозяйству жадная. «Ах и хороша колода! Сколько отдала?» Той бы дуре соврать, да не сообразила, призналась, что нашла. «Молодая» поглядела на нее, ласково вроде, а в глазах злость зеленая: «Везет же людям!» И легонько так колоду огладила. Что же думаете? Ни овцы, ни свиньи из той колоды больше не жрут, не пьют. Другой раз зашла «молодая» на огород к Надёге Трушиной. Таких овощей, как у Надёги, ни у кого не родилось. Люта она гряды копать. «Молодая» оглядела овощную красоту, насупилась, присела и стала землю сквозь пальцы просевать. «Ах, хороша земля! До чего же хороша!» Она похваливает, а у Надёги в грудях щемит. И как отвадило ее от огорода. Ноги туда не идут. Силком себя понуждала — все из рук валится. И смирилась Надёга. Сейчас грядки бурьяном заросли. Нет, «молодую» лучше не раздражать.

— А почему она не может пасынка от пьянства заговорить?

— Видать, это не по ее части. У ней тверезый закувыркается, а кувыркалку выровнять — силы нет. Она и себе самой подсобить не может, вкалывает весь

божий день. Одна у ней специальность — спорости лишать.

Она поглядела на меня лукаво и залилась смехом — веселым и манчивым, как смеялась, верно, в молодости, когда земля горела под ее легкими ногами...

Дома я застал такую картину: Вера Нестеровна сидела на корточках перед Федей Самоцветовым, трясла его и уговаривала:

— Ну, скажи, что ты врешь. Признайся, тебе ничего не будет.

— Это я написал! — обреченно, но твердо сказал Федя.

Увидев меня, Вера Нестеровна выпрямилась и сунула мне знакомый тетрадочный лист: вместо полагающегося плана местности там оказались стихи.

— Этот наглец утверждает, что сам сочинил.

Я прочел:

И в сердце растрava,
И дождик с утра.
Откуда бы, право,
Такая хандра?

Откуда кручина
И сердца вдовство?
Хандра без причины
И ни от чего.

Хандра ниоткуда,
На то и хандра,
Когда не от худа
И не от добра.

— Прекрасные стихи. Это Верлен.

— Я так и знала! Ты, жабеныш, написал стихи Верлена?

Я ждал, что сейчас начнется истечение соленой влаги, но скала оставалась суха и твердокаменна.

— А что такого? — с вызовом сказал Самоцветов. — А хоть бы и Верлена. Если обезьяна будет складывать буквы пятьсот миллиардов раз, она «Сагу о Форсайтах» сложит. Что я — хуже обезьяны? Я в пятьсот раз умнее, да и сложил-то всего один стишок. Сравните его с «Войной и миром» — во сколько раз он меньше? Помножьте одно на другое и разделите на это число пятьсот миллиардов. Чепуха останется.

— Опять он меня задуривает,— беспомощно сказала Вера Нестеровна.— Что ты мелешь, какая еще обезьяна сложила «Сагу о Форсайтах»?

— Резус,— нахально ответил Самоцветов.

— А почему ты пропустил четверостишие? — спросил я.

— Я маленький! — слышалась знакомая противная интонация.— Мне и так трудно.

— А трудно — не берись! — вновь подхватила воспитательские вожжи Вера Нестеровна.— Придется тебе всыпать, плагиатор несчастный!

— Нельзя,— возразил плагиатор.— Я не ваш.

— Кормить тебя, поить, спать укладывать — ты мой. А уши надрать — не мой?

— Можете не кормить, не поить и не укладывать...— и скала засочилась.

— Ох, перестань!.. Скажи, что ты больше не будешь, и катись.

Вера Нестеровна хотела капитулировать на почетных условиях. Самоцветов не проявил великодушия.

— Я еще «Крокодила Гену» сложу,— пообещал кровожадно.

— Ну, это любая обезьяна сложит. Ладно, гуляй! — И, посмотрев ему в спину, Вера Нестеровна сказала задумчиво: — Надо бы всыпать, да уж больно хорошие стихи слямзил...

Художница прислала нам «любезное» приглашение. На этот раз Маша не пробиралась сквозь репейник, не таилась в кустах, а явилась открыто, с достоинством и торжественностью герольда, уверенного в своей неприкосновенности. Была она ослепительно хороша: синяя наглаженная юбка, белая кофточка, в волосах бант. Ее приняли с должными почестями, ввели в дом, угостили водой «Байкал» и шоколадной конфетой. Пока Вера Нестеровна писала благодарственный ответ, Маша со стаканом в руке ходила по избе и спрашивала о книжках, тетрадках и разной мальчишеской дряни, вроде рогаток, лука, лодочек из сосновой коры, каких-то железок: «Это Мишино?» В случае подтверждения предмет подвергался тщательному осмотру, а все находящееся во владениях Самоцветова с презрением отвергалось.

Забегал Миша с мокрой после купания головой, удивился присутствию прекрасной незнакомки, узнал Машу и зло смутился. А потом мы увидели в окошке знакомую картину, но как бы в перевернутом виде: Маша гордо удалялась по тропинке, а недавний гордец обдирает шкуру о репейник...

Душным вечером, когда, задавленный темной тучей, тревожно, пожарно горел закат, а на востоке вблескивали одна за другою зарницы и далекие громы доносились глухим, сонным бормотанием, мы отправились к художнице в другой конец деревни.

Вера Нестеровна сообщила нам, что художницу надо звать Катя или Катька, она молода и любит простоту. Ее муж погиб от несчастного случая, оставив ее беременную, с тремя детьми на руках. Позже появился и пятый. Это нужно было, чтобы выжить, замуж она не собирается. Она прикладница очень широкого профиля: керамика, батик, дизайн и даже шитье из раскрашенных ею же тканей. Катины платья весьма ценятся у московских модниц. У нее никого нет, кроме детей. Родители умерли, а свекровь порвала с ней, сказав: ты не сохранила моего сына. Избу она купила уже после смерти мужа, своими руками пристроила мастерскую, работает как оглашенная, кормит и обстирывает всю ораву и еще находит время читать, ходить на выставки и в театр.

— Значит, не надо строить постную рожу, «вздыхать и думать про себя...» — Грациус оборвал цитату, сообразив, что собирается ляпнуть выдающуюся бестактность. Это не соответствовало его изящной сути, но боязнь, что придется сострадать, ну, если и не сострадать, то утомительно помнить о чужом неблагополучии, сбила его с толку, и он утратил обычный самоконтроль.

— Да будет вам, — поморщилась Вера Нестеровна. — Хозяйка дома — сильный и умный человек. Имейте в виду — ни лампадного масла, ни елея.

Мы бодро шагали долгой, широкой улицей мимо справных заколоченных домов, мимо домов, взбодренных искусственной и временной дачной жизнью, мимо еще дышащих крестьянских изб, от которых тянуло запахом скота, дыма, чего-то печеного, тянуло

теплом и родностью, как от материнского тела. Неужели впрямь обречены на исчезновение эти запахи, дыхание коров в стойлах и сонный переступ копыт, мудрая приспособленность бревенчатого жилища к четырем сезонам, добрый жар русской печи?

В доме художницы царил переполох: кто-то из детей по оплошности или младенческому неведению выпустил кроликов из клетки. Пока что эти кролики были просто общими любимцами, но в будущем с ними связывался подъем материального благосостояния семьи.

— А куда они ускакали? — спросил Грациус.

— Большая самка, — неизвестно, а самец с другой самочкой спрятались где-то во дворе.

Круглое, по-здоровому бледное и чистое лицо художницы под короной заложенных на голове рыхлых кос выражало неподдельное, чуть наивное огорчение. Широкий расписной балахон скрывал кустодиевскую налитость фигуры, у нее был яркий свежий рот и неровные зубы.

— Большую самку не ищите, — сказал Грациус. — Ею пообедал вон тот злодей.

Здоровенная дворняга умильно поглядывала в нашу сторону, плотоядно и чуть нервно облизываясь. Судя по щипцу, брылям и желтым пятнам на белой шерсти, в ее предках числился пойнтер.

— Точно, — упавшим голосом сказала Катя. — То-то он сегодня жрать не просил. Он ничейный, кормится Христа ради... Вот гад, еще облизывается!.. — она подняла палку и запустила в пса.

Тот поджал зад, но не двинулся с места. Это было странно, дворовые собаки чутко отзываются на всякое намерение причинить им зло. Может быть, его бесстрашие — от благородных предков? Пока я предавался праздному размышлению, Грациус сделал выводы:

— Он чует ужин, потому и облизывается. Влюбленная пара где-то поблизости.

Грациус огляделся и пошел к сараю.

— Пустое дело! — вздохнула Катя. — Мы тут все прочесали... Кто он, ваш утонченный друг?

— Знаменитый кроликолов, — ответил я.

Из сарая вышел Грациус, нежно прижимая к груди двух кроликов: белого с черными ушками и палевого.

— Чудо из чудес! — вскричала Катя. — Там перебывало полдеревни!

— Вещи сами идут к моим рукам, — тонко улыбнулся Грациус.

— Это явление мне знакомо, — серьезно сказала Катя. — Но кролик — не вещь.

— Я имею в виду «вещь» не в бытовом, а в философском смысле. Пребывающее в мире. В этом смысле «вещь» — и кролик, и ребенок, и женщина.

— Вы опасны, — сказала художница. — Посадите их в клетку, а я уберу белье — будет дождь.

Мы помогли Кате снять развешанные для просушки маленькие вещи: майки, трусики, носки.

Узкий стол был приткнут торцом к стене. Туда поставили рюмку с вином и кусок домашнего пирога. Мы сидели в кухне, из горницы доносилось дыхание спящих детей. Двери не было, ее заменяла домотканая занавеска, не достигавшая пола. Было слышно, как прошлепали по полу босые легкие ноги.

— Чертова девка! — в сердцах сказала Катя. — Нет от нее покоя.

— Что делать, если приспичило? — заступилась Вера Нестеровна.

— Подслушивать ей приспичило.

В щели меж занавеской и полом было видно, как босые ноги осторожно прокрались назад и замерли возле дверного косяка.

— И думает, дуреха, что ее не видно, — усмехнулась Катя.

— Тише!..

— Разве ее спугнешь? Любопытна, как сорока.

Быстрыми, точными движениями Катя распределила закуску по тарелкам.

— Давайте помянем.

Не чокаясь, мы выпили вино.

— Наверное, надо рассказать, как погиб муж. Иначе вы все равно будете думать об этом, а мне не хочется.

Они снимали дачу в Подмосковье. Раз возвращались с купания босые, почти голые. В погребе перед этим перегорел свет. Муж взял переноску на длинном шнуре и пошел чинить. Он не заметил, что изоляция на шнуре почти сгнила. Катя услышала его крик. Когда она скатилась по ступенькам вниз, ей показа-

лось, что его обвила черная змея. Она сумела разорвать шнур, но было поздно. Каким-то чудом ее не ударило...

— Бог помиловал. Но этого мало.— Несмотря на спокойный голос, чувствовалось, что ей не удалось легко скользнуть над сломом своей жизни.— Надо опять ничего не бояться. Муж научил меня этому. Он жил бесстрашно: плавал, зимовал на льдинах, тонул, пропал без вести. И до чего же бездарная смерть ему выпала!..

— Подслушивание со всеми удобствами,— опять заметила Катя.— Пускай! От детей все равно ничего не скроешь... Я боюсь не за себя, за них. Они убегают, уползают, пропадают, и мне мерещится черная змея. Эта вот паршивка торчит у вас, а я места себе не нахожу.

— Я всегда гоню ее домой,— поспешно сказала Вера Нестеровна.

— При чем тут ты?..— отмахнулась Катя.— Слишком уж я хочу, чтобы они уцелели. Это естественно, но это и плохо. Если они вырастут трусами, значит, я предала его,— она бросила взгляд на торец стола.— Хватит ныть! Американцы говорят: избавьте меня от ваших неприятностей, с меня хватит своих.

— Звучит паршиво! — передернула плечами Вера Нестеровна.

— Не уверена. Мы ужасно любим перекладывать свой груз на чужие плечи. Хоть на время, хоть на минуту. Это неблагородно и, главное, ничего не дает. Никто чужого не принимает. Для этого надо любить человека. А это редкость. Меня любили. Почему вы не скажете, чтобы я заткнулась? Все о себе да о себе... Привилегия хозяйки. Давайте — о чем-нибудь всеобщем. Например, о хохломе. Вы любите хохлому? — обратилась она к Грациусу.— Считаете это живым искусством?

Грациус сказал, что не любит окостеневших форм. Они заспорили. В разгар прений Маша, задремав, свалилась на пол.

— Теперь я по крайней мере знаю, чем ее усыпить.— Катя прошла в горницу, подняла дочь, отпустила ей крепкий шлепок и уложила в кровать. Затем отнесла кому-то горшок, мы слышали, как тихонько запела струйка.

Она не успела вернуться к столу, а служба подслушивания возобновила свою деятельность.

— Давайте выпьем шампанского, — предложила Катя. — Спасибо, что вы пришли. Сегодняшний день у меня — в гору. Глупости я говорила. Мне с вами легче.

Придерживая пробку, Грациус дал выйти воздуху, чтобы не испугать детей выстрелом, и разлил пенящийся напиток по чашкам.

Мы чокнулись, выпили, поцеловали художницу и вышли в сухую, насыщенную электричеством, озаряемую бесшумными сполохами ночь...

А гроза все-таки разразилась, когда мы уже спали...

Последнее утро нашего пребывания в Мятлеве началось, как и обычно, криком соседского петуха. На этот раз его подсевший, сипатый голос не унесся в простор, чтобы там медленно умереть, а потратился в малом пространстве между нашими избами. От волглого после грозы воздуха и тумана над росой отсырело эхо. Я едва успел пожалеть, что мы расстаемся с деревней в пасмурную погоду, как в прозоры легкой наволочи вдарило солнце широкими блистающими лучами, вскоре слившимися в единый поток.

Прощальный день принес много неожиданностей. Морячок в серых подштанниках наконец-то залил в трубу на крыше, что было признано единодушно мировым рекордом. Мужественный крепыш не почил на лаврах и задался целью обдать струей темный наплыв на березовом стволе под самым скворечником. А Самоцветов Федор создал новое стихотворение, еще лучше прежнего, на этот раз буквы сложились в «Стансы к Августе» Байрона. Вера Нестеровна пришла в восторг, потом разъярилась и потребовала, чтобы Самоцветов раз и навсегда наступил на горло собственной песне. Федя ничего не обещал, но бросил вскользь, что в ближайшее время ему не до стихов, надо снять план местности вплоть до самой Угры.

Когда мы пришли на реку — под крутым откосом, сразу за деревенскими огородами, — там было полно ребятни. Пресыщенный славой морячок выжимал из

карзубого рта вялые подробности утреннего подвига. Миша, по обыкновению, штурмовал высоты, карабкаясь на деревья, нависшие над водой. Другие купались, строили крепости из влажного песка, двое сосредоточенно тонули на дырявой надувной лодке. Появился Самоцветов с планшетом. Двигался он как-то неуверенно, видимо, наспех сделанная карта не давала должной ориентации. Затем по заросшему муравой и дикой геранью откосу неторопливо, свободно, не таясь, спустилось милое ясноглазое существо.

— Машка! — потрясенно сказала Вера Нестеровна. — Окаянная девчонка!.. Это кто же тебе позволил?

— Моя мама, — вежливо, даже церемонно прозвучал ответ.

— Как мама?

— Так! Ходи, говорит, где хочешь, я тебе не сторож.

— Понятно, — прошептала Вера Нестеровна.

Маша зашла за куст орешника и появилась оттуда в трусиках и лифчике из пестренького ситца. Незаполненные чашечки лифчика трогательно смялись. Девочка не замечала этого и едва ли догадывалась, что может быть иначе. И все-таки ее маленьким телом, движениями, походкой, даже взмахом ресниц управляло тайное провидение иного образа, который настанет через много лет. И, отзываясь ее грядущему преображению, стройный мальчик издал томительный вопль и кинулся с дерева в реку; то было не падением, а взлетом, ведь в реке отражалось небо. И в небо рванулся мальчик.

Пройдет время, такое медленное в днях, особенно — в часах, и такое быстрое в годах и мимолетное в десятилетиях, и детские игры обернутся страстями, бурями любви и ревности, обретений и потерь, но все это случится уже не в моем мире. А хотелось бы мне повторения? Дурацкий вопрос — нельзя дважды ступить в одну и ту же реку. Да и незачем. Прекрасны игры детей, но это не мои игры. А в прожитой жизни мне ничего не хочется ни исправить, ни повторить. Каждое переживание исчерпало себя до конца. Наверное, это и есть счастливая жизнь? Я никогда так не думал о своей достаточно трудной жизни. Может быть, я и ехал сюда, чтобы это узнать?..

Редкое спокойствие было во мне. Я смотрел на упругую, вроде бы недвижимую Угру, на деле пребывающую в непрерывной и довольно быстрой течи, и думал о другой реке с бледными стоячими водами, в которые тем не менее тоже не войдешь дважды. Рано или поздно ты окажешься на берегу этой реки, где тебя будет ждать угрюмый тощий старик, чтобы перевезти на другую сторону, откуда не возвращаются. И если я не расплескаю в остаток дней тишину, постигшую меня над Угрой, то скажу твердо:

— Давай с ветерком, Харон. Получишь на водку.

В ДОЖДЬ



Началось все... А с чего началось — и не скажешь. В эту пору года жизнь деревни связана с сеном. Но прямого отношения к селу наш рассказ не имеет. И можно было бы начать, что в один из долгих июньских дней Демин Михаил Иванович, 1933 года рождения, холостой, член КПСС, образование среднее, затосковал по женской ласке. Но когда именно почувствовал он эту тоску, сказать без обиняков затруднительно. Скорее всего, она зрела исподволь и в какой-то момент стала неодолимой, а может, вспыхнула внезапно, хотя, разумеется, не беспричинно. Попробуем не спеша разобраться.

Время для личной жизни было самое неподходящее. До сеноуборочной оставалась еще неделя, но у колхозного инженера Демина эта кампания началась уже давно, а с завтрашнего дня приобретала авральный характер, ибо во всех областях хозяйственной деятельности — дубасовские механизаторы не являли исключения — за ум берутся в последний миг. В текущие же дни колхозники беспокоились о сене в индивидуальном порядке, для своей скотины. У Демина покосы находились в двух местах: в Дубасове, где он жил и работал, и в Перхове, где остался родительский дом. Старуху мать Демин не без труда заставил перебраться к себе лет пять или шесть назад.

На подмогу съехалась родня. Сестра Верушка с мужем-шабашником: когда трезвый, лучше работника и человека не сыскать, во хмелю же неуютен — задиристый, взрывчатый. Они приехали из Глотова, райцентра, где сестра работала бригадиром на фабри-

ке детской игрушки; а из Саратова, подгадав отпуск, прикатил двоюродный брат Сенечка, токарь шестого разряда, не уступавший рабочей хваткой зятю-шабашнику, к тому же культурного нрава. К ним присоединились местные: младший брат Жорка, бригадир механизаторов, живший напротив, и его сын Валера, тракторист призывного возраста. Сам Жорка особо за сено не переживал, его коровенка была на пищу скромная, не то что Говоруха старшего брата, на эту животину не напасешься, даром что невеличка, вымя мелкое, тугосисее, но дойная до оторопи. Чистая рекордсменка — вся «заготовительная команда» по затычку наливалась живейшим Говорухиным молоком, и на молокозавод каждый день бидон отправляли. Говоруха досталась Демину по случаю. У прежней коровы пропало молоко, пришлось отвести ее на базу заготскота. Возвращаясь автобусом домой, Демин разговорился с попутчиком, мужичонкой из зареченской Ольховки, ладившим перебраться в город. Мужичонка ликвидировал все сельское имущество — и недвижимое, и движимое. К последнему принадлежала корова, о которой ольховский мужичонка не говорил, а пел. Смешно сказать, но Демина пленила ее наружность: белая, как кипень, а чулочки и морда красные и белая звездочка во лбу. Кота в мешке не покупают, а Демин заглазно корову приобрел, прямо в автобусе отвалил за нее аванс. Конечно, красное оказалось рыжиной, звездочка во лбу не проглядывалась, а вот насчет молока не наврал автобусный трепач. Брат Жорка после шутил: «Женился ты, Миша, по любви, а вышло по расчету».

Хотел Демин ему Говоруху уступить, все-таки в Жоркиной семье на едока больше, но тот наотрез отказался. Валерику осенью в армию идти, а им хватит скупой на молоко Пеструшки. Зато и с кормами особых забот нету. А главное, жена доить не любит — забалованная, руки бережет. Нарядится с утра и сидит в окне, как в раме, и на улицу глядит. Не глядит, а себя показывает, свою выдающуюся красоту. А любоваться ею некому, родня и соседи уже привыкли, а посторонние редко на их конце случаются.

Жорка светлый человек, другой бы на его месте ожесточился на жизнь. Как с армии вернулся, так и посыпалось... Нет, зачем зря говорить, не сразу это случилось, вначале все путем шло. Взял жену по

сердцу, она его сыном обрадовала, устроился механизатором, хоть в технике не больно кумекал, но до того быстро все превзошел, что стал бригадиром. А потом началось! Жена не хозяйка, белоручка, домом и огородом не занимается, мальчонке сопли лишний раз не утрет. Жорка и сына, и дом на себя. До того доходило, что сам полы мыл и пеленки стирал. Но никогда не жаловался. «Все нормально!» — одна погудка. Потом сын подрос, а Жорка, на свою беду, дорогами «заболел». Понял раньше других, что без дорог в их глинистой мокрой местности никакая техника не спасет. И сама не спасется. Черный гроб машинам — непролазная, лишь в пожарную засуху спекающаяся местная грязь. Она оборвала все грейдерные дороги, понастроенные после войны; на автодорожных картах они до сих пор нанесены, иные даже желтой полоской, и без числа водителей на том попадаетея. Едет себе, сердечный, доверившись карте, и забирается в такую непролазь, что трактором не выдернешь. Нужны настоящие дороги: асфальтовые либо бетонки, только они выручат край. Жорка это давно понял и, отчаявшись выжать из предколхоза и послушного ему правления деньги на строительство короткой и самой необходимой дороги от Дубасова до шоссейки, сам с механизаторами в неурочное время погнал эту дорогу. Убедил мужиков: когда, мол, дорога будет, правление, хочешь не хочешь, разочтется с нами. Может, и не особо ему поверили, но решили рискнуть, потому как видели и водители, и комбайнеры, и даже не зависящие от дорог трактористы и рабочие ремонтных мастерских, что без дорог — зарез. Колхозное правление «спохватилось» быстро: работы остановило, с людьми расплатилось, а Жорку оштрафовало на эту сумму. Ничего он не сказал, только зубами заскрипел и после недели две все за голову хватался. Началась у него болезнь — гипертония. Тем только и спасается, что японский браслет носит. Демин в Москве достал две штуки, брату и за компанию себе. И в области, и в районе все начальство такие браслеты нацепило — для престижа. Но голова головой, а видел Жорка, что некоторые материалы остались, и предложил брату заасфальтировать семейными силеиками машинный двор, чтобы стояли машины на твердом, а не засасывало их выше колес в дождевую грязь. Работу они сладили и получили по

выговору за самоволку. Старший Демин на том успокоился, а Жорка со своей упрямой больной головой через год попытался достроить начатую дорогу. На этот раз «руководитель», как едко называл предколхоза Жорка, застукал его в самом начале и сдал в милицию, где ему вкатили пятнадцать суток за злостное хулиганство. Конечно, старший брат нашел ходы, Жорку отпустили, но что-то важное в Жоркиной душе обломилось. «Все! — объявил он, выйдя из узилища. — Теперь я дорогам лютый враг!»

Тяжело это было Демину. Он жалостно любил брата с того далекого, неправдоподобного времени, когда осознал его хрупкое бытие рядом со своим. Самого появления Жорки он как-то не углядел, будучи всего тремя годами старше, а когда обнаружил новое, орущее, мокрое, незащитное существо, то обмер и зажалел его на всю жизнь.

Подумав о брате, Демин схватился за кадык и коротко взрыднул. Странный этот взрыд — его отметина. Если Жорку к внутреннему срыву привели дорожные напасти, то у старшего брата это случилось куда раньше, на заре жизни, можно сказать, когда он вернулся с действительной и узнал, что Таля его не дождалась и вышла замуж. На письма же отвечала и в письмах врала, что ждет, по слезной просьбе его матери, страшившейся, что сын в расстройстве и гневе совершит что-то не дозволенное строгой военной службой и сломает свою судьбу. Служил Демин в танковых частях. Уже в первый год обнаружил он редкое чутье к технике и был определен в мастерские, где прошел серьезную и любую ему науку. А вернувшись домой и узнав об измене Тали, он, отличавшийся молчаливой скупостью на всякое проявление чувства, издал горлом жалкий, захлебный звук и схватился рукой за кадык, будто тот стал ему поперек дыхания. И, услышав этот задавленный взвой своего квадратноголыбного — танком не сокрушишь — сына, мать зарыдала и навсегда испугалась за него, как он боялся за младшего брата, а сама она сроду ничего не боялась. Так и стали они жить, связанные цепочкой страха, не делавшего их слабыми. Оба брата — широкогрудые, плечистые, громадной мышечной силы — и в восьмидесятилетней матери проглядывали былая стать и мощь, — на чуть подкривленных, но прочно упирающихся в землю ногах, Демины были столь же

крепки верностью, преданностью земле, делу, людям, памятливой добротой, снисходительной к чужой малости, слабости, даже порокам. В нежной сердцевине каменных с виду богатырей рождались и слезы матери, и боль, сжимавшая обручем голову Жорки, и влажный взрыд Михаила.

Узнав об измене Тали и родив в горле горестный звук, выбивший слезы матери — вон когда научилась плачу солдатка, без слезинки проводившая мужа на войну и без слезинки принявшая от почтальона похоронку, — Демин не смирился, не поставил крест на своем чувстве. Он пытался вернуть Талю, которую простил сразу и навсегда. Но и та оказалась на свой лад богатырской породы. Выполнив просьбу старухи Деминой, не пошла ни на какие объяснения с бывшим женихом. «Не надо. Что сделано, то сделано», — были единственные ее слова при встречах, большей частью случайных — жили они теперь в разных деревнях. Лишь раз расщедрилась Талья на подробную речь: «Нечего прошлое ворошить, возврата туда нету. У меня дитя народилось, я ему отца менять не стану». — «А ты счастлива?..» — Демин вздохом заменил ненавистное имя Веньки Тюрина, сельского интеллигента средних лет, «коровьего фелшара», как его величали старухи. Венька учился в Москве и вдруг вернулся и отбил у него Талю. Правда, в «отбил» Демин не больно верил — хлипок душой и телом Венька, настолько хлипок, что на него рука не подымалась. Демин не любил драк и, будучи человеком трезвой жизни, почти никогда в них не участвовал, но все же не исключал кулачную расправу из мужского обихода. Честная драка, когда все другие аргументы исчерпаны, — законное дело. Но с хлипким сельским интеллигентом Венькой не могло быть честной драки. Демин с самого начала знал, что все решила сама Талья. Тонкая, упругая, как хлыст, и с такой же душой — ее не подчинишь, не сломаешь, а и согнешь, так распрямится и тебя же в кровь отхлестнет. И в их дружбе, начавшейся со школьных дней, она, хоть и младшая годами, была ведущей. Незадолго до расставания позволила обнимать себя и целовать, но дальше Демин пойти не решился, боясь ее оскорбить. А надо было решиться — бережь бережи рознь. Тогда бы дождалась. Даже если б не понесла. Стыдно было б ей, не сохранив чести, с другим окучиваться. А сей-

час Таля в грош не ставила их прежние отношения, детские ласки и признания. Трудный у нее характер, жесткий, тесный, и губы тонкие, всегда сжатые. А может, Венька сумел их разомкнуть? Никогда он от нее не узнает. Заперта на все замки. Что это — гордость или злая узость в ней? Она резко отвергала не только попытки объяснений, но и простые знаки внимания: связку вяленой рыбы или грибов, какой-нибудь московский гостинец для пацана, детскую игрушку, ничего не принимала с каким-то даже ожесточением, будто он перед ней виноват. А может, она и впрямь его винила, что, уходя в армию, не сделал свою?.. У баб мозги набекрень, всё на свой манер вывернут. Он бы оставил ее в покое, если б верил, что она счастлива. Но такой веры почему-то не было. Про себя же он с годами узнал, что ни с одной женщиной — даже в полноте любви — не будет ему так горячо и нежно, как в сухой возне с Талей. Запах ее бледноватой, не смугляющей на солнце, а розово обгорающей кожи, запах ее светлых длинных слабых волос навеки проникли ему в нутро, и все другие женщины невкусно пахли, даже sprыснувшись «Красной Москвой». И мягкая влажность тонкогубого рта, когда он со всей силой впивался в него своим жестким ртом, убила сладость всех других румяных, полных, нежных, жадных женских уст. Отравила она ему кровь, и ничего тут не поделаешь...

Демин сжился со своей странной бедой, как сживается человек с горбом, культей или кривым глазом. Живет, трудится, гуляет в праздники, разные испытывает желанья, вроде и не помнит о своем увечье. Ан, помнит, последней глубиной никогда о том не забывает, иной же раз так вспомнит, что зубами заскрежещет и слезу сронит. Демин вкалывал за троих, нечеловечьей мукой вместе с братом вытягивал сельхозтехнику, которую безжалостно гребило местное бездорожье (варзовские моторы вместо положенных тридцати тысяч после ремонта восьми не набегали, задние мосты «уазиков» на колдобинах напрочь срывало), и по дому успевал: то мебель купит, то обоями все стены оклеит, то терраску или каморку пристроит, то туалет на городской лад оборудует, только без слива. И не скрежетал он зубами, не ронял слез, разве что не удерживал иной раз короткого взвоя. Правда, обнаруживалась в нем некоторая чудина, не идущая

такому положительному и серьезному человеку. Он тяготел к оптовым покупкам, чего бы ни брал, старался взять побольше, хотя и к вещам и к еде был равнодушен. Много было женской одежды, которую он покупал вроде бы для матери, хотя иные вещи заведомо не годились ей по возрасту и размерам, а другими она пренебрегала, донашивая старые добротные платья и кофты. Были у него и замечательные игрушки из «Детского мира», их он покупал для Талиного парня, но получал неизменно назад и не выбрасывал, жалея красивые изделия. Случалось, он дарил что-нибудь детям дачников; у родных и соседей не было маленьких детей, а внуки появлялись уже в городе. Странно выглядели все эти рычащие при наклоне медведи, куклы с закатывающимися бессмысленными глазами, автомобильчики, парходики, самолетики и трехколесные велосипеды в холостяцком доме, не слышавшем голоса ребенка. Была и более подходящая Демину подвижность: в длинном гараже из ребристого железа стояли «Волга», мотоцикл с коляской и мотороллер, там же висел на стене лодочный мотор «Москвич», хотя местная речка Лягва была несудоходна, в засушливое лето ее курица вброд переходила. «Волга» тихо ржавела снизу, не накатав и десяти тысяч, в редкие выезды он тянул машину трактором «Беларусь» на листе железа до грейдерной (по прозванию) дороги, ведущей в райцентр. Мотоциклом с коляской по причине бездорожья вообще не пользовался, и тот стоял на приколе, сверкая первозданной голубизной, не замутированной прахом верст (Демин что ни день драил его куском замши), а вот на мотороллере в иное погожее время доезжал до магазина и даже в соседние деревни навещался, хотя порой приходилось тащить его за рога; были такие места, к примеру, перед клубным крыльцом, которые сроду не просыхали, будто поступали туда воды из подземного озера.

Думается, не только в деревне или райцентре, но и в самой столице нечасто встретишь столь оснащенного и обеспеченного всем, что душа пожелает, человека, как Михаил Демин. А ведь для себя ему ничего не нужно: телевизор не смотрит — времени не хватает, редко, да и то через черную тарелку, висящую на кухне, слушает радио — тарелка не выключалась, по ней передавали колхозные новости и распоряжения,

ездить ему некуда, да и не проедешь; случается, напяливает на себя какой-нибудь клетчатый пиджак или кожаную куртку, но вида все равно нету, потому что джинсы или вельветовые брюки приходится заправлять в подвернутые под коленями, а то и натянутые по самую задницу бродни. И обычно Демин довольствуется бумажными штанами, ковбойкой и ватником.

Похоже, что какой-то неделовой, схороненной от разбитых машин, запоротых моторов, потонувших в грязи комбайнов, охромевших тракторов, пьяных слесарей, кузнецов-халтурщиков, скрытой от всех и от себя самого частью души он жил в воображаемом мире, в котором неведомо как осмыслялись его бессознательные поступки. Если попробовать расшифровать эту скрытую жизнь Демина, то оборачивается он в ней главою большой требовательной семьи, на которую не напасешься, а капризнице-жене подавай все новые наряды (да и сам держи фасон), и чтоб бензиновые кони ждали у ворот, бия от нетерпения шинами, и быстроходный катер содрогался в готовности вспенить воды Лягвы, и напрягался весь животный мир для пущей семейной сытости: чтоб вышибала донце из подойника тугой молочной струей Говоруха, чтоб куры несли яйца больше гусиного и ускоренно нагуливал розовое прозрачное сало дюжий боровок в закуске, стремясь к пику формы, когда ему всадят тонкую сталь под переднюю левую ногу.

Это тайнодумие, или тайночувствие, оставалось скрытым даже от его спящей души, когда многое, гонимое дневным сознанием, выходит наружу, пусть порой и в зашифрованном виде, но все же позволяющем догадаться о сути. Он был настолько во власти безотчетности, что даже не помнил о своих покупках. Бывало, задев в темноте плюшевого мишку и услышав его недовольную ворчбу, он замирал, думал, что потревожил живое существо, и недоумевал, как завелось оно в доме.

От матери не укрылся ущербный смысл избыточных, ненужных приобретений сына. Она долго крепилась, но раз, встречая вернувшегося из города и, как всегда, нагруженного свертками Михаила, не удержала слезу. Преисполненный ответной жалости к матери и смутного чувства какой-то своей вины, Демин растерянно бормотал: «Ну, ладно, маманя!.. Чего там!» — «Ох, сынок, зачем нам все это?.. И кому

достанется?.. Во сне ты, что ли, живешь!» Демин молчал. «Уйду я от тебя,— вдруг сказала мать.— Есть у меня свой угол».— «Да что ты, маманя? — испугался Демин.— Нешто нам плохо вдвоем?» — «Плохо, сыночек, плохо. Не могу я на тебя смотреть. Сколько же можно так маяться? Неужто ты порченный какой и за тебя ни одна девка не пойдет?» — «Да где их взять, девок-то? — не глядя матери в глаза, оправдывался Демин.— Как в цвет входят, так из деревни дёру. Не приживаются девки на нашем грунте».— «Да ведь гуляешь ты с женщинами, Михаил, я же знаю. Что ж, они только для баловства хороши и ни одна жениной работы не справит?» — «Не придется они тебе, маманя»,— врал Демин. «Не обо мне речь. Мне теперича любая придется, лишь бы ребяточка выносила. Я уж не запрашиваю. Мне бы внучка перед смертью покачать».— «Ну а мне-то как с нелюбой жить?» — «Стерпится — слюбится... Нельзя целый век о Тальке вздыхать. Да на кой ляд она сдалась, пустокормок, кабы и сама попросилась? С тремя детьми, старший уже армию отслужил. Сухара, одно слово! Ладно, молчу, уж и слова о ней не скажи. Надо же! — удивлялась мать.— Какое счастье девке светило!» — и призрак чужого счастья зажигал ее потухшие глаза.

В тот день, о котором идет наш рассказ, с утра принялся дождь, хотя ночь была чистая, звездная и появилась надежда, что погода наконец-то установится. Бюро погоды тоже обещало «без осадков», правда, что-то сбормотнув о циклоне над Тянь-Шанем, а дубасовцы знали: циклон в любой точке планеты оборачивается для них дождем, такая уж чувствительная местность. Пришлось срочно закопнить разбросанное накануне для просушки сено. В связи с этим терпеливый саратовский кузен Сенечка вдруг вспомнил, что отпуск у него кончается, а сено все еще не убрано, Демин намек понял и поставил к позднему завтраку бутылку армянского коньяка «пять звездочек». Сенечка так засмутился, что жидкость пошла ему не в то горло. Чуть не задохнулся, насилию отходили. А зять-шабашник, хвативший где-то накануне, красноглазый, подпухший и злой — жена не давала опохмелиться,— заявил, что даром

тут время теряет, его зовет печник класть печи в новых домах для доярок. «Нешто мы на чужих ломаемся?» — на высоких нотах завела Верушка. «Кабы на чужих, так бы меня и видели! — веско произнес шабашник. — По-родственному терплю, из последних сил». И, уверенной рукой взяв бутылку, налил себе полный граненый стакан. Жена глянула возмущенно и... промолчала. Момент был тонкий и опасный, муж мог и впрямь подорвать. Шабашник выпил, сморщился, некрасиво вывернув мокро-пунцовый подборой нижней губы, обронил брезгливо: «Не люблю!.. И чего в нем интеллигенция находит?» Приняв на свой счет слово «интеллигенция», Сенечка счел нужным вступить за честь напитка: «Ты букета не чувствуешь, Адольф. Его нельзя рывчуном брать, смаковать надо. А весь смак в букете. Знаешь, откуда букет? От выдержки. «Пять звездочек» — значит, его пять лет в бочке держали, не трогали. Чуешь, какая выдержка? Выше этого армянского только марочные сорта и небо». — «Не убедил...» — капризно сказал шабашник Адольф (он уверял, что спивается из-за своего позорного имени) и потянулся к бутылке. «Хватит, окаянный!» — Верушка пришла в себя и вновь овладела положением. Адольф молча убрал руку, он умело использовал свой шанс, на большее рассчитывать нечего. Выбив из пачки сигарету прямо в щербину между зубами, Адольф вылез из-за стола. «Пошел корячиться, а вы как хотите!» — «Ох ты! — вскинулась маленькая, осмугленная без солнца дочерна Верушка. — Тоже мне герой, передовик!» — и чуть сдвинула с выгоревших бровей низко и туго повязанную косынку.

Демин с щемящей нежностью смотрел на сестру. Золотой, безотказный человек! Надсаживается в бригадиршах, понуждая к честной работе самовольных и языкастых городских баб, и весь дом на себе тянет, от шабашника какая польза? Заколачивает порядочно, а пропивает еще больше. Верушка, можно сказать, в одиночку подняла семью, детям образование дала: дочь учительница, замужем, сын — лейтенант милиции в Вильнюсе, и не то чтобы палкой на перекрестке махать или с алкашами возиться, он по ученой части, лекции об уличном движении читает; жена у него инженер, парни-близнецы будут десятилетку кончать. Но две молодые и вроде самостоятельные семьи

не могут прожить без Верушкиной помощи: она им и деньги на разные покупки шлет, и всякое варенье-соленье, и внуков на лето забирает да еще находит время остальной родне подсобить. Всегда бодрая, невесть чем довольная, знай улыбается сухими, истре-скавшимися губами, а глазом шарит: где бы чего прибрать, починить, залатать. Она и в девчонках такой была: худенькая, быстрая, локотки острые так и колют воздух, и все ей работы не хватает, ужасно боится не истратиться до конца. И кому достался такой клад?.. Ей бы женой директора быть, офицера танковых войск или начальника пожарной охраны... А ведь она любит своего охламона, осенило вдруг Демина. Значит, есть в нем что-то, чего другие не видят, а и увидели бы, мимо прошли, но для Верушки важное, нужное. Ведь он, Демин, совсем не знает, что такое жизнь с близким человеком, жизнь вплотную, может, тут появляется такое сильное и проникающее чувство друг друга, что грубая, поверхностная очевидность гроша ломаного не стоит. А стоит лишь то, что дается тайновидением. При мысли, что никогда не узнает такой слиянности с женщиной, Демин на мгновение утратил контроль над собой, и короткий взвой вырвался из его просторной груди.

Мать подняла на него усталый взгляд, сестра потупилась. Сенечка нервно плеснул в стакан армянского, а стоявший у печки с сигаретой в зубах длинновязый, тяжелорукий племянник Валерка опрометью кинулся в сени. Он не мог привыкнуть к этим жутким сигналам тоски, задавленной боли, мерещилось что-то темное, невыносимое, убивающее желание стать взрослым.

Сам же Демин обычно не замечал своего стона, не заметил его и сейчас, но смутно почувствовал какое-то напряжение, замешательство. В таких случаях хорошо принять решение, толкающее жизнь дальше.

— Поеду-ка за перховским сеном,— сказал он веско.

Он знал, что фраза его ничего не разрешила, что-то повисло в воздухе, повисло в нем самом, но и так слишком долго его мысли бесплодно блуждали, не порождая никакого действия. Он не любил ковыряться в себе. Если все время задаваться вопросами: с чего да почему, кончится всякая внешняя жизнь, един-

ственно обладающая смыслом, ты завязнешь в томительных вопросах, забуксуешь мозгами, как в дубасовской грязи на стертых покрышках.

Сейчас его мысль собралась и повернула к конкретным вопросам: на какой машине ехать, взять ли с собой кого в подмогу. И то и другое он решил сразу, как обычно решал всякие хозяйственные дела: поедет на МАЗе — сильная, проходимая машина, к тому же мотор недавно сменили и на задние колеса цепи поставили, а возьмет Жорку, тот давно не видел их старого дома, где оба родились и выросли. На отшибе стоит заброшенное Перхово, не участвующее в экономической жизни колхоза, сейчас там едва ли с десятков обитаемых домов наберется. Взгляд в окно подтвердил, что Жорка дома, да и где ему быть: они переиграли выходной с воскресенья на субботу, чтобы с завтрашнего дня вкалывать без передыха.

Демин совсем было собрался идти за грузовиком, но тут вспомнил о постояльцах, которых ему навязал приехавший из Москвы с семьей на отдых мастер холодильных установок Толкушин. Был он уроженцем Канавина, лежащего километрах в четырех по течению Лягвы. Демин знал его с детства, но впервые обнаружил, что они родственники, когда Толкушин, приехавший на своем «Жигуленке», попросил у него трактор и железный лист, чтобы добраться до родного порога. «Выручи, Мишутка, всежки мы одна кровь». Демин и так бы ему помог по старому знакомству, но просьба родича свята. Поэтому он и слова против не сказал, когда Пека Толкушин попросил принять на постой двух московских людей: журналиста и еще кого-то — Демин не понял. У того был свой интерес в здешних местах: то ли церкви осматривать, то ли раков лучить, замороченный сеном Демин не стал вникать. Да и какая ему разница, кто они, важно, что родственник просит. Хотя хуже время трудно было выбрать — в доме полно народу, дел невпроворот и, как ни крутись, не окажешь гостям должного внимания. Москвичи прибыли пешим строем, машину бросили на шоссе возле почты, и Демин отвел им боковушку, дал постельное белье, одеяла, подушки, домашние туфли. Журналист был тучным, задышливым стариком с мешками под коричневыми усталыми глазами и белым пухом волос, он знал, что отыгрался, но по инерции продолжал жизненную суету. Таких

Демин видел немало. А вот другой его заинтересовал. Был он без возраста: то ли под сорок, то ли крепко за шестьдесят, поджарый, с обнажившимся костяным лбом, но без седого волоса, гибкий, ловкий, с проворными руками. Он мгновенно разобрался, что к чему и что где лежит, как будто домой вернулся, и через полчаса по приезду уже варил на кухне соблазнительно пахнущую солянку. К удивлению Демина, все острые приправы гость нашел в его доме. Назвался он Пал Палычем. И странно, услышав нехитрое имя-отчество, Демин испытал легкий внутренний толчок, готовый обернуться воспоминанием, но так и не ставший им. Он готов был поклясться, что уже видел этого складного и чем-то соблазнительного человека, но где, когда?.. Хотелось поговорить с приезжими, особенно с Пал Палычем, может, тот подскажет, где могли они видаться, да не выбрать минуты свободной. А сейчас он ощутил необходимость что-то сделать для гостей. Надо украсить их быт. Забрав в гостиной три «полотна», копии которых, как он понял, находились в Третьяковской галерее: «Аленушка», «Неизвестная» и «Богатыри», а также вазу с бумажными цветами, он вдруг задумался, с какой стороны придется ему родственником Пека Толкушин. Демины и Толкушины из разных мест и разного корня. Может, по женской линии? Пекина двоюродная сестра замужем за ихним председателем, но Демины с ним не родня. Старуха Толкушина в свойстве с тещей кузнеца, но кузнец Деминым вовсе чужой. Жена Пеки вроде калужанка, тут искать нечего... Внезапно он почувствовал усталость, стоит ли ломать над этим голову, при случае он спросит Пеку, а сейчас надо создать людям культурный отдых.

Он вошел в комнату, пропитанную табачным дымом. Постояльцы в спортивных костюмах и носках лежали на кроватях и читали. Пал Палыч нещадно дымил. Журналист с набрякшими подглазьями отложил книгу и улыбнулся Демину.

— Хозяин!.. Милости просим.

— Извините, конечно,— сказал Демин.— Я тут кое-что принес... Чтобы вам красиво отдыхалось.

— Что-что? — вскинулся Пал Палыч и ловко сел на кровати, по-турецки скрестив ноги.— Да бросьте! — сказал брезгливо.— Кому это надо?..

— А что? — смутился Демин.— Хорошие карти-

ны. — Он прищурился и прочел: — В. Васнецов, И. Крамской... обратно В. Васнецов.

— К тому же подлинники! — хохотнул Пал Палыч.

— Заткнитесь, — тихо сказал журналист. — Человек от чистой души... Спасибо большое, — повернулся он к Демину. — Вы не беспокойтесь, мы сами повесим. Мой друг специалист по живописи.

— Нешто мне трудно гвоздь прибить? — обрадовался его интонации Демин.

Он поставил вазу с цветами на холодильник, вынул из кармана гвозди, достал из тумбочки молоток и стал приноравливаться, как бы половчее повесить картины.

— Дивный букет, — заметил Пал Палыч. — Воду надо часто менять?

— Они же бумажные, — удивился его наивности Демин.

— Заткнитесь! — опять сказал журналист, пристально глядя на Пал Палыча.

За долгие годы знакомства, хотя виделись они нечасто, будучи людьми разъезжей жизни, он так и не постиг до конца характера Пал Палыча. Тот был крайне сентиментален, причем с возрастом эта черта все усиливалась; его песочные ресницы частенько темнели от слез, исторгнуть которые могли стихотворная строка, страдания, болезнь и смерть литературного героя, несчастливый конец фильма, вид старой почерневшей иконки, нежный изгиб севрской статуэтки. Вся эта чувствительность проявлялась лишь в столкновении с искусственным миром; жизнь в ее естественном образе не действовала на слезные мешки Пал Палыча. Как замечательно разделились в нем поэзия и правда. Его ничуть не трогал доверчивый жест доброты этого постороннего человека, бескорыстно пустившего в дом незнакомцев, давшего им постель и стол и еще заботившегося о «культурном» оформлении их быта.

— Чем картинку вешать, — услышался высокий, резкий голос Пал Палыча, — лучше бы вонь ликвидировали!

— Какую вонь? — не понял Демин.

— У двери. Какходишь, шибает, аж с ног валит. Что у вас там, покойники захоронены?

Демин повесил на стену «Богатырей», глянул,

ровно ли, и пошел к двери. Нюхнув раз-другой, ничего не почувал. А несло там нестерпимо, каким-то спертым, душным, ядовитым, опасным для жизни смрадом. Густой, как патока, он не распространялся по комнате, а стоял возле двери; таким образом, пронизав невеликую толщу, ты оказывался в обычном запахе избяной боковухи: дерева, законной дождевой сырости и устоявшейся легкой прели. Словом, незачем было заводитьсь. Но Пал Палыча бес обуял.

Журналист сказал мягко:

— Там правда пованивает. Ничего страшного нет. Может, крыса сдохла?

— Нету у нас крыс,— еще более озадачился Демин и позвал мать.

Старуха быстро приковыляла — любила быть полезной. Понюхав, где указали, она тоже не расчуяла вони. Крестьянские носы, привыкшие к крепким запахам хлева, свиного закута, насеста, навоза, не обладали городской чувствительностью.

— Да нюхните хорошенько! — закричал Пал Палыч, вскочив с кровати.

Он подбежал к ним и со свистом втянул воздух своим хрящеватым носом.

— О, ужас!.. О, смерть!..

— Правда, Миш, вроде несет маленько,— неуверенно сказала мать.

— Маленько! — передразнил Пал Палыч.— Ничего себе маленько!.. Конец света!.. Гибель Помпеи!..

И странно: Демину казалось, что все это уже было когда-то: и возмущение Пал Палыча, и тяжелая растерянность окружающих, экое наваждение, прости господи!.. Он открыл холодильник, заглянул в него, выдвинул нижний ящик, откуда накануне взяли телячью голову и голяшки для холодца. Сегодня этот холодец в тарелках, блюдах, тазах стоял по всему дому.

— Надо так думать,— глубокомысленно изрек Демин,— что головка протухла.

— Чепуха! — авторитетно сказал Пал Палыч.— Зачем на теленка валить? Студень свежий.

— Свежий? — обрадовался Демин, любивший холодец.— Я еще не пробовал.

— Свежайший! — Пал Палыч нагнулся и стал хлопать дверцами старого фанерного буфета. Мелькали пачки с печеньем, шоколадные наборы, банки

с вареньем и джемом, упаковки сыра «виола», банки маринованных огурцов.

— Богато живете! — вскользь одобрил Пал Палыч. Он открыл очередную дверцу, и оттуда вырвался ликующе Великий Джинн Смрада, некая правонь, от которой пошло в мире всякое смерденье и тухлость.

Пал Палыч держал на мочальной веревке связку вяленой рыбы, то ли плотвиц, то ли красноперок.

— Вот она, душечка!

Демин взял связку, понюхал, небрезгливо помял рыбешку.

— Она же вяленая... — проговорил неуверенно.

— Плохо проявил, брат! — ликовал Пал Палыч. — Стухла твоя плотва.

— Это не моя, Сенечка наловил, — поправил Демин.

— Скормите кошке, — посоветовал журналист.

— Нешто она ее возьмет? Балованная!..

— Да выбросьте вы ее к черту! — взревел Пал Палыч. — К чему столько болтовни?

— Как же так? — скривился Демин. — Значит, пропали Сенечкины труды?

Журналист с любопытством посмотрел на Демина: сильное до грубости, обветренное лицо, сталь зубов в улыбке, плечи гиревика, ручки лопатами. И надо же, какая деликатность, какая тонкая бережность к чужой душе!

— Я их на терраске новой повешу, — сообразил Демин.

— Там Адольф трудится, — напомнила мать.

— А ему водкой и табаком все обаяние отшибло. Он намедни чуть ацетону не хватил.

— Ну и неси туда! — распорядился Пал Палыч. — Хватит тут вонять.

Пристроив связку рыбок так, чтобы Сенечка мог увидеть и сам распорядиться ее дальнейшей участью, Демин отправился за грузовиком.

До реки он дошел легко по обкошенной луговине. Завяз лишь возле ключа, там и в сушь было потное место, на которое каждую весну прилетала пара чибисов. Провалился глубоко, хорошо, сообразил натянуть до отказа болотные сапоги, а вот выдернуть кол из тына забыл, за что и поплатился, — насилу вылез, извалявшись в грязи. К реке по скосу он съехал на подошвах, растопырив для равновесия руки. Здесь

помылся и проверил вершу, затопленную на излучке под старыми ветлами. Верша оказалась пустой — отчего-то сорвало клеенчатую завязку на горловине. Он пристроил завязку на место и утопил вершу. Потом отломил сухой толстый сук березы и по скользким местам, помогая себе суком-шестом, перебрался на другую сторону. Мимо молокозавода, кисло воняющего выплеснутыми пробами, он поднялся к деревенской площади, где располагались клуб и магазин.

Оба здания были отрезаны от Большой земли огромными лужами в грязевых, топких берегах. Но к магазину был сделан подход из кирпичей и досок, нечто вроде лавы. Клуб же напрасно соблазнял дубасовцев объявлениями о новом художественном фильме и вечере танцев под фонограмму «Голубых гитар» — к нему можно было пробраться разве что на ходулях. Демин двинулся по окружности площади, прижимаясь к плетням, под ними земля была прочной. При этом не упускал из виду магазин, куда то и дело заходили люди, но назад почему-то не выходили, словно поселялись там. В витринах за рекламными пирамидами «Завтрака туриста» и новой рыбки «Минтай» творилось шевеление цветных пятен, но игра красок не обернулась чертами продавщицы Лизы, с которой Демин дружил. А хотелось хоть в промельке увидеть ее горячие крепкие скулы.

Самая грязная грязь начиналась за околицей, и, хотя до машинного двора было рукой подать, Демин потратил немало времени на одоление последних метров. Это ж надо, чтобы главная опора сегодняшней деревни — трактор стал ее сущим наказанием. Лошадь так не умучивали в старое время, как сейчас трактор. На нем не только пашут, боронуют, убирают, возят грузы, навоз, силос, сенаж, доставляют людей в поле и с поля, но ездят на рыбалку, в гости, на любовное свидание, на прогулку. Трактором изжеваны все деревенские дороги, улицы и площади. Исчезла прелесть тихой зеленой сельской улицы с телком или козленком на привязи, разморенными жарой добродушными псами, с курами, гусями и пушистыми их выводками — от плетня до плетня во всю ширину непросыхающая, непролазная грязь, чудовищные колдобины, рытвины с водой. Попробуй пройтись с гармошкой на вечерке, попробуй найти сухую, твердую площадку для пляски, даже на лавочке у плетня

посидеть да на людей поглядеть, лузгая семечки, — несбыточное дело, куда ноги девать?

Но трактор не виноват, машина не бывает виноватой, размышлял Демин, люди придумывают технику, а справиться с ней не могут. Отжили век проселки, большаки и немощные сельские улицы. Или асфальт под колеса, или вертайся к лошади. Иначе жизни не будет.

Смятенный вид родной земли... И как же хорошо на этом фоне гляделась асфальтовая площадка машинного двора, на которой прочно стояли комбайны, сеялки, жатки, косилки, бульдозеры, траншеекопатели... Эти машины казались вознесенными над всем остальным собранным для ремонта, восстановления и разбора железом, которое медленно погружалось в предвечную хлябь, поскольку не хватало асфальта для всего нужного технике пространства.

Пробираясь к гаражу, Демин услышал, что в кузне ухает молот. Вот те раз! — выходной день, а кузнец трудится. Неужто этого поддавалу и склочника прошибла тревога за сеноуборочную? Горячий цех был в долгу перед ремонтниками, вот Федосеич и решил пожертвовать отдыхом для общего дела. Отъявленный хабарщик, Федосеич был на хорошем счету у «руководителя», потому что всегда брал самые высокие обязательства, не затрудняя себя мыслью об их выполнении. Но проняла и его общая забота. Демин довольно улыбнулся и потер щетинистый подбородок, а черт, опять забыл побриться.

Демин толкнул дверцу и вошел в жаркое нутро кузни. Полыхал горн, Федосеич и его подручный с раскаленными лицами трудились с тем старанием, красивой ловкостью и серьезностью, что достаются лишь левой работе. В грохоте двух молотов не слышен был взыв душевной боли и разочарования вошедшего человека. Демин ничего не мог сделать Федосеичу — оба это знали, попробуй найти другого кузнеца. Но и Федосеич нуждался в кузне, поэтому, ничуть не боясь колхозного инженера, все же старался не доводить его до остервенения. Демин понимал тщетность слов, если они обращены к такому дремучему сердцу, как у дубасовского кузнеца, к тому же с завтрашнего дня начинался аврал, и раздражать ндравного старика было рискованно. Но что-то сказать было необходимо — для собственного спасения, а то, не ровен час,

лопнет сосуд, и так вечно молчишь перед глупостью, наглостью и чтущим лишь собственную выгоду напором.

— Насвинили тут!..— Демин наподдал ногой пустую консервную банку.

Кузнец оглянулся, будто знать не знал о его присутствии. Медвежьи глазки, как лезвием, чиркнули.

— Не ндравится — возьми да убери.

— Я тебе не уборщица. Свое свинство сам затирай. Или катись отсюдава к чертовой матери!..

Вот бы такие слова да по главному поводу: мол, кузня — не частная лавочка, халтурщик ты и ханыга! А это выстрел хоть и в упор, да холостой — кузнеца антисанитарией не уешь. Так оно и было: Федосеич презрительно усмехнулся и гаркнул помощнику: «Ровнее держи, черт безрукий!»

МАЗ был старый, битый, из капиталки, но крепко, надежно залатанный, с форсированным двигателем, над чем немало потрудился изобретательный Демин. Машина на редкость мощная, и если не бояться выжимать из нее эту мощь под угрозой сломать себе шею, то она способна одолеть любое бездорожье, благо обута в железные сапоги. Демин уже взобрался на сиденье, когда подбежала Васена, колхозная делопроизводительница, и протянула телефонограмму из райцентра. Отправил ее предколхоза, с утра уехавший в Глотов на совещание. В близости сеноуборочной дергалось само районное начальство и дергало руководителей хозяйств, мешая им заниматься прямым делом. Председатель извещал, что удалось вырвать новый мотор для «уазика», мотор необходимо срочно забрать, а сам он без машины. Это было слишком серьезно, чтобы кому-то передоверить, — перховское-то сено пождет.

И Демин погнал грузовик в сторону, противоположную той, куда собирался. Тактика езды на «гончем» МАЗе была проста, но требовала крепких нервов. Надо ломить на третьей скорости, выбирая по возможности места более проходимые, пренебрегая тем, что машина кренится так, что вот-вот перевернется, что ее заносит и норовит сбросить с дороги, что нос клюет в полные воды рытвины и лобовое стекло ослеплено рыжими заплесками, что глаза залиты потом, а весь ты через полчаса такой езды как отсиженная

нога. Но если хватит выдержки не притрагиваться к сцеплению и тормозам и знать лишь одно — вперед, то доедешь, наверняка доедешь.

И Демин ехал. Оглушенный, ослепший от пота, разбив в первые же минуты коленку о щиток, он гнал и гнал машину по лужам и вязкой грязи к грейдеру, изжеванному, разбитому, в рытвинах и ухабах, но все же более надежному, чем этот большак... У перекрестка к машине сунулась было старуха с рюкзаком на длинных лямках. В поднятой руке она сжимала рублевку. Обычно Демин подбирал на дорогах всех «голосующих» и сроду не брал ни с кого денег, но, остановись он сейчас, на том бы и кончилась его поездка. Здесь было самое гиблое место, которое надо проскочить с разгона. Он резко вывернул руль, чтобы объехать старуху, успел заметить, что она долговязая, с темным недобрым лицом; пробуксовывая, вползла на грейдер, рухнул в рыжее озерцо; всплепую, не давая затащить себя в кювет, проехал с полкилометра и наконец почувствовал под колесами упор. Демин снял с баранки левую руку, утер пот, смахнул грязные капли со лба и надбровий, поерзав, сменил положение затекшего тела, определился в пространстве и вдруг издал тоскливый вой.

Он не понимал, откуда приступ звериной тоски, — ведь худшее осталось позади; теперь-то он знал, что доедет, встретится с председателем и получит долгожданный мотор. Договизая фигура на перекрестке?.. Старуха, которую не подобрал... Да что ему эта старуха? Сколько их мается по обочинам жизни, на всех души не хватит. Но эту старуху надо было взять. Почему? Он даже не успел задуматься, ответ сказался липким потом, выступившим под рубашкой. Старуха эта была Т а л я...

Старуха... Они не виделись каких-нибудь три-четыре месяца. Нельзя состариться за такой короткий срок. Нельзя. Конечно, перемена совершалась исподволь, но он ничего не замечал, замороженный ее прежним образом. И когда встречались на деревенской улице, он успевал наделить сегодняшнюю, уже другую Талю ее минувшей, юной прелестью. А сейчас просто не успел, слишком неожиданной оказалась встреча, он был занят дорогой и пропустил тот миг, когда свершалось вселение Тали в прежнюю оболочку, он увидел Талю такой, какая она есть на самом

деле. Господи боже мой, да в ней не осталось ничего, ровнешенько ничего от прежней Тали, которую он любил в молодости и не переставал любить все эти годы. А может, он любит эту долговязую, худую, темнолицую старуху, что махала рукой с зажатой в крючковатых пальцах рублевкой? Ответа не было, в душе пустота...

А Таля узнала его?.. Скорее всего узнала, хотя боковые стекла были залеплены грязью. Что она подумала? Какая теперь разница...

...Председатель встретил Демина как родного. Поехал с ним на склад, помог перетащить двигатель в кузов грузовика. С некоторым удивлением Демин обнаружил, что «руководитель» рассчитывает на угощение, будто старался не для своего колхоза, а для чужого дяди. Да нешто жалко, коли человек хороший?.. Но после истории с Жоркой Демин засомневался, можно ли считать председателя хорошим человеком. Все-таки он повел его в ресторан «Лебедь», который в дневные часы превращался в простую столовку, поэтому водку здесь не подавали, ее приносили с собой и держали под столиками. Но коньяк имелся, и Демин взял бутылку, а в глубокую тарелку набрал некорыстной закуски: сала, колбасы, помидоров, пирожков с мясом. Он налил председателю полный граненый стакан, а себе плеснул на донышко, чтобы чокнуться, — за рулем не пил, хотя гаишного надзора в райцентре не было. Председатель знал его правило и не настаивал.

— Будь здоров, не кашляй! — пробормотал он, цокнул донышком своего стакана по деминскому и жадно, одним духом выпил.

Демин чувствовал, что председатель чем-то озабочен, но спрашивать не стал — захочет, сам скажет.

— Хорош моторчик я тебе выцарапал? — спросил председатель.

— Хорош! Недельки на две хватит.

— Болтай! Обязан тридцать две накатать.

— А восемь не хочешь?.. Нет, Афанасьич, пока дорог не будет, на технику не надейся.

— Опять за свое? Еще не надоело?

— Надоело. Потому и говорю.

— Ты же сам знаешь, дороги нам не приказаны. Мы должны дома дояркам строить.

— Зачем?

— Чтобы привязать их к этому благородному труду, — скучным голосом сказал председатель.

— Придуряешься, Афанасьич. Неужели наши старухи перестанут за дойки дергать, если ты их в хоромы не переселишь?

— Не о них речь. Прицел на молодежь. Будь!..

— Молодые в доярки не пойдут, хоть ты им дворцы построй. Им маникюр жалко.

— Что правда, то правда, молодых доить не заставишь, — закусывая салом, согласился председатель.

— А Жорку ты зря обидел.

— Не зря. Пора уже понять, что дороги — не наша забота... — и со вздохом добавил: — От них я не чешусь.

— От чего же ты чешешься?

Председатель внимательно посмотрел на Демина, навалился грудью на столешницу и заговорил то-ропливо, хриплым шепотом, глотая слова:

— Нюрка... бухгалтерша грозитя уйти. Неохота ей под суд... И очень даже свободно, если ревизия... Никто не защитит. Я не я, и хата не моя — закон игры...

Демин не понимал его возбуждения и тревоги. Напился, что ли? Не такой мужик Афанасьич, чтобы окосеть с двух стаканов. Но не могла же его взволновать Нюркина угроза оставить свой пост. А председатель, дергая головой, словно вокруг вилась оса, сообщил, что Боголепов с автобазы, известный «доставала», собрался в Сочи лечить грязью радикалит.

Не понимая, почему председатель съехал на болезнь Боголепова, Демин счел нужным выразить одобрение услышанному.

— Пусть подлечится. Мужик хороший.

— Очень замечательный... Двигатель вот устроил. И задний мост для ЗИЛа обещал. Но как ты четыреста рублей спишешь, если Нюрка уйдет?.. Не знаешь, и я не знаю.

— Какие четыреста рублей?

— На культурный отдых. На юг с пустым карманом не ездят.

— Вон-на... — дошло наконец до тугодумного Демина. — Понятно... А ты погляди, Афанасьич, с другой стороны. У него же хозяйства нету. У нас-то

и коровка, и овцы, и боровок на откорме, и огород. У тебя вовсе вишневый сад, как у Чехова.

— А что я с него имею? На рынок не вожу.

— Твоя Марья варенье тазами варит. А он, сердешный, никаким баловством не пользуется.

— Слушай, пойдешь в бухгалтера? — ошарашил вопросом Афанасьич. — Или в председатели?.. Завтра же соберу перевыборное. Мне ничего не сделают — ветеран войны и печень больная. Лечиться поеду. На свои.

— Не дури, — Демину впервые вспало на ум, что не так-то просто будет найти охотника на место, занимаемое этим тусклым, бесполетным человеком, которого все заглазно костят, и вроде бы справедливо. — Давай скинемся. Не обедняем.

Председатель глянул насмешливо.

— Колхозный карман трещит. А наш вовсе лопнет.

— Вон-на!.. Это, значит, завсегда?..

— А ты думал!.. За красивые глаза?.. Нам же вечно больше других надо, — со злостью, метящей в Демина, сипел председатель. — Моторы, кузова, задние мосты, хедеры, захеры...

— Да ведь план!..

— Вот где у меня этот план!.. По мне лучше лечь на дно. С отстающих какой спрос?.. — Афанасьич налил коньяку, выпил, кинул в рот кружок колбасы, сжевал и малость успокоился. — За коровий десант слышал?

— Какой еще десант?

— Конечно, об этом в газетах не пишут. И в телевизоре не показывают. Совхоз «Заря», знаешь, вечно в хвосте плетется, так их чуть не из соски поят. Коров выдали породы «шароле». А у них силос подобрали, сенажа ноль целых хрен десятых, комбикорма и в помине нет. А трава и кормовая рожь полегши от дождей — машиной не возьмешь, косарей днем с огнем...

— Выгнать на пастбище?..

— Ага. Там такие же умные. Попробовали выгнать. У двух коров передние ножки сразу — чик, наполоам, пришлось стрелить. Вес-то огромный, а ноги тоненькие, не по нашим почвам. И вот кто-то за десант сообразил. Нагнали технику: платформы, на которых пушки возят, погрузили коров — и в поле,

в зеленую рожь. Все начальство туда съехало, газетчики — большой антракцион.

— И чего дальше? — заинтересованно спросил Демин.

— Дальше? Скотина ревет, корма чует, а взять не может. Там все, кто был, прямо с мозгов долой. Рвали рожь и в пасть коровам пихали.

— Не пойму... Чего же они не паслись?

— Порода «шароле». Не умеют. К стойловому содержанию приучены. Понимаешь, которое уже поколение из кормушек жрет.

— Мать честная! — ахнул Демин. — Это как же они скотину испортили!

— Чего с них взять! Если мы к ним даже муравейники возим.

— Не лепи горбатого, Афанасьич!

— Честное партийное слово, — серьезно и грустно сказал председатель. — Сам не верил. А намедни в райкоме своими ушами слышал: вывозим муравейники. Леса поддерживать. Очень оживленная торговля. А может, кислота нужна. Может, ревматизм лечат. Я лично не интересовался. Не знал, что ты спросишь.

— Как они только живут! — задумчиво, презрительно-жалеючи произнес Демин. — Почему в России всегда все есть, а кругом пусто?..

Прежде чем покинуть райцентр, друзья заглянули в универсам, куда как раз завезли подарочные наборы, включающие духи, пудру, шоколад, баночку икры, копченую сосиску в целлофане, гаванскую сигару в латунном футляре. Взяли по набору.

Обратная дорога, не ставшая легче, оттого что в кузове ворочался автомобильный двигатель, целиком подчинила себе сознание Демина, но, когда вернулись, сгрузили мотор и расстались с председателем, он почувствовал сосущую тоску. В этой тоске был и рев голодных коров породы «шароле» посреди полеглой ржи, и унылый бубнеж не справляющегося с делом человека. Но Демин знал дальней-дальней угадкой, что вся эта муть прикрывает главную печаль — встречу на перекрестке с долговязой темнолицей старухой.

Демин не поехал сразу за сеном, а подрулил к магазину, как раз закрывавшемуся на обеденный перерыв. Завмаг Люба впустила Демина и заперла за

ним дверь. С удивлением и не без приятства Демин обнаружил здесь своих постояльцев: журналиста и Пал Палыча, оба сидели в креслах гарнитура, каждый с коробкой «Пьяной вишни» в руках. Вкуснейшие эти конфеты впервые достигли Дубасова, но не пользовались почему-то спросом, местные жители предпочитали карамельку. При его появлении крутые свежие скулы продавщицы Лизы жарко вспыхнули, и Демина чуть отпустило. Хорошо, что он застал тут своих гостей, видимо, наскучивших постельным режимом, можно будет немного развлечь приезжих, которым так не повезло с погодой.

Подмигнув Любе, он взял пива, пачку печенья, коробку с «Пьяной вишней» и пригласил постояльцев в чуланчик на задах магазина, считавшийся кабинетом завмага. Москвичи охотно приняли приглашение. Люба внесла пай от лица работников прилавка: съездившийся, но еще годный лимон, сахарный песок, несколько болгарских помидоров и свежую сайку. Компанию пополнила уборщица тетя Дуся, громадная, не старая, но рано поплывшая женщина. Пал Палыч окрестил ее Валькирией, и Демин, не зная, что это значит, стал так называть Дусю, а та откликаться перед Пал Палычем из робости, которая сродни той, что испытываешь при виде незнакомого, ярко окрашенного и, наверное, ядовитого насекомого. Пал Палыч с его лезвистым лицом, верткостью, вездесущими руками и небрежно-самоуверенной речью тревожно завораживал местных бесхитростных людей. И как-то сразу он стал хозяином за столом: командовал, кому куда сесть, распределял кружочки лимона и нехитрую снедь.

Женщины сняли халаты и оказались в одинаковых нарядных кофточках, заслуживших одобрение Пал Палыча. Он властно усадил рядом с собой Лизу, приткнул Любу к журналисту, а Демину предоставил уютиться у огнедышащего бока Валькирии-Дуси.

Журналист — человек усталый и пассивный, но сохранивший вкус к недоброму наблюдению жизни, уже понял, что сегодня будет чем поживиться. Пал Палыч явно клюнул на красивую Лизу с жарко вспыхивающими крутыми скулами и, будучи в любви сторонником кавалерийского наскока, дал шпоры коню, бросил поводья и с занесенной саблей ринулся вперед. В самом порыве Пал Палыча не было ничего

оригинального и тем паче привлекательного, но Лиза — женщина гранитного Демина, о чем немедленно догадался тяжелый, сонный рохля и что осталось скрытым от приметливых глаз его шустрого приятеля, и это обстоятельство дарило надежду...

— Стоило забираться в проклятую глушь, чтобы встретить такую женщину! — витийствовал Пал Палыч. — Предлагаю тост за Лизу. Нет, за ее скулы. Они горят, как светофоры. Только что значит красный цвет: нельзя или можно?

Лиза пламенела, Демин осторожно вздыхал, Люба пофыркивала: экий насмешник! Валькирия-Дуся усиленно жевала, приглушая в себе слух челюстной работой, всем было стыдно.

— Сегодня мы устроим бал! — объявил Пал Палыч, разливая пиво по стаканам. — Бал, переходящий в свадьбу. Покончено с холостяцкой жизнью. Вручаю ключи от своей свободы лучшей женщине Нечерноземья. Хозяин! — повернулся он к Демину. — Приготовишь молодоженам боковушку, только подальше от тухлой рыбы!.. — И захохотал.

Демин не знал, что подобное бывает среди людей. Этот приезжий впервые видит женщину, отнюдь не девчонку, не вертихвостку, вдову и мать в той прекрасной, грустной поре, которую называют бабьим летом, и что он себе позволяет. А ведь Лиза ни взглядом, ни жестом не поощрила его к такому поведению. Гостеприимство и великодушие боролись в Демине с оскорбленным чувством. И опять ему казалось, что все это он уже видел: разнузданное ухажерство Пал Палыча, замешательство присутствующих; кажется, дальше происходило что-то совсем гадкое, но что он не мог вспомнить, как не мог прикрепить к месту и времени смутное воспоминание.

Журналист ждал. На его глазах Пал Палыч не раз попадал впросак, но из всех житейских передраг выходил, не отступив ни на волос от своей обволакивающей сути, сочетавшей хваткость и наглость со стрекозиным легкомыслием. Его выживаемость впечатляла, но журналист долистывал книгу своей жизни и хотел, чтобы на последних страницах порок был наказан, а добродетель восторжествовала. Пока что Пал Палыч проигрывал лишь бои местного значения. Но чистоплюйство, порядочность бессильны перед цинизмом. Хотелось верить, что Демин — воинствующий

щий гуманист. Если Демин стукнет Пал Палыча, думал журналист, то прихлопнет как муху. Он внимательно поглядел на Демина и понял: добрый богатырь. Такой и пальцем не тронет разыгравшегося мышиноного жеребчика, слова не скажет, только поглядывает украдкой на Лизу и будто просит: потерпи, милая, черт с ним, с дураком... А хорошая пара — их хозяин и эта продавщица. Почему Демин на ней не женится?.. И тут у журналиста внезапно пропала охота в недобром самоустранении. Не ради Пал Палыча, разумеется, а ради Лизы и Демина пора вмешаться. В любом застолье случаются мгновения дружного отвлечения от общей темы. Журналист дождался такого мгновения и шепнул Пал Палычу:

— Угомонитесь!.. Это подруга Демина.

— Как?! Почему не предупредили?.. Хорошенькая история!..

Пал Палыч скосил бледно-голубой глаз на Демина. Тот сидел над нетронутым стаканом; каленое лицо с капельками пота на лбу, клетчатая рубашка растегнута на широченной, тоже загорелой, поросшей седеющим волосом груди, пудовые кулаки отдыхают на столешнице. Воображение Пал Палыча разыгралось...

— Разгонную! — крикнул он, вскочив. — Пошутили, почесали языки, посмеялись — пора и за работу. Обеденный перерыв кончился. Мы-то бездельничаем, а Любушке и Лизоньке пора обслуживать покупателей, Дусеньке наводить чистоту. Предлагаю тост: за культурную торговлю. И чтобы покупатель был взаимно вежлив с продавцом. Внешняя торговля — оплот мира, она соединяет народы и государства. Но миротворчеству, сближению людей служит всякая торговля, в том числе сельская...

Снаружи донесся сильный стук: нетерпеливые покупатели рвались в магазин.

Завмаг Люба двинула стулом, готовая к сближению с покупателями.

— Успокойтесь, — шепнул Пал Палычу журналист, — он не будет вас бить.

— За советскую торговлю! — провозгласил Пал Палыч и выметнулся из-за стола.

Через несколько минут журналист нашел его за поленницей дров.

— Ну что? Угомонился наш ревнивец? — с улыбкой, но несколько нервно спросил Пал Палыч.

— А разве он буйствовал? Терпеливо сносил ваше хамство.

— Откуда мне было знать?.. Вам кто сказал?..

— Никто. Это и слепому видно. Но вы настолько эгоцентричны...

— Я увлекающаяся натура! — перебил Пал Палыч. — Ладно. По-моему, я здорово запудрил им мозги. Кстати, вы не обратили внимания: напротив нашей избы целый день в окне очаровательная мордашка. Спелая рожь, молоко, васильки. Если б не чисто русский тип, то, ей-богу, Ренуар...

— Успокойтесь. Это жена младшего Демина.

— С ума сойти! — взвился Пал Палыч. — Братья-разбойники! Расхватили всех лучших баб. А мне что — на Дусю кидаться? К черту!.. Вы домой?.. А я хочу заглянуть в божий храм...

— Слушай, — сказал Демин Лизе, — я приду сегодня.

— Боюсь, сын приедет.

— Да что он, маленький, не знает?

— Знает, конечно, — вздохнула женщина. — Все знают... Может, другой раз?

— Смотри, — сказал Демин, отводя глаза, налитые тоской.

— Ты что? — спросила она озабоченно. — Неужели из-за этого таракана? — Она прыснула. — Господи, да по мне...

— Нет, — сказал Демин. — При чем тут этот?..

Он не знал слов, чтобы сказать о том, что его томило. А слова были простые, как трава, но не шли на ум.

— Так чего же ты? — допытывалась Лиза.

— Не знаю... Давай поженимся.

— Еще чего?.. — Ее яркие скулы побледнели. — Мой поезд ушел. Найди молодую. Тебе дитя нужно. Слушай... ладно, может, Колька и не приедет...

Лишь во второй половине дня, прихватив гостинцев для старух в заброшенном Перхове и забрав Жорку, Демин отправился за дальним сеном. Немного распогодилось, в небе появились синие промоины, и в них, будто истосковавшись по земле, лупило солнце. Шевельнулась надежда, что, вопреки мрачным прогнозам метеослужбы и бушующему над Гималая-

ми циклону, погода установится. Уж больно хотелось этому верить, ведь что ни год — то потоп, то засуха, и вообще не стало ровного, справедливого на дождь и ведро лета. Можно впрямь поверить старухам, что продырявило кровлю над землей, отчего не стало защиты от всякой вражды.

По дороге Демин поведал брату о своей встрече и разговорах с председателем. Из всего услышанного Жорка заинтересовался лишь тем, что касалось дорог, и сразу стал тереть свою черепушку. Демин уже жалел, что коснулся запретной темы, вредно это для Жорки.

— Значит, он так ни хрена и не понял? — морщась, спросил Жорка.

— А чего понимать-то?.. Он человек зависимый: что прикажут, то и делает.

— А вот Миликян из «Богатыря» взял да и построил дорогу. И никого не спрашивал. А «Богатырь» сейчас — лучший колхоз в области. И молодежи в нем полно.

— У Миликяна высшее агрономическое образование, его где хошь с руками оторвут. Да и в Армении полно родни. Чего ему бояться? А нашему Афанасьичу коли дадут по шее, уже не встанет.

— А ты думал, братуша, — сказал Жорка с каким-то странным светом в дымчато-голубых, как у младенца, глазах, — что на войне люди погибали не только за Москву, или Ленинград, или за взятие рейхстага, а и за безымянную высоту, за речушку, вроде нашей Лягвы, даже за болотную кочку?

— Ну и что?

— А то... Почему мы сейчас так за себя боимся? Ну, снимут с работы, ну, еще чего... Подумаешь!.. Ради стоящего дела, а?.. То, вишь, и речушка, как кот насикал, и болотная кочка столь для родины важны, что жизни не жалко. А сейчас, выходит, нету вообще ничего такого, за что пострадать не страшно?

Демин жалел, что затеял этот разговор. Он не знал, может ли доказательно возразить или всякие возражения хитры и ничтожны, а настоящая правота у Жорки, но знал, что разговор этот брату вреден, и попытался все свести к шутке:

— Постой, ты же завязал с дорогами?

— Да ну, глупость какая! Сказал со злости... Не будет дорог, не будет улиц — и ни хрена не будет. Сам же понимаешь.

Огромная лужа, обдавшая лобовое стекло мутной волной, избавила Демина от ответа...

...К удивлению братьев, в покинутом Перхове занялась какая-то новая, странная жизнь, посторонняя тем древним местным насельницам, которые еще теплили свою свечу. Перхово давно уже отключили от электросети, сняли со снабжения продуктами и хлебом. Но деревня не померла. Тут обосновались, пусть временно, сезонно, пришлые из города люди. Они населили покинутые избы, затопили печи, чего-то посадили в огородах, очистили их от сорняков, развешали белье. Не очень понятно было, как они добирались сюда, но добирались и за это пользовались здешним чистым воздухом и здешней тишиной, добрым лесом, прозрачным мелководьем Лягвы, купались, ловили рыбу и раков; наверное, об них грелись и местные старухи, чего-то им перепало от пришельцев, и, видать, не так уж бедно, коли дары Демина были приняты хотя и благодарно, но без надрыва.

Эти перемены особенно удивляли старшего Демина: недели полторы назад, когда он косил тут, то не заметил какого-либо оживления, деревня покорно сползала в смерть. То ли городские еще не съехались, то ли в погожий день все были на речке, в лесу, то ли ему застило зрение. А Жорка взыграл и, склонный к радению о народной пользе, уже трудил свою больную голову, как надо бы использовать Перхово. Объявить его дачной зоной и сдавать дома от колхоза, создать базу для грибников и ягодников и, обратно, взять за аренду, оборудовать привал для рыбаков и охотников, тоже, разумеется, не бесплатный, а все вырученные средства пустить на дорожное строительство. В одержимости Жорки было что-то пугающее...

Рассуждения брата и оживленный вид Перхова нарушили привычные грустные связи Демина с тем местом, где прошли его детство и юность, где он навсегда угадал Талю в стае веснушчатых, белобрысых, голенастых девчонок и где навсегда же ее потерял. Но это длилось недолго, слабые приметы новой жизни и оживляющие пейзаж фигуры новоселов смазались,

истаяли и Жоркины речи, он опять видел заросшую бурьяном, лопухами тихую сельскую улицу. В ее запустении была опрятность — палисадники, лавочки, яблони, покосившиеся плетни — свой старый, нежный мир. Но возвращение прежнего Перхова вместо привычной сладкой тоски принесло острую, неудобную боль. Наверное, это связывалось с явлением Тали на дороге: как безнадежно изжился образ, который он нес сквозь всю свою жизнь! И ведь так же — со стороны-то видно — износился и он сам, без толку истратив себя на ожидание, на дурную упрямую игру в надежду, не желая понять, что назад дороги нет, что нельзя дважды вступить в одну и ту же реку. Даже Перхово, заторопившееся к исходу в последние годы, обнаружило животворные силы с появлением новых людей. Как же мог он так закоснеть, залениться омороченной душой, покорно упуская время, которого не вернуть?..

Захотелось скорее к Лизе. Гонимый потоком, не дающим взглянуть в лик ускользящего бытия, лишь уцепившись за нее, как за прибрежный тальник, сможет он остановиться, очнуться, а там, глядишь, и выбраться на прочный берег. Но между ним и Лизой было еще много непрожитого делового времени, неубранного сена, недоезженных километров. И он покорно и мощно принялся метать влажное сено в кузов грузовика...

А солнце, похоже, всерьез укрепилось в небе. Светило вовсю, лишь изредка задерживаясь скользящим облачком, и пока они работали, и пока отвозили сено, и пока Демин медленно, задом подавал машину в узкий двор, и пока скидывали сено, и пока он отводил грузовик на машинный двор, а на пути назад, раздевшись до сатиновых трусов, отмывался с мылом и мочалкой в холодной Лягве. И тут поверилось, что это навсегда. Солнечное тепло растекалось по остывшему телу, неохота было одеваться. Какое же благо — великое и живительное — доброе летнее солнышко! Демину захотелось прочесть какие-нибудь стихи о солнце, из тех, что в школе учили. «Солнце зеленеет...», да нет, какого хрена ему зеленеть? «Травка зеленеет, солнышко блестит!..» А дальше забыл. Как и все забыл, чему в детстве учился. Не помнит он стихов ни про солнце, ни про Евгения Онегина, ни про Анну Каренину. Надо достать «Родную

речь» и всю насквозь прочитать, а стихи выучить наизусть.

И чего он так взбодрился? Оттого, что светит солнце? Или оттого, что, смыв с тела грязь, пот и пыль, он заодно и с души смыл что-то дурное, липкое, что таскал не день и не год?

— Инженер! — послышалось с того берега. — Егорий мне наряд закрыл. Не возражаешь? — Это был знаменитый шабашник-печник Звягин, которого позвали складывать печи в домах для доярок. Звягин был знатный мастер, его печи сроду не дымили, не гнали угара, а тянули так, что едва не утягивали поленья в дымоход.

— Закрыл, и ладно, — отозвался Демин, не понимая, зачем Звягин сообщает ему об этом.

— Забираю я Адольфа. Ты не возражаешь?

Вон что! Значит, стакнулся с ним зятек вопреки всем заверениям, эк же допекло его полусухим законом!

— Дай хоть с сеном кончить, — попросил Демин.

— Зашиваюсь я с печами, — хмуро сказал Звягин. — Кирпич весь битый, намаисси, пока цельный найдешь, а меня в Воропаевке ждут.

— Ладно. Незаменим Петрович. Зять не в крепости у меня. Уйдет, так уйдет.

Звягин потащился навздым, оскальзываясь в грязи, а Демин сказал про себя ему вслед: хрен ты его получишь. Буду ему тайком персональную бутылку ставить. А засыплюсь, Верушка простит. Ей же лучше, чтоб Адольф под приглядом чумел. Экую власть забрал над человеком яд, заключенный в бутылке! Мысли Демина скользнули на соседнее, не менее важное: рядом с действительностью шкодливо существует вторая, тeneвая, которую и замечают и вроде бы не замечают. Жорка пятнадцать суток огреб за то, что пытался дорогу построить, а хабарщики цветут и пахнут. Не может государство за всем поспеть, помнить о каждой пуговице для порток, сортирном крючке, деревенской стежке-дорожке или избяной печи. Значит, надо чего-то придумывать, а не отдавать свою заботу на откуп кому не след... Заключив свои невеселые мысли горловым нутряным звуком, Демин пошел домой.

Он надел чистое белье, рубашку, вельветовые брюки, кожаную куртку, натянул короткие резиновые

сапожки, а на голову большую «грузинскую» кепку, сделанную в Москве на заказ. В полиэтиленовый мешочек сунул парфюмерно-пищевой набор — Лиза не терпела дорогих подарков и принимала лишь знаки внимания, не имеющие большой денежной цены.

Родня собиралась вечером, но Демин не стал терять времени — до Лизы было восемь километров грязи. Хорошо еще, что маленько подсохло, а то и к ночи не доползешь. Он, не присев, съев кусок студня, запив его кружкой парного молока, зятю сказал:

— Пока не кончим с сеном, не вяжись с Васькой Звягиным. Осталось ровно ничего. А нервы я тебе поддержу.

Сильный шорох, будто горох за стенкой просыпали, отвлек Демина. Он прислушался, боясь поверить догадке, нехотя глянул в окно: опять пошел дождь. Несильный, тонкий, надо выбрать угол зрения, чтобы разглядеть его нити, но такой может на сутки зарядить, его не переждешь. Демин вздохнул и потянулся за дождевиком. Но тяжелый, брезентовый, обметанный понизу засохшей грязью плащ грубо противоречил нарядному виду, и Демин повесил его на место.

— Хватит с тебя и болоньи,— сказал Демин дождю.

...Как быстро намокает окружающий мир. Будто не бывало солнечной передышки, за несколько минут замесилась вновь рыжая грязь, вспухли, пошли пузырями лужи, нагроузли влагой растения и драгоценно, глянцево зазеленела давленная кожа громадных лопухов.

Скользко. Остановился. Выхватил кол из тына. Пошел дальше. Небо какое-то рваное, клочьями свисает, по верхушкам деревьев метет. И видно, как стряхиваются с исчерна-серых косм капли. А затем происходит дождь в дожде. С белесой — солнышко маленько подсвечивает с исподу — глади высеивается дождевая пыль, а сквозь нее вдруг прорывается крупный косой дождь из сумрачных, низких туч. Обдало все, что есть на земле, отбарабанило по кожаным лопухам и сгнуло. С минуту-другую кажется, что дождь вовсе перестал, ан нет, к мокрому лицу будто паутинка липнет — по-прежнему сочится блед-

ная высь. Новый охлест, на этот раз сзади, в спину бросает вперед по скользоте.

И раз Демин не удержался на ногах, но сумел упасть не в грязь, а на травяную обочину. Раздалась лопухо-репейно-подорожниковая поросль, мягко приняв беспомощное тело. Подымаясь, схватился за волчек, раскровенил о колючки ладонь, по спине холодные струйки ползут — налило за ворот. Демин рассмеялся над своей дурацкой неудачей: Адольф так не кувыркается, когда вдугаря пьяный домой ползет. Надо внимательней быть, больно ты горяч, брат Демин!..

Мать честная, во что это превратились его фартовые брючки — до колен захлюстаны, а на заднице глиняный блин. Демин соскреб нашлепку, штанины трогать не стал — все равно без пользы. Хорошо, что догадался забросить к Лизе джинсы — будет во что переодеться. И рубашка там у него есть, Лиза сама ему в магазине взяла. Надо бы забросить туда и другую амуницию — трусики, майки, носки, ботинки. А то сейчас придется джинсы на голое тело напяливать, чувяки мягкие, глядишь, найдутся, а майку Лизину натянет. Лиза не толстая, но крупная, ширококостная, на него ее майка влезет, только на груди будут торчать две шишечки от ее сосков.

Он вспомнил теплоту ее груди, всего большого доброго тела, ласковых легких рук, и от всех этих волнующих воспоминаний заторопился, сердяга, и запахал брюхом в грязь. Он и не заметил, как его скосило. Может, убыстрил шаг, но ставил ноги твердо, не скользил, может, из земли что торчало и за штанину зацепилось, а может, травяная плеть сапог захлестнула.

А болонья от сильной мокрети не защищает, пустая вещь — для городских, игрушечных условий. Он промок насквозь. Надо было дождевик напялить. Дофорсился, Демин, придешь свинья свиньей. Конечно, Лизаню этим не смутишь, она его в любом виде примет, на редкость преданный человек. А может, любящий?.. Демин усмехнулся. Ишь чего захотел, старый барбос. Рассластился. Тебя и молодого не полюбили, когда волос был густой и темный, и зубы все на месте, и кожа гладкая, и глаз веселый, а кому ты сейчас нужен? От одиночества, пустоты не гонит тебя вон вдовая женщина. Мужики-то нонешние или

женатики, или пьянь, а ты — свободный и трезвый, — не за бутылкой тащишься.

До чего ж хотелось в тепло, к самовару, надуться бы чаю с медом, грея руки о фарфоровую чашку и глядя, как плавно поворотливо движется Лиза по избе, готовясь на ночь, а потом слышать спиной, как взбивает подушки в спальне, оправляет постель. И дожить до ночи с нею, и освободиться от всего налипшего на душу за сегодняшний большой день, и чтобы навсегда сгинула темнолицая старуха на росстани с поднятой, будто для проклятия, рукой, и живое страдание тогда стало бы грустной памятью. И все это без слов, без тщетных потуг высказаться, он не говорун, не умеет сорить словами, да это и не нужно с Лизой, при ней тишина становится умной.

И опять мысли о Лизе обернулись нетерпением, а нетерпение новым нырком в грязь. Демин не спешил подняться, он уже промок насквозь. Руки — выше часов на левой, выше японской браслетки на правой — провалились в грязь, и Демин спокойно опирался на них, чтобы сохранить полусидячее положение и рассчитать дальнейший путь. Нельзя сейчас думать о Лизе, а то сроду не дойдешь. Надо думать о чем-то успокаивающем, придающем шагу размеренность. О ком же ему думать? О матери — стара, плоха, никакой тут не будет успокоенности; о брате Жорке, как загредел на пятнадцать суток за горячую свою честность? О племяннике — справный малый, да в армию идет, все равно жалко; о Жоркиной жене, о картинке писаной, обратно за брата переживаешь; о Верушке и ее благоверном думать — душу рвать. Вот о двоюродном брате, саратовском Сенечке, можно думать, у него все красиво — и в работе, и в быту. Решено: он будет думать о Сенечке сколько хватит, а там, может, еще какая легкая мысль зацепится.

Демин обтер руки мокрой травой и поднялся. Дождь проредился, впереди, за бугром, открылась луковками и крестами церковь. Мать честная, огорчился Демин, шел-шел, а и двух километров не прошел, это когда же доберется он до Лизаветы? По левую руку зеленая луговина полого уходила к густому ивняку, скрывавшему узкую Лягву. Там паслась по конскому щавелю лошадь темной масти. Такой у них в колхозе не значилось. И тут Демин сообразил,

что это Соловый, прозванный так за расцветку старый мерин. А потемнел от дождя. Шальная мысль пришла ему в голову: прискакать к Лизе на коне. Конечно, по такое дороге не поскачешь, особенно без поводьев и седла, но и шажком доехать все лучше, чем вот так — окарачь.

Демин пошел через луг, ставший топким болотом, вода заливала в короткие сапожки, но это уже не имело значения. Пощипывая траву, равнодушный к секущему его дождю, Соловый медленно удалялся к реке. Демин позвал его, но тот и ухом не повел. Казалось бы, в сиротливой своей неприютности он должен был откликнуться человеческому голосу, но старому мерину надоели люди. Он знал, что от них не может быть ничего, кроме доуки. Когда Демин положил ему ладонь на шею, Соловый не отозвался даже вздрогом кожи, не повел глазом, залепленным мокрой челкой. Приговаривая что-то ласковое, Демин соображал, как бы на него взобраться. В детстве Демин был лихим наездником, не боялся даже злых, закидистых кобыл, но с той далекой поры и близко не подходил к лошади. Чтобы сесть на неоседланную лошадь, надо упасть на нее животом и, держась за холку, перекинуть через круп ногу. Он так и хотел сделать, да, видимо, не допрыгнул и сполз назад. Изловчившись, подпрыгнул, как мог, высоко, упал брюхом на скользкую спину Солового, но перекинуть ногу не сумел. Забылся молодой навык, ногам его ловко с педалями машины, не с телом животного. Соловый отказался ему помочь. Он вскинул голову, всхрапнул, затрусил боком, прогнулся, рванул вперед — и Демин оказался на земле. Соловый сразу стал и, не оглянувшись на поверженного человека, принялся пощипывать траву.

Было не больно, а обидно. Что сто́ит этой кормленной скотине оказать снисхождение путнику? Какие особые труды несет мерин в колхозе? Ну, воду возит, обед в поле, только и делов. Экая нелюбезная скотина!.. Переупрямить Солового не удалось: когда Демин в очередной раз направился к нему, мерин не спеша повернулся и кинул в него задними ногами.

— Ну и черт с тобой! — обиделся Демин и побрел через луг к дороге...

...Дальше все было не по правде. Ведь когда зарядит такой вот обложной дождь, он может быть

сильнее или слабее, может тихо сеяться и хлестом бить, может обратиться в мельчайшую водяную пыль или кропить землю тяжелыми густыми каплями, но, чтобы сквозь него прорвался грозовой ливень, такого сроду не бывало. А вот случилось.

Тугой ветер натянул пространство, уперся в грудь Демину, оборвав его шаг, дождь понесся над землей, будто лег на ветер, и вдруг исчез. Ветер ушел ввысь, разорвал и разметал серую наволочь, обнажилась грифельно-белесая рыхлость, в которой ворочались не обретавшие форму громозды, оттуда вырвался и разящий блеск, задержавшись точками слепоты в зрачках, гром и ливень рухнули одновременно.

Ослепленный, оглушенный, сбитый с толку, Демин пришел в себя меж гранитных плит и металлических оград старого церковного кладбища. Над кладбищем смыкались кроны высоченных вязов, задерживая ливень. Демин вытер лицо носовым платком, проморгался. Перед ним был старый гранитный голбец с золоченой, почти осыпавшейся надписью: «Драгоценному супругу — безутешная вдова». Вон как — драгоценному!.. От безутешной!.. Надпись была с буквой «ять». Давно истлели в земле гробы и заключенная в них плоть, а память о далекой супружеской любви жива и поныне. Ах, как хорошо оставить по себе безутешную вдову! Демин представил себе черный вдовий, плотно повязанный платок, из траурной рамы с тихой скорбью глядят теплые карие глаза, и одинокая слеза вычерчивает дорожку по крутой скуле. До чего легко и удобно вместились Лиза в примечтанный образ!..

Демин заметил свет, пробивающийся из церковных дверей. Шла служба, очевидно, всенощная. Демин не больно разбирался в обрядах, в церковь он ни ногой. Не только потому, что был членом партии. Разве не бывает таких — с партийным билетом в кармане, — что и детей крестят, и покойников отпевают, и куличи святят, а схваченные за руку, трусливо брусят, что в бога на иконах не верят, но допускают что-то такое высшее. Демин не успел обрести веру в раннем детстве, а вся последующая жизнь с войной, голодом, разрухой, трудом и усталостью, личными неудачами не могла убедить его в существовании бога. Демин был знаком с батюшкой, недавно заменившим совсем одряхлевшего священника. Он наивно

спрашивал у Демина разрешение на заказ Федосеичу какой-нибудь вьюшки или дверного засова. Опираясь внутренне на свое знакомство с попом, Демин счел удобным зайти в церковь погреться.

Шла служба. Демин следил за уверенными и хоть не торопливыми, но слишком деловыми движениями батюшки, человека лет сорока, с худым скуластым лицом, слушал его теноровый, жестковатый голос и удивлялся: нормальный мужик, небось в армии отслужил, почему же выбрал окольную тропку, идущую мимо всего, чем дышит страна, а ведь мог бы и в сельском хозяйстве работать, и в школе преподавать. У него семья есть, дочка с сыном — школьники, еще не успел их с прежнего места перевезти, поди, ребятишкам не больно ловко, что их отец долгогривый.

Подсобляли священнику две черные легконогие старухи из церковной десятки. Еще шесть-семь старух истово молились и клали поклоны. Негусто. Да кто потащится по такой погоде в церковь? Мать, впрочем, говорила, что и в любое время тут пустовато. Как только держится приход при такой слабой посещаемости?.. Набрав в грудь медово-восковитого духа, Демин двинулся в глубь храма, где было теплее, но тут окончилась служба.

Разоблачившись в ризнице, стройный и тонкий в черном стихаре, священник подошел к Демину поздороваться. Не желая быть заподозренным в религиозном усердии, Демин поспешил сообщить, что пробирается в Усково, а в храме укрылся от ливня.

Чуть приметная улыбка тронула бледные губы батюшки.

— Лишь важная цель может погнать человека за порог в такую непогоду.

— Куда уж важнее!.. — пробормотал Демин, которому показалось, что поп видит его насквозь.

— Вы не обижены за вашего постояльца? — Голос священника звучал вкрадчиво.

Демин не понял.

— Явился некий муж, видом странен и непригляден, взором непокоен и быстр, — деланно-шутливый тон прикрывал тревогу. — Сообщил о гостеприимстве, оказанном ему вами, и поинтересовался иконами.

— Вон-на!.. — только и сказал Демин.

— По его мнению, в домах у местных жителей заваливались черные доски, и он просил меня стать его э м и с с а р о м по спасению еще не расхищенных художественных ценностей.

Надо же, никак не угомонятся, разбойники. Все лезут, лезут, и грязь, и бездорожье им нипочем... Сколько же скопила русская деревня, если до сих пор к ней тянутся жадные, загребущие лапы?..

— Он полагал, — все неуверенней продолжал поп, — что в церковных запасниках есть лишние, по его выражению, предметы.

— Вы хорошо турнули его, батюшка? — с надеждой спросил Демин.

Улыбка облегчения тронула тонкие губы.

— Памятуя, что Христос изгнал мытарей из храма, я вежливо, но решительно указал ему на дверь.

— Вот и славно! — Демин понял наконец, что беспокоило священника. — Обогрелся. Спасибо. Мне пора.

— Возьмите фонарик. — И, предупреждая отказ: — У меня этого добра как в магазине.

Демин сунул фонарик в карман и протянул руку.

— Семью привезешь — транспорт завсегда. Только скажи загодя, — доверчивым «ты» Демин как бы скрепил временный союз светской и церковной власти против шустрого браконьера...

Фонарик был с динамкой, давно уже такие не попадались Демину, он нажал на рычажок и выдавил бледное пятно света. В церковном дворе было темно от деревьев и высокой каменной ограды, а небо еще не налилось ночью — дымно-палевое от закатившегося, но еще творящего свет солнца.

Ливень кончился. Изредка по лопухам гукали полно слитые капли, то ли стряхивались с деревьев, то ли опроставшиеся тучи, уходя, отжимали остатнюю влагу. От земли тянуло легким куром. Надгробия призрачно выступали из замешенного туманом сумрака. Фонарик света не прибавлял, ему нужна чистая ночная темнота. Демин шел осторожно, опробовать землю впереди себя было нечем — кол где-то потерялся. Тепло, которым он не успел как следует пропитаться, покидало его знобкой дрожью. Выйдя за ограду, он не столько увидел с бугра, сколько почув-

ствовал большое неприятное пространство, отделявшее его от Лизы. Он как будто сначала начинал свой путь.

...Время приближалось к полуночи, когда задремавшая в кухне Лиза услышала скрип нарочно не запертой входной двери и шаркающие шаги в темных сенях. Спросонок она не сразу сообразила, кто это может быть. Потом к ней вернулась память: она ждала Демина, обещавшего прийти, но дождалась сына-пэтэушника, учившегося в райцентре. Он предупреждал, что явится в субботу, если у них отменят вечер самодеятельности. Она говорила Демину, но тот не поверил, настоял на своем. Жизнь, как всегда, распорядилась по-дурному: если б Демин не собирался к ней, сын приехал бы в воскресенье, если б вообще приехал — путь из райцентра в плохую погоду не больно заманчив. Но все же куда лучше, чем из Дубасова, особенно с того края деревни, где живет Демин. Каково ему тащиться сюда по грязи и дождю и получить от ворот поворот! Мужик замотан хуже некуда, как еще хватает сил думать о любви. Всю жизнь один, вот и не успел истратиться... Но Демина все не было. Они поужинали, сын куда-то выходил и скоро вернулся, молчаливый, злой, выпил бутылку «Байкала», лег спать. Она осталась в кухне. Лиза знала обязательный характер Демина и не сомневалась, что он придет. Она вздрагивала при каждом охлесте дождя в оконное стекло, представляя, каково сейчас путнику на дороге. Потом разразилась гроза с обломным ливнем и молниями, вблескивающими одна в другую, и Лиза взмолилась, чтобы Демин не шел к ней, чтобы загодя раздумал идти. Она почти убедила себя в том, что он оказался человеком предусмотрительным и не высунулся из дома. Но все-таки осталась в кухне и задремала, положив руки на кухонный стол, а голову на руки. Она не заметила, как уснула, и не знала, что спит, потому что ей ничего не снилось. А потом скрип двери, тяжелые шаги, и вот он стоит перед ней, шумно дыша, мокрый, грязный, заляпанный с ног до головы глиной, с рассеченной губой и подбитым глазом.

— Миня!.. Да что же это с тобой?

— С мостков свалился, — хрипло ответил Демин. Он прочистил горло, и, отвернувшись, сплюнул за порог. Затем вынул что-то из-под болоньи. — Держи.

Она не любила подарков, но сейчас взяла, не споря, и положила на подоконник.

— Жалкий ты мой, — сказала женщина. — Нельзя ко мне. Сын приехал.

— Давно? — бессмысленно спросил Демин.

Странно, но в глубине души он знал, что так и не достигнет Лизы. Он все время ждал той последней помехи, которая оборвет ему путь. Выбор был большой: неудачное падение, удар копытом в лоб, молния, гнилые мостки. Последние едва не сработали, бросив его лицом на торчком вставший комель, но судьба рассудила иначе — разминуться с Лизой у самого ее сердца. Быстро перекатился через память весь проделанный путь, он поймал готовый сорваться взвой и словно проглотил его. Больно оцарапало гортань.

— Какая теперь разница? — услышал он и догадался, что спрашивал о чем-то сто лет назад. — Завтра к вечеру уедет.

Понятно, речь шла о сыне. Демин не хотел, чтобы Лиза переживала. Никакой вины на ней нет. Это жизнь всех виноватит, порой без смысла и разбора.

— Путем. Тогда и забегу, — сказал он, зная, что завтрашний день не оставит ему ни времени, ни сил.

Она тоже это знала и не хотела, чтобы Демин выглядел обманщиком:

— Чего загадывать? Там видно будет.

— Ну, я пошел, — сказал Демин.

— Погоди.

Лиза намочила полотенце под рукомойником и протерла ему лицо.

— Иодом прижечь?

— Не люблю — щиплет. На мне как на собаке заживает. Бывай.

— Постой! — она сунулась к буфету, достала коробку, завернутую в целлофан, протянула Демину. — Сегодня завезли.

Он взял коробку и рукой мгновенно угадал подарочный набор: духи, пудра, шоколад, баночка икры, копченая сосиска и гаванская сигара. Все правильно, за этим он и шел. Он хотел коснуться Лизы — благодарно, прощально, печально, но побоялся испачкать ее. — Ладно, обойдемся.

Зажужжал в руке фонарик с динамкой. Он шел, ступая в бледное пятно света. Все сущее вмещалось в этот маленький круг: он сам, клочок раскисшей

земли и влажная яркая мурава, больше не было ничего, тьма. Пойдет ли он еще к Лизе? Не в том дело, что сын приехал. Сегодня сын, завтра племянница, послезавтра бывшая свекровь, а там постирушка затеется или еще чего. Он не вмещается в Лизино время, он посторонний. И она не хочет, чтобы он стал ей другим. Нет у нее для него душевного места, оно занято сыном, родней, памятью о прежней жизни, разными заботами, и ничего менять она не хочет. А места в ее постели, когда она удосужится пустить, теперь ему почему-то мало. Демин еще не знал, больно ли это открытие — не беден на них оказался сегодняшний день! — хочет ли быть всегда с Лизой?.. Ответа он не знал. Знал только, что нельзя больше одному...

Ненаписанный рассказ Сомерсета Моэма



Когда мы встретились, он уже подвел итоги и зачехлил стило. С подведением итогов явно поторопился, сделав это четверть века назад, видимо, не допускал, что господь пошлет библейское долголетие художнику, слабогрудому, много болевшему человеку. Стило еще долго служило ему верой и правдой. Его быстрый бег по бумаге навсегда остался дрожанием в правой кисти. «Это не «Паркинсон», — сказал Сомерсет Моэм, заметив, что я смотрю на его руку. — Профессиональная болезнь. Расплата за прилежание».

Сказав фразу-другую, Моэм плотно сжимал зажавший рот и ждал реакции собеседника; отзыв был ему необходим, как автомату монета. Иначе — немота. Но так продолжалось, пока он не сел на своего конька. Тут сразу обнаружилось, что по натуре он рассказчик, а не собеседник, мастер монолога, а не диалога. Но сейчас для «автомата» срочно нужна была «монета». Я тщетно шарил в карманах памяти. Лев Толстой «выдавал» порой больше печатного листа в день, но рука его оставалась тверда. Вряд ли эта справка взбодрит Сомерсета Моэма. Я ограничился нейтральным сообщением, что у меня тоже ноет плечо. «Это соли!» — сказал он быстро и раздраженно. Мальчишка, щенок, разве я пролил столько чернил, чтобы нажить благородную профессиональную хворобу! Тяжело со стариками, никогда не знаешь, что может их задеть. И так не хотелось огорчать Моэма. Меня заливала несказанная нежность,

обостренная страхом за грозную хрупкость так щедро истратившей себя души.

Я чуть ли не со слезами смотрел на мумифицированного, изысканного джентльмена, сотворившего столько чудес. Все на нем было сверхэлегантно: летний пиджак из синей рогожки, узкие светлые брюки с бритвенно-острой складкой, бесстрашно яркий шейный платок и последней модели массивный «Роллекс», соскальзывающий на узенькое смугло-крапчатое запястье.

Он живет почти безвыездно на Ривьере, прогревая свою оскудевшую кровь жарким солнцем Средиземноморья, но раз в год отправляется в Лондон, чтобы обновить гардероб. Лучшему портному заказываются костюмы и пальто, лучшему сапожнику — обувь, с особым тщанием отбираются галстуки и платки в нагрудный кармашек. Франтовство девяностолетнего старца не смешно хотя бы потому, что оно позволило ему одевать своих персонажей (особенно дам) с изысканностью, которую можно встретить у Бальзака и Пруста.

В разговоре нам подвернулся Жан Жироду. Возможно, я упомянул о том, что живу в Париже на улице, носящей его имя, это возле Елисейских полей, в сторону Триумфальной арки. Моэм стал говорить о нем в тоне, напрочь отвергающем лицемерное правило: о мертвых или хорошо, или ничего. То был уже не первый случай, когда он набрасывался на ушедших с яростью, достойной противника во плоти и крови, в крепком доспехе, с наостренным мечом. Я осмелился напомнить, что Жироду беззащитен перед живыми — стоит ли нападать на него столь яростно.

— Бедные, бедные великие мертвецы! — всплеснул он своими маленькими старушечьими руками. — С ними никто не считается, их в грош не ставят. За что?.. Они творили, боролись, шумели, отстаивали свое я, делали все, чтобы вырваться из тенет забвения. А мы, пользуясь печатью на их устах, отмахиваемся от всего ими сделанного и считаем ниже своего достоинства спорить с ними, опровергать их, тем паче ругать, как по выдумке Жироду ругали греки неприятеля, прежде чем кинуться на деморализованных бранью воинов. Жироду беззащитен? Ничуть! Он имеет миллионы защитников по всему миру, вы, очевидно, из их числа, он имеет защитника в себе

самом и даже во мне — я до сих пор разделяю его заблуждение, что можно находить достаточно глубины на поверхности жизни. Но я злюсь на него, я не могу простить, что «Электру» написал он, а не я. Пьеса о Троянской войне еще лучше, но я не завидую — такого мне не написать. Английской иронии, тяжеловесным потугам на юмор никогда не достичь роскошества галльского остроумия. А нет ничего остроумнее «Троянской войны не будет». У англосаксов есть ирония, есть сарказм, грубоватый юмор, но остроумие всегда вымученное, даже у Бернарда Шоу. Я остроу тоньше, чем Шоу или Во, но слишком робко. А «Электру» я мог бы написать, но написал ее Жироду, оставив меня без лучшей пьесы. Что я, должен ему за это руки целовать? И я ведь тоже не из землероек, мне на поверхности было не хуже, чем Жироду, но в этом двухмерном пространстве он меня теснил. Боже, как он был красив и элегантен! Прав этот школьный учитель Моруа, назвавший его первым во всем. Говорят, Жироду отравили. Он был дипломатом и пал жертвой политической интриги. Никогда в это не поверю. Как не верю в важность дипломатических миссий Рубенса. Художник не может быть ничем, кроме того, что он есть. Все остальное — игра.

Я спросил: была ли служба Моэма в Интеллидженс сервис тоже игрой. «Чистой воды! — не задумываясь, ответил он. — Лоуренс — Аравийский, Моэм — Петербургский. Я начисто не понимал, что у вас происходит. Положа руку на сердце, не понимаю и сейчас. Вы хотите осчастливить людей, в этом, если не ошибаюсь, цель марксизма. Но ведь это невозможно. Каждый носит в себе свой ад и никому его не отдаст». Я не стал возражать. Нельзя же на скорую руку перевоспитать девяностолетнего старца. Лучше вернуться к литературе. Он сделал это сам, прежде чем я отыскал монетку. У него не было склероза, он не терял нити разговора и размышления. Хорошо разработанный мозг сам себя защищает. «Жироду убили из зависти, — сказал Моэм. — Он был слишком талантлив, слишком знаменит, слишком блестящ и к тому же на редкость удачлив. Он шел от успеха к успеху, ни разу не оступившись. Добавьте к этому победительную внешность, обаяние, брызжущее фонтаном остроумие, успех у женщин и душевную широту,

начисто отсутствующую у французов. Чересчур много для одного человека. Казалось, он создан господом в назидание и унижение окружающим. А великих людей и так ненавидят. Сколько ненависти возбуждали ваш Толстой и ваш Достоевский. Как ненавидели Байрона, мучили Шиллера, Бетховена, тех, кого надо носить на руках и осыпать лепестками роз. Их и носили и осыпали, но за это же ненавидели: за свои восторги и поклонение, за собственную малость».

Я вспомнил его слова, когда через много лет был застрелен Леннон, лучший из «Битлов», давший людям столько радости и не обронивший крупинки зла.

— Это горестная и страшная черта двуногих, — продолжал Моэм. — И чем дальше, тем будет хуже. Ненависть распространится с творцов на их творения.

— Но почему ненависть ограничилась одним Жироду?

— А вам мало? — ядовито осведомился Моэм.

— Получается так: живых надо холить и лелеять, а мертвых поносить?

— Я имел в виду другое: не делать между ними различия. Любовь не исключает спора, даже ругани. Полагаю, что могу говорить от лица мертвых, я к ним ближе, чем к живым.

Как и полагается в подобных случаях, я выразил смутное несогласие с последним утверждением.

— Ну-ну, не надо... Лучше спросите меня о том, что вам наверняка интересно: очень ли страшно быть таким старым.

А мне это и в голову не приходило. Глядя на Моэма, я думал не о том, как много он прожил, а о том, как много он сделал и сделал блистательно. Вот человек, осуществивший себя до конца. Впрочем, сам он может быть на этот счет иного мнения, но мне казалось, что, написав свои романы и пьесы, он мог бы без паники поджидать неминуемое. У меня лично были куда более напряженные и тревожные отношения с потусторонним миром, о чем я и сообщил Моэму.

— Это мысли очень молодого человека, а ведь вам за сорок.

— У меня замедленное развитие — общее и литературное.

— У меня тоже, — сказал Моэм. — За всю свою жизнь, считающуюся долгой (это грубое заблужде-

ние), я почти ничему не научился. То, что я мог с самого начала, то и осталось со мной. Разве мой последний роман написан лучше, чем «Луна и грош»? Я накатаю кучу мур, вроде «Мага», в пору своего утверждения, но в смысле словесного искусства это было не хуже моих поздних вещей. А можно ли вообще утверждать, что писатель развивается, прогрессирует с годами? Я не уверен. Прибавляется ремесла, профессионального навыка, но это зачастую оплачивается утратой непосредственности. Разве поздние романы Диккенса, Гамсуна, Фаллады лучше ранних? Конечно, можно отыскать примеры литературного роста, но еще легче — примеры обратные: хотя бы Тургенев или Хемингуэй. Но все это — исключения. А правило: писатель задан сразу, раз и навсегда.

— А почему вы в какой-то момент бросили писать романы и занялись мемуаристикой?

— Необычайно приятно писать романы, когда они пишутся, и необычайно приятно не писать их, когда они не пишутся. Тогда смакуешь каждое мгновение бытия. — Он вдруг озадачился. — Что это — плохие стихи или внезапно родившаяся во мне банальность? Когда вы пишете прозу, вы или закрываете глаза на окружающее, коли оно посторонне вашей теме, или относитесь к нему сугубо потребительски: выискиваете детали, вылавливаете нужное, копаетесь, как мусорщик на свалке, в надежде найти серебряную ложку, перстень или монету в куче дряни. Вы не живете окружающим, вы паразитируете на нем. А когда душа свободна от замысла, все в радость и удивление: свежесть травы, дождевые капли на ветвях, птицы, цвет и запах земляники — все источник счастья. Наименьшее — человек. Он всегда многозначен и потому неудобен. Раньше мне интереснее всего были люди, сейчас этот интерес почти угас. Влекут сигналы неодошевленного бытия, не сознающей себя материи. Я рад, что у меня оказалась долгая старость. Все-таки упоительно не готовить уроков, а просто быть в мире. Страх смерти?.. Я его не знаю. Потому что не знаю, что такое смерть. Иногда я ловлю себя на теплом чувстве: интересно, в какие игры играют там. Вообще же долгая жизнь ничуть не длиннее короткой. Ведь ты не замечаешь, что живешь долго. Все проносится слишком быстро, ни в кого, ни во что не успеваешь взглянуться, ни в чем разобраться.

Чем хорошо творчество? Оно дает иллюзию сближения с собой. Знаете, что мне доставляло наибольшее удовольствие, когда я садился за очередной роман? Примерять новую маску. Так называли критики мой обычай уступать роль рассказчика кому-то, кто не совсем я. Впрочем, когда я выступал под собственным именем, они считали это наиболее изощренной маскировкой. На самом деле тут совсем другое. Человек не может познать себя изнутри. Но кое-что он узнает о себе в общении, столкновениях, близости с другими людьми. Я был всю жизнь очень одинок и потому лишен возможности взглянуть на себя глазами близких, глазами людей, по-настоящему ощущающих давление моей личности. Надо в ком-то отражаться, лишь тогда что-то увидишь в себе. Персонажи, которым я поручаю рассказ, служат мне зеркалами.

— Но почему бы не оставаться самим собою?

— Я-то думал, вы меня слышите!.. Что значит «самим собой»? Это и нужно выяснить. Рассказчик интереснее для меня других действующих лиц. Если бы я знал себя, вернее, думал бы, что знаю, то никогда бы не писал от первого лица.

— Но вы же не всегда писали от первого лица. Вы часто пользовались «объективной» формой.

— Да, но всегда мне было как-то не по себе. В свое время я очень преуспел в театре. Меня прочили в новые Бернарды Шоу. А я порвал с театром. Ведь автору нет хода на подмостки. Правда, Шоу это делал, но ради сценического эффекта, а не ради самопознания. Еще не кончили оплакивать Моэма-драматурга, а я уже покончил с беллетристикой и перешел к мемуарной форме, наиболее подходящей для моих целей.

— Насколько мне известно, вы публикуете лишь малую часть своих воспоминаний. И старательно уничтожаете переписку и все прочее, что может пролить свет на вашу таинственную личность.

— Но разве я говорил, что хочу объяснить себя окружающим? Я говорил о самопознании. Это совершенно разные вещи. Почему нельзя творить только для себя, как мой вымышленный Гоген? Меня до сих пор радует, что Гоген сжег хижину со всей своей живописью. Хорошо придумано! Важно творческое состояние, а не сопутствующая шумиха. Я все время жгу какие-то бумаги, наброски, записи, но я не сжег ничего законченного, за исключением одного вовсе не

удавшегося романа. Я не сжег даже «Мага», слишком нужны были деньги. К сожалению, деньги нужны подавляющему большинству литераторов. Писатели редко рождаются в семьях миллионеров. Марсель Пруст, а кто еще?.. Но дело, конечно, не только в деньгах. Литература под стать письму, а письмо всегда кому-то адресовано. Но разве нельзя писать самому себе? Вернее, себе будущему, мы же каждый день становимся иными. Были люди, которые так и поступали, ведь обнаруженные посмертно рукописи — вовсе не редкость. А что мы знаем о сожженных рукописях? Существующая литература — это то, что не сожгли и не скрыли. Ее много, очень много, а вот есть ли в ней смысл? Раз все миллионы написанных книг не могут помешать ни войне, ни мирному убийству, ни насилию, ни предательству, ни всем формам подавления человеческой личности, значит, литература не нужна. Но кто знает, какой бы царил разбой, если б не литература. Да и можно ли исходить из критерия нужности? Что нужно, а что не нужно? Если жизнь — состояние, а не предприятие, — жалко, что эту формулировку придумал не я, а Жан Ренуар, откуда такая прыть у киношника? — то надо жить, доверяясь самой жизни, и не опутывать ее правилами. Значит, вовсе не обязательно сжигать рукописи, ведь они чему-то соответствуют в прожитых днях, они частица жизни и принадлежат ей, а не нам, как листья и трава. И все же я, наверное, уничтожу большую часть своих мемуаров. Из опрятности, не из принципа. Я подбираю бутоньерку не менее тщательно, чем слова во фразе. Девяностолетний франт, наверное, смешон, но если господь пошлет мне мафусаилов век, я не изменю своим привычкам. Никто не увидит меня с расстегнутой ширинкой, в заляпанной овсянкой пижаме, я и в гробу буду — с иголочки. Мои сомнения, муки, страхи, мое смятение принадлежат только мне. Не хочу кормить стервятников своей печенью. Уходя, прибирай за собой. «Лев Толстой этого не сделал». «Лев Толстой!.. Это не писатель, не человек, это стихия. Он не судим, ибо не подвластен никаким законам. Он сам — закон. — Моэм помолчал, шевеля губами, и вдруг сказал с детской радостью. — Но и его подводили утверждения. Помните, что писал ваш любимый Жироду? «Трою погубили утверждения». Ну почему это не я придумал, ведь

мысль гнездилась во мне, только не успела одеться в слова». Я сказал, что не улавливаю его мысль. «Но это так просто! Вспомните хотя бы утверждение, каким начинается «Анна Каренина», эти чудные, музыкальные, остающиеся навсегда в памяти слова «Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья несчастлива по-своему». Но если справедливо первое утверждение, то несчастье, разрушая стереотип, тоже будет неизменным. Нет, семьи счастливы так же по-своему, как и несчастливы. Я не успел написать рассказ на эту тему, — вернее, быть, — хотите, я вам его подарю?»

Я не в силах передать дословно рассказ Моэма, буду пытаться, насколько возможно, сохранить его интонацию, но боюсь, что и в этом не преуспею. Слишком много времени прошло, и стерся его голос в моей памяти, а заметки, сделанные по живому следу, обидно кратки.

Прежде всего Моэм познакомил меня с героями. О Капитане (пишу с большой буквы, поскольку так он будет называться в рассказе) Моэм начал чуть расплывчато, приблизительно, то ли не очень хорошо зная его предысторию, то ли позабыв, а придумывать не хотелось. Еще в молодых годах Капитан испортил себе карьеру, разбив — по лихости — катер о причал. После этого ему пришлось начинать все с начала, очень медленно одолевая каждую ступеньку служебной лестницы. Это не улучшило характера колючего нелюдима.

Однажды, очумев от штурманского безделья (из-за поломки долго болтались возле скучных Гибридных островов), он набросал несколько морских пейзажей двухцветным карандашом. Это его развлекло, и в очередное плавание он захватил с собой ящик с дешевыми масляными красками. Писал он каждую свободную минуту, не получая ни малейшего поощрения от окружающих: неумелые и странные его картины отталкивали простодушных моряков. Да он и сам вроде бы не придавал значения своей мазне, но, вернувшись на берег, не выбросил полотна за борт, а взял с собой. Он снимал крошечную квартиру в портовом городе Саут-энде.

Мотаясь по морским и житейским волнам, Капитан оставался безытным человеком. Заядлый холостяк, он беспощадно обрывал каждую связь, которая

грозила затянуться. Если женщина не ждала от него ничего, кроме короткого партнерства, он легко и спокойно сближался с ней и также спокойно брал расчет, потому что не был ни пылок, ни ласков, ни привязчив. Ему казалось, что он оберегает свою свободу, на самом деле он боялся малейшей ответственности за другого человека. Капитан был эгоистом до мозга костей. Больше всего он ценил нетребовательных портовых дам. А вообще он не был бабником, виски играло куда большую роль в его жизни. Он любил беседовать с бутылкой один на один. Беседовать в прямом смысле слова: когда в бутылке «Скотча» оставалось не больше чем на три пальца золотистой пахнущей гнилым сеном жидкости, Капитан начинал говорить, вглядываясь в темное непрозрачное лицо собеседницы. Он говорил всегда об одном и том же: какая кругом сволочь и какой он прекрасный, чистый, непонятый человек. Иногда бутылка отвечала, иногда нет, но и в том, и в другом случае была полностью согласна с Капитаном.

Все были виноваты перед Капитаном, прежде всего и больше всего — родители, которые, не отличаясь ни красотой, ни статью, осмелились его родить. От них он такой низкорослый, костлявый, ястреболикий. В нем не было ни одной привлекательной, хотя бы заметной черты, кроме улыбки, но улыбку эту — нежданную и опасную — он не получил в наследство, а воспитал сам, подметив, что внезапное обнажение белых острых зубов, врезавшее в кожу две глубокие складки от крыльев хрящеватого носа к уголкам тонкогубого, тугого рта, производит впечатление на окружающих. Улыбаясь, впрочем, редко, он становился человеком, с которым надо считаться.

В состоянии крепкого подпития Капитан начинал верить в бога и менял собеседника. В пошибе библейского Иова — верующего номер один, по мнению Серена Кьеркегора и его последователей, — он предъявлял вседержителю серьезный счет. В отличие от шумного, но корректного Иова, Капитан не стеснялся в выражениях, требуя у господина возмещения убытков: его подло обманули — не дали причитающегося таланта. Этим он являл трогательную веру и во всемогущество, и в бесконечную снисходительность Творца Всего Сущего.

В трезвом виде он был куда более высокого мнения

о своих художественных возможностях, порой чувствовал себя положительно талантливым, очень талантливым, дьявольски талантливым, но взлету мешало полное незнание ремесла. Учиться было поздно, к тому же он догадывался, что кое-как усвоенные профессиональные навыки убьют то единственно несомненное достоинство, которое удерживало самых разных людей у его картин: какую-то варварскую свежесть.

Начавшееся со скуки незаметно стало потребностью и отдушиной, а там и единственным смыслом существования. Конечно, он не порывал с морем, если каботажное плавание на гнилых посудинах можно числить по романтическому морскому ведомству, да ведь нужно было на что-то покупать выпивку и краски. Человек с душой Дрейка, сэра Уолтера Раллея, Нельсона и Кука терся у грязноватых берегов Англии, развозя какие-то скучные грузы. Его фрегаты, корветы, бригантины назывались «сухогрузами» — нет унылее, безнадежнее слова. Но мечта о белых кораблях, томившая юношеское воображение, не оставила его, хотя он никому в этом не признавался, даже самому себе. И если возникал волнующий образ, он гнал его прочь, как Мартин Лютер — беса, правда, не с помощью чернильницы.

Изображал он лишь то, что было перед глазами: мусорное прибрежное море, причалы, пристани, складские строения, порталные краны, лебедки, катера, баржи, сухогрузы, чаек на маслянистой, радужной воде, восходы, закаты, сумерки, очень редко людей — всегда в пейзаже, за портреты не брался, равно и за натюрморты. Он писал без затей, с первобытной простотой и доверием к руке, но получалось затейливо, странно — часто он сам не узнавал предметы изображения. Непослушная кисть делала, что хотела: окружающий мир смещался, перекашивался, терял свои пропорции и представал в «обратной перспективе» — все, что позади, оказывалось крупнее того, что на переднем плане. Но главное, он становился разнузданно-нищенски ярким, словно цыганские лохмотья. Коли непременно надо сравнивать, то ближе всего Капитан был к итальянским примитивистам и отличался от них лишь отсутствием нежности и неосознанной радости бытия. Все его пейзажи, кричащие и не озаренные солнцем, а будто исходящие собст-

венным свечением, как гнилушки, давили мрачностью, именно мрачностью — не печалью, в последней есть очищение; омраченная душа Капитана внедрялась в аляповатую яркость красок и отравляла их. Он был человеком художественно необразованным, никогда не ходил в музеи, на выставки, понятия не имел о направлениях в искусстве, но чем больше тратил красок, тем тверже и ожесточеннее утверждался в своем праве писать так, как он пишет. Иначе он не хотел. А затем кто-то показал ему альбом таможенника Руссо и назвал направление: «примитивизм». Слово его разозлило, но уверенности в себе прибавило — можно делать все, что хочешь, никаких правил не существует, никто тебе не указка, и пусть другие придумывают твоей манере какое хочешь название. Это делается от трусости, так заговаривали в деревнях бесноватых. А ты плюй и беснуйся на всю катушку. Кстати, Руссо в репродукциях ему не понравился. Капитан решил, что Руссо — таможенник липовый, а художник — профессиональный, хорошо обученный, только ломающийся под ребенка, чтобы не походить на других. Его деревья, листья, травы, звери были слишком изысканны, чтобы поверить в топорные и смешные фигуры людей. Зато Капитан поверил искренности, неумению и таланту другого художника, с которым познакомился позже, грузина Пиросмани, но чернобородые, на одно лицо, люди, пирующие за длинными столами, были ему неинтересны. По правде говоря, вся живопись, какую только доводилось видеть, была ему неинтересна и чужда. По душе было лишь то, что делал он сам, и то лишь на трезвую голову. Подвыпив, он терял веру в свой гений.

Неприятное подозрение шевельнулось во мне: уж не угощает ли меня старец своим главным романом, вывернутым наизнанку. У англичан есть странное слово для обозначения старческой замутненности рассудка: гага. Конечно, я не произнес этого слова, но, как мог деликатно, дал понять, что очень хорошо помню «Луну и грош» и хорошо бы быстрее двигаться к цели, если таковая имеется.

— При чем тут «Луна и грош»? — сказал он холодно. — Там история гения. Выразить себя до конца и, уходя, истребить созданное — вот высшее бескорыстие творчества. Этим поступком человек стано-

вится выше бога, ибо стирает со стекол вечности прекрасное, господь же все не отважится прибрать за собой после провалившегося эксперимента. А то, о чем я сейчас говорю, принадлежит не богу, а быту... В сущности говоря, художество Капитана не заслуживает столь пространныго разговора, хотя со временем он добился определенного успеха, известности, имел персональные выставки и неплохую прессу. Некоторое время он был даже в моде, то есть полагалось знать его имя, видеть или хотя бы утверждать, что видел его последние работы, слегка иронизировать над ним, но с подтекстом: конечно, тут что-то есть, но я, признаться, ретроград. Дурной, заносчивый, вздорный характер Капитана пробивался в его живопись, наделяя ее той энергией и резкостью, которые не свойственны искусству примитивистов. Там всегда присутствует какая-то уютность, милота, безопасность, даже в чудовищных страстях праведников итальянских примитивов. Полотна Капитана бранились, брызгая слюной, и это стало нравиться снобам, они же все немного мазохисты.

Когда он познакомился с четой Джонсов, его имя мало кому что говорило, но Джонсам было небезызвестно. Случаются такие приметливые, внимательные ко всякой малости люди. Идет ли это от доброты, сочувствия к спутникам-пассажирам того же обреченного корабля дураков или от внутренней суетливости — сказать затруднительно. Но Джонсы действительно были людьми добрыми и участливыми. Они угадали за картинами художника-моряка то, что ускользало от других, заведомо настроенных на неприятие: одиночество и несчастный характер, и пожалели его в своем душевном комфорте. Конечно, Капитан не преминет взорвать этот хрупкий комфорт, но не делайте пронизательного лица, на историю моего Стрикленда это ничуть не похоже.

Кто такие были Джонсы? Он — крупный археолог, много работавший в Африке, ученый с мировым именем. Но научное мировое имя — это совсем не то, что в литературе, живописи, музыке. О выдающихся людях искусства слышали все или почти все, знакомство с их художественной продукцией отнюдь не обязательно. Имя ученого, если он не перевернул все вверх тормашками, как Дарвин, Маркс, Эйнштейн, Фрейд, не знает никто, кроме его коллег, учеников

и кучки интеллигентных вездесуев. Впрочем, в физике и химии — за всю историю этих наук — наберется с десятков имен, которые на слуху у обывателей, но из археологов знают одного Шлимана, для этого ему понадобилось открыть местонахождение Трои.

Джонс ковырялся в пересохшей земле африканских пустынь, за его убийственно медленным продвижением к глубоко захороненным тайнам с волнением следил чудак-японец, ковырявшийся на острове Пасхи, другой чудак — швейцарец, убивавший жизнь где-то на Юкатане, и еще несколько прекрасных безумцев, но ни один лондонец, ныряющий по утрам в подземку или штурмующий переполненный автобус, не подозревал о существовании ученого мужа Джонса, носившего, кстати сказать, довольно звучное старинное имя, но по меньшей мере один на тысячу слышал о зловредном Капитане, малюющем море и прибрежные виды. Правда, в узком, ото всех отгороженном мирке Джонс одерживал многочисленные победы: он рано стал доктором, затем членом Королевской академии, президентом археологического общества, почетным членом старейших европейских академий, был награжден несколькими золотыми медалями. Он издал много толстых умных книг, но все это происходило словно в иной системе координат, посторонней сфере обычного человеческого существования.

Джонс отнюдь не мучился своей безвестностью, он любил науку за нее самое. Награды и поощрения его удивляли: смешно и странно было бы получить медаль или звание за то, что ты дышишь, ешь, пьешь, чистишь зубы, бреешься, ходишь в туалет. Возня с черепками, костями и прочим мусором, пролежавшим в земле тысячелетия, была его естественным состоянием, как и любовь к жене, сыну, интерес к искусству. Да, при всей своей захваченности наукой Джонс не принадлежал к зашоренным фанатикам, он видел во все стороны, был отзывчив и знал много ненужного: органную музыку добаховского периода, наизусть всего Йитса и огромные куски непроторенной прозы Марселя Пруста; следил он и за современной литературой, посещал выставки и не ленился съездить в другой город на премьеру шекспировского спектакля. И что вовсе неожиданно для такого серьезного и занятого человека — мастерски играл в тен-

нис. Джонс утверждал, что в Оксфорде проводил куда больше времени на травяных и грунтовых кортах, нежели в библиотеке. Наверное, это не так, просто он был от природы силен и ловок. Спортивная закалка помогала ему в экспедициях, и он тщательно следил за своей формой.

Счастливчик Джонс! Ко всем прочим достоинствам природа наградила его привлекательной и оригинальной внешностью. Будучи чистокровным англичанином, хотя нет ничего более зыбкого, ненадежного, чем чистота крови, ибо как за ней уследишь? — он являл собой полное отрицание англосаксонского типа. Многие думали, что его просторное лицо покрывает вечный африканский загар, нет, он был смуглым от рождения, а смуглота отливала кирпично-красным, что еще усиливало его сходство с индейцем: крупный нос с горбинкой, белые острые клыки, удлиненные глаза под тяжелыми веками, широкие крепкие скулы — ни дать ни взять цивилизованный Чингачгук. Он рано облысел, но ему это шло: обнажился совершенной формы крупный череп с мощным сводом лба, округлым затылком и гладким теменем, обтянутым коричневой гляцевитой кожей; черные сухие тщательно зачесанные с висков волосы придавали завершенность великолепному абрису головы. У него были широкие, чуть покатые плечи, плотная фигура без унции жира. Для того чтобы создать его внешность, смеясь, говаривал Джонс, одной из его прабабушек пришлось согрешить с последним из могикан, на худой конец, с сыном племени навахо, сиу или кроу. Что, кстати, представлялось возможным, поскольку предки Джонса устанавливали, отстаивали и утрачивали владычество Британии на всех материках. Среди них имелись воины, администраторы, миссионеры.

Своеобразная внешность Джонса являлась его личным достоянием, и родители, и деды были типичными англосаксами: бледными, высокими, худыми. Не передались его черты и единственному сыну, которого он любил почти так же, как свою науку. Мальчик все взял от матери: здоровую матовую бледность кожи, синие глаза под темными ресницами, золотисто-рыжеватые волосы. Смущали Джонса его узенькие плечи и некоторая слабогрудость. Но то был очень здоровый, выносливый и спортивный мальчик

с нежной долгой улыбкой, от которой у Джонса все замирало внутри. Это была улыбка доброго и незащищенного человека, это была улыбка матери мальчика, которую безнадежный однолюб Джонс обречен любить до последнего вздоха. Его радовало, что сын — весь в мать: черты лица, сложение, краски — все ее. Но каким-то таинственным образом и он проник генами в столь несхожую с ним плоть. Даже ненаблюдательному человеку мгновенно становилось очевидным, что хрупкий, светлый, эльфический подросток — единая кровь с коренастым меднолицым крепышом. Поворот головы, извиняющаяся улыбка, какой он искупал внезапный провал в себя посреди общей беседы, наклон головы к плечу, когда что-то в окружающем соглашалось стать милым, трогательным, интонации доверия, даже резкое отклонение корпуса при теннисной подаче — все было отцовским. Как и рыцарственное отношение к матери.

Эта милая, красивая женщина жила в атмосфере неустанного поклонения. И большой, и маленький мужчины вели себя так, словно она фарфоровая хрупкость, которую надо непрестанно оберегать. Они вскакивали при ее появлении, угадывали каждое ее желание, окутывали сетью заботливых жестов, словно незримым покрывалом; за семейными трапезами превосходили друг друга в церемонной предупредительности. Так на сцене «делают» королев актеры-придворные, сыграть собственное величие невозможно. Но Мери Джонс вовсе не привлекал трон, ей хотелось бы поменьше почтительности, поменьше ухаживаний, поменьше опеки и побольше семейной простоты, непосредственности, товарищества с самыми близкими людьми, даже небрежности, несогласия, спора — во всем этом больше теплоты, нежели в чопорном обожании. Нельзя быть всегда при параде. Когда кто-то из них недомогал, она почти радовалась, рыцари хоть на время расставались с доспехами, и она могла помочь их недужащей плоти, могла быть полезной родным людям.

В остальной жизни ее доброта не находила себе применения. А доброта была единственным даром этой милой, мягкой, скромной, не созданной для котурн женщины. Она принадлежала к средним классам, удобно чувствовала себя в роли учительницы начальной школы, где ее доброта, жалость к малым

и слабым, не знающее срывов терпение находили широкое поле для применения. Случайно на нее наткнулся Джонс, влюбился с первого взгляда и сделал предложение. Он ей тоже нравился и, не имея сколь-нибудь отчетливого представления о его характере, занятиях и жизненном положении, она дала согласие. Стремительно взлетев по социальной лестнице, она вначале озадачилась, смутилась, но постепенно и без особого труда свыклась с новизной: быть спутницей многообещающего ученого, хозяйкой большого дома оказалось куда приятнее, чем бедной училкой. Ее очень женственная, а стало быть, пластичная натура легко приспособилась к любым обстоятельствам, формам быта и отношениям. Первая очарованность необыкновенным, чуть загадочным человеком с красной, как у индейца, кожей перешла в спокойную, преданную любовь.

У Мери были чудесные глубокие темно-синие глаза, но еще заметнее на красивом лице был яркий, свежий рот. Его часто сминала непроизвольная гримаска жалости, сострадания. Ее добрая душа все время получала неслышимые другим сигналы бедствия из окружающего. Если верить ее сминающимся печалью и тайным страхом губам, мир губельно бедовал, все наполняющее его своим дыханием — от человека до дерева или цветка — взывало к спасению. Джонс чувствовал разрывающую родное сердце доброту и томился невозможностью доказать, что не надо так тратиться: люди в подавляющем большинстве не заслуживают да и не хотят жалости, животные обречены, а неодушевленная материя сама разберется с «венцом творения», которого сотворила для своего познания и уберет в должный срок. Его попытки что-либо объяснить ни к чему не вели, Мери неспособна была к отвлеченному мышлению. На все мудрые и мудреные слова она лишь послушно кивала, а губы продолжали сминаться болью. Муж не давал жалеть себя, а как откликнуться темным сигналам мирового неблагополучия? Неухоженные дети бедняцкой школы требовали участия и заботы, а здесь ее окружали выхоленные люди. Джонс правильно решил: единственное спасение — деньги, он записал Мери в разные благотворительные общества, выделив из семейного бюджета порядочную сумму в помощь нуждающимся. Пусть это было совсем не то, к чему

стремилась ее душа, все же оно давало некоторое облегчение.

Джонс и сам был добрым человеком, но в разумных пределах, его доброта ничем ему не грозила. А жене грозила, и он не поступался тяготящими ее перенапряженностью и церемонностью быта, чтобы хоть немного подсушить ей душу. Внешнее поведение влияет на внутреннюю суть человека, и если б миссис Джонс не сдерживали домашние ритуалы, почти равные религиозным обрядам, путы неукоснительного порядка и многочисленных обязанностей, ее поглотила бы бездна чужих мук и горя, разверстая у самых ног. Уплотненный день: домашние хлопоты, заботы о большом открытом доме, о муже, потом и о сыне, ежевечерние приемы, посещение театров, музеев, выставок, концертов, заседания благотворительных комитетов с непременно чаем и с сухим печеньем — служил противоядием изнуряющей душу доброте.

Рассказ о семье Джонсов носит сугубо локальный характер, историческим событиям уделяется место, если они имеют прямое отношение к этой маленькой человеческой ячейке. Первая мировая война такое отношение имела: дала занятие миссис Джонс и оттянула неминуемое. Корпии, которую нащипала трудолюбивая Мери, хватило бы еще на одну битву народов. А за мужа она не успела испугаться: лейтенант Джонс вернулся из Франции с перебитой рукой, когда англичане еще толком не осознали, что воюют. Кость срослась, и рука вернула прежнюю подвижность в самом исходе войны.

А дальше пошло все то же, нет, куда хуже: Джонс стал надолго уезжать в далекие экспедиции. Пока рядом был сын, Мери не чувствовала пустоты, она слишком любила его и входила — ненавязчиво, тонко — во все детские, потом и отроческие увлечения. Но когда сын поступил в колледж и уехал в Оксфорд, ей стало невмоготу. Она ринулась на передний край приложения собственной благотворительности — в трущобы. Это скрадывало время, но ее преследовало чувство какой-то скользкой неправды. Похоже, ей попадались профессиональные бедняки: их нищета была напоказ, благодарность преувеличена, смирение и праведность отдавали лицемерием и скрытой насмешкой, к тому же от всех взрослых (старше пятнадцати) несло джином и кукурузным виски, а от мало-

летков — пивом. Ей всегда было немного стыдно, а главное, она подозревала, что ее помощь проходит в стороне от истинной нужды.

Какая-то часть души тратилась на страх за сына и мужа, на ожидание их приезда. Телефонный звонок из Оксфорда, письмо с яркой африкайской маркой дарили ее счастьем на целый день. Не желая быть счастливой в одиночку, она приглашала в гости своих старых подруг, таких же, как некогда она сама, школьных учительниц, а потом долго плакала в постели, не понимая, за что они так ее ненавидят.

Но когда муж и сын возвращались домой, она тоже не была по-настоящему счастлива. Их самостоятельность, уверенность в себе и в своих целях, благородно-покровительственное отношение к ней, слабой женщине, лишало Мери главной радости — жалеть любимых. Молоко ее нежности и доброты перегорало в ней, причиняя боль. Джонс понимал это умным сердцем, но бессилён был помочь. Не мог же он в угоду Мери бросить труд своей жизни и опуститься, как не мог их великолепный сын искусственно стать «трудным» ребенком, утехой психоаналитиков. И вот в эту притуманившуюся без чьей-либо вины жизнь семьи шагнул Капитан во всем своем отрицательном обаянии.

По чести говоря, никакого обаяния, даже отрицательного, не было и в помине: вздорный, колючий, неудовлетворенный, почти всегда нетрезвый человек без малейшей культуры чувства и уважения к чему бы то ни было. Ленивый браконьер с моральным вакуумом. Но для Мери он обладал одним великим достоинством, перед которым меркли все неудобства его характера. Если мир пел для нее бесконечную песнь боли, то от Капитана шли волны беззвучного волчьего воя тоски, злобы и одиночества. Недавняя война усугубила в нем чувство несостоятельности. Половину войны он переучивался на военного моряка, вторую половину расхлебывал дело о разбитом в избытке лихости катере. Очнулся он от кошмара следствия, суда, обжалования, пересмотра, взыскания, помилования посреди тихих прибрежных вод и остался в них, похоже, навсегда. Лавры Нельсона безнадежно ускользнули, на лавры Кука плоха надежда в прозаический век, когда все моря и океаны исплаваны и заплеваны. А живопись не принесла

даже тернового венца, что в искусстве нередко ценнее лаврового.

Джонсы познакомились с ним на выставке. Его пейзажи понравились Джонсу, и он объяснил Мери, почему они хороши. Она это поняла, когда ощутила кричащее с полотен одиночество.

Капитан был на выставке. Их познакомили. Мягкий китель, воспаленные глаза, смрадное дыхание, в котором запах виски боролся с запахом крепкого табака — Капитан курил в выставочном зале, пуская дым в рукав с обтрепанным обшлагом, — произвели на Джонсов сильное, хотя и диаметрально противоположное впечатление. Свежий, опрятный, собранный человек, Джонс содрогнулся и тут же осудил себя за дешевое чистоплюйство, а миссис Джонс зажалела Капитана всем своим большим сердцем. Она увидела связь между ним и его полотнами — при всей несхожести красок живописи и личности, — и это было залогом правды.

Мучаясь тайной виной перед Капитаном, Джонс пригласил его поужинать. Капитан пожал плечами, что можно было принять за согласие. К ним присоединился владелец выставочного зала Смит, давнишний знакомый Джонса. За столиком Капитан упорно молчал, ничего не ел, зато пил, не переставая.

— Зачем вы так много пьете? — наклонившись к нему и коснувшись грязноватого рукава, спросила миссис Джонс.

— А вам какое дело? — громко ответил моряк.

Он посмотрел на медленно сползающие с его рукава длинные, просвечивающие розовым пальцы и добавил:

— Чтобы скорее очуметь.

Рот миссис Джонс смялся и не вернул твердых очертаний до конца томительного застолья.

Разговор не клеился. Капитан жадно курил, скрываясь в клубах вонючего дыма; обычно говорливый Смит, напуганный его угрюмством, отвечал односложно и косился на Капитана. Один Джонс упрямо раздувал огонек общения, мужественно снося неудачи.

— Вы позволите посетить вашу мастерскую?

— У меня нет мастерской, — со странным злорадством отозвался Капитан.

— Вы продаете ваши работы?

— Я-то продаю, но никто не покупает.

— Почему? — осмелился возразить Смит. — Две работы оставил за собой музей...

— Ладно! — прервал Капитан. — Это никому не интересно.

— Если пейзаж с опрокинутой лодкой еще не продан, я хотел бы его приобрести, — сказал Джонс.

— Меценатствуете? — едко спросил Капитан.

Виски пошло ему не в то горло, он закашлялся, давась и хватаясь за грудь.

В атавистическом порыве миссис Джонс вскочила и стала бить его кулаком по спине. Боже, какая это была костлявая, бедная спина!

Капитан прижал салфетку ко рту, сплюнул в нее и перевел дух.

— Спасибо, — сказал он, с усмешкой глядя на покрасневшую от трудов миссис Джонс. — Для такой тонной леди у вас крепкий кулак.

— Я вовсе не тонная леди, — сказала миссис Джонс, — с чего вы взяли?

Капитан рассмеялся и отчего-то пришел в хорошее настроение.

— Хотите, приятель, я вам задарма отдам этот пейзаж?

— Нет, — спокойно сказал Джонс. — Если вы действительно хотите оказать нам любезность, назовите цену и разрешите по закрытии выставки забрать вашу работу.

— Он скажет, — небрежно кивнул Капитан на Смита. — Я ни черта в этом деле не смыслю.

— Ваше здоровье! — Джонс поднял бокал.

— Всеобщее процветанье! — отозвался Капитан.

Вечер завершился лучше, чем можно было ожидать.

Смит спросил Капитана, почему тот никогда не пишет большую воду.

— Это что еще за «большая вода»?

— Море. Открытое море. Вы всегда пишете его с видом на берег. Вы маринист, который пишет берега.

— А море нельзя написать, — тихо, без следа обычной агрессии сказал Капитан. — Это не удалось Тернеру, ни тем паче всем остальным. И не может удасться. Знаете ли вы, островитяне, что такое море? — Он разразился невнятной яростной речью, из которой миссис Джонс не запомнила ни одного слова,

но навсегда поверила, что ей открылась грозная тайна — море. Это было прекрасно — то, что он говорил и как он говорил. А смолкнув, он улыбнулся страшной улыбкой, слил в стакан последние капли виски, которое пил, не разбавляя, медленно выцедил и сказал без обычной запальчивости:

— Седьмая степень концентрации. Все! Пошел спать.

— ...Как он говорил — чудо! — мечтательно сказала миссис Джонс, когда они вернулись домой.

— Да,— согласился муж.— Хотя я чувствовал лишь силу страсти. Суть от меня ускользнула.

— Он все-таки необыкновенный человек!..

— Не знаю, какой он человек, но художник интересный. Странно,— задумчиво добавил Джонс,— почему художественный талант так часто оплачивается ужасным характером, алкоголизмом или сумасшествием! Что это — в природе дарования?..

«Тебе легко говорить,— подумала миссис Джонс, и впервые легкое недоброжелательство к мужу шевельнулось в ней.— Ты всегда жил на солнечной стороне жизни». А вслух сказала:

— Он такой несчастный!..

Джонс посмотрел на нее и подавил вздох.

Капитан задержался в Лондоне, и встречи продолжались. Джонс купил понравившийся ему пейзаж с опрокинутой лодкой и сам повесил в гостиной между гравюрой Хогарта и этюдом Дерена. Капитан посмотрел и не сказал — понравилось ли ему соседство. Эта встреча, уже на дому у Джонсов, происходила в том же ключе: Капитан много пил, не прикасался к еде, жадно, неаккуратно курил, изредка улыбался жесткой улыбкой, как бы призывавшей окружающих к осторожности, что было совершенно излишним с Джонсами. Он не эпатировал их, но и не прорывался больше той сумбурной искренностью, с какой говорил о море. От того, что он не дерзил, Капитан казался (конечно, Мери, а не ее мужу) еще более несчастным, одиноким, заброшенным, нуждающимся в дружеском участии, заботе, уходе, оберегании (его мучила застарелая язва), поддержке, похвалах, поклонении. Капитану не пришлось лишнего жеста сделать, чтобы разрушить семейное счастье Джонсов. Он был так образцово несчастлив, что стандалевская кристаллизация творилась в душе миссис Джонс с

умопомрачительной быстротой. Капитан был достаточно проницателен и циничен — в отличие от Джонса, — чтобы сразу увидеть, какой неожиданный подарок приготовила ему обычно немилостивая судьба. Но самолюбие отвергло истинную причину удачи. В сознании Капитана отсутствовали такие понятия, как неопрятность, дурные манеры, невоспитанность, заухалость, он казался себе мужчиной хоть куда, во всяком случае, интереснее и привлекательнее разлюбезного, прилизанного растяпы Джонса.

Капитан с годами изменил мнение и о своей внешности. Экранные красавцы уже не царили безраздельно, в цену вошли мужчины с характером. Пусть ты не Аполлон, не Антиной, ты человек, обдутый ветрами, просоленный морскими брызгами, овеянный романтикой пространств, грубый, прямой, неотесанный мореход, бродяга, презирающий расслабляющую светскую муть, ты л и ч н о с т ь, к тому же большой и странный талант.

Овладев Мери, Капитан осуществил право сильно-го. Его не смущало, что Джонс куда больше изнемогал под беспощадным солнцем пустыни, часто без пищи и воды, чем он просаливался на своих сухогрузах, что Джонс пользовался непрерываемым научным авторитетом, а он — сомнительной славой художника-дилетанта, в котором «что-то есть», что Джонс мог раздавить его, как клопа, если бы захотел, что никакого мужского подвига в его победе нет, ибо это поступок Мери, а не его.

Капитан не допускал в бодрствующее сознание и мысли, что он рассчитывается с Джонсом за его превосходство — материальное, моральное, мужское, за его безукоризненные манжеты, красивый дом, девонширский замок, за его гордость сыном — загребным студенческой восьмерки, за его деньги, манеры, дурацкую доверчивость, идущую от смехотворной веры в первоклассность всего, чем владеет. Но в пьяной откровенности с собой Капитан торжествовал, что нанес Джонсу удар, от которого тот уже не оправится, — в сплетение всех жизненных устоев. Но мысли сильно забежали вперед.

Началось же все так. Мери едва дождалась отъезда Джонса. В дни, когда муж готовился к экспедиции, придирчиво осматривая каждый предмет снаряжения, каждую банку консервов и соков, плитку

сушеного мяса, упаковку с витаминами и лекарствами, Мери, безразличная к его заботам, чуждая тревоги, думала только о Капитане, который валяется где-нибудь в дешевом номере захудалой гостиницы на неприбранной постели, потягивая дрянное виски, губительное для язвенника, и соря вокруг пеплом. Едва Джонс отбыл, она с удивительной ловкостью, не вызвав ничьих подозрений, отыскала след Капитана.

Он и впрямь валялся в дешевом номере на смятой постели, курил, роняя пепел на подушку, но был трезв и потому раздражен. Добрую самаритянку встретил выговором:

— Надо предупреждать о своем приходе. Я мог быть не один.

— Простите, — смиренно прошептала миссис Джонс. — Я так тревожилась за вас.

Мери поразило, что Капитан воспринял ее появление как нечто само собой разумеющееся. Она не знала, насколько хорошо владеют собой бездушные люди.

«Она что — дура или потаскуха? — думал Капитан. — А может, и то и другое одновременно?»

И он немедленно решил проверить это. Надорванный алкоголем и безалаберной жизнью организм Капитана лишил его, однако, уверенности в себе. Но с теми дамами, с какими он обычно имел дело, это ничего не значило. Все сводилось к тому, что заслужит партнерша — два фунта или оплеуху, — себя Капитан никогда ни в чем не винил. Здесь же все было иначе.

А миссис Джонс вряд ли знала, когда шла сюда, что, спасая душу страдальца, ей придется спасти и его тело. Она просто подчинилась обстоятельствам. В нежной, постоянной, чистой и спокойной близости с мужем, приносившей ей тихую радость, что ему хорошо с ней, Мери не была страстной натурой. Это, как ни парадоксально, вероятно, и облегчило ей шаг, который не просто дается и весьма искушенным в любви женщинам.

И почему-то все физически тягостное, что она испытала, отхлынуло, ей стало нежно, грустно и о к о н ч а т е л ь н о, когда рядом с собой она увидела маленького, худого, как скелет, гордого Капитана.

То, что близость далась непросто, стало значительным. В сравнении с Джонсом Капитан предстал

человеком с содранной кожей, нервным, трепетным, истинно художественной натурой. Приговор Джонсу был подписан. Впрочем, сейчас муж ее мало заботил, как не заботила и вся разом перечеркнутая прежняя жизнь. Она даже о сыне не подумала, а ведь и с ним теперь будет по-другому...

Возвращаясь от Капитана, Мери испытывала новое, незнакомое чувство: она — не что. Женщина, которая решилась... Решилась бросить в ноги своей любви (жалость уже вознеслась в сан любви) любящего мужа, единственное дитя, блестящее положение в обществе, все устои своей среды. Ее непривычное возвышенное состояние естественно включило в себя простую житейскую заботу, когда она вспомнила об одной поразившей ее подробности: на Капитане не было белья. Казалось, само сердце сжалось: «Милый... бедный... дорогой!..» Теперь она знала, что делать: начинать надо с малого...

Душа ее словно расправилась и заполнила все тело, как рука лайковую перчатку. Она никогда не знала такой блаженной цельности и совпадения с самой собой.

Днем Мери позвонила Капитану, получила милостивое разрешение на визит и явилась с огромным пакетом белья, одежды, разных косметических принадлежностей. Капитан пришел в такую ярость, что чуть не прибил ее.

— Нечего было связываться со мной! — бушевал он. — Ты думала, я вроде твоего вылощенного мужа? Плевать я хотел на это тряпье, на эти вонючие прикиды.

Кончилось тем, чем обычно кончаются такие бессмысленные бунты: Капитан позволил загнать себя под душ и — верх унижения — вымыть с головы до пят. Когда ему было подано нательное белье, легкие фланелевые брюки и шерстяная рубашка с большими нагрудными карманами для табака и трубки, он снова рассвирепел, но уже по другой причине. На кой черт она вводит его в непредвиденные расходы, он не так богат, чтобы швырять деньги на пижонское бахла.

— Но это подарок, — пролепетала Мери.

Капитан, в элегантных брюках и кокетливой рубашке, с мокрой маленькой головой, взвился под потолок. За кого она его принимает? Он что — аль-

фонс, жиголо, сутенер? Он кинулся к старому комоду, долго рылся там, потом швырнул деньги.

— Это много...

— Остальное пропьем, — безмятежно сказал Капитан.

Он поднял весь шум, боясь не расплатиться. В чем, в чем, а в деньгах он был крайне щепетилен. Ему часто приходилось туго, но никогда он не позволил Мери заплатить хотя бы за пиво. Лишь раз он принял от нее подарок — дешевую вересковую трубку.

Ему пришлось сократить расходы по части виски и основательно заняться живописью, чтобы как-то сводить концы с концами в новой полусемейной жизни.

Видя его изо дня в день трезвым, с перепачканными краской пальцами, Мери все более и более верила в свое благотворное влияние и в своей слепой вере не могла трезво оценить, что в Капитане брало верх не нравственное начало, а то «мужчинство», которое и обрекало его на праведную жизнь, если исключить такую малость, как сожителство с чужой женой.

Но порой Капитану требовалось спустить пары. Он исчезал на несколько дней и возвращался без гроша в кармане, с глазами кролика и трясущимися руками. Обсуждению такие выходки не подлежали. Мери разрешалось приводить его в чувство. Поправившись, Капитан наказывал за свой разгул и мотовство их обоих — заключением в четырех стенах. А Мери так хотелось пойти с ним в какой-нибудь бар и потанцевать под громкую джазовую музыку или покачаться на качелях в увеселительном саду, а потом тянуть темное пенистое пиво за столиком над прудом, в котором отражались китайские фонарики. В чопорном мире Джонса Мери жила не своей жизнью. Пластичная натура помогала ей прилаживаться к окружающим, но сродниться с их уставом она так и не сумела. Ее настоящее жизненное пространство было возле Капитана.

Он нередко обижал ее, мучил пустой подозрительностью, пытал молчанием за воображаемые провинности, редкий день не доводил до слез, Мери все ему прощала. Особенно досталось ей за неумение позировать, когда у Капитана не получился ее портрет.

Посещая с мужем музеи и выставки, Мери была знакома с самыми смелыми художественными манерами. Порой от странных портретов исходила некая магия таинственной человеческой сути, чаще ничего не исходило, но был ребус, загадка. Она не любила и не умела разгадывать ребусы, а Джонс любил и умел, и, рассматривая нагромождение кубов, конусов, скрещения плоскостей и просто мутные разводы, Мери верила, что там действительно что-то скрывается.

Но в последней работе Капитана не было ни художественного произвола, ни «опрокинутого» зренья, ни ребуса, ни дикарской игры, бедняга был вполне серьезен и добродетелен, когда писал портрет «своей женщины». Он явно пытался создать реалистическое произведение. Мери оценила это трогательное усилие превзойти самого себя ради любимой, у нее пощипывало в носу, когда она вглядывалась в изображение безрадостного и безжизненного существа, имевшего в чертах известное сходство с нею. Он не был виноват, видит бог, он выложился до конца, но даже гений расшибается о тусклую маску, о безнадежную пустоту бытового, неодухотворенного лица. Мери со всем соглашалась: если в портрете чего-то и не хватало, то лишь по ее вине. Она действительно не умеет позировать, думает о всякой чепухе, а ведь натура должна возвыситься до художника. «Откуда ты это взяла?» — подозрительно спросил Капитан. Мери пробормотала, что где-то прочла. Капитан перестал беситься, швырять кисти, пинать ногами мольберт, но в остаток дня вызывающе хватался за бутылку кукурузного, а Мери не отважилась даже на слабый протест, она понимала, как тяжело этот ранимый человек переживает неудачу, грозящую — намекал он зловеще — обернуться затяжным творческим кризисом. Мери знала, чем это грозит, и слезы набежали на глаза...

И все-таки это была жизнь. Терпкая, грубая, горькая, упоительная жизнь, а не скакание с жердочки на жердочку по золотой клетке.

Все оборвалось в ней, когда Капитан объявил, что уходит в плавание. Она зарыдала, и он, видимо, не ожидая такого взрыва горя, тронутый до растерянности и потому сразу обозлившийся, резко прикрикнул: «Хватит реветь! Забыла, что твой скарабей возвраща-

ется?» — «Забыла», — честно призналась она. И он впервые допустил, что близость с Мери — не прихоть заевшейся барыньки, не магическое, но краткое действие его чар, которые развеются с приездом настоящего хозяина, а нечто совсем иное, никогда им не испытанное, то, что люди называют любовью.

Он не знал, что делать с этим даром, а мыслишка, что его хотят опутать, связать по рукам и ногам, лишит мужской свободы, превратила растерянность в панику. Но он тут же понял, что его свобода и безответственность гарантированы Джонсом-отцом, Джонсом-сыном, всем мощным семейным сцепом, и успокоился, остались благодарность женщине и гордость собой. Вот что значит сильная личность: с какой легкостью он, безродный скиталец, морской бродяга, бедный художник, опрокинул замок, возводимый многими поколениями Джонсов!

Мери не догадывалась об этих мыслях Капитана. Она впервые поверила, что тоже нужна ему, так почему же не скажет он простого слова: останься. Она готова была ехать с ним в Саут-энд и терпеливо, как положено моряцким женам, ждать его возвращения из плавания. Но заветное слово так и не сорвалось с сухих, обветренных губ Капитана. Как может он при его бешеном, необузданном нраве мириться с ее возвращением к Джонсу? Лучше бы он убил ее. Но Капитан молча укладывал свой скудный багаж и даже не огрызался на бессмысленные просьбы беречь себя и свой талант, следить за здоровьем, не пить и хоть немного помнить о бедной Мери. Насчет переписки Мери не заикалась. Капитан давно предупредил, что не признает эпистолярной формы общения.

Она проплакала весь путь до дома, рыдала всю ночь, с грустью подумала утром, что Капитан уже ушел в плавание, и по контрасту вспомнила, что вечером приезжает муж.

Это не вызвало в ней никаких чувств — ни дурных, ни хороших, было естественно, что Джонс возвращается в свой дом. Надо сделать необходимые распоряжения, позаботиться об ужине. Джонс, обходившийся в экспедициях сушеным мясом, консервами и сухарями, дома становился гурманом, ему подавай все самое лучшее. Пустые домашние заботы неожиданно доставили ей удовольствие. Этим хоть как-то

заполнялась объявшаая ее пустота. Надо было купить цветы. Джонс обожал ее букеты, которые она, и правда, умела составлять с неподражаемым искусством. Потом она вспомнила, что на каникулы приедет сын. Последнее время она запрещала себе думать о нем, и это ей удавалось. Но сейчас можно было порадоваться свиданию.

Джонс не любил, когда его встречали. С аэродрома он приехал на такси, вид у него был такой, словно он явился не из тягчайшей экспедиции, а из Букингемского дворца. Она сама потом удивлялась, что все произошло как обычно, будто не было этих сумасшедших месяцев с Капитаном, ее любви, измены, внутреннего переворота.

Многолетняя привычка руководила ее поступками, жестами, словами, интонациями. Их отношения с мужем всегда были если не регламентированы, то обузданы формой: они не кидались в объятия друг друга, она не висла у него на шее, не утирала слез радости после долгой разлуки, не было ни беспорядочных речей, ни разных милых нелепостей, когда люди над чемоданом сталкиваются головами, говорят невпопад, заливаются бессмысленным счастливым смехом. Джонс церемонно склонялся к ее руке, потом осторожно целовал в голову, отстранял от себя, заглядывал в глаза и прижимался виском к виску. Ей почему-то отводилась роль сугубо пассивная.

Стол был накрыт, шампанское стыло в ведерке со льдом. Они садились ужинать...

Конечно, он рассказывал об экспедиции очень скупко, понимая, что для неспециалиста изнуряющее ковыряние в земле малоинтересно, но всегда в его рассказе оказывался какой-нибудь забавный случай, заставлявший ее смеяться.

И на этот раз все шло по заведенному порядку. Джонс спросил, как она жила без него. Этот вопрос он всегда задавал как бы между прочим, с улыбкой, подчеркивающей, что не ждет сколько-нибудь странного ответа. Прежде, когда ей нечего было скрывать, она объясняла его манеру той деликатностью, которой было отмечено все его поведение, он не хотел, чтобы она отчитывалась перед ним. А тут ей вдруг почудилось в легкости его тона что-то нарочитое, поддельное. Дико думать, что в пустыню дошли

какие-то слухи. И все же она не могла отделаться обычным: «О, господи, да что у меня могло быть?.. Разве было вообще что-нибудь?.. Да, заседания, жидкий чай, сухое печенье и мои дорогие бедняки...» Попробуй бездумно щебетать, когда ты пронесла Антееву ношу.

Как быть? Признаться?.. Слишком неожиданно и жестоко. Он вернулся из долгой, трудной экспедиции, и за безупречной формой угадывается смертельная усталость, возможно, какие-то неудачи, разочарования, неотделимые от его профессии. Ему надо выспаться, отдохнуть, прийти в себя. К тому же Капитан ни словом не обмолвился о том, чтобы она открылась мужу. Похоже, он вовсе не хотел этого. Она не имеет права делать решительный шаг без его согласия. Да ее и не тянуло. Сейчас она находилась в привычной системе координат, начисто исключаяющей подобного рода признания. Это было все равно, что положить ноги на стол, выругаться или плюнуть в супницу. У нее хватит мужества сказать правду, пока еще эта правда была не нужна ни Капитану, ни Джонсу... А ей самой?.. Этого она не знала.

Не дождавшись ответа, удивленный и слегка встревоженный, Джонс спросил о сыне. Мальчик почти не пишет, пожаловалась она, я знаю только, что он здоров и много времени проводит на гребном канале. «А большего и не требуется,— усмехнулся Джонс.— Переходный возраст. Сейчас ему нужно освобождаться от нашей власти, опеки и авторитета. Мы должны осторожно помогать ему в этом: не приставать с расспросами, наставлениями, поучениями, а не то он нас возненавидит, но и не выпускать его из поля зрения. Сейчас не он, а мы сдаем экзамены на зрелость».— «И сколько это будет длиться?» — спросила Мери, озабоченная тем, что до «сдачи экзаменов» нечего и думать о каких-то переменах в жизни. «Года два-три», — неуверенно ответил Джонс.

В эту ночь она проявила стойкость, разделив с мужем ложе и пойдя навстречу его желаниям, не остуженным чудовищной усталостью.

Целую неделю Джонс отсыпался. Она терпеливо сносила его нежность. Ведь так было всегда, а привычка — госпожа души. Однажды Мери представила на месте мужа Капитана и впервые испытала на-

слаждение, какого в отдельности не мог ей дать ни тот, ни другой. Было сладко и очень стыдно, и она зареклась думать о Капитане в объятиях мужа. Иногда ей это удавалось, иногда нет, а потом все пошло по-прежнему, как и всегда с Джонсом — тихая, отстраненная нежность.

Приехал сын. О Капитане она почти не вспоминала. А затем начался новый виток: сын вернулся в колледж. Джонс снова отправился в экспедицию, а незадолго перед тем появился Капитан, обдутый прибрежными ветрами.

Поначалу Мери казалось, что она не выдержит раздвоенности, сойдет с ума, наложит на себя руки. Но и через десять лет все оставалось по-прежнему. Нет, это неверно. Произошло много трудного, грустного и страшного, тайное стало явным, боль одних послужила расхожей монетой сплетен для других, затем и сплетни смолкли, но в главном ничего не изменилось: Мери все так же оставалась женой Джонса, любовницей Капитана, грешной матерью теперь уже взрослого сына, прошедшего в отношении к ней через все этапы: гнева, стыда, страдания, презрения, брезгливости, полупрощения и благожелательного равнодушия.

В этом месте рассказа Моэма у меня снова возникло ощущение повтора — такое уже было, потом забрезжило воспоминание, вначале смутное, но вскоре прояснившееся.

— Ей-богу, мы впадаем в Ивлина Во!

— Никуда мы не впадаем, — последовал незамедлительный ответ, — и впасть не можем. Это мистер Во вытек из меня, когда я зазевался.

И только тут я поверил, что, несмотря на свой профессиональный нюх, понятия не имею, куда движется эта история. Я посмотрел на Моэма: от усталости и жары он побледнел, еще больше съежился, как-то запал в самого себя. До чего же он был изношен, ветх, да хватит ли у него сил довести до конца затянувшийся рассказ?

Мери тщетно ждала, чтобы Капитан позвал ее к себе навсегда. Что мог он предложить ей, кроме своей потрепанной личности, дурного характера и жалких мебелирашек? При всей завышенной само-

оценке он полагал, что это будет слабой компенсацией за потерю того образа жизни, который создал для нее Джонс. Он не верил в человеческое бескорыстие. Ему и в голову не приходило, что Мери все бросит по первому же его слову. Сын перестал отвечать на ее письма, значит, узнал все раньше отца, этим обрывалось последнее, что привязывало ее к дому.

Мери поражало, как Капитан может мириться с тем, что она принадлежит двоим. Собственная раздвоенность ее тяготила, хотя и не слишком. Она отвечала Джонсу только покорностью. Мери не знала, что к мужьям и вообще-то не ревнуют, а Капитан продолжал находить удовольствие в том, что наставляет рога этому богатому простофиле, этому лощеному джентльмену, потомуку раздувшихся от спеси недоносков, чьи мерзкие рожи не гнушались писать Рейнольдс и Гейнсборо.

Оставалась надежда, что Джонс все узнает и сам прогонит ее, тогда Капитану волей-неволей придется открыть перед ней дверь. Неведение Джонса поражало. Они же ничуть не скрывались. Всюду появлялись вместе: в барах, дешевых ресторанах, кафе, в дансингах, на боксе (Капитан любил этот мужественный вид спорта и в молодости не без успеха подвизался на ринге в весе блохи), на выставках, в музеях. Конечно, люди одного с Джонсом круга чуждались тех народных развлечений, до которых охочи были Мери и Капитан, а появление ее на вернисаже или в музее с художником, чьи картины приобретает муж, казалось естественным. И все же... Сын знал, прислуга знала — и Мери усомнилась в неведении Джонса. Это было похоже на него: знать и молчать.

Неизвестность, зловещая немота Джонса, ложь, проникавшая в каждое слово, жест, улыбку, ледяное отчуждение сына доконали Мери, и она, не думая о последствиях, однажды открылась мужу.

Сделав свое признание, Мери так и не поняла, явилось ли оно неожиданностью для Джонса или подтверждением давно мучивших его подозрений. Вид у него был до того растерянный, ошеломленный и беспомощный, что Мери почудилось: игра! Но тогда он был гениальным актером. Во что не слишком верилось. Самое же непонятное: он молчал и словно ждал продолжения. Мери задумалась. Конечно, она не сказала главного: я ухожу от тебя. Но этого она и не

могла сказать, ей некуда было идти. Если в нем есть хоть капля гордости, самолюбия, он должен выгнать ее вон. Это будет жест милосердия, тогда все само собой образуется. Или не образуется. Но это уже не его забота. От него требуется короткий и естественный мужской жест.

Джонсон молчал. Лицо его стало спокойным, благожелательно серьезным, разве что немного поглупевшим. «Ну скажи хоть что-нибудь», — попросила Мери.

Голос прозвучал издалека, словно из пустыни:

— Видишь, как жестоки белые люди. Их губы тонки, носы заострены, на их лицах складки и морщины, в глазах острое ищущее выражение. Белые всегда чего-то хотят, всегда ищут. Они беспокойны и нетерпеливы. Они никогда не довольствуются своим, им нужно чужое. Я — индеец, а ты предпочла белого.

— Ты кого-то цитировал? — неуверенно спросила Мери, которой в первые мгновения показалось, что Джонс сошел с ума.

— Карла Юнга. Весьма приблизительно. Это из его путешествий.

— Даже в такую минуту у тебя нет собственных слов. Наверное, из-за этого все и произошло.

— Важно то, что за словами, — сказал Джонс. — Тонкие губы, острый нос, складки и морщины. Голодный ищущий взгляд. Разве не точный портрет? Конечно, он должен был найти, хотя сам толком не знал, чего ищет.

Выложив ему правду, Мери совсем обессилела. Его околичности падали в пустоту. Люди были слишком сложны для прямолинейной Мери. Они набиты сентенциями, цитатами, парадоксами, чужими мнениями, дурными страстями, изворотливыми пороками, непрозрачными добродетелями и непоколебимой внутренней правотой. Наверное, Джонс лучший в мире человек, но и в нем она ничего не понимает. Зачем он витийствует, вместо того чтобы прямо объявить свое решение. Она на все согласна. Лишь одно страшило: а что же с сыном?.. Она сознавала, что лишилась прав на сына, — Джонс ни при чем, мальчик сам от нее отказался. Но тут уж ничего не поделаешь, надо было раньше думать. Остается одно: верить, что, повзрослев, он простит или хотя бы поймет грешную

мать. Скорее бы все кончилось. Но Джонс не спешил подвести черту, он только страдал, теперь уже молча, не стало даже чужих слов. Что-то сломалось и в Мери, она забыла о своей цели и смертельно зажалела Джонса. Все в нем взывало к жалости: модный твидовый пиджак и старомодное благородство, стрелка брюк, крахмальные манжеты, мягкие замшевые мокасины (бедный лондонский индеец!), вся его безупречность, которая ни от чего не защищает, его растоптанная радость возвращения в родной дом, представлявшийся ему крепостью.

В постигшем их крушении оставалась лишь власть многолетних привычек. Ни одному не пришла в голову естественная мысль покинуть супружеское ложе — огромную старинную кровать, каждый лег, как обычно, на своей стороне. Ночью не исчезнувшее и во сне чувство жалости толкнуло Мери к мужу, он машинально обнял ее, как всегда обнимал — оба подчинялись инерции годами выработанного поведения. Утром Мери подумала: пересчитаны все ступени, дальше падать некуда, я законченная дрянь. Но не почувствовала ни боли, ни раскаяния. Все произошло по какой-то не зависящей от человеческой воли правде.

Больше она к этим мыслям не возвращалась. Пришел черед новых дел, слов, жестов, движений, улыбок, бытовых необходимостей.

Предстоял традиционный прием в честь благополучного возвращения Джонса из экспедиции. Это всегда стоило Мери больших волнений и хлопот.

Прием удался на славу, заодно выяснилось, что на нее в обиде все старые друзья: она исчезла, не подходит к телефону, не отзывается на приглашения, за что такая немилость? Неужели благотворительность поглощает все ее время?

Капитан находился в плавании, и она могла посвятить себя целиком восстановлению дружеских связей и светским обязанностям. Все складывалось так, чтобы избавить Мери от самокопания, от бесцельной и тягостной возни с собой. Порой она забывала о своем признании. Джонс вел себя так, будто оставался в блаженном неведении — и при этом ни одного ложного жеста, ни одной фальшивой ноты. Она восхищалась его выдержкой, тактом и добротой. Джонс — чудо!

И тут случилось еще одно событие в их жизни: Джонсу дали титул баронета. Он был представлен королю, разумеется, с женой, и дочери лондонского Истэнда оказалось небезразличным внимание королеванных особ. Огорчало одно: не сможет она рассказать об этом Капитану, презиравшему титулы и прочие пережитки феодализма.

И тут Мери постигла огромная нечаянная радость: она получила короткое, почти ласковое письмо от сына с извинениями, что не сможет приехать на каникулы домой, потому что нанялся коллектором в экспедицию на север Шотландии. Пусть его любовь еще не вернулась, но у нее снова был сын. Она сразу поняла, кому обязана этим даром. Как сумел Джонс — да еще на расстоянии — сломать упрямство гордого, оскорбленного юноши и вернуть сына матери? Это принадлежало той державе тонких отношений и чувств, куда Мери была не в силах последовать за Джонсом. Ее восхищение мужем возросло, но ничего не отняло у Капитана, внезапно вернувшегося в Лондон.

Потом оказалось, что никакого «вдруг» и не было, он явился в точно назначенное время, это она все перепутала в своей счастливой замороченности.

О том, что он в Лондоне, Мери узнала от приятельницы, с которой столкнулась в антикварной лавке — искала подарок баронету Джонсу. Подруга сообщила о прибытии Капитана как бы невзначай, но таким фальшивым тоном, что отпали всякие сомнения в полной осведомленности света. И тут же вспыхнула мысль о Джонсе: каково ему все это? Вспыхнула и погасла. Мери купила мужу бювар XVIII века, а Капитану, тоже слегка ею обиженному, — недорогую вересковую трубку; кажется, такие старые, давно вышедшие из употребления трубки называются носогрейками — подарок в самый раз для удалившегося от дел пирата.

Ей захотелось скорей вручить Капитану и подарок, и шутку, но между нею и любимым стояла безупречная фигура мужа — в твиде, фланели и замше. Да и попробуй забыть, кто вернул тебе потерянного сына. Красноватое лицо, серо-голубые глаза и твердая загорелая рука были гарантией ее сохранности в мире, лишь прикидывающемся добрым. Она пыталась стать ангелом-хранителем Капитана, но ее

ангелом-хранителем был и оставался Джонс. Капитан слишком мучается с собственной неустроенной душой, чтобы тратить на другого человека. И Мери затосковала.

Помощь, как всегда, пришла от Джонса. Как-то вечером он сказал своим обычным, спокойно-мягким голосом:

— Я слышал, Капитан в Лондоне. Ты не хочешь повидаться с ним?

Сказанное Джонсом выходило за рамки нормальной человечности, от его слов отдавало каким-то великомученичеством или... холодом.

— Ты что же, совсем не ревнуешь меня? — Навивность порыва искупала жесткость слов.

— А тебе еще и этого хочется? — улыбнулся он одними губами. — В основе всякой ревности — недостаток любви.

Это прозвучало сентенциозно, похоже, он опять кого-то цитировал. Да бог с ним, что поделаешь, если о самом задушевном он умеет говорить лишь чужими словами. Так его воспитали, приучив прятать слабость за броней обескураживающих формулировок.

— Как я могу тебя уважать, не уважая твоих чувств? — продолжал Джонс. — И я не средневековый рыцарь, чтобы верить в пояс добродетели. Мне не хочется, чтобы ты унижалась до лжи.

И тогда Мери показалось, что игра мужа не совсем чистая. Ощущение такое, будто ее незаметно к чему-то подталкивают. К чему?.. Ведь какая-то преграда между нею и ее любовью уже выросла. А щедро предложенная мужем встреча с Капитаном скорее связывает, нежели раскрепощает. Зачем все это? Она не могла состязаться с мужем в благородстве и жертвовать Капитаном. Неужели Джонс так наивен? Ведь когда ей станет немого, она просто уйдет к Капитану, и пусть тогда Джонс на досуге придумывает софизмы для ее оправдания. Неужели до сих пор неясно, что он сохранит ее лишь до тех пор, пока Капитан не скажет своим прокуренным, непрокашлянным голосом: к ноге!..

— Я ничего не имею против Капитана, — продолжал Джонс. — Какое мне до него дело? Он просто частица мировой суеты и неустройства, откуда приходят все беды. Лишь мы сами придаем безликостям

силу рока. Он мог быть не Капитаном, а шофером, клерком, кондуктором, не писать картины, а играть на трубе или на бильярде, все это не имеет значения, кроме одного: он попал в круг твоей доброты. Он замечен, выбран, вознесен тобой, наделен вовсе не присущими ему силой и властью. Все эфемерно, это ты одариваешь столь щедро человека толпы. И его значительность лишь в нас двоих. Для всех остальных он неприметнее моли. И ненавидеть я должен не его, а тебя, но я тебя люблю, и ничего с этим не подедаешь. Так пусть не становится наша жизнь фарсом. Повторяю, я не хочу, чтобы ты научилась лгать, обманывать, притворяться, носить в себе тайную злость. Оставайся свободной и достойной. Ты не виновата в случившемся, и ты сказала мне правду. Спасибо тебе за это. Знаешь, как сходятся великие вожди? С гордо вскинутыми головами. Сохраним в глазах отвагу встречать взгляд другого... Странно, я действительно начал чувствовать себя индейцем, а ведь прежде шутил насчет своей красной кожи. Так вот, «индеец» удаляется в старый девонширский вигвам. И ты можешь увидеться со своим гринго. Скажи ему, что нет никакой нужды избегать меня. Но упаси его бог приучить тебя к огненной воде, тогда я без шуток вытряхну его морскую душу. В конце лета мы съедемся всей семьей, я привезу на несколько дней нашего мальчика, а там — опять в экспедицию.

Все было вроде бы по чести, по добру и справедливости, а осадок у Мери остался горький. И не понять, в чем причина? Он ставит ей условия... Смотреть друг другу в глаза. Тут нечего возразить. Он сам сделал все, чтобы она не опускала головы. Так в чем же дело? Хозяйская интонация?..

Встреча с Капитаном после долгой разлуки получилась сердечной. Правда, не сразу. Капитану сперва надо было выплеснуть все свое презрение к титулам и прочей светской мишуре. Потом он выдал ей за то, что заставила так долго себя ждать. Но в сильнейший гнев его повергло сообщение, что Джонс сам предложил ей встретиться с ним. Мери не сочла нужным это скрыть. Капитан взвился и заорал, что не намерен плясать под Джонсову дудку. Если она настолько зависит от мужа, им лучше прекратить встречи. Он просит раз и навсегда избавить его от подробностей ее

отношений с Джонсом, из которого она делает дурака и все-таки трусливо ему врет.

— Я не вру, я ему все сказала.

— Что сказала?

— Про нас с тобой,— замерев от страха, пролепетала Мери.

Вопреки ожиданию, Капитан пришел в восторг. «Так и влепила ему? Bravo, старушка! Это по мне. Пусть почувствует, как у него растут рога. Люблю открытую игру. Ну, расскажи по порядку. Ты, значит, ему так спокойненько, а он?..»

— Ему было неприятно,— пробормотала Мери.

— Я думаю! — захохотал Капитан.— Если б моя жена...— Тут он осекся и закончил другим, деловым тоном: — Так или иначе, дело сделано. Молодец! Не выношу недомолвок.

Но недомолвка, и весьма серьезная, осталась — для Мери. Она не услышала заветных слов.

А Капитан стал на редкость мил. Рассказывал о своем плавании в комических тонах, что ему не было свойственно, ибо смешное он подмечал только в других людях, показывал новые работы, которые очень понравились Мери. Это было все то же, но как-то раскованнее — смелое неумение становилось твердой манерой. Потом они сходили в ресторан, пообедали и вернулись назад.

Мери хотела остаться у Капитана, но он не позволил. Она уже научилась не обижаться, ей нравилась его грубая прямота после утомительных околичностей Джонса. Он проводил ее на такси.

В общем, это был счастливый день. Капитан даже трубку принял великодушно. Набил ее табаком и задымил, строя свирепые «пиратские» рожи. Делал это на редкость артистично. «А ведь он и сам не знает, как много в нем заложено», — думала Мери.

«Все течет, но ничего не изменяется», — шутка Анатоля Франса как нельзя лучше выражала ситуацию этого тройственного союза. Кажется, у всех его участников было достаточно времени разобраться в себе самих и в своих отношениях, сделать выводы, принять достойные решения и осуществить их. Создавшееся положение не устраивало всех троих. Но никто не отваживался на решительный поступок.

Джонс не пытался что-либо изменить, боясь потерять Мери, та ожидала знака от Капитана, робея взять игру на себя; а Капитан равно опасался того, что Мери в последний момент отступит, и того, что на него ляжет ответственность за другого человека.

Но внутри этой стабильной системы все время происходили какие-то сдвиги. Так, Капитан стал появляться у Джонсов, конечно, по желанию главы дома. В Англии любое отклонение от нормы, если оно освящено временем, обретает силу непреложности, поэтому связь Мери с Капитаном была как бы санкционирована обществом и уже не подлежала ни обсуждению, ни тем паче осуждению. Чутко уловив перемену в общественном мнении, Джонс решил узаконить Капитана в традиционном образе друга дома.

Передавая в первый раз Капитану приглашение на ужин, Мери была уверена, что он по обыкновению взвьется и обрушит на голову Джонса — да и на ее собственную — отборную брань. Однако он спокойно и даже как-то чопорно принял приглашение. Ей и невдомек было, что этого требовал капитанский «кодекс чести» — не отступать перед любым вызовом.

Мери заранее мучилась, что Капитан придет в нарочито расхристанном виде, с сальными волосами и вонючей трубкой в зубах, а Джонс будет делать вид, что все в порядке, и глубоко презирать неряху. Вообще-то Капитан отказался от босяцких замашек, он носил либо безупречную морскую форму, либо черную бархатную куртку художника, но склонность к эпатажу в нем сохранилась, и едва ли он упустит свое.

Действительность превзошла все ожидания: Капитан принарядился. Он раздобыл черную пару, которая была ему великовата: пиджак сидел мешком, а рукава закрывали пальцы, отчего он казался безруким. К тому же он нацепил глухо-черный шелковый галстук — последний штрих к портрету факельщика диккенсовских времен. Неужели это маскарад и он оделся в магазине «Все для похорон», чтобы посмеяться над Джонсом? Как и большинство добрых людей, Мери не отличалась проницательностью. Она взглянула на мужа, надеясь по его реакции понять, что это — всерьез или очередной фортель Капитана.

Джонс был слегка ошарашен, но явно не подозревал Капитана в мистификации. И сердце Мери исполнилось щемящей нежности — не к элегантному, изящному, прекрасно владеющему собой Джонсу, а к нелепой фигуре в траурном одеянии.

Джонс мгновенно угадал, что соперник выиграл эту блицпартию, ему все на пользу, даже самые нелепые промахи, и это лишний раз подтверждало, что дело не в нем, а в Мери, поэтому и бороться с ним бессмысленно. Джонс с трудом высидел ужин, а затем разыграл маленький спектакль: взглянул на часы, охнул, сделал огорченное лицо, извинился перед женой и Капитаном: у него назначено в клубе деловое свидание, и он должен там быть. Для дома Джонсов это было нарушением этикета, полагалось дожидаться кофе и ликера, но впервые в глазах Мери выдержка изменила Джонсу. Капитан, конечно, ничего не понял и великодушно простил хозяина, обменявшись с ним крепким рукопожатием.

— А он ничего, твой брат,— заметил он добродушно, когда Джонс откланялся.— Я думал, он хуже. И что мне нравится — знает свое место.

Мери не отозвалась, сейчас она жалела Джонса: потащился в клуб со смертной тоскою в душе, а там надо делать вид, что все в порядке, что у тебя отличное настроение, улыбаться, отшучиваться, поддерживать беседу. Бедный Джонс!..

Мери все-таки не до конца знала своего мужа. Джонсу по роду его деятельности приходилось всегда рассчитывать, предусматривать всевозможные случайности — ведь успех экспедиции зависит от самых разных причин, прямого отношения к науке не имеющих. От состава группы, в первую голову от снаряжения, продовольствия, транспорта, медицинского обслуживания, запасов питьевой воды, исполнительности и честности рабочих, нанимаемых на месте. Но и это все еще не гарантирует успеха, в дело могут вмешаться стихии, политические осложнения, расовая ненависть, тайные пороки. Всего предвидеть нельзя, но надо стараться предвидеть все.

Он не мог, например, угадать, что Капитан вырядится как шут гороховый и Мери от доброты и жалости потеряет над собой контроль, а он не выдержит зрелища такой нежности, изливаемой на другого,

и будет вынужден удрать из дома. Но он предусмотрел главное — что ему захочется уйти хотя бы для того, чтобы дать им возможность побыть вдвоем. И что настроение при этом у него будет совсем не клубное.

Сейчас речь пойдет об институции, которую ошибочно считают порождением нынешнего просвещенного времени, а существовала она, хоть далеко не в таких масштабах, с середины тридцатых годов. Воистину новое — это хорошо забытое старое. Сейчас на Лазурном берегу каждый уважающий себя отель располагает штатом «девочек по вызову», но еще в доброй старой довоенной Англии имелись хорошо засекреченные отельчики, приносившие своим владельцам славные доходы отнюдь не за счет коммивояжеров и путешествующих старых дев. Обстоятельный во всем и дотошный человек, Джонс получил доступ в один из таких отелей. Он был потрясен, узнав, что ночь с телефонной жрицей любви стоит много дороже той суммы, какую выручает за сезон рабочий-абориген в экспедиции. «Что же такое умеет эта молодая особа?» — спрашивал себя Джонс, разглядывая фотографию темноволосой девушки с широко расставленными светлыми глазами. Она отличалась от журнальных красавиц печатью индивидуальности: хорошо очерченный рот не улыбался, светлые, чуть удлинненные глаза смотрели спокойно и строго — серьезное, хмуроватое лицо профессионала высокой пробы, и он, не колеблясь, выбрал эту девушку, хотя с альбомных фотографий ослепительно улыбались и более яркие существа.

Когда девушка пришла — точно в назначенный срок, как служащая, которая и минуты не подарит работодателю, Джонс оторопел. Она была невиданной стати: выше его ростом, с развернутыми плечами, с сильными округлыми икрами и гордо посаженной головой — воительница, темноволосая Брунгильда, Валькирия. На сворке она вела рослую афганскую борзую с громадными мягкими лапами, пышной, промытой и расчесанной волосок к волоску золотистой шерстью и длинным острым щипцом. Афганские борзые обычно добры и чуть флегматичны, но этот аристократ был напряжен, собран, как перед бегом или броском, он не располагал к фамильярности.

— Какой красавец! — восхитился Джонс, помогая Брунгильде снять шиншилловую накидку.

— Чемпион породы, — сдержанно сообщила та.

Она опустила в кресло, закинула ногу за ногу, пес сел рядом, он щурился, тяжело дышал, высунув розовато-пепельный язык, но не расслабился.

— Зачем вы водите его с собой? — поинтересовался Джонс.

— Отчасти для стиля, — без улыбки ответила девушка. — Когда клиент видит такое чудо, он уже не считает, что переплатил. А еще — моя защита. Вы не представляете, с какими психами приходится иметь дело... — Она внимательно посмотрела на Джонса. — Вы не псих, но вы трудный случай.

— В каком смысле?

— Плакать не будете? — спросила она мимо его слов.

Джонс деланно засмеялся.

— Пожилые женатые мужчины оплакивают свое падение, как изнасилованные монашки.

— О чем вы?

— Первая измена жене в таком возрасте страшнее потери невинности.

Джонс разозлился, но как-то глупо ссориться с женщиной, которая так дорого стоит. Он пожал плечами.

— Что вы обо мне знаете?

— Вы женатый человек, — она кивнула на обручальное кольцо Джонса. — Вы лондонец и джентльмен. Вы никогда не имели дела с продажной любовью. Интересный, богатый, знающий себе цену человек — вам ничего не стоит сделать любовницей даму вашего круга, это приличнее и неизмеримо дешевле.

— С последним я полностью согласен, — вставил Джонс.

— Мы — для нуворишей, американских миллионеров, считающих Европу сексуальным раем, неполноценных, но богатых старцев и богатых юнцов, которым хочется скорее все узнать, — продолжала она, не обратив внимания на фразу Джонса. — Вы не подходите ни под одну из этих категорий. Что остается? Крушение. Вы потерпели крушение, приятель. — Странно и волнующе прозвучало это фамильярное обращение.

— Вы проницательны,— пробормотал Джонс.

И тут он заметил, что с появлением Брунгильды его рана перестала кровоточить. Конечно, так не излечишься, но и малая передышка — благо.

— Эй, приятель, вернитесь! О чем вы думаете?

— О вас.

— Как трогательно! Я вам была нужна лишь как предмет для размышления?

— Нет,— сказал Джонс.— А собака не может побыть в прихожей?

— Она не мешает. Или у вас аллергия?

— Нет. Но я верю, что у животных есть зачатки душевной жизни.

— Рой! — повелительно сказала Брунгильда.

Пес поднялся, ореховые глаза его сочились тоской. Он медленно, понуро побрел в прихожую.

Позже, за ужином, который им подали в номер, Брунгильда сказала:

— Вы великолепный мужчина. Так в чем же ваша беда?.. Хотите, угадаю? Вам изменяет жена.

— Предположим,— сказал Джонс, не понимая, как он позволяет себе говорить об этом с девкой.

— Вы не можете ее оставить?

Джонс кивнул.

— Дети... дом... налаженная жизнь...— У нее был рассеянный вид, потом взгляд вдруг собрался в фокусе.— Это все не главное. Любовь. Единственная и неповторимая. Что ж, бывает, крайне редко, но бывает. Почему она не уходит?

Джонс промолчал. Ему было стыдно продолжать этот разговор и вместе с тем хотелось, чтобы она продолжала.

— Опять же... дети, дом, положение...— И в упор: — Любовник не хочет?

— Может быть, и хочет, но не говорит.

— Он беден?

— Неустроенный. Безбытный.

— Понятно. Так ему удобнее. И давно это у вас?

— Сейчас мне кажется, что всю жизнь.

— Она стерва?

— Добрый и милый человек.

— Немножко вялая, да? Ни рыба ни мясо?

— Чепуха! Она женственная, милая...

— И бестемпераментная,— уверенно добавила

Брунгильда. — Дайте мне мужчину, и я скажу, чего стоит его жена. Успокойтесь, она не уйдет.

— Вы предсказательница?

— Да нет, это все так просто. Никуда не денется ваша Мери.

— Откуда вы знаете, как ее зовут?

— Вы дважды назвали меня «Мери». Ее поезд уже за поворотом, она сама это скоро поймет. От вас требуется немного терпения. Ну а станет невмоготу, у вас есть мой телефон. Теперь поняли, почему я так дорого беру?

— Да! — искренне и серьезно подтвердил Джонс.

Мери и Капитан провели время менее содержательно. Капитан захотел осмотреть квартиру и сделал это с большим тщанием, воздерживаясь от критических замечаний. Большое впечатление произвела на него библиотека Джонса, да и весь кабинет. Он отдал дань картинам, их было немного, но все высшего качества, долго стоял перед своим старым пейзажем и что-то соображал про себя.

— Юношеская работа... Не мешало бы Джонсу приобрести меня позднего.

Мери подумала, что он шутит. Ни в малейшей мере. Капитан был серьезен, искренен, прост — не так часто эти добродетели совокупно осеняли мятежную душу Капитана.

Как и всегда, когда Капитан отдалялся, Мери попыталась прибегнуть к нежности, но была не грубо, однако решительно отстранена. То ли его сковывала возможность скорого возвращения Джонса, то ли весь чужой, слишком основательный, жирный быт, но когда Мери проявила слабую настойчивость, он сказал важно: «Я пират, а не карманник». «Устричный пират!» — сердито подумала она, покоробленная мелкотравчатой этикой ближнего действия. А потом возникла другая мысль: Капитан уважал Дом и Луже. Возможно, тут сказывались его крестьянские корни, он не полностью деклассировался в городской жизни.

Капитан вообще был положителен и очень важен в этот визит, он хотел во что бы то ни стало дожидаться Джонса и напоминал ей сторожа, который должен

сдать под расписку оставленный на сохранение товар.

Джонс он так и не дождался и, добродушно поворчав насчет «загулявшего старика», отбыл.

И во все последующие визиты Капитана (для Мери они были наказанием божьим, но муж настаивал, а Капитан не уклонялся) программа оставалась неизменной: в какой-то момент Джонс ссылался на неотложное дело и оставлял их вдвоем. При этом он далеко не всегда спешил к даме с афганской борзой, чаще просто шел в клуб или в ночной бар. Он догадывался, что локальная верность Мери гарантирована лишь присутствием в их доме Капитана. Впрочем, теперь это его волновало меньше. Близость с Брунгильдой сделала духовнее его любовь к Мери, что отнюдь не остудило супружеского рвения. Он заметил, что Мери стала как-то «обязательнее» к этим постоянным приливам страсти, начисто исчезла едва ощутимая даже обостренным чувством Джонса заминка — знак пассивного сопротивления. Тайная душа Мери угадывала неведомо для нее самой, что за спиной Джонса не так пусто, как прежде, и столь же неведомо для своего дневного сознания она ревновала мужа.

Были очевидны и перемены в жизни Капитана. Скандальная слава донжуана способствовала его успеху как художника. Свет прослышал о нем и заинтересовался. Стало модным иметь одно-два полотна этого героя-любовника, «пирата», «морского разбойника», завладевшего женой баронета Джонса. Сам баронет был слишком взыскан удачей, чтобы желать ему добра. Светские люди, не сговариваясь, делали все, чтобы поддержать «дьявольски талантливую» и романтического отщепенца. Конечно, в широком мире Капитан оставался безвестен, но ведь люди живут не в безбрежности, а в той ячейке, которую им отвела судьба, Капитан и плавал-то у берегов, имея даль лишь по одну руку, а по другую — преграду земной тверди. Но ему повезло и на суше, и на море.

За годы близости с Мери Капитан цивилизовался. Ушли в прошлое дебоши, драки, безрассудное злоязычие, сменились и люди, ведавшие его морской судьбой. В глазах нового начальства он слыл умелым, опытным и дисциплинированным мореходом, которо-

го незаслуженно держали в загоне. И Капитана толкнули наверх. Нет, он не стал водить океанские лайнеры, китобойные флотилии или гигантские нефтеналивные суда, которые почему-то нередко гибнут в самых рыбных местах и возле пляжей, ускоряя экологический кризис, но он оторвался от прибрежной полосы. Теперь океан предлагал ему свою грандиозную ненужность во все четыре стороны. И наконец настал тот великий день, когда он впервые пошел не старпомом, а капитаном на экспедиционном судне и не куда-нибудь — на Джорджес-банку, а это для морской души, что Мекка для мусульманина. Сладко было произносить мужественное, щекочущее гортань и небо слово: «Джорджес-банка».

Как на грех, Мери никогда не слышала об этой океанской ямине.

— Можно ли быть такой душой? — даже не разъярился, а затосковал Капитан. — Такой непроходимой душой!

— Хорошо, я дура, — смиренно сказала Мери. — Но объясни мне, что это такое.

— И не подумаю. Не знать Джорджес-банку!.. И ты хочешь быть подругой моряка!

— Я хочу другого, — тихо сказала Мери, — быть женою моряка. Подруга я уже сто лет.

— Одиноким путник идет дальше других, — подумав, сказал Капитан.

Мери разрыдалась. Сколько лет ждала она, что Капитан ее позовет, позовет навсегда, сколько лет жила мечтою о полном соединении с ним. Ей до судорог надоело быть неверной женой, грешной матерью, нарушительницей общественной морали, она уже немолодая женщина, неужели не заслужила она права на покой? Ее любовь, терпение, преданность — все ничего не стоит перед какой-то Джорджес-банкой, будь она проклята! И почему мужчины в трудную минуту прикрываются чужими словами?..

Конечно, они помирились. Ее доброта не могла устоять перед смутным обещанием «все крепче обдумать». Под конец она попросила написать для нее эту замечательную Джорджес-банку, что вызвало новый приступ гнева у Капитана: с таким же успехом можно просить его написать дыру, пустоту. Тут Мери вообще перестала что-либо понимать; если Джор-

джес-банка — просто дыра, то почему столько шума из ничего? Но сказать это вслух не решилась. На всякий случай попросила Капитана одеться потеплее, наверное, оттуда сильно дует.

Капитан уехал. Джонс приехал. Медно-красный, худой, как кость, бодрый и помолодевший. Его наградили Золотой медалью Шведского Королевского общества и торжественно вручили ее в посольстве.

«Я спутница двух величайших людей Англии, — с горькой иронией думала Мери. — Наверное, я приношу счастье. Только не себе самой».

Так оно и было: и Джонс, и Капитан процветали, а она по-прежнему сидела между двух стульев, и осень стучалась в ее двери. И тут ей выпала чуть грустная радость: она стала бабушкой. «Бабушке Мери» — так теперь называли ее домашние — было доверено ясноглазое, горластое и алчное сокровище. Целыми днями пропадала Мери в доме сына, вечером Джонс заезжал за ней, она встречала его застенчиво-радостной улыбкой.

В упоении своей новой счастливой заботой она совсем забыла о приезде Капитана, о чем ей напомнило его письмо: впервые Капитан просил встретить его в Саут-эндском порту. Видимо, хотел показаться во всем блеске, ведь он возвращался с таинственной Джорджес-банка и сам вел корабль в гавань. Письмо запоздало, ей было уже не собраться.

Вскоре она получила другое послание: оскорбленное, гневное и с неожиданным концом. Капитан крепко обдумал все и пришел к выводу, что в нынешних условиях их связь бросает на него тень. Довольно щадить Джонса, им необходимо узаконить свои отношения. Несмотря на несколько рассудочный тон любовного послания и канцелярскую терминологию (недаром Капитан отвергал эпистолярный жанр), это были те самые слова, которых она тщетно ждала всю лучшую часть жизни. Но вместо ожидаемого счастья Мери испытала растерянность и страх. Все приходит слишком поздно, но выбора нет — ее долг быть с Капитаном. Вспомнилось личико внука с кисло зажмуренными глазенками. Мери разрыдалась.

Вернувшийся с прогулки Джонс нашел ее в спальне, она лежала ничком на кровати, спина ее мелко

дрожала. Немолодая печальная спина с заострившимися лопатками.

Низко наклонившись, чтобы он не видел ее заплаканного лица, Мери протянула ему письмо.

— Я тебя не отдам, — спокойно сказал Джонс.

— Что же мне делать?

— Не знаю. У тебя внук.

— А если он явится за мной сам?

— Я тебя не отдам, — повторил Джонс. — Но он не явится.

Он не явился и не ответил на письмо Мери.

Прошло немало времени, когда Мери услышала от знакомых, что у Капитана был сердечный удар, он лежал в госпитале и с трудом выкарабкался.

Она не помнила, как собралась. Джонс ее не удерживал. Они прожили вместе всю жизнь, но сейчас у нее не оказалось для мужа ни одного слова. Да он, похоже, и не нуждался в этом. Он был тих, задумчив и спокоен. Когда она уже села в машину, он сказал негромко и будто успокаивающе:

— Я тебя ему не отдам.

...Дверь квартиры Капитана не была заперта. Ее охватил страх: в доме покойника двери настежь... Она вошла, миновала прихожую, холл и откинула неприятно захрустевшую бамбуковую занавеску, прикрывавшую вход в мастерскую.

Капитан сидел за столом, уставленным бутылками, с носогрейкой в зубах; напротив в мягком кресле, поджав под себя голые ноги, уютно пристроилась известная лондонская натурщица Лиззи. Она хохотала, расплескивая вино в высоко поднятом бокале. Веселая пара обходилась минимумом одежды, поделив по-братки голубую шелковую пижаму Мери. Лиззи досталась куртка, Капитану — брюки. И в те первые мгновения Мери возмущилась не изменой Капитана, а тем, как распорядились ее пижамой.

С сжатыми кулаками она набросилась на Лиззи.

— Дрянь!.. Паршивка!.. Как ты посмела?..

Непонятно, чего так перепугалась здоровенная молодая девка. Она выронила бокал и кинулась из

мастерской, сверкая розовыми ягодицами, столь хорошо известными ценителям прекрасного. Мери настигла ее, вцепилась в рукав, тонкий шелк лопнул, Лиззи выскользнула из куртки, подхватила брошенное на спинку стула платье и выскочила за дверь.

— Лиззи! — орал Капитан. — Куда ты, девочка?

Он поднялся, пошатываясь, прошел мимо Мери — ее обдало запахом вина, табака, несвежего тела и дамских духов — выглянул наружу.

«А ведь это у них не начало, — мелькнула усталая мысль. — И что я знаю о нем?.. Чем он занимался без меня?..»

— Какой ты скверный человек! — сказала она, сжав виски. — Боже, какой ты скверный человек!

— Ты больно хороша! — ощерился Капитан. — Я чуть не сдох, а ты где была?.. Девчонка меня выхаживала, настоящий преданный друг.

Мери понимала, что он лжет, девчонка его не выхаживала и появилась здесь, как закуска к выпивке, но с нее самой это не снимало вины... Если б не голубая пижама!.. Ее куртка, в которой она столько раз засыпала возле Капитана, обтягивала жирное тело этой потаскухи. Зачем он так унизил ее!.. Конечно, он в запое, не отвечает за свои поступки. Это дало иное направление мыслям. Он только что вышел из больницы, алкоголь смертелен для больного сердца.

— Тебе нельзя пить. Ни капли.

— Не твое собачье дело! — сквозь зубы процедил Капитан.

Ее замечание так его оскорбило, словно она коснулась самого святого, перед чем померкли и другие нестерпимые обиды:

— Будешь мне еще указывать, дрянь!..

— И буду. Тебе нельзя пить.

Инерция столько лет управляла ею: она чувствовала и говорила одно, а делала другое — заботливо вынимала из сумки банки с соками, упаковки с витаминами, лекарства.

— Откупиться думаешь? — с ненавистью сказал Капитан. — Что я — нищий? Не видел этого дерьма? — Он подступил ближе, она опять почувствовала тошный запах чужой, враждебной плоти, и этот запах притуманил ей сознание. Если б она владела собой, то

наверняка поняла бы, что в ненависти Капитана больше любви, чем в истерических вспышках страсти или снисходительном — сверху вниз — расположении.

Капитан протянул руку и смел все дары на пол.

Даже самые смиренные души должны хоть раз в жизни взбунтоваться. Мери неловко ударила Капитана по лицу. Он успел отдернуть голову, острый ноготь задел щеку, выступила капелька крови. Капитан коснулся царапины, увидел на пальце пятнышко.

— Ты пролила мою кровь? — произнес он трагическим голосом. — Ты посмела?..

Два оглушительных удара в глаз и в скулу повергли Мери на пол. Она нелепо поднялась на четвереньки, цепляясь за кресло, выпрямилась. В голове гудело, левый глаз ослеп, но боли не было, вся эта сторона лица онемела. «Он выбил мне глаз», — спокойно подумала Мери.

Сознание будто отключилось, а то, что было за сознанием, знало цель: уползти в свою нору, больше ничего не нужно.

В вагоне она заметила, что все смотрят на ее распухшее лицо, но ей это было безразлично.

Джонс ни о чем не спрашивал.

— Давай лечиться, — сказал он и потащил ее в ванную...

Через некоторое время Капитан вышел из запоя, но был так плох, что его опять положили в госпиталь. Здесь он окреп на удивление быстро и запросился домой. Его не удерживали. По дороге он купил бутылку «Скотча» и подцепил в порту некую Мэгги, с которой ловкий поддельщик старинных икон Линч писал разных святых второго разряда. Но дома он обнаружил, что пить не хочет, а от «святой» Мэгги его мутит. И он ее выгнал. Работать тоже не хотелось. Мысли о новых рейсах не радовали, скорее наоборот. Даже воспоминание о Джорджес-банке вызывало отрыжку. Полугодовое стояние над морской ямой, которую невесть зачем обшаривали вкрадчивые научные гомики, казалось идиотством. Ну их всех к черту!..

Наконец он признался себе через силу, что ему недостает Мери. Все-таки привычка... Вообще-то она неплохая баба и не задавака... Он, конечно, перегнул

палку, уж больно ценил свою независимость. Она была хорошо выдрессирована и не капала ему на мозги, но под конец дала сбой. Ему бы помягче... Но с другой стороны — нельзя и распускать, — она подняла на него руку. Подумаешь, застала девчонку в своей пижаме. Все богачи — собственники. А он плевать хотел на барахло, ему человек важен. Ладно. Приползет. Куда денется.

Но Мери не приползла. И беспокойство Капитана обернулось лютой тоской. Никогда еще он так не разваливался и даже подумать не мог, чтобы из-за юбки!.. Он был сам себе противен. Все успехи последних лет показались ничтожными. Справедливости нет и не будет. Он должен радоваться, что на старой калоше сплавал на Джорджес-банку, а разные ничтожества водят океанские пароходы, крушат льды Арктики, огибают Огненную землю. Он продал за бесценок десятка два картин, а трюкачи, вроде Руо, пишущего грязью, загребают деньги лопатой, жулик Линч купил замок. Хотелось отвести душу, да не с кем. Эта кретинка Лиззи начинает раздеваться, когда ты просто хочешь спросить о погоде: розовое животное. А ему надо, чтобы его понимали. Мери вздумалось поиграть в оскорбленное самолюбие. Поиграла, и хватит. Пора и честь знать.

Несмотря на случившееся, Капитан был уверен в своей власти над душой женщины, которую так часто и легко брал напрокат, что считал своей собственностью — да так оно, в сущности, и было. Он ничуть не раскаивался в содеянном. Ну, надавал оплеух, так она же его довела. Он валялся, как собака, в госпитале, а ей хоть бы что — уткнулась в мокрые пеленки. Подумаешь, физиологическое чудо: наспали еще одного никому не нужного муравья. Рассиропилась!.. Жалеть надо взрослых страдающих людей... Устроила вульгарнейший скандал, накинулась на его натурщицу, единственно преданного человека. Чуть не прибила бедную девчонку, та выскочила за дверь в чем мать родила. И что она думает: сама где-то шлялась, а он должен заниматься умерщвлением плоти? Пьян был — а кто виноват?.. Но какое все это имеет значение? Она ему нужна. Он привык... да и как им друг без друга — неужели сама не понимает?.. Это все штучки Джонса. С ним давно пора кончать, хва-

тит играть в благородство. Раз в жизни можно нанести удар ниже пояса.

Сказано — сделано. Он написал Джонсу страшное письмо: «Человек вы или нет? Сколько лет я живу с вашей женой, а вы и в ус не дуете. Мне это надоело. Немедленно отпустите женщину».

Ответ не заставил себя ждать: «Вы ошибаетесь, дорогой Капитан. Вот уже сколько лет я живу с Вашей любовницей, и меня это вполне устраивает. Мы оба очень счастливы. Искренне Ваш Джонс».

Содержание

<i>Александра Пистунова. Чистые пруды</i>	3
---	----------

ПОВЕСТИ

Встань и иди	19
Поездка на острова	132
Квасник и Буженинова	250

РАССКАЗЫ

Школьный альбом. Быль	337
В те юные годы	394
Дорожное происшествие	448
Терпение	518
Река Гераклита	573
В дождь	610
Ненаписанный рассказ Сомерсета Мозма	652

Нагибин Ю. М.

Н16 Встань и иди: Повести и рассказы / Вступ. статья А. Пистуновой.— М.: Худож. лит., 1989.— 703 с.

ISBN 5-280-00521-5

В сборник вошли три повести и ряд рассказов.

Повесть «Встань и иди» — о трудном времени эпохи культа личности, о взаимоотношениях несправедливо осужденного человека и его сына; в «Поездке на острова» переключаются давние времена русской истории и современность; в повести «Квасник и Буженинова» рассказано о жизни простых людей под властью абсолютизма в XVIII веке.

И 4702010201-207 19-89
028(01)-89

ББК 84Р7

Юрий Маркович Нагибин

ВСТАНЬ И ИДИ

Повести
и рассказы

Редакторы *Л. Полосина, Е. Федорова*

Художественный редактор *И. Сальникова*

Технический редактор *В. Кулагина*

Корректоры *Г. Володина, Г. Киселева*

ИБ № 5462

Сдано в набор 22.09.88. Подписано в печать 06.06.89. Формат 84×108¹/₃₂. Бумага кн.-журн. имп. Гарнитура «Школьная». Печать высокая. Усл. печ. л. 36,96. Усл. кр.-отт. 36,96. Уч.-изд. л. 39,0. Изд. № III—3138. Тираж 100 000 экз. Заказ № 1768. Цена 2 р. 80 к.

Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Художественная литература». 107882, ГСП, Москва, Б-78, Ново-Басманная, 19.

Ордена Октябрьской Революции, ордена Трудового Красного Знамени Ленинградское производственно-техническое объединение «Печатный Двор» имени А. М. Горького при Госкомиздате СССР. 197136, Ленинград, П-136, Чкаловский пр., 15.

